

Шолом-  
длейхем

6

Шолом-  
длейхем



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

# **ШОЛОМ- АЛЕЙХЕМ**



**собрание  
сочинений  
в шести  
томах**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:  
М. БАЖАН, М. БЕЛЕНЬКИЙ, Б. ПОЛЕВОЙ,  
И. РАБИН, Г. РЕМЕНИК, Р. РУБИНА

**ШОЛОМ-  
АЛЕЙХЕМ**



**СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ  
ШЕСТОЙ**

Перевод с еврейского

С (Евр) 1  
Ш 78

Иллюстрации художника

Д. Леона

Оформление художников

Ю. Владимирова

Ф. Терлецкого

Ш  $\frac{70303-339}{028(01)-74}$  подписное.

# **С ЯРМАРКИ**

**Жизнеописание**



## ДЕТЯМ МОИМ — В ПОДАРОК

Милые, дорогие дети мои!

Вам посвящаю я творение моих творений, книгу книг, песнь песней души моей. Я, конечно, понимаю, что книга моя, как всякое творение рук человеческих, не лишена недостатков. Но кто же лучше вас знает, чего она мне стоила! Я вложил в нее самое ценное, что у меня есть, — сердце свое. Читайте время от времени эту книгу. Быть может, она вас или детей ваших чему-нибудь научит — научит, как любить наш народ и ценить сокровища его духа, которые рассеяны по всем глухим закоулкам необъятного мира. Это будет лучшей наградой за мои тридцать с лишним лет преданной работы на ниве нашего родного языка и литературы.

Ваш отец — автор  
*Шолом-Алейхем*

*Февраль 1916 г.  
Нью-Йорк*



## КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КНИГИ «С ЯРМАРКИ»

Судьба книги подобна судьбе человека. Пока она увидит свет, ей приходится принять на себя немало мук, пройти все семь кругов ада.

Книге «С ярмарки» не исполнилось еще и дня. Она только сегодня вышла из печати, но уже имеет за собой целую историю. Разрешите мне ее вкратце рассказать.

Первый, кто подал мне мысль широко и всесторонне описать прошедшее пятидесятилетие еврейской жизни, был самый обыкновенный человек, которого покойный поэт И. Л. Гордон \* увенчал званием «Уважаемый читатель». Его знает весь мир. Это наш одесский поборник просвещения, любитель еврейской литературы. Теперь он в Америке. Его настоящее имя Авром-Элиогу Любарский. Несколько лет тому назад он специально приехал ко мне в Швейцарию, как настоящий друг и почитатель, и сделал такое предложение: так как я прожил большую жизнь и вырос, можно сказать, вместе с еврейской народной литературой, мне следовало бы взять на себя труд изобразить эту жизнь в большом романе.

Идея эта крепко засела у меня в голове, и я взялся за дело, решив осуществить свой замысел в форме автобиографии или романа-биографии.

Я проработал несколько лет. Книга росла глава за главой. Но что из того? Книга не любит лежать. Книга любит, чтобы ее печатали и читали. А печатать было негде. Издать книгу на собственные средства еврейский писатель не в состоянии. Печатать в журнале? Еврейская литература еще не настолько богата, чтобы иметь ежемес-  
ячник — как у людей. Несколько раз мне приходилось

с горечью в душе откладывать работу. Так это тянулось до тех пор, пока меня не забросило вторично в Америку\*. Всего лишь год прошел, а я уже успел перебраться с моей «Ярмаркой» на другую квартиру. И только теперь «Вархайт» нашла целесообразным выпустить «С ярмарки» отдельным изданием в двух томах.

Когда автор видит свои мысли запечатленными в книге — это придает ему силы и бодрости, чтобы идти дальше по избранному пути. А путь долог. Еще только начинают разворачиваться картины эпохи, еще только начинают нарастать события, и образы людей давно исчезнувших, а также людей ныне здравствующих и весьма почтенных просятся на бумагу...

Будем надеяться, что мы доведем нашу работу до возможного конца.

*Шолом-Алейхем*

*Февраль 1916 г.  
Нью-Йорк*

## Часть первая

К чему романы,  
если сама жизнь — роман?

### 1

#### ПОЧЕМУ ИМЕННО «С ЯРМАРКИ»

*Нечто вроде предисловия. — Почему автор взялся писать свою биографию. — Шолом-Алейхем — писатель рассказывает историю Шолом-Алейхема — человека*

«С ярмарки» — так может называться повесть о жизни, которая подобна ярмарке. Каждый склонен по-своему с чем-либо сравнивать человеческую жизнь. Один столяр, например, как-то сказал: «Человек что столяр: столяр живет, живет и умирает, так же и человек». От сапожника я как-то слышал, что жизнь человеческая подобна паре сапог: пока подошвы целы, сапоги остаются сапогами, но лишь только подошвы износились, тут и сапогам конец. Извозчик, естественно, может сравнить человека, не в обиду будь сказано, с лошадью. Поэтому не было бы ничего удивительного, если бы такому человеку, как я, который провел полсотни лет в сутолоке жизни и решил о ней рассказать, пришло в голову сравнить свое прошлое с ярмаркой.

Но я имел в виду другое. Когда говорят «с ярмарки», подразумевают возвращение или итог большой ярмарки. Человек, направляясь на ярмарку, полон надежд, он еще не знает, какие его ждут удачи, чего он добьется. Поэтому он летит стрелой сломя голову — не задерживайте его, ему некогда! Когда же он возвращается с

ярмарки, он уже знает, что приобрел, чего добился, и уже не мчится во весь дух — торопиться некуда. Он может отдать себе отчет во всем, ему точно известно, что дала ему ярмарка, и у него есть возможность ознакомить мир с ее результатами, рассказать спокойно, не спеша, с кем он встретился там, что видел и что слышал.

Друзья мои не раз спрашивали меня, почему я не беру на себя труд ознакомить публику с историей своей жизни. Это было бы весьма интересно и своевременно, говорили они. Я слушался добрых друзей и неоднократно принимался за работу, но всякий раз откладывал перо, пока... пока не настало время. Мне не исполнилось еще и пятидесяти лет, когда я удостоился встретиться лицом к лицу с его величеством ангелом смерти, и совсем не на шутку; я чуть-чуть не перебрался туда, откуда письма не напишешь, ничего не перешлешь и даже привета не передашь. Короче говоря, мне предстояло рассчитаться с этим миром, и тогда я сказал себе: «Вот теперь пришло время! Принимайся за дело и пиши, ибо никто не знает, что готовит тебе завтрашний день. Ты помрешь, а там придут люди, которые думают, что знают тебя насквозь, и начнут сочинять о тебе всякие небылицы. Зачем это тебе нужно? Возьмись за дело сам, — ведь ты знаешь себя лучше кого бы то ни было, — и расскажи, кто ты таков, напиши автобиографию!..»

Но легко сказать «напиши автобиографию», невымысленную, правдивую историю собственной жизни! Ведь это значит — дать читателю отчет о всей своей жизни, держать ответ перед всем миром. Видите ли, написать автобиографию и составить завещание — почти одно и то же. Это раз. И потом: человеку, когда он рассказывает о себе самом, трудно остаться на высоте и устоять против искушения порисоваться перед публикой, показать себя славным малым, которого так и хочется по щечке потрепать. Поэтому я избрал особую форму жизнеописания, форму романа, биографического романа. Я буду рассказывать о себе, как о постороннем человеке. Это значит: я, Шолом-Алейхем — писатель, расскажу правдивую биографию Шолом-Алейхема — человека, без церемоний, без прикрас, без рисовки, как рассказал бы ее некто другой, который всюду меня сопровождал, прошел со мной все семь кругов ада. И рассказывать я вам буду постепенно, по частям, отдельными

историями или эпизодами, один за другим. И тот, кто дает человеку способность помнить все, что с ним происходило в жизни, да поможет мне не пропустить ничего из пережитого, что может представлять какой-либо интерес, а также ни одного из людей, встреченных мною когда-либо на огромной ярмарке, где прошли пятьдесят лет моей жизни.

## 2

### РОДНОЙ ГОРОД

*Местечко Воронка — нечто вроде Касриловки. — Легенда времен Мазепы. — Старая синагога, старое кладбище, две ярмарки*

Герой этого биографического романа рос и воспитывался в той самой Касриловке, которая уже отчасти знакома миру. Находится она, если вам угодно знать, в Малороссии, в Полтавской губернии, недалеко от старого исторического города Переяслава, и называется она не Касриловка а Воронка. Так и запишите!

Мне бы, собственно, надо было назвать город, где родился герой, и год его рождения, как поступают все писатели-биографы. Но, признаться, — это меня не интересует. Меня занимает именно маленькая Касриловка, или Воронка, потому что никакой другой город в мире не врезался так в память моему герою, как благословенная Касриловка — Воронка, и ни один город в мире не был так мил его сердцу; настолько мил, что он не может его забыть и во веки веков не забудет.

И в самом деле, какой еще город во всем огромном мире — будь то Одесса или Париж, Лондон или Нью-Йорк — может похвастаться таким богатым и обширным базаром, с таким множеством еврейских лавок и лавчонок, со столькими прилавками, столиками, лотками, заваленными грудями свежих душистых яблок и груш, дынь и арбузов, которыми козы и свиньи в любую минуту не веля с ними беспрестанной войны! А мы, мальчишки из хедеров\*, тем охотнее отведали бы этих вкусных вещей, но они, увы, были нам недоступны

Какой город обладает такой старой, сгорбившейся синагогой, с таким красивым священным ковчегом\*, с

резными львами на нем, совсем похожими на птиц, если бы не длинные языки и рога, в которые они трубят! В этой старой синагоге, рассказывают старики, наши деды заперлись от Мазепы, — будь проклято его имя! — сидели в ней три дня и три ночи в талесах\* и читали псалмы, чем спаслись от неминуемой смерти. Те же старики рассказывают, что старый раввин в свое время благословил эту синагогу, чтобы она не горела, — и она не горит, какой бы ни бушевал кругом пожар.

В каком еще городе вы найдете такую баню? Она стоит на косогоре у самой реки, и вода в ее колодце никогда не иссякнет. А река? Где еще в мире найдется река, в которой из поколения в поколение мальчишки-сорванцы купаются, плещутся без конца, учатся плавать, ловят мелкую рыбешку и проделывают фокусы — любо посмотреть! О старой бане, которая стоит на удивление всем, у стариков тоже есть что порассказать. В ней когда-то обнаружили повесившегося мужика. Он напился и повесился. Отсюда возник навет на евреев, будто они его повесили. Городу пришлось пострадать: в этой бане не то собирались высечь, не то в самом деле высекли самых почетных граждан. Я не хочу вникать в это, потому что не люблю печальных историй, даже если они относятся к давним временам...

Какой город обладает такой высокой горой, что ее вершина почти достигает облаков! А за горою, все это знают, зарыт клад еще со времен Хмельницкого. Сколько уж раз, рассказывают старики, принимались откапывать этот клад, но работу приходилось бросать, потому что натыкались на кости: руки, ноги и черепа людей в саванах. Очевидно, это были наши предки и, возможно, мученики... Кто знает!

В каком городе встретите вы таких почтенных обывателей? Они как будто не более чем мелкие лавочники и шинкари и живут, казалось бы, только благодаря крестьянину и один за счет другого, и тем не менее держатся всегда с достоинством; у каждого свой угол, своя семья, свое место в синагоге: у восточной стены или напротив нее — какая разница! И если кто-либо из них сам не очень знатен и не богат, то у него есть богатый или знатный родственник, о котором он твердит день и ночь, рассказывает такие чудеса, что голова кругом идет.

А какое здесь кладбище! Большое древнее кладбище, где большая часть могил заросла травой и даже



неизвестно, есть ли в них человеческие кости! Об этом кладбище можно было бы, конечно, кое-что порассказать, и не такие уж веселые истории, я сказал бы — даже весьма страшные истории, понятно, о прошлом, о давних временах, но к ночи не стоит вспоминать о кладбище...

Небольшой городишко эта Воронка, но красивый, полный прелести. Его можно пройти вдоль и поперек за полчаса, если вы, конечно, в силах это сделать и у вас есть ноги. Без железной дороги, без гавани, без шума, всего с двумя ярмарками в год: «Красные торги» и «Покров», придуманными специально для евреев, чтоб они могли поторговать и заработать кусок хлеба. Маленький, совсем маленький городишко, но зато полный таких удивительных историй и легенд, что они сами по себе могли бы составить целую книгу. Я знаю, истории и легенды вы любите, это для вас, собственно, главное... Но мы не можем ими заниматься, а должны строго придерживаться рамок биографии и, как водится, обязаны прежде всего познакомить вас с родителями героя, с



его отцом и матерью. И будьте довольны, что я начинаю сразу с отца и матери, а не с прадедушки и прапрадедушки, как это делают другие биографы.

3

ОТЕЦ И МАТЬ

*Воронковский богач и его разнообразные доходы. — Орава ребят. — Служанка Фрума властвует над ними. — Герой биографии — пересмешник и сорванец*

Высокий человек с вечно озабоченным лицом, с широким, белым лбом, изрезанным морщинами, с редкой смеющейся бородкой; человек почтенный и богомольный, знаток Талмуда \*, Библии и древнееврейского языка, приверженец тальненского чудотворца \* и почитатель Мапу \*, Слонимского \* и Цедербаума \*, арбитр и советчик, отличающийся пытливым умом, шахматист, человек,



знающий толк в жемчуге и брильянтах, — вот верный портрет отца нашего героя — реб \* Нохума Вевикова, который считался самым крупным богачом в городе.

Трудно сказать, каким состоянием мог, собственно, обладать такой богач, но дел у него было бесчисленное множество. Он был арендатором, поставлял свеклу на завод, держал земскую почту, торговал зерном, грузил берлины на Днепре, рубил лес, ставил скот на жмых. Однако кормил семью «мануфактурный магазин». Впрочем, это только одно название «мануфактурный магазин». Там была и галантерея, и бакалея, и овес, и сено, и домашние лекарства для крестьян и крестьянок, и скобяные товары.

Магазином отец не занимался. Здесь хозяйкой была мать — женщина деловитая, проворная, исключительно строгая со своими детьми. А детей было немало, — черноволосых, белокурых, рыжих, — больше дюжины, самых различных возрастов.

С детьми здесь особенно не носились, никто о них не мечтал; если бы они, не дай бог, и не явились на свет, то беда была бы тоже невелика. Но раз они уже есть, то тем лучше — кому они мешают! Пусть живут долгие годы!.. Кому удавалось выкарабкаться из оспы, кори и всех прочих напастей детского возраста, тот вырастал и отправлялся в хедер, сначала к Ноте-Лейбу — учителю для малышей, затем к учителю Талмуда — Зораху. А кто не мог устоять против тысячеглазого ангела смерти, высматривающего младенца, — тот отправлялся в свой срок туда, откуда не возвращаются. Тогда в доме справляли семидневный траур — завешивали зеркала, отец с матерью снимали ботинки, садились на пол и долго плакали... пока не переставали; затем произносили установленное: «Бог дал — бог взял», вытирали глаза, вставали с пола и забывали... Да иначе не могло быть в этой сутолоке, на этой ярмарке, где толкалось больше дюжины ребят, из которых старший, с пробивающейся бородкой, уже женился, а младшего еще не отняли от груди.

Большим искусством со стороны матери было вырастить эту ораву и справиться со всеми детскими болезнями. В обычное время на ребят сыпались пощечины, пинки, затрещины, но стоило кому-нибудь из них, упаси боже, заболеть, как мать не отходила от постели ни на миг. «О, горе матери!» А как только ребенок выздоров-

ливал и вставал на ноги, ему кричали: «В хедер, бездельник этакий, в хедер!»

В хедере учились все, начиная с четырех лет и... почти до самой свадьбы. Во всей этой ораве выделялся как самый большой сорванец средний сын, герой нашей биографии, Шолом, или полным титулом — Шолом, сын Нохума Вевикова.

Нужно ему отдать справедливость — он был не таким уж скверным мальчишкой, этот Шолом, и учился лучше всех других детей, но оплеух, колотушек, пинков, розог, да минует вас такая беда, получал он тоже больше всех. Очевидно, он их заслуживал...

— Вот увидите, ничего хорошего из этого ребенка не выйдет! Это растет ничтожество из ничтожеств, своевольник, обжора, Иван Поперило, выкрест, выродок, черт-те что — хуже и не придумаешь!

Так аттестовала его служанка Фрума — рябая, кривая, но честная, преданная и очень бережливая прислуга. Она шлепала и колотила ребят, скупилась на еду, следила за тем, чтобы они были добрыми и благочестивыми, честными и чистыми перед богом и людьми. А так как мать, женщина деловая, была вечно занята в магазине, то служанка Фрума твердой рукой вела дом и «воспитывала» детей, как мать. Она их будила по утрам, умывала, причесывала, произносила с ними утреннюю молитву, хлестала по щекам, кормила, отводила в хедер, приводила домой, опять хлестала по щекам, кормила, читала с ними молитву перед отходом ко сну, снова хлестала по щекам и укладывала спать всех вместе, — пусть это вас не смущает, — в одну кровать. Сама она укладывалась у них в ногах.

Горькой, как изгнание, была для детей служанка Фрума, и ее свадьба для них оказалась настоящим праздником. Долгие годы ему, этому Юделю-плуту с копной курчавых волос, густо смазанных гусиным салом, и со сросшимися ноздрями, которые и не придумаешь, как высморкать, будь ты семи пядей во лбу! Долгие годы ему за то, что он решился (вот сумасшедший!) жениться на кривой Фруме! И женился он не просто так, а «по любви»; ну конечно, не за рябое лицо и кривой глаз так пылко он полюбил ее, — упаси бог! — а за честь породниться с Нохумом Вевиковым. Шутка ли — такое родство! Сама Хая-Эстер, мать Шолома, справляла свадьбу, была главной кумой, пекла

коврижки, доставила музыкантов из Березани, затем плясала, веселилась до утра, пока совсем не охрипла.

Ну и нахохотались и наплясались же тогда ребята! Радовались мы, понятно, не столько тому, что пройдоха и плут женится на нашей кривой служанке, сколько тому, что избавляемся от Фрумы на веки вечные. Немало посмеялись, между прочим, и когда «сорванец» передразнивал счастливую чету — жениха, как он свистит носом, и невесту, как она посматривает на жениха единственным глазком и облизывается, словно кошка, отведавшая сметаны.

Копировать, подражать, передразнивать — на это наш Шолом был мастер. Увидев кого-нибудь в первый раз, тут же находил в нем что-либо неладное, смешное, сразу надувался, как пузырь, и начинал его изображать. Ребята покатывались со смеху. А родители постоянно жаловались учителю, что мальчишка передразнивает всех на свете, точно обезьяна. Надо его от этого отучить.

Учитель не раз принимался «отучать» Шолома, но толку от этого было мало. В ребенка словно бес вселился: он передразнивал решительно всех, даже самого учителя — как он нюхает табак и как семенит короткими ножками, — и жену учителя — как она запинается, краснеет и подмигивает одним глазком, выпрашивая у мужа деньги, чтобы справить субботу, и говорит она не «суббота», а «шабота». Сыпались тумачи, летели оплеухи, свистели розги! Ох и розги! Какие розги!

Веселая была жизнь!

#### 4

#### СИРОТА ШМУЛИК

*Сказки, фантазии и сны. — Кабала\* и колдовство*

Есть лица, которые как бы созданы для того, чтобы очаровывать с первого взгляда. «Любите меня!» — говорит вам такое лицо, и вы начинаете его любить, не зная за что.

Такое милое личико было у сироты Шмулика, мальчика без отца и матери, который жил у раввина.

К этому Шмулику и привязался Шолом, сын Нохума Вевикова, герой нашего жизнеописания, с первой же минуты их знакомства и делился с ним своими завтра-

ками и обедами. Он подружился, да еще как подружился с ним — души в нем не чаял! И все из-за сказок!

Никто не знал столько сказок, сколько Шмулик. Но знать сказки — это еще не все. Нужно еще уметь их рассказывать. А Шмулик умел рассказывать, как никто.

Откуда только этот забавный паренек с розовыми щечками и мечтательными глазами брал столько сказок, прекрасных, увлекательных, полных таких редкостных, фантастических образов! Слышал ли он их от кого-нибудь или сам выдумывал — до сих пор не могу понять. Знаю только одно: они струились у него, словно из источника, неисчерпаемого источника. И рассказ шел у него гладко, как по маслу, тянулся, как бесконечная шелковая нить. И сладостен был его голос, сладостна была его речь, точно мед. А щеки загорались, глаза подергивались легкой дымкой, становились задумчивыми, влажными.

Забравшись в пятницу после хедера или в субботу после обеда, а иной раз в праздник под вечер на высокую воронковскую гору, «вершина которой почти достигает облаков», товарищи ложились в траву либо ничком, либо на спину, лицом к небу, а Шмулик принимался рассказывать сказку за сказкой о царевиче и царевне, о равнине и равнине, о принце и его ученой собаке, о принцессе в хрустальном дворце, о двенадцати лесных разбойниках, о корабле, который отправился в Ледовитый океан, и о папе римском, затеявшем диспут с великими раввинами; и сказки про зверей, бесов, духов, чертей-пересмешников, колдунов, карликов, вурдалаков; про чудовище пипернотер — получеловека-полузверя и про люстру из Праги. И кажется, сказка имела свой аромат, и все они были полны особого очарования.

Товарищ его, Шолом, слушал развесив уши и разинув рот, пожирая глазами занятого паренька с розовыми щечками и влажными мечтательными глазами.

— Откуда ты все это знаешь, Шмулик?

— Глупый ты, это все пустяки! Я еще знаю, как нацедить вина из стены и масла из потолка.

— Как же это можно нацедить вина из стены и масла из потолка?

— Глупый ты, и это чепуха! Я даже знаю, как делают золото из песка, а из черепков — алмазы и бриллианты.

— А как это делают?

— Как? А с помощью кабалы! Наш раввин ведь кабалист, кто этого не знает! Он никогда не спит.

— Что же он делает?

— Ночью, когда все спят, он один бодрствует. Сидит и занимается кабалой.

— А ты видел?

— Как же я мог это видеть, если спал?

— Откуда же ты знаешь, что он занимается кабалой?

— А кто этого не знает! Даже малые дети знают. Спроси кого хочешь. То, что может сделать наш раввин, не сделает никто. Захочет — и перед ним откроются все двенадцать колодцев с живым серебром и все тринадцать садов чистого шафрана: и золота, и серебра, и алмазов, и брильянтов там как песку на дне морском... Так много, что и брать не хочется!..

— Почему же ты всегда голоден и почему у раввина никогда нет денег на субботу?

— Так! Потому что он не хочет. Он «кающийся». Он хочет отстрадать на этом свете. Стоило бы ему только захотеть, и он был бы богат, как Корей\*, тысячу Ротшильдов заткнул бы за пояс, потому что он знает, как можно разбогатеть. Ему открыты все тайны, он даже знает, где зарыт клад.

— А где зарыт клад?

— Умница! Откуда мне знать? Если б я знал, где зарыт клад, я бы сказал тебе давно. Пришел бы среди ночи и разбудил: «Идем, Шолом! Наберем полные пригоршни золота и набьем этим золотом карманы!»

И стоило Шмулику заговорить о кладе, как его мечтательные глаза загорались, и сам он весь преображался, пылал костром, так что и товарища своего зажигал. Шмулик говорил, а Шолом смотрел ему в рот и жадно глотал каждое слово.

## 5

### клады

*Что такое клад. — Легенда времен Хмельницкого. — Чудодейственные камни*

Что в нашем местечке действительно находится клад, не могло быть никакого сомнения.

Откуда он взялся? Это Хмельницкий... Хмельницкий зарыл его здесь в давние времена. Тысячи лет люди

копили и копили богатства, пока не пришел Хмельницкий и не припрятал их.

— А кто такой Хмельницкий?

— Не знаешь Хмельницкого? Глупый ты! Хмельницкий... Он был очень злой. Он был еще до времен Хмельницкого... Это ведь и маленькие дети знают. И вот Хмельницкий забрал у тогдашних помещиков и у богатых евреев милли... миллионы золота и привез к нам сюда, в Воронку, и здесь однажды ночью при свете луны зарыл по ту сторону синагоги, глубоко, глубоко в землю. И это место травой заросло и заклятьем заклято, чтобы никто из рода человеческого его не нашел.

— И все добро пропало навсегда, на веки веков?

— Кто тебе сказал, что навсегда, на веки веков? А зачем тогда бог создал кабалу? Кабалисты, глупенький, знают такое средство.

— Какое средство?

— Они уж знают! Они знают такое слово, и стих такой есть в псалмах, который нужно произнести сорок раз по сорок.

— Какой стих?

— Э, глупенький, если б я знал этот стих! Да и знай я его — это тоже не так просто. Нужно сорок дней не есть и не пить, и каждый день читать по сорок псалмов из псалтыря, и на сорок первый день, сразу же после того как солнце сядет, выскользнуть из дому. Да так ловко, чтобы никто тебя не заметил, потому что если кто-нибудь, не дай бог, увидит, то нужно будет начинать все с начала — опять не есть и не пить сорок дней. И только тогда, если тебе повезет и никто тебя не встретит, ты должен пойти темной ночью в начале месяца на склон горы, по ту сторону синагоги, и там простоять сорок минут на одной ноге, считая сорок раз по сорок, и, если не ошибешься в счете, клад тебе сам откроется.

И сирота Шмулик вполне серьезно поверяет своему товарищу Шолому тайну клада, и голос его становится все тише, тише, и говорит он, точно читает по книге, не останавливаясь ни на мгновение:

— И откроется тебе клад огоньком, малюсеньким огоньком. И когда огонек покажется, ты должен сразу подойти к нему, только не бойся обжечься, — огонек этот светит, но не жжет, и тебе останется только нагнуться и загребать полными пригоршнями. — Шмулик

показывает обеими руками, как нужно загребать золото, и серебро, и алмазы, и брильянты, и камни, такие, которые носят название «кадкод»\*, и такие, которые называются «яшпе»\*.

— А какая между ними разница?

— Э, глупенький, большая разница! «Кадкод» — это такой камень, который светит в темноте, как «стриновая» свеча, а «яшпе» все может; «яшпе» превращает черное в белое, красное — в желтое, зеленое — в синее, делает мокрое сухим, голодного — сытым, старого — молодым, мертвого — живым... Нужно только потереть им правый лацкан и сказать: «Пусть явится, пусть явится предо мной хороший завтрак!» И появится перед тобой серебряный поднос, а на подносе две пары жареных голубей и свеженькие лепешки из крупчатки первый сорт. Или же сказать: «Пусть явится, пусть явится предо мной хороший обед!» И появится перед тобой золотой поднос с царской едой — всевозможные кушанья: жареные языки, фаршированные шейки; их вкусный запах приятно щекочет ноздри. Перед твоими глазами вырастут свежие поджаристые плетеные калачи и вина, сколько хочешь, самых лучших сортов, и орешки, и рожки, и конфет много, так много, ешь — не хочу!

Шмулик отворачивается и сплевывает. И Шолом видит по его пересохшим губам, по его бледному лицу, что он не отказался бы отведать ломтик жареного языка, фаршированной шейки или хотя бы кусочек калача... И Шолом дает себе слово завтра же вынести ему в кармане несколько орехов, рожков и конфету, которые он попросту стащит у матери в лавке. А пока он просит Шмулика рассказывать еще и еще. И Шмулик не заставляет себя просить, он оттирает губы и рассказывает дальше:

— И когда ты насытишься всеми этими яствами и запьешь их лучшими винами, ты потрешь камешком свой лацкан и скажешь: «Пусть явится, пусть явится предо мной мягкая постель!» И вот уже стоит кровать из слоновой кости, украшенная золотом, с мягкой постелью и шелковыми подушками, накрытая атласным одеялом. Ты растянешься на ней и уснешь. И приснятся тебе ангелы, херувимы и серафимы, верхний и нижний рай...\* Или же потрешь камешком лацкан и поднимешься высоко-высоко, до самых облаков, и полетишь, как орел, высоко-высоко! Далеко-далеко!..

Отразились ли когда-нибудь удивительные сказки бедного сироты на произведениях его друга Шолома, когда Шолом, сын Нохума Вевикова, стал Шолом-Алейхемом, — трудно сказать. Одно ясно. Шмулик обогатил его фантазию, расширил кругозор. Грезы и мечты Шмулика о кладках, о чудодейственных камнях и тому подобных прекрасных вещах и до сих пор дороги его сердцу. Возможно, в другой форме, в других образах, но они живут в нем и по нынешний день.

6

РАВВИН В РАЮ

*Дружба Давида и Ионафана\*.* — *Рыба Левиафан и бык-великан\*.* — *Как выглядят праведники на том свете*

Прекрасные, чудесные сказки сироты Шмулика совершенно очаровали его юного друга и привели к тому, что принцы и принцессы являлись ему по ночам, будили, тянули его за рукав, звали: «Вставай, Шолом, одевайся, идем с нами!..» Однако не только во сне — и наяву он теперь почти все время пребывал среди принцев и принцесс... где-нибудь в хрустальном дворце, или на Ледовитом океане, или на острове, населенном дикарями. А то оказывался в нижнем раю, где двенадцать колодцев с живым серебром\* и тринадцать шафрановых садов, а серебро и золото валяются, точно мусор; или же он вдруг поднимался с помощью камешка «яшпе» высоко за облака... Дело зашло так далеко, что он начал бредить, видел все это на каждом шагу.

Нескольких сложенных во дворе бревен было достаточно, чтобы он, взобравшись на них, вообразил себя на острове; сам он принц, гуси и утки, разгуливающие по двору, — дикари-людоеды, и он над ними владыка, волен гнать их куда угодно, делать с ними что угодно, потому что они его подданные... Случайно найденный осколок стекла его воображение превращало в чудодейственный камень «кадкод»... Простой камешек, подобранный с земли, заставлял задуматься: а не «яшпе» ли это? Он потихоньку натирал камешком правый лацкан и говорил, как Шмулик: «Пусть явится, пусть явится...»



Однако самое сильное впечатление производили на Шолома сказки Шмулика о кладах. Шолом был более чем уверен, что не сегодня-завтра клад ему откроется. Все золото он, конечно, отдаст отцу и матери. Отец не будет тогда так озабочен и поглощен делами. Матери не придется мерзнуть по целым дням в лавке. Силюю камня «яшпе» он построит им хрустальный дворец, окруженный шафрановым садом. А посреди сада он выроет колодец с живым серебром. Ученая собака будет охранять вход, чудовище пипернотер, лешие и дикие кошки будут лазить по деревьям. А он сам — принц — станет щедрой рукой раздавать милостыню воронковским беднякам: большое подаяние, маленькое подаяние, — каждому такое, какое он заслужил.

Трудно было себе представить, что два таких любящих друга, как Шолом, сын Нохума Вевикова, и сирота Шмулик должны будут расстаться навеки... Во-первых, с какой стати друзьям вообще разлучаться? Кроме того, они ведь поклялись перед богом, целовали щипс, что один без другого никогда никуда не уедет и, что бы с каждым из них ни случилось, куда бы их ни забросило, они будут всегда жить душа в душу. Это была дружба Давида с Ионафаном. Но кто мог предположить, что раввин, правда уже глубокий старик лет семидесяти, вдруг ни с того ни с сего ляжет и помрет и сирота Шмулик уедет со вдовой раввина в какое-то местечко, бог весть куда, в Херсонскую губернию, и бесследно исчезнет, точно никогда никакого Шмулика и на свете не было.

Однако то, что говорится, не так просто делается. Вы думаете, так просто раввин ложится и помирает? Наш раввин, который всегда был хилым, болезненным от постоянных постов и воздержаний, на старости лет слег в постель, пролежал больше года парализованный, без еды и питья, все время читал священные и душеспасительные книги, молился и боролся с ангелом смерти\*.

Шмулик рассказывал своему товарищу и клялся при этом всевозможными клятвами, что каждый день в сумерки, между предвечерней и вечерней молитвами, влетает через щель в окне черный ангел, становится у раввина в изголовье и ждет, не перестанет ли он молиться, тогда он ему сделает «хик!». Но раввин хитрей его; он ни на секунду не перестает молиться: либо молится, либо читает священную книгу.

— Как же он выглядит?

— Кто?

— Ангел смерти.

— Откуда мне знать?

— Ты ведь говоришь, что он приходит, значит, ты его видел.

— Глупый ты, кто видит ангела смерти, тот не жилец на свете. Как же я мог его видеть!

— Откуда же ты знаешь, что он приходит?

— Вот тебе раз! А как же! Он, думаешь, станет ждать приглашения?

Смерть раввина превратилась в праздник для наших друзей. Похороны были такие пышные, какие может себе позволить только раввин в маленьком местечке. Лавки были закрыты, хедеры распушены, и весь «город» пошел его провожать.

На обратном пути наши задушевные друзья — Давид и Ионафан — оказались в хвосте. Взявшись за руки, они шли не спеша, чтобы вдоволь наговориться. А поговорить было о чем: о смерти раввина, о том, как он явится на тот свет, как его там встретят у врат рая, как примут и кто выйдет почтить его прибытие.

Шмулик знал все, даже то, что делается «там». И обо всем говорил так, словно собственными глазами видел. Выходило, что раввин вовсе не умер, он только перенесся в другой мир, в лучший мир, где его ждали — с рыбой Левиафаном, с быком-великаном, с заветным вином и со всей райской благодатью. О, там он узнает настоящую жизнь, новую, счастливую жизнь в великолепных райских садах вместе с такими вельможами, как Авраам, Исаак и Иаков, Иосиф Прекрасный, Моисей и Аарон, царь Давид, царь Соломон, пророк Илья\* и Маймонид\*, Бал-Шем-Тов\*, ружинский чудотворец\*. Как живых изобразил их Шмулик, как живые стояли они перед глазами — у каждого свое лицо и свой облик: праотец Авраам — старец с седой бородой, Исаак — длинный и худой, праотец Иаков — болезненный и сутуловатый, Иосиф — «красавец», пророк Моисей — низкорослый, но зато широколобый, первосвященник Аарон — высокий, с длинным посохом из бамбука в руках, царь Давид — со скрипкой, царь Соломон — в золотой короне, Илья-пророк — бедный еврей, Маймонид — франтоватый мужчина с круглой бородой, Бал-Шем-Тов — обыкновенный человек с обыкновенной палкой,

ружинский чудотворец — почтенный человек в шелковом кафтане.

Разбирало желание повидаться со всеми этими лицами. Очень хотелось побыть с ними там, в раю, отведать хоть кусочек Левиафана или быка-великана, выпить хоть глоток заветного вина. Можно было позавидовать раввину, который живет там в свое удовольствие. Мы совсем забыли, что его только что опустили в тесную, холодную могилу, засыпали липкой черной землей, заровняли могилу деревянными лопатами и сам Шмулик прочел над ним заупокойную молитву, потому что раввин был бездетным\*, да минет такая беда и вас и всякого.

## 7

### ШМУЛИК ИСЧЕЗАЕТ

*Давид и Ионафан разлучаются навеки. — Тайна клада. —  
Потеря товарища*

Все семь дней траура, которые справляла раввинша, Шмулик бродил в одиночестве по городу с видом сироты, вторично осиротевшего. Он с нетерпением ждал вечера, когда детей отпускают из хедеров, — тогда уж он сможет повидаться со своим товарищем Шоломом, еще больше привязавшимся к нему с тех пор, как скончался раввин. Оба друга как бы инстинктивно чувствовали, что вскоре им придется расстаться. Как это случится, они еще сами не знали, да и не хотели знать. Поэтому они старались все вечера проводить вместе, быть как можно ближе друг к другу.

К счастью, время стояло летнее. А летом в хедере по вечерам не учатся. Можно забраться вдвоем в сад Нохума Вевикова и просидеть там под грушей, беседуя, и час, и два, и три. Можно и за город пройтись, далеко-далеко за мельницы, только бы не встретились им крестьянские ребятишки и не натравили на них собак.

Там, за мельницами, приятели могли наговориться вдоволь. А поговорить было о чем. Обоих интересовало одно: что будет, если Шмулику придется уехать. Шмулик слышал, что вдова раввина собирается куда-то далеко, в Херсонскую губернию. У нее там сестра, которая пишет, чтобы она приехала. А раз едет вдова рав-

вина, значит, и Шмулик едет. Что он здесь будет делать один? Ему даже негде голову приклонить.

Он, разумеется, едет ненадолго, и во всяком случае, не навсегда. Как только приедет на место, сразу сядет за изучение кабалы. Постигнув тайну тайн, он вернется в Воронку и примется за дело — станет искать клад. Он не будет ни есть, ни пить сорок дней, каждый день будет читать по сорок псалмов, а на сорок первый день тайком выберется из дому, так, чтобы никто не заметил, отсчитает сорок раз по сорок, стоя на одной ноге сорок минут по часам.

— А откуда у тебя часы?

— Теперь их у меня нет, а тогда будут.

— Где ж ты их возьмешь?

— Где я их возьму? Украду. Какое тебе до этого дело?

Шолом заглядывает своему товарищу в глаза. Шолом боится, не обидел ли он его, не сердится ли он. Но Шмулик не такой товарищ, которого можно потерять из-за одного слова. И Шмулик не перестает рассказывать о том, что будет, когда они вырастут и станут взрослыми. Чего только не сделают они в этом городе, как осчастливят они воронковцев! Речь его льется, как масло, и тянется, словно сладчайший мед. И не хочется уходить домой в эту теплую летнюю, чарующую ночь. Но уходить нужно, нужно идти домой спать, иначе влетит. И друзья прощаются до завтра.

Но прошло одно завтра, и второе завтра, и еще одно — а Шмулика нет! Где же он? Уехал вместе со вдовой раввина в Херсонскую губернию. Когда? Каким образом? Даже не простившись?!

Растерянный, ошеломленный, остался Шолом один, один как перст. Уехал лучший друг, самый любимый, самый дорогой. Уехал! Помрачнел белый свет. Опустела жизнь: к чему жить, если нет Шмулика! Оставленный друг почувствовал странное стеснение в горле, защемило в груди. Забившись в угол, он долго-долго плакал.

Как вы думаете: жив ли еще этот занятный паренек с мечтательными глазами, с милой чарующей речью, которая льется, как масло, и тянется, как сладчайший мед? Где он теперь и кто он такой? Проповедник? Раввин? Меламед? \* Купец? Лавочник? Маклер? Или просто бедняк, нищий и убогий? А может быть, его занесло в страну золота, в Америку, где он «делает жизнь». Или,

быть может, он уже покоится там, где все мы будем покоиться через сто лет на радость червям.

Кто знает, кто слышал что-нибудь о нем — откликнитесь!

8

МЕЕР ИЗ МЕДВЕДЕВКИ

*Новый приятель, умеющий петь. — Проказники-мальчишки из хедера играют в «театр». — Из босоногого сорванца вырастает знаменитый артист*

Долго печалиться и оплакивать своего утерянного друга Шолому не пришлось. Бог вознаградил его и вскоре послал нового товарища.

Случилось это так: поскольку старый раввин умер и местечко осталось без раввина, Нохум Вевиков бросил все дела и отправился в соседнее местечко Ракитное, в котором жил раввин — знаменитость по имени Хаим из Медведевки. Его-то Нохум Вевиков и привез в Воронку. Новый раввин привел в восторг все местечко. Ибо, помимо того что он был глубоким знатоком Талмуда, богобоязненным человеком и сведущим в пении, он был еще и большим бедняком, а поэтому попутно взялся обучать старших детей уважаемых горожан.

Тем не менее старому меламену Зораху не отказывали — упаси бог! Как можно ни с того ни с сего отнять у человека хлеб? И Зорах остался учителем Библии и письма (еврейского, русского, немецкого, французского и латинского, хотя ни сам учитель, ни дети не имели никакого представления о всех этих языках). Талмуду же обучались у нового раввина. И хотя Шолом, сын Нохума Вевикова, этот «бездельник», упорно не хотел расти, его все же приняли в старшую группу. Новый раввин, испытав его в Пятикнижии и в толкованиях к нему, потрепал Шолома по щеке и сказал: «Молодец парнишка». Отцу же он заявил, что грешно держать такого малого на сухой Библии, нужно засадить его за Талмуд! «Ничего, ему не повредит!»

Отец, понятно, был весьма горд этим, но малый радовался не столько Талмуду, сколько тому, что сидит вместе со старшими. Он важничал и задира л нос.

Реб Хаим, раввин из Ракитного, приехал не один, с ним было два сына. Первый, Авремл, уже женатый

молодой человек с большим кадыком, обладал хорошим голосом и умел петь у анаоя; у второго, Меера, тоже был приятный голосок и большой кадык, но что касается учения — не голова, а кочан капусты. Впрочем, он был не столько туп, сколько большой бездельник. С ним-то вскоре и подружился наш Шолом. Мальчик из Ракитного, да еще сын раввина, — это ведь не шутка! К тому же Меер обладал талантом: он пел песенки, да еще какие! Однако был у него и недостаток — свойство настоящего артиста: он не любил петь бесплатно. Хотите слушать пение — будьте любезны, платите! По грошу за песню. Нет денег — и яблоко сойдет, по нужде — и пол-яблока, несколько слив, кусок конфеты — только не бесплатно! Зато пел он такие песни, таким чудесным голосом и с таким чувством, — честное слово, куда там Собинову, Карузо, Шаляпину, Сироте\* и всем прочим знаменитостям!

Выхожу я на Виленскую улицу,  
Слышу крик и шум,  
Ох, ох,  
Плач и вздох!..

Мальчишки слушали, изумлялись, таяли от удовольствия — а он хоть бы что! Настоящий Иоселе-соловей\*. А как он пел молитвы! Однажды, когда учитель, отец его, раввин реб Хаим, вышел на минутку из комнаты, Меер стал лицом к стене, накинул на себя вместо талеса скатерть и, ухватившись рукой за кадык, совсем как кантор, начал выкрикивать скороговоркой слова молитвы «Царь всевышний восседает», а затем закончил во весь голос: «Именем бога воззвал!» Тут-то и появился учитель:

— Это что за канторские штучки? А ну-ка, выродок, ложись на скамейку, вот так!..

И началась экзекуция.

Но Меер из Медведевки отличался не только в пении, у него была еще одна страсть — представлять, играть комедии. Он изображал «Продажу Иосифа»\*, «Исход из Египта», «Десять казней», «Пророк Моисей со скрижалями»\* и тому подобное.

Вот он босой, с подвернутыми штанами, заткнув кухонный нож за отцовский кушак, изображает разбойника с большущей дубиной в руке. А глаза! Господи создатель — совсем как у разбойника! А Шолом играл бедного еврея. Опираясь на толстую палку с заменяющей горб подушкой на спине, в шапке, вывернутой на-

изнанку, пошел он, бедняга, просить милостыню и заблудился в лесу. Лес — это ребята. И Шолом — нищий ходит между деревьями, опираясь на свою палку, ищет дорогу и встречается с разбойником Меером. Разбойник выхватывает из-за кушака нож и подступает к нему, распевая по-русски:

Давай де-е-ньги!  
Давай де-е-ньги!

Бедняк — Шолом слезно просит его сжалиться если не над ним, так над его женой и детьми. Она останется вдовой, а дети — сиротами. Разбойник Меер хватает его за горло, кидает на землю... Но тут приходит учитель — и начинается:

— Ну, положим, этот, — он показывает на своего собственного сына, — так ведь он негодяй, бездельник, вероотступник. Но ты, сын Нохума Вевикова, разве он тебе ровня, этот выкрест!

Наш учитель, раввин реб Хаим, был в какой-то степени провидцем: много лет спустя его сын, Меер из Медведевки, ставший знаменитым артистом Медведевым, действительно переменял веру. Впрочем, нужно сказать, что заповедь: «Чти отца своего» — он выполнял, как добрый еврей, самым достойным образом: он купил дом в Ракитном для своего старого бедняка отца, «косыпал старика золотом», приезжал к нему каждое лето, привозил подарки для всей родни. И раввин реб Хаим, не знавший, что сотворил его сын для того, чтобы называться «артистом императорских театров», имел счастливую старость. Но возвращаемся снова к детству, когда Меер из Медведевки еще не предполагал, даже во сне не видел, что он будет когда-нибудь называться Михаилом Ефимовичем Медведевым и прославится на весь мир.

## 9

### ПОТЕРЯН ЕЩЕ ОДИН ТОВАРИЩ

*Трясем грушу — получаем розги. — Учимся воровать. — Тишебов\* у попа в саду. — Экзекуция*

Не удивительно, что приятели, Меер и Шолом, сильно привязались друг к другу. Между ними возникло некоторое родство душ, словно они предчувствовали

общность своей судьбы. И предчувствие их не совсем обмануло. Лет двадцать спустя, когда они встретились (это было в Белой Церкви, Киевской губернии, как это мы дальше увидим), один из них был уже знаменитым артистом Медведевым, а другой писал фельетоны в «Идишес фолксблат» \* под псевдонимом «Шолом-Алейхем».

Но возвратимся снова к их детству, когда один из них назывался Меер из Медведевки, а другой — Шолом, сын Нохума Вевикова, и оба они бегали босиком по воронковским улицам вместе с другими детьми. Нужно сказать правду, друзья не проявляли большого рвения ни к науке, которую раввин Хаим из Медведевки вколачивал им в головы, ни к благочестию, которое он им прививал. Их больше привлекали иные занятия. Например, обрывать зеленый крыжовник, трясти грушу или сливу, пусть даже в собственном саду. Это доставляло им гораздо больше удовольствия, чем корпеть над Талмудом, с усердием молиться или читать псалмы, чего требовал от своих учеников раввин Хаим.

— Талмуд не коза, никуда не убежит! Пропустишь молитву — бог простит, ну, а псалмы пусть читают старики.

Так наставлял Меер из Медведевки своего приятеля, Шолома, и обучал его, как взобраться одним махом на самое высокое дерево или как подпрыгнуть и схватить вишневую ветку так, чтобы вишни сами в рот полезли. А если губы почернеют и по кончикам пальцев видно будет, что вы рвали вишни, — ну что ж! Высекут — только и всего.

Быть высеченным в хедере было так обычно для ребят, что они даже не чувствовали никакого стыда, о боли и говорить нечего! Что за беда, если ты получишь от учителя порцию «макарон»! До свадьбы заживет. Стыдно было только тому, кто уже был женихом. Да и то боялся он лишь одного, как бы об этом не проведала невеста; и не столько невеста, как ее подружки, которые потом будут дразнить: «Жених с поротым... извините!»

Меер еще не был женихом и ничего не боялся. Поэтому он и вел своего товарища по «праведному пути»: учил его комкать молитвы, таскать в лавке из-под носа у матери рожки, конфеты, деревенские пряники и другие лакомства. Это не называлось, упаси бог, воровать, а только «брать», — за это на том свете не карают...



Все, вероятно, сошло бы гладко, если бы с Меером не стряслась беда: бедняжка, одолев забор, забрался в поповский сад и насовал за пазуху груш. Но тут его увидела в окно поповна. Выскочил поп с собакой и поймал его. Собака порвала Мееру, простите за выражение, штаны, а поп сорвал с него шапку, затем отпустил на все четыре стороны.

И это было бы небольшим несчастьем, не случись оно в тишебов. Как! Все евреи ходят разутые, в одних чулках, рыдают, оплакивают разрушение храма, а он, сынок раввина Хаима, разгуливает без шапки и в разодранных штанах!

Экзекуция, которую выдержал бедняга, не поддается описанию в наш век чистого прогресса. Но это бы с полбеды. Главное, что Шолома забрали из хедера, а глядя на Нохума Вевикова, и другие отцы забрали своих детей. И бедняга раввин остался без приработка. Профессии же раввина и кантора приносили малый доход. Таким образом, он был вынужден возвратиться в Ракитное. Местечко снова осталось без раввина.

Однако не беспокойтесь — ненадолго. Нохум Везиков привез из Борисполя нового раввина, молодого, по имени Шмуел-Эля, который тоже был человеком знающим, хорошо пел и к тому же мастерски играл в шахматы. Одним лишь недостатком обладал этот Шмуел-Эля. Он был немного интриганом и льстецом, к тому же любил, когда никто не видит, поболтать с молоденькой женщиной.

Вот так наш герой потерял второго товарища.

## 10

### ПРИЯТЕЛЬ СЕРКО

*Собака мудрая и благовоспитанная. — Сострадание к живому существу. — Оборотень. — Верный товарищ*

Я думаю, по одному имени уже нетрудно догадаться, что Серко не человек, а пес, самый обыкновенный серый пес, почему его и назвали Серко.

Я говорю: обыкновенный пес, но вынужден тут же оговориться — нет, не обыкновенный, как мы в этом скоро и убедимся. Но прежде нужно в нескольких словах рассказать биографию этого пса. Откуда у еврея пес? История такова.

Когда Нохум Вевиков приехал из города в местечко и принял «почту», почтовый двор со всем инвентарем, во дворе оказалась и собака, совсем еще молодая, но очень понятливая, смышленная, настолько смышленная, что сразу же признала новых хозяев. Это во-первых. А во-вторых, к евреям она питала особое уважение, не кидалась на них, упаси бог, подобно другим, которые свирепеют, как только завидят длиннополый сюртук.

Само собой понятно, что новым хозяевам Серко не навязывал своего общества, в дом и носа не показывал. Очевидно, ему своевременно намекнули поленом по голове, что в еврейском доме собаке не место.

Путь в кухню тоже был ему закрыт. Кривая Фрума отвадила его всего лишь одним горшком кипятку, которым она вполне добродушно, даже посмеиваясь, обдала его однажды в канун субботы.

Ах, эта Фрума! Злодейское сердце было у девки! Она не выносила ни кошек, ни собак. Однажды Шолом с трудом вызволил из ее рук кошку, которую она привязала к ножке стола и так немилосердно колотила венником, что крики несчастного создания возносились к небу.

— Фрумену, голубушка, сердце мое, что ты делаешь? Жалко ведь! Бог тебя накажет! Лучше бей меня, меня бей, только не кошку! — умолял Шолом, подставляя деспотической девице собственную спину. Опомнившись, Фрума сама увидела, что слишком жестоко обошлась с кошкой, стала отливать ее холодной водой и еле-еле отходила животное.

И все это произошло, думаете, из-за чего? Из-за пустяка. Кошка облизывалась, и Фрума решила, что «лакомка» (иначе она ее не называла) стащила что-то со стола. С чего бы это кошке ни с того ни с сего облизываться? Фрума всех и каждого подозревала в чем-либо: если это кошка, значит, лакомка, собака — пакостница, мужик — вор, ребенок — свинтус... И так все, весь мир! Но вернемся к Серко.

Изгнанная с позором из дому и из кухни, другая собака на его месте наверняка ушла бы со двора — живите себе сто двадцать лет без меня! Но Серко был не таков. Зная, что ему грозит смерть, он и то не ушел бы. Здесь он родился, здесь и околеет. Тем более что у него были такие заступники, как хозяйские дети. Он снискал расположение в их глазах, хотя Фрума всячески стара-

лась его опозорить. Многие собаки позавидовали бы харчам и обращению с ним ребят. Они выносили ему в карманах все, что могли найти самого лучшего и самого вкусного в доме. Понятно, тайком, чтобы никто не видел и даже не заподозрил, потому что это могло плохо кончиться и для детей и для собаки. Серко точно определял время завтрака, обеда и ужина и высматривал, когда ему вынесут лакомый кусочек. Он даже знал, что у кого в кармане, и тыкался туда мордой. Мудрая собака!

А фокусы, которым его научили ребята! Например, ему клали на кончик носа обглоданную косточку или кусок хлеба и говорили: «Не рушь!» (понятно, с собакой не говорят по-еврейски). И Серко был готов терпеливо ждать сколько угодно, пока не услышит долгожданное: «Гам!» Тогда он подпрыгивал и — готово!

В долгие зимние вечера Серко никак не мог дождаться своих приятелей. Постоянно часов в девять вечера он появлялся под окном хедера и начинал скрести лапами по замерзшим стеклам в знак того, что надо закрывать книги и идти домой ужинать. Учителю Серко служил чем-то вроде часов. «Ваша собака, — говорил он, — не иначе как оборотень», — и отпускал ребят, которые, взяв свои фонарики из промасленной бумаги, шли домой, весело распевая залихватские «солдатские» песни:

Раз, два, три, четыре,  
Пойдем, пойдем на квартиры,  
Ахтыр-быхтыр колышка,  
Восемь денег, рябочка...

Или:

Пора, пора!  
Пора выбиратья  
И со всеми господами  
Распрощаться пора!

Серко бежал впереди и от избытка чувств прыгал, катался по снегу. И все это в надежде на хлебные корки и обглоданные кости, которые достанутся ему после ужина. Мудрая собака!

Сколько раз случалось, на сердце у героя грустно, тоскливо — дома дали взбучку, в хедере еще добавили. Шолом забирался в глубь сада, а с ним и Серко. Там, за плетнем, на куче мусора он садился со своим верным другом, который тянулся к нему мордой, заглядывал заискивающе в глаза, как провинившийся человек. «Чего

он смотрит? — размышлял Шолом. — О чем думает в эту минуту? Понимает ли все, как человек? Имеет ли он душу, подобно человеку?» И ему приходили на ум слова учителя: «Собака эта — оборотень». А царь Соломон в «Екклесиасте» \* сказал: «И нет у человека преимущества пред скотом». «Но если нет преимущества, почему же Серко собака, а я человек?» — думал Шолом, глядя с состраданием и в то же время с уважением на собаку. А собака глядела на него, как равная... Собака — друг! Дорогой, преданный друг Серко!

## 11

### ТРАГЕДИЯ СЕРКО

*Гнусный поклеп. — Страдания невинной собаки. — Горькие слезы*

Не будет преувеличением, если я скажу, что Серко был умный пес, хорошо понимавший, кто его больше всех любит, и поэтому не удивительно, что он привязался к автору этой книги больше, чем к другим ребятам. Серко безмолвно заключил с ним дружеский союз и любил его самоотверженно, был готов пожертвовать собой для своего друга и господина. Бессловесная тварь, он не мог высказать свои чувства, передать их словами и выражал свою преданность по-собачьи, прыгая, визжа и кувыркаясь по земле на свой собачий манер. Достаточно было одного слова, стоило его другу и господину приказать: «На место!» — и Серко, послушно удалившись, ложился смиренно, как котенок, и только одним глазком следил за тем, что делает его господин.

Между «господином» и «рабом» была нежная любовь, и «господин» никак не мог себе представить, что с ним будет, если Серко вдруг не станет. Как это — не станет? Возможно ли? Серко ведь не человек, который может навсегда уехать, даже не попрощавшись. Сколько раз крестьяне пытались заманить Серко к себе в деревню — разве он не прибегал наутро, запыхавшийся, с высунутым языком, не катался по земле, не кидался на шею своему господину, не визжал и не лизал воротник! Можно было поклясться, что слезы стоят у него в глазах!

И все же... и все же настал день, мрачный, тяжелый день, когда добрый, верный Серко ушел, ушел навсегда, навеки и так неожиданно, так нелепо, так трагично.

Случилась эта печальная история летом, в месяц гамуз\*. Было исключительно жаркое лето, без дождей, люди изнывали от зноя. А ведь известно, что в сильную жару собаки опасны — они бесятся.

По местечку пошел слух, что взбесилась какая-то собака и искусала нескольких собак, каких — неизвестно. Жителей охватил ужас, и они стали принимать меры, чтобы предохранить малых детей, — а вдруг кого-нибудь из них, упаси бог, искусает бешеная собака.

Меры эти заключались в том, что детей отводили к старому знахарю Трофиму, у которого были острые ногти. Своими ногтями он «вытаскивал синих собачек» из-под языка у детей и делал это так искусно, что дети ничего не чувствовали. Операция, конечно, не столь опасная, но особого удовольствия это не доставляет, когда лезут к вам в рот и ногтями ищут «синих собачек» под языком...

Потом принялись за городских собак. Привезли бог знает откуда двух собачников, вооруженных толстыми веревками и железными крючьями. И они принялись за работу. В один день эти палачи уничтожили до двух десятков собак. Они на глаз определяли, какая собака бешеная и какая здоровая. Кто мог ожидать, что жребий падет и на доброго, умного, смирного Серко.

Можно предполагать, что собачники получали от города плату с каждой пойманной собаки. А если так, то вполне вероятно, что среди убитых было немало невинных жертв, и Серко был одной из первых.

Об этом несчастье дети узнали, возвратившись из хедера домой уже после того, как оно свершилось. Они устроили в доме настоящий бунт: «Серко? Как можно было это допустить?»

Бунтовщиков, понятно, быстро утихомирили. «Как это школьники смеют думать о собаках!» Их угостили хорошими оплеухами, вдобавок пожаловались учителю и попросили, чтобы он не пожалел розог на закуску. И учитель оказал им эту любезность — не пожалел розог. Ох, каких розог!

Но все это пустяки в сравнении с гибелью бедняги Серко, пострадавшего ни за что ни про что.

Больше всех убивался тот, кто сильнее всех любил Серко, — автор этих строк. Несколько дней подряд он ничего не ел, несколько ночей не спал, ворочался с боку на бок, вздыхал и стонал в тишине. Он не мог простить злым, скверным людям, у которых нет ни малейшей жалости, ни капли сострадания к живому существу — никакой справедливости. И он долго, долго думал о разнице между собакой и человеком, о том, почему собака так предана человеку, а человек казнит ее. И снова вспоминался ему Серко, его умные, добрые глаза, и Шолом припадал лицом к подушке и орошал ее горькими слезами

## 12

### АНГЕЛ ДОБРА И ДУХ ЗЛА

*Доносчик курносый Ойзер. — Множество опекунов. — Субботние угощенья бабушки Минды. — Любители нравоучений и проповедники морали*

Мальчик, возможно, и забыл бы о том, что у него был друг — собака, если бы ему не напоминали об этом на каждом шагу: «Серко велел тебе кланяться...» При этом не упускали случая прочитать ему нравоучение, пусть запомнит на будущее. Нравоучения эти были для него тягостней пощечин. Недаром говорят: поболит — пройдет, а слово западет. Тем более что здесь было и то и другое — и оплеухи и поучения. Поучения сыпались со всех сторон. Поучал всякий, кому не лень, и все добрым словом. Казалось бы, какое дело шамесу\*, как молится сын богача! И что ему до того, что сын богача смотрит в окно во время «Восемнадцати благословений»? А сын богача, думаете, зря смотрит в окошко? Молитва молитвой, но как упустить такое интересное, редкостное зрелище — погоню собаки за кошкой. Стоит посмотреть на эту поучительную сценку. Кошка взъерошилась и летит как стрела — собака за ней. Кошка на плетень — собака за ней. Кошка с плетня — собака за ней. Кошка в сточную канаву — собака вслед. Кошка на крышу, а собака — дудки! Стоит собачье отродье дурак дураком, облизывается и думает, верно, про себя: зачем это мне, собаке, гоняться за кошкой, которая мне вовсе не ровня, и какие у меня там дела на крыше?..

— Вот так-то мальчик стоит на молитве? — говорит шамес Мейлах и дает нашему герою подзатыльник. — Погоди, бездельник, я уж расскажу отцу!..

Или, к примеру, какое дело курносому банщику Ойзеру (он был когда-то сапожником, но к старости ослабел и нанялся в банщики), что мальчики Нохума Вевикова катаются с горы на собственном заду и протирают штаны? Так нужно же было ему однажды увидеть это из своей бани и напуститься, шепелявому, на ребят:

— Выродки, лодыри! Сто чертей вашему батьке! Новые штаны вы превраффаете в ничто! Разбойники! Вот я сейчас побегу в хедер и пожалуюсь меламеру.

Жаловаться меламеру — это не только богоугодное дело, но долг каждого человека; у всякого есть дети, и никто не может поручиться, какими они вырастут. Поэтому надо за ними хорошенько приглядывать и действовать хоть бы словом, если нельзя пустить в ход руки. Вот почему у детей было так много наставников и опекунов. Они выслушивали столько выговоров, наравоучений, наставлений, что у них постоянно шумело в ушах: «Жжж... этого не делай! Жжж... здесь не стой! Жжж... туда не ходи!» Все жужжали: отец, мать, сестры, братья, меламер, служанка, дяди и тетки, бабушки и главным образом бабушка Минда, которая заслуживает быть упомянутой особо.

Бабушка Минда была высокая, ладная, несколько франтоватая и страсть какая набожная. Ее главным занятием было наблюдать за внуками, чтобы они росли в благочестии. Послюнив пальцы, она приглаживала им пейсы, чистила и оправляла на них костюмчики, следила за тем, как они молятся, читают ли молитву после обеда и перед сном. Все ее внуки должны были приходиться к ней в субботу днем, пожелать ей доброго здоровья, рассаживаться смиренно вдоль стены и ждачь субботнего угощенья. Угощенье это трудно назвать щедрым, но зато оно всегда подавалось на чистых сверкающих тарелочках: яблоко, персик, рожок, винная ягода или две-три сухих изюминки. Наставления при этом сыпались без конца. И все они сводились к тому же: нужно слушаться отца, мать и почтенных, набожных людей, нужно быть благочестивым. Бог накажет за самую малость: за то, что не молишься, не слушаешься, не учишься, за шалости, за дурные мысли и даже за пятнышко на одежде. После всего этого ни яблочко, ни

персик, ни рожок, ни винная ягода, ни ссохшиеся изюминки не лезли в горло.

Но бабушкины поучения ни в какое сравнение не могут идти с тем потоком назиданий, который меламед низвергал на своих учеников по субботам, перед вечерней молитвой. Слезы рекой текли из глаз мальчиков — так ясно и ощутимо изображал он ангела добра и духа зла, ад и рай и как ангел загробного мира швыряет грешников с одного края вселенной на другой. Милли... миллионы бесов, духов, нечистых копошились у ног учеников. Даже под ногтями у них меламену чудились черти. Он был уверен, что каждый из его учеников попадет в преисподнюю, ибо если и встретится один безгрешный, который молился, читал священные книги и делал все по велению ангела добра, то он все же, послушный духу зла, грешил мыслью, а если не мыслью, то во сне, в сновидениях своих грезил о запретном...

Словом, не было никакой возможности укрыться от истребителя всего сущего, злого духа, хоть ложись и помирай. А тут, как назло, хочется жить, озорничать, смеяться, лакомиться и, проглотив побыстрее молитву, думать именно о запретном... И это уже было делом злого духа, у которого довольно подручных для того, чтобы завлечь невинного в свои сети. Ну, а кто к нему попался — идет за ним, как теленок, и делает все, что он прикажет. И такое уж счастье этому злому духу, что его слушаются гораздо охотней, нежели ангела добра. Не помогают тут никакие нравоучения и проповеди. Наоборот, чем больше старается ангел добра, тем упорнее действует дух зла. Страшно сказать, но мне кажется, не будь ангела добра, духу зла нечего было бы делать...

### 13

#### ВОРОВСТВО, ИГРА В КАРТЫ И ПРОЧИЕ ГРЕХИ

*Дети помогают матери на ярмарке. — Игра в карты в честь хануки \*. — Берл, сын вдовы, учит нас воровать. — Негодный малый*

С детьми Нохума Вевикова дух зла обошелся очень жестоко. Мало того что сорванцы комкали молитвы, пропускали больше половины, а бабушке лгали, будто сверх положенного они прочитали еще несколько псал-



мов, — они научились еще и воровать, таскать лакомства, играть в карты и всяким другим грешным делам... Дошли они до этого, понятно, не сразу — одно влекло за собой другое, как сказано в Писании: «Грех порождает грех».

Я, кажется, уже рассказывал вам, что воронковцы кормились благодаря крестьянам и зарабатывали преимущественно во время больших ярмарок — «Красных торгов», как их называли. Этим ярмарок воронковцы дожидались с нетерпением. В это время они суетились вовсю, делали дела, зарабатывали деньги. А тем временем покупатели воровали, — впрочем, большей частью женщины. И не укрыться, не уберечься от них! Только вытряхнешь у одной из рукава платок или ленту, как уже другая стащила из-под носа сальную свечу или рожок. Что делать? И Хая-Эстер, жена Нохума Вевикова, нашла выход: она поставила своих детей в лавке следить за ворами. Ребята следили усердно и зорко: они не только набивали полные карманы рожков, табаку, орехов, сушеных слив, но еще подбирались и к зеленой шкатулке, где лежала выручка; в то время как мать разговаривала с покупательницей, они опускали в карманы несколько монет — какие-нибудь круглые пятаки, а потом тратили их в хедере на блины, коржики, маковки, вареный горох, семечки или же проигрывали в карты.

Игра в карты была болезнью, эпидемией во всех хедерах; начиналась она в праздник хануки и не прекращалась потом всю зиму. Известно, что в дни хануки сам бог велел играть. Кто играл в юлу\*, кто в карты. Правда, это не были настоящие, печатные карты, речь идет о самодельных еврейских картах, об игре в «тридцать одно». Но какая разница — тот же соблазн, тот же азарт. Когда наступала ханука, учитель не только разрешал играть в карты, но и сам принимал участие в игре и был рад, если ему удавалось выиграть у своих учеников ханукальные деньги. А проиграть учителю ханукальные деньги было удовольствием, честью, радостью. Во всяком случае, лучше проиграть учителю ханукальные деньги, чем быть им высеченным, — с этим как будто согласится всякий.

Но как только ханука уходила — тут тебе конец празднику, конец картам! Учитель строго-настрога предупреждал: «Берегитесь!» И если кто осмелится прикоснуться к картам, упомянуть о картах или даже подумать о них, быть тому наказанным — он будет высечен.

Учитель, видимо, и сам был когда-то порядочным сорванцом и поигрывал в картишки не только в честь хануки, иначе откуда бы пришли ему в голову подобные мысли? Так или иначе, ученики всю зиму после хануки играли в карты еще более азартно, еще с большим рвением, чем в дни хануки. Проигрывали завтраки и обеды, проигрывали наличные, когда же не было денег, а ведь играть хотелось, находили всякие способы, чтобы раздобыть их. Кто добирался до кружки Меера-чудотворца \* и навощенной соломинкой вытаскивал из нее по одному омытые слезами гроши, которые мать спускала туда каждую пятницу, перед молитвой над свечами; кто ухитрялся выгадать несколько грошей «комиссионных», когда его посылали на рынок с каким-нибудь поручением; а кто просто подбирался к отцовскому кошельку или к маминому карману и ночью, когда все спали, вытряхивал оттуда, сколько удастся. Все это делалось в величайшем страхе, с огромным риском. И все уходило на карты, на «тридцать одно».

Вопрос заключался лишь в том — где и когда играть, как устроиться, чтобы не узнал учитель. Об этом уже заботились ребята из старшей группы, такие, как Эля, сын Кейли, — уже жених, рыжий, с серебряными часами, и Берл, сын вдовы, толстогубый парень с удивительно крепкими зубами, которыми можно грызть железо. У него уже пробивалась борода, — и он сам был в этом виноват, потому что курил. Так объяснял сам Берл. «Вот вам доказательство, — говорил он, — попробуйте сами, начните курить — и у вас вырастет борода». И он шуточки ради научил своих товарищей курить, не только курить, но подсказал им также, как раздобывать «материал» для курения. То есть попросту научил их воровать. Понятно, за учение Берл получал плату табаком и папиросной бумагой.

У Берла была своя система: кто слушался его, приносил табак и папиросную бумагу, был славным парнем, хорошим товарищем, тот же, кто боялся или не умел воровать, — считался у него размазней, слюнтяем и исключался из товарищества. И если ему особенно не везло, он еще бывал бит рукою того же Берла. Поссориться с Берлом или пожаловаться на него не имело никакого смысла, пришлось бы выдать себя с головой — и на это ни у кого не хватало смелости. И ребята делали все, что Берл приказывал, погружаясь вместе с ним

все глубже и глубже в трясину. Бог знает к чему бы это привело, если бы самого Берла не постиг печальный конец, да такой, что и в голову не сразу придет. А ребята по молодости своей и невинности толком даже не поняли, что тут произошло. Они только знали, что случилась история в пятницу. Парня поймали у бани, когда он, выставив кусочек стекла, подглядывал одним глазком, как моются женщины.

Боже, что творилось в местечке! Мать Берла, вдова, упала в обморок, его самого забрали из хедера, не пускали в синагогу, ни один мальчик из хорошей семьи не смел встречаться с этим «вероотступником». Так прозвали его тогда. И как видно, чтобы оправдать это прозвище, Берл впоследствии, после смерти матери, крестился и пропал бесследно.

## 14

### ФЕЙГЕЛЕ-ЧЕРТ

*Сорванцы каются. — Не девушка, а черт. — Ведьма, которая щекочет*

Все же не следует думать, что дух зла постоянно брал верх, а ангел добра всегда оказывался побежденным. Не нужно забывать, что существует месяц элул\*, дни покаяния, Новый год, Судный день и вообще молитвы, посты и всякое другое самоистязание, которое придумали для себя благочестивые евреи. Невзирая на мелкое воровство, картежную игру и прочие мальчишеские прегрешения, можно с уверенностью сказать, что средний из братьев, Шолом, был по-настоящему благонравным и богобоязненным, он не раз давал себе слово исправиться и, когда вырастет, если богу будет угодно, стать праведным и благочестивым, как наставляла его бабушка Минда, учитель и все добрые, почтенные люди.

Часто случалось, что во время молитвы он плакал, бил себя в грудь, отдалялся от старших братьев и от товарищей-озорников, которые подговаривали его делать дурное. Но настоящим кающимся грешником он становился, когда приходили дни суда и покаяния.

Быть праведным и благочестивым вообще очень отраднo и приятно. Но тот, кому когда-либо приходилось каяться, согласится, что на свете нет ничего лучше. Кающийся — это человек, который примиряется с богом,

преодолевают в себе дух зла и соприкасаются с богом. Посудите сами, что может быть лучше примирения! Что может быть слаще победы! Что может быть прекрасней, чем божья благодать! Кающийся чувствует себя сильным, чистым, свежим, заново рожденным и может смело смотреть всем в глаза. Как хорошо, как чудесно быть кающимся грешником!

Как только наступал месяц элул и слышался первый звук шофара \*, герою этого жизнеописания казалось, что он видит духа зла связанным, поверженным в прах, умоляющим, чтобы его не слишком топтали ногами. А Новый год! А Судный день! А испытания трудного поста! Чувствовать голод, смертельную жажду и держаться наравне со взрослыми — во всем этом была такая сладость, такая красота, оценить которую может только тот, кто верует или хоть когда-нибудь веровал. Какое удовольствие может сравниться с тем наслаждением, которое испытывал Шолом к исходу Судного дня, когда, голодный и усталый, но зато очищенный от грехов и с просветленной душой, он выходил из синагоги и, предвкушая райский вкус ржаной коврижки, смоченной в водке, торопился домой, и вдруг... стоп! В чем дело? Прихожане остановились, чтобы приветствовать новолуние... Мы таки порядком устали и проголодались, но это ничего не значит. «Твою луну, отец небесный, мы все же благословим».

Ах, как приятно быть кающимся грешником!

Но дух зла, — пропади он пропадом! — сатана-погубитель, всюду вмешивается и все портит. На этот раз сатана появился в образе деревенской девушки с вьющимися волосами и зелеными глазами. Откуда взялась эта девушка, вы сейчас узнаете.

В дни постов и покаяний, таков был старинный обычай, деревенские евреи, «праздничные гости», как их называли, съезжались из окрестных деревень в местечко Воронку. Каждый хозяин принимал своего постоянного праздничного «гостя» и «гостью». Гость Нохума Вевикова — Лифшиц из Глубокого — приходился ему дальним родственником. Это был набожный человек с широким лбом, лбом мудреца, хотя в действительности он умом не отличался. И жена была набожная — горячая молельщица и любительница нюхать табак. Детей они не имели, но жила у них служанка — сирота, дальняя родственница, по имени Фейгл. Ребята же называли ее

по-иному — Фейгеле-черт, потому что это была не девушка, а огонь, бес, девчонка с мальчишескими повадками, любившая шалить с ребятами, когда никто не видит, рассказывать им сказки, петь песенки — большей частью не еврейские.

Однажды, в теплую, светлую ночь праздника кущей\*, она пробралась к месту, где спали мальчики (из-за «праздничных гостей» детей уложили спать во дворе), уселась возле них полураздетая и, расплетая косы, принялась рассказывать удивительные сказки. Это были не те сказки, какие рассказывал Шолому друг его Шмулик. Фейгеле рассказывала про чертей, духов, бесов, которые причиняют человеку всякие неприятности — выворачивают одежду наизнанку, переставляют мебель, перелистывают книги, бьют посуду, таскают горшки из печи, словом, делают всякие непотребные вещи. И о колдунах она рассказывала и о ведьмах; ведьма, если захочет, говорила Фейгеле, может целую сотню людей замучить щекоткой.

— Щекоткой? Как так — щекоткой?

— Вы не знаете, что такое щекотка? Вот я вам покажу, как щекочет ведьма.

И Фейгеле-черт с распущенными волосами кинулась показывать, как щекочет ведьма. Сначала мальчики смеялись, потом стали отбиваться, бороться с ней. Они вцепились ей в волосы и надавали тумачков, как полагается. Фейгеле делала вид, будто защищается, но видно было, что это доставляет ей удовольствие — она принимала удары и напрашивалась на новые... Лицо ее пылало. Глаза (светло-зеленые, кошачьи глаза) блестели. При свете луны Фейгеле казалась настоящей ведьмой. Но хуже всего было то, что ведьма не только поборола всех ребят, но каждого из них обнимала, прижимала к груди и целовала прямо в губы...

Счастье, что дело происходило до гейшанорабо\*, когда судьба человека еще не подписана на небесах и можно упросить создателя не посчитать эти невольные поцелуи и объятия слишком большим грехом, сам бог свидетель, грех был не намеренный, а случайный...

Откуда же взялась Фейгеле-черт? Что это было за существо — дух, бес, оборотень? Или же сам сатана в образе женщины явился, чтобы довести невинных детей до такого грехопадения — до поцелуев, против собственной воли, с девушкой.

*«Домовой», творящий пакости. — Бес пойман. — Распущенную девочку выдают замуж, и она превращается в праведницу*

Кем была в действительности Фейгеле-черт, вскоре выяснилось, да таким удивительным образом, что об этом стоит рассказать.

В ту же зиму, под праздник хануки, приехал к нам Лифшиц из Глубокого с новостью — в доме у него завелся бес, «домовой», который отравляет ему существование. Вначале этот бес, рассказывал Лифшиц, только потешался над ним — каждую ночь перелистывал фолианты Талмуда, рвал молитвенники, Библию, переворачивал тарелки в буфете, бил горшки, кидал в помойную лохань мешочек с филактериями\* и разрисованный мизрох\* и поворачивал портрет Моисея Монтефиоре\* лицом к стене — и скажите, хоть бы малейший шорох! Позже бес стал выворачивать и опустошать карманы, таскать мелочь из ящичков стола; стащил и заткнул куда-то женин жемчуг. Чистое несчастье! И вот Лифшиц приехал к своему родственнику, Нохуму Вевикову, за советом: что делать? Заявить ли в стан? Съездить ли к тальненскому праведнику? Или совсем покинуть Глубокое?

Выслушав эту историю, Нохум Вевиков задал Лифшицу только один вопрос: где спит служанка и какая она с хозяйкой? Лифшиц даже обиделся. Во-первых, Фейгеле — их родственница, бедная девушка, которую жена собирает, наделив приданым, выдать замуж. И живется ей у них как нельзя лучше. Во-вторых, спит она как убитая, где-то там в кухне, за запертой дверью.

— Нет ли у нее знакомых в деревне? — опять спросил его Нохум, и тогда Лифшиц, уже возмущенный, раскричался:

— Откуда могут у нее взяться знакомые в деревне? Уж не думаешь ли ты, что бес этот — сама Фейгеле?

— Боже сохрани! — ответил Нохум Вевиков и, посмеявшись над своим глупым родственником, попытался убедить его в том, что ни бесов, ни домовых вообще не существует.

Лифшиц, однако, и слушать не хотел. Чтоб ему довелось так ясно услышать рог мессии\*, клялся он, как он своими ушами слышал ночью сопение какого-то живого существа и царапанье ногтей. А наутро в

кухне, на посыпанном песком полу, видны были какие-то странные следы, вроде куриных лапок.

Увидев, с кем имеет дело, Нохум Вевиков повернул, как говорится, дышло в обратную сторону. Вполне возможно, что бес этот и в самом деле бес. Но ему все же хотелось бы самому убедиться... Если Лифшиц ничего не имеет против, он поедет с ним в деревню и посмотрит собственными глазами. А если уж ехать, то пусть поедет с ним и младший брат — Нисл Вевиков, он же Нисл Рабинович.

— Наш Нисл, — сказал Нохум, — ловкий малый, человек крепкий, сильный. Он уже однажды надавал пощечин становому приставу и поэтому, с божьей помощью, справится и с бесом. Значит, едем?

— С большим удовольствием! — ухватился Лифшиц за предложение Нохума Вевикова. Плотно закутавшись в теплые енотовые шубы, все трое уселись в широкие сани и покатали к Лифшицу в Глубокое.

Приехали они в деревню под вечер. Дорогих гостей приняли очень радушно, приготовили в их честь молочный ужин, во время которого беспрерывно толковали о поселившейся в доме нечистой силе.

Когда Фейгеле начала подавать к столу, Нохум завел разговор о том, что он и его родня — все Рабиновичи — с детства отличаются удивительно крепким сном, хоть выноси их вместе с кроватью, хоть стреляй из пушек. И они не боятся никаких духов, бесов, домовых, хотя везут с собой деньги: они ведь не дураки — деньги зашивают, извините, в белье, которое они с себя не снимают. Да и вообще они не верят в нечистую силу. Глупости! Обманщики выдумали, а глупцы верят им.

Тогда Лифшиц наивно заметил, что было бы очень кстати, если бы бес взялся за них нынешней ночью, пусть знают, чем это пахнет. В подобных разговорах прошел весь вечер; подали вино, и оба брата, притворившись подвыпившими, легли спать и погасили свет. Гости скоро дали о себе знать мощным храпом; храпели один другого громче — целый концерт задали.

В полночь раздался крик, послышался шум драки; кричали по-русски и по-еврейски. Лифшицы вскочили в тревоге, зажгли огонь, и глазам их представилась такая картина: у Нохума в руках билась связанная Фейгелечерт, а Нисл — богатырь мужчина, боролся с Хведором, волостным писарем, который ему в кровь искусал руки.

Но Нисл крепко держал его, связал, как барана. Рано утром их обоих — служанку Фейгеле и писаря Хведора — отвели в волость. Там поставили два ведра водки и пришли к такому решению: так как Хведор — сам волостной писарь, пусть он покается и отдаст все, что с помощью Фейгеле стащил у Лифшицев, тогда ему только немного всыпят для порядка, и молчок. А к девушке приступили с добрыми речами — передавать ее в руки властей никто не собирается, хотя она и дьявол, каналья, хуже еретика. От нее требуется только одно, чтобы она сказала, где находится жемчуг и все остальные вещи. Тогда, ей это твердо обещают, ее повезут в город и немедленно выдадут замуж самым наилучшим образом, с музыкантами, с приданым, со свадебным ужином, как приличную, честную девушку. И ни одна душа ничего не узнает, даже петух не прокричит!

Так все и вышло. В женихи дали ей парня хоть куда. Звали его Мойше-Герш, и был он дамским портным. Рабиновичи были сватами и шаферами. На свадьбу собрался весь город, пришло и «начальство». Выпили огромное количество вина и пива, а Нисл Рабинович плясал, всем на удивление, со станowym приставом.

После свадьбы не узнать стало Фейгеле: набожна, как раввинша, на мужчин и глаз не подымет, а мальчишек Нохума Вевикова она точно никогда и не видала. Когда в городе с кем-нибудь приключалась беда, Фейгеле одной из первых вызывалась обойти дома с платком в руках для сбора пожертвований. Ну, а если женщина добродетельна и благочестива, то против нее ничего не скажешь! Однако ее девичье прозвище — Фейгеле-черт — осталось за ней навсегда. Об этом позаботились дети Нохума Вевикова и больше всех — средний сын, самый большой проказник, автор настоящей книги.

## 16

### Р О Д Н Я

*Три брата — три различных типа. — «Дело с «казной». — Дядя Пиня пляшет «На подсвечниках»*

У Нохума Вевикова, отца героя этого повествования, было два брата: Пиня Вевиков и Нисл Вевиков — тот самый, о котором упоминалось выше. И замечательно,



что каждый из братьев был особого склада и ни капли не походил на другого. Старший — Нохум Вевиков — объединял в себе, как мы уже знаем, хасида \* и ревнителя просвещения, философа и молеельщика, знатока Талмуда и острослова. Характером он обладал тихим, замкнутым и несколько мрачным. Другой — Пиня Вевиков — отличался благочестием и носил длинейший талескотн \*. Это был красавец мужчина, с красивой бородой и смеющимися глазами. По натуре он был очень живой, общительный, во всяком деле советчик; славился он еще и как мастер по части обрезания — не из-за денег, боже упаси! — а просто из любви к богоугодному делу. Одним словом, это был шумный человек, вечно занятый чужими делами, спорами, конфликтами, третейскими судами, тяжбами вдов, сирот и просто бедняков. А обязанности старосты в синагоге, в молеельне, в погребальном братстве, в обществах любителей мишны и псалмов! Все эти дела были ему, пожалуй, дороже собственной удачи на базаре или на ярмарке. Ему уже не раз приходилось расплачиваться за них. Но если это угодно богу, — ничего не попишешь! Ведь чем сильнее страдаешь, тем выше заслуга перед создателем, а жаловаться тут не приходится, иначе заслуга не в заслугу.

Припоминается, например, такая история. Как-то должны были состояться торги на откуп почты. Конкуренты предложили будущему содержателю почты поделить между ними известную сумму, для того чтобы они не сорвали ему дела: они не будут набивать цену, и он не потерпит убытка. Но ведь конкурентам доверять нельзя, поэтому деньги решили передать в надежные руки. А кто надежнее Пини Вевикова? Оставили у него деньги и отправились на торги. Но тот, кто оставил этот залог, подстроил штуку: он сделал вид, будто во все отказывается от торгов, забрал деньги и показал всем кукиш. Конкуренты, конечно, донесли куда следует. И тогда взялись сначала за того, кто дал деньги, а затем и за второго, который принял их на хранение: «Простите, уважаемый, что за история у вас произошла?» И бедный Пиня Вевиков рассказал все, как было. Его судили за обман «казны», и счастье еще, что он не попал в тюрьму, а отделался денежным штрафом.

Вы думаете, что это проучило его? Ошибаетесь. Чужие заботы — все, что пахнет общиной и благом для ближнего, — так и остались для него важнее собственных

дел. О том, что он готов бросить базар или ярмарку, чтобы поспеть к обряду обрезания, и говорить не приходится, недаром ведь он считался мастером этого дела. А выдать замуж убогую сироту и плясать всю ночь с ее бедными родственниками — это ведь наверняка доброе дело, которое не так уж часто попадает.

Заговорив о танцах, трудно удержаться и не выразить изумления по поводу его таланта. Откуда взялось у такого богобоязненного еврея умение танцевать? Где он учился этому? Кто мог в те времена научить его искусству танца? Ему ничего не стоило сплясать «русского», «казачка», «хасида».

— Тише! Пиня Вевиков будет танцевать «хасида».

— Расступись, люди! Реб Пиня Вевиков спляшет «казачка».

Или:

— Женщины, в сторону! Пиня Вевиков покажет нам «русскую»!

И публика расступалась, давая ему место. И дядя Пиня танцевал «хасида», плясал «казачка» и показывал «русскую»... Собравшиеся толпились вокруг и диву давались.

Чем бедней была свадьба, тем шумней веселье. То есть чем бедней были родственники новобрачной, тем усердней плясал дядя Пиня и показывал такие штуки, которые действительно достойны удивления. И это исключительно из желания сделать доброе дело — позабавить жениха и невесту. Надо было видеть, как Пиня Вевиков, ко всеобщему удовольствию, танцевал «На подсвечниках» с горящими свечами или «На зеркале» — так легко, так грациозно, словно какой-нибудь прославленный артист. На такой танец в нынешние времена пускали бы только по билетам и заработали бы немало денег. Капота сброшена, талескотн выпущен, рукава засучены, брюки, само собой, заправлены в сапоги, а ноги еле-еле касаются пола. Дядя Пиня запрокидывает голову, глаза у него чуть прикрыты, а на лице вдохновение, экстаз, как во время какой-нибудь молитвы. А музыканты играют еврейскую мелодию, народ прихлопывает в такт, круг становится все шире, шире, и танцор, обходя подсвечники с горящими свечами, танцует все неистовей, все восторженней. Нет, это был не танец! Это было, я бы сказал, священнодействие. И я снова задаю себе тот же вопрос: каким образом этот богобоязненный

еврей достиг подобного совершенства в танце? Где он научился этому? И кто мог его обучить?

Увлечшись танцами, мы забыли третьего брата, Нисла Вевикова, о котором скажем несколько слов в следующей главе.

17

ДЯДЯ НИСЛ И ТЕТЯ ГОДЛ

*Дядя Нисл «гуляет». — В почете у «начальства». — Не жена, а несчастье. — Представился чиновником, натворил бед и уехал в Америку. — Искра поэзии*

В то время как два старших брата — Нохум и Пиня Вевиковы — были правоверными хасидами, младший брат, Нисл Вевиков, или, как он в последнее время величал себя, Нисл Рабинович, был совершенно светским человеком, одевался шеголем: сзади на капоте разрез — это называлось в те годы «ходить франтом» или «одеваться немцем», — лакированные штиблеты с пряжками, сильно подвернутые пейсы. И держался он демократически. Например, в синагоге он имел, как и все уважаемые обыватели, место у восточной стены, но сидел на лавке у входа и, держа в руке Пятикнижие с комментариями Моисея Мендельсона \*, рассказывал простым людям истории о реб Мойшеле Вайнштейне, о Монтефиоре, о Ротшильде. У него был бас, и он немного пел, любил посмеяться и умел заставить смеяться других. Больше всего ему нравилось смешить девушек и женщин. Стоило ему только захотеть, и они покатывались со смеху. Чем он брал, трудно сказать. От каждого его слова они хохотали до упаду.

А какой это был забавник! Без него свадьба не в свадьбу была, скорей походила на похороны. Нисл Вевиков, или Нисл Рабинович, мог воскресить мертвого, мог любого заставить болтать, смеяться, плясать. Разница между ним и дядей Пиней состояла в том, что дядя Пиня сам танцевал, а дядя Нисл умел заставить танцевать других. На любой гулянке все пили, все пели и плясали вместе с ним. Со станovým приставом они, бывало, в шутку менялись шапками, и начиналось веселье.

Вообще Нисл Рабинович был с начальством на короткой ноге и заправлял местечком твердой рукой, точ-

но и сам был начальником. К тому же он отличался бойкостью речи и говорил по-русски без запинки: «Между прочим, ваша милость, позвольте вам покурить на наш счет и чтобы не было никаких каков!» (То есть будьте любезны, курите наши папиросы, и без никаких!) Не только евреи, но и христиане уважали его: «Ходим до Ниселя: він діло скаже, і чарка горілки буде». (Пойдем к Нислу, он и дело скажет, и стаканчик водки будет.)

Путаться в общественные дела он любил еще больше, чем дядя Пиня. Он постоянно с кем-нибудь из-за кого-нибудь бывал в конфликте, и ему казалось, будто он знает все законы. Шутка ли, еврей говорит по-русски так, что не узнаешь в нем еврея, и к тому же он в таких близких отношениях с начальством — старосту колотит, как собаку, со старшиной пьет всю ночь в своем собственном шинке, а со становым приставом целуется, как с братом.

Но насколько значителен был дядя Нисл в городе, настолько незначителен он был в глазах собственной жены, тети Годл (все великие люди — ничто в глазах своих жен). Тетя Годл, маленькая чернявая женщина, держала своего большого мужа в великом страхе.

Замечательно, что крупный, высокорослый дядя Нисл, уважаемый начальством и бесподобно изъяснявшийся по-русски, вечно веселый, расфранченный кавалер, желанный гость в женском обществе, покорно сносил от своей маленькой жены и удары подушкой по голове, и шлепки мокрым веником по щегольскому сюртуку. Она предпочитала большей частью колотить своего мужа веником по праздникам, в особенности в праздник торы \*, к тому же на глазах у всего народа. «Пусть знают все, какого мужа имеет его жена!» Он же превращал это в шутку и, запершись с гостями в зале, откупоривал бутылку за бутылкой. Раскрывал в погребе все бочки с солеными огурцами, вытаскивал из печи все горшки и горшочки — производил форменный погром в доме, а потом отдувался за это три недели подряд. Но дело стоило того — недурно повеселился!

Интереснее всего то, что без тети Годл дядя Нисл и шагу не делал. Он считал ее умницей и всегда оправдывался: она, мол, из Корсуни, город есть такой в Киевской губернии, а корсунцы, видите ли, люди вспыльчивые... Против этого есть только одно средство, говорил

он, — жемчуг. Если бы господь помог ему купить жене крупный жемчуг, характер ее совершенно изменился бы. «Я знаю средство получше», — попытался однажды открыть ему глаза старший брат, Нохум, и сообщил на ухо секрет, от которого дядю Нисла бросило в дрожь.

— Боже упаси! Сохрани бог и помилуй!

— Послушай меня, Нисл! Сделай, как я тебе говорю, и будет тебе хорошо и спокойно!

Что это был за совет, обнаружилось позже, много времени спустя. Тетя Годл сама растрезвонила секрет по городу. Она шипела и ругалась, с пеной у рта поносила весь род своего мужа. «Семейка! — другого названия у нее для Рабиновичей не было. — Бить жену для них обычное дело... Но руки у них отсохнут, прежде чем они дотронутся...»

Всему местечку было известно, что жена Нисла Рабиновича отравляет ему жизнь, хотя он силен в мире и даже «начальство» без него не обходится. Лучше бы уж ему не быть важной персоной. Именно то, что он был важной персоной, и погубило его, хотя в конечном счете все обернулось хорошо и для него, и для его детей, осчастливило его потомство на вечные времена. Об этом повествует история, которая может показаться выдумкой, но я передаю ее так, как слышал.

В небольшом местечке, недалеко от Воронки, кажется в Березани, мужики вынесли приговор о выселении одного еврея. Что тут делать? Прибежали к Нислу Вевикову, он же Нисл Рабинович. Как же иначе, человек в таком почете у начальства, так замечательно говорит по-русски, со станovým приставом целуется! Дядя Нисл бросился было к приставу. Но тот ничем не мог помочь: все зависит от исправника. А исправник, во-первых, новый человек, а во-вторых, настоящий злодей. Что же все-таки делать? Как можно допустить, чтобы разорили человека, пустили по миру целую семью? «Погодите, дело будет в шляпе, все уладится!» — сказал дядя Нисл и выкинул такую штуку: он раздобыл где-то мундир и, нарядившись исправником, примчался в деревню на почтовых с колокольцами; велел позвать к себе старшину со всей «громадой» и раскричался на них: «Как вы смее-ете, такие-сякие!» Он топал ногами, как настоящий исправник, кричал, что это «не по закону», разорвал приговор в клочья и предупредил мужиков, что если они посмеют жаловаться на него губернатору, то пусть зна-

ют, что он, новый исправник, приходится губернатору дядей со стороны матери и что его жена состоит в родстве с министром «внутренних и внешних дел».

Кто донес — неизвестно, но происшествие с разорванным приговором и история про губернатора и про министра «внутренних и внешних дел» вскоре всплыла: возникло «дело», и пряткого дядю, с вашего разрешения, посадили, потом судили. Кончилось дело тем, что дядя Нисл вынужден был уйти в изгнание, то есть, попросту говоря, удрать. И это ему удалось. Он сбежал, промаялся некоторое время в Одессе и, добыв паспорт на чужое имя, уехал в Америку, в самую Канаду; первое время он как следует помытарствовал там, но через несколько лет от него стали приходиться «леттерс», что он «делает жизнь». Затем от него пришли очень красивые «пикчурс» — графы, настоящие вельможи! Но как он там «делает жизнь» и какова вообще жизнь в Америке — этого у дяди Нисла никак нельзя было узнать.

Только спустя много времени, лет через тридцать с лишним, году в 1905—1906, когда автор этой биографии вынужден был переправиться через океан и прибыл в Америку, он постарался раздобыть точные сведения о своем дяде. Он узнал, что дядя Нисл уже покоится в земле, оставил после себя хорошее имя и неплохое состояние. Его дети и внуки, как говорят в Америке, «ол райт».

Образ дяди Нисла был бы не полон, если б мы не добавили еще одного штриха: в этом человеке, возможно, пропал поэт. — он певал еврейские песни собственного сочинения. Сидя в тюрьме, он сочинил песню о самом себе — начала строк шли в алфавитном порядке — и подобрал красивую мелодию к ней, мелодию, которая проникала в самую душу. Сколько талантов, о которых мы ничего не знаем, погибло таким образом!

## 18

### ПИНЕЛЕ, СЫН ШИМЕЛЕ, ЕДЕТ В ОДЕССУ

*Шимеле изъясняется большей частью по-русски. — Рассказы о величии Эфроси. — Переезд в Одессу. — Пинеле делают операцию. — Горошинка в ухе. — Прощальный обед*

Герою этого жизнеописания, как, вероятно, любому местечковому мальчику, казалось, что его местечко — «пуп земли», центр мира, а жители его — избранные

из избранных, ради них, собственно, и сотворен мир; и разумеется, на вершине его находится поколение Вевика Рабиновича, а вершиной вершин, зеркалом рода, венцом его, без сомнения, является отец героя — Нохум Вевиков, ибо кто сидит в синагоге на самом почетном месте у восточной стены, рядом с раввином, у самого ковчега? Кто первый принимает праздничные приветствия? К кому собираются каждую неделю на проводы субботы, и пьют, и поют, и пляшут — гуляют до белого дня? Решительно, нет благороднее его семьи! Нет дома богаче, нет человека величественней его отца, благочестивей дяди Пини, веселее дяди Нисла. Когда в субботу или в праздники Шолом смотрел на своего высокого ростом отца, в красивом атласном сюртуке с широким поясом и «наполеонкой» на голове, или на свою маленькую мать Хаю-Эстер, как она, воздев благородные белые руки, благословляет субботние свечи в высоких подсвечниках из дутого серебра, или на высокую опрятную бабушку Минду, беседующую с богом, как с равным, или на молодцеватого дядю Нисла, который как нельзя лучше изъясняется по-русски, — сердце Шолома наполнялось радостью и чувством превосходства над другими детьми. И он благодарил бога за то, что родился в такой семье, под «золотым флагом», где он был счастлив, словно какой-нибудь принц, и чувствовал себя надежно, будто за крепостной стеной или в царском дворце.

И вдруг устои крепости пошатнулись, дворец стал крениться набок, готовясь рухнуть, и очарование счастливого местечка исчезло. Юный принц узнал, что не здесь пуп земли, что есть на свете города значительно бóльшие, чем Воронка, что имеются люди побогаче Рабиновичей. А узнал он все это от своего нового товарища — Пинеле, сына Шимеле, о котором мы здесь вкратце расскажем.

Помимо отпрысков почтенного рода Вевика Рабиновича, в Воронке жил еще один уважаемый обыватель, считавшийся богачом, по имени Шимеле. Человек упитанный, с круглым брюшком и приятно улыбающейся физиономией. Только рот у него был слегка свернут на сторону. Шимеле был не столько богачом, сколько любителем хорошо пожить. Рублем он не дорожил — сколько есть, столько и прожил; не стало денег, можно занять, — и снова наступали веселые дни.

В местечке Шимеле считали вольнодумцем, потому что он носил пелерину и борода была у него холеная, слишком уж он ее закруглял. Он щедрой рукой раздавал милостыню, и в самый будничнейший день ему могло взбрести в голову пригласить гостей и устроить пир горой. Жить так жить!

Из Рабиновичей он больше всех любил дядю Нисла. Носил такой же сюртук с распором, сильно укорачивал пейсы и, подобно шполянскому деду \*, любил разговаривать с евреями по-русски: «Эй вы, сукины дети, что вы балабочете там дворим бетейлим. Пора богу молиться!» Шимеле обладал на редкость хорошим почерком, потому что был левшой, а все левши, как известно, пишут исключительно красиво. У себя дома он был гостем, приезжал только на праздник. Отпразднует и снова уедет неведомо куда, только к следующему празднику приедет, привезет домой столько подарков, что местечко ходуном ходит, и долгое время потом все только и говорят что об этих подарках.

Однажды накануне пасхи он откуда-то явился и пустил слух, что уезжает из Воронки. Куда? О, далеко! Очень далеко! В самую Одессу! «Только скоты, — говорил он, — могут оставаться здесь, в этой глуши, черт вас побори! Если б вы побывали в Одессе, вы бы, по крайней мере, знали, что такое город! Вам бы только посмотреть контору Эфроси с его служащими, черт вас побори! Сколько там золота проходит за день — иметь бы вам столько, сукины дети, вместе со мной!»

Люди, разумеется, слушали Шимеле, разинув рты, изумлялись конторе Эфроси и деньгам, которые проходят там за день, но за глаза издевались и над Шимеле, и над конторой Эфроси. И больше всех издевался Шмуел-Эля — новый раввин и кантор, который недавно приехал из Борисполя, человек неглупый, но довольно дерзкий, можно сказать — нахальный. Он заявил: «Плуньте в лицо этому Шимеле! Во-первых, он вообще не уезжает! Во-вторых, он едет не в Одессу, а чуть поближе — в Ржищев, и не потому, что местные жители скоты, а потому, что он кругом в долгах, даже волосы на голове и те заложены. Ха-ха-ха!..»

Но как бы то ни было — в Одессу или в Ржищев, потому ли, что воронковцы скоты, или потому, что он весь в долгу, — Шимеле не шутя стал сразу после пасхи распродавать свое имущество за полцены. Многие вещи



он раздарил. Дочерей нарядил, как невест, а для мальчишек заказал у портного Исроэла короткие пиджачки, какие подобает носить в таком большом городе, как Одесса. И чтобы окончательно поразить местечко, Шимеле приказал своей жене Гене устроить настоящий пир — вареники с творогом, «черт их побери», для всего города!

На пир и явился весь город. И первым пришел именно Шмуел-Эля, новый раввин, он же кантор, который за глаза так издевался над Шимеле, что живого места не оставлял; зато в глаза он ему так льстил, что просто тошно было.

На пир, который устроил Шимеле, пришла и детвора. Однако ребятам не сиделось вместе со взрослыми; они предпочитали вертеться во дворе и смотреть, как нагружают подводы. Шолом вместе с Пинеле, младшим сыном Шимеле, мальчиком с озабоченным личиком и большими выпученными глазами, забрались на одну из подвод и, усевшись на самый верх, беседовали о далеком путешествии, которое предстояло одному из них.

Пинеле был в то время самым близким товарищем Шолома. Шолом любил его за то, что он знал все, что делается на свете; помимо рассказов о больших городах, которых Пиня наслушался от своего отца, он и сам побывал в большом городе — в Переяславе — из-за истории с горошиной.

Как-то, забавляясь, Пинеле попытался вложить горошину в одно ухо и вынуть ее из другого. Но горошина заупрямилась и не хотела вылезать ни из того, ни из другого уха. Она предпочла расти там внутри и вызвала у Пинеле такую головную боль, что мальчик был вынужден рассказать всю правду. Прежде всего он, конечно, получил изрядную порцию розог, «чтобы мальчик не клал горошинок в ухо!», а после этого у него так долго ковыряли в ухе проволокой, спицами, спичками, что его пришлось отвезти в Переяслав на операцию.

Об этом путешествии в большой город Пинеле без конца рассказывал, и, сам того не подозревая, он вырос в глазах товарищей на целую голову. Шутка ли, мальчик был в Переяславе и видел собственными глазами множество домов, крытых жостью, тротуары на улицах, белые церкви с зелеными колпаками и золотыми крестами, магазины в каменных домах, горы арбузов и дынь, бесконечное множество яблок и груш, которые

свалены прямо на землю, солдат, марширующих по улицам, и тому подобные чудеса!

С той поры Пинеле и Шолом стали самыми закадычными друзьями, и ни для кого отъезд Шимеле не был таким ударом, как для Шолома. Ему не только было завидно, но и больно расставаться с товарищем, полюбившимся ему не меньше прежних друзей, о которых мы говорили.

В последний момент перед прощанием счастливый Пинеле, наряженный, причесанный, засунув руки в карманы, стал издеваться над Воронкой: «Что такое Воронка? Глушь, дыра, деревня, хуже деревни! А люди здесь бедняки, попрошайки, нищие из нищих. Глупенький, один Эфроси в Одессе имеет больше, чем все воронковцы и воронковские богачи, вместе взятые».

Потом Пинеле стал расписывать величие его семьи, как они покатыт в своих повозках — пыль столбом! И наедятся же они! А что будет, когда они вкатыт в Одессу! Самые важные люди выйдут им навстречу с приветствиями, со свежими калачами, с жареными утками и хорошей вишневкой. И сам Эфроси будет среди них...

— Кто же этот Эфроси? — спрашивает Шолом.

— Ты не знаешь Эфроси? — отвечает Пинеле тоном взрослого. — Эфроси — это наш родственник со стороны матери, богач, магнат, миллионщик! Я ведь тебе уже сказал, глупенький, что в одном кармане у Эфроси больше денег, чем у всех здешних жителей вместе с их богачами. Можешь себе представить, как он богат, если выезжает на шести лошадях цугом, а впереди скачет верховой. Одет Эфроси с ног до головы в шелк и в бархат, и два тулупа у него: один енотовый, а другой из норки. Даже в будни он ест только калачи и жареных уток и запивает их лучшей вишневкой.

— Что же вы там будете делать, в Одессе? — спрашивает Шолом и глотает слюну при мысли о жареных утках и доброй вишневке.

— Как что будем делать? Что делают все в Одессе?! Чем занимается Эфроси?! У Эфроси амбары с пшеницей, и у папы будут амбары с пшеницей, — серьезно и уверенно отвечает ему Пинеле. — У Эфроси контора со служащими, и у папы будет контора со служащими. А деньги — деньги будут сами сыпаться в карманы. Шутка ли, Одесса!

И Пинеле стал снова рассказывать о величии Эфроси и о красоте Одессы, о ее трехэтажных домах. «Дурачок,

наш город против Одессы, как бы тебе сказать, ну, как муха против церкви или муравей против слона».

Можно было подумать, что Пинеле был там и видел все собственными глазами. А приятель глядел ему в рот, жадно глотал каждое слово и бесконечно завидовал. Одно только казалось ему странным, и он не постеснялся спросить об этом Пинеле: если Одесса такой прекрасный город и миллионщик Эфроси — их родственник, чего же они ждали? Почему не уехали туда раньше?.. На это Пинеле, не долго думая, ответил:

— Глупенький, ты и в самом деле вообразил, что он нам родственник совсем близкий — дядя, скажем, двоюродный брат или сват? Ничего подобного! Дальний родственник! Седьмая вода на киселе! Видишь ли, они оба, то есть Эфроси и моя мама, из одного города, из Межеричек. Мать моей мамы из Межеричек и отец Эфроси, говорят, тоже был родом из Межеричек...

Нельзя сказать, что Пинеле дал исчерпывающий ответ на вопрос Шолома. Но товарищи продолжали беседовать и так заговорились об Одессе, о важном Эфроси из Межеричек и о всяких других вещах, что не успели оглянуться, как прошло утро. Гости между тем давно уже покончили с варениками и были приятно возбуждены. Раскрасневшиеся, потные, они стояли у подвод, прощались очень дружески с Шимеле и его семьей, целовались и желали им всяких благ. Усерднее же всех целовался Шмуел-Эля, раввин и кантор\*, верхняя губа у него странно подрагивала, точно он собирался рассмеяться. Он желал отъезжающим счастливого пути и просил Шимеле оказать любезность и передать привет от него всей Одессе, а Эфроси «ради всего святого не забудьте передать особо дружеский привет!».

— Прощайте, сукины дети! — весело кричал Шимеле в последний раз всему местечку, уже сидя в повозке. — Прощайте! Не поминайте лихом! И пусть вам бог поможет выкарабкаться из этого болота в самое ближайшее время! Айда!

— Айда! — повторил за ним Пинеле, который стоял на подводе, как взрослый, засунув руки в карманы, и глядел на своего товарища Шолома с гордостью и любовью. И подводы тронулись.

А когда подводы ушли, оставив за собою запах конского пота и целую стену пыли, Шмуел-Эля схватился за бока и так хохотал, так заливался, будто десять

тысяч чертей щекотали ему пятки: «Ха-ха! В Одессу он поехал! К Эфроси! Ха-ха-ха!»

В эту минуту лицемер Шмуел-Эля приобрел врага, кровного врага в лице Шолома. Последнему было не до смеха. Наоборот, ему хотелось плакать. Во-первых, он потерял друга, во-вторых, ему было завидно. Ведь Пинеле уехал, да еще куда! Так далеко! В самую Одессу. Но хуже всего было, — и это главное, — что прежде милый городок Воронка стал вдруг как бы меньше и беднее, потускнел, потерял свою прелесть, блеск и очарование. Шолому стало тоскливо, и, удрученный, раздосадованный, отправился он в хедер...

Много времени спустя выяснилось, что кантор Шмуел-Эля смеялся не даром: Шимеле и в самом деле переехал с семьей не в Одессу, а в Ржищев, маленькое местечко Киевской губернии, не так уж далеко от Воронки. Зачем понадобилась ему эта комедия с Одессой и Эфроси, придется спросить его детей, ибо самого Шимеле давно уже нет в живых.

## 19

### ПЕРЕМЕНА МЕСТА — ПЕРЕМЕНА СЧАСТЬЯ\*

*Собираемся покинуть Касриловку. — Герил-шепелявый надул своего компаньона. — Саван бабушки Минды*

С чего это пошло, автор сказать не может, но стоило Шимеле уехать, как все в Воронке начали поговаривать: «Перемена места — перемена счастья», надо бы перебраться в большой город — Борисполь, в Ржищев, Васильков или еще подальше.

Детям Нохума Вевикова приходилось слышать и про их отца; рассказывали это под большим секретом — что он собирается вскоре перебраться в Переяслав, большой город, откуда он переехал сюда, в Воронку, давно уже, когда дети были еще совсем маленькими. Эти разговоры заканчивались неизменно словами: «Перемена места — перемена счастья».

Детям Переяслав представлялся огромным, таинственным и полным прелести. «Переяслав — место, где можно заработать», — говорили между собой взрослые,

а малыши прислушивались к ним. И хоть мало понимали, но все же чувствовали, что Переяслав — что-то замечательное. Это их радовало, и в то же время им было жалко расставаться с маленьким местечком, где они провели лучшие детские годы, золотую пору своей юности.

«Что будет, — думал маленький Шолом, — со старой воронковской синагогой, когда все евреи разъедутся? Кто займет их места у восточной стены? А гора по ту сторону синагоги, — что с ней станется? А лавки? А клад?.. Неужто пропадет такое добро, уготованное для евреев, лежащее столько лет глубоко в земле? Неужто все это сгинет, пойдет прахом?»

Как ни остерегались вдоме говорить «о таких вещах» при детях, они все же снова и снова улавливали: «Перемена места — перемена счастья...», «Доходы падают...» Почему, когда меняешь место — меняется счастье, что такое, собственно, «доходы» и как они «падают», — детвора плохо понимала. Но по выражению лиц взрослых ребята догадывались, что за этим кроется что-то серьезное... Постоянно тихий, печальный Нохум Вевиков стал еще тише, еще печальнее. Вечно согнутый, он теперь еще больше согнулся. На высоком, белом лбу стало больше морщин. Он запирался вдвоем со своим младшим братом, дядей Нислом, курил папиросу за папиросой и все о чем-то советовался, шушукался с ним. В последнюю зиму Рабиновичи перестали приглашать весь город на проводы субботы. В праздник торы и на исходе кущей, правда, еще гуляли, дядя Нисл еще менялся со становым шапками и как будто даже танцевал с ним на крыше, — но это был уже не тот праздник и не та пляска. Даже тетя Годл и та стала сдержанней, менее ядовитой... Вся семья как-то развинтилась. Одна лишь бабушка Минда держалась стойко, как дуб. Та же чистота и опрятность, тот же порядок, как всегда. Но субботние сладости были уже как будто не те: яблочки — подмороженные и залежавшиеся, а иногда чуть подгнившие, орехи подточенные, а в винных ягодах завелись черви... Молилась и совершала богослужения бабушка Минда, как и прежде: по своему большому опрятному молитвеннику, со вкусом, во весь голос, как мужчина, громко разговаривала с творцом вселенной. Но даже молитва казалась уже иной. В семье что-то творилось, у Рабиновичей на душе была какая-то тайна.

Так тянулось всю зиму, пока наконец нарыв не вскрылся: истина всплыла, как масло на воде, и весь город узнал тайну — компаньон Нохума Вевикова по аренде вконец разорил его или, попросту говоря, обокрал да к тому же перебил у него аренду. Это был красноносый человек, никогда не вылезавший из полушубка. Звали его Герсл, но так как он произносил вместо буквы «ш» — «с», то его прозвали «Герсл». Тут весь город завопил:

— Реб Нохум, что молчите вы, почему не тащите его к раввину на третейский суд?

Но когда дело дошло до раввина и до третейского суда, этот «Герсл» расхохотался всем в лицо и так грубо выругался да еще с присвистом, что даже повторить неловко...

— И что только этот мерзавец себе не позволяет! — возмущался дядя Нисл, размахивая руками и затягиваясь своей неимоверно толстой папиросой. — Не будь мое имя Нисл, — клялся он — если я этого негодяя, гультая, этого шепелявого грубияна не запрячу в острог по меньшей мере на двадцать пять лет.

— Какой там «острог», какие «двадцать пять лет»! — охлаждал его старший брат Нохум, горько усмехаясь и также закуривая толстую папиросу. — Надули меня, напялили дурацкий колпак — теперь придется возвращаться в Переяслав. Перемена места — перемена счастья.

Это были откровенные речи, совершенно понятные детям, одно лишь было им не совсем ясно: о каком колпаке идет речь. Спросить отца никто не осмеливался. Слишком большое почтение питали они к отцу, чтобы подойти к нему и спросить: «Папа, какой колпак на тебя напялили?» Но дети видели, что отец тает с каждым днем, ходит согнувшись. Каждый его вздох, каждый стон надрывал им сердце.

— Вы останетесь на лето здесь. Жаль прерывать учение. А на праздник кущей, если богу будет угодно, пришлем за вами подводу.

Так однажды в летний день объявил Нохум Вевиков своим детям. К дому подъехали две повозки, точно так же, как недавно к Шимеле, и семья стала собираться в дорогу и прощаться с городом. Но это были не те сборы, не то прощание и не те веселые вареники, что у Шимеле. Какая-то особенная печаль охватила всех, уныние лежало на лицах. Весь город сочувствовал Рабиновичам: «Пусть им бог поможет; перемена места — перемена

счастья! Жалко их, бедняг!» Но дети еще плохо понимали, почему и кого жалко людям. Кого действительно было жалко, так это бабушку Минду, которой на старости лет пришлось уложить свои вещи и собраться в дорогу. Детворе в это время представился случай заглянуть к бабушке в сундук. Кроме шелковых глаженных платочков, заложенных между страницами молитвенника, кроме шелковых праздничных платьев и бархатных накидок странного покроя, с коротенькими рукавами и меховыми хвостиками, — кроме всего этого добра, глубоко в углу лежал большой кусок белого полотна. Это был бабушкин саван, приготовленный ею бог весть когда, на сто лет вперед, чтобы в случае смерти не обременять сына. Об этом знали все. Тем не менее у ребят хватило жестокости спросить у бабушки, зачем ей столько белой материи. Спрашивающий был не кто иной, как самый маленький ростом и самый большой проказник — автор этих воспоминаний. В ответ он получил от бабушки изрядную порцию нравучений и обещание рассказать обо всем отцу. Бабушка говорила, что она уже давно собирается приняться за маленького чертенка. Она хорошо знает, что он передразнивает ее за спиной во время молитвы. Надо сознаться, это было правдой. Уж она все расскажет, все! Уж она отведет душу, грозила бабушка. Оказалось, однако, что она и не думала рассказывать отцу. Перед отъездом, когда дошло до прощания, она расцеловала каждого из детей в отдельности, как может целовать только мать, и плакала над ними, как только мать может плакать. Потом, усаживаясь в повозку, она в последний раз обратилась к ним:

— Будьте же здоровы, детки! Дай вам бог дожить всем до моих похорон...

Странное пожелание!

## 20

### ВОРОНКОВЦЫ РАСПОЛЗАЮТСЯ

*Шмуел-Эля играет в шахматы. — Народ приходит прощаться. — Женщины с заплаканными глазами гримасничают. —  
Надо быть крепче железа, чтобы не расхохотаться*

День отъезда Нохума Вевикова был для местечка днем траура, а для детей днем радости. Ну, чем не праздник? Во-первых, не учатся, — кто же в такой день

пойдет в хедер? Во-вторых, вообще весело — подъезжают подводы, а в доме идут сборы: укладывают вещи, двигают шкафы. Слышен звон стеклянной посуды, гремят ножи и вилки. А едят в этот день, как накануне пасхи, — на скорую руку. Ну, а несколько копеек «отъездных» дети тоже надеются получить! Не так скоро, положим, их увидишь. Пока еще соседи приходят прощаться. То есть приходят они для того, чтобы им сказали «счастливого оставаться», на что они ответят — «счастливого пути» и пожелают отъезжающим всяких благ — здоровья, удачи, счастья и тому подобное.

Раньше всех явился Шмуел-Эля, раввин и кантор. Шмуел-Эля частый гость в доме Рабиновичей. Он приходит каждый день. Не пропустит дня без партии в шахматы, как благочестивый еврей не пропустит молитвы. Играть в шахматы — для него великое удовольствие, выиграть партию у Нохума Вевикова — для него великое счастье. Странная манера у этого Шмуел-Эли: проигрывает — кричит, выигрывает — тоже кричит. Но выигрывает он редко, чаще проигрывает. Когда он в проигрыше, то кричит, что ошибся, сделал ход не той фигурой, а если бы он пошел иначе, проиграл бы, конечно, противник.

Когда дядя Нисл присутствовал при такой партии, он, не утерпев, обычно спрашивал Шмуел-Элю: «Чего вы кричите?» Но отец поступал иначе. Он спокойно выслушивал горячившегося Шмуел-Элю и, добродушно усмехаясь в бороду, продолжал игру. Мать была вне себя: в такое время, за час до отъезда, люди вдруг садятся играть в шахматы! «В последний раз, Хая-Эстер, дай вам бог здоровья! Вы вот уезжаете, расплзается народ, никого не остается — с кем же я в шахматы сыграю?» — умоляет ее кантор и, сдвинув шапку на затылок, принимается за дело — и снова все то же: кантор горячится, кричит, что пошел не так, как хотел, а Нохум, усмехаясь, разрешает ему сделать другой ход.

Но сегодня игра идет не так, как обычно. Каждую минуту люди приходят прощаться. Нельзя быть невежей. Приходится прервать партию, когда приходит такой сосед, как реб Айзик. Хотя у него и козлиная бородка, и молится он фальцетом, но все же он либавичский хасид и очень благочестивый еврей. Сразу после него приходит Дон. Это молодой человек с белесыми волосами, то есть совсем желтыми, как лен. По натуре он



молчалник, ни с кем не разговаривает. Но вот теперь, когда реб Нохум покидает Воронку, он разговорился. Он тоже не прочь уехать отсюда, было бы куда. Ну его к черту, это местечко. Он охотно продал бы свое дело, если б было кому. Ну его к черту! Шмуел-Эля смотрит на него страшными глазами, но тот не останавливается ни на минуту. Разговорился человек! Умолкает он лишь тогда, когда приходят прощаться другие. А приходит весь город, все жители один за другим, — сначала мужчины, потом женщины; у всех грустные, озабоченные лица, некоторые даже заплаканы. Одна женщина принесла нам, детям, конфеты «монпансье». Вот праведница!

Особенно убивались две женщины, вышедшие в свое время замуж в доме Рабиновичей, — кривая Фрума и Фейгеле-черт. Обе так сильно терли глаза, так усердно сморкались, делали такие странные гримасы, что Шолом, маленький пересмешник, не удержался и стал тут же, у них за спиной, передразнивать их, строить рожи и сморкаться, а детвора ежеминутно раздражалась громким хохотом. И тут заварилась каша: «Что за смешки такие?» Мать, женщина суровая и к тому же расстроенная, озабоченная отъездом, оставила все дела и накинулась на детей. Ей хотелось бы только знать — что это за смешки, кому здесь так весело? На помощь ей пришла служанка Фрума. Она готова поклясться, что всему причиной эта вертлявая белка, этот своевольник, обжора, Иван Поперило, отщепенец, отброс, выродок!.. Фрума имела в виду, конечно, автора этой книги, который между тем выглядел простачком, виноватым разве только перед господом богом. Ему, вероятно, здорово влетело бы от матери, если б не вмешалась бабушка Минда и не избавила его от верных оплеух, которые ему предстояло получить вместо отъездных. Увидя, что ее внуку приходится туго, бабушка обратилась к присутствующим:

— Дети, у нас существует старинный обычай — перед отъездом нужно присесть хоть на минутку...

И бабушка первая садится на осиротевшую кушетку, которая слишком стара для путешествия, а продать ее некому. Вслед за бабушкой уселись и остальные, и в комнате стало так тихо, что слышно было, как муха пролетит. Потом наступил последний, самый тягостный момент — прощание и поцелуи. Слава богу — и это уже позади! Повозки готовы. Снова «счастливо оставаться!», опять «счастливого пути!» и — слезы, шмыганье носом.

О, господи, попробуй удержаться и не передразнить женщин — как у них дергаются лица, дрожат подбородки! Они даже не дают попрощаться как следует. Ребятам вдруг стало грустно: жалко отца, жалко мать, бабушку. Вот выносят ее старый, окованный железом сундук; там лежит ее саван... Заныло сердце, хочется плакать, тем более что даже такой человек, как дядя Нисл, тайком утирает глаза. Как, дядя Нисл плачет? Возможно ли это? Отец подзывает ребят поодиночке и дарит каждому по серебряной монете. То же делает и мать. Бабушка еще раньше приготовила в бумажке мелочь для каждого в отдельности. Одно к одному — получится немалая сумма. Поскорей бы уж повозки тронулись! Но вот, с божьей помощью, поехали. Завертелись колеса. Толпа покачнулась. «Счастливого пути! Желаем удачи!»

Бабушка Минда с повозки оглядывает в последний раз местечко, которое она покидает навеки... Ребят снова охватывает печаль, снова на мгновение просыпается в них чувство жалости и тут же гаснет — хочется поскорей пересчитать мелочь...

Шум и гам сменились в конце концов полной тишиной. Повозки ушли, оставив после себя густую пыль, запах смолы и странную пустоту. Люди понемногу начали расходиться кто куда, будто стыдясь чего-то. Дядя Нисл сразу будто сквозь землю провалился. Последним остался кантор Шмуел-Эля. Он еще долго стоял на месте и глядел вслед уезжающим, закрыв ладонью глаза от солнца, которое вовсе не так уж пекло и не так уж ярко светило. Потом с горькой усмешкой вымолвил про себя:

— Люди расплзаются, точно черви...

И плюнул.

## 21

### ГЕРГЕЛЕ-ВОР

*Резник Мойше-праведник. — Гергеле — парень с рассеченной губой. — Искусство воровать яблоки. — Пойман при краже табака. — Смерть учителя*

Не нужно думать, что детей оставили в местечке без присмотра, на произвол судьбы: Перед отъездом отец стал подыскивать для них учителя, наставника и

опекуна в одном лице. Это значило: учитель должен не только обучать их, но и кормить и печься о них. И отцу это вполне удалось. Учитель, опекун и наставник, которого он отыскал для своих детей, был незаурядный человек, сын нашего старого воронковского резника, по имени Мойше.

Это был выдающийся знаток Писания, деликатный, добрый человек. Он обладал только одним недостатком — слабым здоровьем и, пожалуй, слишком уж мягким характером. Учеников своих он воспитывал по-новому, — не розгами, но хорошим, теплым словом, что было для детей совершенно непривычно. Поэтому-то они обманывали его, как могли, и водили за нос, как хотели: не молились, не учились, а позже, когда резник Мойше заболел всерьез, схватил «сухотку» и лег, ребята стали вовсе бездельничать, водились с сиротой Гергеле-вором, босоногим мальчишкой с плутоватыми глазами и заячьей губой. Настоящее его имя было Гершон; Гергеле прозвала его мать, кухарка Сора-Фейга, а прозвище «вор» дал ему его отчим Иосиф-Меер — дровосек, хотя Гергеле тогда еще ничего ни у кого не украл. Если б его не прозвали вором, он, возможно, никогда и не воровал бы. Но теперь он им назло делается вором — было бы что красть.

Так вполне серьезно, с видом взрослого хвастался Гергеле перед Шоломом, который был очарован этим мальчиком с умными глазами и заячьей губой. Знакомство их состоялось тут же, в хедере Мойше-резника. Всю неделю Мойше был учителем, но в четверг превращался в резника, и все девушки и женщины местечка в этот день приходили к нему со своими курами, гусями и утками. Приходил и паренек с рассеченной губой. Это и был Гергеле, которого мать-кухарка посылала к резнику резать на субботу птицу. В ожидании резника Гергеле развлекал публику, строил рожи, гримасничал, уморительно кривлялся. Женщины ругали его последними словами: вором, выкрестом, холерой, и в то же время хотели до упаду. «Вот это свой парень!» — сказал Шолом себе и подружился с ним. Встречались они, понятно, тайком, чтоб никто не видел, потому что сыну почтенных родителей могло порядком влететь за дружбу с кухаркиным сыном и к тому же вором.

Но была особая прелесть в дружбе с мальчиком, с которым можно встречаться только в сумерки перед

вечерней молитвой, потихоньку перекинуться с ним словом, напроказничать, опрометью сбежать вместе с ним в горы и тому подобное. Шолому доставляло особое удовольствие незаметно сунуть ему в руку грош, конфету или просто кусок хлеба. Гергеле все принимал с великой радостью, но не как милостыню, упаси бог, а как должное, даже не поблагодарив, к тому же приказывал принести завтра еще и даже давал советы, как это лучше «добыть», то есть, извините, украсть, и самым деликатным манером, не по-воровски. Так Гергеле научил своих товарищей — много времени ему на это не потребовалось — даром доставать на базаре яблоки и груши. Не из чужих садов, боже упаси. Ибо какой порядочный мальчик рискнет, перемахнув через забор, забраться в чужой сад, где есть сторож, который может переломать тебе кости, и цепная собака, которая готова тебя растерзать. Доставать даром яблоки Гергеле-вор научил их играючи, даже не преступая заповеди: «Не укради». Как же это возможно? Вот послушайте и скажите сами, воровство ли это.

На дворе лето. Только что поспели яблоки и груши. Смеркается. Но бабы еще сидят на базаре со своим добром, разложенным на лотках или просто на земле, и судачат о том, как хорошо уродились фрукты в нынешнем году, о том, что нет дождя, а когда нет дождя, очень пыльно, а когда пыльно, появляются блохи. Мужья этих женщин ушли в синагогу помолиться между делом. Вот это и есть самая лучшая пора. Именно тогда ватага озорников выходит на охоту — добывать даром яблоки. Все босиком и вооружены палками, а на палке гвоздь, изогнутый крючком. Ребята пускаются бежать. Один изображает лошадь, остальные — седоков, которые, дергая за узду, погоняют ее, свистят, кричат: «Пошел!» Это называется «почтой». И как раз когда они приближаются к кучке яблок или груш, Гергеле командует: «Палки долой!» Ребята проводят по земле палками, в облаке поднятой ими пыли никто не замечает, как от кучи откатывается несколько яблок или груш. Отбежав немного, Гергеле растягивается на земле, а за ним и вся ватага. Тут они разбирают добычу — откатившиеся яблоки. Суют кто в карманы, кто прямо в рот. Вот это жизнь! Собственно, не так уж привлекательна кража, не так соблазнительны яблоки, как просто забавно!

Гергеле, в общем, превеселый парень, хоть каждый, кому не лень, колотит его. Бедняк и сирота — кто за него заступится! И к тому же еще вор! Ноте, шамес, поймал его раз с чужим молитвенником, а Руда-Бася, которая печет блины и бублики, вытряхнула у него из-за пазухи половину коржа — такому сам бог велел кости переломать! К тому же у Гергеле не язык, а бритва. У каждого он находит недостаток, всякому дает прозвище, а так как человек он отпетый и терять ему нечего, то ему ничего не стоит подставить вдруг ножку прохожему, чтобы тот растянулся во всю длину, будь это сам раввин, раввинша или жена резника — хлоп об землю! Маленькому Шолому все это очень нравилось, и со временем он так полюбил Гергеле, что приносил ему в карманах большие ломти хлеба со стола жены резника, добытые, конечно, воровским путем, а порой и куски сахара таскал для него из сахарницы. Гергеле любил сахар. Но больше всего он любил покурить, прямо изнывал по папиросе. Но где Шолому ее взять, если учитель болен и не курит, а отца здесь нет? И Гергеле посоветовал ему почаще наведываться к дяде Нислу, тот ведь курит «дюбек» первый сорт!

Это был хороший совет. Дядя Нисл отличался широкой натурой. Коробка с табаком у него стояла открытая, доступная всем, на полочке под зеркалом. Маленький Шолом стал туда часто наведываться; засунув пятерню в коробку, он набирал полную пригоршню «дюбека» и — в карман. И нужно же было, как назло, чтобы это увидела тетя Годл (именно она, а не кто иной). Началось настоящее светопреставление! Не существовало такой кары, которой маленький преступник не заслужил бы. Все четыре казни преисподней были недостаточны для него. Шолом был готов к самому худшему, только бы поскорей. Но господь явил чудо. К счастью для Шолома, произошло событие, которое было, собственно, несчастьем, большим несчастьем: к дяде Нислу прибежали вдруг с известием, что резник Мойше при смерти. Весь город уже там. И дяде Нислу надо поторопиться, так как уже началась агония.

Для маленького преступника это было новым ударом, быть может, более сильным, чем первый. Ни одного своего учителя ребята не любили так, как резника Мойше. Это был настоящий ангел! Только когда служители погребального братства подхватили его тело, накрытое

черным, и торопливо понесли на кладбище и весь город пошел его провожать, дети Нохума Вевикова припомнили, каким прекрасным человеком был их учитель и как мало они его щадили, и слезы потекли у них ручьем. По родному брату не плачут так, как они плакали по своему милому учителю, резнику Мойше.

Больше и горше всех плакал Шолом. Он чувствовал себя перед ним глубоко виноватым, великим грешником. Во-первых, учитель считал его самым лучшим и самым добропорядочным из учеников, а на самом деле Шолом редко знал урок. Он только делал вид, что знает, усердно раскачивался, читал нараспев — обманывал, бесстыдно обманывал учителя! А сколько раз он пропускал больше половины молитв! Да и просто не молился ни днем, ни вечером, а бегал с Гергеле, дразнил поповских собак через частокол или воровал яблоки на базаре. Здесь, на этом свете, учитель ничего не знал, он бы этому даже не поверил. Но там, на том свете, он ведь уже все, все знает.

## 22

### ИЗВОЗЧИК МЕЕР-ВЕЛВЛ И ЕГО «РЫСАКИ»

*Дядя Нисл с проказниками сам проказник. — Пвозка Меер-Велвля и его трое рысаков: Мудрик, Танцор и Аристократка. — Извозчик рассказывает свою биографию*

В конце лета (на дворе еще было довольно тепло, но уже пахло сентябрем) из большого города Переяслава пришла повозка, запряженная тройкой. Подъехав к дому дяди Нисла, извозчик, словоохотливый человек по имени Меер-Велвл, расстегнулся и вытащил из какого-то сокровенного кармана письмо, написанное Нохумом Вевиковым своему брату Нислу Рабиновичу. В письме было сказано, что за детьми посылается, во-первых, подвода, во-вторых, шлют им три пары сапожек и, в-третьих, еду на дорогу: коржи, крутые яйца и груши. А кроме того, бабушка Минда шлет теплое одеяло и старую шаль, чтобы укутать детей на случай холода или дождя. Извозчику наказали взять детей на другой день сразу после утренней молитвы, переночевать с ними в Борисполе, так, чтобы приехать, если богу угодно будет, на следующий день после обеда в Переяслав.

Не описать радости детей, когда им передали содержание этого письма, а заодно вручили три пары сапожек. Чему больше радоваться: новым ли сапожкам, тому ли, что они будут ехать два дня в повозке, запряженной тройкой, или тому, что послезавтра к вечеру они уже будут в большом городе — Переяславе?

— А ну, сорванцы, проказники, озорники, садитесь-ка примерять сапожки! — скомандовал дядя Нисл, дав каждому по щелчку — кому в нос, кому в ухо.

Дядя Нисл любил детей, равно и своих и чужих, и получить от него щелчок было не наказанием, а удовольствием, хотя бы это место и чесалось потом целых полчаса. Ведь от любящей руки и щелчок — подарок. А дети любили дядю Нисла хотя бы уже потому, что он был почти единственным среди родни, который никогда никому не делал внушений, не читал нотаций и не следил, как другие, за тем, чтобы дети прилежно учились и исправно молились. Более того, с проказниками-детьми он и сам становился проказником. Он любил пошутить, пошалить, вместе с ребятами закатить добрую порцию табаку в нос уснувшему в синагоге старику, а потом, когда тот просыпался, кашляя и чихая, пожелать ему «доброе здоровья». О празднике торы нечего и говорить — в этот день он становился озорнее всех озорников. Однажды он напоил пьяницу Гедалью водкой и помог детям связать его, как барана, запереть в каморке, привязав к его руке длинную веревку от колокола, чтобы, протрезвившись, он, сам того не желая, стал трезвонить, как на пожар, чтобы все местечко сбегалось с воплями: «Где горит?»

Понятно, с таким дядей трудно было расставаться! Прощаясь, он каждого из ребят похлопывал по плечу и утешал: «Ничего, ничего, мы еще увидимся! Я здесь тоже надолго не задержусь!..» Сердце ему правильно подсказало, как читатель уже знает из предыдущих глав.

Надев новые сапожки, в которых они почувствовали себя превосходно, даже повзрослевшими, ребята прежде всего осмотрели повозку, познакомились со всеми тремя лошадьми и извозчиком, который должен был везти их отсюда в большой город.

Повозка оказалась, как все повозки, с серым запла-  
танным верхом и хорошо устланная сеном и рогожами; как будто достаточно мягко; ехать, надо думать, будет

одно удовольствие. Это удовольствие ребята смогли оценить только на второй день путешествия, когда на них живого места не осталось. О повозке все. О лошадках же стоит поговорить хотя бы и не особенно подробно, но о каждой в отдельности, потому что они (Меер-Велвл называл их не иначе как «рысаки») имели такое же отношение одна к другой, как солома на крыше к рождению первенца. Это была настоящая еврейская тройка.

Начнем со средней лошади, с коренника. Возница Меер-Велвл назвал ее Мудрик. Почему Мудрик — неизвестно. Может быть, кличка «Мудрик» происходит от слова «мудрый», хотя большим мудрецом Мудрик, по совести говоря, не был. Он был лишь очень стар — об этом свидетельствовали его унылая морда, слезящиеся глаза, облезлый хвост и острые мослаки, которые торчали на его когда-то широком крупе. И все же, несмотря на старость, он почти один тащил тяжелый воз, две пристяжные только делали вид, что тянут.

У этих двух «рысаков» тоже были свои имена. Одного из них звали Танцор, потому что он приплясывал на ходу. У него танцевали все четыре ноги, каждая сама по себе. Они никак не могли поладить между собой, поэтому из его танцев ничего путного не получалось — он только мешал Мудрику. Кроме того, он так тряс повозку, что положительно душу вытряхивал. Понятно, Меер-Велвл воздавал ему за это по заслугам. «Потанцуешь ты у меня!» — кричал он ему и пояснял свою речь иногда кнутом, а иногда кнутовищем. Всю дорогу возница колотил Танцора и учил его уму-разуму. Однако это плохо помогало. Танцор не придавал этому никакого значения и не переставал приплясывать. Огреют его, а он — того хуже — лягнет задними копытами, точно говорит: «Ага, ты вот как? Так на ж тебе!» Роста он был небольшого, много меньше Мудрика, но морда казалась намного умней. Возможно, что Меер-Велвл не преувеличивал, когда хвастался, что Танцор был когда-то великолепным коньком, но так как от дурного глаза у него прихватило ноги и никакого средства против этого не было, то он попал к Меер-Велвлу, и вот с тех пор извозчик мучается с ним.

Третью лошадку Меер-Велвл оставлял в покое, разве только изредка, приличия ради, стегнет кнутом. Это была кобылка, низенькая, толстенная, с мохнатыми



ногами, и звалась она у него Аристократкой, так как происходила из знатного рода. Была она когда-то, как рассказывал по дороге Меер-Велвл, поповской лошастью. Как же она попала к Меер-Велвлу? Это целая история, которую сейчас трудно передать со всеми подробностями: во-первых, случилась она давно, разве все запомнишь? Во-вторых, Меер-Велвл излагал эту историю несколько путано. Помнится только, что Аристократка, как Меер-Велвл рассказывал с усмешкой, была краденной, то есть не он сам, упаси бог, ее украл, украли другие, он же купил ее за полцены. Когда покупал, он и знать не знал, — не знать бы ему так горя и несчастья! — что она краденая. Ведь знай он, что она краденая, да еще у попа, он бы не притронулся к ней, даже если б его озолотили (здесь Меер-Велвл делал серьезную мину), ну, просто озолотили! Не потому, что он такой праведник и боится прикоснуться к краденной лошади. Какое ему дело до того, что на свете есть воры? Если ты вор, тебя и сечь будут на том свете. Он не купил бы ее по другой причине — полиция ему противна, хуже свинины. Он не хочет иметь никаких дел с полицией. Когда-то у него уже были неприятности, беды и несчастья. Извозчики, враги его, подставили ему ножку, особенно Янкл Булгач, черта бы ему в шапку!

И тут у Меер-Велвла начиналась другая история, за ней еще одна и еще одна. И все эти истории рождали сильное подозрение, что у Меер-Велвла было немало дел и с конокрадами и с полицией.

Одного достоинства нельзя было отнять у этого возницы — он был, как мы упоминали, словоохотлив и потоком своих речей занимал молодых пассажиров всю дорогу от Воронки до Борисполя, и от Борисполя до Переяслава рот у него не закрывался ни на минуту. Дети узнали, как он мальчиком поступил в возницы к Янклу Булгачу, как потом женился и сам стал держать лошадей, как бывший хозяин его преследовал, подкапывался под него, но ему на Янкла Булгача наплевать! И про жену свою Меер-Велвл рассказывал, как она когда-то была девушкой, и красивой девушкой, настоящей красавицей. Как он изнывал по ней. Чуть не умер — такая это была красавица! Теперь, если бы он был холостым, он и глядеть бы на нее не стал, но тогда он еще был «ятом» \*.

Слово «ят» дети не совсем поняли. Но когда Меер-Велвл начал рассказывать дальше свою биографию, как жена его меньше чем через год родила ему «ятенка», а годом позже еще «ятенка», и еще, еще, — ребята догадались, о чем идет речь.

Покончив с собственной биографией, возница Меер-Велвл перешел к жизнеописанию Янкла Булгача и других извозчиков, называя каждого по имени и перечисляя, сколько у кого лошадей и каких; у кого — рысаки, а у кого — «шкуры, одры, дохлятина».

От извозчиков Меер-Велвл перешел к барышникам, цыганам, конокрадам и «провидцам». Разница между конокрадом и «провидцем», как пояснил Меер-Велвл, состоит в том, что конокрад выводит коня из конюшни, а «провидец» «угадывает», где этот конь. Поэтому с «провидцами» нужно жить еще в большей согласии, чем с конокрадами. Нет, дети и в два года не узнали бы того, что они узнали за два дня пути от извозчика Меер-Велвла.

Поскольку с извозчиком, его повозкой и тремя «рысаками» мы уже знакомы, мы можем на короткое время вернуться в Воронку и рассказать, как герой этой биографии распрощался со своим местечком, покидая его навеки.

## 23

### ПРОЩАЙ, ВОРОНКА!

*Герой прощается с родным местечком. — Размышления о кладе. — Он готов подарить Гергеле свои старые сапоги. — Глупое столкновение Гергеле со служанкой Фрумой*

Как ни наскучило местечко, как ни надоели его жители, как ни насмеялся над Воронкой в свое время Пинеле, сын Шимеле, перед отъездом местечко вновь обрело в глазах детей Нохума Вевикова прежнее очарование, и им стало больно с ним расставаться.

Как с живым существом, как с любимым и верным другом прощался Шолом с местечком, со двором, с садом, с каждым деревцем, которое теперь уже будет принадлежать кому-нибудь другому; и с горой по ту сторону синагоги, и с «левадой» за городом — со всеми местами, где он бывал со своими лучшими друзьями: сиротой Шмуликом, Гергеле-вором и другими.

Особо простился он с тем местом, где, как это было известно Шмулику, лежал клад; как зачарованный сто-

ял Шолом один в священной тишине, и в голове у него проносился рой мыслей... Что будет с кладом, если его, упаси бог, найдет кто-либо другой? И возможно ли, чтобы его нашел не еврей? Но это может знать только один-единственный человек — Шмулик... Где-то он теперь, его друг Шмулик? Встретятся ли они когда-нибудь? И что будет, если они встретятся? Если встретятся, то, должно быть, прежде всего приедут сюда ненадолго вдвоем еще раз взглянуть на те места, где вместе провели свои лучшие годы. А потом они примутся за поиски клада: сначала будет поститься один, потом другой; а когда покончат с постами и с псалмами — начнут искать клад. А когда найдут клад — поделят его пополам, на равные доли. То-то будет праздник! Большую часть клада получит, конечно, его отец, Нохум Вевиков. Дядя Нисл — тоже немалую долю; затем дядя Пиня и остальные родственники. Значительная часть клада останется здесь, в местечке, у воронковцев. Вдове Мойше-резника надо дать столько, чтобы она перестала думать о новом замужестве и чтобы ей не пришлось таскаться в Фастов к своим родственникам, которые и сами еле перебиваются с хлеба на квас. «Общественные деятельницы» — служанка Фрума и Фейгеле-черт, хоть они этого не заслужили, все же получают столько, сколько их мужьям и не снилось. Старой Руде-Басе, которая печет блины, бублики, коржи и кормит своими распухшими руками целую семью, не вредно на старости лет отдохнуть. А служанка Мейлах, а пьяница Гедалья — их тоже нельзя обойти! Кантор Шмуел-Эля все жалуется, что ему тесно в Воронке, у него хороший голос, и, если бы у него были ноты, он мог бы петь лучше самых знаменитых канторов, — нужно, значит, постараться, чтобы у него были ноты. Остается теперь один лишь Гергеле-вор. Что сделать с парнем, чтобы он бросил воровство? Прежде всего нужно, чтобы мать его не была кухаркой, отчиму его — дровосеку — нужно купить собственный дом, насыпать ему полные карманы денег и объяснить, что это делается не ради него, а ради его пасынка Гергеле: пусть перестанет его колотить и называть вором...

Только он об этом подумал, как перед ним вырос оборванный и босой, как всегда, Гергеле-вор.

— Как ты сюда попал?

— А ты?

Они разговорились и пошли вместе. Шолом сообщил приятелю, что уезжает. Гергеле об этом знал. Он даже видел повозку с тремя лошадьми.

— Видел? Что ты о них скажешь?

— О ком?

— О лошадях.

— Что о них сказать? Лошади как лошади...

— А как тебе нравится повозка?

— Что ж, повозка как повозка.

Гергеле не в духе. Товарищ пытается его развеселить.

— Знаешь, я только что думал о тебе, а ты тут сам и явился.

— Да ну! Что же ты думал обо мне?

— Я думал... Я имел тебя в виду при дележе клада.

— Какого клада?

Шолому становится не по себе: сказать или не сказать? А Гергеле снова спрашивает: «Какой клад?» Ничего не поделаешь — придется рассказать. И Шолом принимается рассказывать ему про клад. Гергеле оживляется: «А где лежит этот клад?»

Шолому становится еще больше не по себе: сказать или не сказать? В глазах Гергеле зажигается огонек: «Ты боишься, что я его стащу?»

Шолом уже раскаивается в том, что затеял этот разговор, он начинает говорить с Гергеле тем же тоном превосходства, каким Пинеле когда-то говорил с ним.

— Глупенький, а если я тебе скажу, ты все равно к нему не сможешь добраться, потому что не знаешь кабалы, — это раз; а во-вторых, нужно поститься сорок дней, а на сорок первый день...

— А на сорок первый день ты дурень! — перебивает товарища Гергеле и бросает взгляд на его сапожки; они ему, видно, нравятся. — Новые?

Шолом чувствует себя неловко: у него новенькие сапожки, а его товарищ ходит босиком! И он обращается к Гергеле:

— Хочешь, пойдем со мной к дяде Нислу — я тебе кое-что подарю.

— Подаришь?.. Что ж, это неплохо.

Шолом и, видимо, довольный Гергеле отправляются в путь. У дяди Нисла они застают целую ораву друзей и приятелей, которые, узнав, что за детьми Нохума Вевикова пришла подвода, явились попрощаться и передать дружеские приветы их родителям.

В этой ораве были и обе «общественные деятельницы» — служанка Фрума и Фейгеле-черт, пока одни, без мужей. Немного позже придут, конечно, прощаться и мужья. Все смотрят на детей с уважением — еще бы, люди едут в большой город, в Переяслав! С ними и разговаривают по-новому — советуют, как ехать, у кого остановиться в Борисполе. Дядя Нисл угощает каждого из них, по своему обыкновению, щелчком и спрашивает, черкнут ли они ему когда-нибудь несколько слов. Что за вопрос? Они будут писать каждую неделю, два раза в неделю, каждый день! Кантор Шмуел-Эля просит передать привет отцу особо и сказать, что, с тех пор как тот уехал, он, Шмуел-Эля, не сыграл ни одной партии в шахматы, потому что Воронка теперь — пустыня! Тетя Годл вдруг сделалась такой мягкой, что хоть приложи ее к болячке вместо пластыря. Она не понимает, заявляет она вдруг, как можно отпустить детей голодными и что это за еда на двое суток — коржики, крутые яйца и груши. Этак недолго и с голоду умереть! И тетя Годл щедрой рукой снарядила их в дорогу: завернула маленький горшочек сала, баночку засахаренного варенья, оставшегося, видно, с прошлого лета, и повидло, да такое кислое, что губы сводило.

Тем временем, пока тетя Годл собирала детей в дорогу, а дети были заняты прощанием, между служанкой Фрумой и Гергеле-вором разыгралась небольшая драма. Заметив Гергеле, Фрума покосилась на него своим кривым глазом и спросила Фейгеле-черта: «Что делает здесь этот вор?» Гергеле, не дожидаясь, пока Фрума получит ответ, спросил, в свою очередь: «А что делает здесь эта слепая?» Тут мог бы вспыхнуть большой скандал, если бы Шолом не взял своего приятеля за руку и не пошел с ним во двор (в такой день позволено все, даже водиться с Гергеле-вором).

— Я сказал тебе, что кое-что подарю... Вот, возьми!..

И Шолом, сын Нохума Вевикова, довольный своим благодеянием, вынул из-под полы свои старые сапожки и протянул их приятелю. Гергеле, очевидно, ожидал другого подарка, а не пары изношенных сапог. Кроме того, он был раздражен столкновением с кривой Фрумой и недоволен тем, что Шолом скрыл от него место, где лежит клад, да и вообще он в этот день был не в духе. Сапоги Гергеле взял, но тут же со злостью швырнул их прочь, выбежал босиком со двора и скрылся.

Пустой случай, но как больно стало Шолому! Поступок Гергеле отравил ему прощание с местечком и всю прелесть первого большого, далекого путешествия. Сколько ни старался он после отогнать от себя печальный образ обиженного приятеля, тот все не выходил у него из головы, стоял перед глазами и вызывал ноющее чувство в груди: «Обидел, обидел бедного товарища!»

Проехали базар, миновали лавки, домишки, еврейское кладбище, за ним христианский погост, вот уж и мостик проехали, и «леваду» оставили позади, исчезла Воронка! И вдруг герой этой биографии почувствовал странное стеснение в горле, чувство жалости к маленькому местечку пронизало его насквозь, точно оно осталось сиротой. Это чувство вместе с досадой от случая с Гергеле смягчило его сердце и увлажнило глаза. Отвернувшись, чтобы братья не заметили, Шолом вытер слезу и тихо в последний раз попрощался с местечком:

— Прощай, Воронка, прощай!

## 24

### ПУТЕШЕСТВИЕ

*Путешествие в повозке Меер-Велвл. — Философские размышления. — Первая остановка в пути. — Борисполь. — Носатые хозяева постоялого двора. — Ночлег на полу. — Герой прощается с Воронкой навеки*

Только тот, кто вырос в маленьком местечке и впервые попал в большой мир, поймет то ощущение счастья, безмерной радости и душевного подъема, которое охватило детвору при их первом долгожданном путешествии. Вначале ребята места себе не находили от восторга: они то лежали в повозке, облокотившись, как отец во время пасхальной трапезы на своем ложе из подушек, то вытягивались, засунув руки в карманы, то становились во весь рост, держась за стойки навеса. Этого уже извозчик Меер-Велвл никак не мог стерпеть, и хоть жил он с ребятами в согласии и всю дорогу расказывал им свои извозчицьи истории, он без всякого стеснения пообещал вырвать у них кишки, если они что-нибудь сломают в его повозке. Изрекши это, Меер-Велвл стегнул своих «рысаков» и покатил дальше.

Кто еще помнит ощущения своего первого путешествия, тот знает, как мчится назад дорога, как земля



убегает из-под колес и копыт лошадей, как все плывет у вас перед глазами, как пахнет поздняя травка или задетая ветка одинокого дерева, как свежий воздух проникает во все поры вашего существа и ласкает, ласкает вас так, что вы испытываете полное блаженство. И вас вздымает ввысь, вам хочется петь — хорошо, бесконечно

хорошо! Оставив позади дома, мостик, леваду и кладбище, вы мчитесь все дальше и дальше, и вдруг перед вами вырастают какие-то высокие «живые мертвецы», которые машут руками вверх-вниз, вверх-вниз, даже страх берет. Когда же подъезжаете ближе, оказывается, что это просто-напросто ветряные мельницы. Но вот и они скрываются, и вы видите только поле и небо, небо и поле. И хочется вам прыгнуть с повозки или, верней, взлететь и раствориться в синеве, у которой нет ни конца, ни начала. Поневоле возникает мысль о том, как мал человек и как велик тот, кто сотворил большой, прекрасный мир. Убаюканный этими мыслями, вы начинаете дремать. Но вот перед глазами вырастает телега, запряженная парой огромных волов с большими рогами, и шагающий рядом босоногий крестьянин в широченной шляпе. Меер-Велвл здоровается с ним наполовину по-украински, наполовину по-еврейски: «Здорово, чоловіче, хай тобі буде серцебиение в животе и понос в голове». Крестьянин не понимает, чего пожелал ему этот человек — хорошего или плохого; он стоит некоторое время в раздумье, потом, кивнув головой, бормочет себе под нос «спасибо» и идет дальше, а ребята раздражаются громким хохотом. Меер-Велвл, который даже не улыбнулся, поворачивает голову к своим юным пассажирам: «Что это за смех напал на вас, байстрюки?» Вот тебе раз — он еще спрашивает, что за смех! Так проходит день, первый день этого счастливого путешествия на исходе лета.

Последние дни лета — как они хороши! Поля обнажены, местами уже вспаханы, хлеб давно убран, но кое-где еще виднеется колос, стебелек растения, цветок. На крестьянских бахчах созревают арбузы, дыни, продолговатые тыквы, высокие подсолнухи, горделиво вытянувшись, выставляют напоказ свои пышные желтые шапки. И весь этот мир еще полон мушек и козявок, которые жужжат, гудят, полон прыгающих кузнечиков, мотыльков и бабочек, радостно кружащихся в воздухе. Аромат полей наполняет легкие, и мир вокруг кажется таким большим, небо вверху таким бесконечно высоким, что вновь приходит мысль о том, что люди слишком малы, слишком ничтожны для такого большого света и что только бог, чьей славой наполнена вселенная, только он ей и соразмерен...

— Слезайте, байстрюки, мы уже в Борисполе! Здесь переночуем, а завтра, бог даст, поедем дальше.



Борисполь — новый город, верней, новое село, большое село. Домишки такие же, как в Воронке, и люди такие же, только вот носы у них другие. Может быть, это было простое совпадение. Ребята крайне удивились тому, что хозяин постоянного двора, хозяйка и их четыре взрослые дочери были все длинноносыми. А для полноты картины служанка их обладала носом еще длиннее, чем у хозяев. Узнав от извозчика, кто такие эти пассажиры, длинноносый хозяин почтил их своим вниманием, достойно приветствовал, тут же велел длинноносой служанке поставить самовар, подмигнув длинноносой хозяйке, чтобы она подала закусить, а длинноносым дочерям приказал надеть ботинки, так как они ходили босиком.

С этими босоногими девушками юные путешественники быстро подружились. Девушки с любопытством расспрашивали ребят, откуда и куда они едут, как их зовут и как им нравится Борисполь, — они все хотели знать, даже сколько лет каждому. Потом все вместе — мальчики и девушки — попробовали кислого повидла, которое тетя Годл дала им в дорогу, и хохотали до упаду.

Потом они играли в «куцебабу», или, иначе, в жмурки, — игра, во время которой одному завязывают глаза и он должен кого-нибудь поймать. Девушки пришли в азарт, и когда им удавалось поймать кого-либо из мальчиков, они его так крепко прижимали к груди, что у того дух захватывало.

На ночь гостям постелили на полу сено, и, чтобы они не сочли себя обиженными, хозяйка показала им, что в другом углу этой же комнаты спят ее дочери, тоже на полу. «Растут, не сглазить бы, и совсем неплохо», — прибавила она и высморкала свой длинный нос. Ребята охотно примирились бы с этим ложем, если бы не стеснялись раздеваться при девушках. А девушки без всякого смущения скинули с себя кофтенки и, стоя босиком в одних юбках с обнаженными шеями и распущенными волосами, странно переглядываясь, бросали взгляды на мальчиков и хохотали, хохотали без конца.

— Тише! — скомандовал хозяин и потушил висющую лампу. Однако и в темноте в обоих углах все еще слышался сдавленный смех и шуршание сена. Но это длилось недолго, ибо вскоре крепкий невинный сон сомкнул молодые глаза.

Знакомая утренняя молитва, которую нараспев произносил хозяин постоянного двора, возвестила ребятам,

что наступил день и что нужно ехать в Переяслав. Это снова окрылило их и наполнило сердца радостью. Возница Меер-Велвл сложил свое молитвенное облачение, и лицо его сияло, как у истинного праведника. Потом он пошел запрягать «рысаков» и на своем языке объяснился с Мудриком, Танцором и Аристократкой, угощая кнутом каждого в отдельности, хотя больше всех досталось Танцору, «чтобы не плясал, когда не играет музыка...».

Солнце весело сияло, и весь двор, казалось, был в золоте, повсюду брильянтами переливалась роса. Даже куча мусора, накопившаяся за лето, а может, и за два, была золотой. А петух и куры, которые копошились в этой куче, казалось, до последнего перышка отлиты из чистого золота. Их кудахтанье ласкало слух, лапки, разгребавшие мусор, были полны прелести. И когда желтый петух, взобравшись на вершину кучи, закрыл глаза и залился великолепным долгим головокружительным кукареку на манер заправского кантора, дети с особенной силой ощутили красоту мира и величие того, кто сотворил его. Им захотелось воздать ему хвалу — не молиться, конечно, как это делали хозяин бориспольского постоянного двора или возница Меер-Велвл, нет, к этому у ребят особой охоты не было, молитвы им уже давно надоели, — только сердцем воздать хвалу творцу.

— Влезайте в повозку, байстрюки, нам еще целый день ехать! — поторапливал их Меер-Велвл. Он расплатился за овес и сено и попрощался с хозяевами постоянного двора. Ребята тоже сердечно распрощались с длинноносой семьей, забрались в повозку, и как только она, громыхая, выкатилась из Борисполя на широкий простор садов и полей, песков и лесов, к безбрежным небесам, их вновь обняла приятная свежесть, вновь охватило чувство безмерной свободы. Однако не слишком ли уж много этого неба! Им уже стало надоедать и небо, и звезды, и возница Меер-Велвл со своими рассказами. К тому же стало стучать в висках, в глазах зарябило, бока заболели от невыносимой тряски. Казалось, громыхание повозки будет продолжаться вечно, никогда не прекратится. Уже возникло желание слезть с нее, появилась тоска по твердой земле, по дому, по местечку Воронке. И герой этой биографии забился в угол повозки, вздохнул легонько и снова стал мысленно прощаться с местечком. Он шептал тихо, чтобы не услышали братья:

— Прощай, Воронка! Прощай, прощай!

## НА НОВОМ МЕСТЕ

*Переяслав — большой город. — Холодная встреча. — Серебро заложено, заработков нет. — Отец озабочен*

После двухдневной тряски, подпрыгивания, покачивания, после того как они вдоволь наглотались пыли и наслушались извозчичьих историй, юные путешественники к вечеру почувствовали, что они уже вот-вот у цели. Еще немного, и в темноте замелькали огоньки — признак города. Потом колеса застучали по камням, и повозку затрясло еще больше. Это уже был настоящий город, большой город Переяслав. Дребезжа и гроыхая, повозка Меер-Велвла подкатила к темному двору, над воротами которого висел закопченный фонарь и пучок сена — отличительный знак заезжего дома.

То, что родители содержат заезжий дом, было для детей сюрпризом, и весьма обидным. Как, их отец, реб Нохум Вевиков, выходит встречать постояльцев, их мать, Хая-Эстер, стряпает, их бабушка Минда прислуживает! Большого падения, худшего позора они и представить себе не могли. И мечтатель Шолом, вечно грезивший о лучших временах, о кладе, потом долго грустил в тишине, плакал тайком, в тоске вспоминал свою милую маленькую Воронку. Он никак не мог понять, почему взрослые говорили: «Перемена места — перемена счастья». Нечего сказать, хорошо счастье!

— Вылезайте, байстрюки, приехали! — возвестил Меер-Велвл, после того как с протяжным тпр-р-р-у остановил лошадей у крыльца заезжего дома.

Усталые, разбитые и голодные, ребята стали по одиночке выбираться из повозки, расправляя затекшие члены. В доме тотчас отворилась дверь, и на крыльце начали одна за другой появляться фигуры, которые в темноте можно было различить только по голосу. Первая фигура была прямой и широкой — это бабушка Минда. Вытянув свою старую шею, она воскликнула: «Слава богу, приехали!» Вторая фигура была маленькая, юркая — это мать. «Уже приехали?» — спросила она кого-то. «Приехали!» — радостно ответила ей третья фигура, длинная и худая. Это был отец, реб Нохум Вевиков, теперь уже реб Нохум Рабинович (в большом городе дедушке Вевику дали отставку).

Не такой встречи ожидали ребята. Все, правда, расцеловались с ними, но как-то холодно. Потом их спросили: «Как поживаете?» Что можно ответить на такой вопрос? «Ничего...» Бабушка Минда первая спохватилась, что дети, вероятно, хотят есть. «Вы голодны?» Еще бы не голодны! «Хотите чего-нибудь поесть?» Еще бы не хотеть! «Вечернюю молитву читали?» — «Конечно, читали!»

Мать поспешила на кухню приготовить чего-нибудь поесть, а отец тем временем экзаменовал мальчиков, далеко ли они ушли в ученье. О, они ушли далеко! Но зачем им морочат голову, когда им хочется поскорей осмотреть новое место, дом!

Они ворочают головами, озираются по сторонам — где они находятся. Они видят себя в большом доме, мрачном и нелепом, со множеством комнатушек, разгороженных тонкими дощатыми переборками. Это комнаты для постояльцев, а постояльца — ни одного. В центре дома — зал. В зале ребята узнали всю воронковскую мебель: круглый красный стол о трех ножках, старую красную деревянную кушетку с протертым сиденьем, круглое зеркало в красной раме с двумя резными руками над ним, будто простертыми для благословения, и застекленный буфет, из которого выглядывали цветные пасхальные тарелки, серебряная ханукальная лампада и старый серебряный кубок в форме яблока на большой ветке с листьями. Всех остальных серебряных и позолоченных кубков, бокалов и бокальчиков, а также ножей, вилок, ложек — всего столового серебра — уже не было. Куда оно девалось? Только много позже дети узнали, что родители заложили его вместе с маминым жемчугом и драгоценностями у одного переяславского богача и больше уже никогда не смогли выкупить.

— Ступайте умойтесь! — сказала бабушка Минда, после того как мать принесла из кухни далеко не роскошный ужин: подогретую фасоль, которую нужно было есть с хлебом; да и хлеб был черствый. Мама сама нарезала хлеба и дала каждому его порцию. Этого у них никогда не бывало — повадка бедняков! А отец сидел сбоку и не переставал их экзаменовать. Он, видно, был доволен — дети много успели. О среднем, Шоломе, и говорить не приходится — этот все знает наизусть и проносит целые главы «Исайи» \* на память.

— Ну, хватит, пусть идут спать! — сказала мать, убирая оставшийся хлеб со стола и пряча его в шкаф. Этого тоже не бывало у них в Воронке. Это уже вовсе неприлично. То ли путь оказался слишком долг и тяжел и ребята устали, то ли встреча была не слишком приветливой, а ужин нищенским, но новое место, о котором дети так мечтали, выглядело не столь уж привлекательно. Слишком много они, видно, ожидали, поэтому и велико было разочарование; они чувствовали себя словно выпоротыми и обрадовались, когда им велели прочитать молитву и ложиться спать.

Лежа потом вместе с братьями на сеннике, посланном прямо на полу в большой темной проходной комнате без всякой мебели — между залом и кухней, — герой этой биографии долго не мог уснуть. В голове копошились всякого рода мысли, и один за другим возникали бесчисленные вопросы. Почему здесь так мрачно и уныло? Почему здесь все так озабочены? Что с мамой, почему она вдруг стала так скупа? Что стало с отцом, почему он так согнулся, ссутулился, так сильно постарел, что сердце сжимается при взгляде на его желтое морщинистое лицо. Неужели все из-за того, что, как говорили в Воронке, доходы падают? И это называется «перемена места — перемена счастья»? Как быть, чем помочь? Одно спасенье — клад. Ах, если бы привезти с собой хоть небольшую часть того клада, который остался в Воронке!

При мысли о кладе Шолом вспоминает своего друга — сироту Шмулика — и его удивительные сказки о золоте, серебре, алмазах, брильянтах в подземном раю и о том кладе, который лежит за воронковской синагогой еще со времен Хмельницкого. Шолому снятся груды золота, серебра, алмазов и брильянтов. И Шмулик является ему во сне, милый Шмулик с его привлекательным лицом и блестящими, смазанными жиром волосами. И слышится ему его мягкий хрипловатый голос; он говорит с ним дружески приветливо и, как взрослый, утешает его ласковыми словами: «Не горюй, Шолом, дорогой! Вот тебе от меня подарок — камень, один из тех двух чудесных камней: выбирай, какой хочешь, — камень, который называется «яшпе», или камень, который зовется «кадкод». Шолом в нерешительности, он не знает, он забыл, какой из них лучше, — камень, который зовется «яшпе», или тот, который на-

зывается «кадкод». Пока он раздумывает, подбегает Гергеле-вор, выхватывает оба камня и скрывается с ними. А Пинеле, сын Шимеле, — откуда он взялся? — сунул руки в карманы и покатывается со смеху. «Пинеле, над чем ты смеешься?» — «Над твоей тетей Годл и ее повидлом, ха-ха-ха!»

— Вставайте, лежебоки! Смотри-ка, никак их не разбудишь! Нужно убрать этот хлам! Пора обед варить, а они разоспались, спят сладким сном, — жалуется мать, маленькая, проворная, захопотававшаяся, обремененная работой в доме и на кухне — одна на весь дом.

— И-о-ну, молиться! — нечленораздельно, чтобы не прервать молитвы, поддерживает ее бабушка Минда, которая держит в руках молитвенник и, перелистывая страницу за страницей, ревностно молится.

— После молитвы вы навестите родных, а в хедер, бог даст, пойдете после праздников, — ласковой всех говорит отец.

Он одет в какой-то странный халат, подбитый кошачьим мехом, хотя на дворе еще тепло. Сгорбленный, озабоченный, он затягивается крепкой папиросой и вздыхает так глубоко, что сердце разрывается. Кажется, он даже стал ниже ростом, старше и ниже... И ребятам хочется поскорей вырваться на волю, побегать по улицам, посмотреть город, познакомиться с родней.

## 26

### БОЛЬШОЙ ГОРОД

*Знакомство с родней. — Тетя Хана и ее дети. — Эля и Авремл экзаменуют героя по Библии. — Экзамен по письму у дяди Пини*

Насколько ночью город выглядел темным и пустынным, настолько утром он оказался полным сияния и блеска в глазах воронковских мальчиков — местечковых ребят, приходивших в восторг от каждой мелочи. Они еще в жизни не видели таких широких и длинных улиц с деревянными «пешеходами» (тротуарами) по обеим сторонам; они никогда не видели, чтобы дома были крыты жестью, чтобы на окнах снаружи были ставни, окрашенные в зеленый, синий или красный цвета, чтобы лавки были сложены из кирпича и имели железные двери. Ну, а базар, церкви, синагоги и молельни, не будь

они рядом помянуты, и даже люди — все это так величественно прекрасно и празднично-нарядно! Нет, Пиня не преувеличивал, когда рассказывал чудеса о большом городе. Ноги, точно на колесиках, скользили по деревянным «пешеходам», когда дети шли рядом с отцом знакомиться с родными и приветствовать их. Только уважение к отцу мешало им останавливаться на каждом шагу и восхищаться чудесами, которые представлялись их глазам. Как водится, отец шел впереди, а дети плелись сзади.

Войдя на просторный двор и миновав большой светлый застекленный коридор, они вступили в великолепные покои с навощенными полами, мягкими диванами и креслами, высокими до потолка зеркалами, резными шкафами, со стеклянными люстрами, свисающими с потолка, и медными бра на стенах. Настоящий дворец, царские палаты!

Это был дом тети Ханы — странный дом, без хозяина (тетя Хана была вдовой). Дети ее никому не повиновались: ни матери, ни учителю — полная анархия! Каждый делал, что хотел. Ребята все время ссорились между собой, давали друг другу прозвища, говорили все сразу, смеялись во все горло и шумели так, что голова шла кругом.

Тетя Хана была женщина высокая и величественная. Ей пристало бы быть гранд-дамой из тех, что нюхают табак из золотой табакерки, на которой изображен какой-нибудь принц старинных времен, с белой косичкой и в шелковых чулках. В молодости тетя Хана отличалась, вероятно, необыкновенной красотой. Об этом свидетельствовали и ее дочери, редкие красавицы.

Как только пришли ребята, поднялся крик, шум, гам: — Так вот они какие! Вот это и есть великий знаток Пророков? \* Ну-ка, подойди сюда, не стесняйся! Смотри-ка, он стесняется, ха-ха-ха!

Отец, видно, не удержался и похвастался сыном, который хорошо знает Библию, и мальчику тут же присвоили титул «Знаток Библии».

— Налей-ка Знатоку Библии стаканчик чаю, дай ему яблоко и грушу — пусть попробует этот Знаток Библии наши переяславские фрукты.

— Знаете что, позовем сюда Элю и Авремла, они его проэкзамеуют.

Позвали Элю и Авремла.

Эля и Авремл, уже взрослые парни с порядочными бородками, приходились тете Хане родственниками со стороны мужа. Они жили в доме напротив. Их отец, Ицхок-Янкл, разорившийся богач, всю жизнь судился с казной, носил серьгу в левом ухе, красивую круглую бороду, ни на кого не глядел, ни с кем не вступал в беседы и постоянно усмехался, как будто хотел сказать: «О чем мне с вами разговаривать, если все ослы».

Эля и Авремл, как только пришли, сразу же, без всяких церемоний, устроили воронковскому пареньку устный экзамен по всему Писанию с начала до конца. И, нужно признаться, воронковский паренек блестяще выдержал испытание. Он не только определял, из какой главы, из какого стиха взято то или иное слово, но даже указывал, в каком месте находятся все другие слова того же корня. Отец его сиял, просто таил от удовольствия. Лицо его светилось, морщины на лбу разгладились: весь он выпрямился, стал совсем другим человеком.

— Дайте Знатоку Библии еще яблоко и грушу, еще орехов и конфет, конфет побольше! — распоряжались красавицы дочери.

И титул «Знаток Библии» остался за Шоломом надолго, и не только среди родни. Даже в синагоге мальчишки-проказники называли его не иначе как «воронковский знаток Библии». И взрослые часто, добродушно ухватив его за ухо, спрашивали: «Ну-ка, маленький Знаток Библии, скажи, в каком месте находится такое-то изречение?»

Знатоку Библии очень понравился дом тети Ханы и ее дети — Пиня и Моха, двое мальчишек-озорников, с которыми он вскоре подружился. Ему казалось, что прекрасней и богаче дома, чем у тети Ханы, нет не только в Переяславе, но и во всем мире. В самом деле, где это видано, чтобы яблоки брали из бочки, орехи — из мешка, а конфеты — прямо из кулька!

Совсем по-иному выглядел дом дяди Пини. Это был настоящий еврейский дом — с шалашом для кушей, с множеством священных книг, среди них — весь Талмуд, с серебряной ханукальной лампадой и плетеной восковой свечой. Но куда ему до дома тети Ханы! Обыкновенный набожный дом. Все там были набожны — и дядя Пиня, и его дети. Мальчики в длинных, до земли, сюртуках, с длинными, до колен, арбеканфесами. Дочери в целомудренно надвинутых на лоб платках посто-



роннему прямо в глаза не глянут, при виде чужого человека краснеют, как бурак, и лишь хихикают. Тетя Тэма — богомольная женщина с белыми бровями. И рядом ее мать — вылитая Тэма, как две капли воды. И не различишь, где мать, а где дочь, если бы мать не трясла все время головой, будто говоря: «Нет-нет!»

Здесь, у дяди Пини, отец не хвалился своим Знатком Библии. В этом доме Библия была не в чести. Ибо кто изучает Библию? Библию изучают вольнодумцы. Зато отец не удержался и похвалился почерком своих детей. Его дети, говорил он, пишут — миру на удивление.

— Вот у этого малыша изумительный почерк, — показал он на Шолома, — мастерская рука!

— Ну-ка, дайте сюда перо и чернила! — приказал дядя Пиня и засучил рукава на обеих руках, будто сам собирался приняться за работу. — Подайте мне перо и чернила, мы сейчас проверим, как он пишет — этот мальчик. Живо!

Приказание дяди Пини прозвучало как приказание строгого генерала, и дети — как мальчики, так и девочки — бросились во все стороны искать перо и чернила.

— Листок бумаги! — снова скомандовал «генерал». В доме, однако, не оказалось ни клочка бумаги.

— Знаете что, пусть он пишет на моем молитвеннике, — нашелся сын дяди Пини, занятный паренек с остроконечной головкой и длинным носом.

— Пиши! — приказал отец своему Знатку Библии.

— Что мне писать?

— Пиши что хочешь.

Обмакнув перо, «мастерская рука» и Знаток Библии задумался, — он не знал, что ему писать, хоть убей! Семья дяди Пини уж, должно быть, решила, что «мастерская рука» может писать лишь тогда, когда никто не видит. Но тут Шолому пришло на память то, что было выведено в те годы почти на каждой священной книге, и, засучив рукав и повертев в воздухе рукой, он снова обмакнул перо. А через несколько минут им была выведена следующая надпись на древнееврейском языке:

«Хотя на священной книге мудрецы писать запрещают, но знака ради это позволено».

Это было как бы вступлением, за которым следовал известный текст:

«Сей молитвенник принадлежит... Кому принадлежит? Кому принадлежит, тому и принадлежит. Но

все же кому он принадлежит? Тому, кто его купил. Кто же его купил? Кто купил, тот и купил. Кто же все-таки его купил? Тот, кто дал деньги. Кто же дал деньги? Кто дал, тот и дал. Все-таки кто же дал? Тот, кто богат. Кто же богат? Кто богат, тот и богат. Кто же все-таки богат? Богат славный юноша Ицхок, достойный сын знаменитого богача Пинхуса Рабиновича из прославленного города Переяслава».

Трудно передать, какой фурор произвела эта надпись и почерк, каким она была сделана. Особенно почерк! Шолом постарался, чтобы отец его, упаси боже, не был посрамлен. Он напряг все силы. Он потел, как бобер, старался писать самым замечательным бисерным почерком, буквами, которые можно рассмотреть только в лупу. Он применил искусство каллиграфии, унаследованное им от воронковского учителя реб Зораха, воспитавшего в этом местечке, можно сказать, целое поколение каллиграфов, которые разбрелись по свету и поражают всех еще и поныне красотой своего письма.

## 27

### КАНИКУЛЫ

*Арнольд из Подворок. — Новые товарищи. — Учитель Гарми-за читает тору. — Воронковские сорванцы показывают свое искусство*

«Бейн-газманим!» Кто может это понять! Вакации, вакейшен, фериен, каникулы — все это слова одного порядка. Однако они не выдерживают никакого сравнения с тем, что говорит сердцу еврейского мальчика слово «бейн-газманим».

Ребенок, которого отпустили на каникулы из школы или гимназии, вдоволь натешился в самой школе, достаточно погулял и порезвился в течение года — может быть, даже больше гулял, чем учился. Но мальчик из хедера весь год тяжело трудился, сидел, бедняга, допоздна и все учил, учил и учил. И вдруг — полтора месяца подряд не нужно ходить в хедер. Может ли быть большее счастье! К тому же и праздники приближаются — «грозные дни»\*, кущи, праздник торы! И все это на новом месте, в большом городе Переяславе.

Прежде всего нужно осмотреть город. Ребята его еще почти не видели. Они побывали пока только у тети

Ханы и у дяди Пини, да еще в большой синагоге, старой синагоге и холодной молельне, где поет кантор Цали. А ведь в городе немало улиц и всяких интересных мест. Тут и река Альт, и река Труб, и длинный мост. А Подворки за мостом! Подворки — это вроде другого города, но в самом деле это часть Переяслава. Оттуда и происходит «Арнольд из Подворок». Арнольд частенько заходит к Нохуму Рабиновичу посидеть, потолковать о Маймониде, о «Кузри» \*, о Борухе Спинозе \*, Моисее Мендельсоне и о других больших людях, которых Шолом не мог запомнить; лишь один, по имени Дрепер \*, крепко засел у него в голове. Дре-пер... «Арнольд — весьма образованный человек! — говорил отец, который был очень высокого мнения о нем. — Если бы Арнольд не был евреем, он мог бы стать прокурором». Почему именно прокурором и почему еврей не может им быть, этого Шолом еще не мог понять. Что касается антисемитизма, то по собственному опыту он знал только один его вид — собак. В Воронке ребяташки натравили на него как-то собак, которые повалили его и искусали. Следы их зубов на нем и поныне.

Арнольду из Подворок герой настоящей биографии обязан своим дальнейшим образованием, и поэтому мы с ним еще встретимся. А пока — каникулы и канун праздников. Пора познакомиться с городскими мальчишками и завести себе новых друзей.

Среди отпрысков почтенных семейств особое место занимал Мойше, сын Ицхок-Вигдора — рыжий мальчишка, всегда прилизанный, в альпаговом сюртучке, настолько важничавший, что не решался удостоить разговором даже самого себя. И по-своему был прав. Во-первых, у его отца Ицхок-Вигдора собственный дом с белым крыльцом. Потом у Ицхок-Вигдора в доме бесчисленное количество часов и часиков. В двенадцать, когда все часы начинают бить, можно оглохнуть. Сам Ицхок-Вигдор со всеми на свете судится, и глаза у него какие-то разбойничьи. В синагоге все мальчишки дрожат под его взглядом.

На втором месте стоит Зяма Корецкий — слегка сутулый паренек, один из самых озорных; он не со всяким водится, да и не всякий станет с ним водиться, потому что отец его из «бритых» \*, с подстриженной бородой. Он — адвокат в Петербурге, и на носу у него странные очки, которые называются «пенсне». Этот Зяма научил всех

мальчишек в городе плавать, кататься на льду и еще многим вещам, которые не всем еврейским детям известны.

За Зямой следует сынок Исроэла Бендицкого — бледный, тщедушный мальчик, затем Хайтл Рудерман — толстомордый сын учителя, Авремл Золотушкин — черный, как арап, Мерперты и Липские, разодетые маменькины сынки в начищенных сапожках. К этим так просто и не подойдешь, нет, кто еще может позволить себе носить в будни такие сверкающие сапожки? За ними идут маленькие Канаверы — чертенята, а не дети, они вечно возятся с собаками, мучают кошек. Со всеми этими Шолом дружить не хотел. Он предпочитал водить дружбу с такими ребятами, как Мотя Срибный, мальчик с длинными пейсами, игравший на скрипке, или же с Элей, сыном Доди, вечно хохочущим живым мальчишкой. С ними Шолом молился в одной синагоге из одного молитвенника, с ними вместе проказничал — изображал службу Рефоела, как он поглядывает одним глазком и выкрикивает нараспев цены на вызов к чтению торы: «Восемнадцать гульденов за когена!»\*, или Вову Корецкого, посвистывающего носом, Беню Канавера, жующего табак, Ицхок-Вигдора, подергивающего плечами, Шолома Виленского, поглаживающего бородку и шмыгающего носом. Есть, слава богу, кого изображать. Взять хотя бы учителя Гармизу, читающего тору. Шолом изучал две субботы подряд, как он раскачивается на одной ноге, потом, вытянув длинную шею и ощерив желтые зубы, скривит рябое лицо, поведет острым носом вверх-вниз и выкрикнет странным гортанным голосом: «Зри, я дал тебе жизнь и добро, смерть и зло...» — можно со смеху помереть! Все, кто видел Шолома, представляющего, как Гармиза читает тору, клялись, что это вылитый Гармиза. Сам Гармиза был весьма недоволен, когда узнал, что Шолом изображает его; он не поленился сходить к Нохуму Рабиновичу и рассказать ему все как есть: он, мол, слышал, что у реб Нохума есть мальчик, который передразнивает его, Гармизу, читающего тору. Это произвело в доме переполох. Нохум обещал расследовать дело, как только придут дети. Когда ребята пришли, за них сразу же взялись. Отец, конечно, догадался, что виновник здесь Шолом.

— Поди-ка сюда, Шолом! Покажи, как ты представляешь Гармизу, читающего тору.

— Как я его представляю? Вот так.

И Шолом, раскачиваясь на одной ноге, вытянул шею, ощерил зубы, затем скривил лицо, как Гармиза, повел носом вверх и потом вниз и закричал странным гортанным голосом: «Зри, я дал тебе жизнь...»

Шолом никогда не видел, чтобы отец так хохотал. Он никак не мог прийти в себя. А когда наконец успокоился, то откашлялся, вытер глаза и обратился к детям:

— Видите, к чему приводит безделье? Шатаетесь без толку, и в голову приходит черт-те что — передразнивать учителя Гармизу, как он читает тору (тут отец не выдержал и спрятал свое смеющееся лицо в носовой платок). Бог даст, сразу после кушей найду для вас учителя, и вы начнете ходить в хедер. Кончены каникулы!

Если уж действительно конец каникулам, то нужно, по крайней мере, пожить в свое удовольствие.

И ребята постарались использовать свободное время наилучшим образом: знакомились без разбора с самыми отчаянными мальчишками, вступали с ними в дружбу, гуляли, как рекруты перед набором. Воронковские ребята показали своим переяславским сверстникам, что, хотя они приехали из маленького местечка, они знают многое такое, о чем переяславцы и понятия не имеют, например, что к каждому имени можно придумать рифму. Возьмите какое угодно имя, скажем, Мотл: Мотл-капотл, Друмен-дротл, Иосеф-сотл, Эрец-кнотл; Лейбл: Лейбл-капейбл, Друмен-дребл, Иосеф-сейбл, Эрец-кнейбл; Янкл: Янкл-капанкл, Друмен-дранкл, Иосеф-санкл, Эрец-кнанкл. И так любое имя.

И еще переяславские ребята не знали языка-перевертыша, то есть как говорить все наоборот. Например: «Тов я мав мад в удром». Это значит: «Вот я вам дам в морду». Или: «А шикук шечох?» — «А кукиш хочешь?» На таком языке Шолом мог говорить целый час без умолку. Это ведь сплошное удовольствие — вы можете говорить человеку все, что угодно, прямо в глаза, а он стоит дурак дураком и ничего не понимает.

И что это за мальчишки в Переяславе, которые дают попу пройти мимо, будто он человек, как все. Нет, воронковских ребят не проведешь. Они не пропустят попа просто так. Все ребята, сколько бы их ни было, побегут вслед за ним и станут кричать нараспев: «Поп, поп, ложись в гроб. Сядь на кобылу, поезжай в могилу. Поп волосатый, зароем тебя лопатой. Нам клад, тебя в ад». Переяславские ребята говорили, что здесь, в Переяс-

славе, нельзя дразнить попов, за это может здорово влететь. Вот тебе раз, попа бояться! Конечно, нехорошо, когда поп переходит тебе дорогу, но чего его бояться? Переяслав — действительно большой город и красивый, что и говорить, но в Воронке было веселей во время каникул. Так думали воронковские ребята, и все же они были не прочь, чтобы дни каникул и здесь, в Переяславе, тянулись без конца.

28

МЕЛАМЕДЫ И УЧИТЕЛЯ

*Реб Арн из Ходорова. — Меламед с фантазией. — Галерея меламедов. — Монши — меламед с косточкой. — Ученики поигрывают в картишки*

Каникулы еще не кончились, впереди еще были праздники, но Нохум Рабинович уже стал подыскивать учителя для своих детей. Меламедов в городе было несколько. Во-первых, тот самый Гармиза, который так занятно читал тору. За ним следовал реб Арн из Ходорова — отличный меламед, но со слишком богатой фантазией. Он любил рассказывать ученикам какие-то странные истории о древних временах. Например, историю о своем дедушке, который был богатырем и никого не боялся. Однажды зимней ночью дедушка проезжал мимо леса. Вдруг из лесу выскочили двенадцать голодных волков и погнались за санями. Дед не растерялся, спрыгнул с саней, схватил волков одного за другим и, засунув каждому из них руку в пасть, вывернул всю дюжину наизнанку.

И еще одну историю рассказывал он — как дедушка однажды выручил из беды целый город. Как-то в воскресный день собравшиеся на ярмарке мужики перепились и начали буяннить. Дед в это время стоял на молитве. Не долго думая, он сбросил с себя молитвенное облачение, выбрал самого здоровогоного из буйных, схватил его обеими руками за ноги и давай им колотить по мужицким головам. Мужики попадали, словно мухи. Уложив всех до единого, дед отпустил буйна и сказал ему: «Теперь ступай домой, а я пойду молиться...»

Как говорил реб Арн из Ходорова, дед его был не только богатырем, но еще и очень рассеянным человеком. Стоило ему задуматься, и жизнь его висела на во-

ლოსკე, გოსპოდი სპასი ი პომილუი! Однажды он, углубившись в себя, ходил по комнате; ходил, ходил и вдруг видит, что стоит на столе.

Вот таким мелаamedом был реб Арн из Ходорова. За ним следовала целая галерея мелаamedов: реб Иошуа, Меер-Герш, Якир-Симха, койдановский мелаamed, Мендл-толстяк. У каждого из них был, однако, свой недостаток. Кто хорошо знал Талмуд — плохо знал Библию, кто знал Библию — плохо знал Талмуд. Из всех мелаamedов самым подходящим был бы Мендл-толстяк, если бы он не истязал учеников. Дети дрожали при одном упоминании его имени. Мелаamed Мониш тоже, конечно, бил детей, однако с толком. А этот, Мендл, мог забить до смерти. Зато и учил же он! Отец обещал детям, что он, с божьей помощью, договорится с одним из этих двух.

Мелаamedом, значит, они уже обеспечены. Теперь остается подумать о письме. Где будут дети учиться письму? Писать по-еврейски они уже научились у воронковского учителя Зораха. Но как быть с русским языком? И добрый друг Арнольд из Подворок, о котором речь шла выше, посоветовал отвести детей в еврейское училище — и недорого и хорошо. Услышав это, бабушка Минда поклялась, что, пока она жива, внуки ее останутся евреями — и тут уж ничего нельзя было поделывать. Тогда начались разговоры об учителях. Нойах Бусл — хороший учитель, но он зять извозчика. У писаря Ици, который обучает по письмовнику, — красивый почерк, но он слаб по части «языка». Писарь Авром, брат того же Ици, слаб и в том и в другом. Что же делать? Остановились на мелаamedе Монише. Этот человек с достоинствами: он силен в Библии, знает дикдук\*, сведущ в Талмуде и пишет по-русски на удивление всем. Правда, он не понимает того, что пишет, и пишет он не в соответствии с грамматикой, но это не важно. Дети еще малы для грамматики. Пусть они прежде усвоят дикдук. Это важнее. Мониш дерется — что же пусть дети прилежно учатся, тогда их никто бить не будет. Не станет же учитель напрасно бить! И действительно, дети вскоре убедились в этом на собственном опыте. Мониш не любил, как другие мелаamedы, бить или пороть, но на большом пальце правой руки у него была косточка. Когда он этой косточкой ткнет вам в бок или между лопаток или вдавит ее в висок, вам привидится дедушка с того света. Такая была косточка! Шолом старался, на-

сколько возможно, избежать знакомства с косточкой. И это бы ему, пожалуй, удалось, потому что он был один из тех, кто выучивал или умел притворяться, что выучил свой урок по Талмуду к четвергу. А Библию он хорошо знал. Писал он также неплохо. Но когда дело касалось шалостей, ему не миновать было косточки учителя; он и поныне забыть ее не может. Однако не из-за косточки Нохум Рабинович был недоволен Монишем. Оказалось, что учитель и понятия не имеет о том, что такое дикдук. Когда его спросили: «Реб Мониш, почему вы не проходите с ребятами дикдук?» — он ответил: «Есть о чем говорить, дикдук-шмикдук — чепуха какая!» — и даже рассмеялся. Это очень не понравилось Нохуму, и в следующий учебный сезон он забрал детей у Мониша и отдал их в хедер к другому меламеду.

Этот был хорошим грамматиком, весь учебник знал наизусть. Но он обладал другим недостатком — увлекался общественными делами. Все дни у него были чем-нибудь заполнены: не свадьба, так обрезание, не обрезание, так выкуп первенца, бармицве\*, развод, третейский суд, посредничество, примирение тяжущихся. Однако для кого это недостаток, а для кого и достоинство. Для детей такой учитель был ангелом небесным, а хедер — настоящим раем. Можно было играть в любые игры, даже в карты, и не в такие, как в Воронке (разве это карты?), а в настоящие. Играли в «три листика», в «старшего козыря» — во все игры, в которые арестанты играют в тюрьмах. Да и карты были тоже какие-то арестантские — грязные, засаленные, разбухшие. И в эти карты ребята проигрывали и завтраки, и полдники, и любую наличную копейку, которая обнаруживалась у кого-либо в кармане.

Все деньги выигрывали обычно старшие ребята, вроде Зямы Корецкого, о котором говорилось выше. Это он подстрекал младших товарищей на всякие проделки. Он придерживался трех основных принципов: 1) родителей не слушать; 2) учителя ненавидеть; 3) бога не бояться.

Была у старших ребят еще одна повадка — обыграют малышкой и их же дразнят, потешаются над ними. Настоящие картежники так не поступают... Однако не нужно думать, что игра в карты всегда проходила гладко. На долю старших выпадало тоже немало неприятностей. Во-первых, нужно было подкупить жену учителя, чтобы она не донесла мужу, что они играют в



карты. Во-вторых, у учителя был сынок, Файвл, которого прозвали «Губа», так как он отличался толстой губой. Вот этого Губу и приходилось задабривать, подмазывать, когда завтраком, когда сладостями, а главным образом орехами. Губа любил щелкать орешки. Точно было глядеть, как этот Губа щелкает орехи, да еще на чужие деньги. Но что поделаешь? Разве лучше будет, если Губа расскажет учителю, что ребята играют в карты?

От этих меламаедов и учителей, от всей этой науки Нохуму Рабиновичу было мало радости. Каждую субботу он экзаменовал своих детей и, вздыхая, качал головой. Больше всех вызывал в нем беспокойство средний сын, Знаток Библии. От него он, видно, ожидал большего... «Что же дальше будет? — спрашивал отец. — Чем все это кончится? Вот-вот будем справлять твою бармиццу, а ты и двух слов связать не можешь». Реб Нохум стал искать настоящего знатока Талмуда и вскоре его нашел.

## 29

### УЧИТЕЛЬ ТАЛМУДА

*Учитель Талмуда — Мойше-Довид Рудерман. — Сын его Шимон собирает креститься. — Город вызывает его из монастыря. — Дядя Пиня горячится*

Учитель этот был выходцем из Литвы, и звали его Мойше-Довид Рудерман. Сгорбленный, страдающий одышкой, с густыми черными бровями, он был человеком весьма ученым, отличным знатоком Писания и древнееврейской грамматики, к тому же чрезвычайно набожным и богобоязненным. Кто мог ожидать, что и на нем окажется пятно. И какое пятно! Сын его учился в уездном училище. Во всем городе было всего только два еврейских мальчика, учившихся в уездном училище: сын Мойше-Довида Рудермана — Шимон Рудерман, парень, у которого очень рано стала пробиваться черная борода, и сынок адвоката Тамаркина — Хаим Тамаркин, толстый приземистый паренек с маленькими глазками и кривым носом; носил он рубаху навыпуск, как русские мальчишки, играл с русскими ребятами в мяч, ходил в синагогу разве только в Судный день и украдкой курил толстые папиросы.

Это были, так сказать, пионеры, первые ласточки просвещения в городе Переяславе — двое еврейских

ребят среди нескольких сотен неевреев. Школьники вначале смотрели на двух евреев с удивлением, как на детей из другого мира. Потом они повалили их на землю среди школьного двора, вымазали им губы свиным салом, а после этого подружились и зажили с ними совсем по-братски. Христианские мальчики тогда еще не были отравлены человеконенавистничеством, не знали о травле евреев, и яд антисемитизма не коснулся их. После того как еврея повалили, вымазали ему губы салом и намяли бока, он, хотя и был «Гершкой», становился равноправным товарищем.

Когда детей Нохума Вевикова определили к Мойше-Довиду Рудерману, не обошлось без скандала. Дядя Пиня, узнав, что брат его Нохум отдал своих детей к учителю, у которого сын ходит в уездное училище, рвал и метал. Он твердил, что от уездного до перехода в христианство — один шаг. «Но почему же?»

— А вот так... Поживем — увидим.

И действительно. Дяде Пине суждено было на сей раз оказаться пророком. А произошло это таким образом.

Однажды в субботу в городе распространился слух, что оба еврейских мальчика, которые учатся в «уездном» — Шимон Рудерман и Хаим Тамаркин, — собираются креститься. Разумеется, никто не хотел этому верить: «Не может быть! Как? Почему? Чего только люди не выдумают!» Однако нет дыма без огня. Представьте, в ту же субботу началась вдруг суматоха, как на пожаре. Весь город бежал к монастырю. В чем дело? А дело очень простое и ясное: «Хотите увидеть нечто любопытное? Потрудитесь отправиться к монастырю, и вы увидите там, как эти два молодчика из «уездного» забрались на самую верхушку колокольни, стоят там без шапок и бесстыдно, так, что все видели, жрут хлеб, намазанный свиным салом!»

Суматоха была так велика, что никто не догадался спросить: как это можно снизу разглядеть, чем на такой высоте намазан хлеб — свиным салом, маслом или медом. Город ходуном ходил, точно конец миру пришел. Сыну Тамаркина не приходится удивляться — отец его, адвокат Тамаркин, сам безбожник, «законник», составитель прошений, а сын его Хаим был вероотступником еще во чреве матери. Но Мойше-Довид Рудерман — меламед, богобоязненный еврей! Лучший меламед в городе! Как это можно допустить?

Были, оказывается, люди, которые и раньше знали, чем это кончится. Откуда они это знали? Дошли своим умом. Детей так воспитывать нельзя. В самом деле, если вы отдали своих детей в «уездное», значит, вы примирились с тем, что они станут иноверцами, и вам нечего требовать от них, чтобы они носили арбеканфес; если случится, они и пропустят молитву, то смотрите на это сквозь пальцы и не обламывайте на их спине палки, не лупите их, как собак...

Так говорили почтенные обыватели и, собрав совет, стали обдумывать, как спасти две еврейские души от крещения. Воззвали к праху отцов, взбудоражили начальство, старались изо всех сил. Особенно отличился, конечно, дядя Пиня. Засучив рукава, он бегал целый день со своей роскошной развевающейся бородой, потный, не пивши, не евши, пока, с божьей помощью, все не кончилось благополучно. Обоих молодцов извлекли из монастыря.

Впоследствии, спустя несколько лет, один из них, Хаим Тамаркин, все же крестился, а Шимона Рудермана отправили в Житомир, отдали в школу казенных раввинов на казенный счет, и он, с божьей помощью, не только кончил ее, но и стал казенным раввином недалеко от Переяслава, в Лубнах.

— Ну, кто был прав? Теперь уж ты, надеюсь, возьмешь своих детей от этого меламеда? — сказал Нохуму дядя Пиня, довольный оборотом дела. Доволен он был, во-первых, потому, что ему удалось спасти две еврейские души от крещения, во-вторых, потому, что дети его брата не будут учиться у меламеда, знающего дикдук и посылающего сына в уездное училище, и, в третьих, что он оказался прав: раз еврейский ребенок посещает школу, он всегда готов креститься.

Но на этот раз дядя Пиня жестоко ошибся: его брат Нохум уперся и не захотел забирать своих детей от такого замечательного учителя.

— Что он мне сделал дурного? Довольно того, что он претерпел столько мук, такой позор! Нельзя же оставить меламеда посреди учебного года без хлеба.

Дядя Пиня выслушал брата с горькой усмешкой, мол, «дай бог, чтобы я оказался неправым, но не по доброму пути ведешь ты своих детей». Затем он встал, поцеловал мезузу\* и ушел рассерженный.

## ХЕДЕР В СТАРИНУ

*Картина старого хедера. — Ученики помогают учителю и его жене по хозяйству. — Учитель совершает благословение. — Его проповеди приводят к новым грехам*

Детей не взяли от запятнанного, но знающего учителя. Они остались у Рудермана и на второй и на третий год, и все были довольны: меламед — своими учениками, ученики — своим меламедом, а отец — и учениками и меламедом.

Больше всех довольны были ученики. Бог послал им учителя, который не дерется, ну, совсем не дерется. И не помышляет даже об этом. Разве только мальчишка уж очень надоест, не захочет молиться или до того туп, что хоть кол на голове теши, — тогда учитель выйдет из себя, разложит парня на лавке и, сняв мягкую плюсовую ермолку с головы, слегка отстегает его и отпустит.

Кроме того, у меламеда Рудермана было «жорно», машина такая — крупорушка. У машины этой были колесо и ручка, а сверху в нее опрокидывали мешок с гречихой. От вращения колеса гречиха потихоньку сыпалась в ящик, из ящика на камень, камень ее обдирал, очищал от шелухи и превращал гречиху в крупу: вот это и называлось «жорно».

Понятно, что вся прелесть «жорна» заключалась в том, чтобы вертеть ручку. Чем дольше вертишь, тем больше сыплется крупы. А охотников вертеть ручку было много, почти все ученики. Каждому хотелось помочь учителю, который не может прожить на свой заработок и вынужден, бедняга, искать побочных доходов. Он обдирал крупу, а жена пекла пряники. А может, вы думаете, что при выпечке пряников делать нечего? Дело всегда найдется! И здесь дети могут быть полезны; не столько при выпечке, сколько при отбивании теста. Ржаной медовый пряник надо долго-долго отбивать обеими руками, пока он не начнет тянуться, как должно тянуться медовое тесто. А кто делает это лучше мальчика из хедера! Охотников отбивать тесто среди ребят было так много, что порой доходило до драки. Каждый хотел быть первым.

Читатель не должен удивляться, что ученики занимались такими делами, как обдирка крупы и раскатывание теста. У воронковских меламедов они делали работу

и поглубже. Например, у учителя Зораха, да и у других меламедов, дети Нохума Вевикова как миленькие мазали глиной пол накануне субботы, попарно выносили помойное ведро, поодиночке таскали воду из колодца и по жребию нянчили ребенка. Сбегать к резнику с курицей и работой не считалось. Особой честью было помочь жене учителя ощипать курицу. Ребята предпочитали делать что угодно, лишь бы не учиться. Учение в хедере было хуже всякой работы.

Тут, думается мне, уместно описать хедер, каким он был в те времена, для того чтобы будущие поколения, которые заинтересуются жизнью евреев в прошлом, в «счастливой» черте оседлости, имели о нем представление.

Маленькая, покосившаяся крестьянская хатка на курьих ножках, крытая соломой, а иногда и вовсе без крыши, как без шапки. Одно оконце, в лучшем случае два. Выбитое стекло заклеено бумагой или заткнуто подушкой. Земляной пол обмазан глиной, а под праздник и накануне субботы посыпан песком. Большую часть комнаты занимает печь с лежанкой. На лежанке спит учитель, на печи — его дети. У стены стоит кровать — кровать жены учителя, со множеством подушек и подушечек, почти до потолка. Там, на кровати, на белой простыне иногда лежит тонкий лист раскатанного теста, выделанные коржики или баранки (если жена учителя печет их на продажу), иногда ребенок (если он опасно болен). Под печью находится «підпічник»; в Литве это называется катух. Там держат кур, конечно, для продажи. У кривой пузатой стены — шкаф для хлеба, кувшинов, горшков. На шкафу металлическая посуда, сито, терка, драчка и тому подобные вещи. У самого входа — кочерга, лопаты, большое, всегда наполненное помоями ведро, деревянный, вечно протекающий ушат для воды и постоянно мокрое полотенце для рук. Длинный стол посреди хаты с двумя длинными скамьями — это и есть собственно хедер, школа, где учитель занимается со своими учениками. Все здесь — и учитель, и его ученики — громко кричат. Дети учителя, играющие на печи, тоже кричат. Жена, которая возится у печи, кричит на своих детей, чтобы они не кричали. Куры в «підпічнике» отчаянно кудахчут: это кошка — тихонькая, смиренная, гладенькая — прыгнула с лежанки, забралась под печь и всполошила кур, провалиться бы ей!

Так выглядел в старину воронковский хедер. Немного лучше выглядел хедер в большом городе Переяславе. Переяславский учитель так же, как и воронковский, занимался со своими учениками зимой в ватном халате и плисовой ермолке, летом — в рубахе с широкими рукавами, поверх которой был надет арбеканфес. Зимой он пил по утрам вместо чаю липовый цвет, летом — из деревянной кружки холодную воду, которую процеживал сквозь один из широких рукавов своей рубахи, произнося перед этим с большим чувством благословение: «Все сотворено по слову его...», на что ученики хором отвечали: «Аминь». Если мальчик приносил яблоко или грушу, учитель произносил «сотворившему плоды древесные», а ученики отвечали «аминь».

Всякий предлог был хорош, чтобы не учиться. Уж очень надоело это учение. Целый день учишься, в долгие зимние вечера учишься, в ранние рассветы учишься и даже в субботу днем читай что-нибудь священное. А не читаешь, просто так изволь сидеть в хедере и слушать проповеди учителя.

Проповеди учителя! Они были так фантастичны, как «Тысяча и одна ночь». Проповеди переносили вас в загробный мир, вы переживали все муки покойника, который должен предстать перед судом божьим. Вы слышали крадущиеся шаги ангела, который встречает грешников, ощущали, как он вскрывает вам живот, вынимает кишки и хлещет вас ими по лицу. «Грешник, как твое имя? Бездельник, как тебя зовут?» И затем два злых духа подхватывают вас и, как мяч, перебрасывают в преисподнюю — с одного конца света в другой. И если вы когда-либо солгали, вас вешают за язык на крюк, и вы висите, как туша в мясной лавке. Если вы хоть раз забыли совершить омовение ногтей, два злых духа становятся возле вас и щипцами вырывают у вас ногти. И если вы в пятницу, обрезая себе ногти, нечаянно уронили ноготь на пол, вас спускают на землю и заставляют искать ноготь, пока вы его не найдете.

Это все за мелкие прегрешения. Что же ожидает вас за большие грехи? Например, за то, что вы пропускаете слова в молитве, а то и всю предвечернюю молитву пропустили, не помолились перед сном? А за дурные помышления, за мечты и фантазии? Не ждите милосердия в загробном мире, не ждите! Покаяния, молитвы, добрые дела — обо всем этом нужно помнить здесь, на этом свете. На том свете уже поздно, все пропало! Там вы со всеми

грешниками наравне, там вы попадаете прямо в вечный огонь, в кипящий котел. «В ад, бездельники, в ад!..»

Так заканчивает учитель субботнюю проповедь. Ребята внимательно слушают, плачут, каются, бьют себя в грудь, дают себе слово быть добрыми и благочестивыми. Но как только учитель, а за ним и дети, встал из-за стола — забыты все поучения. Загробный мир с адом, со всеми злыми духами исчезает, как тень, как промелькнувший сон, и ребята вновь совершают те же грехи и прегрешения: пропускают целые куски в молитвах, а то и всю вечернюю молитву, не молятся перед сном. Какое там омовение ногтей, где уж там молиться, когда на дворе сияет солнце и тени, поднимаясь по стенам, кивают тебе и зовут: на волю, малыш, на волю! Там хорошо, там привольно! Один прыжок — и ты уже у моста, где бежит речка, где шумит вода; еще прыжок — и ты на той стороне, где зеленеет травка, желтеют цветы, прыгают кузнечики. Зеленый луг зовет вас броситься, не думая ни о чем, на мягкую благоуханную траву. И тут вдруг появляется отец или мать, старший брат или сестра: «Ты уже молился? В хедер, бездельник, в хедер!»

## 31

### ТРИНАДЦАТИЛЕТНЕ

*Совершеннолетний отличился. — Галерея переяславских типов. — Материнские слезы*

Когда вспомнишь, каким был хедер, каковы были учителя и как они обучали, когда припомнишь жену учителя, которой надо было помогать в хозяйстве, родителей, братьев и сестер, чьи поручения приходилось выполнять, бесконечные шалости, купанья в реке летом, игры в карты и пуговицы зимой, беготню без дела по городу — трудно понять, откуда все-таки у детей брались какие-то знания. Не нужно забывать, что дети водили за нос учителя, обманывали отца и даже раввина, к которому их водили экзаменоваться. Но как можно было ухитриться и обмануть целый город, собравшийся на тринадцатилетие сына Нохума Рабиновича? Герой этой биографии отлично помнит: он ничего не знал из того, что ему предстояло произнести в день торжества. И все же в городе потом только о нем и говорили.

Отцы завидовали, матери желали себе иметь таких детей.

Это был настоящий праздник, великолепный праздник. В подготовке его принимало участие множество рук под командой бабушки Минды, которая выглядела в своем субботнем наряде и чепце как настоящий командир. Она распоряжалась всем — кого позвать, куда кого послать, какую подать посуду, какие поставить вина. Со всеми она перессорилась, всех отругала, даже самого героя торжества не пощадила — прикрикнула на него, чтобы он вел себя по-человечески: не грыз ногтей хотя бы на людях, не смеялся и не смешил детей — короче говоря, чтобы не был «извергом».

— Если, благодарение богу, ты дожил до бармицве, так пора тебе и человеком стать! — говорила она, поплеывая на пальцы и приглаживая ему остатки пейсов, которые с трудом отвоевала.

Ее сын — Нохум Рабинович уже собирался их вовсе остричь, но бабушка Минда не позволила.

— Когда я умру и глаза мои этого не будут видеть, — сказала она сыну, — тогда ты превратишь своих детей в иноверцев. А теперь, пока я жива, хочу видеть на их лицах хоть какой-нибудь признак еврейства.

Кроме множества гостей, которые явились на торжество прямо из синагоги, собралась, конечно, вся родня. Разумеется, учитель Мойше-Довид Рудерман в субботней суконной капоте и полинявшей плисовой шапке, сидевшей блином на голове, тоже был среди присутствующих. Однако он казался пришибленным, сторонился людей. С той поры как приключилась история с его сыном, который хотел креститься, он был очень подавлен. Почти не прикоснувшись ни к вину, ни к закускам, сидел он в уголке сгорбившись и тихонько покашливал в широкий рукав своей субботней суконной капоты.

Но вот наступил момент экзамена. Герой торжества должен был стать перед всем народом и показать свои знания — и тут учитель Рудерман встрепенулся; плечи его сразу распрямились, густые черные брови приподнялись, глаза так и впились в ученика, а большой палец его задвигался, точно дирижерская палочка, как бы подсказывая заданный текст.

А ученик, то есть наш «совершеннолетний», вначале чуть не свалился со страха — в горле было сухо, что-то мелькало в глазах. Ему казалось, что он ступает по



льду. Вот-вот лед треснет, и — трах! — он провалится вместе со всеми! Но постепенно под взглядом учителя, под действием его большого пальца Шолом становился все уверенней и, наконец, зашагал, как по железному мосту, чувствуя, что теплота разливается по всем его членам, — речь его полилась, словно песня.

Занятый своим делом, вертя пальцем вслед за большим пальцем учителя, наш «совершеннолетний» все же хорошо видел всех собравшихся, различал выражение каждого лица. Вот Ицхок-Вигдор, дергающий плечами и поглядывающий злодейским оком, вот старый Иошуа Срибный — говорят, что ему уже сто лет. Язык у него во рту болтается, точно колокол, так как зубов там нет. Вот и сын его Берка, тоже немолодой, глаза у него прикрыты и голова набок. Вот Ошер Найдус, которого все называют «фетер Ошер». Он и в самом деле «фетер»<sup>1</sup> — широкий, толстый. Шелковая капота трещит на нем. Он стар и сед как лунь. А вот и Иосиф Фрухштейн, у него большие вставные зубы, блестящие очки и редкая борода; он вольнодумец — играет с Нохумом Рабиновичем в шахматы, читает на древнееврейском языке «Парижские тайны»\*, «По дорогам мира»\* и тому подобные книги. Возле Иосифа стоит его младший брат Михоел Фрухштейн, умница, дока, отрицающий все на свете, велит даже не еврейской прислуге потушить свечи в субботу\*. Он очень высокого мнения о таких людях, как Мойше Бергер и Беня Канавер, которые, как известно, в юности притворялись, будто не замечают, как парикмахер подстригает им бородку. Исроэл Бендицкий тоже был среди приглашенных. Когда-то его называли «Исроэл-музыкант», но теперь у него собственный дом и место в синагоге у восточной стены. Он отрастил большую черную блестящую бороду, и хотя он и сейчас не отказывается поиграть на свадьбе у знатных людей, все же его никто не называет музыкантом даже за глаза. Он и в самом деле почтенный человек и ведет себя солидно. Когда смеется, то обнажает все зубы — маленькие редкие белые зубы. Шолом заметил даже служку Рефоела с его единственным глазом. Рефоел стоял полусогнувшись, весь поглощенный речью виновника торжества, и на лице его с впалыми щеками и кривым носом

---

<sup>1</sup> Непереводимая игра слов: «фетер» — по-еврейски означает и «жирный» и «дядя».

было такое выражение, словно он собирается хлопнуть рукой по столу и возгласить, как это обычно делает по субботам: «Де-сять гульденов за ко-огена!»

Наш «совершеннолетний» все замечал. Лица гостей выглядели празднично, но торжественней всех выглядел дядя Пиня. Он сидел на почетном месте рядом с братом, в субботней шелковой капоте, подпоясанной широким шелковым поясом, в синей бархатной шапке, и, глядя на героя снизу вверх, усмеялся себе в бороду, как бы говоря: «Знать-то он, конечно, знает, этот бездельник, да молится ли он каждый день, блюдет ли обряд омовения ногтей, читает ли молитву перед сном и не носит ли он чего-нибудь по субботам?» \* Вот в чем вопрос.

Зато отец нашего героя прямо сиял. Казалось, нет на свете человека счастливее его. Голову он держал высоко, губы его шевелились, беззвучно повторяя за сыном каждое слово, и в то же время он торжественно поглядывал на собравшихся, на своего брата Пиню, на учителя Рудермана, на самого героя и на мать виновника торжества.

А мать, маленькая Хая-Эстер, совсем незаметная и полная почтения, стояла в сторонке, среди других женщин, в субботнем шелковом платке и, очарованная, тихо вздыхая, хрустела пальцами, и две блестящие слезинки, как два брильянта, горя на солнце, катились по ее счастливому, молодому, белому, но уже покрытому морщинами лицу.

Какие это были слезы? Слезы радости, удовлетворения, гордости, страдания? Или сердце подсказывало матери, что этот мальчик, герой сегодняшнего торжества, голосок которого звенит, как колокольчик, скоро, очень скоро будет читать по ней заупокойную молитву?

Кто знает, о чем плачет мать?

## Часть вторая

32

ЮНОША

*Брат Герил становится женихом. — Экзамен с суфлером. —  
Мешочек для филактерий, часы и невеста*

— Теперь ты уже, слава богу, юноша, а не мальчик. Довольно шалостей и проказ! Пора стать человеком, благочестивым евреем. Время не стоит на месте. Не успеешь оглянуться, как ты уже жених...

Это краткое назидание пришлось выслушать «совершеннолетнему» Шолому на следующий день после торжества, когда учитель помогал ему надевать филактерии. Он так сильно затянул мальчику ремень на левой руке, что пальцы налились кровью и посинели. Филактерий же, прикрепленный ко лбу, все время спускался на глаза или съезжал набок, норовя совсем соскользнуть с головы. Требовалось немало усилий, чтобы удержать все это в равновесии. Шолом не мог свободно повернуться, чтобы взглянуть на любопытствующих мальчишек, которые его окружили, желая посмотреть, как он будет молиться в филактериях. Если бы не они, эти вот озорники, Шолом на этот раз молился бы искренне, сердечно, с чувством. Ему нравилась церемония накладывания филактерий, нравился смысл слов «и будешь обручен со мной»\*, нравился ему и приятный запах новых, недавно выделанных ремней, а главным образом, что его уже называют юношей и приобщают к десятку молящихся как равного. Следовательно, он уже мужчина, как все, совсем взрослый. Даже кривой служка Рефоел смотрел на него по-иному, с нескрываемым

уважением. О товарищах и говорить нечего, они ему, конечно, завидуют. Он помнит, как сам завидовал своему старшему брату Гершлу, когда праздновали его тринадцатилетие, и не столько из-за торжества, как из-за того, что сразу вслед за тем брат его стал женихом и невеста подарила ему вышитый мешочек для филактерий, а будущий тесть — серебряные часы. Как брат Гершл стал женихом и что стало с подарком его будущего тестя — с часами, — эти два события следует хотя бы вкратце описать.

В тринадцать лет Гершл был ладным, красивым, щеголеватым пареньком. Учение ему не особенно давалось, и большим прилежанием он тоже не отличался. Однако он был мальчиком из порядочной семьи, сыном Нохума Рабиновича, и ему сватали лучших невест. И вот однажды приехал из Василькова почтенный еврей с черной бородой — отец невесты, да не один, а с экзаменатором, молодым человеком с рыжей бородкой, который знал все на свете — и Писание, и древнееврейский язык, однако был нудным и въедливым. Прежде всего экзаменатор постарался показать родителям жениха и невесты свою собственную ученость. Поэтому он начал с наставника жениха — с его учителя, затем затеял с ним долгий диспут по поводу древнееврейской грамматики. Что бы учитель ни говорил, у него выходило наоборот. Потом он пристал к учителю, чтобы тот ответил ему, почему в Екклесиасте сказано: «И муха смерти воздух отравляет» — в единственном числе, а не: «И мухи смерти воздух отравляют» — во множественном числе. На это учитель ответил:

— А почему сказано там же, в Екклесиасте: «Помни своих творцов» — во множественном числе, а не: «Помни своего творца» — в единственном числе?

Тогда экзаменатор подступил к учителю с другой стороны:

— Скажите, прошу вас, где это сказано: «И ходили они от народа к народу»?

Наставник немного растерялся, слегка смутился, но все же ответил:

— Это из молитвы «Славьте господа, взывайте к имени его».

Молодой человек, однако, на этом не успокоился:

— А где еще сказано: «Славьте господа, взывайте к имени его»?

Учитель пришел в еще большее замешательство и ответил: «Это, должно быть, где-нибудь в псалмах».

Тут рыжий молодой человек разразился хохотом:

— Простите, наставник, это сказано не «где-нибудь в псалмах», это сказано один раз в псалмах, а еще один раз — не дай бог ни вам и никакому другому *еврею* допустить такое искажение — в «Хрониках»\*.

Для учителя это был смертельный удар. Капли пота выступили у него на лице. Он был совершенно убит.

— Этот молодой человек — порядочный плут! — сказал он детям, отирая пот полой своей капоты. — Если он будет экзаменовать жениха, то жених погиб, и сватовству конец. — А так как в этом сватовстве учитель был лично заинтересован, то есть не в самом сватовстве, а в деньгах за сватовство, то он пошел на хитрость и, шепнув на ухо брату жениха — Шолому, чтобы тот забрался за спинку широкого дивана, посадил самого жениха на диван.

Когда отцы жениха и невесты уселись за полукруглый, обшитый фанерой стол, рыжий молодой человек взял в оборот жениха. Мать жениха накрывала в это время на стол, ставила водку и коржи, она, очевидно, нисколько не сомневалась в том, что экзамен сойдет гладко.

— А ну, поведай-ка мне, паренек, где сказано: «Так презрен по мыслям сидящего в покое»?..

— В Книге Иова! — слышалось из-за дивана.

— В Книге Иова! — бойко, во весь голос ответил жених.

— Верно, в Книге Иова. Теперь, не знаешь ли ты, где в Библии есть еще одно слово того же корня, что и «помыслы»? — спрашивает дальше рыжий экзаменатор.

— «В тот день потерял он мысли свои» — в псалмах! — шипит суфлер из-за дивана, и жених повторяет за ним слово в слово.

— Значит, с Библией как будто покончено, — говорит экзаменатор и бросает взгляд на стол, где маленькая Хая-Эстер возится с пряниками и вареньем. — Теперь мы займемся немного грамматикой. Какого залога будет глагол «потеряли»? Какого склонения, лица, числа, времени?

Маленький Шолом тихонько попискивает из-за дивана, а жених повторяет за ним каждое слово.

— Потеряли — глагол действительного залога, определенного наклонения, третьего лица, множественного числа, прошедшего времени и спрягается так: я потерял, ты потерял, ты потеряла, он потерял, она потеряла, мы потеряли, вы потеряли...

— Довольно! — воскликнул удовлетворенный экзаменатор, потирая руки и поглядывая на накрытый стол, затем, повернувшись к сияющему родителю невесты, он заявил: — Вас можно поздравить! Вы видите, юноша полон знаний, как источник водой. Что ж, закусим...

Известна ли была комедия отцу и матери, или же она была делом рук только учителя и жениха, а может быть, и сам экзаменатор догадывался о фокусе, — трудно сказать. Во всяком случае, обе стороны были довольны и обе, упаси бог, не обманулись.

Теперь мы переходим к истории с часами. Понятно, что сразу после экзамена мать поехала смотреть невесту. Невеста ей понравилась — умная девушка. Вскоре состоялось обручение, был составлен тноим \* и разбито несколько тарелок, и отец невесты купил жениху в подарок серебряные часы. Сколько минут в часе, столько раз жених смотрел на циферблат. Нельзя было доставить большее удовольствие жениху, чем спросить его, который час. И жених берег часы как зеницу ока. Укладываясь спать, он не мог для них места найти. В субботу, перед уходом в синагогу, он перерывал все ящики в комод, ища, куда бы спрятать часы, словно кто-нибудь покушался на них.

Однажды захотелось жениху, а он был франтоватым пареньком, почистить костюм. Носили тогда добротное трико с ворсом, а такое трико отличается одной особенностью — пыль садится на него пудами. Палка у жениха была гибкая, бамбуковая. Повесив на крыльце костюм, жених стал этой палкой выбивать из него пыль, крепко, изо всех сил, совершенно забыв о часах, которые лежали в кармане пиджака. Само собой разумеется, что часы превратились в порошок, в кашу из кусочков серебра, фарфора, стекла и множества мелких колесиков. И жених возвысил голос свой и расплакался. Никакие утешения, никакие обещания купить другие часы не могли помочь — сердце разрывалось, глядя на жениха.

Тринадцатилетний Шолом считал себя таким же юношей, каким был тогда его брат. Он мечтал теперь

о трех вещах: о мешочке с филактериями, как у брата Гершла, о часах и о невесте. Невеста представлялась ему не иначе как в образе принцессы, одной из тех сказочных красавиц, о которых столько рассказывал его приятель, сирота Шмулик. Она представлялась Шолому так ясно, что он часто видел ее во сне, и вскоре после своего тринадцатилетия он ее увидел наяву и влюбился, о чем и рассказывается в следующей главе.

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

*Роза Бергер. — Суламифь из «Песни Песней»\*. — Хаим Фрухштейн — опасный соперник. — Ботинки со скрипом и французский язык. — Игра на скрипке. — Сладкие мечты*

Если бы впоследствии им не приходилось часто встречаться, герой этой биографии был бы уверен, что та, которая пленила его на пороге четырнадцати лет, была лишь мечтой, фантазией, сновидением. Звали ее Розой. Шолом никогда не видел, чтобы она ходила одна. Ее вечно сопровождала орава кавалеров — это были сыновья самых почтенных родителей, самые богатые молодые люди, а иногда даже офицеры. Русский офицер, гуляющий с еврейской девушкой, — это само по себе было сенсацией, которая потрясла весь город. Не всякая девушка могла бы это себе позволить, и не каждой девушке город простил бы это. Но Роза — ей все дозволено, ей город все простит, потому что она Роза, потому что она единственная девушка в городе, которая играет на рояле, потому что она единственная девушка в городе, которая говорит по-французски. А разговаривает она громко и смеется тоже громко. Шутка ли — Роза! К тому же она из хорошей семьи. Отец ее — один из богатейших и самых уважаемых людей города, еврей-аристократ. В молодости, говорят, он был из «бритых». Теперь, когда он стар и сед, он отпустил себе бороду, носит очки, под глазами у него подушечки. У его дочери, Розы, тоже были подушечки под глазами, и они шли к ее красивым голубым глазам, шелковистым изогнутым бровям и греко-семитскому носу, к ее ясному, белоснежному лицу и небольшой, но царственно-величавой фигурке. Роза пленила сердце

мечтательного мальчика Шолома, сына Нохума Вевикова, одним взглядом своих прекрасных глаз Суламифь, и он влюбился в эту Суламифь со всем святым пылом невинного тринадцатилетнего подростка.

Да, Суламифь! Только у Суламифи из «Песни Песней» такие прекрасные божественные глаза. Только Суламифь из «Песни Песней» может так сладостно и так глубоко проникнуть своим взглядом в вашу душу. А посмотрела она на Шолома, могу вам в этом поручиться, только один раз, самое большое два раза, и то мельком, проходя в субботу днем по улице в сопровождении ватаги кавалеров, среди которых был один счастливчик по имени Хаим Фрухштейн. Хаим — единственный сын Иоси Фрухштейна; у него очень короткие ноги, но зато длинный нос, на котором прыщи торчат, словно красные смородинки, а зубы у него большие-большие, прямо огромные. Одет он как самый изысканный франт — ботинки лакированные, со скрипом, на очень высоких каблуках, чтобы казаться выше. Жилет — белый, как свежесвыпавший снег; волосы тщательно причесаны, с пробором точно посередине головы, и всегда надушены духами, которые дают о себе знать на милю вокруг. Таков был счастливейший из Розиных кавалеров, — город считал его ее женихом, потому что он сын Иоси Фрухштейна, а Иося Фрухштейн — богач, а богач богачу пара. Кроме того, Хаим — единственный молодой человек в Переславле, который говорит по-французски; он говорит по-французски, и она говорит по-французски, можно ли найти более подходящую пару. И еще одно. Она играет на рояле, а он на скрипке, и когда они оба играют, можно запродать душу дьяволу, целую ночь можно простоять под окном и слушать. Не один летний вечер Шолом стоял под окном у Розы, внимая сладостным звукам, которые прекрасная Роза извлекала своими чудесными пальчиками из большого черного блестящего рояля с белыми косточками, и очаровательным, неземным мелодиям, которые издавали тонкие струны маленькой пузатой скрипки коротконового Хаима Фрухштейна. Чего только не переживал Шолом в эти минуты! Он и страдал, и наслаждался, и благословлял, и проклинал одновременно. Он наслаждался прекрасной, необыкновенной, небесной музыкой и страдал оттого, что не он играет вместе с Розой, а другой. Он благословлял пальцы, которые извлекают такие чудес-



ные звуки из мертвых инструментов, и проклинал день, когда родился в доме Нохума Рабиновича, а не Иоси Фрухштейна; страдал оттого, что Хаим Фрухштейн — сын богача, а он, Шолом, — бедняк из бедняков. Он, конечно, не может получить у своих родителей лакированных ботинок со скрипом, на высоких каблуках; даже сапожки, которые на нем, совсем сносились, каблуки стоптаны, подошвы протерты. Если он скажет, что ему хочется иметь лакированные ботинки, его недоуменно спросят «зачем?», а если еще потребует, чтобы ботинки были со скрипом, он просто нарвется на оплеуху.

Ах, как хорошо было бы владеть кладом! Тем самым, о котором его воронковский товарищ, сирота Шмулик, рассказывал столько замечательных историй. Но клада нет. То есть клад существует, но трудно его найти — он слишком глубоко запрятан, а когда к нему приближаются, убегает и прячется еще глубже... И несчастный Шолом проклинал тот день, в который родился у благородных Рабиновичей, а не у Фрухштейнов. И он возненавидел коротконового Хаима Фрухштейна с длинным носом и красными смородинками на нем, возненавидел глубокой ненавистью за то, что бог наградил его, коротконового Хаима, всеми тремя дарами: ботинками со скрипом, умением играть на скрипке и говорить по-французски.

И несчастный Шолом здесь же, на улице, при луне и звездах поклялся сладостными небесными звуками, ангельскими мелодиями, которые лились из дома Розы, что он во что бы то ни стало научится играть на скрипке так же, как этот счастливый Хаим Фрухштейн; что своей игрой он заткнет за пояс десяток таких, как Хаим Фрухштейн, даже перещеголяет его с божьей помощью. И тогда Шолом придет к ней, к Розе, прямо домой и скажет словами «Песни Песней»: «Вернись, вернись, Суламифь! Повернись ко мне лицом на мгновение, Суламифь, послушай мою игру на скрипке!» Он проведет смычком по тончайшим струнам, а она, Суламифь — Роза, услышав его, в восторге спросит: «Кто научил тебя?» И он ответит: «Сам научился». А Хаим Фрухштейн, стоя в сторонке и оцепенев, будет исходить завистью. Затем Фрухштейн подойдет к Розе и заговорит с ней по-французски, но Шолом вмешается в разговор, перебьет его и скажет по-французски: «Осторожнее, реб Хаим, я понимаю каждое слово». Тот еще более



поразится, а Суламифь — Роза поднимется, возьмет Шолома за руку и скажет: «Идем!» И они пойдут вдвоем, он и Роза, гулять по переяславским «пешеходам», будут говорить по французски, и вся ватага кавалеров, и среди них коротконогий Хаим Фрухштейн, поплетется сзади, и весь город будет спрашивать, указывая пальцами на Шолома и на Розу: «Кто эта счастливая парочка?» Им ответят: «Вы не знаете, кто это? Да ведь это Роза со своим избранником!» — «Кто же ее избранник?» — «Ее избранник — воронковский Знаток Библии, каллиграф Шолом, сын Нохума Вевикова». Шолому все слышно, но он делает вид, что не слышит, и продолжает прогулку

рука об руку с прекрасной Розой. Ее чудесные голубые глаза смотрят на него и смеются. Он чувствует ее теплую маленькую ручку в своей руке и слышит, как бьется ее сердце: тик-так, тик-так. И вдруг ботинки у него на ногах сами собой заговорили: «Скрип-скрип, скрип-скрип». Это уже и его самого поражает. Играть на скрипке, говорить по-французски он научился сам — трудился так долго, пока не научился. Но ботинки — откуда у них взялся скрип? Тоже сами научились? Или это, может быть, ему мерещится? И он нажимает на подошвы обеими ногами, крепко, еще крепче и внезапно получает пинок от старшего брата, с которым спит на одной кровати.

— Что ты брыкаешься, как жеребенок?

Шолом просыпается. Неужели все это только сон? Он не перестает думать о своем сновидении и не перестает грезить наяву. У него сливаются сон и явь, фантазия и действительность. Он не помнит, сколько времени продолжается все это, пока Переяслав не посещает гостя, страшная гостя — эпидемия. Как разбушевавшийся ураган, свирепствует она, разрушая все на своем пути, производит опустошения во многих домах, в том числе и в доме Нохума Рабиновича. И прекрасная Роза — Суламифь и любовь к ней исчезают, как сон, как мечта, как прошедший день.

Гостя, посетившая город, была холера.

## 34

### ХОЛЕРА

*Эпидемия. — Растиральщики. — Бабушка Минда распоряжается. — Она взывает к могилам, обращается к праху отцов, помогает врачам. — Смерть матери. — Дядя Пиня не разрешает плакать в субботу*

Холера началась с наступлением лета, сразу после пасхи, и как будто не всерьез, но потом, ближе к празднику швуэс\*, когда появились овощи и зеленый крыжовник так подешевел, что его чуть ли не задаром отдавали, она уже разыгралась не на шутку, и все чаще и чаще слышалось теперь вокруг: зараза, эпидемия, холера. При слове «холера» все обязательно сплевывали в сторону. Ужас и отчаяние охватили город.

Понятно, что ужас охватил только взрослых, для детворы же эпидемия была просто праздником. Начали следить за их едой и питьем, щупать по утрам и по вечерам головки, заставляли показывать язык и в конце концов распустили хедеры, пока, бог даст, эпидемия уйдет туда, откуда пришла. Но эпидемия не хотела так скоро уходить и продолжала бушевать всюду.

Город, однако, тоже не дремал. Делали все, что только было возможно, и прежде всего взялись за «растирания». Быстро образовалось «общество растиральщиков». Они приходили и растирали каждого, кто почувствовал себя плохо, — в этом состояла их обязанность. Множество людей этим только и были спасены. В «общество растиральщиков» записались самые уважаемые люди... Город был разбит на участки, и каждый участок имел своих растиральщиков. Герой этого жизнеописания относился к ним с большим уважением, как к настоящим героям, совершающим подвиг. По всему видно было, что они ни капельки не боятся ни холеры, ни смерти. Они подбадривали друг друга, о холере говорили с усмешкой, выпивали по рюмочке, высказывая при этом пожелание, чтобы всевышний сжалился и эпидемия утихла.

Разумеется, и Рабиновичи были в числе «растиральщиков». Каждый вечер, возвратившись со своего участка, Нохум Рабинович рассказывал новости: кого и сколько раз сегодня растирали, кого «оттерли», кого не удалось. Домашние стояли вокруг, смотрели на него с уважением, выслушивая новости со страхом и любопытством. Маленькая Хая-Эстер хрустела пальцами и, как-то глядя на ораву ребят, сказала вскользь: «Не занес бы он, упаси бог, холеру в дом». На это Нохум ответил с улыбкой: «Холера не такая болезнь, которую можно занести. Кому суждено, того она и дома настигнет».

Маленькой Хая-Эстер это было, видно, суждено. Однажды, встав утром, она рассказала своей свекрови, бабушке Минде, странный сон. Ей снилось, что она в пятницу вечером совершает благословение над свечами. Вдруг появилась Фрума-Сора Срибниха, которая на прошлой неделе умерла от холеры, дунула на свечи — фу! — и потушила их... Выслушав странный сон, бабушка Минда рассмеялась и, понятно, истолковала его к лучшему. Но по лицам обеих женщин видно было, что

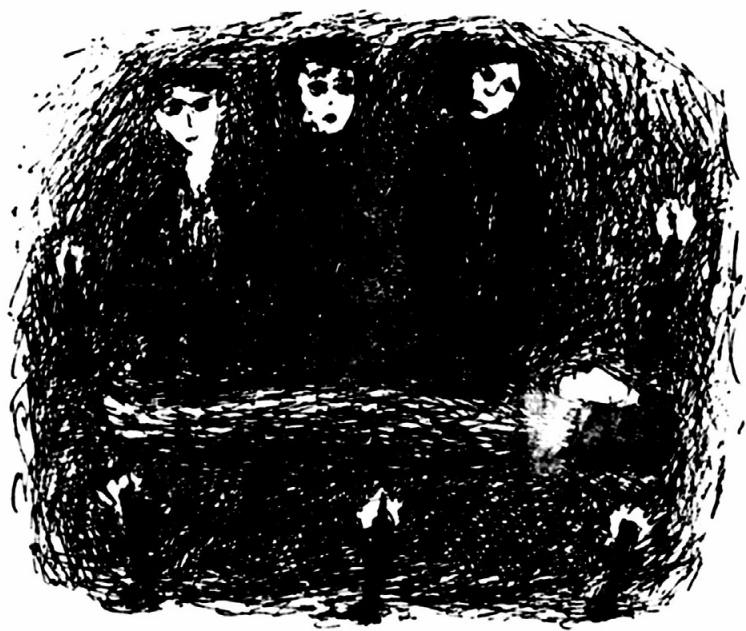
их охватил страх. Потом мать прилегла, попросила подать ей зеркало и, посмотревшись в него, сказала бабушке: «Дело плохо, свекровь! Посмотрите на мои ногти...» Свекровь, конечно, подняла ее на смех, пожелала, чтоб дурные сны обратились против нечестивых, а сама между тем, ничего не говоря невестке, послала старших ребят разыскать отца, который отправился на свой участок делать «растирания». Не дожидаясь отца, бабушка поставила в печь большие чугуны с водой и стала спасать больную своими средствами. Она сделала все, что только в человеческих силах, и не преминула также послать за доктором Казачковским, лучшим врачом в городе. Это был толстяк с багровым лицом. «Он так здоров, — говорили о докторе понимающие люди, — что и умрет на ногах». Хотя доктор Казачковский и считался лучшим врачом в городе, бабушка все же позвала и лекаря Янкла — с евреем легче сговориться. Фельдшер Янкл был не более чем фельдшер, но крылатку носил, как доктор, рецепты писал, как доктор, читал по-латыни, как доктор, и деньги брал тоже, как доктор. То есть когда ему давали монету, он ее принимал будто бы нехотя, а затем, опустив руку в карман, на ощупь определял ее достоинство. Если ему казалось маловато, он просил другую монету, но вежливо, с улыбкой поглаживая свои длинные волосы и поправляя очки на носу.

С ним, с этим лекарем, бабушка Минда заперлась у себя в комнате, предварительно выпроводив младших ребят на улицу, и там долго, до самого прихода отца, шепталась с ним. А когда отец явился, ни жив ни мертв, бабушка накинулась на него и задала ему изрядную головомойку. Забавно было смотреть, как отец оправдывался перед ней. Кто в те дни не видел бабушки Минды, тот не видел в своей жизни ничего замечательного. Женщина-командир! Фельдмаршал! Шелковый темно-зеленый платок, разрисованный серебряными яблоками, обвязан вокруг головы, рукава шерстяного шоколадного цвета платья засучены, поверх платья черный репсовый фартук, руки тщательно вымыты. Все это придавало ее старому строгому лицу в морщинах такой вид, будто она распоряжается на свадьбе, а не около опасно больной невестки, которая борется со смертью. Казалось, не Хая-Эстер воюет со смертью, а бабушка Минда сражается вместо нее, ведет войну с ангелом смерти, взмахи легких черных крыльев которого слышны уже совсем

близко. Дети пока не знали, что происходит, но инстинктивно чувствовали, что совершается нечто важное, еще сокрытое от них. На лице бабушки они читали: смерть хочеть отнять мать у детей, но я этого, с божьей помощью, не допущу! А если она говорит, что не допустит, ей можно верить. Бабушке Минде нельзя не верить. Однажды, когда доктор Казачковский сидел возле больной, которой было уже совсем плохо, — это можно было заключить по лицу доктора, совсем побагровевшему, — бабушка Минда собрала детей и выстроила их в ряд, от старшего (молодого человека с бородкой) до младшего (девочки, которой едва минул год). Когда доктор Казачковский вышел из комнаты больной, она бросилась перед ним на колени и, целуя ему руки, показала на ораву детей: «Вот посмотри, добрый господин, на этих козявок, на этих птенцов! Сколько сирот останется, если, не дай бог, придет ее час. Пожалей, господин милосердный, окажи милость этим птенцам, этим невинным овечкам!..» Мне кажется, это могло тронуть даже камень. И на доктора Казачковского это подействовало. Он развел руками: «Что я могу сделать? Вот кого надо просить!» И показал пальцем вверх. Спасибо за совет, господин милосердный; перед богом бабушка не нуждалась в заступниках, к всевышнему она и сама знает дорогу. Она ходила в синагогу и обеспечила чтение псалмов на целые сутки. Она уже и на кладбище побывала, стучалась в родные могилы, взывала к праху отцов. Как можно допустить, чтобы такая женщина, как жена ее сына, оставила мужа вдовцом, а детей — сиротами. Такая праведница, как Хая-Эстер, не должна умереть! «Нет, боже праведный, ты милосерд, ты не сделаешь этого!»

Однако ничего не помогло. Бог действительно милостив, но маленькая Хая-Эстер больше не встала. Она умерла. Это случилось в субботу утром, в тот час, когда еще молятся в синагоге.

Умерла? После смерти учителя (резника Мойше) это была вторая смерть; дети ее скорее чувствовали, чем постигали, и боль они ощутили очень сильную. Правда, их мать была не такой мягкой и ласковой, как другие матери. Правда, им немало доставалось от нее подзатыльников, пинков, колотушек: «Дети не должны быть обжорами и просить еще! Дети не должны путаться под ногами! Дети не должны скалить зубы и гоготать». Это



означало, что дети не должны смеяться. А дети все-таки смеялись. В самом деле, как можно не смеяться, когда смешно? Дорого обходился им этот смех. Они расплачивались за него покрасневшими ушами и щеками, вздутыми от маминых маленьких, но крепких ручек. Однако сейчас дети забыли обо всем этом. Забыли оплеухи, толчки, пинки, подзатыльники, а помнили только, как мама опускала руку в карман и доставала оттуда для них мелочь; как в начале каждого месяца мама давала им порошки на меду против глистов; как она не отходила от постели, когда кто-нибудь из них болел; как прикладывала свою маленькую ручку ко лбу ребенка, щупала пульс, гладила по щекам; как под праздник шила ребятам новые платья, а накануне субботы мыла им головы; как смеялась во время пасхальной трапезы, когда дети пьянели от четырех традиционных кубков вина. И еще многое-многое вспоминали дети, уткнувшись лицом в подушку и заливаясь горькими слезами. Они заплакали еще сильнее, когда услышали, что плачет отец. Разве отцы плачут! Бабушка Минда стонала

и рыдала, причитая нараспев, будто по молитвеннику, обращаясь с жалобой к господу богу: «Зачем забрал он не меня — бабушку Минду, а это молодое деревце, мать стольких, не сглазить бы, червячков, божьих созданий!» Сравнение детей с червячками вызвало у них в эту печальную минуту невольную улыбку. Почему именно червячков? Вдруг отворилась дверь, и в комнату вихрем ворвался дядя Пиня со своими двумя сыновьями. Он примчался прямо из старой синагоги, где обычно молился, и торжественно возгласил: «Доброй субботы!» Услышав рыдания и стоны, дядя Пиня мгновенно обрушился на отца и на бабушку Минду: «Это что такое! В субботу плакать! Разбойники, злодеи, что вы делаете? С ума сошли, рассудка лишились! Вы забыли, что сегодня суббота и что в субботу плакать не дозволено. Что ты делаешь, Нохум? Нельзя — грех! Что бы ни случилось, суббота выше всего!» Тут дядя отвернулся, будто для того, чтобы высморкаться, и бросил взгляд туда, где, покрытая черным, лежала мать. Он быстро вытер глаза, чтобы не видели, как он плачет, хотя в голосе у него слышались слезы, и заговорил уже мягче:

— Послушай меня, Нохум, довольно! Ты грешишь перед богом! Ну довольно же! Нельзя! Ведь сегодня субб...

Дядя не мог выговорить слово до конца, потому что слезы, которые он все время глотал, подступили к горлу. Не в силах больше совладать с собой, он припал к столу, уронив голову на левую руку, словно во время молитвы «Тахнун»\*, и расплакался, как ребенок, восклицая тонким голосом:

— Хая-Эстер, Хая-Эстер!..

### 35

#### ДНИ ТРАУРА

*Отец углубился в книгу Иова\*. — Ему предлагают жгнуться. — Детей собираются отправить в Богуслав к дедушке Мойше-Иосе*

Никогда герой этого жизнеописания так не тосковал по кладу, о котором ему когда-то рассказывал его приятель Шмулик, как в то время, когда он, отец и все его братья и сестры сидели в одних чулках на полу, справляя семидневный траур по матери.



«Будь у меня теперь клад, — думал он, — клад, спря-  
танный там, в маленьком местечке... Ну, хоть не весь  
клад, а только часть его! Как бы он мне сейчас приго-  
дился! Бабушка Минда перестала бы причитать и пла-  
кать, упрекать бога в том, что он нехорошо поступил,  
забрав сначала невестку, а не ее, свекровь... Отец пере-  
стал бы вздыхать и твердить без конца, что ему незачем  
жить на свете и что они ничто без Хаи-Эстер. А они,  
дети? Чем бы они сейчас занимались? Наверно, были  
бы на речке с другими мальчишками, плавали бы, лови-  
ли рыбу или просто бегали где-нибудь. Такое солнце.  
Такая жара. Вишни дешевы, смородину почти даром  
отдают, уже появляются зеленые огурчики в пупырыш-  
ках, скоро поспеют дыни — желтые ароматные, и арбу-  
зы — красные, как огонь, сладкие и рассыпчатые, словно  
песок. Ах, клад, клад!.. Где бы взять клад?» Эти мысли  
поднимают Шолома и уносят в другой мир — мир фан-  
тазий и грез, прекрасных, сладостных грез. Ему пред-  
ставляется, что клад уже у него, он вдруг открылся ему,  
со всем своим богатством, со всеми драгоценными кам-  
нями, вот у него в руках золото и серебро, кучи полу-  
империалов, алмазы и брильянты; отец ошеломлен: «От-  
куда у тебя, Шолом, столько добра?» — «Я не могу  
тебе сказать, отец, откуда, — если я тебе скажу, все  
это взовьется и исчезнет». И Шолом чувствует себя на  
седьмом небе, оттого что ему удалось вытащить отца из  
нужды, и только больно, очень больно, что нет при этом  
его бедной матери. «Не суждено ей, — говорит бабушка  
Минда, — все свои молодые годы она, бедняжка, жила  
ради детей, не видела радости, а теперь, когда пришла  
настоящая жизнь, кончились ее годы».

Но вот раздается вздох отца: «Боже мой, что делать?  
Как быть?»

И маленький мечтатель возвращается из счастливого  
мира грез и фантазий опять сюда, в этот горестный мир  
забот и слез, где люди говорят о муке для халы, о день-  
гах, чтобы пойти на базар, о постояльцах, которых нет,  
о доходах, которые «пали», — и все эти разговоры за-  
канчиваются стонами и вздохами отца. «Боже мой, что  
делать? Как быть?»

— Что значит — как быть? — набрасывается на него  
дядя Пиня уже в последний день траура. — Сделаешь  
то, что все люди делают, — женишься, с божьей по-  
мощью...

Как, отец женится? У них будет новая мать? Какой она будет? Дети смотрят на отца — что он скажет? Отец и слышать не хочет. Он говорит:

— Мне жениться? Еще раз жениться после такой жены, как Хая-Эстер? И это говоришь ты, родной брат! Кто знал ее лучше тебя?

Отца душат слезы. Он не в силах говорить. Дядя Пиня больше не настаивает.

— Пора читать предвечернюю молитву, — говорит он, и все справляющие траур — отец и дети — встают с пола, становятся на молитву, и шестеро сыновей, между ними один уже взрослый, с рыжей бородкой, по имени Эля, отбарабанивают «Кадиш»\* так, что любо слушать. Родня с гордостью смотрит на сыновей Хай-Эстер, читающих «Кадиш». Посторонние женщины даже завидуют... «Ну как не попасть в рай, имея таких сыновей? Это было бы невероятно», — говорит дальняя родственница, Блюма, рябая женщина, жена немого мужа. Она бросила и мужа и детей и прибежала помочь чем-нибудь: по дому, на кухне, присмотреть за сиротами. Дети Хай-Эстер не могут пожаловаться, что они забыты. Напротив, с тех пор как мать умерла, они как будто стали дороже для окружающих — сироты ведь! Были моменты, когда траур казался им чем-то вроде праздника. Во-первых (и это самое главное), не надо ходить в хедер. Во-вторых, им дают сладкий чай с булкой, к чему они вовсе не привыкли; им шупают головы и животы и спрашивают о «желудке». У них, оказывается, есть «желудки»! А сидеть всем вместе на одеяле с отцом, голова которого с широким морщинистым лбом склонилась над книгой Иова, наблюдать мужчин и женщин, которые приходят «утешать печалющихся», — все это тоже кое-чего стоит! Посетители входят без «здравствуйте», уходят без «прощайте», странно моргают глазами и что-то бормочут в нос.

Для пострела Шолома эти визиты — клад, здесь целая галерея разнообразных типов и образов, которые сами просятся на бумагу. Первым приходит дядя Пиня, не один, а со своими двумя сыновьями в длинных сюртуках — Исроликом и Ицей. Дядя Пиня, засучив рукава, начинает разговор. Сыновья молчат. Дядя толкует закон, когда собственно должны закончиться семь дней траура — утром или вечером. Он встает, обещая справиться у себя в священных книгах, чтобы «знать точ-

но». Не прощаясь, он скороговоркой говорит, как и оба его сына, «Сион и Иерусалим» и удаляется. После него приходит тетя Хана со своими дочерьми и поднимает крик: «Хватит, довольно плакать. Мать от этого не воскреснет!» Перед уходом тетя Хана заявляет, что здесь нечем дышать, нюхает табак из маленькой серебряной табакерки и вопит, чтоб открыли хоть одно окно, — здесь задохнуться можно. Потом приходит тетя Тэма, совершенно беззубая женщина. Лицо у нее смеется, а глаза плачут. Покачивая головой, она произносит слова утешения и сообщает новость: все, мол, умрем...

Это родня. Потом приходят чужие. Разные люди. Такие, которые глубоко верят в бога и загробную жизнь, и такие, которые не очень-то верят. Арнольд из Подворок, например, издевается над всем этим: «Несть закона, и несть судьи». Ведь сказано ясно, говорит он: «И нет у человека преимущества перед скотом» \*. Ужас! Что говорит этот Арнольд?! Он не щадит ни бога, ни мессии! И все получается у него кругло, гладко. Он единственный перед уходом прощается, и не удивительно, раз он ни во что не верит. Интересно, что станется с этим Арнольдом, если он возьмет да богу душу отдаст... «Меня можете после смерти сжечь в огне и пепел развеять по всем семи морям — мне это совершенно безразлично», — говорит Арнольд и получает нахлобучку от бабушки Минды: «Не вам бы говорить да не мне бы слушать!» Но Арнольд хоть бы что! Только усмехается. Вслед за ним приходит Иося Фрухштейн, с большими зубами, и бранит отца за то, что он так горюет. Он, говорит, не ожидал этого от него. Додя, сын Ицхок-Вигдора, говорит то же самое. Он клянется совестью, что, случись у него такое несчастье, он — ей-же-ей — в благодарность опустил бы монету в кружку Меера-чудотворца... Когда Додя уходит, поднимается смех, потому что все знают его жену Фейгу-Перл. Эта Фейга-Перл — поистине «перл создания». Слава богу, уж и посмеяться можно. Отец все еще держит перед собой книгу Иова, но не плачет так много, как в первые дни. Он уже не злится на дядю Пиню, когда тот заговаривает о женитьбе. Он только вздыхает и говорит: «Что делать с детьми? С детьми как быть?»

— Как быть с детьми? — отзывается дядя Пиня, поглаживая бороду. — Старшие будут учиться, как учились, а младших ты отправишь к дедушке в Богуслав.

Он имеет в виду дедушку Мойше-Иосю и бабушку Гитл с материнской стороны; дети никогда их не видели, они слышали только, что где-то далеко, в городе под названием Богуслав, есть у них богатые дедушка и бабушка. Туда, значит, их и собираются отправить. Это совсем недурно. Во-первых, сама поездка чего стоит. Во-вторых, они увидят новый город. Интересно также познакомиться с дедушкой и бабушкой, которых они никогда не видали. Возникает только один вопрос: кого дядя Пиня считает старшим, кого младшим, ведь не может быть сомнения в том, что мальчик, которому минуло тринадцать лет, будь он даже меньше щенка, должен считаться старшим. Этот вопрос так сильно занимал тринадцатилетнего «юношу», что он почти перестал думать о матери, по которой дважды в день читал заупокойную молитву, о вздыхающем отце, о кладе, по которому так тосковал. Его интересовало теперь другое: поездка в большой город Богуслав, дедушка Мойше-Иося и бабушка Гитл, которые, говорят, так богаты, так богаты...

## 36

### У ДНЕПРА

*Путешествие в Богуслав. — Возница Шимен-Волф — молчальник. — В ожидании парома. — Возница молится на берегу реки. — Сердечная молитва*

Однажды, в конце лета, перед осенними праздниками, к крыльцу подъехала повозка. В нее усадили младших детей, четырех мальчиков и двух девочек, — тринадцатилетний Шолом был тоже среди них, — дали с собой по две сорочки, съестного на два-три дня, письмо к деду Мойше-Иосе и бабушке Гитл и раз двадцать наказали, чтобы они были осторожны при переправе на пароме через Днепр.

Переезжать через Днепр да еще на пароме! Никто из детей парома никогда не видел и не представлял себе, что это за штука. Но они догадывались, что переправляться на этой штуке через Днепр должно быть неплохо. И дети забывают, что у них умерла мать; забывают все на свете и думают только о поездке, о Днепре, о пароме. Но им напоминают, что мать умерла. На то существует бабушка Минда, которая наказывает им

еще и еще раз, чтоб они, упаси бог, не забывали читать по матери «Кадиш». Она гладит детей холодными, скользкими пальцами, целует в щечки и прощается с ними навсегда, ибо, бог знает, доведется ли ей еще когда-либо с ними увидеться... Сердце подсказывало ей правильно. Когда некоторое время спустя дети вернулись из Богуслава, бабушка Минда была уже там, где их мать, — могила подле могилы. И отец читал заупокойную молитву по своей матери вместе с детьми, которые поминали свою мать. То был год поминаний, год холеры. Бесконечное множество людей утратило близких, вся синагога поминала мертвых.

Как различны бывают люди! Насколько возница Меер-Велвл, который возил детей из Воронки в Переяслав, был человек живой, подвижной, словоохотливый, настолько другой возница, Шимен-Волф, который вез детей из Переяслава в Богуслав, был угрюм, флегматичен, молчалив. Хоть кол на голове теши, хоть из пушки по нему стреляй, он ни слова не вымолвит, кроме: «Полезайте на воз», или: «Слезайте с воза». Дети сгорали от нетерпения узнать, скоро ли покажется Днепр, когда они будут переезжать его на пароме и что такое собственно паром, но ничего не поделаешь — молчит человек, да и только! Сидит, как пугало, на облучке, подстегивает лошадей, причмокивает толстыми губами и только время от времени произносит: «Но-о, холера! Чтоб вас холера взяла!», или: «Но, дохлые, чтоб вам подохнуть!» Порою он что-то шепчет про себя или тихо напевает тоненьким голосом. Это он на память читает псалмы.

Так же, как у людей бывают разные характеры, так, простите за сравнение, и лошади — у каждой свой нрав. Лошади возницы Шимен-Волфа характером пошли в хозяина: такие же сонные, к тому же они были со странностью — чихали. Всю дорогу они чихали, фыркали, обмахивались хвостами и еле передвигались. Казалось, мы плетемся нескончаемо долго, и бог весть, доберемся ли когда-нибудь до жилья. Кругом — небо, земля и песок. Песку нет конца. А в довершение всего лошади вдруг останавливаются посреди дороги. Шимен-Волф слезает с телеги и, допев тоненьким голосом: «Бла-а-женны все уповающие на него», обращается к детям: «Слезайте с воза!» Дети вылезают из повозки. Что

случилось? Ничего. Дорога песчаная, лошадям тяжело — придется пройти пешком. Что ж, это не беда, пешком — так пешком. Тем лучше, пешком даже веселей. Беда только в том, что младшая девочка, которой всего лишь годик, не хочет оставаться одна в повозке, она плачет, и ее приходится нести на руках. Это небольшое удовольствие. Счастье, что идти приходится не очень долго. Дорога вскоре становится лучше, и возница говорит детям: «Полезайте на воз!» Забираешься в повозку и вытягиваешься, пока снова не начинается глубокий, вязкий песок. Тогда опять раздается команда: «Слезайте с воза!» А потом: «Полезайте на воз!» Но что там сверкнуло вдалеке? Что там блестит, как стекло, и отливает на солнце серебром? Неужели это Днепр? Ребятам не сидится в повозке. А повозка, как назло, подвигается медленно, медленно; чтобы добраться до Днепра, нужно преодолеть одну полосу и еще одну полосу желтого, плотного, глубокого, до колен, песка. Лошади плетутся еле-еле, шаг за шагом, с трудом вытаскивая ноги. Колеса вязнут в песке, повозка кричит. А Днепр все ближе и ближе разворачивается перед ними во всей своей шире и красе. Да, это Днепр! Он сверкает на солнце и улыбается юным путешественникам, которые впервые явились приветствовать древнего старца: «Мир тебе, как живешь, дедушка?»

Высокий, зеленый, местами пожелтевший прибрежный камыш с отражающимися в воде длинными остроконечными листьями придает ему, этому старику, особую прелесть. Тихо кругом.

Вширь и вдаль, точно море, раскинулся Днепр, и воды его несутся куда-то, несутся в глубоком молчании. Куда? Это тайна. Синее небо глядится в воду и отражается в ней вместе с солнцем, которое еще высоко. Ясное небо, ясная вода, ясный воздух, чистый песок. Ширь и благодатная тишина. Необъятный божий простор. И вспоминаются слова псалма: «Из простора воззвал я к господу». Фрр! — с криком вылетела птица из камыша. Прорезав стрелой чистый воздух, она зигзагами поднялась вверх и стала парить высоко, высоко, но, как бы вспомнив о чем-то, возвратилась и снова исчезла в желто-зеленом камыше. И хочется птицей выпорхнуть из повозки и полететь над водой или по меньшей мере раздеться догола, прыгнуть в воду и плескаться в ней, плавать, плавать, плавать...

— Слезайте с воза! — командует Шимен-Волф и первый вылезает из повозки. Заткнув кнут за пояс, он подносит обе ладони ко рту и, задрав голову, испускает глухой крик, точно из пустой бочки: — Паро-ом, паро-о-ом!..

Паром, видно, живое существо, которое находится где-то на той стороне реки, его-то и нужно вызвать. Дети выползают из повозки и, расправив сведенные от долгого сидения члены, помогают вознице вызывать паром. Так же, как и возница, они подносят ко рту ладони, задирают головы и пронзительно кричат:

— Паро-ом, паро-ом!

Внезапно ими овладевает смех. Неизвестно отчего. Они смеются без всякой причины. Они смеются оттого, что им хорошо, оттого, что они молоды и здоровы, что стоят у Днепра, и будут сейчас переезжать реку на пароме. Кто может сравниться с ними! Но вот солнце начинает прощаться с землей. Последними косыми чистого золота лучами оно касается серебристой глади Днепра — и смех обрывается. Пропало желание смеяться. Уж очень тихо здесь, на берегу Днепра. Священная тишина. Да и прохладно стало, и вода удивительно пахнет, она тихо плещется, журчит, бежит... Между тем возница, подпоясавшись платком и засунув за него кнут, стал лицом к востоку, благочестиво прикрыл глаза и, раскачиваясь, начал тоненьким голосом читать вечернюю молитву. Эта молитва здесь, под открытым порозовевшим небом, на берегу древнего, прекрасного, благоухающего Днепра, слилась с журчанием воды, и веселыми юными путешественниками овладело новое настроение: им тоже захотелось молиться. Это была, можно сказать, их первая добровольная, невынужденная молитва, здесь, под открытым небом, в непосредственной близости к богу. Никогда им так не хотелось молиться, как теперь, в сумерки на берегу Днепра. Пропустив вступление — ничего, в дороге можно обойтись и без вступления, — они начали сразу с «Блаженны живущие в доме твоём», начали с увлечением, нараспев. Потом, закрыв глаза и раскачиваясь, как возница Шимен-Волф, они встали все лицом к востоку. «Господь великий, могучий, всеильный...» — смысл этих слов открылся им только здесь, под вечерним небом, на берегу Днепра. И молитва лилась так сердечно, так сладостно, как никогда.

*Неожиданная встреча на пароме. — Исав — маленький выкост. — Они узнают друг друга. — Расстанутся без слов*

Маленькие сироты-путешественники еще не успели кончить молитвы, как увидели вддали на сверкающей глади Днепра что-то темное, круглое, все время меняющее краски в свете заходящего солнца. Этот круглый предмет становился все больше и больше, то, ныряя, пропадал, то снова показывался. Потом дети услышали странный шум, будто колеса катятся, и скрип натянутой веревки. Покончив наскоро с молитвой, они побежали к берегу и увидели на шири Днепра толстый канат, привязанный к толстому бревну на берегу. Круглый предмет все увеличивался и увеличивался и, наконец, вырос в какое-то неуклюжее деревянное сооружение, какое-то чудовище, похожее на плавающий дом. Наверху, на спине этого чудовища, вертелось колесо; силой его чудовище и двигалось по воде. Оно медленно плыло, все приближаясь к берегу. Наконец его уже можно было разглядеть со всех сторон и убедиться в том, что это не чудовище, не живое существо, а своего рода судно, баржа или берлина, на ней стоят подводы, лошади, люди. Это и был паром, которого дети так долго ждали, чтобы переправиться через Днепр. Им стало легче на душе. Теперь можно присесть на песок и подождать, пока паром подойдет и остановится. Ведь паром плывет очень, очень медленно, еле тащится. Солнце движется много быстрее его. Лишь недавно оно было над горизонтом, а теперь катится точно под гору и быстро исчезает за горой, оставив за собой широкую красную полосу. Ветерок все свежеет. Дети сидят на песке. У старшего на руках годовалая сестренка; малютка спит.

Паром остановился. Люди с повозками и лошадьми стали медленно, поодиночке, не произнося ни слова, спускаться с парома, а возница Шимен-Волф, также без единого слова, взобрался на паром, точно все условились хранить молчание. Сначала он повел



на паром лошадей с повозкой, даже не пожелав им, по обыкновению, холеры, потом махнул рукой своим юным пассажирам, чтобы и они взбирались. Еще минута — и паром волей одного человека, всей силой налегшего на толстый канат, тихо двинулся в путь; так тихо, что движение его почти не ощущалось. Казалось, не паром идет вперед, а река уходит назад, отступает, будто провожая их с миром. Тут только и стало видно, как широк Днепр, как он величествен и прекрасен. Плывешь, плывешь, а до другого берега все еще далеко.

Солнце давно уже село за рекой. Взошла луна, сначала багровая, потом она посветлела, стала совсем серебряной. Поодиночке, как субботние свечи, зажглись в небе звезды, и ночной Днепр приобрел другую окраску, другой вид и очертания, словно укутался в темный плащ. Тихой прохладой, мягкой, ласкающей свежестью повеяло от него. В голову приходили тысячи мыслей — о ночи, о небе, о звездах, отражающихся в водах тихого Днепра. Каждая из этих звездочек — душа человека... А паром? Как это один человек, малый этот, гонит такую махину? Он одной рукой налегает на канат, тянет его, колесо вертится, и паром идет.

Шолом не прочь посмотреть поближе, как этот малый работает у каната и гонит паром. Он подходит к паромщику. Это еще совсем молодой парень, в серой свитке, огромных сапожищах и бараньей шапке; малый всей силой навалился на толстый канат. Шолом приглядывается к работе этого паренька — он движет плечом вверх-вниз, вверх-вниз так, что даже кости трещат. «Исав, — думает про себя Шолом, — такую работу может делать только Исав. «И будешь ты служить брату своему» — сказано в Писании. Очень хорошо, что я внук Иакова, а не Исава...»

Но у него все же душа болит за паренька. Слишком юн этот паромщик. Шолом заглядывает ему в лицо и... отскакивает назад. Кажется, он его знает! Знакомые глаза. Шолом вновь подходит, на этот раз совсем близко: это даже не паренек, а совсем мальчишка, с дочерна загоревшим лицом и огрубевшими руками. Глаза еврейские, а руки иноверца. И он вспоминает Писание: «Руки же, руки Исава». Но почему же мальчишка ему так знаком? Где он его видел?

Шолом роется в памяти, и вспоминается ему один из его воронковских товарищей, Берл — сын вдовы, смуглый паренек с огромными зубами. Неужели это он? Нет, не может быть! Это померещилось Шолому. Но, боже милостивый, ведь это все-таки он! Малый, почувствовав, что его разглядывают, еще глубже надвинул шапку, украдкой покосившись на того, кто так внимательно наблюдал за ним. Глаза их встретились в темноте, и они узнали друг друга...

Эта неожиданная встреча вызвала у Шолома множество мыслей: Берл — христианин? Еврей, и вдруг — христианин. Он, правда, слышал еще в местечке, что Берл крестился. Недаром говорили, что он отщепенец... Подойти к нему, дать себя узнать, расспросить его Шолому что-то мешало. Он чувствовал отчужденность, холодок, но в то же время испытывал жалость. Жалко еврея, который перестал быть евреем, и ради чего? Ради того, чтобы надеть серую свитку, большую мохнатую шапку и стать помощником паромщика, батраком? А «батрак» хоть бы что, даже не пошевелился. Видно, не мог товарищу в глаза смотреть... Он оглянулся вниз, в воду, будто там можно что-нибудь увидеть. Затем Берл еще крепче закутался в свою свитку, еще ниже надвинул шапку и, поплевав на руки, с особым рвением взялся за работу, всем телом навалился на толстый канат. Канат скрипел, колеса вертелись, паром быстрее заскользил по воде. Стоп — приехали!

— Полезайте на воз! — скомандовал наш возница-молчальник, выкатив повозку с парома, и стегнул лошадей, почтив их кличками «холера» и «дохлые». Днепр остался позади — с паромом, с батраком-паромщиком, который был когда-то еврейским мальчиком, внуком праотца Иакова. Бедный, бедный!

### 38

#### В БОГУСЛАВЕ НА «ТОРГОВИЦЕ»

*Прибыли в Богуслав прямо на ярмарку. — Неизвестно, какой Мойше-Иося приходится им дедушкой. — Еврей в талескотне берется доставить детей к дедушке*

Было уже совсем светло, когда маленькие путешественники, усталые, сонные и голодные, въезжали в город Богуслав. Из-за леса взошло ясное, теплое



солнце. Сначала они проехали огромное кладбище со множеством покосившихся, полуразрушенных памятников, на которых уже давно стерлись и поблекли надписи. Судя по богатому кладбищу, можно было подумать, что город этот неимоверной величины. Минувая кладбище, они въехали прямо на «торговицу» — нечто вроде базара или ярмарки, где все смешалось в кучу: крестьяне, лошади, коровы, свиньи, цыгане, телеги, колеса, хомуты и разные евреи: еврей-скорняки, еврей-шапошники, евреи с красным товаром, с булками, с баранками, с пряниками, с яблочным квасом, с чем только пожелаете. А баб! Бабы с корзинами, бабы с яблоками, бабы с птицей, бабы с жареной рыбой и просто так бабы. И все они галдят, визжат, трещат... А лошади, коровы и свиньи им помогают. Слепцы поют и играют на лирах. Ogлохнуть можно! Пыль стоит такая, что трудно разглядеть друг друга, а от запахов можно задохнуться.

Ребята приехали в удачную пору, в базарный день. Возница еле пробился со своей повозкой сквозь толпу,



пожелал, по своему обыкновению, и городу и ярмарке восемнадцать холер и наконец спустился в самый город, сильно напоминавший кладбище своими покосившимися, словно надгробные плиты, домиками. Между ними кое-где попадались и новые дома, которые выглядели здесь чужими, как богатые гости на бедной свадьбе. Тут только и началась настоящая суматоха. Возница Шимен-Волф знал, что ему поручили отвезти юных пассажиров в Богуслав к их дедушке и бабушке. Ему, правда, назвали имена дедушки и бабушки, но, черт побери, он их совсем забыл. Шимен-Волф божился, что всю дорогу, честное слово, он удерживал имена в памяти, но как только попал на эту ярмарку, они выскочили у него из головы. Ах, холера! (Кому она предназначалась, он не сказал.)

Между тем подошел какой-то человек, и еще один, и еще один, и два человека, и три человека, и женщины подошли с корзинками, и женщины без корзинок. Поднялся шум, гвалт — все говорили разом, передавали друг другу новость: извозчик привез каких-то детей.

«Откуда?» — «С той стороны Днепра». — «Из Ржищева?» — «Почему вы думаете, что из Ржищева, а не из Канева?» — «Не из Ржищева, не из Канева, а из Переяслава». — «А куда он их привез?» — «Да вы же видите куда — не в Егупец, конечно, а в Богуслав!» — «К кому?» — «Умник, если бы знали к кому — все было бы в порядке!» — «К дедушке, говорит он, к их дедушке». — «К какому дедушке?» — «Умник, если бы знали, к какому дедушке, — было бы хорошо».

— Тише! Знаете что, спросим у детей, как зовут их дедушку. Они, должно быть, знают.

— Откуда же им знать?

— А почему бы им не знать?.. — Тут, работая локтями, протиснулся сквозь толпу человек с треснувшим козырьком — продавец бубликов.

— Пустите меня! Я их спрошу. Дети, как зовут вашего дедушку?

Дети от шума и гвалта совсем растерялись, но они все же вспомнили, что их дедушку зовут Мойше-Иося. Да, да, его зовут Мойше-Иося. «Наверное Мойше-Иося?» — «Наверное». Теперь уже, значит, известно, как зовут их дедушку. Остается только один вопрос: какой Мойше-Иося? Есть несколько Мойше-Иосей: Мойше-Иося — столяр, Мойше-Иося — жестянщик, Мойше-Иося Леи-Двосин и Мойше-Иося Гамарницкий. Но поди-ка разберись...

— Тише, знаете что? Как зовут вашего отца? — спросил другой, не тот, который с бубликами. Это был еврей с талескотном, видно, все время сидит в синагоге. Дети ответили, что их отца зовут Нохум. Услышав это, еврей с талескотном всех растолкал и учинил детям настоящий допрос:

— Вашего отца, говорите вы, зовут Нохум. Фамилия его Рабинович?

— Рабинович.

— А маму вашу звали Хая-Эстер?

— Хая-Эстер.

— И она умерла?

— Умерла.

— От холеры?

— От холеры.

— Так и говорите!

Еврей с талескотне обернулся к собравшимся. Лицо его сияло.

— В таком случае спросите меня. Я вам скажу точно. Их дедушка — Мойше-Иося Гамарницкий, их бабушка — Гитл Гамарницкая. Их дедушка уже знает, что его дочь, Хая-Эстер, не про нас будь сказано, умерла от холеры, но бабушка не знает. От нее это скрывают: старая женщина, несчастная калека.

Еврей в талескотне с тем же сияющим лицом обратился к детям:

— Вылезайте, дети, из повозки, я вам покажу, где живет ваш дедушка! Подъехать туда невозможно — улица слишком узка. Разве что с другой стороны? Но там не развернешься с возом. Как ты думаешь, Мотл, можно будет развернуться?

Это относилось к молодому человеку с кривым носом. Мотл сдвинул шапку на затылок.

— А почему бы и не развернуться?

— Почему! Почему! Ты забыл, что Гершка Ици-Лейбин строит сарай с той стороны?

Мотл, не шевельнувшись, переспросил:

— А если он и строит сарай с той стороны, так что из этого?

— Что значит «что»? Он же туда навалил лесу.

— Навалил лесу? Ну и пусть, на здоровье!

— Что тут говорить с бревном!

И чем спокойнее был Мотл, тем больше горячился еврей в талескотне. Наконец, окончательно потеряв терпение, он плюнул и назвал Мотла дураком из дураков. Затем, взяв детей за руки, сказал: «Идемте со мной! Я вас провожу. Надо идти пешком». И еврей в талескотне, весь сияя, вывел юных путешественников из толпы и отправился с ними пешком к их дедушке, Мойше-Иосе, и к их бабушке, Гитл.

### 39

#### ВОТ ТАК ВСТРЕЧА!

*Бабушка Гитл, разбитая параличом. — Дедушка Мойше-Иося с картофелеобразным носом и густыми бровями. — Дядя Ица и тетя Сося*

У переяславских сирот были все основания вообразить себе дом дедушки Мойше-Иоси чем-то вроде дворца. Сам дедушка представлялся им патриархом

в шелковом жупане. Дома ведь говорили, что он богач! Но человек, который взялся проводить детей, повел их к самому обыкновенному домику, правда, с застекленным крыльцом, и сказал: «Вот здесь живет ваш дедушка, Мойше-Иося Гамарницкий». И тут же исчез. Он не хотел присутствовать при встрече.

Пройдя через застекленное крыльцо, дети отворили дверь и увидели прямо против входа деревянную кровать, а на ней — человек не человек, какое-то странное существо в образе женщины, без ног и со скрюченными руками. В первую минуту они было чуть не повернули назад, но существо это, внимательно взглядевшись в них воспаленными красными глазами, спросило очень приятным голосом: «Кто вы, дети?» Что-то близкое, родное послышалось им в этом голосе. И дети ответили: «Доброе утро. Мы из Переяслава...»

Услышав слово «Переяслав» и видя перед собой кучу ребятишек, среди которых была и годовалая девочка, старуха сразу постигла всю глубину трагедии. Она заломила искривленные руки и громко вскрикнула:

— О, горе мне! Гром небесный поразил меня! Моя Хая-Эстер умерла! — Она стала бить себя по голове. — Мойше-Иося, где ты? Иди сюда, Мойше-Иося!

На ее крики прибежал из боковой комнатки низенького роста старик в талесе поверх отрепьев, в опорках на ногах. Лицо у него было уродливое, с большим картофелеобразным носом и невероятно длинными густыми бровями. Это и есть дедушка Мойше-Иося, тот самый, который так богат?

Первым делом дедушка накинулся на детей, стал их бранить, сердито замахал на них руками. А так как он до этого, очевидно, молился, а молитвы прерывать нельзя, то он кричал на них по-древнееврейски: «И-о-ну, злодеи! Разбойники!» А старухе он также по-древнееврейски дрожащим голосом прокричал: «И-о-ну... Я знал... Дочь моя... Бог дал — бог взял!..»

Это должно было означать, что он знал о смерти дочери. Но старушку это мало успокоило, и она продолжала рыдать, бить себя по голове и выкрикивать:

— Хая-Эстер! Умерла моя Хая-Эстер!..

На ее крики прибежал какой-то человек с такими длинными пейсами, каких дети в Переяславе не

встречали. Это был единственный брат их матери — дядя Ица. Вслед за ним прибежала женщина с пылающим лицом, с засученными рукавами и с половником в руке. Это была его жена — тетя Сося. Вместе с ней появилась девочка с розовыми щечками и маленьким ротиком — их единственная дочка, Хава-Либа, хорошенькая и застенчивая. Кроме них, сбежались еще мужчины и женщины — ближайšie соседи, и все они стали говорить разом, утешая бабушку Гитл: «Если дочери уже нет в живых, то слезами тут не поможешь, что покрыла земля — того не вернешь». А детям они стали выговаривать, что нельзя сваливаться вот так, как снег на голову, и сообщать людям такие вещи. (Но, бог свидетель, они ничего никому не «сообщали!»)

Тем временем дедушка успел снять с себя талес и филактерии и, со своей стороны, тоже стал упрекать внуков в том, что они раньше не зашли к нему. Если бы они были почтительными детьми, то должны были бы прежде с ним повидаться, потихоньку переговорить, тогда он осторожно поговорил бы с бабушкой, понемножку бы ее подготовил, а не так вот, с бухты-барахты. Так поступают дикари!

Этого уж бабушка Гитл не смогла стерпеть, и, как ни тяжел был для нее удар, она набросилась на деда:

— Старый ты дурень! Что ты привязался к бедным детям? В чем они виноваты? Откуда они могли знать, что ты валяешься где-то там на кожихах и молишься. Хороша встреча! Подойдите ко мне, детки! Как вас зовут?

И она по одному подзывала детей к себе, у каждого спрашивала его имя, гладила, целовала, обливаясь горькими слезами; она уже не дочь оплакивала, а маленьких бедняг сирот. Старуха клялась, что почти знала о смерти Хаи-Эстер. Уже несколько ночей дочь являлась ей во сне и все спрашивала о своих детях, понравились ли они бабушке.

— Пусть им дадут чего-нибудь поесть! Мойше-Иося, что ты стоишь как пень! Ты же видишь, старый дурень, что бедные дети устали, проголодались, не спали всю ночь. Горе мне, он им еще нравоучения читает! Хорош дедушка, хороша встреча!



*Дедушкина бухгалтерия. — Его поучения, его книги, его благотворительность. — Что будет, когда придет мессия. — Дедушкин экстаз*

Когда внуки поели и помолились, дедушка первым делом устроил им экзамен.

Происходил экзамен в его уединенном покое, куда ни один сын человеческий не смел войти, не смел и не мог, потому что там не было места.

Это была каморка чуть побольше курятника. В этом курятнике помещался, во-первых, сам дедушка, затем его книги — весь Талмуд и кабалистические сочинения, а кроме того, здесь хранились заклады: серебряные ложки, подносы, кубки и лампы, медные кастрюли, самовары, еврейские капоты, крестьянские мониста, свитки и кожухи, главным образом кожухи, бесконечное количество кожухов.

У бабушки Гитл еще с давних пор было нечто вроде ломбарда. Разбитая параличом, она все же вела дело твердой рукой, держала наличные у себя под подушкой, никого не подпуская к кассе. Но над закладами властвовал дедушка. Его делом было принять и выдать заклад. Для того чтобы запомнить, кому какой заклад принадлежит, нужно было обладать головой министра. Возможно, что дедушка Мойше-Иося и носил на своих плечах голову министра, но полагаться на свою министерскую голову он не хотел. Мало ли что может случиться! И дедушка придумал свою систему: к каждому закладу он пришивал лоскуток бумаги, на которой писал собственной рукой по-древнееврейски: «Сия капота принадлежит Берлу», или: «Сей кожух принадлежит мужику Ивану», или: «Сие монисто принадлежит молодке Явдохе». Если же случалось, что Берл приходил выкупать свою капоту и ему выдавали капоту какого-то другого Берла, то и здесь дедушка не терялся. Он выносил капоты обоих Берлов и предлагал закладчику узнать свою. Не скажет ведь еврей о чужой капоте, что она принадлежит ему. Если же с мужиком происходил подобный случай, дедушка предлагал закладчику указать какую-нибудь приметку. Каждый Иван так хорошо знает свой кожух, что ка-

кую-нибудь отметину он обязательно запомнит. Дедушку не проведешь! Однако, несмотря на все эти ухищрения, между дедушкой и бабушкой все же происходили неприятные объяснения. Бабушка все твердила:

— Я спрашиваю тебя, старый ты дурень, если ты уж взялся за перо и пишешь: «Сия капота принадлежит Берлу», так жалко тебе, что ли, приписать еще одно слово: «Берлу-зайке»? Если ты уж пишешь: «Сей кожух принадлежит Ивану», то пиши уж его имя полностью: «Ивану Злодию», или: «Сие монисто принадлежит Явдохе-курнозой».

Но дедушка Мойше-Иося — да не зачтут ему это на том свете — был страшно упрям. Именно потому, что бабушка говорила так, он делал иначе. До некоторой степени он был прав. Калека, лежит в постели и разрешает себе так командовать мужем, называть его старым дурнем в присутствии внуков. Он ведь не первый встречный, а реб Мойше-Иося Гамарницкий, человек, который день и ночь проводит в служении господу — либо читает священные книги, либо молится. Он соблюдает все положенные посты, кроме того, не вкушает пищи еще по понедельникам и четвергам, а мяса всю неделю в рот не берет, разве только по субботам да по праздникам. В синагогу он приходит раньше всех и уходит позже всех. За трапезу садится, когда все уже спят, — и за это бабушка Гитл сердится на него и ворчит: ладно, о себе она не заботится, она уже привыкла голодать, но ведь детей-сироток нужно пожалеть!

Из всех внуков дедушка полюбил только одного — Шолома. Этот хоть и озорник, сорванец, зато хорошая голова. Из него вышел бы толк, если бы он побольше сидел с дедом в «уединенном покое» среди кожухов, а не бегал бы с богуславскими мальчишками на Рось смотреть, как удят рыбу, не тряс бы в лесу дикую грушу, не озорничал бы.

— Если бы твой отец был человеком, — говорил дедушка Шолому, — если бы он не начитался Библии, грамматики, Моисея из Дессау\* и не набрался всяких вольнодумных штук, то он, по справедливости, должен был бы оставить тебя здесь подольше, и я, с божьей помощью, сделал бы из тебя доброго еврея. Из тебя вышел бы настоящий хасид, прекрасный кабалист, с огоньком. А так что из тебя выйдет? Полней-

шее ничтожество, бездельник, шалопай, щелкопер, свистун, отщепенец, лодырь, злодей, выкрест, нарушитель субботы, черт знает что, еретик, восстающий против бога Израиля!

— Мойше-Иося, не довольно ли мучить ребенка!

«Долгие годы бабушке Гитл!» — думает спасенный из дедушкиных рук Шолом, которого на улице ждут богуславские мальчишки.

Однако были минуты, когда и дедушка Мойше-Иося становился дорог и близок его сердцу. Однажды Шолом увидел, как дедушка сидел с мешочком для талеса под мышкой у бабушки на кровати. Он старался подольститься к ней, тихим голосом выпрашивал побольше денег. Она не хотела давать. Дедушка, оказалось, выпрашивал эти деньги не для себя, а для бедняков хасидов из своей синагоги. Она же повторяла: «Больше не дам! У нас свои сироты, их надо жалеть...»

В другой раз Шолом застал дедушку в его камерке, облаченного в талес и филактерии, с запрокинутой головой, с закрытыми глазами, будто он находился в каком-то ином мире. Когда дедушка очнулся, глаза у него блестели, а уродливое лицо казалось не таким уж уродливым. Божья благодать покоилась на нем... Он говорил сам с собой, улыбаясь в огромные густые усы:

— Эдом недолго будет властвовать. Избавление близко, близко... Поди сюда, дитя мое, присядь, мы поговорим о конце изгнания, о мессии, о том, что будет, когда придет мессия...

И дедушка Мойше-Иося стал рассказывать своему внуку о том, что будет, когда придет мессия, с таким воодушевлением, с таким пылом рисовал он это, в таких ярких красках, что внуку не хотелось уходить; ему невольно пришел на ум первый и лучший его товарищ Шмулик. Различие между ним и дедушкой было только в том, что Шмулик рассказывал о кладах, колдунах, принцах и принцессах, — все о вещах, относившихся к здешнему миру. Дедушка же пренебрегал всем земным. Он переносился целиком, вместе со своим внуком, который с увлечением слушал его, в иной мир — к праведникам, ангелам, херувимам и серафимам, к небесному трону, где восседает царь царей, да будет благословенно имя его... Там были бык-

великан с Левиафаном, и драгоценнейшее масло «апарсмойн», и самое лучшее, заветное вино. Там праведники сидели и изучали тору и наслаждались господней благодатью и «светом рая», тем первозданным светом, которого люди оказались недостойны, и поэтому он был оставлен богом для грядущих времен. И сам всемогущий, благословенно имя его, в славе и силе своей заботился о праведниках, как родной отец. И сверху, с небес, спускался точно на то же место, где стоял когда-то храм, новый храм из чистого золота и драгоценнейших камней — алмазов и брильянтов. Когены благословляли народ, а левиты\* пели, и царь Давид со скрипкой выходил им навстречу: «Радуйтесь, праведные, о госпode!..»

Тут дедушка Мойше-Иося начинал громко петь, прищелкивать пальцами, устремив глаза кверху, а лицо его светилось, и сам он был какой-то нездешний, далекий, из иного мира.

#### 41

#### ЧЕЛОВЕК-ПТИЦА

*Рассказ о былом. — Как евреи жили в старину среди панов. — Трагедия бедного арендатора*

Не следует думать, что мысли дедушки всегда витали в потустороннем мире и что ему нечего было рассказать внукам об этом свете! О! Он мог многое поведать о том, как евреи жили в старину, о прежних хасидах, кабалистах, о прежних панах, о том, как они обходились с евреями.

Одна такая история, рассказанная дедушкой своим внукам, история о том, как один еврей погиб смертью праведника, особенно запомнилась Шолому. Она и будет здесь передана вкратце, так как дедушка Мойше-Иося любил, да простит он меня, рассказывать очень длинно, перескакивая с предмета на предмет, и заезжал бог знает куда.

Случилась эта история давно, еще при жизни дедушки, мир праху его, старого Гамарника. Почему его звали Гамарником? Потому что деревня, в которой он жил и арендовал мельницу, называлась Гамарники. В той же деревне жил еврей по имени Нойах. Он содержал корчму. Был этот Нойах человек простоватый, но

богобоязненный, видно, скрытый праведник; день и ночь молился, читал псалмы. Всеми делами заправляла у него жена. Ему оставалось только платить арендные деньги пану и договариваться об аренде на следующий год. Все дни свои он боялся, как бы кто не отбил у него корчму, потому что охотников оказывалось много, хотя доходы от корчмы были ничтожные. Нойах с женой еле-еле перебивались, ибо детей у них было множество.

Приходит Нойах как-то к пану договариваться об аренде и застаёт у него кучу гостей, пир горой. После пира гости, как водится, собираются на «полеванье», на охоту, значит. Стоят уже оседланные лошади, запряженные кареты, брички, линейки; собаки тут всех пород, егеря с большими перьями на шляпах, с рогами в руках, — словом, по-царски, все кругом готово. «Очевидно, попал не вовремя, — подумал Нойах, — не станет пан сейчас говорить об аренде». Однако он ошибся. Поднявшись из-за стола и собираясь садиться на лошадь, пан вдруг заметил в стороне еврея, согнувшегося, оборванного. И говорит ему пан весело: «Як се маш, пан арендаржий?» (Как поживаешь, пан арендатор?) А Нойах отвечает: «Так и так, ясновельможный пан, пришел я насчет корчмы...» Рассмеялся пан. Это было, «когда сердце царя смягчилось вином», то есть когда пан был уже сильно выпивши. И говорит он еврею: «На сколько лет хочешь ты снять корчму?» Еврей отвечает: «Я бы не прочь снять на несколько лет, но так как обычай твой, ясновельможный пан граф...» Пан не дает ему закончить: «Добже<sup>1</sup>. На сей раз отдаю тебе корчму по той же цене на целых десять лет, но с одним условием: ты должен быть у меня птицей». Еврей посмотрел на него удивленно. «Что значит быть у тебя птицей?» — «Очень просто, — отвечает пан. — Ты должен влезть на крышу этого сарая, видишь? Там ты должен изобразить птицу, а я буду целиться в тебя и постараюсь попасть прямо в лоб. Разжевал?» Среди панов поднялся хохот, и еврей тоже смеется с ними, думает: «Пан шутки шутит, слишком много выпил...» — «Ну, — спрашивает пан, — дело сделано?» И думает Нойах: «Что мне на это ответить?» Спрашивает он пана на всякий случай: «Сколько времени даешь на размышление?» — «Одну минуту», —

---

<sup>1</sup> Хорошо (польск.).

отвечает пан вполне серьезно. «Одну минуту, значит, не больше?» — «Выбор за тобой, — говорит пан. — Либо ты влезешь на крышу и изобразишь птицу, либо завтра же тебя выбросят из корчмы». У Нойаха душа в пятки ушла. Как быть? С паном шутки плохи. Тем более что тот послал уже за лестницей и все это, видно, совсем не в шутку. Но он снова обращается к пану. «А что будет, если ты, не дай бог, и в самом деле попадешь?» Среди панов поднялся еще больший хохот, и Нойах совсем растерялся. Он уже не знает, потешается ли над ним пан, или он это всерьез задумал. Выглядит это как будто всерьез, потому что ему приказывают сию же минуту лезть на крышу или отправляться домой и тут же очистить корчму. Повернулся Нойах, хочет уже домой идти, но, вспомнив про кучу детей, начинает просить пана дать ему хоть несколько минут для предсмертной молитвы. «Добже. Даю тебе одну минуту для исповеди». Одну минуту! Что может сказать еврей в одну минуту, кроме «Слушай, Израиль», тем более что его уже толкают к лестнице! Произнеся «Слушай, Израиль» и «Благословенно имя господне», он начинает взбираться по лестнице, а из глаз у него слезы льются. Что может он сделать? Воля божья... У него столько детей!.. Видно, суждено ему погибнуть во славу господу, а может быть, бог еще сжалится и сотворит чудо. Если всевышний захочет, все ему доступно!.. Нойах глубоко уповал на бога — еврей былых времен!

Взобравшись на крышу, он не перестает тихо молиться и плакать. Он все еще не теряет надежды на бога, может быть, всевышний и сжалится над ним. Если всевышний захочет, то что ему не доступно! А пан торопит. Велит Нойаху выпрямиться — и он выпрямляется. Потом велит ему согнуться — и он сгибается. Велит расставить руки — он расставляет руки. Велит, чтобы он выглядел как птица, — и он выглядит как птица... И пан, — хотел ли он этого и в самом деле, или он только шутил, а всевышний уже сделал так, чтобы вышло всерьез, — пан выстрелил и попал Нойаху в лоб. И Нойах упал, как подстреленная птица, и скатился с крыши на землю. И в тот же день его предали земле по закону Израиля. Но пан свое слово сдержал. Десять лет подряд корчма оставалась за вдовой, как ни навбавляли ему за аренду. Вот каковы были паны в старину.

Таких интересных историй о старине, о панах и еврейх дедушка знал немало. Ребята не отказались бы слушать их без конца, если бы дедушка Мойше-Иося не любил извлекать из каждой истории мораль, что нужно быть благочестивым и всегда уповать на бога. От морали он переходил к нравоучениям и начинал распекать детей за то, что они поддаются соблазнам, не хотят учиться, молиться, служить богу. Им бы только, говорил он, рыбу удить, груши рвать и проказничать с богуславскими ребятами, чтоб им провалиться!..

42

«ГРОЗНЫЕ ДНИ»

*Богуславская река Рось. — Богуславский лес. — Старая молельня. — Бабушка Гитл исполняет с детьми обряд «капорес»\*. — Дедушка благословляет их накануне Судного дня, и глаза его влажны*

Трудно сказать, где было больше поэзии, больше жизни — в лесу, у реки или в старой молельне. Трудно сказать, в каком из этих трех мест было больше соблазна.

На речке веселое оживление: балагулы поят лошадей, водовозы наполняют свои бочки водой. Женщины и девушки, босые, с красными икрами, стирают белье и стучат вальками так, что только брызги летят; мальчишки плещутся в воде, учатся плавать или ловить рыбу. Раздевшись между камней, они, громко визжа, прыгают в воду и кричат: «Смотри, как я плаваю!», «Погляди, как я лежу на спине!», «Видишь, я стою в воде!», «А я ныряю!», «Смотри, я пускаю пузыри!..»

Все галдят, показывают фокусы, каждый чем-нибудь да отличается. Переяславские ребята им страшно завидуют. К Шолому подходит мальчишка, совершенно голый, в чем мать родила; зовут его Авремл; он смугл, как татарин, глаза у него круглые, лицо как доска для разделывания теста, нос фасолью. «Как тебя зовут?» — «Шолом». — «Плавать умеешь?» — «Нет». — «Что ж ты стоишь? Поди сюда, я тебя научу». Понимаете, он берется не учить, а научить. Это совсем другое дело...

Не меньше прелести и в лесу. Богуславский лес изобилует грушами. Правда, груши эти тверды, как

кремень, и кислы, как уксус. Но все же это груши, и платить за них не надо. Можете рвать сколько хотите — никому до этого дела нет! Трудно только дотянуться до них, потому что растут они высоко. Нужно поэтому взобраться на дерево и трясти его изо всех сил, иначе груши не будут падать. Кроме груш, в Богуславском лесу имеются орехи. Заячьи орехи. Они поздно поспевают и покрыты горькой, как желчь, скорлупой. Ядер в этих орехах нет, когда-то еще будут. Но не беда, все-таки это орехи. Можно набрать полные карманы. Приятно, что сам их нарвал. Но трясти груши и собирать орехи надо уметь. Авремл умеет. Это мастер на все руки. Он парень добродушный, с мягким характером. Один только недостаток у него — бедность. Его мать — вдова — кухарка у Ямпольских. О дружбе Шолома с Авремлом узнал дядя Ица и сейчас же донес об этом бабушке. Бабушка подозвала Шолома к постели, дала ему грушу, которую достала из-под подушки, и сказала твердо, чтоб он не смел больше водиться и даже встречаться с *такими* мальчишками, как Авремл, — если дедушка узнает, что его внуки встречаются с *такими* мальчишками, будет бог знает что.

Легко сказать «не встречаться». Ведь с этим Авремлом так или иначе приходилось встречаться не меньше двух раз в день — утром и вечером, при чтении «Кадиш». Авремл тоже сирота. Он читает «Кадиш» по своему отцу в старой синагоге. Сколько там осиротевших! И все стоят у восточной стены! Когда Мойше-Иоса Гамарницкий впервые пришел со своими внуками в старую синагогу, он подвел их прямо к службе и твердо заявил ему, что их место во время поминания должно быть у самого анаоя, так как это дети порядочных родителей... Служка, старик с согбенной спиной и большими трахомой, словно в красной оправе, глазами, почтительно выслушал деда и, не отвечая ни слова, втянул в нос порядочную понюшку табаку, поспешно отряхнул пальцы, затем поднес табакерку дедушке и, постучав ногтем по крышке, без слов предложил ему понюхать. Это должно было означать: «Хорошо, что вы мне сказали. Если это дети порядочных родителей, я буду их беречь как зеницу ока, будьте уверены».

Богуславская синагога обладала такой притягательной силой, что переяславские сироты, как их там называли, привязались к ней, как будто они родились и



выросли в Богуславе. Все в этой синагоге казалось им величественным, прекрасным и священным. На ней лежала печать старинной красоты, древней святости, в ней было нечто от Иерусалимского храма.

Но если переяславские сироты даже в будни видели в богуславской старой синагоге нечто вроде храма, то в «грозные дни» они стала совершенным его подобием. Они никогда еще не видели такого множества молящихся и никогда не видели, чтобы так молились. Здесь были не просто хасиды, но и хабадники\*, которые бог знает что вытворяли во время молитвы — всплескивали руками, прищелкивали пальцами, затягивали странные мелодии, завывали, распевали «бим-бам-бам», заливались, захлебывались в исступлении на несколько минут, а затем снова завывали и щелкали пальцами. Для переяславских ребят такой способ молиться был новостью. Они смотрели на это, как на спектакль. Но любопытней всего то, что их дедушка перещеголял всех молельщиков в старой молельне, хотя был не хабадником, а только хасидом, но со своими особенными повадками, обычаями и своими сумасбродствами. По субботам и по праздникам он обычно оставался в синагоге позже всех. Дядя Ица, который жил в другой половине дома, уже давно сидел за столом. Из печи доносился запах фаршированной рыбы и праздничных яств, так что ныло сердце и сосало под ложечкой, а дедушка все еще молился и пел. Бабушка Гитл уже несколько раз втихомолку подсовывала внукам, детям ее Хай-Эстер, по куску коврижки, чтобы хоть немножко заморить голод, и говорила со смешком:

«Уж будете помнить, что жили среди сумасшедших...»

Дядя Ица меж тем, кончив ужинать, совершил благословение и высунулся из своей половины: «Отца нет еще? Ха-ха-ха!» Мало того что он уже поел, он еще издевается. Но наконец-то бог смилостивился — дедушка явился. Он влетел в комнату с торжественным приветствием, волоча резтевулку\* рукавами по полу. Он начал читать «Кидеш»\* с такими громкими возгласами, которые, наверно, слышны были на соседней улице.

— Ради детей, ради бедных сирот ты мог бы, кажется, оставить свои сумасбродные выходки и вести себя по-человечески, — заметила ему бабушка.

Пустое! Дедушка ее и не слышал. Он все еще был в экстазе, витал где-то далеко, в ином мире. Одной рукой он подносил еду ко рту, а другой перелистывал какую-то старую книгу и, слегка покачиваясь, заглядывал в нее одним глазом, другим же посматривал на внуков и тяжело вздыхал. Вздохи эти относились к сиротам, чьи души погрязли в мирском и, поддаваясь духу зла со всеми его соблазнами, заняты только едой... После ужина он упрекнул их в этом, прочитал длинное нравоучение, так что еда стала у них поперек горла: и фаршированная рыба со свежей халой, и сладкий цимес из пастернака, и все прочие праздничные яства, которые разбитая параличом бабушка только при ее уме смогла приготовить наилучшим образом.

Это в Новый год. А в канун Судного дня было еще интересней. Канун Судного дня у дедушки в Богуславе отличался двумя редкими церемониями, которые произвели на сирот особенно сильное впечатление. Первой церемонией был обряд «капорес» — в ночь перед кануном Судного дня; обряд «капорес» они совершали и дома, но здесь, в Богуславе, все было по-иному. Бабушка Гитл взяла дело в собственные руки. Она сама совершила обряд «капорес» с детьми своей дочери. Подозвав к постели всю ораву, она дала мальчикам по петуху, а девочкам по курице, открыла свой большой молитвенник и указала скрюченными пальцами нужную молитву. Старшие читали молитву сами, а младшие, девочки, повторяли за бабушкой слово в слово, громко, нараспев: «Сыны человеческие, сидящие во тьме и смертной тени, окованные скорбью и железом». Бабушка при этом плакала так, как плачут по покойнику. Когда же черед дошел до самой младшей сиротки, до годовалой девочки, бабушка чуть не лишилась чувств. Глядя на нее, расплакались маленькие, а глядя на них, — и старшие. Комната наполнилась рыданиями. В ту горькую субботу, когда мать их, покрытая черным, лежала на полу, дети не пролили и десятой доли слез, пролитых ими теперь.

Вторая церемония произошла на следующий день, накануне Судного дня, по возвращении из старой модельни, где ребята набили полные карманы пряниками, которыми их одарил главный староста синагоги. Дедушка еще накануне, после обряда «капорес», приказал де-

тям, чтобы они после утренней молитвы пришли к нему для благословения.

Дедушка был удивительно нарядно одет и празднично настроен. Поверх старой, износившейся атласной капоты он напялил кацавейку из какой-то странной, очень жесткой и шумящей материи, которую в наши времена не достать ни за какие деньги. На голове у него была круглая меховая шапка с кистями, а на открытой шее — широкий белоснежный воротник с острыми концами. Капота была подпоясана широким кушаком с длинной бахромой и помпонами. Ужасающе огромные усы и густые брови выглядели на сей раз не так строго, и все лицо дедушки казалось теперь мягче, приветливей, всепрощающим.

— Подойдите ко мне, дети, я благословлю вас! — Так торжественно пригласил он ребят в свою тесную каморку с кожухами. Здесь он возложил на каждого руки в широких атласных рукавах и, закрыв глаза, запрокинув голову, тихо что-то шептал, кряхтя и вздыхая. Когда он кончил, сироты посмотрели ему в лицо и увидели, что глаза его покраснели и блестят, а ресницы, усы и борода мокры, мокры от слез.

## 43

### ПРАЗДНИК КУЩЕЙ

*Общий шалаш. — Дедушка молится, дети хотят есть. —  
В праздник торы дедушка веселится вместе с богом*

Первый колышек дедушкиного шалаша был вбит к концу Судного дня сразу после трапезы. Строил шалаш дядя Ица, а сироты ему помогали. Но распоряжался всем дедушка, он давал указания, как главный архитектор: «Это вот сюда, а это туда! Это войдет, а это не войдет!» Любопытнее всего то, что дедушка и дядя Ица не разговаривали между собой. Они были в ссоре. Бабушку это очень огорчало — единственный сын, единственный, кто будет читать «Кадиш» по ней, да не случится это раньше, чем через сто двадцать лет, и не разговаривает с отцом!

В шалаше были накрыты два стола, отдельно для дедушки и отдельно для дяди. На каждом столе было отдельно приготовлено вино для освящения трапезы,

хала и подсвечники со свечами. Тетя Сося совершала благословение над свечами у своего стола, бабушку Гитл вынесли вместе с постелью, чтобы она могла совершить благословение у своего стола. Потом из модельни вернулся дядя Ица и стал ждать, пока дедушка удосужится наконец прийти и первым освятить трапезу. Нельзя же быть столь невежливым по отношению к родителю: «Чти отца своего!» Каждую минуту дядя Ица выбегал из дому и заглядывал в шалаш, и всякий раз с другим замечанием: «Его нет еще?», «Что-то в этом году у хасидов затянулось дольше, чем всегда», «Скоро и свечи догорят, придется лечь впотьмах». Ребята злорадствовали, глядя на дядю Ицу, — бездушный, черствый человек, пусть и он почувствует, каково быть голодным!

Но вот наконец явился и дедушка в своей кацавейке. Поздравив домочадцев с праздником, он достал молитвенник реб Якова Эмдена\*, маленький, но толстый и увесистый, уселся и стал читать молитву за молитвой. А из кухни, как назло, доносился вкуснейший запах рыбы с наперченным фаршем, свежие поджаристые халы как будто дразнили: «Если вы обмакнете нас в горячий рыбный соус, то почувствуете настоящее райское блаженство...» Но дедушка как ни в чем не бывало продолжал свое — он читал молитвы. Свечи в шалаше уже гасли — а он все читал; дети проголодались чуть не до потери сознания, и спать им хотелось — а он все читал. Вдруг дедушка очнулся, подбежал к столу и отбарабанил наскоро праздничный «Кидеш», отчего все сразу повеселели. Вслед за ним пробормотал «Кидеш» и дядя Ица у своего стола. Затем все мальчики проделали то же самое поодиночке, а бабушка в это время, по обыкновению, пустила слезу. Короче говоря, прошло еще немало времени, пока наконец удалось обмакнуть кусочек халы в мед, попробовать рыбу и ощутить острый вкус перца на кончике языка.

Так было в первые дни кушей, а в остальные дни праздника стало еще хуже. Наконец в ночь на праздник торы дядя Ица не стерпел и, зазвав переяславских ребят на свою половину, сказал им:

— Дети, хотите увидеть кое-что любопытное? В таком случае сходите в синагогу...

Долго ребят упрасивать не пришлось. Они взялись

за руки и пошли. На улице была тьма крошечная. Все уже давно сидели дома и ужинали, синагоги были закрыты и погружены во мрак. Только в старой молельне светило оконце. Дети тихонько приоткрыли дверь и, заглянув внутрь, увидели такое, что глазам своим не поверили. Во всей синагоге был только один человек — дедушка Мойше-Июся. Облаченный в талес, держа в одной руке молитвенник Якова Эмдена, а другой прижимая к груди свиток торы, он медленными шажками обходил возвышение посреди молельни, громко распевая, словно кантор: «Покровитель бедных да поможет нам!..»

Ребят охватил страх, и в то же время они не могли удержаться от смеха. Они схватились за руки и помчались во весь дух домой.

— Ну что, видели? Правда, интересно? — встретил их дядя Ица. Он смеялся до слез. И у детей появилась неприязнь не к дедушке, а к дяде Ице.

Зато на следующий день, в праздник торы, декорация резко изменилась. Дедушка был неузнаваем. Дети помнили еще по Воронке веселье, которое наступало в этот праздник. Все в местечке были пьяны, как библейский Лот \*. Все, начиная с раввина и кончая приставом, — да простится мне упоминание их рядом, — все пили водку, плясали и выкидывали такие коленца, что можно было лопнуть со смеху.

И в полухристианском Переяславе в праздник торы было очень весело. Даже дядя Пиня, сильно опьянев, плясал казачка. Забавно было смотреть, как хасид в длинном талескотне отплясывает казачка. О Доде Каганове и говорить нечего. Изрядно выпив, он ругательски ругал всех добрых друзей и всячески обзывал их, все это якобы добродушно, лобызаясь с ними. Люди врываются в чужие дома, поздравляли хозяев с праздником, вытаскивали из печи все, что там находилось, извлекали из погреба соленья, и водка лилась, как вода. Но это было ничто в сравнении с тем, что переяславские ребята увидели здесь, в еврейском городе Богуславе. Дома, улицы, булыжники мостовой — все пело, било в ладоши, плясало и радовалось. Не только взрослые, даже мальчишки пили так, что с ног валились. Уж на что дядя Ица молчаливый, угрюмый человек, и тот был навеселе; заложив пейсы за уши, приподняв полы капоты, он

прошелся «немцем». Но все это ничто в сравнении с тем, что выделявал дедушка. Выпил он всего-навсего рюмку водки и полстаканчика вина, но пьян был так, как не могли быть пьяны восемьдесят пьяниц, вместе взятых, и откалывал такое, что весь город о нем заговорил.

— Что вы скажете о Мойше-Иосе Гамарницком?

— Подите поглядите, что вытворает Мойше-Иося Гамарницкий!..

А Мойше-Иося Гамарницкий ничего особенного не делал, он только ходил по улицам и плясал. И как плясал! Подпрыгивал и притопывал, хлопал в ладоши и пел. И плясал он не один, а вдвоем с самим господом богом, святым и благословенным... Он протягивал вперед руку с платочком, держа его за один уголок, другой край должен был держать господь бог, — и кружился при этом, как кружатся с невестой, выделявая всевозможные па: вперед и назад, вправо и влево, и так без конца, с запрокинутой головой, с закрытыми глазами, со счастливой улыбкой на лице. Он прищелкивал пальцами, притопывал и пел все громче и громче:

Монсей ликует в праздник торы —  
Ламтедридом, гай-да!  
Ликуйте и радуйтесь в праздник торы —  
Ламтедридом, дом-дом-дом!  
Гайда, дри-да-да!  
Святая тора, га!

С каждой минутой толпа вокруг него становилась все больше и круг все тесней. Сколько мальчишек было в городе, все высыпали на улицу «почтить» Мойше-Иосю Гамарницкого, посмотреть, как он пляшет и кружится, поет и хлопает в ладоши. Мальчишки-озорники кричали «ура», подпевали ему, а лица его переяславских внуков пылали от стыда. Но дедушка хоть бы взглянул на кого! Он делал свое — танцевал со своей возлюбленной фрей-лехс\*. За один конец платка держится он, за другой конец — сам создатель, «благословенно имя его». Улыбаясь и прищелкивая пальцами, дедушка топает ногами и поет все громче и громче:

Монсей ликует в праздник торы —  
Ламтедридом, гай-да!  
Ликуйте и радуйтесь в праздник торы —  
Ламтедридом, дом-дом-дом!  
Гайда, дри-да-да!  
Святая тора, га!

КОНЕЦ ПРАЗДНИКУ — ПОРА ДОМОЙ

*Интриги и сплетни в семье. — Дети становятся лишними в Богуславе. — Их тянет домой*

Наутро после праздника, когда стали разбирать шалаш, на детей повеяло буднями, им стало тяжело на душе, тоскливо и грустно. Бессердечный человек, дядя Ица, первым делом разворотил стены, сорвал камышовую крышу, затем без капли сожаления разобрал доски и с особенной яростью стал вытаскивать из них гвозди (чем провинились перед ним гвозди?). Он оставил только четыре столба, что было хуже всего, потому что эти четыре торчащих столба свидетельствовали о разрушении, горестно жаловались: «Смотрите, что случилось с еврейской кущей». Люди, которые еще вчера были пьяны, как библейский Лот, плясали, били в ладоши и дурачились, словно дети, сразу отрезвели, стали чинными и чуть не стыдились смотреть друг другу в глаза. Странная печаль охватила город, мрачная тоска надвинулась на Богуслав. Но больше всех грустили переяславские сироты. Пока их считали гостями, они чувствовали себя неплохо в Богуславе, но чем дальше, тем больше дети убеждались, что они здесь лишние. Дедушка сидел в своем уединении на кожухах, в талесе и филактериях. Он либо молился, либо читал священные книги, либо напевал что-то, прищелкивая пальцами, либо вздыхал и тихо беседовал с богом. Часто он рассказывал детям занимательные истории о былом или упрекал их, что они не набожны, не хотят служить богу, тем самым удлиняя срок изгнания еврейского народа, из-за них не приходит мессия, из-за них бедные души страдают в аду, не могут очиститься от грехов... Такие речи дети уже слышали много раз в хедере от учителя, дома от бабушки Минды и от всяких других людей, которые любят поучать и пугать детей адом. Все это им давно уже надоело. Гораздо интереснее было следить за политикой, которая разыгрывалась здесь, в доме дедушки Мойше-Иоси и бабушки Гитл.

Денно и ночью в этом доме плелись интриги, вечно здесь шушукались, сплетничали. Дядя Ица и тетя Сося беспрестанно жаловались на бабушку, у которой с таким трудом удается вытянуть копейку из-под подушки,

и на дедушку, который слишком уж набожен и слабеет умом... «Он уже очень стар!» — говорили они, усмехаясь и поджимая губы. А бабушка жаловалась на невестку и на единственного сына, которые не оказывают должного уважения матери и ждут не дождутся — ей это хорошо известно, — когда она закроет глаза. На наследство, на наследство зарятся! Назло им она будет жить и жить, хоть смерть ей в тысячу раз желанней, ибо к чему ей, калеке, жизнь после того, как она похоронила такую дочь, как Хая-Эстер, мать стольких детей, о, горе! Своими вывороченными локтями она выдавливала слезу из больных глаз, подзывала детей и, пошарив под подушкой, давала каждому из них по несколько грошей. Этому бывала свидетелем маленькая Хава-Либа, с красными щечками и крошечным ротиком, и тут же доносила об этом тете Сосе. А тетя Сося сейчас же передавала это дяде Ице. И оба начинали шептаться о том, что для собственных детей и копейки жалко, а чужим детям раздаривают целые состояния. Сироты слышали это, и сами не рады были подаренным грошам. Им становилось тошно.

И чем дальше, тем хуже. Дети чувствовали, что они здесь лишние, видели, что им смотрят в рот, когда они едят, слышали, как за их спиной говорят об их «аппетитах». И кусок застревал у них в горле. Все им делалось противно. Они ждали письма от отца, как пришествия мессии. Когда наконец они поедут домой?!

Бог сжалился над ними, и долгожданное письмо пришло с переяславским извозчиком. В письме была приписка, чтобы с тем же извозчиком — зовут его Нойах — дети тотчас же ехали домой. Извозчик этот был действительно извозчиком, с повозкой, с лошадьми, все как полагается, и звали его действительно Нойах, хотя сам он величал себя реб Нойах. У Нойаха были, однако, свои недостатки — хриплый голос и лысина. Но это еще полбеды. Охрип он, видите ли, в праздник торы. В праздник он выпил водки, то есть водку он пьет всегда, но ради праздника заложил как следует, кажется, пришлось его даже приводить в чувство... А плешь у него потому, что в детстве он не давал мыть и чесать голову. Он был упрямец. Его насильно чесали и вырывали волосы по одному. Но все это, повторяю, к поездке никакого отношения не имеет. Дело испортило совсем другое.



Хоть Нойах и был послан из Переяслава в Богуслав специально затем, чтобы увезти отсюда детей Нохума Рабиновича, он все же не мог устоять против соблазна подыскать еще одного-двух пассажиров на обратный путь. Вот была бы удача! И он слонялся со своим кнутом по базару и день, и два, и три. Лошадки хрупали овес, а пассажиры всё не появлялись. Для детей это ожидание было страшно тягостным, но вдруг им сообщили радостную весть — они едут. Доказательство налицо: Нойах уже выкатил повозку и смазывает колеса. «Теперь пусть все цари востока и запада явятся сюда — пропало! Пусть насыпят полную повозку золота, я ни на один день, ни на один час не останусь больше в Богуславе — сгореть бы, провалиться бы такому городу! Вы еще не знаете реб Нойаха!» Дети влетают в дом, собираются в дорогу. Они прощаются с богуславскими товарищами, со старой синагогой, с желтой молельней, с Росью, с дедушкой и бабушкой. Дедушка тем временем читает им, разумеется, нотации и велит быть честными евреями, а бабушка вытирает глаза своими скрюченными руками. Только дядя Ица и тетя Сося провожают их холодным «прощайте». Эта парочка была очень довольна, что «чужие дети» уезжают, но радость их омрачалась тем, что не все они уезжают, а только мальчики. Две девочки остаются в Богуславе. По какой причине? Очень просто: бабушка заявила, что не отпустит их. Она не хочет, чтобы дети ее дочери попали к мачехе.

Дядя Ица с улыбочкой поглаживает пейсы и говорит, поглядывая на подушки, где лежит бабушкино состояние:

— Ну, а если *мальчики* попадут к мачехе, — это ничего? Хе-хе-хе!..

— Что ты равняешь девочек с мальчиками? Что мальчику мачеха! Он уйдет на целый день в хедер, и все тут, а девочка остается дома и нянчит мачехиных детей.

Дядя Ица, однако, не удовлетворен ответом. Он гладит пейсы, смотрит на подушки и, усмехаясь, тонко замечает:

— А что было бы, скажем, если бы все дети были девочками? Хе-хе!..

— Тогда бы я всех девочек оставила у себя, — отвечает бабушка.

Дядя Ица продолжает разговор уже без улыбочки, но все так же тонко:

— А где бы вы взяли денег на содержание стольких девочек? (Теперь уже без «хе-хе».)

— Господь помог бы! — отвечает спокойно бабушка. — Помог же он выкормить такое сокровище, как ты, что только и ждет наследства, боится, что ему не хватит...

— Ица! — зовет из своей половины тетя Сося. — Ица, поди-ка сюда, я тебе кое-что скажу!

Дети в восторге от бабушки, которая так искусно отделала дядю Ицу, и в то же время они счастливы, что наконец уезжают домой.

Их, правда, немного покорило слово «мачеха», впервые услышанное здесь. У них, значит, будет мачеха! Что это такое — «мачеха»? И чем же мачеха плоха, почему бабушка уже заранее жалеет их? Любопытно, право же, поглядеть на мачеху! Скорее бы домой добраться!

Домой! Домой! Домой!

#### 45

#### ЛЕКСИКОН МАЧЕХИ

*Мачеха. — Проклятие по алфавиту. — Первое произведение — лексикон проклятий*

И что это люди все твердят — мачеха да мачеха? Дети столько наслушались про мачеху, что им могло показаться, будто мачеха и в самом деле рогатая. На каждом шагу их пугали мачехой: «Погодите, озорники этакие, вот поедит отец по свету да привезет вам мачеху, тогда узнаете, почем фунт лиха!» Чего больше — когда солнце плохо греет, говорят: солнце греет, как мачеха... Очевидно, здесь что-то есть, ведь не спятили же все с ума!

Как-то отец внезапно исчез. Прошла неделя, другая, третья. Куда девался отец? Все помалкивают. Взрослые говорят между собой втихомолку, чтоб не слышали дети, и большей частью намеками. Но однажды в хедере учитель случайно проговорился. Он спросил у детей: «Не приехал еще отец из Бердичева?»

К этому дипломатично поставленному вопросу жена

учителя добавила не менее дипломатичное замечание: «А ты думаешь, так-то легко вдовцу найти мачеху для своих детей?» И так, мы уже знаем, что отец в Бердичеве и что он ищет мачеху для своих детей. Зачем же, спрашивается, это скрывать? Что за тайна! И вот еще: когда отец должен был вернуться со своим «приобретением» из Бердичева, он предварительно прислал «эстафету» с известием, что бог послал ему ровню — это находка во всех отношениях как по происхождению, так и по состоянию, — и что он вскоре, бог даст, приедет со своей находкой. Он просит не говорить ей на первых порах, сколько у него детей, — зачем ей знать об этом раньше, времени? Позже она сама узнает. Не обо всех ведь ей придется заботиться: старшие уже большие, а девочки — у бабушки. Он, упаси бог, не отказывается от них, дети — это дети. Но при таких печальных обстоятельствах гораздо полезней будет скрыть на некоторое время нескольких детей. «Новостей больше нет. Желаю благополучия и долгих лет. Да поможет нам бог скорее увидиться в добром здоровье. От меня...» и т. д.

Это письмо произвело бы хорошее впечатление, если бы не уловка насчет детей. Именно детей она больше всего поразила. Правда, они не сомневались в том, что отец их любит, что каждый из них по-своему ему дорог, но то, что они вдруг превратились в какую-то контрабанду, слегка задело их и вызвало неприятные мысли и чувства. Однако переживания эти длились недолго, так как вскоре кто-то пришел в хедер и сообщил им новость:

«Отец приехал и привез из Бердичева мачеху». — «Поздравляю! — вставила жена меламеда. — Желаю вам в будущем приносить более радостные вести!» Меламед отпустил детей раньше времени.

Дома дети застали всю родню — дядю Пиню с сыновьями, тетю Хану с дочерьми. Гости сидели вокруг стола, пили чай, делали вид, что закусывают пряниками и вареньем, курили и перекидывались незначительными фразами, между которыми не было никакой связи, так как сидящие не слушали друг друга. Каждый был погружен в свои мысли, и все вместе разглядывали мачеху, оценивали «находку», которую отец привез из Бердичева, и, кажется, были довольны. Женщина эта своим видом внушала уважение, казалась неглупой, а

главное — приветливой, ласковой, с добрым сердцем. Так из-за чего же было столько шума и зачем все пугали детей мачехой!

Только позже, спустя неделю, она показала себя во всей силе своего бурного темперамента, во всем великолепии своего языка, языка бердичевской мачехи, с ее безостановочной, богатой, цветистой речью. К каждому слову мачеха прибавляла проклятие, часто в рифму, притом вполне добродушно. Например, к слову «есть» — ели б тебя черви! Пить — выпили бы тебя пиявки! Кричать — кричать тебе от зубов! Шить — сшить бы вам саван! Пойти — пошел бы ты в преисподню! Стоять — стоять тебе столбом! Сидеть — сидеть бы вам в ранах и болячках! Лежать — лежать бы вам в земле! Говорить — говорить бы вам в бреду! Молчать — замолчать бы вам навеки! Сказать — сказать бы о тебе все худшее! Иметь — иметь бы тебе все язвы! Не иметь — не иметь тебе в жизни добра! Носить — носил бы тебя черт на плечах! Вносить — вносить бы тебя больного! Выносить — выносить бы тебя мертвого! Уносить — унесли б тебя на кладбище! Или взять, к примеру, такое невинное слово, как «писать». Так вот вам — чтоб тебе рецепты писали! Записать — чтоб тебя в мертвецы записали! Вписать — сумасшедшего выписать — тебя вписать! Когда она бывала в ударе, слова, которые попадали ей на язык, вертелись, вились и текли, как масло, — без остановки, одним дыханием: «Чтоб тебя схватило, творец небесный, чтоб тебе и болячки, и колики, и ломота, и сухота, и чесотка, чтоб тебя кусало, и чесало, и трясло, и растрясло, и вытрясло, и перетрясло, боже милостливый, отец небесный, святой и милосердный!»

Герой этой биографии должен признаться, что немалое количество проклятий и острых словечек в своих произведениях он позаимствовал из лексикона мачехи. Но еще в юные годы, когда он и понятия не имел, что значит сочинять, и ему даже не снилось, что когда-либо он станет писателем, ему вздумалось шутки ради записать все ругательства, которых он наслышался от мачехи, собрать их воедино и составить нечто вроде словаря. Он не поленился и стал собирать эти слова, а когда их собралось немалое количество, рассортировал их по алфавиту; попотев две ночи подряд, Шолом составил довольно любопытный словарь, который он здесь восстанавливает по памяти. Вот он:

А. — Аман, Асмодей.

Б. — Банда, банная шайка, банщик, бездельник, богадельня, болван, босяк, бревно.

В. — Веник, вероотступник, вонючка, вор, врун, выкрест, въедливая тварь.

Г. — Глотатель картошки, глупая морда, голодранец, грязное животное, гультай, гусак в ермолке, гундосый.

Д. — Девка, деркач, дикарь, доносчик, дурень, дылда, дьявол.

Ж. — Жадюга, жулик.

З. — Зазнайка, заика, затяжная болезнь, злодей, злосчастье, змея.

И. — Идиот, идол, изверг, извозчик.

К. — Калека, каскетка, карманник, картежник, каторжник, кислица, кишка бездонная, клоп, красавчик, крещеная голова, кусок сала.

Л. — Лабазник, лакомка, лгун, лежебока, лентяй, лепешка, лоботряс, лодырь, лошадиная морда.

М. — Медвежий поводырь, меламед, мешок половы, морской кот, мудрец во полуночи, мясо для сиденья.

Н. — Надутый пузырь, нахал, негодяй, несчастье, неудачник, никудышный, ничтожество, нищий, нудник.

О. — Обжора, обезьяна, обманщик, объедало, осел, отъявленный дурак, отщепенец.

П. — Паршивец, паскудник, пипернотер, пискун, побирושка, подхалим, попрошайка, портач, приبلудный пес, припадочный, приставала, притворщик, пролаза, проповедник, пугало, пупок, пустоголовый, пятно.

Р. — Разбойник, редька, рыжий.

С. — Сапожник, свинья, свистун, сволочь, скрытый праведник, слепая курица, собака из собак, собачник, сопляк, сорванец, сплетник, стрелок по фонарям, сын дятла, святоша.

Т. — Торба, тrefная кишка, трубочист, тряпье, турецкий перец.

У. — Упрямец, урод.

Ф. — Фальшивый человек, фляскодрига.

Х. — Холера, хромой портняжка.

Ц. — Царская морда.

Ч. — Червивый, черей пробитый, чесотка, чешуя.

Ш. — Шарлатан, шепелявый, шлепанец, шляхтич.

Это было, можно сказать, первое произведение, которое сочинил будущий Шолом-Алейхем, и назвал он его «Лексикон мачехи», С этим произведением получилась

история, которая могла бы кончиться весьма печально.

Так как слова в лексиконе должны были быть расположены строго по алфавиту, то автору пришлось немало попотеть, несколько раз переписать его. Отец, видно, заметил, что парнишка над чем-то усиленно трудится. Как-то ночью отец подошел к нему, заглянул через плечо и затем, взяв рукопись, перечитал ее всю, от первой до последней буквы; мало того, он еще показал ее мачехе. И произошло чудо. Трудно сказать, случилось ли это в хорошую минуту, когда мачеха была в добром расположении духа, или ей неловко было сердиться, но на нее неожиданно напал безудержный смех. Она так хохотала, так визжала, что казалось, будто с ней вот-вот случится удар. Больше всего ей понравились слова «пупок» и «каскаетка». «Пупком» у нее назывался не кто иной, как герой этого жизнеописания, а «каскаеткой» она обозвала одного из старших ребят по случаю того, что он надел новую фуражку.

Кто же мог предвидеть этот смех? Разумеется, составитель лексикона в душе поблагодарил бога-избавителя за то, что все разрешилось так благополучно.

#### 46

#### НА ЛАВОЧКЕ У ВОРОТ

*Заезжий дом. — Зазывание постояльцев. — Снова мечты о кладе*

Знаете ли вы, что такое «заезжий дом»? Заезжий дом это не постоялый двор и не гостиница, а нечто среднее между ними или то и другое вместе. Постоялый двор или тот род гостиницы, который содержал Нохум Рабинович в Переяславе и который служил для него источником существования, был заезжим домом в самом точном смысле этого слова. Обширный двор с огромными сараями для лошадей и телег, а в самом доме — большущие комнаты с кроватями для приезжих. В комнатах большей частью стояло по несколько кроватей, и постоялец обычно снимал не комнату, а койку. Разве что заедет какая-нибудь важная персона, какой-нибудь расфуфыренный богач. Такие, впрочем, заезжали редко, и именовались они «жирными»

гостями. Большинство же постояльцев были «коечники». Эти не требовали отдельных самоваров и особого обслуживания. В зал вносили огромный самовар; каждый из постояльцев имел свой чайник и свою щепотку чая — наливайте себе, сыны Израиля, и пейте, сколько душе угодно! Приятно было видеть, как по утрам и вечерам целая куча людей сидит за столом в заезжем доме Рабиновича, пьет чай и разговаривает — галдят все разом и курят так, что дым стоит, хоть ножом режь. А говорят они обо всем на свете. Один говорит о ярмарке — это ярмарочный торговец. Другой — о пшенице, — это перекупщик хлеба. Третий говорит о врачах — это человек больной, он кашляет. Вдруг кто-то заводит разговор о канторах — это любитель пения. Еще один забрался в уголок и, раскачиваясь, молится вслух бабьим голоском. Сам же хозяин, реб Нохум Рабинович, человек, как нам уже известно, слабого здоровья, в подбитом кошачьим мехом халате, с круглой ермолкой на голове и с толстой папиросой в зубах, сидит среди гостей во главе стола и слушает всех сразу, но только одним ухом, ибо другим ухом невольно прислушивается к словоизвержению мачехи, которая натошак сводит счета со своими пасынками, щедро наделяя каждого «благословениями» и угощая одного кулаком в бок, другого — подзатыльником, третьего — тычет ногой прямо в живот. Она требует, чтоб один качал ее ребенка, второй пошел с ней на рынок и помог нести корзинку, а третий — убрался бы просто к черту... И дети повинуются, делают все, что им велят, потому что времена плохие, доходы падают. В хедер мальчишки ходят только на полдня, а вторую половину дня помогают отцу, чем могут, — кто занят по дому, кто, сидя на лавочке у ворот, заывает проезжих извозчиков: «Сюда заезжайте, сюда!»

Конечно, на лавочке у ворот куда приятней, чем в доме, в этом аду с мачехой, тягостной, как изгнание. Сидеть на лавочке у ворот даже и не работа. Это скорее забава, удовольствие, особенно летом, когда извозчики мчатся с гиком, свистом, щелкая кнутами. Они едут с пристани с пассажирами, стараясь обогнать друг друга, и поднимают такую пыль, что пассажиров в повозках даже не разглядишь в лицо. Но то, что они везут пассажиров, хорошо видно. Вот почему все мальчишки и слуги из заезжих домов с веселым криком бросают навстречу извозчику: «Сюда, дядя! Сюда

заезжайте!» А извозчик, щелкнув кнутом, мчится мимо и исчезает в густой пыли, оставляя с носом мальчишек и зазывал.

Но так бывает только летом, во время навигации на Днестре. Зимой, когда Днестр замерзает, заезжий дом живет иного рода постояльцами. Зимой в город въезжают большие бухты — крытые сани, груженные товаром, упакованным в рогожи, от которых несет таранью. Этим гостям не требуется ни кровать, ни субботняя трапеза. Они располагаются все вместе на полу или во дворе, около своих лошадей; требуют они только овес и сено. От таких постояльцев мало радости, а прибыли еще меньше. Да и сиденье у ворот на морозе не так уж сладко. Герой этих описаний прекрасно помнит то время, когда он сидел на лавочке у ворот. Летом в самую жару он пекся на солнце, а зимой, в стужу, мерз, как собака, кутаясь в рваный кожушок; сапоги его давно просились к сапожнику; постукивая ногой об ногу, он со своего поста все высматривал, не покажется ли извозчик или бухта с пассажирами, чтобы побежать им навстречу с криком: «Сюда, сюда заезжайте, сюда!» Но извозчики, как назло, пролетали мимо и останавливались как раз напротив, у более богатого заезжего дома Рувима Ясноградского. У него, говорят, хорошо обставленные большие комнаты, с мягкой мебелью, с зеркалами и всякими другими штуками, чего нет у Рабиновича. Поэтому там всегда полно «жирных» гостей, а у них, у Рабиновичей, пусто, хоть собак гоняй. И это вызывает у Шолома большую досаду. На кого? На бога. Почему бог не сделал так, чтобы он родился в доме Рувима Ясноградского, а не Нохума Рабиновича?

Имя Рувима Ясноградского кажется ему символом счастья и всяческого благополучия. Обилие «жирных» гостей становится для него идеалом, новым «кладом», о котором он мечтает теперь точно так же, как мечтал когда-то во времена Шмулика. И представляется Шолому, что в каждой повозке, проезжающей мимо, — богатые пассажиры, «жирные» гости в медвежьих шубах. И не успевает еще Шолом крикнуть «сюда», как извозчик уже сам останавливает лошадок: «Тпру!» Из повозки один за другим вылезают богатые пассажиры в медвежьих шубах. За ними следуют чемоданы из желтой кожи, набитые всяким добром, — каждый чемодан весит не меньше пуда. И все они проходят в комнаты,



и велят отвести каждому отдельный номер, и просят подать им самовары, и заказывают обеды и ужины. К ним выходит улыбающийся отец в ермолке, приветствует их и спрашивает, собираются ли они оставаться на субботу. Усмехаясь, они говорят: «Почему, собственно, на одну субботу? Почему не на целых три субботы?» Выясняется, что это купцы, приехавшие покупать пшеницу. А при покупке пшеницы отцу удается перехватить кой-какие комиссионные. Почему ему в самом деле не воспользоваться случаем? Тут приходит и мачеха в накинутом на плечи субботнем шелковом платке. Лицо ее пылает от восторга. Поглядывая на «жирных» гостей, она тихонько спрашивает: «Кто их привел сюда?» — «Это я их привел, я!» — отвечает с гордостью Шолом, довольный своим успехом, счастливый тем, что и у них будет радостный день, хоть один радостный день, хоть одна приятная суббота. Ах, какая веселая у них будет суббота! И почему, собственно, только одна суббота, почему не все три!

Все это было бы прекрасно, если бы не было мечтой, фантазией. «Жирные» гости в медвежьих шубах, с желтыми чемоданами и в самом деле приехали, и в самом деле остановились, но не у них в заезжем доме, а как раз напротив — у Рувима Ясноградского. «Ах, какие скверные люди! Трудно им было, что ли, к нам заехать!» — думает вечный фантазер Шолом и, промерзший насквозь, входит в дом. А дома согнувшийся над книгой отец в кошачьем халате и мачеха, злая, пылающая, будто в оспе.

— Никого нет? Что же делать с хлебом, который я напекла, и с рыбой, которую я наварила, — хоть собакам выбрасывай! Не думаете ли вы, что все это достанется вам? — обращается она к пасынкам. — Черт вас не возьмет, если вы и черствого хлеба поедите. Не думаете ли вы, что он у вас станет поперек горла или ваш желудок, не дай бог, его не переварит! Скажите, какие неженки! Целая орава, не слгазить бы, и все благородно воспитаны! Не могли их оставить, как девчонок, в Богуславе у дедушки и у бабушки! Пусть бы лучше там подышали, чем брать их сюда, черт бы вас всех побрал! Чтобы они тут есть помогали, ели бы вас черти, точили бы они вас живьем, чтоб с вас мясо кусками падало, как с меня оно падает, когда зима приходит, чтоб вас трясло, и растрясло, и вытрясло...

И потекло знакомое нам красноречие. Мечтатель Шолом забывает, что он прозяб, и выбегает снова на холод, снова на лавочку у ворот. Там лучше. Там можно, по крайней мере, сидеть спокойно и мечтать о том, что придут, бог даст, «жирные» гости в медвежьих шубах, с чемоданами из желтой кожи и остановятся у них, а не у Рувима Ясноградского. Если бог захочет, он все может!

47

«КОЛЛЕКТОР»

*Саксонские и брауншвейгские лотерейные билеты. — Большие надежды и ничтожные выигрыши. — Герой пишет роман на манер «Сионской любви» Ману*

Удивления достойно, каким крепким человеком был этот слабый здоровьем, тихий и задумчивый Нохум Рабинович, если он мог переносить тяжелый характер мачехи, выслушивать ее бесконечное словоизвержение, видеть, как она изводит его детей, и не проронить ни слова. Никому не известно, что переживал этот человек в душе, он никак этого не выказывал, никому об этом не говорил. И может быть, именно поэтому жена относилась к нему с уважением, щадила его, обходясь с ним не так грубо, как с его детьми, и ценила его, насколько это возможно было для женщины, которая сама не видела радости, жестоко маялась, работая как вол на такую огромную семью, на целую ораву детей своих и чужих.

Возможно, особое отношение к отцу было вызвано и тем уважением, которым, как ей приходилось наблюдать, ее муж пользовался в городе, хотя все знали, что он далеко не богат, еле зарабатывает на хлеб. Была она, как мы уже говорили, женщиной неглупой, но обозленной, несдержанной в гневе, она отличалась непосредственностью — что на уме, то и на языке. Точно так же, как отец никогда не мешал ее словоизлиянию, так и она не мешала ему в его делах — читать книги, играть в шахматы и вести беседы. А беседовал отец с людьми исключительно просвещенными, начитанными, можно сказать — сливками тогдашней переяславской интеллигенции. Это была целая группа ревнителей просвещения, которые заслуживают, чтобы их перечислили

поименно и изобразили каждого в отдельности с его манерами и характером.

Первым должен быть описан «Коллектор» — рыхлый человек, но зато умница и, по мнению многих, не без вольнодумства, хоть и носил он длинную капоту и густые пейсы. Нохум Рабинович отзывался о нем как о человеке «глубоком и знающем». Они могли сидеть целыми днями вдвоем и беседовать, беседовать без конца. Откуда бралось у них столько тем для разговоров? Коллектор приходил с книгой, иногда брал книгу у отца. Мачеха прозвала его «колтун» за то, что у него была всклокоченная борода, но в городе его называли Коллектор. Он торговал выигрышными билетами, саксонскими и брауншвейгскими. Носил темные очки (у него были больные глаза), зимой и летом ходил в глубоких калошах; сапог не носил — только белые чулки и калоши. Это был большой бедняк и невероятный оптимист. Он не сомневался, что кто-либо из его клиентов рано или поздно выиграет главный выигрыш, тогда и он в накладе не останется. А выиграет, говорил он, не кто иной, как Нохум Рабинович. Он в этом убежден, потому что никто так не нуждается в крупном выигрыше, как реб Нохум Рабинович... Возможно, что то же самое Коллектор предсказывал и другим своим клиентам. А у него их было много, — почти весь город имел выигрышные билеты. Нохум Рабинович верил в него, как в чудотворца, и вместе с ним надеялся на главный выигрыш, как на пришествие мессии. Он вздыхал, все ожидая, что вот-вот придет Коллектор с радостной вестью: «Поздравляю, реб Нохум! Вы выиграли двадцать пять тысяч!»

Герой этой биографии помнит, что каждый раз при последнем тираже последней серии отец места себе не находил, вздыхал чаще, чем обычно, зевали и потягивался, как в лихорадке. Вместе с отцом лихорадило и Шолома, который ждал счастливого дня, быть может с большим нетерпением, чем отец. Он был уверен, что не кто иной, как его отец, является первым кандидатом на главный выигрыш. Тут снова вспоминался ему клад его приятеля Шмулика. О выигрыше он думал целыми днями. Он знал на память все номера отцовских билетов. Он видел их во сне. Ему не верилось, что бог может быть таким жестоким. Неужели ему, творцу вселенной, жалко, если выиграет отцовский номер? Ведь сделать ему это так легко, что легче и быть не может. Сидя на лавочке, у

ворот, Шолом видит еще издали Коллектора, шагающего в своих больших калошах прямо к ним, и бежит доложить об этом отцу. «Идет!» — «Кто?» — «Коллектор!» — «Ну так что же?» — «Ведь сегодня последний день тиража!» — говорит Шолом и замечает, как побледнело желтое морщинистое лицо отца. В его озабоченных глазах появился огонек и сразу потух.

Коллектор приходит запыхавшийся, у него астма. «Пусть при нем и останется!» — говорит мачеха. Прежде чем поздороваться, он должен перевести дыхание. Отец его ни о чем не спрашивает. Если б что-нибудь было, он бы и сам сказал... А тот садится, сдвигает шапку на затылок, вытирает полый вспотевший лоб и рассказывает новость: сегодня жарко — сил нет. Ужасно печет. Затем следует пауза. Оба молчат. Наконец Коллектор развязывает засаленный, красный, в зеленых пятнах, пахнущий селедкой платок. В этот платок у него завернуты всякие таблицы выигрышей. Дрожащими волосатыми руками вынимает он большой лист бумаги со множеством цифр и ищет, ищет сквозь темные очки. Ага, нашел! Он уставляется своими темными очками в отца.

— Ваш номер, реб Нохум, кажется, если я не ошибаюсь, шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре?

— Не понимаю, почему вы меня спрашиваете, — отвечает отец с улыбкой, — вам это и без меня известно. Все номера на память знаете.

— На память, говорите вы! Возможно! Итак, вы говорите, шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре?

Он смотрит сквозь темные очки и водит пальцем по испещренной цифрами бумаге. Шолом чувствует — вот-вот у него сердце выскочит из груди. Ну, когда же мы узнаем! Но над Коллектором не каплет. Он говорит не спеша:

— Ваш номер, реб Нохум, выиграл... Да, выиграл...

Шолом видит, как по лицу отца пробегает желтое облачко и тут же исчезает. А самому ему хочется взвизгнуть, закричать «кукареку!», но он сдерживается и ловит каждое слово Коллектора:

— Выиграли... Но выигрыш небольшой. Совсем маленький выигрыш. За вычетом комиссионных и прочих расходов наберется, наберется...

Шолом чуть не теряет сознание.

— Наберется... Восемь рублей шестьдесят. Следует с вас, если я не ошибаюсь, двенадцать пятьдесят, и от прежнего, если вы помните, осталось три восемьдесят.

Итого, следовательно, шестнадцать тридцать. Итак, вы остаетесь мне должны, очевидно, семь семьдесят. Не так ли? Теперь вы, должно быть, хотите приобрести новый билет — я вам дам. Выбирайте себе, реб Нохум, какой хотите номер. На этот раз вы, бог даст, обязательно выиграете! Это так же верно, слышите, как то, что сегодня вторник на белом свете. Уже? Выбрали? Какой номер? Восемь тысяч шестьсот тринадцать? Ну, дай бог счастья, в добрый час! Что ты смотришь так, этаким ты прока-азник? — обращается он к Шолому, по-особенному растягивая последнее слово. — Как у тебя подвигаются «Хвалебные песни», сорва-анец ты этакий?

«Хвалебные песни» Нафтоля-Герца Вейзеля\* — это книжка, которую Коллектор принес «сорва-анцу» для чтения вместе с другими книгами — Адама Гакогена Лебенсона\*. Калмана Шульмана\* и реб Ицхок-Бера Левинзона\*. Шолом глотал их, сидя на лавочке у ворот. Отец был очень рад, что сын читает такие книги, и только допытывался, понимает ли он хотя бы что-нибудь из прочитанного. Шолому стыдно сказать, что он понимает. Как это можно говорить об этом с отцом? За него отвечает Коллектор: «Он прекрасно понимает, этот прока-азник. Почему бы ему не понимать? Вот Мапу и Смоленскина\*, видите ли, ему еще рановато читать, этому малышу, рановато», — так заканчивает Коллектор. И именно потому, что Коллектор сказал, «рановато», у «малыша» появилась особенная охота прочитать книги этих писателей. И он украдкой, чтобы никто не видел, принялся за Мапу и за Смоленскина.

Первый еврейский роман — «Сионская любовь» Мапу — он проглотил с начала до конца за одну субботу, лежа на чердаке, волнуясь и пылая, как соломенная крыша. Он плакал горькими слезами над участью несчастного Амнона, громко всхлипывая, и смертельно влюбился в божественно прекрасную Томор, не меньше, чем сам герой романа, если не сильнее еще. Он видел ее во сне и разговаривал с ней языком «Песни Песней», держал ее в объятиях и целовал...

Весь следующий день влюбленный Шолом бродил как тень, со страшной головной болью, окончательно потеряв аппетит, что было загадкой для мачехи. «Медведь в лесу подох — не иначе», — сказала она и начала дознаваться, почему это парень перестал есть.

Увлечение «Сионской любовью» кончилось вот как. От постояльцев, останавливавшихся у них, Шолому перепала кое-какая мелочь за беготню по поручениям. На эти деньги Шолом купил бумаги, сшил из нее тетрадь, разлиновал все странички с обеих сторон и принялся писать роман по образцу «Сионской любви» Мапу. Собственный роман. Он рабски следовал за Мапу и по языку, и по стилю, и по общему плану. Но назвал он свой роман не «Сионская любовь», а «Дщерь Сиона», и героев его звали не Амнон и Томор, а Соломон и Суламифь. И так как днем времени не хватало — полдня нужно провести в хедере, полдня помогать в доме, то Шолом решил использовать для писания ночь. Он присел к лампе и стал писать. Мелкими буквами он писал, пока... пока мачеха не услышала какой-то скрип и не увидела света. Она встала с постели, подкралась босиком и, увидев пишущего Шолома, подняла гвалт, от которого весь дом проснулся в страхе — подумали, что пожар. Оказалось, весь шум был из-за выгоревшего керосина! «Керосин они будут жечь? Гореть нам, не сгореть, боже милостивый! Пожар, эпидемию, холеру, смерть бы на вашу голову!»

Отец, понятно, забрал похищенную «Сионскую любовь» вместе с неоконченным романом «Дщерь Сиона», автор которого ожидал суровой расправы. Кончилось, однако, тем, что отец прежде всего показал «Дщерь Сиона» Коллектору, и тот надивиться не мог почерку, языку и красноречию автора. Он так ущипнул «прока-азника», что у него остался синяк на щеке.

— Вы и понятия не имеете, реб Нохум, что это за сокровище. Покарай меня бог, если вы понимаете это! Из него кое-что выйдет! Вот увидите, из него будет толк! Иди-ка сюда, сорва-анец этакий, дай-ка я ущипну как следует твои красные пампушки, сто чертей тебе в бок!

#### 48

#### «УДАЧНЫЕ ЗЯТЬЯ»

*Русский мировой судья поучает евреев. — Лейзер-Иосл и Магидов — зятья-игрушки. — Тысяча страниц Талмуда наизусть*

Кроме Коллектора, частыми посетителями дома Нохума Рабиновича были так называемые «удачные зятья» — настоящая золотая молодежь, сливки местной интеллигенции.

У каждого города свои обычаи и моды. В Переяславе в те времена была мода на зятьев. У тамошних обывателей это было чем-то вроде спорта. Они были готовы истратить последнюю копейку — только раздобыть хорошего зятя. Привозили этот «товар» большей частью с чужой стороны. Редко кто выдавал свою дочь за местного. Разве уж тот, у кого совсем денег не было. Кто, однако, мог и хотел дать хорошее приданое за дочь, привозил себе из Польши или из Литвы не зятя, а картинку, — каждый по своему вкусу и состоянию.

Так, дядя Пиня привез себе зятя и вовсе не из столь отдаленных мест — всего лишь из Лубен. Это был юноша, целиком погруженный в Писание, бесплотный дух, не знавший даже, что такое деньги. Тетя Хана для своей красавицы дочери привезла зятя из Яготина, молодца, которого можно было бы показывать по билетам. Он был не слишком умен, не слишком учен, зато красив. В субботу после свадьбы, когда молодую чету водили в синагогу, а потом домой, люди давили друг друга, чтобы посмотреть и решить, кто из них красивей. Оценки давали вслух, во весь голос. Одни утверждали, что она красивее, другие — что он. И «он» и «она» это слышали, краснели и становились еще красивее. Родителям ничего больше и не требовалось — выбор оказался удачным, «товар» понравился, и весь город говорит о них. Что еще нужно для популярности? Случалось, люди даже дрались из-за зятьев. Это не значит, что они лупили друг друга палками, упаси бог. Просто отцы бранились и спорили насчет того, чей зять лучше, матери же показывали друг другу кукиши, а иногда дело доходило до пощечин. Мировой судья Романовский — умница, понимавший по-еврейски, разнимал их и читал нотации. Что с ним поделаешь — нееврей! Как может нееврей понять, сколько наслаждения в том, чтобы привести зятя в синагогу, посадить его, одетого с иголки, на самое почетное место у восточной стены всем на показ, купить для него почетный выход к торе, чтоб он взмог на амвон и с блеском отбарабанил отдел из Библии и чтоб женщины толпились у оконца женского отделения и спрашивали: «Где он? Который?» Нет, нееврею этого не понять, будь он семи пядей во лбу.

Большой частью, однако, «товар» быстро изнашивался, блекнул и становился будничным, как любой товар, который со временем ветшает и выходит из моды. Год,

два — и бывший великолепный зять, вчерашний «принц», игрушка, становился таким же, как и все. У него проби- валась борода, и на нем уже заметно было бремя по- вседневных забот. Просто жалость брала, когда бывший блестящий зять, вчерашний «принц», который, кажется, только в прошлую субботу был выставлен у восточной стены напоказ всем, уступал место новому зятю-игрушке, новому «принцу» и уже сам с завистью смотрел на него, а его юная жена, которая совсем недавно выглядела «ко- ролевой», жалась вместе с другими женщинами к оконцу женского отделения синагоги и спрашивала, как все: «Где он? Который?» Вот так-то и все на свете! Здесь бы следовало изречь что-нибудь вроде: *«Поколение ух- одит — поколение приходит»* \*, уместно было бы заняться немного философией человеческой жизни, но так как мы уже начали рассказывать об удачных зятях, то и пойдем дальше своим путем.

Двое из числа удачных зятьев были, можно сказать, исключением из правила. Они сохранили в городе Переяс- лаве весь свой блеск еще долго после свадьбы, не вы- цвели, как все другие зятья, и не так быстро вышли из моды. Одного из них звали Лейзер-Иосл, другого — Ма- гидов. Первого привез из Корсуни богатый торговец ко- жей, у которого была не слишком красивая дочь, но за- то большие деньги. Второго выписал откуда-то из Лит- вы богатый подрядчик, поставлявший казне лошадей. От него зять получил и первое и второе: и красивую жену, лакомый кусочек, и порядочное приданое, не счи- тая подарков, полного содержания и прочих благ. Когда привезли этих женихов, город ходуном ходил. Свадьбы же сыграли такие, что их до сих пор помнят и долго еще не забудут. Об этих свадьбах говорили не только в городе и пригородах, но даже в других городах, во всей округе. Шутка ли, во сколько обошлись две эти свадьбы! Составили ли удачные зятья счастье своих жен — это разговор особый. Насколько нам известно, одна из невест впоследствии развелась с мужем, прижив с ним несколько детей, и уехала в Америку. Муж дру- гой — теперь не то учитель, не то посредник по брачным делам, а может быть, то и другое вместе, — об этом с уверенностью трудно сказать, достоверно только, что он большой бедняк. Но мы говорим не о нынешнем вре- мени, а о происходившем давно, мы говорим о прошлом. Тогда отец и мать, то есть тесть и теща, были от радости



на седьмом небе. Тещи хвастались друг перед другом своими «находками», выражаясь иносказательно. Одна похвалилась перед женщинами, что принесла в синагогу «рубашечку для свитка святой торы»; тогда вторая выразилась еще острее, будто она «внесла самый свиточек в святой ковчежец» (из-за «рубашечки», «свиточки» и святой ковчег превратился в «ковчежец»).

И действительно, у них было чем похвалиться. Лейзер-Иосл был вундеркиндом. Утверждали, что этот юноша знал наизусть тысячу страниц Талмуда. Не девятьсот девяносто девять, а ровно тысячу! О Библии толковать нечего! А как он знал древнееврейский! И какой говорун! И почерк у него был на редкость! А сам — огонь, шутник, уморит кого угодно! Втихомолку, впрочем, поговаривали, что и он не без изъяна: не прочь, мол, пропустить молитву, посты не очень строго соблюдает, носит с собой носовой платок по субботам и не избегает женщин. Такое можно было услышать о нем в доме дяди Пини, например. Все это, однако, ничто в сравнении с тысячью страниц Талмуда, которые он знал наизусть.

Второй зять — Магидов — тоже был вундеркиндом. Он тоже знал тысячу страниц Талмуда наизусть; не девятьсот девяносто девять, а тысячу! Тоже был докой в Библии, знал грамматику и древнееврейский, обладал даром слова. Но этот не был шутником, как Лейзер-Иосл. Наоборот, он уж слишком много философствовал, мудрил, мозги у него были набекрень. Что бы ему ни сказали, все у него выходило наоборот. Упрямец — выходец из Литвы!

Разумеется, Нохум Рабинович не упустил случая и попросил зятьев проэкзаменовать его маленького Знатока Библии, а также посмотреть, как это «сорванец» Шолом пишет по-древнееврейски. Зятья решили, что сорванец и в самом деле сорванец и нельзя ему зря пропадать. Нужно позаботиться о том, чтобы он нашел свое место в жизни, нужно, чтобы он стал человеком, они расхваливали его наперебой, утверждая, что трудно даже предвидеть, какое чудо может со временем выйти из этого сорванца... Коллектор в темных очках, который постоянно вертелся среди молодежи, кое-что и от себя прибавил. Он ведь давно уже говорил, что трудно даже предвидеть, что из этого «прока-азника» выйдет... А «сорванец» и «проказник», стоявший тут же, слушал все это, и сердце его трепетало и ширилось от радости. У него

кружилась голова, как у человека, который взбирается по крутой лестнице, а столпившиеся вокруг люди, видя его ловкость, подбадривают и поддают жару. Шутка ли, какие люди расхваливают его, говорят, что трудно предвидеть, что из него выйдет!

Об отце и говорить нечего — он пребывал на седьмом небе. Каждый вздох его, однако, за сердце хватал. Вздохи эти должны были означать: «Я и сам знаю, что из этого сорванца может выйти толк, но дайте совет, добрые люди, что с ним делать, как вывести его в люди. Потрудитесь-ка, посоветуйте!»

И нашелся человек, который дал ему совет, предложил средство решительное, радикальное и верное. И отец его послушал. Это был один из выдающихся переяславских интеллигентов, по имени Арнольд, философ из пригорода, из так называемых Подворок. Ему посвящаем мы отдельную главу.

#### 49

##### АРНОЛЬД ИЗ ПОДВОРОК

*Предместье Переяслава. — Арнольд-вольнодумец. — Исход из Египта — легенда. — Что Дрепер говорит о Маймониде. — Школа казенных раввинов и гимназия*

Почти в каждом городе благословенной «черты»\* есть свое предместье, слободка, где население состоит больше из русских, нежели из евреев. Да и живущие там евреи — не те, что в городе. Это другой тип евреев. Вид у них более деревенский, они не так шустры, как горожане, несколько грубоваты, носят тяжелые сапоги и пахнут овчиной. Вместо «довольно» они говорят «годи». Смеются они раскатисто и на «о» — хо-хо-хо. А «р» они выговаривают твердо, как два «р», и даже еще больше: «Рребе! Дядя Моррдхе прросит вас пррийти на обррезание...»

В Переяславе тоже есть слободка, отделенная от города речкой, через которую переброшен деревянный мост, и называется она Подворки. Это совсем особый уголок, со своим обликом и своеобразной атмосферой. Туда в свободное время отправляются подышать свежим воздухом — там сады, зелень. Туда в субботу днем идут на прогулку парни и девушки. Не подумайте только, что парни идут вместе с девушками. Боже упаси! Парни отдельно, а девушки отдельно. Но уж само собой



так получается, что, встретившись на мосту, они останавливаются, обмениваются взглядом, перебрасываются словечком; иной раз заденут друг друга локтем, прикоснутся нечаянно, — тогда и парень и девушка покраснеют, юные сердца забьются сильнее... После нескольких таких встреч в Подворках молодые люди начинают тайком переписываться, бывает, что и настоящий роман зародится. Чем такие романы кончаются, представится случай

узнать в дальнейшем. А пока же речь идет об Арнольде из Подворок, с ним мы и собираемся познакомить читателя.

В Подворках у Нохума Рабиновича был знакомый друг-приятель, по имени «Биньомин-Калман из Подворок». Когда-то, давным-давно Биньомин-Калман вместе с Нохумом Рабиновичем торговал зерном, вместе они грузили баржи и берлины на Кенигсберг и Данциг. В последние годы приятель скатился под гору, торговал по мелочам, его, как говорится, прижали к стене. Но дружба между бывшими компаньонами осталась прежней. Биньомин-Калман часто заходил к Нохуму Рабиновичу поговорить о том о сем. Говорил, собственно, один Биньомин-Калман — он любил поговорить. И большей частью толковал он о своем младшем брате, Арнольде. «Мой Арнольд! Где вы еще найдете такую голову, как у моего Арнольда! Отыщется ли еще такой честный человек, как мой Арнольд! Вы и представления не имеете об Арнольде! Уж этот Арнольд...» И так далее.

Не только собственный брат — все говорили об Арнольде. Арнольд из Подворок был в городе своего рода героем. Во-первых, человек в летах — и холостяк или вдовец, а может быть, и разведенный, но так или иначе — неженатый. А неженатый еврей — вообще редкое явление. Кроме того, он нотариус. Еврей-нотариус — это уж наверняка редкость. Много ли евреев-нотариусов встречали вы у нас? То есть пока он еще не нотариус, он только будет им, потому что учится на нотариуса. Учит-ся он уже давно, должен только сдать «экзамент» и тогда сразу станет нотариусом. Вот разве только он «экзамен-та» не сдаст. Но почему же ему не сдать? «Он на-верняка сдаст! — говорит Биньомин-Калман. — Он безу-словно будет нотариусом, об этом и говорить нечего. Шутка ли, мой Арнольд!»

Что такое нотариус — знают все, и Шолом тоже. В Переяславе есть нотариус, русский, и зовут его Новов, нотариус Новов. Но что означает сдать «экзамент», это-го Шолом уже не знает. Что Арнольд должен сдать, кому и каким образом сдают этот «экзамент»? Все это относится к таким вещам, о которых приходится слы-шать, иногда повторяешь их, но понять их невозмож-но. Так, например, все говорят, что Арнольд пишет в газетах и что все в городе — и евреи и русские — боятся, как бы он их не прописал в «Киевлянине» \*. Во-первых, Шолом не понимает, чего они боятся, во-вторых, кто та-

кой этот «Киевлянин»? Но он повторяет вслед за другими, что все трепещут перед Арнольдом, все пуще смерти боятся его языка и его пера. Утаиться от него невозможно, а подкупить — денег не хватит. «Они доиграются, — говорил, бывало, с усмешкой Биньомин-Калман. — Мой Арнольд только рук марать не хочет, не то он бы их описал в «Киевлянине» с ног до головы, всех. Ни одного не оставил бы неописанным! С Арнольдом шутки плохи!»

Забавнее всего, что Арнольд, живший под одной крышей со своим братом, годами был с ним в ссоре. Братья давно не разговаривали между собой, но один за другого мог дать себе пальцы отрезать. «Мой Арнольд!..», «Мой Биньомин-Калман!..» Ни в городе, ни в Подворках никто никогда не видел братьев вместе и не слышал, чтобы они хоть словом перемолвились. Они даже за одним столом не сидели. Арнольд занимал в доме брата комнатку, набитую до потолка книгами, и жил одиноко, отшельником. Странные братья! Удивительный человек этот Арнольд! Вот он-то и был частым гостем в доме Нохума Рабиновича. Но его посещения отличались от посещений других просвещенных гостей. Он приходил не просто поболтать, вести пустые разговоры, но приносил с собой либо книгу, которой никто никогда еще не видел, либо газету «Киевлянин», а иногда являлся с претензией к городу и его законам. Шолом питал к нему больше уважения, чем ко всем остальным гостям. Не отходил от него ни на шаг, глядел ему в рот, вслушиваясь в каждое его слово. Ведь это и есть тот Арнольд, который сдаст «экзамент» и будет нотариусом. Тот самый Арнольд, который пишет в «Киевлянине», но не хочет рук марать. Но зачем нужно марать руки, когда пишешь в «Киевлянине»? И Шолом глаз не сводил с Арнольда. Арнольд нравился ему. Очень симпатичный, приятный человек. Он невысокого роста, худощавый, но крепкий, словно вылит из стали. Рыжеватая бородка аккуратно подстрижена, пейсов и следа нет. Пиджачок у него короткий, палочка тоненькая, а язычок — как бритва. Гром и молния! Он не щадит ни бога, ни месии! Издевается над хасидами, просто в порошок стирает этих фанатиков. «Честным нужно быть — к чему мне набожность? И без вашей набожности обойдемся, лучше честными будьте!» И его язвительный смех разносится по всему дому.

Шолом поражен — как осмеливается он так говорить, как он может произносить такие слова? Видно, ему все

дозволено, потому что зовут его Арнольд и он нотариус, то есть будет нотариусом.

Иной раз и дяде Пине случается присутствовать при том, как Арнольд изрекает свои истины. Покатываясь со смеху, дядя кричит: «Ну и Арнольд! Ох, Арнольд, Арнольд!» Смысл этого, по-видимому, таков: «И как только земля носит такого нечестивца?» Однако даже дядя Пиня относится к нему с уважением за его честность. Арнольд славился в городе своей честностью. На честности он был помешан. Он никого не боялся, говорил каждому правду в глаза, а главное, насмеялся над богачами и плевал на их деньги. Ну, скажите сами, как можно не уважать такого человека! Сам Арнольд, однако, не уважал никого. Даже о дяде Пине он был не очень высокого мнения, хотя тот был человек почтенный и борода была у него почтенная. Намного больше Арнольд ценил его брата Нохума, потому что, объяснял он, Нохум Рабинович — человек без маски и не оголтелый хасид; ему можно свободно высказать все, что думаешь, не только о праведниках, но даже о самом пророке Моисее. Шолом сам слышал, как Арнольд говорил отцу, что не верит в исход евреев из Египта. Это «легенда», сказал он. Вся эта история не больше как «легенда». Шолом решил, что слово «легенда» произошло от слова «лгать». Легенда — это, очевидно, небольшая ложь. Хорошо хоть, что небольшая... Послушайте-ка любопытную историю. Однажды Арнольд из Подворок примчался с толстой книгой под мышкой: «Посмотрите, что Дрепер говорит о вашем Маймониде! Маймонид тринадцать лет служил придворным врачом у турецкого султана. Ради этого он перешел в магометанство. Тринадцать лет был турком! Вот вам ваш Маймонид, вот вам «Путеводитель заблудших!» \* Что вы на это скажете?»

Счастье, что дяди Пини не оказалось при этом! Боже, что творилось бы здесь, если бы это услышал дядя Пиня!

Отец Шолома, видимо, похвастался перед Арнольдом писаниями своего сына и советовался с ним, как поступить с мальчиком, как вывести его в люди. Шолом вошел в комнату как раз в то время, когда Арнольд говорил:

— Что касается его писанины, то бог с ней. Выбросьте ее на помойку. Такая писанина и бумаги не стоит. А если вы хотите, чтоб из малого вышел толк, отдайте

его в уездное училище. После уездного перед ним все дороги открыты: хотите в школу казенных раввинов — можно в школу казенных раввинов, хотите в гимназию — можно в гимназию...

С приходом Шолома разговор прекратился. И хотя отзыв Арнольда о его «писаниях» едва ли особенно открыл молодого сочинителя и хотя место им было отведено не столь уж почетное (на помойке), тем не менее Шолом проникся к Арнольду самыми дружескими чувствами за одно только слово «гимназия», звучавшее в его ушах прекраснейшей музыкой и исполненное всяких прелестей. Его волновала не столько сама «гимназия», о которой он не имел еще никакого представления, сколько то, что он будет гимназистом. Шутка ли, гимназист! Что такое гимназист, он знал, гимназиста он видел собственными глазами. Это был единственный еврейский гимназист в Переяславе и даже не гимназист, а «гимназистик», со светлыми серебряными пуговицами и серебряной штучкой на фуражке. Имя его было тоже Шолом, но называли его Соломон — мальчишка такой же, как и все мальчишки, и все же не такой, все-таки «гимназистик». Совсем особое существо, как мы вскоре увидим. Пока вернемся к совету, который дал отцу Арнольд из Подворок. Этой мыслью он точно сверчка пустил в дом Рабиновичей, и с тех пор слова «классы», «экзамент», «школа казенных раввинов», «гимназия», «доктор» прочно обосновались здесь. О чем бы ни говорили, разговор всегда возвращался к тому же, и у каждого была наготове какая-нибудь интересная история. Один рассказывал, как бедный ешиботник \* отправился босиком в Житомир, в школу казенных раввинов. Другой — о том, как сын меламеда из Литвы скрылся на несколько лет. Думали, что он в Америке, но оказалось, что он сдал «экзамент» за все восемь классов гимназии и теперь учится, говорят, на доктора. На это способен только выходец из Литвы!

— Пойдите, зачем вам далеко ходить? Возьмите, к примеру, сынка нашего фельдшера Янкла. Много, думаете, ему не хватает, чтобы стать доктором?

— Ну, положим! До доктора ему не хватает одного дня да еще годков десять...

Сын фельдшера Янкла — это и есть тот гимназист, или «гимназистик Соломон», о котором говорилось выше. О нем мы и собираемся рассказать в следующей главе.

## ГИМНАЗИСТИК СОЛОМОН

*Сынок «доктора» Янкла — гимназист. — Шолом страшно завидует ему. — Винный погреб «Южный берег. — Изюмные выморозки. — «Церковное вино — евреям на пасху»*

В Переяславе подвизалось несколько врачей, и каждый имел свое прозвище: толстый доктор, горбатый доктор, черный доктор. Все эти врачи были христиане, и только один был еврей, да и то не совсем доктор, а полудоктор — лекарь Янкл. Но вел он себя как настоящий доктор. Носил крылатку, прописывал рецепты, перечитывал их вслух и называл лекарства обязательно по-латыни:

— Будьте любезны принимать через каждые два часа по столовой ложке «кали бромали», а через каждые три часа по чайной ложке «натри броматри», и завтра же вам станет лучше. Если же не станет лучше, то станет хуже, тогда вы меня позовите, и я приду еще раз...

В городе лекаря Янкла любили больше любого врача, потому что с ним можно потолковать, узнать, что там такое подпирает под ложечкой и почему нужно пить рыбий жир, если у тебя ревматизм в ноге, и какое отношение имеет к ноге желудок. У лекаря было еще одно достоинство — он не торговался, брал, сколько давали, даже не глядя. Он только щупал пальцами несколько секунд монету в кармане и угадывал, что ему подсунули. Если это был потерянный пятак, не имеющий никакой цены, он возвращал его и говорил, что ему ничего не нужно. Тогда вам становилось неловко, и вы давали ему другую монету.

Было у него и еще одно достоинство: он и вам давал слово сказать, и сам был охотник поговорить. А говорил он большей частью о своих детях, о том, какие у него способные дети. Один из них, старший, Шолом зовут его, Соломон — тот уже гимназист. Он, бог даст, кончит гимназию, поступит в университет и выйдет оттуда доктором, готовым доктором. Самым настоящим доктором!

— Поскорей бы уж наступил праздник! — говорил лекарь Янкл со вздохом. — На праздники, бог даст, он приедет, мой Соломон. Вот вы увидите моего гимназистика!

Шолому тоже хотелось, чтобы уж поскорее наступил



праздник — тогда он посмотрит на этого гимназистика, какой у него вид.

И Шолом дождался пасхи. Вот теперь он наконец узнает, какие бывают гимназисты.

Лекарь Янкл не такой уж усердный молещик, чтобы бежать сломя голову в синагогу. Он ведь как-никак доктор! Однако ради своего сынка, гимназистика, и он явился в синагогу. Пришел тщательно причесанный, напомаженный и счастливый. Он сидел на видном месте, прямо против восточной стены. Возле него стоял его сынок Шолом, или Соломон, в мундирчике с серебряными пуговицами сверху донизу, в странной фуражке с какой-то блестящей штучкой. В руках он держал маленький молитвенник и молился, как самый обыкновенный человек, но все взрослые и все дети не спускали глаз с гимназистика с серебряными пуговицами. Кажется, человек как человек, мальчик как все мальчики, и все-таки не то — гимназистик. И у Шолома вырывается глубокий вздох.

Помолившись, лекарь не спешит уходить из синагоги. Кое-кого он должен поздравить с праздником, кое-кто должен его поздравить, а главное, вероятно, пойдет разговор о его сыне — гимназисте. Так оно и было.

— Это он и есть ваш гимназистик, реб Янкл? Ну, здравствуй...

Со всех сторон к Соломону протягиваются руки. Кажется, мальчишка, а люди с бородами здороваются с ним за руку. Некоторые останавливаются потолковать с лекарем о его сыне: «Где он учится? Чему он учится? Что будет, когда он выучится? До чего он доучится?»

— До чего он доучится? — переспрашивает лекарь со смешком. — Уж он доучится, хе-хе-хе! Он будет доктором, настоящим доктором, хе-хе-хе.

Сын лекаря Янкла станет доктором, настоящим доктором! Чем, чем, а уж заработком он будет обеспечен. Даже старые почтенные евреи и те удивлялись этому, хотя трудно было объяснить и сами они не понимали, кто мешает им сделать своих детей докторами. Никто им не мешал. Но так же, как их отцы не хотели, чтобы они стали докторами, так и они не хотят, чтобы их дети стали докторами. Они утешали себя тем, что их дети зато будут добрыми евреями. А средства к существованию —

как-нибудь! Кто дает жизнь, тот даст и на жизнь. Бог милостив. Вот Юзя Финкельштейн не учился на доктора, а все-таки дай бог нам хоть половину того, что он имеет!

— Сколько же, говорите вы, реб Янкл, должен еще учиться ваш этот... ваш гимназистик? — спрашивали евреи, глядя на него сверху вниз.

— Мой Соломон? — говорил лекарь Янкл, поглаживая бородку и пританцовывая на одной ноге. — О, ему еще долго учиться! — И он высчитывал по пальцам, сколько лет сын его должен еще учиться в гимназии и сколько в университете. Затем он будет работать в больнице, а то в военный госпиталь поступит, станет военным врачом, «то есть почти офицером, с погонями, хе-хе-хе!..».

Не было, кажется, на свете более счастливого человека, чем лекарь Янкл, этот вот маленький человечек с приплюснутым носом, с курчавыми, сильно напояженными волосами, одетый в крылатку, как настоящий доктор. И не могло быть на свете более счастливого мальчика, чем этот краснощекий гимназистик с серебряными пуговицами и со странной штучкой на фуражке. Они оба шли из синагоги, окруженные множеством прихожан. Взрослые теснились около лекаря, а мальчишки — около его сына, стараясь оказаться поближе к нему. Он представлялся им существом совсем особого рода. Что-то в нем есть такое...

Нет, Шолом никому в жизни еще так не завидовал, как этому счастливому гимназисту. Почему не он на его месте? Почему не он сын лекаря Янкла, его ведь тоже зовут Шолом? Почему богу не сделать так, чтобы Нохум Рабинович был лекарем Янклом, а лекарь Янкл — Нохумом Рабиновичем? Шолом видел гимназиста во сне, бредил им наяву. Гимназист ни на минуту не выходил у него из головы, как Хаим Фрухштейн когда-то. Это была мания, помешательство. Шолом завидовал гимназисту, сильно завидовал. Подойти к нему заговорить — не хватало духу. Как это вдруг заговорить с гимназистом? Как подступиться к мальчику, имя которого Шолом, но зовут его Соломон? В воображении он видел самого себя гимназистом, и зовут его уже будто не Шолом, а Соломон, и мундирчик на нем с серебряными пуговицами и штучка у него на фуражке, и все мальчишки ему завидуют, а взрослые удивленно ахают: «Это и есть сын Нохума Рабиновича, этот гимназистик? Это его когда-то звали Шолом?»

Можно себе представить, какой радостью наполнилось сердце Шолома, каким праздником был для него тот день, когда отец сообщил ему, что с завтрашнего утра он, с божьей помощью, начнет ходить в «классы». Отец был уже у директора и подал прошение, пока в приготовительный.

— За шесть недель ты кончишь приготовительный и поступишь, бог даст, в «уездное» а оттуда в гимназию, а затем еще дальше... С божьей помощью все возможно, только б ты сам постарался.

Шолом завизжал бы от восторга, если б ему не было стыдно перед отцом. Будет ли он стараться? Еще бы! Он только не очень хорошо понимал, что такое «уездное», кто такой «директор» и что означает «приготовительный». Но он очень хорошо помнил, что говорил Арнольд из Подворок. Глазам его представился сынок лекаря Янкла, с серебряными пуговицами, со странной штучкой на фуражке, и сердце его переполнилось, голова закружилась, и слезы радости выступили на глазах. Но он не шелохнулся, держал себя как паинька, несмышленный, не умеющий и двух слов связать. На самом деле этот паинька только и ожидал той минуты, когда он останется один, — тогда он уж даст себе волю. Он шлепнет сам себя два раза по щекам, или хлопнет себя по ляжкам, или три раза перекувырнется через голову прямо на полу, или же ускачет на одной ноге куда-нибудь далеко-далеко, распевая:

Соломон, Соломон!  
Гимназистик Соломон!

— А пока ступай-ка покачай ребенка, потом будешь изюм рубить...

Это, разумеется, говорит мачеха. И чтобы читателю стало понятно, что это за изюм, который нужно рубить, он должен знать, что, поскольку заезжий дом не давал достаточно средств к существованию, Нохум Рабинович открыл погреб с такой вывеской:

Продажа разных вин Южного берега

Производил эти вина отец собственноручно из рубленого изюма и продавал их под разными названиями, из которых автору запомнились: «выморозок», херес, ма-

дера и еще один сорт красного вина под названием: «Церковное — для употребления евреям на пасху». Этот сорт вина дети предпочитали всем другим, потому что «церковное для евреев» было сладким и терпким. Сладким оно было от особого сиропа, который в него добавляли, терпким — от изюмных косточек, но откуда брался его красный цвет, отец ни за что не хотел открывать. Каждый раз, когда ребят посылали за кружкой вина, они прикладывались к «церковному для евреев» и успевали вылакать вдвое больше, чем приносили. И тем не менее это вино давало семье верный кусок хлеба, более верный, чем все другие занятия Нохума Рабиновича.

## 51

### «П Е Н С И Я»

*Отец горой стоит за «классника». — Шолом получает стипендию. — Переполох в городе. — Мечта о кладе начинается*

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поступление в уездное далось не так-то легко и прошло не так-то гладко. Первым камнем преткновения был дядя Пиня. Он рвал и метал. «Как, собственными руками превращать детей в безбожников?» — кричал он и не успокоился до тех пор, пока не взял с брата слово, что он, по крайней мере, не позволит своим детям писать в субботу. Это условие Рабинович выговорил у директора, или, как его звали, смотрителя уездного училища, со всей определенностью — в субботу его, Рабиновича, дети должны быть свободны от занятий. И еще одно условие поставил Нохум Рабинович директору (это было время, когда евреи могли еще ставить условия) — его дети не должны присутствовать на уроках священника. Рабинович и тут добился своего.

Вторым затруднением для детей был язык. При поступлении в школу они так мало понимали по-русски, что над ними потешались все — и учитель и ученики. Им казалось, что даже парты смеются над ними. Это было особенно досадно Шолому. Он сам привык над всеми смеяться, а тут вдруг смеются над ним! Да и школьные товарищи тоже не дремали. Как только кончались уроки и еврейские мальчишки появлялись на дворе, их тут же торжественно валили на землю и, придерживая за

руки и за ноги, — и все это очень добродушно, — мазали их рты свиным салом. Приходя потом домой, удрученные, они никому не рассказывали, что с ними стряслось, опасаясь, как бы их не забрали из училища. Мачеха и без того выходила из себя и донимала «классников» (так называла она ребят с тех пор, как они поступили в уездное училище). А так как Шолом был прилежнее всех, то и преследовала она его больше всех. Но тут случилось происшествие, после которого ей пришлось сбавить тон, и она утихомирилась. История эта такова.

В одно прекрасное утро Шолом, расхаживая по комнате, заучивал что-то наизусть. Отец стоял тут же в молитвенном облачении и молился. Мачеха же делала свое — пилила отца. Она припоминала ему его старый грех, когда он скрыл от нее существование старших и младших детей, прошлась насчет того, каким хорошим аппетитом, не сглазить бы, отличаются его дети и какие у них здоровые желудки. Не оставила она без внимания и его «родственников». Ее слова, однако, отца мало трогали. Он стоял лицом к стене и молился, точно все это его совершенно не касается. Но вот она стала изощряться в красноречии по адресу Шолома — зачем, мол, он расхаживает по комнате и зубрит.

— Он думает, этот классник, с позволения сказать, что хрен ему дядька, что он важный барин и свободен от всякого дела, кроме еды! Как же, лакеев и горничных здесь хоть отбавляй! Ничего, это не уронит твоей чести, классник ты этакий в стоптанных сапогах, если ты потрудишься внести постояльцу самовар. С тебя, упаси бог, даже волос не упадет, аппетиту твоему это не повредит и свадьбы тоже не расстроит!

«Классник» был уже готов оставить уроки и отправиться в кухню за самоваром, когда отец вдруг бросился к нему, схватил за руку и раздраженно стал говорить по-древнееврейски, не желая прерывать молитвы:

— Ио-ну... Нет, нет! Ни в коем случае! Нельзя, я запрещаю! Я не хочу! — закончил он уже по-еврейски и напустился на мачеху с ожесточением, может быть, впервые с тех пор, как она стала его женой; он заявил ей, чтобы она не смела больше распоряжаться Шоломом. Другими детьми — пожалуйста, но только не Шоломом. Шолом — не то, что другие. Он должен учиться! — Раз навсегда! — кричал отец. — Так я хочу! Так оно есть, так оно и будет!

Потому ли, что всякий деспот, всякое зловерное существо, услышав громкий окрик, пугается и умолкает, потому ли, что это был первый отпор со стороны отца за время их знакомства и «сладкого» супружества, но случилось чудо — мачеха прикусила язык и умолкла. Она присмирела, словно кошечка. С того времени она совершенно переменялась к Шолому. То есть колкостей и проклятий она и теперь для него не жалела, поминутно попрекая его «классами», постоянно и без преувеличения намекала, что в неделю уходит пуд бумаги, а чернил не меньше трех бутылок в день, намеренно забывала налить на ночь керосину в лампу, приготовить завтрак и тому подобное. Однако распорядиться им она больше не решалась. Разве только если он сам не прочь был бы куда-нибудь сбегать или же присмотреть за самоваром, покачать ребенка.

— Шолом! — мягко и нараспев, как говорят в Бердичеве, обращалась к нему мачеха. — Чем это объяснить — стоит тебе только взглянуть на самовар, как он тут же закипает?

Или:

— Шолом, поди-ка сюда! Почему это ребенок засыпает у тебя в одну минуту?

Или:

— Шолом! Сколько тебе нужно, чтобы сбегать на базар и обратно? Полминуты! Даже и того меньше!

Вскоре Шолому улыбнулась еще одна удача. Когда везет, так уж везет. Однажды в классе смотритель уездного училища, человек неплохой, взял Шолома за ухо и велел передать отцу, чтобы тот пришел к нему в канцелярию. Он должен ему кое-что сказать. Узнав, что «сам директор» вызывает его, Нохум Рабинович не заставил себя долго ждать и, надев субботнюю капоту, заложил еще дальше за уши и без того подвернутые пейсы и пошел послушать, что ему скажет директор. Оказалось вот что: так как Шолом учится исключительно хорошо, то его по закону полагалось бы принять на казенный счет, но поскольку Шолом — еврей, то ему можно только назначить «пенсию» (не то сто двадцать рублей в год, не то сто двадцать рублей в полгода).

Слух о «пенсии» взбудоражил весь город. Люди приходили один за другим узнавать, правда ли это.

— А что же, неправда?

— Пенсия?

— Пенсия.

— Назначена казной?

— Не казной, а народным просвещением.

Человек, имеющий отношение к народному просвещению, — шутка ли! К вечеру собралась вся родня, посмотреть, как выглядит этот обладатель пенсии. Ах, кто не видел тогда сияющего отца, тот вообще не видел счастливого человека. Даже мачеха в тот день радовалась вместе со всеми и была необычайно приветлива, угощала родных чаем с вареньем. В эту минуту она была мила Шолому, он забыл и простил ей все. Что было, то прошло... Он был героем дня. Все смотрели на него, говорили о нем, все смеялись и радовались. Дети тети Ханы, которые любили подтрунивать над ним, спрашивали, что он собирается делать с такими деньгами, словно они не знали, что из этих денег он и копейки в глаза не увидит, словно они не знали, что деньги пригодятся отцу в его деле, в винном погребе «Южного берега»...

Пришел и толстый Коллектор в темных очках и глубоких калошах: пришел посмотреть своими слабыми глазами на «прока-азника» и ущипнуть его, этого сорванца, за щеку так, чтобы отщипнуть кусочек. Пришли «зятья» — Лейзер-Иосл и Магидов — поздравить отца, посидеть, поговорить о свете и о просвещении, о прогрессе, цивилизации... А после них пришел Арнольд из Подворок и слегка омрачил радость Шолома. Во-первых, он доказал собравшимся, что они все ослы и сами не знают, о чем говорят. Это вовсе не пенсия, а стипендия. Пенсия — это пенсия, а стипендия — это стипендия. А во-вторых, Шолом не единственный, в «уездном» есть еще один мальчик, получивший стипендию, тоже в сто двадцать рублей. Это был новый товарищ Шолома по «уездному», звали его Эля. Но о нем после. Пока же герой нашего повествования пребывал на седьмом небе. Ему казалось, что прежние его мечтания о кладе начинают понемногу сбываться, и фантазия подняла его на свои крылья и унесла далеко-далеко в мир грез. Он видел себя окруженным товарищами, которые смотрят на него восторженными, завистливыми глазами. И отца своего видел он совсем еще молодым человеком. Куда девалась его согнутая спина, глубокие морщины на лбу, вечная озабоченность на пожелтевшем лице? Это был совсем другой человек, он даже не вздыхал больше. Шолому представлялось, что вся родня окружает отца, ока-

зывает ему почести, ему и сыну его, избраннику, счастливицу, о котором теперь известно всем, даже «казне», даже «народному просвещению» — всем, всем, а может быть, и самому царю. Кто знает?..

## НОВЫЙ ТОВАРИЩ — ЭЛЯ

*Эля — сын Доди. — Первое знакомство на пожаре. — Беседы о космографии с дядей Пиней. — Герой открыто разрушает святость субботы. — Ему присваивают звание «писателя»*

Круглое, белое, чуть тронутое оспой лицо; стоявшие торчком жесткие волосы, черные и густые; смеющиеся глаза; крепкие белые зубы; руки с короткими пальцами, смех звонкий, рассыпчатый, темперамент огненный — таков портрет Эли, товарища Шолома от первого до последнего классов уездного училища.

Первое их знакомство состоялось ночью на пожаре.

Пожар — это великолепное зрелище, даровое представление, исключительно интересное сборище всяких людей — мужчин и женщин, место, где разыгрываются всякие сцены, печальные и веселые, — одним словом, своеобразный театр. Ночь тиха, в далеком небе мерцают звезды. То здесь, то там раздаются лай собак, а домишко горит как свеча, спокойно и неторопливо. Спешить нечего! Со всех сторон подходят люди, вначале сонливо, затем все шумней, оживленней, вначале поодиночке, потом толпами, сбегаются целыми оравами. Евреи в арбеканфесах кидаются прямо в огонь спасать добро, женщины визжат, ребятишки плачут, парни отпускают шуточки, девушки хихикают.

Дети Рабиновича тоже здесь. Вдруг Шолом слышит прямо над ухом мальчишеский голос:

— Едут!

— Кто?

— Пожарная команда. Пойдем поможем тушить!

Взявшись за руки, мальчики мчатся через всю базарную площадь навстречу пожарной команде. По дороге Шолом узнает, что товарища его зовут Эля и что он сын писаря Доди. А Эля, в свою очередь, узнает, как зовут Шолома и кто его отец.

Вторая их встреча произошла несколько позже, на этот раз уже днем, но тоже на улице и тоже на даровом



представлении. Какой-то черный человек с белыми зубами показывал обезьяну, и за ним бегали мальчишки со всего города. Это было одно из тех любопытных зрелищ, которые так редки в Переяславе. Случилось, что по городу водили медведя с выжженными глазами, пляшущего на палке, или показывали Ваньку Рутютю в красных штанах, проделывавшего разные штуки, иногда давал представление цыган с обезьяной. Цыган и обезьяна — оба на одно лицо, будто их одна мать родила: у обоих одинаково сморщенные заросшие лица, одинаково плешивые головы, и оба смотрят одинаково жалобными глазами, протягивая за подаянием волосатые, грязные, худые руки. Цыган говорит странным голосом, на непонятном языке, покачивая головой и строя такие уморительные гримасы, что поневоле смеешься: «Дай, барин! Хорош обезьян! Американску!..» Ребята покатываются со смеху.

Двух встреч было достаточно для того, чтобы эти мальчишки — Шолом, сын Нохума Рабиновича, и Эля, сын писаря Доди, подружились. А тут еще они очутились в одном классе уездного училища, на соседних партах. Шолом увидел своего нового товарища как раз в тот момент, когда учитель начал первый урок. Протягивая руку и покачивая головой, Эля гримасничал, как цыган: «Дай, барин! Хорош обезьян! Американску!..»

Попробуйте-ка не расхохотаться! Разумеется, оба товарища получили порядочные нахлобучки — их оставили «без обеда». Тут-то и была навсегда закреплена их дружба.

С той поры они стали жить душа в душу. Куда один, туда и другой. Вместе готовили уроки, вместе занимались, и занимались хорошо. Они дали друг другу слово обогнать всех и стать лучшими учениками в классе. И они добились своего: далеко опередили других мальчиков и переходили из класса в класс первыми учениками, хоть и слыли первыми озорниками в городе. Никто из городских мальчишек не решался проделывать то, что они себе разрешали. Лучшие ученики, стипендиаты, им все сходило с рук. А как они знали грамматику! Какое слово ни вымолвишь, они сразу со своей грамматикой и давай склонять по падежам. Скажешь, например, стол, — а они тут же: стол, стола, столу, стол, столом, о столе. Скажешь — нож, а они: нож, ножа, ножу, нож, ножом, о ноже.

А география! Кто еще сумеет объяснить так же, как они, почему Земля круглая! Что вокруг чего вертится: Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Откуда берется ветер? Что бывает раньше — гром или молния? Как возникает дождь?

Из всех предметов, которые проходили в училище, отцу Шолома нравилась одна география, потому что география делает человека просвещенным. Счет — тоже неплохая вещь, математика изощряет ум, но не более. Взять, например, Иосю Фрухштейна — человек он необразованный, нигде не учился, но дайте ему самую трудную задачу, и он моментально решит ее в уме. Или возьмите, к примеру, Коллектора. Где он учился? В каком-то ешиботе. Так он, думаете, не знает алгебры? О Лейзер-Иосле и говорить нечего, об Арнольде из Подворок и подавно! Арнольд хоть сейчас готов экзамен сдать. Нет, говорите что хотите, но география — это не математика. Географию нужно изучать. Географию нужно знать. А Шолом географию знает. Отец любит говорить с ним о географии и счастлив, если при этом бывает еще кто-нибудь.

Забавно, когда при таком разговоре присутствует дядя Пиня. Поглаживая бороду и улыбаясь, он подтрунивает над маленьким философом, который носитя со своей географией. Мальчишка желторотый, и имеет дерзость утверждать прямо в глаза своему дяде, старшему, что вертится не Солнце, а Земля. Ну, а если в Писании сказано буква в букву: «Солнце, остановись в Гебеоне!» — что ты на это ответишь?! Или вот, например, ты говоришь, что раньше гром, а потом молния. А если мы видим сначала молнию, а только после нее слышим гром, поддразнивая Шолома, спрашивает дядя Пиня и покатывается со смеху. Или вот, ты утверждаешь, что Земля — шар, то есть что она круглая, как яблоко. Чем ты мне это докажешь? Шолом отвечает ему: «Если, вы, дядя, хотите убедиться, потрудитесь завтра встать пораньше и посмотреть на монастырскую колокольню, когда всходит солнце, — тогда вы увидите, что раньше всего освещается верхушка колокольни...» — «Мне, конечно, больше и делать нечего, как только вставать на рассвете и смотреть на верхушку колокольни ради твоей географии, ха-ха-ха!»

Нет, дядя Пиня недоволен ни географией, ни училищем, ни тем, что сын Нохума Рабиновича дружит с сы-

ном писаря. Тот черт его знает по какому пути поведет. Дядя Пиня уже и теперь слышал о мальчишках не столь приятные вещи. Он слышал, что они по субботам ходят гулять в Подворки и носят с собой носовые платки, и разговаривают они не по-еврейски, а по-русски.

Увы, все это была чистая правда, святая истина. Больше того, мальчишки действительно каждую субботу ходят в Подворки, правда не гулять, как мы это дальше увидим... Они носят с собой в субботу не только носовые платки, но и мелочь, чтобы покупать груши. А говорят они между собой о таких вещах... Ах, если б дядя Пиня только знал, о чем они говорят и как говорят! Если б дядя Пиня знал, что оба паренька катаются на лодке и забираются вдвоем далеко-далеко, на противоположный берег. Там, лежа на зеленой траве, они читают книжки (русские), распевают песни (русские), грезят наяву, строят воздушные замки насчет будущего, когда оба окончат «уездное». Куда они поедут, каким наукам будут обучаться, кем они станут! И нужно правду сказать, настроение у них преобладало не еврейское, и еврейского содержания в этих сладких грезах тоже было мало, потому что Эля рос в доме, который был далек от всего еврейского, хотя — одно другого не касается — оплеух за нежелание молиться Эля получал от своего отца не меньше, чем все прочие мальчишки от своих отцов. Боюсь, все отцы таковы. Вы и теперь можете встретить отцов, которые сами делают что угодно, но от детей требуют, чтобы они были набожны и благонравны, не похожи на них самих.

Нежелание молиться было у ребят застарелой болезнью еще со времен хедера. Пропускать слова в молитве было обычным делом, а с тех пор, как мальчишки поступили в училище, они и совсем пренебрегали молитвой. Отец знал это, но делал вид, будто ничего не замечает. Находились, однако, люди, которые следили за ними и считали своей обязанностью открывать отцу глаза, чтобы он видел, что его дети постепенно сходят с пути истинного. Слежка приводила к тому, что мальчишки еще больше пренебрегали молитвой и находили в этом некое душевное удовлетворение. Недаром старый мела-мед, разъясняя ученикам, этим маленьким грешникам, сущность греха, говорил: не так страшен грех, как стремление совершить его. Шолом до сих пор помнит вкус первого греха — нарушения субботы. Произошло это вот как.

Субботний день. Обыватели, пообедав, предаются сладкому сну. На дворе ни души. Тихо и спокойно, хоть кувыркайся посреди улицы. Солнце печет, как в пустыне. Побеленные стены домов и деревянные заборы так и просятся, чтобы на них что-нибудь нарисовали или написали. Шолом держит руки в карманах. Там лежит у него кусочек мела, того мела, которым пишут в классе. Он оглядывается по сторонам — ни живой души. Ставни закрыты. И бес нашептывает ему: «Рисуй!» Что бы ему такое нарисовать? И он наскоро рисует человечка, которого рисуют все ребята, напевая при этом:

Точка, точка, запятая,  
Минус — рожица кривая,  
Ручка, ручка и кружок,  
Ножка, ножка и пупок...

И готов человечек с круглым лицом, с ручками, ножками и смеющимся ртом... Художник весьма доволен своим произведением. Не хватает только подписи. Шолом озирается по сторонам — никого. Ставни закрыты. И бес снова нашептывает ему: «Пиши!» Что бы ему такое написать? И он красивым круглым почерком выводит под картинкой:

Кто писал, не знаю,  
А я, дурак, читаю.

Не успел он прочитать написанное, как чьи-то пальцы схватили его за левое ухо, и довольно крепко.

Я уверен, что никто из читателей не догадается, кому могла принадлежать рука, поймавшая героя этой биографии при совершении столь тяжкого греха, как открытое нарушение субботы. Разумеется, это был не кто иной, как дядя Пиня. Нужно же было именно ему проснуться раньше всех и раньше всех отправиться с визитом, чтобы пожелать кому-то доброй субботы. О дальнейшем рассказывать излишне. Не трудно себе представить, что тут не помогли ни мольбы, ни слезы — дядя Пиня отвел измазанного мелом Шолома домой и сдал его прямо на руки отцу. Но это ничто в сравнении с тем, что было позже, когда весь город узнал о случившейся истории и когда она дошла до начальства уездного училища. Дело приняло такой оборот, что парнишку едва не исключили. Отец чуть не плакал и вынужден был, несчастный, отправиться к «господину директору» просить пощады для сына. Только благодаря тому, что Шолом был одним из лучших учеников, стипендиатом,



его пощадили и, уступив просьбам отца, не исключили из училища, зато учителя присвоили Шолому новое звание. Вызывая к доске, они не обращались к нему, как до сих пор, по имени, а называли его либо «художник», либо «писатель», растягивая это слово насколько возможно: — Писа-а-а-гель!

Это звание так уж за ним и осталось навсегда.

53

#### СРЕДИ КАНТОРОВ И МУЗЫКАНТОВ

*История с еврейской книжкой, вызывающей смех. — Канторы с «коловоротурой». — Музыкант Иешуа-Гешл и его орава. — Страсть к скрипке*

Склонность к писательству герой этой биографии проявлял с ранних лет. Его мечтой было стать писателем, пишущим не мелом на стене, но взаправдашним писателем, автором настоящей книги. Еще старый приятель Коллектор предсказывал Шолому, что он когда-нибудь сделается писателем и будет писать по-древнееврейски, как Цедербаум, Готлобер \*, Иегалел \* и другие



«великие». Арнольд из Подворок доказывал иное... Если уж этот малый и будет писать, то, конечно, по-русски, а не по-древнееврейски. В «Хамейлице»\*, говорил он, и без него достаточно дилетантов, невежд, меламедов, пустомель. Не Цедербаума, не Готлобера, не Иегалела, а Тургенева и Гоголя, Пушкина и Лермонтова — вот кого он должен брать в пример.

Одним словом, либо по-древнееврейски, либо по-русски, — что малый будет писать по-еврейски, никому и в голову не приходило. Еврейский — да какой же это язык! Говорили-то, собственно, только по-еврейски, но что можно писать по-еврейски — никто не предполагал. «Жаргон» — чтиво для женщин, бабья утеха! Мужчина стеснялся и в руки брать еврейскую книгу: люди скажут — невежда.

Однако еще с детства ясно помнится, как в маленьком заброшенном местечке Воронке одна еврейская книжка, написанная именно на еврейском «жаргоне», пользовалась наибольшим успехом. Какая это была книжка, Шолом сказать не может. Помнится только, что книжка была маленькая, тощая, разодранная, с желтыми засаленными страницами, без обложки и даже без заглавного листа. Однажды в субботу вечером все поч-

тенные местечковые обыватели, по обыкновению, собрались у Нохума Вевикова на проводы субботы. Мать еще занята на кухне «валашским борщом», а собравшиеся тем временем развлекаются. Реб Нохум читает вслух книжку. Отец читает, а гости сидят за столом, курят и хохочут, покатываются со смеху. Чтеца ежеминутно прерывают громкие выражения восторга и добродушная ругань по адресу сочинителя: «Вот проклятая душа! Этакая шельма! Этакий мошенник! Черта б его батьке!» Даже сам чтец не может удержаться и давится от смеха. Дети не хотят идти спать, а Шолом и подавно. Смысла того, что читает отец, он не понимает, но ему просто интересно наблюдать, как бородатые люди поминутно прыскают, заливаются смехом. Шолом сидит в стороне, смотрит на сияющие лица гостей и завидует человеку, который сочинил эту книжечку. И мечтой его становится, сделавшись большим, написать такую же книжечку, чтобы, читая ее, люди покатывались со смеху и, добродушно поругиваясь, сулили бы черта его батьке...

Так или иначе, будет ли он писателем или не будет, будет писать по-древнееврейски или по-русски, но образованным человеком он будет наверняка. Тут и сомнения нет. Стать образованным он должен был во что бы то ни стало, этого он хотел, научиться всему, даже игре на скрипке. Казалось бы, какое отношение имеет игра на скрипке к просвещению? Имеет, и прямое. Уменье играть на скрипке в те времена было одним из неотъемлемых признаков образованности, наравне со знанием немецкого или французского языка, которое порядочные родители считали необходимым дать своим детям. Практической пользы от этого не ждали, но приличный юноша, желающий быть совершенным, должен был знать все. Поэтому почти все дети уважаемых горожан учились играть на скрипке. Хаим Фрухштейн играл на скрипке, Цаля Мернерт играл на скрипке, Мотл Скрибный играл на скрипке. Играли и еще многие мальчишки. Чем же Шолом Рабинович хуже их? Но отец не хотел, скрипки он не признавал. Это ни к чему, говорил он, жалко времени. Не в свадебные же музыканты метит его сын. Математика, география, словесность — это дело, но пиликанье на скрипке — пустое занятие!

Так говорил Нохум Рабинович и со своей точки зрения был, возможно, прав. Послушайте, однако, что го-

ворил по этому же поводу музыкант Иешуа-Гешл — деликатный человек и вполне благочестивый, с густыми длинными пейсами: одно другому не мешает. У него тоже есть дети не хуже других еврейских детей, и озорники они тоже порядочные, черта их батьке, но что из того? Разве они не играют у него на всех инструментах? А музыкант Бенцион? У этого Бенциона, который выучил всех молодых ребят играть на скрипке, был провалившийся нос, отчего он слегка гнусавил. Испытав сына Нохума Рабиновича и дав ему несколько уроков по первой части «Берио», он в присутствии своих учеников заявил, что у этого паренька «фаланф». На гнусавом языке Бенциона это означало «талант». Был ли у него и в самом деле талант, Шолом не знает. Знает он только, что с самых малых лет его тянуло к музыке, он томился по скрипке. И как назло, точно кто дразнил его, — ему постоянно приходилось бывать в обществе канторов и музыкантов, вращаться в мире музыки и пения.

Канторы и певчие постоянно бывали у них в доме, так как Нохум Рабинович сам певал у амвона и славился как ценитель пения. К тому же их заезжий дом служил, можно сказать, единственным пристанищем для канторов. Не случалось такого месяца, чтобы у них на дворе не появлялась повозка, набитая странными пассажирами — живыми, юркими и всегда голодными. Были они большей частью оборваны и обтрепаны, как говорят — наги и босы, но шеи укутаны шарфами, шерстяными теплыми шарфами. Набросившись, словно саранча, на дом, они поедали все, что бы им ни подали. Это уж как правило — раз приехали певчие со всемирно известным кантором, значит, голодные. «Всемирно известный кантор» целые дни надрывался, пробуя свою «коловратуру»; он глотал сырые яйца, а певчие от усердия прямо на стену лезли. Однако, обладая большей частью слабыми голосами в противовес сильным апетитам, компания эта не слишком восхищала народ своим пением и, хорошенько наевшись, уезжала, ничего не заплатив хозяевам. Мачехе это, понятно, было не по вкусу, и она стала понемногу отваживать «всемирно известных» канторов. Пусть они лучше окажут любезность Рувиму Ясноградскому, говорила мачеха. Пусть заезжают к нему, так как едоков у нее, не сглазить бы, и своих довольно, а крикунов, не согрешить бы, и без них хватает... Так или иначе, но дети Рабиновича столько



наслушались пения, что на память знали, кому принадлежит тот или иной напев, та или иная субботняя молитва: кантору Пице или кантору Мице, каштановскому, седлецкому, кальварийскому кантору или вовсе Нисе Бельзеру. Бывали дни, когда напевы носились в воздухе. В горле непроизвольно переливались мелодии, подчас не давая уснуть, плелись мысли.

Так обстояло дело с пением. Что же касается музыки, то герой этой биографии имел возможность слушать музыку еще чаще, чем канторов, потому что как Иешуа-Гешл с густыми пейсами, так и Бенцион с провалившимся носом жили недалеко от Рабиновичей и в хедер приходилось обязательно идти мимо них. То есть это было не так уж обязательно, можно было их миновать, даже, пожалуй, ближе оказалось бы. Но Шолом предпочитал проходить именно мимо них, постоять под окнами и послушать, как музыкант Бенцион учит мальчиков играть на скрипке или как музыкант Иешуа-Гешл репетирует со своими сыновьями, «играющими на всевозможных инструментах». Шолома нельзя было оторвать от окна. Сыновья Иешуа-Гешла заметили его, и старший из них, Гемеле, угостил однажды Шолома смычком по голове, а в другой раз окатил холодной водой, но это не помогло. Одной сигарки было достаточно, чтобы подружиться с Гемеле, и Шолом сразу стал своим человеком в доме музыканта Иешуа-Гешла, теперь он не пропускал ни одной репетиции, а репетиции происходили там чуть ли не каждый день. Таким образом он получил доступ в компанию музыкантов, познакомился со всем музыкантским племенем, с их женами и детьми, с их нравами и обычаями, с их артистически цыганским бытом и с музыкантским жаргоном, который он впоследствии, будучи уже Шолом-Алейхемом, частично использовал в произведениях: «Скрипка», «Степеню», «Блуждающие звезды» и других.

Как видите, обстоятельства благоприятствовали тому, чтобы Шолом научился играть на скрипке. Наслушался музыки он немало. Талант, если верить музыканту Бенциону, у него был. Чего же недоставало? Инструмента — скрипки. Но скрипка стоит денег, а денег-то и нет. Как же быть? Нужно, следовательно, добыть денег... И тут-то, когда дело дошло до денег, и случилась история, смешная и печальная, вроде трагикомедии.

## НЕ УКРАДИ!

*Кошелек с мелочью. — Герой совершает кражу и раскаивается. — Как избавиться от кошелька?*

Среди останавливавшихся в заезжем доме Рабиновичей был один постоянный гость, хлеботорговец из Пинска, литовский еврей по фамилии Вольфсон. Этот Вольфсон жил у них месяцами и уже имел свою постоянную комнату, которую так и называли «комнатой Вольфсона», даже когда сам Вольфсон был в Пинске. Ему подавали отдельный самовар — «самоварчик Вольфсона». Вольфсон этот считался у Рабиновичей своим человеком, ел то, что ели они сами, а когда хозяйка (мачеха) бывала не в духе, ему доставалось наравне со всеми, как родному... Дома он носил короткий халат, а иногда ходил и вовсе без халата. Курил он очень толстые крученые сигары и любил разговаривать, держа сигару в зубах, а руки в карманах. Говорил без меры и без удержу. Комната его всегда открыта, самовар вечно на столе, ящик стола заперт, но ключи висят тут же; один поворот ключа — и ящик открыт. Что находится в ящике — известно всем. Там лежат книги, письма, счета и деньги: большой толстый бумажник, туго набитый ассигнациями, — кто его знает, сколько их там! — и, кроме того, старый, облезлый кожаный кошелек, всегда полный серебра и медяков. Немалая, видно, сумма! Случись у такого мальчика, как Шолом, хоть половина этого капитала, ему было бы достаточно, чтобы купить лучшую скрипку в мире.

Вольфсон не раз у всех на глазах открывал ящик, и Шолом невольно поглядывал на набитый ассигнациями бумажник и особенно на кожаный кошелек с мелочью. У него было тайное желание — чтобы Вольфсон как-нибудь потерял этот кошелек, а он, Шолом, нашел бы его. Так можно было бы и капитал приобрести, и невинность соблюсти. «Возвращение потери», конечно, одно из самых благих дел, но обладать таким кошельком — дело еще более благое. Он, однако, и не думал терять его, этот еврей из Литвы! И Шолом принял отчаянное решение: если случится так, что Вольфсон даст ему почистить брюки и забудет в них кошелек, то черта с два он его получит! Выскользнул из кармана во время чистки, чем Шолом виноват! Однако Вольфсон тоже не дурак, каждый раз, давая детям чистить свою одежду, он

предварительно опоражнивал все карманы. Литовский еврей остается верен себе! Шолому становится досадно, и он решает: раз тот терять не теряет и забывать не забывает, нужно, по крайней мере, заглянуть в кошелек и узнать, сколько там мелочи. С этим намерением — не для того, упаси бог, чтобы совершить кражу, а просто из любопытства — Шолом как-то утром заглянул в комнату Вольфсона и повертелся там, будто бы убирая со стола, в то время как сам Вольфсон стоял в зале с толстой сигарой во рту и тараторил. Из этой попытки, однако, ничего не вышло. Не успел Шолом ощутить холод ключа в руке, как ему показалось, что вся связка подняла трезвон, и он весь задрожал. Он круто повернулся и выскочил из комнаты Вольфсона с пустыми руками.

Итак, на первый раз номер не удался. Шолом ждал другого удобного случая, упрекая себя, как вора: «Ты, Шолом, вор! Если тебе хоть раз в голову пришла дурная мысль, значит, ты вор! Вор, вор!»

Второй случай не заставил себя долго ждать. Вольфсон не любил сидеть один в четырех стенах своей комнаты. В зале обычно бывали постояльцы, поэтому он предпочитал коротать время там и, попыхивая сигарой, разглагольствовать. Шолом опять забрался в его комнату, намереваясь на этот раз не только полюбопытствовать, но и поживиться кое-чем. Ведь он уже все равно вор... Перегнувшись через весь стол, как будто пытаясь что-то достать с другого конца, он тем временем левой рукой взялся за холодный ключик; поворот вправо — замок открылся с тихим «дзинь» и умолк. Шолом заглянул в ящик и оцепенел. Первым делом он увидел раскрытый толстый бумажник, туго набитый бумажными деньгами: красными десятками, синими пятерками, зелеными трешками и желтыми рублевками — кто знает, сколько там могло быть! Вытащи он оттуда одну только красненькую — все было бы в порядке. Кто там заметит! Бери же, дурень, и тащи! Нет, он не может! У него руки трясутся, зуб на зуб не попадает, даже дыхание сперло. Лучше уж кожаный кошелек! Вот он, тоже полнехонький. Шолом хочет взять его, но правая рука не слушается. Открыть кошелек и вынуть несколько серебряных монет тоже неплохо, но слишком много возни. Взять кошелек и сунуть в карман — сразу заметят. А время не ждет, проходят минуты, каждая минута — год. И тут раздается шорох. Ага, он шаркает уже своими истоптан-

ными шлепанцами, этот литвак. Поворот ключа правой рукой в обратную сторону, и Шолом уходит из комнаты снова с пустыми руками. Он уверен, что обязательно кого-нибудь встретит. Но никого нет. Вернуться обратно поздно! Надо было раньше! Пропустил такой случай! Ты идиот, Шолом! Идиот и вор! То и другое вместе...

Зато в третий раз, некоторое время спустя, все сошло гладко. Не теряя времени на подготовку, без долгих проволочек Шолом подошел прямо к столу, отпер замок и, сунув руку в ящик, схватил кошелек, проворно опустил его в карман и затем, заперев ящик, пошел со своими книгами в училище, медленно, не спеша, внешне хладнокровный, даже несколько вялый. Но, выйдя из дому, он почувствовал, что кошелек сквозь карман жжет ему тело, и понял, что ни в коем случае, ни под каким видом он не должен держать его при себе, тем более в первый день. И вместо того чтоб сразу пойти в училище, он забежал в дровяной сарай и сунул кошелек в дальний темный угол между дровами и стеной, хорошенько запомнил это место и — марш в школу.

Если вам случится когда-либо встретить парня с пылающим лицом, с горящими глазами, в странном возбуждении, готового для вас в огонь и воду, но рассеянного, погруженного в себя, знайте, что у этого парня какая-то тайна, известная только ему и богу. Именно так выглядел в то утро герой этой биографии. Он смотрел на всех виноватыми глазами, словно грешник, ему казалось, что все догадываются о его сокровенной тайне. Товарищ его Эля, лучше всех знавший его, тотчас спросил: «Что с тобой, Шолом, ты опять намазал какую-нибудь штуку на заборе?» — «Попридержи язык, Элик, не то я тебе намажу такую штуку на физиономии, что забудешь, как тебя зовут!» — «В самом деле? А ну, попробуем! Посмотрим, кто кого!» Эля засучил рукава и приготовился дать сдачи, как он это умел. Но его товарищу было не до драки. Всем своим существом, всеми своими помыслами он находился там, в дровяном сарае. Второпях он даже не успел посмотреть, что в кошельке. Он никак не мог дождаться конца уроков, чтобы, придя домой, забежать на минутку в сарай и хоть одним глазком взглянуть, каким богатством он владеет.

Дома Шолом застал суматоху и переполох: постели раскиданы, в кухне все вверх дном, служанка плачет, клянется, что ни сном ни духом не виновата. Отец вне

себя, он еще больше согнулся, — лицо его приобрело землистый оттенок. Мачеха разъярена, рвет и мечет, призывает все кары небесные. На кого — трудно сказать, так как она сыплет проклятиями во множественном числе. Из-под носа утащили, утащили б вас черти! Кошелек с деньгами как сквозь землю провалился, чтоб вам провалиться! Никто не видел кошелька, света божьего вам невзвидеть! Кто же после этого захочет у нас останавливаться — остановиться бы вам навеки. А сам постоялец, Вольфсон, стоит себе в халате с сигарой в зубах, заложив руки в карманы, поглядывая на детей, улыбается и говорит, словно про себя: «Только сегодня утром держал этот кошелек в руках. Из дому никуда не выходил».

— Не видели вы кошелька? — обращается к детям отец, и Шолом отвечает за всех:

— Какой кошелек?

Отец редко сердится, но сейчас он не может сдержаться и набрасывается на своего любимца.

— «Какой кошелек»? — повторяет он за ним с досадой. — Как вам нравится этот простачок? Все утро только и разговоров: «кошелек, кошелек!», а он спрашивает, какой кошелек!

Отец обращается к постояльцу:

— Сколько все же денег было у вас в кошельке?

— Дело не в деньгах, — отвечает Вольфсон, — речь идет о кошельке. Только сегодня он был у меня в руках, я даже из дому не выходил.

Нет, Шолому тоже не время узнавать, сколько денег в кошельке. Он не такой идиот, чтобы теперь, в горячую минуту идти в сарай возиться с кошельком. Ему не к спеху, он может отложить это дело на завтра или на послезавтра. А сейчас нужно сесть за книжки, выучить географию и историю, разобрать несколько теорем. Он, мол, чист перед богом и перед людьми. А кругом пожар! Служанку уволили. Мачеха продолжает рвать и метать. Весь дом как в лихорадке. Все ищут кошелек, и Шолом вместе со всеми. Он бросает взгляд на отца, и у него замирает сердце — он не может видеть его согнутой спины, не может слышать его стонов и вздохов. И только теперь ворешка чувствует, какую отвратительную штуку он выкинул, и жалеет о случившемся, и зол на дьявола-искусителя, который толкнул его на такой грех, на скользкую дорожку.

Годом представлялся каждый час, и день казался вечностью. Шолом еле дождался вечера, когда шум и

сутолока немножко улеглись и другие домашние горести, заботы о хлебе насущном заставили на время забыть о случившейся краже. Тогда воришка выскользнул во двор, пробрался в дровяной сарай и, тихо опустившись на землю, вытащил из щели кошелек, открыл, заглянул в него. Там лежала стертая старинная монета, ценность которой в давние времена составляла гривенник, теперь же она ничего не стоила, никто ее не брал. Сам же кошелек тоже никакой цены не имел. Совсем никчемный кошелек — замок ни к черту, кожа вытерта и засалена, у краев порыжелая и сморщилась, как лицо у старой бабки; такой кошелек стыдно даже в руки брать. Стоило из-за этой дряни совершить такой скверный поступок — нарушить седьмую заповедь: «Не укради!»

Когда Шолом вернулся в дом, мачеха почтила его своим вниманием — велела подать постояльцу самовар. Постоялец Вольфсон имел каждый раз привычку, когда ему подавали самовар, потирать руки и произносить нараспев, в рифму: «Так, так, подавай! Будем пить тихонько чай». Теперь он к этому добавил: «Ну как, нет кошелька?»

Он посмотрел мальчику в глаза, и Шолом почувствовал скрытую иронию и в голосе его, и во взгляде. А может быть, это ему только почудилось? Как говорится: «Знает кошка, чье мясо съела», или: «На воре шапка горит». Во всяком случае, Шолом в эту минуту возненавидел Вольфсона всем сердцем, видеть не мог его литвацкую физиономию, слышать не мог его литвацкого произношения, он проклинал и то и другое всеми проклятиями, какие только знал... Как же быть с чертовым кошельком? Нехорошо, если его найдут в сарае под дровами. Не поторопились бы рассчитать служанку, то лучше было бы подбросить кошелек. Теперь же, когда девушку прогнали, подозрение падет только на детей — дело плохо.

Ночью Шолому долго не удавалось заснуть. Он никак не мог примириться с мыслью, что случившееся не сон, не дурной сон. Неужели это правда? Неужели он вор, обыкновенный вор?! Его даже потом прошибло — как низко может пасть человек!.. Что же будет дальше?.. А дальше он уснул. И во сне видел кошельки, и даже вовсе не кошельки, а живые отвратительные существа — желтые, сморщенные, облезлые, холодные и скользкие, как черви, как лягушки... Они шевелятся, ползают по его телу, забираются за воротник, под мышки, брр! Он про-

сыпается, заглядывает под одеяло, ощупывает себя — слава богу, это только сон!..

Да, но как же все-таки избавиться от кошелька? Другого выхода нет — надо закинуть его в такое место, чтобы сам черт не нашел. Но куда? В соседский огород? На кладбище? В женскую синагогу? Нет, лучше всего — с моста в воду. И самое подходящее время для этого суббота. На этом Шолом и остановился.

Суббота. Конец лета. На дворе еще тепло. Молодые люди разгуливают без верхней одежды, девушки ходят с зонтиками. Среди гуляющих и наш герой. Кошелек запрятан глубоко в кармане и набит камешками, чтобы он надежней пошел ко дну. К несчастью, на мосту полно народу, а Шолому нужно, чтоб никто не видел, как он будет проделывать свою операцию. Шолом долго расхаживает среди гуляющих, заглядывает каждому в глаза, и ему кажется, что все как-то странно посматривают на него. А может быть, ему только мерещится? Все та же история: «На воре шапка горит». Но вот господь помог — вокруг нет никого. Шолом забился в уголок между свайными столбами, на которых держится мост, перегнулся всем туловищем через перила, как будто увидел в воде бог весть какую интересную вещь. Затем нащупал в кармане проклятый кошелек, и показалось ему, что в руке у него чего-то живое, гадкое, вроде жабы. Он тихонько вынул руку и разжал пальцы. Плюх — и нет кошелька! На месте, где он упал, появился круг. Круг этот становится все шире и шире, затем появился другой, третий... Шолом не мог оторвать глаз от того места, где утопил он свой грех, где навеки погребена его тайна. Но вот чей-то приятный голосок вывел его из задумчивости, чарующе прозвучал смех:

— Рыбки плавают? Ха-ха!.. Чем же еще там любоваться?

Шолом повернул голову и увидел дочь кантора с подругой.

— Вы давно уже здесь? — спросил он девушек.

— Все время, ха-ха! — ответили они со смехом. Им было смешно, а у него внутри словно что-то оборвалось. Неужели они видели, что он здесь делал?!

Глупый паренек! Напрасны были его страхи. Его ждало другое горе, совсем неожиданное. Ему суждено было пережить, как мы это сейчас увидим, новую драму под названием «Дочь кантора».

*Дочь кантора Цали. — Пламенная любовь. — Переписка двух юных сердец. — Письмо героя попадает в чужие руки*

Ту же роль, какую в больших городах играют гимназисты и студенты, в маленьком городишке в те времена играли ученики уездного училища. Одного только им не хватало — формы. Им разрешалось то, чего обыкновенным мальчишкам из хедера никак не простили бы. Например, учинить каверзу шамесу, купаться в реке вне стен купальни, подтрунивать над кем угодно и даже разговаривать с девушкой, только бы она была из хорошего дома. Девушки же по ним прямо с ума сходили. Нужно, однако, оговориться, что тут и не пахло флиртом или романами. Это чистейшие и самые святые отношения, какие только возможны между юношей и девушкой. Я ни на волос не преувеличу, если скажу, что отношения между ангелами не могут быть чище и невиннее, чем отношения между дочерью кантора и юным героем этой биографии. Где, когда и при каких обстоятельствах состоялось их первое знакомство, трудно сейчас припомнить, да это и не так важно. Другого времени для встречи, кроме субботы, и другого места, кроме моста, ведущего в Подворки, в городе не было. Кто из них заговорил первым, юноша или девушка, и о чем они говорили в первый раз — установить трудно. Началось это, несомненно, с внимательного взгляда, с улыбки. Затем как бы нечаянное прикосновение локтем. Потом рукой за фуражку: «Здрате!», позже, не притрагиваясь к фуражке: «Как поживаете?» И лишь после этого при дальнейших встречах останавливались на минутку, болтали о совершенно незначительных вещах и закидывали словечко насчет следующей встречи:

О н. До свиданья.

О н а. Когда? Опять в субботу?

О н. Когда же, как не в субботу?

О н а. Где? Снова здесь, на мосту?

О н. Где ж еще?

О н а. Может быть, в другом месте?

О н. А именно?

О н а. Где вы будете в праздник торы, во время гакофес? \*

О н. Где же еще — в большой синагоге.



О н а. Почему не в холодной молельне?

О н. Там, где ваш отец молится?

О н а. Не все ли равно?

О н. Отец вдруг хватится, что меня нет.

О н а. Если вы маленький мальчик, который боится папы...

Он не дает ей закончить. Эти слова задевают его за живое. Как, ему говорят, что он маленький мальчик, который боится отца! И кто это говорит! Он находит ловкий выход из положения: ему нужно сказать ей что-то очень важное, но она не одна, а с подругой. Дочь кантора краснеет и делает знак подруге, чтобы она отошла в сторону. Та отходит, и они с Шоломом остаются наедине. Она готова выслушать его секрет. Он не заставляет себя долго ждать и заплетающимся языком говорит: «Я давно собираюсь сказать вам, что хотел бы увидеться с вами с глазу на глаз, без провожатых и подруг». — «Мало ли что! А я разве не хотела бы встретиться с вами с глазу на глаз, без провожатых и подруг? Но это невозможно. Меня не отпускают одну. Мать следит за тем, чтобы я одна никуда не уходила. Но вам незачем стесняться моей подруги — она девушка тихая, скромная и сама не прочь поболтать с парнем. А если вы хотите знать, то эта девушка тоже влюблена в парня...» Тоже влюблена? Из этого следует, что она, дочь кантора, наверняка влюблена! «Я хотел бы знать, кто этот счастливец?..» — «Много будете знать, скоро состаритесь».

Нужны ли еще пояснения? Разве не ясно, что счастливец не кто иной, как он сам! И если в этом есть хоть капля сомнения, достаточно взглянуть на ее сияющее лицо, на излучающие счастье глаза. Знакомое лицо, знакомые глаза. Где он видел эту девушку со светлыми вьющимися волосами? Даже рука ее знакома ему — белая ручка с тонкими, длинными пальцами. Белая ручка, нежная и теплая. Он первый раз в жизни держит в своей руке девичью руку...

Как благодостивый еврей ожидает прихода мессии, так ожидал он счастливого дня праздника торы. Каким томительным было это ожидание! Дни тянулись словно смола. Он чуть с ума не сошел. И Шолом решился излить свою душу на бумаге, в письме, сам не зная зачем и для чего. Он писал целый день и целую ночь, и слова лились так безудержно, как поток, для которого нет преград, как стремительно бьющий фонтан. Письму не было

бы конца, если бы не вышла бумага. Как автор ни далек от богатства, он сейчас дорого бы дал за этот документ.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Письмо-то написано, но как доставить его девушке? Единственное средство — переслать через подругу. Но это значит посвятить в тайну третье лицо, довериться постороннему человеку, которого ты не знаешь, не ведаешь. Это бы, пожалуй, тоже не остановило Шолома, но тут новая беда: как подступиться к этому третьему лицу? Впрочем, выход есть — придется вовлечь в предприятие четвертое лицо — того самого парня, в которого влюблена подруга дочери кантора. Парень с парнем — это совсем другой разговор! Парень с парнем всегда столкуется, даже насчет самых секретных вещей. Остается только мелочь — разыскать парня и завязать с ним дружбу. Это уж кажется совсем легко, но опять-таки не так скоро делается, как говорится.

Парень этот служил приказчиком в скобяной лавке. Он был недурен собой, только руки у него настоящие лапы. Подступиться к нему не составляло особого труда, трудно было только объяснить, зачем он понадобился Шолому. Уже при первой попытке чуть не вышел скандал. Хозяйке скобяной лавки, закутанной совсем не по сезону, с чернотой под носом и с черными руками (оттого, что этими руками она отвешивает гвозди и дробь, а затем ими же вытирает нос) не понравилось, что ее приказчик водит знакомство с сыном Рабиновича. Какие дела могут быть у приказчика с сыном реб Нохума Рабиновича! Это одно. Во-вторых, когда дошло до самого главного и Шолом сказал приказчику, что якобы у него есть просьба к его невесте, тот взъерошился, словно петух при виде кошки, которая подбирается к его курам.

— Откуда ты знаешь, что у меня есть невеста?

— Я знаком с ее подругой.

— С канторской дочкой? Э, здесь ты нарвешься на «костолома».

Шолом не понял, что такое собственно «костолом», но по усмешке приказчика догадался, что это, должно быть, не из приятных вещей.

— Какой такой костолом?

— Это уж мое дело. Давай рассказывай, что за просьба у тебя.

Шолом вытащил из кармана увесистое письмо и подал его приказчику.

— Ваша невеста должна передать это дочери кантора и переслать через вас ответ.

Приказчик взял письмо и осмотрел его со всех сторон.

— Это все? Приходи завтра и, должно быть, получишь ответ.

Уф, прямо камень с сердца свалился! Назавтра в условленное время Шолом получил от приказчика ответ, что еще нет ответа.

— Приходи завтра, и ответ будет наверняка.

Назавтра опять то же — ответа нет. Тут Шолом заметил, — а может быть, ему только показалось, — что приказчик как-то странно усмешается. К этому подозрению прибавилось еще одно: приказчик заметил со вздохом:

— Если б я умел писать, как ты!

— Откуда ты знаешь, как я пишу?

— Мне невеста рассказала.

— А откуда знает твоя невеста?

— Она знает это от канторской дочки!

Ответ, пожалуй, неплохой, и услышать такой комплимент от девушки, которую любишь, конечно, приятно, однако невольно в голову Шолома закралась недобрая мысль — а вдруг приказчик не передал письма, а сам прочитал его? Эта мысль не давала ему покоя. Наконец-то он дождался ответа. Это было уже накануне праздника. Приказчик выбежал ему навстречу и сунул в руку кусок желтой бумаги, сложенный вчетверо, без конверта, но заклеенный сургучом и припечатанный монетой. Это было долгожданное письмо от канторской дочки, тонкие и длинные буквы которого напоминали ее тонкие пальцы. Там было написано, что она со слезами на глазах несколько раз перечитывала его письмо, и ей жалко, что она не может писать так, как он. Если б у нее были крылья, она бы к нему полетела. Если бы умела плавать, переплыла бы все моря, только бы увидеться с ним. И если он думает, что она может спать спокойно, то ошибается. Она глаза проглядела, дожидаясь праздника торы, потому что «сердце сердцу весть подает». В заключение девушка предупредила его, чтобы он не пересылал ей своих писем таким путем, ибо она уверена, что письмо побывало в чужих руках... Шолому вспомнились ручищи приказчика. Его прямо в жар кинуло, когда он представил себе, как приказчик вскрывает конверт и читает письмо, в котором он излил свою душу перед до-

черью кантора. Но эти мысли тревожили его недолго, потому что праздник торы уже был на носу и он скоро-скоро увидит ее, будет стоять рядом с ней, будет говорить с ней одной, с дочерью кантора.

## В ПРАЗДНИК ТОРЫ

*Ночь праздника торы. — Поэзия гакофес. — Евреи пускаются в пляс. — Женщины и девушки целуют свитки торы. — Небеса разверзлись, и ангелы поют хвалу господу*

Будь я Гете, право, я не стал бы описывать страданий молодого Вертера. Я б лучше описал страдания бедного паренька, смертельно влюбленного в канторскую дочку. А будь я Гейне, зачем бы я стал воспевать «Флорентийские ночи», я б лучше воспел ночь праздника торы, когда евреи шествуют в синагоге со священными свитками и молодые женщины и хорошенькие девушки смешиваются с толпой мужчин. В такой праздник это дозволено. Они целуют тору, прыгают, кричат, пищат на разные голоса: «Счастливо дожить вам до будущего года!» — и получают в ответ: «И вам того же! И вам того же!»

Еще за час или два до шествия в синагогу сбегается детвора — мальчики и девочки. Они взбираются на скамьи, и в руках у них развеваются флажки, на древки которых насажены алые яблоки, а в яблоки воткнуты горящие свечи; детские щечки алеют, точно яблоки, а глазки горят ярче, чем свечки. Это малыши. А старшие ребята, изучающие Талмуд, или ученики уездного разгуливают до времени по двору синагоги.

Воздух свеж и чист. Небо усеяно звездами. Праздник чувствуется во всей вселенной. Даже тишина и та, кажется, славит всю вселенную. Даже тишина и та торжественно-празднична. Ничто не в силах нарушить святость этой ночи, когда богом избранный народ во всем мире радуется дару небес. И если даже проедет крестьянская телега и поднимет густую пыль, от которой задохнуться впору, если промчится почтовая тройка с колокольцами, — дзинь-дзинь-дзинь! — в которой едет «начальство», — кому какое дело! Пыль уляжется, звон колоколов затеряется вдали, а ночь останется столь же священной, столь же торжественной — потому что празд-



ник торы на земле. Черная кошка пробегает на своих бархатных лапках, пересекает поперек весь синагогальный двор и исчезает где-то. На дальней улице протяжным тоскливым лаем заливается собака и умолкает. А ночь все так же священна, все так же торжественна — ведь праздник торы на земле. И дышится так легко, так отрадно на сердце, радостно на душе, и чувство гордости охватывает тебя. Шутка ли! Вот я, вот ночь праздника торы, вот небо, а в небе бог. Мой бог, мое небо, мой праздник!

— Ребята, несут свитки торы!

Все вбегают в синагогу. Где там! Ничуть не бывало! Там еще идет вечерняя молитва. Цаля, кантор холодной синагоги, стоит у анаоя с двумя певчими. Один из них, черный парнюга с толстыми губами, — бас, другой, худенький мальчишка с бледным лицом, — сопрано. Сам же кантор реб Цаля, обладатель чудесного голоса, — высокий, рыжий, с изогнутым, точно рог, носом, с редкими вьющимися пейсами и рыжей курчавой бородой, которая кажется приклеенной. Кто бы мог поверить, что у такой уродины может быть такая красивая, нежная, ми-

лая дочь! «Дочь кантора» — это и есть его дочь, а кантор Цаля — ее отец, который всюду хвастается, что у него такая дочь... единственная — у него да у бога. Лишь один недостаток у нее — замуж не хочет. Кого ей ни посватаешь — все нет да нет! Но это поможет ей, как мертвому банки. Пусть только появится подходящий жених, и ей уж придется сказать «да». А нет, можно и за косы потаскать, а при нужде и палка найдется! Вот так говорит кантор Цаля, конечно, в шутку, и показывает свою бамбуковую палку со старым пожелтевшим набалдашником из слоновой кости.

Вот и вечерняя молитва кончилась, а до шестивия со свитками все еще далеко. В синагоге еще только читают «Тебе дано видеть, дабы ты знал» и делят между хозяевами восточной стены текст этой молитвы по одному стиху, который каждый произносит, не сходя с места, на свой лад и на свой мотив. То есть мотив один и тот же во всем мире, но так как у каждого свой голос, свой тембр, и к тому же каждый немного пугается собственного голоса, то получается не то, чего хочется, и трель, которую каждый приберегает к концу стиха, обычно теряется.

Холодная синагога достаточно просторна, широка и высока. Потолка в ней нет, только крыша, поэтому она и называется холодной. Крыша изнутри изображает небо и окрашена в голубой, даже слишком голубой цвет, почти зеленый — художник хватил через край. Блестящие звезды слишком уж велики. Каждая звезда чуть поменьше яблока и слегка напоминает картошку, обведенную по краям золотом. Расположены эти картофелины, то есть звезды, не так, как звезды на небе, без всякого порядка. Нет, они расположены рядами, густо, близко одна к другой. В центре синагоги на длинных медных цепях висит старинная люстра из старой позеленевшей меди. Из такой же старинной позеленевшей меди и канделябры на стенах. Горят все свечи, и в синагоге так светло, что, кажется, светлей и быть не может.

Откуда взялось, не сглазить бы, столько людей — мужчин, женщин, парней, девушек и детишек! Шолом впервые в холодной синагоге, и ему невольно приходит на ум стих: «Как прекрасны шатры твои, Иаков...» Ему стоило немало труда отыскать себе место. Счастье, что его узнал служка! Это ведь сынок реб Нохума Рабиновича! Надо ему устроить местечко, и не где-нибудь, а у восточной стены, среди уважаемых прихожан.

Какая идет сейчас молитва? Шум и гомон так велики, что не слышно ни кантора, ни певчих. Напрасно молящиеся кричат: «Тише!» Напрасно служка стучит по столу. Женщины тараторят, девушки смеются, дети пищат. Вот стоит мальчонка и плачет горькими слезами. «Что ты плачешь, мальчик?» У него яблоко упало с флажка, и его нечаянно раздавили. Что он будет теперь делать без яблока! А рядом сидит большой парень и скалит зубы, смеется над трагедией малыша. Шолома берет досада, и он вступает в дискуссию с парнем: «Что тут смешного?» — «Мальчишка — дурак!» — отвечает парень, не переставая скалить зубы. Шолома это злит еще больше: «А у тебя в его годы было больше ума?» Парень перестает смеяться и говорит вызывающе: «Сколько у меня было ума в его годы, я не помню, но теперь у меня больше ума в пятке, чем у тебя в голове, — это точно, хоть ты и сын Нохума Рабиновича и ходишь в «классы».

Если бы дело происходило не в холодной синагоге, среди чужих, сын Нохума Рабиновича рассчитался бы с ним по-своему. Но здесь он был вынужден прикусить язык, чтобы не получить хорошую затрещину от этого наглого парня. К тому же сквозь страшный гам он услышал милые его сердцу слова: «Досточтимый реб Шимши-Зейв, сын реб Хаима-Цви, когена, воздай честь торе!..», «Досточтимый реб Мойше-Яков, сын реб Нахман-Дойвы, левита, воздай честь торе!» Значит, гакофес начались. Где же дочь кантора?

«Воззовем к господу, да поможет он нам!» Первый тур завершился пением, грубым напевом «гайда» и пляской. И вот служка уже снова вызывает своим хриплым голосом на тот же лад: «Досточтимый такой-то, воздай честь торе!» — и еще раз то же самое. Так закончились второй, третий и четвертый круги. После каждого круга — тот же грубый напев и та же пляска. А дочери кантора все нет да нет.

Шолому не терпится, он озирается по сторонам: а вдруг он ее все-таки увидит? Но ее нет! Ни ее, ни подруги! Неужели она его так жестоко обманула? А впрочем! Может быть, она не могла прийти? Может быть, с ней что-нибудь случилось? Не дознался ли кто-нибудь об их сговоре, и девушку оставили дома под замком? От кантора Цали всего можно ожидать! Это ведь человек, который таскает девушку за косы и пускает в ход палку! Черным думам и мрачным догадкам конца нет.

По тому, как сынок Нохума Рабиновича беспокойно ерзал на месте, вертелся, оглядывался по сторонам, шамес, очевидно, решил, что он жаждет сделать круг со свитком торы в руках. А может быть, кто-нибудь из старост подал шамесу знак, чтоб он и сынка Рабиновича почтил свитком торы. Как бы то ни было, но среди целого ряда имен Шолом вдруг услышал и свое имя: «Отрок Шолом, сын реб Менахем-Нохума, воздай честь торе!» Кровь бросилась ему в лицо. Он не знал, куда деваться от устремленных на него взглядов. Он чувствовал себя, как любой юноша, которого впервые вызвали к чтению торы. И не успел он оглянуться и прийти в себя, как шамес уже поднес ему свиток торы и он очутился в одном ряду с другими прихожанами. Процессия тронулась. Кантор реб Цаля идет впереди и поет: «Покровитель обездоленных да поможет нам!» Женщины и девушки рвутся к свитку, целуют его и кричат Шолому: «Счастливо дожить вам до будущего года!» Шолом испытывает неловкость оттого, что ему говорят «вы», растерян от неожиданной чести и горд тем, что идет вместе со всеми, один мальчик среди стольких взрослых. И все это потому, что он не первый встречный, а сын реб Нохума Рабиновича, из почтенной семьи. Но в самую суматоху он вдруг почувствовал, как кто-то поцеловал его руку: «Счастливо дожить вам до будущего года!» Он поднимает глаза и видит, что это она, дочь кантора, и рядом с ней, разумеется, ее подруга.

Небеса разверзаются, сонмы ангелов нисходят и поют хвалу. Они воспевают созданный богом мир — такой прекрасный, сладостный, чудесный мир! Они воспевают созданных творцом людей — таких милых, прекрасных, чудесных людей! На душе так хорошо, что плакать хочется! И в сердце звучит песнь: «Мир вам, ангелы господни!..»

Правда, в первую минуту он почувствовал неловкость, ему показалось странным, что она вместо свитка поцеловала его руку. Может быть, это случайно? Нет, не случайно. Он понял это по ее смеющимся глазам. Он был так поражен, что чуть не выронил свитка из рук. Ему хотелось остановиться, перекинуться с ней словом или хотя бы заглянуть в ее прекрасные глаза. Но это невозможно. Идущие позади напирают на него. Нужно идти дальше, нужно передать священный свиток другим. Гакофес еще не кончились. И только у священного



ковчега, передав свиток торы шамесу, он оглядывается в надежде увидеть ее еще раз, хотя бы издали. Но ее не видно. Тогда он пускается вслед за новой процессией, делает еще один круг, ищет ее глазами, но дочь кантора исчезла, нет ее. Он выбегает во двор, и там ее нет. Быть может, это был сон? Может быть, это только почудилось ему? Нет, то был не сон, не видение! Он еще ощущает прикосновение ее губ к своей руке. Он идет дальше и не чувствует земли под собой. Ему кажется, что у него выросли крылья, и он летит, парит, и ангелы несутся по воздуху, летят вместе с ним и провожают его вплоть до большой синагоги.

Там шествие еще продолжается. Отец в необычайно приподнятом настроении. Одетый в старую шелковую капоту с просвечивающей местами желтой подкладкой, он выглядит красиво и величественно, как никогда. С ним «удачные зятья», с одной стороны — Лейзер-Иосл, с другой — Магидов. Оба острят, а отец, по своему обыкновению, слушает и улыбается. «Где ты был так поздно?» — спрашивает отец, не с укоризной, а так просто, из любопытства. «В холодной синагоге», — отвечает Шолом и рассказывает, что его там почтили приглашением на тур со свитком торы. Отец рад. «Очень любезно с их стороны», — говорит он. А «зятья» подтрунивают над сыном Рабиновича. Один спрашивает, познакомился ли он в холодной синагоге с «Ойзер-Далимом»\*, а другой замечает: «Откуда там быть «Ойзер-Далиму»? Там ведь только внук «Ойзер-Далима»!» Все трое смеются над этой остротой, и Шолом смеется вместе с ними. Ну и выдалась же ночь! Такая ночь возможна только в праздник торы!

## 57

### КРИЗИС

*Обмануты лучшие чувства. — Тиф. — Герой встает после болезни другим человеком. — Прощание с детскими годами*

Каждый раз, когда автор этих строк спускается в катакомбы далекого детства, выносит на свет божий и проветривает свои воспоминания о навеки ушедших детских годах, углубляется в позднейший опыт, приобретенный на огромной ярмарке, именуемой жизнью, и взвешивает все это трезвым умом и холодным рассудком, его изум-

ляет, как это он, перенеся столь безжалостные удары судьбы, жестокий обман, горькое разочарование, остался цел и невредим для того, очевидно, чтобы вновь подвергаться ударам судьбы, снова обманываться, опять и опять разочаровываться. Но не так страшны удары, как горьки разочарования, обиден обман. Боль от удара проходит, разочарование оставляет в душе ссадину навсегда.

Герой этой биографии не раз бывал бит морально и обобран материально. Он испытал, как это увидят читатели из дальнейших глав, прелесть потери огромного капитала на различных спекуляциях, в которые его вовлекли всякого рода Менахем-Мендлы \*, и он может сказать с чистой совестью, что не столь тягостна для него была потеря денег, как то, что он был обманут людьми и сам обманулся в людях. Разочарование — вот что сокращало ему жизнь, вот что приближало его к могиле.

В ту пору, когда он совсем еще мальчишкой глупейшим образом влюбился в дочь кантора, его постигло первое жестокое разочарование — удар, которого ни он, ни кто-нибудь другой не мог ожидать. Можно было предположить, что родители узнают об этом глупом романе и не допустят нелепого брака. Можно было ожидать, что кантор Цаля оттаскает дочь за косы и не в шутку огреет ее палкой. Но кто мог допустить, чтобы дочь кантора, которая затеяла роман с сыном Нохума Рабиновича, была в то же время влюблена в одного из русских приказчиков железо-скобяного магазина Котельникова, что она убежит с ним в субботнюю ночь вскоре после описанного праздника торы, и, скрывшись в женском монастыре среди монашек, будет креститься, и выйдет затем замуж за этого самого приказчика!

Никакая писательская фантазия не создаст того, что может преподнести жизнь. Само собой понятно, что бедный кантор метался во все стороны, искал заступничества, протекции к архимандриту, к игуменье монастыря и даже к самому губернатору. Но ничего не помогло. Город кипел, словно котел. Все ходуном ходило. Была бы это простая девушка, дочь обыкновенного еврея, — ну что ж, случаются несчастья, ничего не поделаешь! Так нет же! Должно же это приключиться именно у кантора, у духовного лица! И кто его теперь допустит к аналою? И на какие средства он теперь жить будет? А какой позор для прихожан холодной синагоги! Ведь стряслось это именно с их кантором!

Но что стоило все это в сравнении с тем адом, который пылал в душе безумно влюбленного паренька, так жестоко обманутого дочерью кантора, променявшей его, сына почтенных родителей, на котельниковского приказчика. Зачем нужно было ей обманывать ни в чем не повинного парня, писать ему письма, целовать руку в праздник торы, клясться в вечной любви и тому подобное? Ведь побег с приказчиком — не следствие внезапной страсти, обо всем было давно условлено. И Шолом вспоминает, как жених ее подруги, приказчик с огромными ручищами, намекал ему, что с канторской дочкой он напорется на «костолома». Теперь уж он знает, кто этот «костолом». В бешенстве Шолом прокликает час своего рождения, день, когда он встретился с канторской дочкой, прокликает приказчика скобяной лавки, котельниковского приказчика и всех приказчиков в мире. Ах, как было бы хорошо, если б внезапный огонь спалил все скобяные лавки в городе; если б поднялся ураган и снес бы все лавки, весь город, или разверзлась бы вдруг земля, и весь Переяслав, с его мостом и Подворками, провалился бы в тартарары, как библейский Корей. Нет у Шолома ни капли жалости ни к своим, ни к чужим, ни к старикам, ни к младенцам — к черту всех и вся! И он прокликает сотворенный богом мир — этот фальшивый, жестокий, отвратительный мир! Проклинает сотворенных богом людей — этих фальшивых, жестоких, отвратительных людей!

Поглощенный такими мизантропическими мыслями, Шолом приходит как-то домой из училища и чувствует, что голова у него точно свинцом налита, перед глазами мельтешат круги и какие-то странные фигурки пляшут. Круги расширяются, фигурки тают, как снег на солнце, и на их место выплывают новые фигурки. Обедать ему не хочется. Мачеха диву дается. «Чудеса в решете!» — язвит она, по своему обыкновению. Шолома еле ноги держат, и он валится на диван. Подходит отец и щупает ему голову. Отец что-то спрашивает, он отвечает, но что у него спросили и что он ответил, он не помнит. Кажется, говорили о желудке, о враче, об аптеке. Ему дают в чайной ложечке что-то горькое, пахнущее миндалем... А голова, ах, голова! И перед глазами свиваются клубки, они проталкиваются сквозь уши и уносятся с длинным, протяжным свистом. И будто крошечные мурашки копошатся под кожей, щекочут, кипят, пузыряются внутри, во всем

теле. И кошельки, кошельки катятся вниз по горе, бесчисленное множество кошельков. Люди пытаются поймать эти кошельки и не могут... Чудно только, что глаза у него как будто закрыты, а он видит все, что делается вокруг. Он только не слышит из-за свиста в ушах, ничего буквально не слышит, но видит хорошо. Все перемешалось — прежние, нынешние его приятели и всякие другие люди — Шмулик, Пинеле — сын Шимеле, Эля Додин, Ица дяди Пини, постоялец Вольфсон... Забавнее всего, что котельниковский приказчик, христианин, молится в синагоге у амвона и поет: «Тебе дано видеть...», а канторская дочка бьет себя в грудь: «За грех, сотворенный мною...» Из холодной синагоги вырываются приглушенные голоса, странные всхлипывающие голоса. Это молятся мертвецы. Мертвецы ведь каждую субботу по ночам молятся в холодной синагоге, собираются в миньены \* и молятся. Кто этого не знает! Ничто не удивляет Шолома, даже то, что приказчик-христианин поет еврейскую молитву. Одно только поражает его: как это приятель Шмулик, которого он только что видел, не спросил его о кладе? Как мог он забыть о таком важном деле? Шолом открывает глаза, ищет Шмулика и не может его найти. Нет ни Шмулика и никого из тех, кто здесь только что был. Куда они все девались? Он снова закрывает глаза и прислушивается к тому, как бьется у него сердце, как стучит в висках. Он чувствует, что весь обливается потом, плавает в поту, как в реке. Кончики пальцев сморщились, как после парной бани, и волосы на голове мокры и липнут ко лбу.

Шолом чувствует прикосновение холодной руки и слышит знакомый вздох. Он открывает глаза — отец! А рядом с ним постоялец Вольфсон. Коллектор в темных очках и еще какие-то люди. Шолом видит, что все смотрят на него с состраданием, слышит и понимает, что говорят о нем. «Кризис», — слышит он, но не понимает, что это за кризис. Ему приятно, что он стал предметом общей заботы и что все интересуются им. Больше всех озабочен отец. Он наклоняется к нему и спрашивает, чего бы он хотел. Шолом отвечает не сразу. Он хочет прежде всего оглядеться, понять, что с ним. Проходит некоторое время, прежде чем он приходит в себя и начинает понимать, что тут произошло: он был болен, должно быть, сильно болен, и ему теперь лучше. Лучше? Нет, великолепно! Осмыслив это, он проводит языком по запекшимся губам и произносит всего лишь одно слово:

— Крыжовник!..

Отец переглядывается со стоящими рядом людьми и переспрашивает его:

— Крыжовник? Какой крыжовник?

— Варенье! — отвечает больной неожиданно грубым голосом, который сначала звучит высоко, дискантом, а потом — низко, басом. Больной даже сам пугается, таким незнакомым показался ему собственный голос. За время болезни Шолом так изменился, что когда, недели две спустя сойдя с постели и еле добравшись до зала, он взглянул в зеркало, то с трудом узнал себя. Перед ним стоял совсем другой человек. Прежде это был занятный мальчонка с красными пухлыми щеками, живой, подвижной, со смеющимися глазами, подстриженный в кружок, с кудрявым хохолком белокурых волос на лбу. Теперь он побледнел, щеки впали, глаза стали большими, взгляд задумчивым, а сам он очень вытянулся. Его остригли наголо, как татарина, сняли светлые курчавые волосы. Теперь это совсем другой парень.

Но изменился он не только внешне. Он весь преобразился. Шолом чувствует, что в душе у него произошел кризис. И ему становится жаль, сердечно жаль своего глупого наивного прошлого, которое уже не вернется, не повторится никогда, никогда. И уже теперь, пережив в своей памяти те счастливые годы и переходя к дальнейшим, он с тихой грустью оглядывается назад и прощается навеки со славными годами своего детства:

— Прощай, детство!

## Часть третья

58

### ШОЛОМ ДАЕТ УРОКИ

*Что значит «давать уроки». — Молодые и старые учителя. — Сила грамматики. — К нему приходят по протекции. — В переславском городском саду и у мачехи в доме. — Компромисс. — Герой получает место и укладывает свои книги.*

Трудно сказать, кому, собственно, принадлежала инициатива, то есть кому первому пришло в голову, чтобы юноша, неполных семнадцати лет, без признака усов на верхней губе, не закончивший курса уездного училища, взял в руки тросточку и, накинув пиджак на плечи, ходил из дома в дом давать уроки. «Давать уроки» — это значило обучать мальчиков и девочек всему тому, чему учили в «классах», обязать пройти с ними определенный курс, подготовить их к определенному сроку так, чтобы они могли поступить в училище или сдать экзамены.

Сдавать экзамены стало обычным делом, это вошло в моду. Все и вся готовились к экзаменам. Мальчики и девочки, женихи и новобрачные, даже люди с бородами взялись за грамматику Говорова, за арифметику Евтушевского, за географию Смирнова, за геометрию Дистервега, принялись заучивать басни Крылова и зубрить словарь. Началась какая-то эпидемия экзаменов. Понятно, что при такой эпидемии учителей в городе не хватало. Профессиональных учителей — евреев было только два: первый из них, глухой старик Монисов, не имел зубов, а потому не говорил, а плевался; второй, Нойах

Бусель, был помоложе, знал французский, носил синий мундир, начищенные сапоги, но уж очень запрашивал. Преподавали еще писец Ица и его брат, писец Авром,— франтоватые человечки с красными, пухлыми, словно пампушки, щечками. Эти, правда, брали очень дешево, но были не в ладах с русской грамматикой и никак не могли справиться со словом «печенеги». То есть они знали, что в слове печенеги где-то полагается быть букве «ять», но они никак не могли угадать, куда ее поставить — после «п», после «ч», после «н» или уж вовсе после «г». Так же не ладили они с буквами «с» и «ш». Когда дело доходило до слов «суша» или «Саша», они могли с одинаковым успехом написать «шуса», «суша», «шуша» или «Саша», «Шаса», «Шаша». В городе среди молодежи ходил анекдот о том, что братьев как-то попросили перевести на русский язык предложение: «Саша сушился на суше», и один из них написал: «Шаса шусился на шусе», а другой: «Шаша шушился на шуше».

Разумеется, это был только анекдот, но как их, бедных, огорчил этот анекдот, когда он дошел до них. И в самом деле, досадно. Как! Они, можно сказать, выучили писать весь город — от мала до велика, — и вот приходят щенки, у которых еще молоко на губах не обсохло, и рассказывают анекдоты!.. Так или иначе, но грамматика стала ходким товаром, без грамматики шагу не сделаешь. Дошло до того, что даже дядя Пиня, который, как вам известно, ненавидел «классы», как правоверный еврей свинину, тоже признал, что грамматика — стоящая вещь. Он — человек, разъезжающий по ярмаркам, торгующий с Москвой, пользующийся уважением у русских и сам прекрасно изъясняющийся по-русски, — все же чувствует, что ему недостает грамматики (при слове «грамматика» дядя Пиня почему-то показывал пять пальцев).

Однако, чтобы его племянник не слишком мнил о себе, дядя Пиня каждый раз считал необходимым добавлять, что он не понимает, почему, зная грамматику, нужно обязательно ходить без шапки, садиться за стол, не сотворив омовения рук, и писать в субботу. Ему кажется, что одно другому не мешает — можно знать грамматику и ходить в шапке, совершать омовение и не писать в субботу. Дядя Пиня как хороший знаток Библии придерживался закона. Он никак не мог простить Шолому его старого греха — писания на заборе... Но

кто станет теперь считаться с дядей Пиней! Как в самом деле не возомнить о себе пареньку, который получает стипендию, дает уроки, «загребает золото». Ведь его на части рвут, из-за него дерутся. Все хотят, чтобы именно он, а не кто-нибудь другой готовил их детей в училище. К нему уже ищут протекцию: приходят, например, от Коллектора в темных очках, ведь он друг и брат Нохуму Рабиновичу. Люди просят Коллектора замолвить словцо перед Нохумом, чтобы Нохум, в свою очередь, замолвил словцо перед сыном и тот уделит бы им хотя бы полчаса в день: «Говорят, у его Шолома легкая рука, он лучше всех готовит к экзаменам». Отцовское сердце тает, душа радуется — шутка ли, дожить до такой чести! Хотя, по правде говоря, радости мало. Какая уж там радость, когда родное дитя и в глаза не видишь! Первую половину дня Шолом в училище, а во вторую половину допоздна уроками занят. Вечером же он гуляет с товарищами в городском саду. Летом переяславский городской сад — настоящий рай. Там играет военный оркестр под управлением полкового капельмейстера — еврея с черной бородкой, темными, как спелая вишня, глазами и толстыми губами. Девушки зачарованы его дирижерской палочкой. А он во всех одинаково влюблен, улыбается им издали своими черными, как вишня, глазами и все взмахивает палочкой. Трубы гремят, барабан грохочет. Гуляющие по аллеям пары поднимают густую пыль. Воздух наполнен сладким запахом только что отцветшей бузины. Лишь тот, кто родился и вырос на Украине, может оценить этот аромат, может понять прелесть прогулки летним вечером в городском саду. Сад освещен довольно скудно, всего двумя-тремя керосиновыми фонарями, да и те закопчены, с разбитыми стеклами; чуть ветерок подыметя по сильнее — тусклые огоньки вспыхивают и тут же гаснут. Но кому до этого дело! Напротив, когда темно, даже лучше, если хотите. Юноша и девушка могут остановиться, побеседовать, посмеяться и заодно условиться о завтрашней встрече — снова здесь, в этой аллее, под только что отцветшей благоухающей бузиной.

Домой придешь возбужденный, разгоряченный, голодный, перекусишь чем бог послал — куском селедки, таранью, огурчиком, луковицей с хлебом. Аппетит, чтоб не сглазить, замечательный. Где уж тут совершать омовения, благословения! Отец и не спрашивает о вечерней



молитве. Он, конечно, огорчен, но делает вид, что ничего не замечает. Поговорить как следует времени нет. Поев, дети садятся за свои книги, готовят уроки на завтра. Шолом вынужден готовить уроки при лампе. Мачехе не нравится, что уходит керосин, и она ворчит. Отцу это неприятно. Шолом говорит, что керосин он купит на свои деньги и заведет собственную лампу. Отец запрещает ему говорить об этом и просит не огорчать его. Тут впутывается Коллектор. Он заявляет, что не выносит раздоров, и предлагает компромисс. «Так как Шолом уже человек самостоятельный и зарабатывает, чтоб не сглазить, кое-какие деньги, а учиться ему надо, ведь предстоит сдать последний экзамен, то, по совести, этого сорванца нужно оставить в покое. Мой совет, пусть он снимет себе комнату со столом до конца экзаменов и пусть учится на здоровье! Если же ему трудно найти комнату, — добавляет Коллектор, — то я могу взять это на себя».

Понятно, что вначале отец и слышать не хотел о таком безумном плане, но Коллектор обладал умением убедить даже каменную стену. К тому же он не любил долго рассуждать. Удалившись, он через некоторое время вернулся с радостной вестью — все получилось как нельзя лучше! Он нашел человека, который сдает комнату и стол. Шолом будет жить на всем готовом совершенно бесплатно, он должен только немного позаниматься с детьми — всего лишь полчаса утром и полчаса днем со старшими, да еще изредка полчаса или час по вечерам с младшими.

— Сколько же там всего детей? — спрашивает отец.

— Не все ли вам равно? Ведь ему не кормить их, а только учить. Какая ж тут разница — трое, пятеро или семеро детей? Вы же знаете, что я вам друг и не подведу. Какие могут быть сомнения? Мой совет: пусть сорванец сейчас же собирает вещи и отправляется со мной. Но сию же минуту, потому что охотников на такое место найдется немало. Айда!

Шолом начинает укладываться. Много времени это у него не занимает. Весь его гардероб состоит из двух рубашек, пары носков, мешочка с филактериями, молитвенника и книг, множества книг. Укладываясь, он искоса поглядывает на отца, на его лицо, пожелтевшее, как воск. Отец теребит редкую бородку, жует ее. Не говорит ни слова, но каждый вздох его раздирает серд-

це. Зато разговорилась мачеха. Она стала сожалеть о Шоломе, ей, мол, вовсе не нравится план Коллектора. Во-первых, что скажут люди?.. Люди скажут, сказались бы им все болячки, что виновата мачеха. Это одно. А затем, кому может помешать дитя, когда оно живет при своем отце? Ртом больше, ртом меньше — от этого суп не станет жиже... А когда дошло до прощания, она даже пустила слезу.

Проводив Шолома, отец взял с него обещание, что субботу он будет проводить дома. Всю неделю уж как ни шло, но в субботу, ради бога, в субботу!.. Почему не доставить отцу удовольствие, тем более что и для Шолома это отрада. Ибо где еще так справляют субботу, как в доме отца! Кто еще так торжественно произносит субботнее приветствие, как его отец! У кого так благородно звучат слова о хозяйке дома, которой нет равной! Кто еще так хорошо, как его отец, поет субботние гимны! А благословение трапезы! Все евреи благословляют трапезу, но не на всех покоится при этом божья благодать. Во всех еврейских домах справляют субботу, но не всюду нисходят посланцы небес, ангелы мира, которые реют в воздухе, наполняют дом тихой благодатью святого, великого и милого дня субботнего...

## И Д И Л Л И Я

*Субботние гости. — Поэт Биньоминзон. — Дантов «Ад» и «Иосафетова долина, или Холера» Биньоминзона. — Как поэт жарит селедку на угольках. — За субботним столом. — «Старостиха Фейге-Лея» с нетерпением ждет субботы*

Приглашать в субботу гостей было не только богоугодным делом, это вошло в привычку, стало потребностью для каждого почтенного горожанина в те времена. Такой уважаемый человек, как Нохум Рабинович, и представить себе не мог, как можно сесть за субботнюю трапезу без гостя. Подобная суббота была бы омрачена для него.

И каждый раз бог посылал ему другого гостя. На этот раз гостем у него был собственный сын. Тоже неплохо. Но, кроме сына, пришли еще двое. Один из них — знакомый уже нам Коллектор, а с другим гостем, Биньоминзоном, я вас тут же познакомлю.



Это был певец. Не певчий у кантора, а певец-поэт, писавший на древнееврейском языке. Он сочинил книгу под названием «Иосафетова долина, или Холера». В высоком стиле автор изображал, как бог, разгневавшись на погрязшее в пороках человечество, ниспослал на землю холеру, разумеется, в образе женщины, безобразной, страшной, настоящей «холеры», с огромным, как у резника, ножом в руках, которым она рубила направо и налево. Конечно, Дантов «Ад» написан более ярко и производит на читателя более сильное впечатление, чем «Холера» Биньоминзона. Но не в этом дело. Главное тут язык. То был цветистый, пышный, тягучий, как патока, витиеватый язык, которого «Холера», конечно, не заслужила. Это о произведении. Теперь о самом авторе.

Биньоминзон был тощий, широкий в кости человек, с широким квадратным лоснящимся лицом, с редкой бо-

роденкой, до того редкой, что, когда он ел, можно было проследить за каждым куском, который попадал в горло. При каждом глотке он делал движение головой вверх и вниз, точно голодный гусь. Волосы на голове у него были тоже редкие, но длинные, с завитками и всегда смазанные до блеска чем-то жирным. Одевался он на немецкий манер и носил высокую, твердую шляпу. Одежда его была чрезвычайно поношена, но чиста, опрятна, тщательно вычищена и выглажена. Все он делал сам — сам чистил, сам гладил, сам чинил, сам пуговицы пришивал. Можно поручиться, что он по ночам сам стирал рубашку, которую носил днем; даже галстук на нем был его собственного производства. Говорил он каким-то хватающим за душу голосом, отчаянно жестикулируя; при этом на лице его появлялась жалобная гримаса, а полузакрытые глаза были воздеты горе. Глядя на этого субъекта, герой биографии не раз думал про себя: «Интересно знать, как выглядел Биньоминзон лет тридцать — сорок тому назад, когда был еще мальчишкой?»

Как он здесь очутился, никто не знает. Выражаясь языком мачехи, его «привадила» сюда Коллектор. «Одна напасть тащит за собой другую...» Нечестивцам везет: Коллектор в один прекрасный день привел поэта с серым чемоданчиком в руке, как раз в такое время, когда мачехи не было дома. Застав субъекта с чемоданчиком, читающего отцу какую-то книжку, она сразу заявила, что это не человек, а злосчастье, один из тех, которых «надо погуще сеять, чтобы они пореже взошли», и спросила, почему он не предпочел остановиться у Рувима Ясноградского. Однако было уже поздно. Человека из дому не выгонишь, особенно существо, которому ничего не нужно, которое ничего не требует. Спал он на старой клеенчатой кушетке в темном коридоре между двумя комнатами. Когда вносили самовар, он нацеживал кипятку до самого верху в свой собственный большой чайник, насыпал в него из желтой бумажки каких-то листьев «от сердца», доставал из кармана кусочек сахара и пил себе свой чай.

С едой то же самое. В его сером чемоданчике всегда находился кусок хлеба, черствый-пречерствый. Чем хлеб черствее, тем лучше — экономней. Каждый день он покупал себе кусок селедки за копейку, заходил на цыпочках в кухню, раз двадцать пять извинялся перед

мачехой и просил разрешения положить свой кусочек селедки в печь, куда-нибудь в уголок на горячие уголья, чтобы он немного поджарился. Селедка эта, когда жарилась, отчаянно протестовала; шипя и потрескивая, она испускала такую вонь, что хоть из дому беги. Мачеха клялась, что в следующий раз выбросит поэта вместе с его селедкой, но клятвы своей не выполняла, ибо нужно было совсем не иметь сердца, чтобы так поступить с человеком, который всю неделю питается одной только селедкой.

Исключение составляла суббота. В субботу Биньоминзон был гостем за столом наравне со всеми гостями и даже выше их, поскольку он человек деликатный, просвещенный, поэт, наконец. А если он, к несчастью, беден, то ведь это не его вина. Если бы это зависело от его желания — он предпочел бы быть богатым. Но раз человеку не везет!.. И Биньоминзон глубоко вздыхал. Хозяин отвечал ему тоже вздохом и наливал по стаканчику вина ему, себе и Коллектору, и они выпивали не только за себя, но и за весь свой народ. От вина все оживлялись, языки развязывались, и собеседники принимались говорить все разом, и не о пустяках, упаси бог, но о вещах значительных — о книгах, о философии, просвещении, науке...

Самый младший из гостей, автор этих описаний, тоже принимал участие в разговоре, но боялся вымолвить лишнее слово, хотя к нему относились уже почти как к взрослому. Шутка ли, паренек дает уроки, самостоятельно зарабатывает!

С тех пор как Шолом зажил отдельно, самостоятельной жизнью, два других гостя стали относиться к нему как к взрослому, говорили ему «вы». Для Коллектора он стал клиентом, покупателем. Записав Шолома на одну восьмую билета брауншвейгской лотереи, он обещал ему тем же голосом и с той же убедительностью, как и отцу, что он, с божьей помощью, выиграет главный выигрыш. Что касается Биньоминзона — то он стал частым гостем у репетитора и писал за его столиком в то время, когда тот занимался с учениками. А однажды поэт принес свой серый чемоданчик с бумагами и черствым хлебом и, вместо того чтобы жарить по утрам свой кусок селедки в заезжем доме Рабиновичей и терпеть обиды от мачехи, занялся этим делом у хозяйки своего

юного друга, к которому он в конце концов совсем переселился и прочно там обосновался.

Все вышло просто и естественно. Два человека неплохо относятся друг к другу и могут быть взаимно полезны — почему бы им не держаться вместе? Биньоминзон — хороший гебраист, поэт, а у его юного друга отдельная комната и широкая кровать, поле целое — не кровать, кому же помешает, если на ней будут спать не один, а двое? А то, что Биньоминзон сверх меры много речив и не перестает расхваливать собственные творения, читает до поздней ночи свои поэмы, да с таким жаром и воодушевлением, что слезы стоят у него на глазах, — так это не беда. У Шолома, слава богу, крепкий сон, а Биньоминзона мало трогает, что он спит. Ибо, когда Биньоминзон читает свои стихи, ему все нипочем — хоть бы весь мир полетел вверх тормашками!

Казалось бы, что могло связывать между собой этих описанных выше людей? Что общего, например, между Нохумом Рабиновичем — почтенным горожанином, полухасидом, полупросветителем — и таким миснагедом \*, как Коллектор? И какое отношение имеют эти двое к голодному экзальтированному поэту Биньоминзону? И как мог проводить время в таком обществе живой паренек с пухлыми щеками и белокурыми вьющимися волосами (после тифа волосы у Шолома стали расти, как трава после дождя)? Что интересного было тут для юноши в возрасте, когда тянет на улицу, в городской сад погулять с товарищами, с полужнакомыми девушками? И все же надо сказать, что это была редкостная идиллия, непостижимая дружба, близость, не поддающаяся описанию; субботу, день желанной встречи, они с величайшим нетерпением ожидали всю неделю. Если у кого-нибудь из них было чем поделиться или что показать, он приберегал это до субботы. Сколько бы Биньоминзон ни изводил всех своими стихами в будни, лучшие из них он все же приберегал к субботе, на послеобеденные часы. Впрочем, это только так говорится — «на послеобеденные часы». На самом деле он читал все, что у него накопилось за неделю, и до обеда, и во время обеда, и после обеда.

Коллектор был гораздо практичнее его. Когда приходили из синагоги и отец произносил что полагается, совершал благословение и мыл руки, Коллектор, заглядывая в тарелку сквозь свои темные очки, говорил: «А теперь наш поэт, конечно, кое-что прочитает нам...»

И поэт, хоть и изголодался за неделю, о чем свидетельствовали характерные для него глотательные движения, не заставлял себя долго просить. А Коллектор тем временем уплетал за обе щеки, макал халу в наперченный рыбный соус, запивал рюмкой крепкой водки и, потирая руки, произносил с воодушевлением: «Превосходно! Лучше и не бывает!»

Трудно было лишь определить, к чему относятся его слова — к стихам ли Биньоминзона, к рыбному соусу, к рюмке водки или ко всему, вместе взятому. Во всяком случае, настроение у всех было настолько приподнятое, что даже такая прозаическая душа, как мачеха, по субботам казалась несколько возвышенной; в своем праздничном бердичевском чепце она приветливо глядела на субботних гостей и предлагала им сначала поесть, а разговоры оставить на потом.

Чтобы завершить картину, дабы субботняя идиллия выступила еще более выпукло, нужно сказать несколько слов еще об одном существе, которое с нетерпением ожидало субботних гостей. Это была «старостиха Фейге-Лея». Автор этих воспоминаний уже однажды вывел ее под тем же именем в другом месте (в книге «Мальчик Мотл»). Речь идет о кошке. Она была толстая, и ребята по сходству прозвали ее «старостиха Фейге-Лея». Дети питали слабость к котяткам, а Фейге-Лея приносила ежегодно целое поколение хорошеньких рябых котят. Когда котятки подрастали, их раздавали направо и налево, а Фейге-Лея как старожил оставалась в доме оседлой, обосновавшейся навсегда кошкой, знающей себе цену, не дающей наступить себе на хвост. Правда, особым почетом у мачехи она не пользовалась. Ей попадало и ногой в бок, и щеткой по голове. Чем она в конце концов лучше детей мачехи? Сами дети обходились с Фейге-Леей тоже не слишком нежно, они ее мучили, отбирали у нее новорожденных котят и терзали их немилосердно. Это и понятно (всему можно найти объяснение), — почему дети должны обходиться с кошкой лучше, чем обходится с ними их собственная мать? Конечно, когда Шолом жил дома, он следил за тем, чтобы Фейге-Лею зря не обижали. Теперь, когда он стал здесь гостем и приходил домой только по субботам, Фейге-Лея встречала его как родного, вскакивала при его появлении, выгибала спину, терлась головой об его ногу, широко зевая и облизываясь. «Как живешь, Фейге-

Лея?» — спрашивал Шолом, присев около нее на корточках и поглаживая ее по голове. «Мяу!» — отвечала Фейге-Лея тоном, который должен был означать: «Неважно! Дал бог свидеться — и то ладно!» — и продолжала тереться об его ноги, мурлыкала, поглядывая виноватыми глазами и ожидая, чтобы ей чего-нибудь дали.

— Бессловесная тварь! — говорил Коллектор со вздохом. Тогда Биньоминзон проглатывал свой кусок, оглядывал присутствующих и говорил, что у него есть по этому поводу стихотворение под названием: «И милосерден он ко всем созданиям своим». Не дожидаясь, чтоб его попросили, он закатывал глаза и начинал читать стихи.

## 60

### РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

*Экзамены на носу. — Герой и его приятель Эля строят воздушные замки. — Гимн победителю «третьего». — Шолом пишет директору Гурлянду письмо изысканным слогом. — «Клуб» в табачной лавке. — Гурлянд ответил, и воздушные замки рухнули*

Время шло. Дети подрастали. Наступило лето, последнее лето перед окончанием училища. Экзамены были на носу. Еще неделя, другая — и Шолом избавится от уездного, которое ему порядком надоело. Он никогда не чувствовал особой симпатии к «классам». Источником мудрости и знаний они ему никогда не служили. Больше он вкусил от древа, носившего в те времена наименование «просветительство». Книги русские и древнееврейские, газеты и журналы — вот те плоды, которыми он питался в изобилии. Во многом ему помог так называемый «клуб» — тогдашняя переяславская интеллигенция во главе с Коллектором, Биньоминзоном и «удачными зятьями». Идеалом же его был Арнольд из Подворок со своей огромной библиотекой.

Единственное, что связывало Шолома с училищем, был его друг Эля, которого он искренне любил за живой нрав, за умение совершенно артистически имитировать и изображать учителей. Вместе они проказничали, вместе читали книги, жили, как говорят, в свое удовольствие вдали от школьных товарищей, по большей части



тупиц. В то время как те готовились к экзаменам, дрожали, боялись провалиться, Шолом Рабинович и Эля плевали на все и об экзаменах даже не думали. Лето на земле — суший рай. Лучшее время для купанья, для катанья на лодке далеко-далеко вдоль высокого зеленого камыша у противоположного берега. Там, за рекой, поляны, усыпанная белыми и красными маргаритками, а дальше за поляной — лесок, вернее настоящий лес. Пуститься во весь опор через поляну, добежать, не переводя дыхания, до самого леса — дело не шуточное. Кто из них раньше добежит? А добежав, оба, задыхаясь, бросаются в зеленую пахучую траву и, лежа ничком, начинают ковырять сырую песчаную землю, где копошится мушка, разгуливает жучок, ползет муравей, таща за собой соломинку, кусочек коры или сосновую иглу. Кругом тишина необычайная, благодатная, усыпляющая тишина. Изредка она нарушается щебетом ласточек, которые проносятся низко над головой, — это к дождю; а то из-за далеких камышей доносится сиротливое кваканье одинокой лягушки. «Ква!» — и умолкло, — это тоже к дождю, хоть небо чисто и ясно, ни пятнышка на горизонте. Ощущаешь свою близость с этим вот лесом, полем, с маргаритками, влажной землей, с ароматными травами, с мушкой, жучком, ползущим муравьем, с летающими ласточками, с квакающими лягушками, со всей окружающей природой; в отдельности все это лишь частичка вселенной, а вместе, и люди в том числе, это один мир, одна семья, одно целое. И все движется, хлопочет, шуршит, шумит — настоящая ярмарка, целый мир, и мир этот называется «жизнью». Оба товарища чувствовали себя прекрасно в этом мире. Оба были довольны своей жизнью, не жаловались на прошлое, рады были настоящему и ждали еще лучшего от того, что впереди. Они вели тихую, мирную и бесконечную беседу, разговор без начала и конца. Большею частью беседа вертелась вокруг их будущего. Они составляли планы, строили воздушные замки и рисовали себе ту многообразную и красочную жизнь, которая обычно представляется воображению каждого молодого человека и которая никогда не бывает таковой в действительности...

Засиживаться здесь, однако, нельзя. Время не ждет. Экзамены все же не пустяковое дело. Хотя они в классе идут первыми, но мало ли что бывает — проваливаются и первые. Один только человек ни в чем не сомневал-

ся — это был Коллектор. «Какие там экзамены! Что им экзамены! Чепуха!» — говорил Коллектор, который дела Шолома принимал к сердцу ближе, чем родной отец. Поэтому никто не обрадовался так, как Коллектор, приятной весте о том, что Шолом и его товарищ Эля от экзаменов совсем освобождены.

— Слава богу! Мы свободны, свободны от экзаменов! Давайте пировать! — воскликнул Коллектор.

С большой радостью он в тот же день, к вечеру, притащил «сорванцу» на квартиру селедку и две французские булки, а в кармане бутылку водки, и они втроем (считая и поэта Биньоминзона) попиروвали на славу. На Биньоминзона, как он сам выразился, нашло вдохновение, и он тут же, на месте, сочинил гимн: «Победителю третьего воспоем славу!»

Под «третьим» подразумевался третий, и последний, класс училища. Тут возник новый вопрос: как быть дальше, какую выбрать дорогу? На сцене опять появились все наши старые знакомые: оба «удачных зятя», Арнольд из Подворок и все прочие добрые друзья и приятели, каждый со своим советом — гимназия, школа казенных раввинов \*, университет, карьера врача, адвоката, инженера. Отец был сбит с толку: столько путей, профессий, специальностей — голова кругом идет!

Из всех проектов остановились на одном: на Житомирском учительском институте, куда на казенный счет обещали принять двух отличных учеников — Шолома и Элю. Были уже отправлены бумаги в Житомир, директору института Гурлянду. Для большей верности Шолом приложил к своим бумагам письмо лично от себя, написанное великолепным, изысканным слогом на древнееврейском языке, для того чтобы показать директору Гурлянду, что он имеет дело не с каким-нибудь мальчишкой. Коллектор был вне себя от радости.

— Благословен бог-избавитель! — сказал он и протер влажной полкой свои темные очки (без очков лицо Коллектора выглядело опухшим, а веки были похожи на подушечки!), — сорванец уже пристроен. Это дело верное, иметь бы мне такой же верный заработок. Кем бы он ни стал, учителем или казенным раввином, — человеком он уже будет. И от призыва мы тоже гарантированы. Учителей и казенных раввинов в солдаты не берут. Осталось только сосватать хорошую невесту из приличного дома с каким-нибудь полуторатысячным

приданым — и все будет в порядке. Велите же, реб Нохум, подать бутылочку «церковного для евреев»!..

Однако Коллектор радовался преждевременно. А случилось вот что.

Ни одно из дел, за которые брался Нохум Рабинович, не давало достаточно средств к жизни. Но вот нашелся разбогатевший кулак Захар Нестерович, который был о Рабиновиче чрезвычайно высокого мнения, и сдал ему помещение под лавку и погреб в фронтальной части своего большого нового каменного дома; помог открыть торговлю табаком, гильзами и папиросами; сюда же перенесли и винный погреб «Разных вин Южного берега». Все это стало приносить немалый доход. Дом Нохума Рабиновича, как вы помните, всегда был чем-то вроде клуба, местом, где собирались молодежь и всякого рода просвещенные люди. Теперь этот «клуб» еще более оживился, его стали еще чаще посещать друзья, знакомые и даже случайные покупатели. Кто располагал свободной минутой и хотел повидать людей, узнать, что делается на белом свете, — заходил в «табачную» выкурить папиросу и потолковать о том о сем.

Однажды в «клубе», или в «табачной», собрались сливки переяславской интеллигенции. Тут были все наши знакомые: Иося Фрухштейн, оба «удачных зятя», Арнольд из Подворок, а также, разумеется, Коллектор в черных очках, поэт Биньоминзон и их юный друг Шолом. Шел оживленный разговор, поминутно прерываемый смехом. Рассмешил всех один из «удачных зятьев», Лейзер-Иосл. Он требовал от присутствующих пустяка — пусть каждый потрудится объяснить смысл слова «массивность» без помощи рук. Но так как для еврея объяснить такую вещь без помощи рук — дело совершенно невозможное, то каждый по-своему показывал руками значение слова «массивность». Вот это-то и вызывало хохот.

Внезапно, в самый разгар веселья, отворилась дверь, и вошел почтальон с заказным пакетом. На конверте было напечатано крупными буквами по-русски: «Канцелярия Житомирского еврейского учительского института».

— Ага, это от него, от Гурлянда!..

Пакет вскрыли и прочитали письмо директора Гурлянда. Письмо было такого содержания: «Ввиду того что курс обучения в институте четырехлетний, а из бумаг и метрики явствует, что обладатель их родился 18 февраля 1859 года, следовательно, он в 1880 году — всего лишь через три года — в октябре должен будет явиться на призыв, то есть за год до того, как закончит курс в учительском институте».

Письмо это было подобно разорвавшейся бомбе, грому среди ясного неба. Все заспорили, начали истолковывать смысл письма: как все это понять, почему Гурлянд не сделал ясного вывода? Нет ли средства, какой-нибудь заковыки, чтобы выпутаться из создавшегося положения? Напрасны были, однако, все дебаты и споры. Было ясно, как дважды два четыре, что игра проиграна, на поступление в институт шансов никаких. Метрики не переделаешь, а Гурлянд не такой человек, который пойдет на уступки. Пропало!

Герою нашей повести то время представляется как бы переходом из одного существования в другое: предстояло выбрать себе дорогу, выработать план действий, определить, так сказать, программу всей жизни. Между ним и его другом Элей было давно условлено, что они вместе поедут в Житомир, будут жить в одной комнате, вместе учиться, гулять, купаться, кататься на лодке... А когда наступят каникулы, они вместе поедут домой, и тогда-то они поразят товарищей своей житомирской формой, станут держаться в стороне от всех, будут говорить о Пушкине, Лермонтове, о Байроне и Шекспире, громко — пусть слышат и знают, что они не какие-нибудь сопляки... Товарищи будут прислушиваться к их разговорам, удивляться и завидовать. Девушки, стреляя глазками и краснея, станут, будто застегивая перчатки, вертеться возле них, чтобы завести знакомство, — словом, рай земной!

И вдруг мечты лопнули, как мыльный пузырь. Ни Житомира, ни института, ни купанья, ни катанья на лодке, ни каникул, ни девушек, никакого рая — с карьерой покончено! На отца жалко было смотреть. Он пожелтел, как воск; новые заботы, новые морщины и снова вздохи: «Господи, что делать? Как быть?» И поэту Биньоминзону стало не по себе; ему хотелось утешить Шолома хотя бы новой песней, но, увы, не поется!

Коллектора что-то вовсе не видно. Он раза два показался, сказал, что у него есть для «сорванца» великолепный план, который на всю жизнь обеспечит его самого, его детей и даже внуков, но, к сожалению, Коллектору сейчас некогда. Он ушел, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.

## К О Н Е Ц И Д И Л Л И И

*Что за человек был Коллектор? — Три рубля «с грамматикой» на праздник. — Смерть Коллектора. — Похороны. — «Странный это был человек». — Поэт Биньоминзон исчез и объявился в Америке*

Нет ничего вечного на земле. Пришел конец и описанной выше идиллии. Один из упоминавшихся здесь друзей ушел преждевременно, вслед за ним не стало и другого, и кружок распался. Почин сделал Коллектор, в темных очках и глубоких резиновых калошах, а за ним вскоре исчез и поэт Биньоминзон.

Что же, собственно, за человек был этот Коллектор? Откуда он взялся? Имел ли он на белом свете хоть одну близкую душу? Ради кого он трудился всю жизнь, изо дня в день месил грязь, обливался потом, дожидаясь главного выигрыша? На все это трудно ответить. Помнится только, что он частенько просил своего юного друга Шолома уделить ему минуту и написать своим красивым почерком адрес по-русски. И диктовал так: «Местечко Погост Пинского уезда Минской губернии госпоже Фрейдке Этке»..

— Госпоже Фрейдке Этке, — поправлял его Шолом соответственно грамматике, а Коллектор диктовал дальше:

— Со вложением три рубля...

— Трех рублей, — снова поправлял его Шолом соответственно грамматике.

— При чем же здесь грамматика? — упирался Коллектор. — Там не грамматика, а денег ждут на праздник.

Недаром у нас на Воляни говорят: литвак уедет, дороге снегом заметет. У Коллектора было обыкновение уйти на целую вечность. И сколько бы вы потом ни допытывались у него, где он пропал, никогда не добьетесь у него толку. «Был, не был, какая беда!»

И теперь Коллектор исчез куда-то, и никто не знал, где он.

Однажды, дело было утром, Шолом занимался с учениками у себя на квартире, как вдруг отворилась дверь и вошел отец. Шолом испугался: «Что случилось?» — «Ничего, Коллектор заболел. Нужно сходить проведать его».

По дороге Шолом узнал от отца, что Коллектору, собственно, давно нездоровилось, но в последнее время он совсем расхворался. Подробности, чем дальше, становились все мрачней. Коллектор, в сущности, опасно болен. «Есть опасения, что дела его очень плохи, то есть Коллектор при смерти, можно сказать». Разговаривая таким образом, отец с сыном достигли синагогального двора.

Двор синагоги залит лучами палящего летнего солнца. Целая орава полуголых, босых ребятишек играет в лошадки, оглашая воздух звонкими, задорными криками. Весело и оживленно на Еврейской улице. Как ни тесно здесь, как ни скученно, воздух все же живительно свеж. То тут, то там виднеется деревце, пробивается травка. Помои, вылитые прямо на улицу, прибавляют пыль, которую ребятишки (лошадки) подняли своей беготней. Как бы то ни было — на дворе лето, и божий мир хорош!

— Вот здесь живет Коллектор, — сказал отец, и они, придерживаясь руками за сырые стены, спустились в подвал, верней, в какую-то яму, открыли дверь с тяжелой железной щеколдой, и глазам их предстала такая картина.

На голой земле лежало что-то покрытое черным, вздутое бугром посредине. В изголовье оплывали две свечи, воткнутые в две бутылки разного цвета и разной величины. Посреди комнаты сидел на табуретке какой-то человек, очевидно, шамес, с всклокоченной бородой, в рваной капоте. По правую сторону, у стены, осиротевшие, стояли рядышком, словно близнецы, глубокие резиновые калоши, старые и рваные, а на подоконнике единственного окна валялись большие темные очки.

В тот же день состоялись и похороны. Можно себе представить, какими могли оказаться эти похороны, если покойник, во-первых, был бедняком — никто его знать

не знал, а во-вторых, слыл в городе скрытым вольнодумцем. Но так как в его проходах приняли участие такие люди, как реб Нохум Рабинович, Иося Фрухштейн, оба «удачных зятя» и Арнольд из Подворок (это были первые, если не единственные похороны, на которых присутствовал Арнольд), то город заинтересовался, и люди, глядя один на другого, начали собираться, процессия все росла и росла, и похороны совсем неожиданно вышли торжественными и импозантными. Нищие, калеки, почуяв богатую поживу, сползли из всех углов, хватали провожающих за полы, а затем подняли крик, чтобы родственники покойника шли перед носилками и раздавали милостыню. Трудно было убедить их в том, что умер бедняк, такой же нищий, как они.

— Чем же он заслужил такие похороны? — возмущались нищие. — Если это не богач и, как видно по всему, не раввин, то за что ему такая честь?..

Солнце еще пекло немилосердно, когда из темного подвала вынесли покрытые черным носилки. Двор синагоги и вся улица были запружены темной людской массой. Никто не был приглашен, люди сами пришли. Никто не плакал, но кругом слышались вздохи. Никто не произнес надгробного слова, не рвал на себе одежды, не прочел заупокойной молитвы, не собирался справлять траур. Но похвалы покойному слышались отовсюду, носились в воздухе: «Хороший был человек...», «Не святой, конечно, но хороший, славный человек...», «Поддерживал бедняков...», «Сколько бы ни зарабатывал — все отдавал, последний кусок...», «Жертвовал собой ради других...», «Для больных бедняков драл с живого и мертвого...», «Не любил, чтобы его благодарили...», «Никогда не говорил о себе, всегда думал о других...», «Станный был еврей», «Не странный еврей, а странный человек...», «Да, это человек...»

Это были тихие, но достойные похороны. Чувствовалось какое-то удовлетворение. Слава богу, человека вознаградили, если не при жизни, то хоть после смерти, хоть сколько-нибудь воздали ему за годы мучений, нужды, лишений и горя. Жаль только, что сам Коллектор не мог встать, пусть лишь на минуту, на одно мгновение, чтобы посмотреть, какую честь оказывают ему. А впрочем... Что знают люди?.. И в голове возникли мысли о бессмертии души, в которое покойный верил, хоть и слыл вольнодумцем. Быть может, душа следует за носилками

вместе с нами и ей известно больше, чем всем нам, много, много больше.

Толпа редела. До кладбища дошли только самые близкие друзья, весь «клуб». Место Коллектору отвели скромное, каким был он сам. Его похоронили в сторонке, насыпали бугорок на свежей могиле и разошлись. Никто не плакал, никто не произнес надгробного слова, не прочел заупокойной молитвы, не собирався справлять траур. Первое время в «клубе» еще иногда вспоминали о нем, потом перестали вспоминать и вовсе забыли.

Вскоре после этого исчез и поэт Биньоминзон. Долгое время никто не знал, куда он делся. Потом дошли слухи, что он в Киеве, а впоследствии имя Биньоминзона упоминалось в связи с «великой битвой», разразившейся между киевскими «мудрецами», с которыми мы еще встретимся в дальнейших главах. Его имя фигурировало рядом с именами Мойше-Арона Шацкеса \*, Ицхок-Якова Вайсберга \*, Дубжевича \*, Доревского \*. А много позже распространился слух, что Биньоминзон объявился в Америке, что он там «реверент» и с ним все обстоит «ол райт».

Вот так распался этот кружок, компания разбрелась, и не стало такой редкостной дружбы. Конец идиллии!

## 62

### ПОЛГОДА СКИТАНИЙ

*Одинокий и осиротевший. — «Человек с овчинами». — Герой отправляется искать счастья по свету. — Не вечно же быть гостем. — Конкуренция со стороны «учителей для девочек», местечковая зависть и вражда. — Музыкант Авром, своего рода Стемпеню. — Герой бежит с чужбины домой*

Потеряв таких близких людей, как Коллектор и Биньоминзон, герой настоящей биографии буквально места себе не находил. Он чувствовал себя осиротевшим. Еще более одиноким ощутил он себя, когда единственный его друг, Эля, уехал в Житомир. К этому невольно примешивалась и зависть. Шолом хорошо знал, что зависть — низкое, недостойное чувство. Но он ничего не мог поделать с собой. Ему было досадно, что товарищу выпало такое счастье, а ему нет. Неужели он должен быть наказан за то, что поторопился явиться на свет на несколько месяцев раньше товарища?



Из-за такого пустяка погубить карьеру, проиграть свое счастье! Уткнувшись лицом в подушку, он долго и горько плакал. Ему казалось, что небо низверглось на землю, мир погрузился в сплошной мрак. Но нет раны, для которой не нашлось бы бальзама, и лучший исцелитель — время.

Мы попросим читателя вернуться с нами в заезжий дом, который содержал Рабинович, и к его постоянным гостям. Среди этих постоянных гостей был один по прозвищу «человек с овчинами». Он скупал овчины и отправлял их к себе на кожевенный завод. Там шкуры чистили, красили, выделывали и шили из них крестьянские шапки и тулупы. Приближение «человека с овчинами» чувствовалось за две улицы. Овчина пахла так пронзительно, что первое время весь дом чихал не переставая. Потом у всех закладывало носы, и никакие запахи уже никем не ощущались!

Сам изготовитель овчин был славным человеком, простым, добрым, чистосердечным. Порядочный невежда, он плохо знал молитвы и к тому же шепелявил, но молиться все же любил громко, во весь голос. В пятницу вечером, когда наступало время «кидеш», он брал бокал в руку и, закрыв глаза, громко провозглашал: «И был день сестой, совершены небо и земля...»

Детвора скатывалась под стол от смеха. «Человек с овчинами» знал, что над ним смеются, но это его несколько не смущало.

— Салуны! Салопай! Разве можно смеяться над старсим, бог вас накажет, сарлатаны!..

Это вызывало еще больший смех. Смеялись и большие, и малые, и сам виновник веселья тоже смеялся.

«Человек с овчинами» во многом содействовал тому, что автор этого жизнеописания оставил родной город и отправился искать счастья по свету. И отправился он, упаси бог, не в Америку, не в Лондон или Париж, и даже не в Одессу, Варшаву или Киев, а совсем недалеко от Переяслава, в маленькое местечко Ржищев (Киевской губернии). «У нас в Ржищеве, — говорил «человек с овчинами» Нохуму Рабиновичу, — совсем нет учителей. Вашего сына там озолотят! У меня у самого дети, у друзей и знакомых дети, которым нужно учиться, а учителей нет, хоть ложись да помирай».

— Поверьте мне, вас сын будет у меня как родной... Зеница ока, сто и говорить!

Короче, он так разохотил отца и сына, что они не устояли против соблазна, сели на пароход и отправились в Ржищев.

Заехали они прямо к «человеку с овчинами» и оказались очень желанными гостями, их не знали куда и усадить. Самого хозяина они застали за работой — в фуфайке, без капоты, бссой, он сортировал овчины. Завидев столь уважаемых гостей, он прежде всего натянул сапоги, набросил на себя капоту и стал кричать не своим голосом:

— Сейне-Сейндл, ставь самовар, у нас гости!

Вскоре был подан самовар, стаканы, чай, и кофе, и цикорий, и молоко, и сдоба, какую еврей может себе позволить только в седмицу к молочной трапезе либо для роженицы. Обед был царский. Рыба фаршированная, рыба жареная, рыба вяленая; суп с лапшой, суп с рисом, суп с клецками — выбирайте, что хотите! О мясе и говорить нечего — всех сортов! И цимесов даже два сорта. Потом — опять самовар, снова чай, варенья, закуски. А когда дело дошло до ужина, хозяин стал допытываться у гостей, что они предпочитают из молочных блюд — блинчики, вареники или кашники. Гости скромно ответили, что им все равно. К столу, конечно, были поданы все три блюда, да еще кофе, и снова разные варенья. Отца уложили в зале на бархатном диване, сына — на другом диване, и постелили им, как стелют для короля и принца.

Наутро отец попрощался и уехал, а сын остался у «человека с овчинами» на полном пансионе, за что и должен был обучать его детей.

На другой день обед был уже не такой роскошный, как накануне. Обыкновенная каша с подливкой, кусок мяса — и все. Ужин, правда, и на этот раз был молочный, но состоял он из кусочка сыра и хлеба с маслом. Хлеба сколько угодно. Уложили теперь гостя не в зале и не на бархатном диване, а на железном сундуке, с которого он поднялся утром весь разбитый, с помятыми боками. На третий день обед состоял из вареной тарани с картошкой, отчего у Шолома появилась мучительная изжога. Ужина вовсе не было, только стакан чаю с хлебом. А уложили учителя на полу, подстелив выделанные овчины. Нужно было быть крепче железа, чтобы выдержать запах этих овчин. К тому же всю ночь вякал ребенок в люльке, прямо надрывался и не давал спать.

Коптила маленькая лампочка, голова наливалась тяжестью, а младенец все кричал и неистовствовал, так что жалость брала. Убедившись, что уснуть все равно не удастся, репетитор поднялся с овчин и подошел к ребенку поглядеть, отчего он кричит. Оказалось, что в люльку забралась кошка и расположилась там на ночлег, как у себя дома. Перед учителем встала дилемма: выбросить кошку — жалко, ведь живое существо! Оставить кошку — ребенок плачет. И ему пришла в голову блестящая мысль (умный парень никогда не потеряется): покачать люльку — и кошка сама убежит. Это он знал из практики. Ему не раз приходилось наблюдать подобное и у себя дома, и в хедере. Существовал обычай — перед тем как уложить ребенка в новую колыбель, покачать в ней кошку. Негодная, однак, ни за что не позволяла себя качать. Едва только уложишь ее и начнешь качать, как она сразу вскочит, готовая всем глаза выцарапать. Так случилось и теперь. Чуть репетитор коснулся люльки, кошка вскочила и скрылась. Зато младенец, почувствовав, что его качают, успокоился, перестал кричать и вскоре уснул. Утром, когда Шолом рассказал о случившемся матери, она, лаская младенца (долгие годы ему!), осыпала кошку страшными проклятиями. Но то, что учитель целую ночь не спал, ничуть ее не тронуло.

Сообразив, что ничего хорошего из такой жизни не выйдет, учитель решил снять квартиру со столом в другом месте и попрощаться с овчинами. И тут начались настоящие беды, горести и напасти: целая вереница сварливых хозяек, надоедливые тараканы, злые клопы, шныряющие мыши, крысы и прочая дрянь. Но все обиды, все напасти были благом по сравнению с интригами его конкурентов — учителей. Меламеды, «учителя для девочек», которые ожесточенно конкурировали между собой, все вместе повели борьбу против нового учителя из Переяслава. Они забросали его грязью с головы до ног. Послушать их, так это был уголовный преступник, вор, убийца — все, что есть самого худшего на свете. Они распустили о нем такие сплетни, что он молил бога о скорейшем окончании учебного сезона, лишь бы выбраться живьем отсюда. Время, проведенное в Ржищеве, было для него каким-то кошмаром, дурным сном. Единственный дом, куда он заходил и где чувствовал себя по-человечески, был дом музыканта Аврома. Артист по

натуре, настоящий художник, музыкант Авром заслуживает того, чтобы о нем поговорить особо.

Это был высокий широкоплечий человек, круглолицый, с маленькими глазками под густыми бровями и с длинными черными выющимися волосами. Скрипка в его больших волосатых, с широкими ладонями руках казалась игрушкой. Нот он не знал, но, несмотря на это, были у него свои композиции. А играл он так, что, слушая его, замирало сердце. Это был своего рода Стемпеню, возможно, даже на голову выше его. И в жизни это был тот же Стемпеню — личность необычайная, поэтическая натура и, кстати, большой поклонник красивых женщин и девушек. Зато жена его нисколько не походила на ту ведьму — супругу Стемпеню. Наоборот, она была музыканту как раз под пару — такая же высокая, большая, красивая и широкая. Немного даже чересчур широкая. Из нее с успехом можно было выкроить трех женщин. И характером она как две капли воды походила на мужа. Оба они были невозмутимы, всегда веселы, в хорошем настроении, постоянно смеялись, любили хорошо поесть, всласть попить, пожить в свое удовольствие. Когда у них появлялись деньги, накопили всего наилучшего, самого дорогого. Не было денег — клали зубы на полку и ждали, пока бог пошлет какой-нибудь заработок. Тогда они «зарезжут» селедку и устроят пир горой. Детьми их бог не обидел: детей была целая куча, и все природные таланты. Все отлично играли на различных инструментах и вместе составляли прекрасный оркестр.

Сюда-то и зачастил наш просвещенный учитель из Переяслава. Здесь он чувствовал себя как рыба в воде. Сам маэстро учил его играть на скрипке. За это он с Шолома ничего не брал. Музыкант Авром не такой человек, чтобы брать деньги за святое искусство, за божественную музыку. «Но если учитель располагает деньгами, то он займет у него немного». То же самое и жена музыканта. Ей как раз не хватает мелочи, чтобы сходить на базар... «Нет ли у вас при себе немного мелочи?»

Разумеется, мелочь всегда находилась. И вот так Шолом стал в этом доме совсем своим человеком, почти родным. И этого было достаточно, чтобы оклеветать нового учителя, облить грязью его самого, музыканта, а также жену музыканта и всю его семью. Конкуренты

растрезвонили по городу, будто все, что зарабатывает переяславский учитель, он отдает жене музыканта, что каждую ночь устраиваются вечеринки — музыкант играет, а учитель пляшет с музыкантшей, гуляют всюю. Им, этим гулякам, видно, мало дела до того, что бедняка пухнут с голоду, что мрут маленькие дети. Рассказчик делал при этом благочестивое лицо, возводил очи горе, а слушатели плевались... При чем тут бедняки, зачем приплели сюда малых детей, что означали эти плевки? Об этом нечего спрашивать. Там, где говорит конкуренция, здравый смысл молчит. Короче говоря, Шолом еле дотянул до конца сезона и без оглядки бежал домой из проклятого местечка, заказав детям и внукам своим не давать уроков в маленьких местечках. Нет, он решил искать для себя другую жизненную карьеру.

63

С Н О В А Д О М А

*Сладость возвращения в родной дом. — Шолом вновь встретился со своим приятелем Элей. — В городе поговаривают, что он пишет в «Хамагид»\*. — Дарвин, Бокль и Спенсер\*. — Два типа экстернов*

Ничто не звучит так сладостно, как слово «мама». Ничто не говорит сердцу так много, как слово «родина». Чтобы по-настоящему оценить родной дом, нужно хоть на некоторое время оставить его, поскитаться на чужбине, а затем вернуться обратно в родное гнездо. Каждая вещь в доме тогда преобразится, приобретет новую прелесть. Все станет вдвое милей и дороже. И сам точно обновился, точно рожден заново.

Вернувшись к Новому году домой, Шолом первым делом отправился гулять по городу, обошел все улицы и нашел все дома, дворы и сады на своих местах. Люди, которых он встречал, тоже мало в чем изменились. Они дружески здоровались с ним, и он был со всеми приветлив, насколько мог. Только молодняк немного вытянулся и подрос, сам он, как его уверяли, тоже подрос и возмужал. К тому же он разodelся щеголем: ботинки со скрипом, на высоких каблуках, брюки длинные и широкие по моде, коротенький пиджачок и светлая с желтоватым оттенком мягкая шляпа. Волосы он

отпустил длинные, кудри поэта, с зачесом книзу а-ля Гоголь.

Совершенно по-иному выглядел друг Шолома — Эля, который тоже только что приехал на праздники из Житомира. На нем была форма, которая состояла из коротенькой застегнутой доверху куртки, коротких узких брюк и синей фуражки с широким козырьком. Голова была по-солдатски острижена, грудь колесом, глаза веселые. Эля вдосталь не мог нахвалиться своим институтом. Там проходят, рассказывал он, высшую математику, русскую литературу, занимаются гимнастикой, а еврейскими предметами — чуть-чуть: раздел из Пятикнижия, глава из Пророков — и все тут. «Так вот она, премудрость, которую преподают в учительском институте! И этот вот Эля будет учителем или раввином у евреев?»

Шолом был поражен также и тем, что приятель его привез из еврейского института целую кучу русских песен и ни одной еврейской, как будто он приехал из бурсы, из духовной семинарии. Это, однако, не мешало им оставаться такими же добрыми друзьями, как и прежде. Они всюду бывали вместе, всегда вдвоем. У обоих достаточно было тем для разговоров, а еще больше — для насмешек и вышучивания горожан. И, как в прежнее доброе время, они уходили к реке, нанимали лодку и уезжали далеко за город.

Миновало лето. Холода еще не наступили, но зелень на полянах уже исчезла. От белых и красных маргариток не осталось и следа. Камыш на болоте еще стоит, но пожелтевший и поредевший. Лесок стал красноватым. Прошло то время, когда можно было растянуться на земле; она сырая теперь, вязкая. Отыскав в лесу поваленное дерево, друзья присаживаются на нем отдохнуть и рассказывают друг другу все, что пережил каждый из них за полгода разлуки, ни одной мелочи не пропускают. Они делятся впечатлениями, рассказывают подробности всяких встреч и происшествий. Удивительней всего, что, смеясь и говоря разом, перебивая друг друга, каждый из них все слышит и понимает, и оба довольны и счастливы.

Потом друзья умолкают. Каждый углубляется в себя, заглядывает в собственную душу, остается один со своими мыслями. Да, они самые близкие друзья, они очень рады встрече и рассказывают друг другу все, решительно

все, и, однако, не до конца. У каждого свои мысли, свой идеал, свой собственный мирок, куда никто, даже лучший друг, не должен проникать.

Становится прохладно. День угасает. Садится солнце. Лес окутывается тонкой дымкой. Слышно, как падает шишка. Оба стряхивают с себя оцепенение.

— Не пора ли домой?

— Да, пора домой!

Они встают, пересекают поляну по протоптанной кривой узенькой дорожке, садятся в лодку и, затаив песню (не еврейскую, а русскую), скользят по узкой, извивающейся речонке мимо пожелтевшего камыша. Домой они добираются уже затемно. Щеки у них пылают, глаза блестят, аппетит велик; по дороге они покупают сладкий арбуз, две свежие, мягкие, еще теплые французские булочки и устраивают пиршество. Им весело, и они смеются, беспричинно и беззаботно.

Со стороны могло казаться, что оба одинаково довольны, одинаково счастливы — молодые, здоровые ребята, чего им не хватает! В действительности только один из них (Эля) был по-настоящему счастлив, второй же (Шолом) ощущал какой-то надлом, чувствовал, что он не на верном пути. Единственным слабым утешением было для него то, что в городе только и говорили о его мастерском чтении торы в синагоге, о его знании Библии и древнееврейского языка и об умении писать. Для его друга все это было недоступно, скрыто за семью печатями. Где ему, Эле, так писать по-еврейски и по-древнееврейски, таким изысканным слогом! К тому же он, сын Нохума Рабиновича, как свои пять пальцев знает всю просветительную литературу и читает газету «Хамагид». Удивительно, что он и сам не пишет в «Хамагид». Впрочем, откуда это известно, что он не пишет? Может, и пишет под каким-нибудь вымышленным именем!

Так поговаривали в Переяславе, где имя Шолома было окружено ореолом. От этого юноша и сам вырос в собственных глазах. Он держался солидно, не искал дружбы с прежними приятелями-сорванцами. Записавшись в городскую библиотеку, носил домой толстые книги; читал Дарвина, Бокля и Спенсера. Общался он с известными в городе просвещенными молодыми людьми. Это были самоучки, которые благодаря своей усидчивости и упорству прошли курс наук, одолели латынь и греческий, усвоили геометрию, алгебру, тригонометрию, пси-

хологию, философию и были готовы хоть сегодня поступить в университет, имей они хоть какие-нибудь средства. Вот два типа первых переяславских экстернов: одного звали Хайте Рудерман, другого — Авремл Золотушкин. Оба они уже покойники и заслуживают хотя бы нескольких строк в этих воспоминаниях.

Хайте Рудерман жил далеко за городом, оторванный от мира и людей. Это был сын меламеда Мойше-Довида Рудермана, изображенного в первой части нашей повести, и брат Шимона Рудермана, который собирался креститься, но которого город вызволил из монастыря и отправил в Житомирскую школу казенных раввинов. Хайте совсем не походил на своего бледного, страдавшего одышкой брата Шимона. Это был красивый малый, здоровый, широкоплечий, с пухлыми красными щеками. Меламед Мойше-Довид умер от астмы, и вдова его, мать Хайте, стала поварихой на чужих свадьбах, искусно пекла коврижки. Это давало ей средства на содержание себя и сына, который знал лишь одно — книги, книги и книги. Он совершенно ни с кем не общался. Редко кто удостоивался разговора с ним. Но всем было известно, что Хайте много знает, Хайте сведущ во всем, Хайте глубок. Кому выпадала удача встретиться с ним, бывал поражен неизвестным философом. Разговорившись, Хайте метал громы и молнии, низвергал всех и вся, испепелял мир. Его язык был остер, как стрела, смех — полон сарказма, остроты — язвительны. Откуда этот отшельник так хорошо знал мир? Это остается загадкой. Как-то летом он выкупался в реке, простудился и умер от туберкулеза двадцати двух лет.

Второй философ — самоучка Авремл Золотушкин — не был отшельником и не скрывался от людей. Это был жизнерадостный парень, жгучий брюнет, черный, как арап, с огненно-черными глазами, черными кудрями, белоснежными смеющимися зубами и слегка хрипловатым голосом. Одевался он по-английски — клетчатые брюки, причудливая шапочка на голове, зимой — чудовищной ширины крылатка. Начитан Золотушкин был сверх меры, Гейне он знал наизусть, но больше всех любил Диккенса, Теккерея, Свифта, Сервантеса и нашего Гоголя. Он и сам был юмористом, тайком писал юмористические сочинения, но не хотел ни показывать, ни печатать ни единой строчки. Человек, погруженный в себя, упрямец по характеру, насмешник, он часто поступал наперекор



людям. Все годы Золотушкин служил писарем в мещанской управе и этим жил. Почерк его был так же кудряв, как и его волосы. Умер он в сорок лет старым холостяком.

Таковы были два светила, в орбите которых вращался и Шолом; он заимствовал от них, что только мог. Между собой эти светила вели непримиримую вражду — огонь и вода. Они никогда не встречались, даже не знали друг друга в лицо и тем не менее пылали такой ненавистью, что при одном нельзя было упомянуть имени другого. Мы еще, возможно, встретимся с ними в дальнейших главах.

## 64

### ХОРОШЕЕ МЕСТО

*Безделье. — По совету Исроэла Бендицкого отец пишет письмо «магнату». — Герой снова пускается в свет и остается с одним пятакон в кармане. — У врат рая. — Холодный прием*

Как же быть дальше?

Все профессии, которых раньше намечалось великое множество, превратились в дым. Уроков не стало, ехать учиться было не на что. Сидеть же у отца на шее было тоже не очень приятно, особенно после недавней самостоятельной жизни. Хотя отец и гордился своим образованным сыном, его огорчало и старило, что сын не приспособлен ни к какому делу. Что сулит ему будущее? Мачеха, которая смотрела на самостоятельного пасынка с некоторой долей почтения, теперь потеряла всякое уважение к «бездельнику». Она понемногу вернулась к старому: бросала косые взгляды, говорила колкости, делала двусмысленные намеки. Все это причиняло страдания отцу, а сам герой углублялся в свои книги или, надвинув кепку на глаза, брал тросточку и уходил к упомянутым философам, к Хайте Рудерману или к Авремлу Золотушкину. Он любил спорить с ними на отвлеченные темы, обсуждать мировые вопросы. Пессимист Хайте Рудерман, по своему обыкновению, поносил великих людей, не признавал авторитетов и плевал на весь мир. Оптимист Золотушкин читал на память целые страницы из Гейне и Берне \*, каждого с особой интонацией, теребя при этом прядь своих курчавых волос и приходя в возбуждение,

как пламенный хасид, повторяющий изречения своего ребе.

Все это, однако, было только средством для препровождения времени. В душе чувствовалась пустота от напрасной траты энергии сил. Шолом тосковал по работе. Он рвался в мир. Жизнь была ему не мила. Он сам себе надоел и опротивел.

И тут бог, который никого не оставляет, обратил свои взоры на растерявшегося героя этой биографии. На помощь пришел приятель отца, Исроэл Бендицкий. Этот человек, хотя был всего только музыкантом, пользовался в городе репутацией почтенного обывателя. Играл только на пышных, богатых свадьбах и считал себя дирижером и капельмейстером. Основной же доход давал ему солидно поставленный заезжий дом. Бендицкий был также единственным в городе фотографом. Представительный, высокий, с на редкость красивой закругленной черной бородой, он хорошо одевался: носил черную суконную крылатку, высокую шляпу и кожаные калоши на модных каблуках. И языком он отличался весьма отшлифованным, речь его была сладкой и округленной. Изъяснялся он большей частью по-русски, словечками вроде «видьтели», «между прочим», «следовательно».

Этот Бендицкий был частым посетителем «клуба», то есть табачной лавки Рабиновича, куда он заходил поболтать. Однажды во время беседы Бендицкий, между прочим, рассказал, что на днях у него проездом остановился один богач, туз, настоящий магнат, некий К. из маленького местечка Т. (Киевской губернии). Это, пожалуй, скорее деревня, чем местечко. Магнат ищет хорошего учителя для своих детей, репетитора, который отлично знал бы русский и еврейский, был бы вполне образованным человеком и, между прочим, из хорошей семьи.

Оказалось, что отец знает этого «магната» еще издавна. В прежние времена, когда К. был еще маленьким человеком и вертелся вокруг помещика, он останавливался в заезжем доме Рабиновича и был, что называется, «свой брат». Услышав это, Бендицкий заявил: «Следовательно, сам бог направил меня к вам. Если так, я советую вам тут же сесть и написать хорошее убедительное письмо, между прочим, по-древнееврейски, как вы умеете, чтобы это было достойно такого «магната». А парень ваш, «видьтели», пусть, не теряя времени, едет с этим письмом в Т. и, в добрый час, получит это место. Аминь».



Так и сделали. Сочинили письмо, прекрасное, пламенное письмо, в изысканном стиле, таким языком, который растрогал бы даже камень. Одно обращение заняло три длинных строки, и в них было перечислено столько отменных качеств и достоинств адресата, что, обладая он только одной третью их, и тогда он являлся бы совершенством. Вооруженный такой солидной протекцией, юный репетитор вновь отправился искать счастья по белу свету. Лишних денег с собой у него, по правде говоря, не было. Аккредитива в банк он тоже не имел. То небольшое, что заработал уроками, он большей частью растранижил, разодевшись, как принц, остальное ушло на дорогу. И кроме того, ведь он живой человек, на каждой станции поезд останавливался, пассажиры высыпали из вагонов и мчались к буфету. Одни прикладывались к рюмочке, другие глотали горячие пирожки;



инные требовали чаю или бутылку содовой. Наш путешественник проглатывал что-либо на скорую руку и давал официанту на чай щедро, словно банкир какой или офицер — знай наших! И так на каждой станции. Небольшие его капиталы быстро уходили, таяли, как снег на солнце. В кошельке уже болтался разве пятак какой-нибудь. Но стоит ли об этом думать? Человек едет на готовое. Его ждет такое место! Он ведь вооружен мощной протекцией — чего ему бояться?

Приехав в Т. под вечер, герой спохватился, что он чист, карманы у него пусты, все его богатство составляет один пятак. Но это не заставило его задуматься ни на минуту. Напротив, никогда в жизни он не чувствовал себя так хорошо. Чего стоило уже одно то, что он освободился от ржищевских учителей-интриганов, от тара-

канов и клопов! Полной грудью вдыхал он бодрящий осенний воздух. Солнце давно уже село за лесом, пахнувшим дубом и сосной.

Выскочив из вагона, юный репетитор сразу отправился к богачу, чтобы передать ему письмо. Так нужно же было этому «магнату» поселиться бог весть где, вдали от города, в белом дворце среди большого зеленого сада, окруженного крашеной узорной решеткой. Проникнуть к нему было не так легко, как казалось, трудней даже, чем к какому-нибудь помещику. Впрочем, человек, снабженный такой солидной протекцией, может смело идти даже к самому царю... Так думал наш герой, и он жестоко ошибался. В конце концов и райское блаженство не стоит тех трудностей, которые приходится преодолеть на пути к нему. Оказывается, чтобы подступиться к такому богачу, нужно пройти все семь кругов ада. Чтобы удостоиться лицезреть самого «магната», необходимо прежде всего преодолеть три препятствия. Но даже одолев их, вы еще не уверены, что добились своего. Вы можете уйти отсюда с тем же, с чем пришли. Каковы же эти три препятствия? 1. Сторож — высокий, жилистый, кривоногий мужик, переваливающийся при ходьбе с ноги на ногу. Зовут его Пантелей, а служба его состоит в том, что он сидит у ворот, как некогда Мордухай у царя Артаксеркса \*. 2. Черный пес — одноглазый, как Валаам \*. Зовут его Жук. Это собачье отродье сидит на цепи, иначе оно бы раздирало людей на части. 3. Лакей — малый в грязной манишке, с золотым перстнем на пальце и пробором точно посередине головы. Черные волосы его густо напوماжены и издают смешанный запах одеколona и лука, а уши его полны грязи и ногти окаймлены черным.

Пройти эти три инстанции — дело нелегкое. Прежде всего вы должны познакомиться со сторожем Пантелеем, ибо, завидев чужого человека, он обязательно спросит: «Чего надо?» Извольте рассказать Пантелею историю о письме и о должности. Однако Пантелей — мужик неплохой, и пятак для него тоже деньги. Уплыл последний и единственный пятак, зато они с Пантелеем стали добрыми друзьями. Гораздо страшнее сторожа собака. Она, правда, на цепи, но собака всегда остается собакой. Она лает, прыгает и рвется с цепи изо всех сил. Счастье, что Пантелей рядом. Он цыкает на собаку, ругает ее почем зря и читает ей длинную нотацию. Но самое тяжкое —

третья инстанция — лакей. Этот корчит из себя важную персону, выпрашивает каждую мелочь, учиняет целый допрос: «Кто вы такой? Откуда явились? Что вам нужно?» Наглый парень. От него лучше держаться подальше, смотреть свысока, иначе он вам на голову сядет. Герой настоящего повествования знает это по собственному опыту. Лакей допрашивал его с пристрастием: от кого письмо? Что в нем? Какое у него дело к хозяину? Место? Какое место? На заводе или в «экономиях»? Если на заводе, то все места заняты, если в «экономиях», то и там никого не нужно. Разве только учителем? Но и на это место охотников предостаточно. Вот ходит, например, один в крылатке, очень приличный учитель, но есть недостаток — глуп, просто кочан. Зато не лишен достоинств — он с бородой, паничи и барышни будут относиться к нему с почтением.

— Вас они не станут уважать, слишком молоды. Они вам голову свернут. О, наши паничи и барышни! Хорошо, если бы их всех в один день холера передушила! — заканчивает лакей, добавив еще несколько теплых слов, затем он берет у Шолома письмо, кладет его на серебряный поднос и исчезает в дальних апартаментах. Через несколько минут лакей возвращается с пустыми руками и без всякого ответа. Письмо, сказал он, «магнат» вскрыл, взглянул на него и отложил, не читая, в сторону.

В чем дело, мы увидим впоследствии.

## 65

### ВО СНЕ И НАЯВУ

*На постоялом дворе в маленьком местечке. — «Рыжий Берл» все выпытывает. — Герой ложится спать голодным и уносится в мир грез. — Снова «клад». — Он встречается с дочерью «магната», и его мечты улетучиваются как дым*

Встретив у «магната» столь холодный прием, наш герой тем не менее не потерял бодрости духа и надежд своих не оставил. «Мало ли что может себе позволить богач! — думал он. — Может быть, ему не до того было! Что же, не сегодня, так завтра». А время между тем идет. На дворе темнеет. Нужно подумать о ночлеге, найти пристанище. Шолом пустился на поиски и обнаружил

единственный в местечке постоянный двор — избышку на курьих ножках. Хозяин, совсем еще молодой человек, оказался близким родственником «магната». Он был рыжий, с огненно-красной бородой, и звали его «рыжий Берл». Разговаривал он закрыв глаза и усмехаясь. Станный человек! Он интересовался каждой мелочью. Ему нужно было знать о всех ваших делах, и он готов был в любую минуту помочь вам, чем только возможно. Так, по крайней мере, он говорил. Он может вам дать совет, исполнить поручение, замолвить за вас словечко у своего богатого родственника и поддержать скромным обедом, стаканом чаю. Самовар все равно на столе. Чай пьют все — кто хочет и кто не хочет.

Выпытав у юного гостя, кто он такой и кто его отец, хозяин заявил, что отца он знает очень хорошо — не раз останавливался в заезжем доме Нохума Рабиновича. И потому Шолом стал ему еще милее, совсем желанным гостем. А раз так, пусть помоем руки и идет к столу вместе со всеми. Но гостю не очень нравилось, что на него смотрят как на нищего. Он был достаточно горд, чтобы не есть дарового хлеба у бедняка, который питается, должно быть, крохами со стола богатого родственника. И Шолом соврал, что он не голоден, он уже поел.

Сколько ни пристаивал к нему рыжий Берл, чтобы он сказал, какое у него дело к богачу, авось Берлу удастся ему помочь, Шолом ничего не хотел говорить. Самолюбие не позволяло ему допустить чье-либо вмешательство в его дела, тем более человека постороннего, да еще рыжего.

Рыжий Берл все выпытывал у него. А парень прикидывался простачком, будто не понимал, чего от него хотят. Оказалось, однако, что Берлу очень хорошо известно, какое дело у Шолома к его богатому родственнику, но ему хотелось услышать это от него самого. И Берл рассказал Шолому, что вот, мол, родственник его, «магнат», ищет учителя для своих детей и разрезвонил об этом по всему миру, и бросились к нему учителя, молодые и старые, с протекциями и рекомендациями из Богуслава, Канева, Таращи... «Люди гоняются за заработком, ищут кусок хлеба!» — закончил рыжий Берл, и слова «заработок», «кусок хлеба» прозвучали для нашего молодого героя оскорблением. Но это бы все ничего, так рыжий подлил еще масла в огонь. «Жалко смотреть на

этих кандидатов, — сказал он, — бедняги попросту голодны». Шолому казалось, что рыжий метит прямо в него. Он, видно, знал, что наш герой ложится спать голодным.

Снится ли это Шолому, или он грезит наяву, но ему приходит в голову дикая мысль, что никакого письма он «магнату» не передавал, а прямо поступил к нему слугой, что он у него «человек», как все «люди». Однако он понравился «магнату», и тот призывает его к себе и спрашивает, кто он и откуда. Увидев, с кем имеет дело, «магнат» дает ему повышение. Через некоторое время Шолом становится главноуправляющим над всеми «людьми» и над всем «двором». И сторож Пантелей, и собака Жук, и наглый лакей — все трепещут перед ним. И он шлет домой письмо, написанное по-древнееврейски, изысканным слогом, и не только письмо он шлет, но и несколько хрустящих сотенных — подарок отцу к празднику. В письме Шолом подробно описывает свое величие и богатство, рисует картину своего выезда на шестерке цугом. Люд спрашивают: «Кто это едет?» И им отвечают: «Неужели вы не знаете, кто это такой? Ведь это главноуправляющий...» — «Такой молодой?»

На дворе уже давно день. Из кухни рыжего Берла слышится стук ножей и доносится запах свежего, только что выпеченного хлеба и топленого молока. Быстро одевшись, герой спешит «ко двору», получает аудиенцию у лакея и узнает, что «магнат» письма еще не читал... Огорченный, возвращается он обратно на постоялый двор и встречает хозяйина. Прищурив, по своему обыкновению, глаза, рыжий Берл спрашивает его просто так, притворившись, что не знает: «Что нового?» — «Пока ничего», — отвечает наш юный гость. Ускользнув от рыжего в свою каморку, он растягивается на кровати и зажимает нос, чтобы не слышать запаха маринованной селедки и нарезанного лука, который щекочет ему обоняние и возбуждает аппетит. И, чтобы отогнать соблазн, он закрывает глаза и погружается в раздумье. Мысли подхватывают его и уносят на крыльях разгоряченной фантазии в мир грез, в волшебный мир сладких, золотых сновидений. Он любит забираться туда, когда остается наедине с собой. Туда никто не имеет доступа, даже самые



близкие друзья. Это страна чудес, которая досталась ему по наследству от Шмулика, товарища прежних лет, — мир кладов чудодейственных камней, один из которых называется «яшле», а другой — «кадкод». Потрешь первым камешком лацкан: «Пусть явится, пусть явится передо мной!» — как сразу появится завтрак: горячие ароматные булочки и сдобные коржики, которые тают во рту. Запах горячего кофе с молоком струится по всему дому. Не успевает Шолом притронуться к кофе, как на столе появляется жирный бульон с клецками, четверть курицы, жареная утка с морковью и пудинг из мацы на гусином сале. И вино двух сортов: красное — «церковное для евреев» и белое — из «Выморозков Южного берега». Эти вина отец обычно приберегал к пасхе для избранных, для настоящих знатоков.

Покончив с великолепным завтраком, Шолом чувствует потребность в отдыхе. Он трет лацкан вторым камешком: «Пусть явится, пусть явится передо мной!..» Не успевает он вымолвить эти слова, как переносится в хрустальный дворец, в котором двенадцать покоев. Стены оклеены ассигнациями, и все сторублевыми, полы выложены серебряными монетами и обрамлены золотыми червонцами. Мебель там из белой слоновой кости, и обтянута она вся бархатом. Куда ни глянешь — всюду золото, серебро, драгоценные камни. Вокруг дворца сад с прекрасными плодами. Невдалеке протекает речка, в которой плавают золотые рыбки. Слышна божественная музыка, играют лучшие в мире скрипачи, а сам он, герой наш, ничего не делает, только полными пригоршнями раздает добро — кому золото, кому серебро, кому драгоценные камни, кому просто несколько целковых наличными, а то и еду и одежду. Он никого не обделяет, даже злейшего врага. Наоборот, врагам он дает больше, чем друзьям, пусть чувствуют...

Пробужденный от своих фантазий, голодный мечтатель вскакивает и со стесненным сердцем снова отправляется «ко двору магната». Он уже там свой человек. Сторож беспрепятственно пропускает его, собака не кидается на него, и лакей с ним запанибрата. Он хлопает юношу по плечу и сообщает радостную весть: он уже говорил об учителе, не с хозяином, конечно, а с его дочерьми. В эту минуту появляется одна из дочерей «маг-

ната» — толстая девица, краснощекая, с толстыми икрами и вздернутым носом, в коротеньком платьице. «Вот это он и есть!» — указывает на Шолома лакей. Толстая девица оглядывает учителя с ног до головы, закрывает лицо руками и, разразившись громким смехом, убегает.

## ИСТОРИЯ С ЧАСАМИ

*В поисках средства против голода. — Часы с историей. — Диалог между юношей и старым часовщиком. — Комбинация не удалась, а голод все усиливается*

А письма «магнат» все еще не прочитал. Это уже задевает самолюбие героя, и он уходит взбешенный! Как, письмо его отца валяется непрочитанным! Это возмущает его сильнее всего, это причиняет ему больше страданий, чем голод. А голоден он, как собака. Он места себе не находит, его качает, все время сосет под ложечкой, сводит живот. Шолом покрывается холодным потом, он начинает обдумывать, что бы он мог продать, чтобы добыть немного денег и купить чего-нибудь поесть. Случись это в большом городе, можно было бы заложить пиджак и получить несколько монет...

Шолом ощупывает карманы, и мысль его останавливается на часах. Куда бы их пристроить? Заложить не у кого. Разве продать? Ему вспоминается вывеска с большим циферблатом, которую он видел утром на базаре: «Часовых дел мастер». Вот кому можно продать часы. Больших денег он, конечно, не выручит, но, сколько бы ни дали, будет достаточно, чтобы утолить голод.

Скверная штука — голод! Мало того что сосет под ложечкой да руки и ноги дрожат, так еще и позор! Такой позор!.. Нужно пристроить часы. Но часы нашего героя не просто часы, а часы с историей, в своем роде исторические часы. Поэтому необходимо прежде познакомиться вас с их историей.

Случилось это в те времена, когда автор этих воспоминаний находился в зените своей славы репетитора, в родном городе у него было уроков гораздо больше, чем может пожелать себе молодой учитель. Одного только ему не хватало — часов. И для приобретения их он сколотил уроками небольшой капиталец. Лучшее время

для покупки часов — спасская ярмарка. Тогда в Переяслав съезжаются торговцы чуть ли не со всего света. Все, что можно себе вообразить, вы найдете на этой ярмарке.

Встав однажды утром, наш герой захватил тросточку и отправился на ярмарку, к палаткам и лавкам, где выставлены золотые изделия и прочие дорогие вещи. Спасская ярмарка бывает в конце лета, примерно в августе. К этому времени поспевают арбузы и дыни. Яблоки и груши лежат кучами на возах и на земле. Торговцы бегают, как затравленные крысы, озабоченные и вспотевшие. Они делают дела, зарабатывают деньги. Цыгане божатся, лошади ржут, овцы блеют, в мешках визжат поросята. Слепой нищий играет на бандуре, женщина продает бублики, мальчишки разносят квас, и все галдят, все кричат, оглохнуть можно.

Разгуливая в задумчивости по ярмарке, Шолом наткнулся на еврея в грязной манишке, с красным прыщеватым лицом и со странно бегающими глазами. Еврей этот остановил его и, подмигнув плутовскими глазами в сторону высокого худого пана с длинными, закрученными кверху усами, в польской шапочке, тихо шепнул осипшим голосом:

— Вот этот господин продает одну вещицу за полцены. Взгляните, что вам стоит!

В тот же момент возле Шолома очутился и сам пан. Оглядевшись по сторонам, он достал из кармана бумажный сверток, развернул его, и героя внезапно ослепил блеск новеньких золотых часов. Показав часы на расстоянии, пан тотчас снова завернул их в бумагу и спрятал в карман, не говоря ни слова. Говорил только еврей:

— Сущя находка! Ему сейчас очень нужны деньги. В этих часах одного золота рублей на сто будет.

— Сколько же он просит за часы?

— Я думаю, половину возьмет — пять красненьких. Сущя находка! Я бы сам охотно купил, но у меня нет при себе столько денег.

— У меня тоже нет, — сказал Шолом, щупая свой карман.

— А сколько у вас есть? — спросил прыщеватый.

— У меня всего четвертная.

Сверкнув плутовскими глазами, еврей протянул ему руку:

— В добрый час!

В одно мгновение деньги были уплачены, и золотые часы перешли к покупателю. И тут у него екнуло сердце: а вдруг часы ворованные? Его уже не радовала удачная покупка, на ум приходили всякие мрачные мысли и опасения: «А вдруг кто-нибудь узнает эти часы!» Ведь покупать краденое хуже, чем самому украсть. Словом, он раскаивался. Но — пропало! Шолом вынул часы из кармана, осмотрел их со всех сторон — новенькие часы и тикают вовсю. Крышка тяжелая, настоящего золота, циферблат белее снега, стрелки, словно прутья, основательные. Остается только показать часы настоящему знатоку, чтобы он их осмотрел и оценил. Отец, правда, разбирается в часах, но ему их показывать неудобно, не хочется рассказывать, что они куплены на улице с рук. Словом, лучше всего зайти с часами к часовщику Гензелю.

Часовщик Гензель — совсем еще молодой человек, но с головой на плечах. В городе поговаривали, что он изобрел особые часы по солнечной системе. Правда, лицо его не выражало особого ума — самый обыкновенный человек с широким носом. Один палец у него был широкий и плоский, с длинным ногтем. При помощи этого ногтя он обычно открывал часы, вооружив глаза лупой, заглядывал в механизм и тут же определял достоинства часов, чего им не хватает и какая им цена.

Осмотрев «находку», то есть золотые часы Шолома, Гензель с треском закрыл их и сказал:

— Простой цилиндр, ход не анкерный, красная цена им пятерка.

— Ну, а золото?

— Какое золото? Это такое же золото, как я — министр!

— Что же это такое?

— Томпак.

— Что значит томпак?

— Томпак — это томпак; не медь, не железо, а томпак...

И, отложив лупу, Гензель, не говоря больше ни слова, принимается за работу.

Вот эти-то часы молодой путешественник и соби-  
рался продать часовщику в маленьком местечке Т.  
К часовщику, старому глуховатому человеку с ватой в

ушах, он вошел довольно развязно, с видом солидного покупателя. И между Шоломом и старым часовщиком произошел такого рода диалог.

**Шолом.** Добрый день, господин часовщик! Много у вас хороших часов?

**Часовщик.** Сколько же часов может понадобиться такому юноше?

**Шолом.** Одни часы...

**Часовщик.** Какие часы вам нужны — серебряные, золотые?

**Шолом.** Золотые я у вас куплю немного погодя. Пока обойдусь серебряными, только бы шли хорошо.

**Часовщик.** В этом вы можете не сомневаться!

И старый часовщик выложил перед покупателем с полдюжины новеньких часов. Шолом остановил свой выбор на одних и дал понять старику, что он, собственно, хочет произвести с ним обмен, то есть он возьмет у него эти новые серебряные часы и даст ему взамен свои старые. «Во сколько вы их оцените?» Старик осмотрел часы Шолома со всех сторон и с минуту раздумывал, покачивая головой. Потом он вынул вату из ушей и переложил ее в обратном порядке, как будто это имело прямое отношение к часам. Лишь проделав это, он решился сказать, что может оценить часы Шолома в два рубля. А так как серебряные часы стоят девять рублей, то покупатель, следовательно, должен доплатить всего-навсего семь целковых, и дело сделано. Покупателю эта комбинация понравилась, и он тут же предложил часовщику новую комбинацию: пусть возьмет пока у него старые часы и даст за них два рубля, а через денек-другой он зайдет и выберет себе новые часы... Но старику последняя комбинация не понравилась. Почему, собственно? Так, потому что он не покупает часов, его дело продавать часы... Тогда Шолом выдвинул новый проект: он отдаст часы за целковый — кончено! Делает он это не ради денег, а просто потому, что часы эти опротивели ему, он их видеть не может. Тогда старик заявил, что, если часы ему опротивели, он может их выбросить на помойку. Покупатель принялся объяснять, что сейчас он покупку совершить не может, что у него туго с наличными, то есть он сейчас просто не при деньгах. Часовщик посоветовал ему заглянуть в другой раз, когда он будет при деньгах. И так несколько раз. Всяк несет свое. С самого сотворения мира бог, вероятно, не создавал такого нудного

человека, как этот часовщик. Шолом спрятал свои томпаковые часы и попросил старика отложить для него вон те, серебряные. Он, возможно, еще сегодня зайдет за ними. Ему должны прибыть деньги по почте. Пусть старик извинит, если он отнял у него время. Старик ответил, что это ничего не значит, но по его бледному лицу, по сердитому взгляду и по дрожанию его старческих пальцев видно было, что это все-таки кое-что значит... Шолом еле нашел дорогу к двери. С щемящим сердцем отправился он снова на постоянный двор рыжего Берла, моля бога, чтобы он уберег его от встречи с хозяином. «Этот рыжий, — думал про себя Шолом, — единственный человек, который догадывается, что я голоден».

67

АНГЕЛ БОЖИЙ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА

*Шолом забирается в местечковую синагогу и изливает свое горе в слезах. — Появляется ангел божий, и счастье вновь улыбается ему. — Он приглашен учителем в деревню и не подозревает, что здесь он найдет счастье всей своей жизни*

Рядом с постоянным двором рыжего Берла находилась местечковая синагога. Туда и забрался на следующее утро герой этой биографии и от нечего делать стал молиться. Молился он в одиночестве, потому что немногочисленные евреи местечка встали рано утром, помолились сообща и разошлись, как водится, на поиски заработка. В синагоге остался только шамес. Он был сапожником, а так как работы у него не хватало, то он одновременно выполнял обязанности шамеса. Увидев чужого юношу с мешочком для филактерий, сапожник-служка подошел к нему и справился, не годовщина ли сегодня смерти кого-либо из его близких. Если годовщина, то он сбегает, чтоб сколотить миньен.

— Нет, не годовщина, — успокоил его Шолом, — просто так хочу помолиться.

— Ну и молитесь на здоровье! Вот вам молитвенник.

Шамес оставил его одного и, усевшись у входа, принялся чинить какую-то старую обувь.

Давно уже юный герой не молился так усердно и тепло, как в это утро. В то время он уже далеко отошел от набожности. Это была эпоха просветительства, когда

набожность считалась позором, когда к фанатику относились хуже, чем к какому-нибудь пропойце, вероятно, еще хуже, чем теперь относятся к выкресту. Но желание молиться пришло к герою само собой. Его вдруг охватил религиозный экстаз, и он стал распевать во весь голос, словно кантор, а во время молитвы «Восемнадцать благословений» даже расплакался и плакал долго, с чувством. А выплакавшись, почувствовал облегчение, словно камень свалился с сердца. Чем, собственно, были вызваны эти рыдания — трудно объяснить. Плакалось само собой, и душа словно омылась в слезах. Возможно, нервы расшатались или же здесь сказался вынужденный пост. Шолом решил сегодня же этот пост прекратить во что бы то ни стало: хватит голодать! Уложив филатерии, прихватив тросточку, он отправился на постоялый двор и на пороге столкнулся с рыжим Берлом, который сообщил ему радостную весть: утром у него остановился богатый молодой человек из соседней деревни. Он, кажется, близкий родственник.

— Чей родственник?

— Ваш родственник. Ну, может, не близкий, но кем-то он вам приходится. — И, не долго думая, рыжий Берл взял Шолома за руку, повел в отдельную комнату, убранную по-барски, и представил молодому человеку, который сидел за самоваром и попивал чай.

Молодой человек симпатичной наружности, с добрыми голубыми глазами, высоким белым лбом и красивой круглой бородкой, вежливо привстал и назвал свое имя — Иошуа Лоев. Он тут же пригласил гостя присесть, кивнув хозяину, чтобы тот подал лишний стакан. Налив ему чаю, молодой человек подвинул поближе к гостю крендельки, баранки и другую закуску и обратился к нему с такими словами:

— Хозяин сказал мне, что вы родом из Переяслава, сын Нохума Рабиновича. Если так, то мы с вами в некотором родстве... Пейте чай, прошу вас, закусывайте!

Никогда в жизни, ни до того, ни после, чай не казался Шолому таким ароматным и ни одно кушанье — таким вкусным, как эти свежие баранки, крендельки и прочие закуски, быстро исчезнувшие со стола, так что даже для виду ничего не осталось, Он проглотил все, как голодный гусь, а когда опомнился и увидел, что, забыв всякие приличия, уничтожил все начисто, было

уже поздно. А молодой человек между тем перечислял родословную, выясняя их родство:

— У вашего отца есть свойственник Авром-Иошуа. Первая жена этого Аврома-Иошуа приходилась мне теткой, это была сестра моей покойной матери. Родство у нас, понятно, далекое, но все же родство... Теперь расскажите мне, откуда и куда вы едете и чем занимаетесь?

Расспросив героя обо всем и узнав, что он приехал сюда, чтобы занять место учителя, молодой человек спросил, собирается ли юноша оставаться именно здесь, у богача К., или не прочь проехать немного дальше. Если ему безразлично, он предложил бы ему поехать к ним в деревню, чтобы заниматься с его сестренкой — отец в состоянии хорошо платить учителю, не хуже, чем здешний богач, а может быть, и лучше. Тут в разговор вмешался рыжий Берл: «Я желал бы иметь хоть десятую часть того, чем располагает Лоев». Затем, не спрашивая Шолома, согласен он или нет, Берл тут же добавил, что парень, конечно, с удовольствием поедет с молодым человеком в деревню к его отцу, Лоеву, и займет место учителя.

Удивительный человек этот рыжий Берл! Точно его кто-нибудь просит быть опекуном или по меньшей мере посредником. Он не давал никому слова вымолвить, говорил все время сам. Шолом был ошеломлен, ушам своим не верил. Не иначе — это сон или галлюцинация! А может быть, молодой человек — ангел божий, ниспосланный на землю в образе человека. Однако выказывать свою радость не позволяло ему самолюбие. Выслушав предложение с притворным равнодушием и обдумав ответ, он сказал не очень определенно:

— Предложение ваше, быть может, и неплохое... Но дело, видите ли, в том, что я привез здешнему богачу рекомендательное письмо от моего отца... Что будет, если он...

— На каком языке написано письмо? — перебил его рыжий Берл.

— Что значит, на каком языке? На древнееврейском, конечно.

— На древнееврейском? — переспросил рыжий Берл и, схватившись обеими руками за бока, расхохотался так, точно восемнадцать чертей щекотали его под мышками. — Вам придется, молодой человек, немного подождать, прежде чем мой родственник научится читать



письма по-древнееврейски. Боюсь, однако, что вам придется долго ждать. — И оба расхохотались и хохотали долго и неудержимо.

Не прошло и получаса, как между Иошуа Лоевым и его юным протеже завязались дружеские отношения, которые крепились с каждой минутой. Выяснилось, что Иошуа Лоев принадлежит к тому типу просвещенных молодых людей, которых было немало в ту пору. Он неплохо знал Библию и Талмуд, хорошо разбирался в литературе высокого стиля, читал целые страницы Мапу наизусть, мог поговорить о «Путеводителе заблудших», о «Кузри» и обладал неплохим почерком. Только по части древнееврейской грамматики он был слаб, в остальном же ни в чем не уступал нашему герою. Ко всему этому он был вообще приятный человек и любил общество. По его словам, все в его семье люди общительные и, живя в деревне, просто истосковались по человеку. Чем они занимаются? Они арендуют поместья у графов Браницкого и Молодецкого. Живут они как бары, держат выездных лошадей, в хороших отношениях с соседними помещиками, а крестьяне за них готовы в огонь и в воду...

Своим разговором Иошуа Лоев как бы подтверждал, что они и в самом деле в деревне истосковались по людям. Он ни на минуту не умолкал, точно хотел высказать все, что накопилось у него на душе за долгое время пребывания в деревне. Он говорил в комнате, продолжал говорить во дворе, говорил потом, сидя вместе с учителем в фаэтоне и мчась на своих собственных горячих рысаках.

— Как вам нравятся кони? — спросил рыжий Берл учителя, когда Иошуа Лоев пошел распорядиться, чтобы запрягали. Затем он стал рассказывать чудеса об отце этого молодого человека, о богатстве и величии его и о том, какой это своеобразный человек. — Вы должны благодарить бога, что так случилось.

Шолому показалось, будто рыжий Берл добивается благодарности. Но — дудки! Не выйдет! Он, чего доброго, еще подумает, что спас человека от голодной смерти. Шолому только неприятно, крайне неприятно, что он не может расплатиться за ночлег. Он теперь очень стеснен в деньгах.

— Скажите-ка мне лучше, хозяин, сколько с меня следует...

Рыжий Берл прищурил глаза:

— За что?

— За... ночлег, за все... Я вышлю с места, как только приеду...

— Да бросьте, бросьте! Даже смешно... — ответил Берл, отмахиваясь от него.

Тут вошел высокий, почитительно улыбающийся мужик с белыми бровями. Звали его Андрей. Он пришел за багажом «панича»<sup>1</sup>, который едет с баринном. Учителю было неловко перед Андреем, что у него нет никакого багажа, и он сказал, что багаж его еще в пути, придет позже. При нем только этот узелок, он возьмет его сам. Андрей, однако, не хотел уходить с пустыми руками. Узелок так узелок. Он подхватил узелок, как перышко, двумя пальцами и унес его. Минутой позже Шолом сидел уже со своим молодым патроном в великолепном мягком фаэтоне. Андрей шелкнул кнутом, и пара серых рысаков с подстриженными хвостами понесла Шолома по полям и лесам в новое место, к новым людям. Ему и в голову не приходило, что именно там, куда он теперь едет, он найдет счастье всей своей жизни.

68

НЕОЖИДАННЫЙ ЭКЗАМЕН

*Гостиница в Богуславе. — Старый Лоев. — Девушка с кавалерами. — Шпильгаген\*, Ауэрбах и «Что делать?». — Чего требует Раши\* от дочерей Салпаада\* и как пишут письмо к директору сахарного завода. — Герой выдержал экзамен и едет в деревню*

Были уже сумерки, когда просвещенный молодой человек и протезируемый им учитель приехали в город Богуслав. В гостинице они застали старика Лоева, который ожидал своего сына.

Старый Лоев произвел на молодого учителя необыкновенное впечатление. Он никогда не представлял себе, что у еврея может быть такой вид — вид генерала или фельдмаршала, а голос — рык льва. Сын в кратких словах сообщил отцу, кто этот юноша, приехавший с ним, и как они познакомились. Выслушав сына, старик оседлал нос серебряными очками и внимательно, без всяких

---

<sup>1</sup> Панич — молодой барин (укр.).

церемоний оглядел юношу так, как разглядывают купленную на базаре рыбу... Потом он протянул ему теплую руку, любезно, насколько это было возможно для такого строгого «фельдмаршала», поздоровался с ним и, обращаясь на «ты», спросил:

— Как тебя зовут?

Узнав, что юношу зовут Шолом, он сказал ему так мягко, как позволял ему его львиный голос:

— Послушай-ка, друг Шолом, пройди, пожалуйста, в соседнюю комнату, а мы с сыном поговорим о делах, потом я тебя вызову, и мы немного побеседуем.

Соседняя комната оказалась залом, или, выражаясь по-европейски, вестибюлем для гостей. Там Шолом застал хозяина гостиницы, человека с синим носом с тонкими красными прожилками на нем. Бывший торговец мануфактурой, он на старости лет стал содержателем заезжего дома. Звали его Береле, сын Этл. Он стоял без дела, сложа руки, и разглагольствовал обо всем на свете. Он говорил о своих постояльцах, об их делах и о себе самом, о том, что «бог наказал его, и он на старости лет вынужден торговать супом с лапшой». Жена его, низенькая худая женщина с диадемой на голове и с желтым жемчугом на шее, ходила по дому, бранила детей мужа (она была его второй женой), бранила служанку, бранила кошку, вообще, видно, была недовольна устройством мира сего — большая пессимистка! У окна за романом Шпильгагена сидела их младшая дочь Шивка — красивая девушка с круглым белым личиком, страшная кокетка. К ней пришли с визитом несколько молодых людей с подстриженными бородками — сливки богуславской интеллигенции. Шел разговор о литературе. Синеносый хозяин подвел молодого учителя к компании и представил его. Откуда старик узнал, кто он такой, остается загадкой. Чтобы занять нового гостя, юная красавица обратилась к нему с милой улыбкой: «Читали ли вы «На дюнах» Шпильгагена?» Оказывается, гость знает всего Шпильгагена. «Ну, а Ауэрбаха?» — «Ауэрбаха тоже». — «А «Записки еврея» Богрова?» \* — Эту книгу он наизусть знает. — «А роман «Что делать?» — «Кто же не читал Чернышевского?» — «Как вам нравится главная героиня?» — «Вера Павловна? Еще бы!»

Красавица и ее кавалеры были поражены. Один из них, частный поверенный с громкой фамилией Мендельсон, щипал все время свои едва пробивающиеся усики. Видно было, что он по уши влюблен в девицу и поэтому полон ненависти к приезжему, который знает все на свете. Он кидал на него злобные взгляды и в душе, видно, желал ему свернуть себе шею на ровном месте. Это еще больше раззадорило нашего героя, и он сыпал словами, цитировал наизусть целые страницы, называл такие книги, как «История цивилизации в Англии» Бокля и «О свободе» Джона Стюарта Милля\*. Раз просвещенный молодой человек приехал из чужого города, ему полагается выложить перед людьми все, что у него есть за душой, показать, что он знает и что умеет... В самый разгар беседы в комнату вошел старик Лоев со своим сыном и сделался невольным слушателем лекции, которую молодой переяславский учитель читал молодежи. Отец с сыном переглянулись, они, видимо, были довольны. Потом старый Лоев подозвал Шолома к себе:

— Послушай-ка, приятель, что я тебе скажу. Мой сын говорит, что ты в наших священных книгах разбираешься не меньше, чем в тех. Я хотел бы знать, помнишь ли ты еще, чего требует Раши от дочери Салпаада?

И началась беседа о Раши. От Раши перешли к Талмуду. Затем забрались в дебри учености, в вопросы науки и просвещения, как водится среди постигших тайны печатного слова...

Познания Шолома вызвали сенсацию. Фурор был так велик, что старый Лоев положил ему руку на плечо и сказал:

— Нам уже приходилось видеть, что знатоки всяческих наук, как только доходит до дела, ну, скажем, простую бумажку написать, не знают, как за нее и взяться. Ну-ка, вот тебе перо и чернила, и будь так добр, напиши по-русски письмо директору сахарного завода, что ему не будут поставлять свеклы, пока не придет столько-то и столько-то денег...

Разумеется, письмо это было только поводом для экзамена. Оно переходило из рук в руки, и все изумлялись редкостному почерку юноши. Здесь ему сопутствовал дух старого учителя Мониша из Переяслава. Учитель Мониш Волон, славившийся своей «косточкой», был

замечательным каллиграфом, художником по призванию, у него была золотая рука. В городе носились с образцами его почерка. Он не писал, а рисовал. Был он человеком благочестивым, богобоязненным и, не зная ни слова по-русски, успешно конкурировал с учителем чиstopисания уездного училища. Трудно было поверить, что не машина, а рука человеческая выводила эти строки. Ученики, и в том числе дети Рабиновича, немало вытерпели, бедняжки, от «косточки» Мониша. Зато они переняли много из его искусства каллиграфии, искусства красиво писать по-русски, что со временем принесло им немалую пользу.

На этом, однако, экзамен не кончился. Старый Лоев попросил юного учителя, потрудиться перевести письмо на древнееврейский, «потому что директор сахарного завода — еврей», — мотивировал старик свое требование. Разумеется, и это было испытанием. Не долго думая, учитель перевел письмо на древнееврейский, высоким стилем, стараясь писать как можно красивей, с росчерками и завитушками. Строчки ровные, густые, буквы узорные, бисерные. Тут ему сопутствовал дух его старого воронковского учителя реб Зораха. В еврейском письме меламаед Зорах был тем же, чем учитель Мониш в русском.

Словом, учитель блестяще выдержал импровизированный экзамен. У него даже голова закружилась от успеха. Он почувствовал, как пылает у него одно ухо. Фантазия вновь подхватила его и унесла на своих крыльях в мир сладких грез и волшебных снов. Он видел себя сияющим и счастливым. Мечта о кладе начала сбываться, и совершенно естественным путем. Он приезжает на место, так рисует ему воображение, и знакомится с дочерью старого Лоева... Они влюбляются друг в друга и открывают свою тайну старику. Старик возлагает им руки на головы и благословляет: «Будьте счастливы, милые дети!» Шолом пишет отцу в Переяслав: «Так и так, дорогой отец, приезжай!» За отцом посылают фаэтон, запряженный парой горячих лошадей. И тут, в самый разгар мечтаний, старый Лоев отвел его в сторону и начал издали разговор насчет оплаты. «А может быть, мы оставим этот разговор на после?» — «Пусть будет на после...» Шолом почувствовал себя как человек, который только что уснул, стал грезить, и его вне-

запно разбудили. Разыгравшаяся фантазия мгновенно угасла, сладкие сновидения разлетелись, словно дым, и очарование грез исчезло.

Тем временем наступила ночь, пора ехать. От Богуслава до деревни добрых две мили, часа два езды. Лошади уже стоят запряженные. Кучер Андрей тащит в фаэтон огромный чемодан. На дворе прохладно.

— Ты так и поедешь? — говорит старый Лоев учителю. — Ты же гол, как Адам в раю. Замерзнешь, ко всем чертям... Андрей, давай бурку!

Андрей вытаскивает из-под себя теплую шерстяную бурку. Старик сам помогает учителю надеть ее в рукава. Бурка очень теплая, и в ней приятно. Но Шолому не по себе. Девушка Шивка со своими кавалерами стоит у окна и смотрит, как старик помогает ему надеть бурку. Шолому кажется, что они смеются... И перед кучером Андреем тоже стыдно. Что он подумает о нем?!

## 69

### ЕВРЕЙ - ПОМЕЩИК

*Еврейский барский дом. — Герой обучается правилам этикета. — Библиотека старого Лоева. — Редкостный тип еврея-помещика*

Была уже ночь, когда они втроем приехали в деревню — старый Лоев, сын его Иошуа и юный учитель из Переяслава. Миновав ряды низеньких темных крестьянских хат и оставив позади большое зеленое поле — в деревне оно называлось выгоном — и просторный ток с высокими стогами соломы и еще не обмолоченного хлеба, фаэтон подкатил к широкому господскому двору. Не успел еще кучер остановить лошадей, как деревянные ворота растворились будто сами собой. У ворот стоял мужик с обнаженной головой. Он низко поклонился хозяйину и пропустил мимо себя фаэтон, который еще с минуту катился, словно по мягкому ковру, а затем остановился у широкого, большого, но невысокого белого барского дома, крытого, правда, соломой, с двумя крыльцами по бокам. За домом раскинулся сад. Внутри, как и снаружи, дом был беленый. Мебель — простая. В доме было бесконечное количество комнат и множество окон. По комнатам неслышными шагами, словно тени,

сновали служанки в мягкой обуви. Когда старик бывал дома, никто не осмеливался слова вымолвить. Дисциплина здесь была строгая. Во всем доме слышался голос только его одного, хозяина. Его львиный голос гудел, словно колокол. В первой, большой комнате, удлиненного, богато сервированного стола сидела женщина — молодая, высокая, красивая. Это была вторая жена старого Лосева. Около нее сидела девочка лет тринадцати — четырнадцати — их единственная дочь, точная копия матери. Старик представил им молодого учителя, и все уселись ужинать. Первый раз в жизни герой этой биографии сидел за аристократическим столом, где еда — это целый церемониал и где прислуживает лакей в белых перчатках. Лакей этот, правда, простой деревенский парень, по имени Ванька, но старик нарядил его и вымуштровал на свой, барский манер. Человеку, который не привык к множеству тарелок и тарелочек, ложек и ложечек, стаканов и рюмок, трудно высидеть за таким аристократическим столом, не погрешив против требований этикета. Приходится все время быть начеку, не терять головы. Нужно признаться, что Шолом до того времени и понятия не имел, что за столом нужно соблюдать как-то правила, — в обыкновенном еврейском доме до них никому и дела нет. В обыкновенном еврейском доме все едят из одной тарелки, попросту макают руками свежую халу в жирный соус и едят. В еврейском доме средней руки не знают никаких особых законов и правил насчет того, как сидеть за столом и как пользоваться ложкой, ножом, вилкой. В еврейском доме для соблюдения приличий достаточно оставить на тарелке недоеденный кусочек рыбы или мяса, а сидеть можно как угодно и есть сколько угодно, даже ковырять вилкой в зубах тоже не возбраняется. Кто мог знать, что на свете существует какой-то этикет? Когда и кем составлен этот свод законов? Нет, ни об одном из законов и обычаев этикета молодой репетитор никогда и нигде не читал. Одно только он твердо помнил теперь — нужно делать то, что делают другие. Понятно, от еды особого удовольствия не получишь, раз нужно все время быть начеку, непрерывно следить за тем, чтобы не взять лишнего куска; бояться: а вдруг ты не так держишь вилку или хлебнул слишком шумно; опасаться, не слышит ли кто-нибудь, как ты жуешь... Благодарение богу, экзамен по этикету учитель также выдержал блестяще, но из-за

стола он первое время уходил голодным. После всех сложных церемоний, множества яств и великолепных блюд Шолом тосковал по куску белого хлеба, по селедке с луком, по горячей рассыпчатой картошке в мундире и по кислой капусте, которая потом дает о себе знать целые сутки... Прошло немало времени, пока он привык к этим «цирлих-манирлих». Так или иначе, учителю приходилось идти в упряжке со всеми, не ударять лицом в грязь, не проявлять, упаси бог, своих демократических замашек и пролетарских привычек. Одним словом, быть как все. Нужно правду сказать, с первого же дня на него смотрели не как на чужого, а как на равного, своего. Все-таки юноша из хорошей семьи. Так определил старик и откровенно высказал свое мнение о Шоломе прямо ему в глаза, заявив, что он сын почтенных родителей. А сын почтенных родителей заслуживает особого отношения.

Прежде всего ему отвели отдельную комнату, убранную просто, но удобно, с полным обслуживанием. У него было достаточно свободного времени, и он мог располагать им как хотел. Для занятий с ученицей достаточно было двух-трех часов в день. Остальное время он мог использовать для себя — читать или писать. А читал он все, что попадалось под руку. Старик сам любил читать и не жалел денег на пополнение своей библиотеки новыми книгами. А так как он читал книги только на древнееврейском языке, то его библиотека состояла главным образом из древнееврейских книг (еврейские тогда еще не были в моде). Калман Шульман, Мапу, Смоленскин, Манделькерн\*, Готлобер, Иегалел, Ицхок-Бер Левинзон, Мордхе-Ари Гинзбург\*, Ицхок Эртер\*, доктор Каминер\*, Хаим-Зелик Слонимский — вот имена писателей, которые украшали библиотеку деревенского магната, посессора Лоева. Произведения перечисленных писателей старик Лоев знал почти наизусть, любил их цитировать и излагать их содержание. Редко можно встретить человека с такой памятью и с таким даром слова, как у старого Лоева. Он обладал подлинным талантом по-своему пересказывать прочитанное. Он был прирожденным оратором. У него была масса юмора, и рассказывал он очень увлекательно. Как человек с большим жизненным опытом, немало переживший, он имел, о чем порассказать, и слушать его всегда было интересно. Он не просто рассказывал, а творил, создавал яркие, красочные картины. Где бы он ни находился,



даже в самом большом обществе, все слушали только его, и никого больше.

Вообще это был редкостный тип, большой оригинал, совсем непохожий на других. Рос и воспитывался он в набожной еврейской семье, в городе Богуславе, и приходится удивляться, каким образом вырос там такой экземпляр. Как могло прийти в голову богуславскому еврею завести у себя барские порядки, пристраститься к земле и отдаться целиком сельскому хозяйству? Стоило посмотреть на старика утром, когда, обутый в высокие блестящие ботфорты, в короткой бархатной куртке, он стоял на току у молотилки, распоряжался рабочими, сам кидал снопы в ящик, вертел рукоятку веялки или тряс решето. Он всюду попевал: на пахоту, на сев, на прополку, на косьбу, когда привозили и увозили зерно, к лошадям, к волам, к коровам. Трудно было бы найти лучший образец еврея-помещика, настоящего сельского хозяина, чем старый Лоев. Многие русские открыто говорили, что у этого еврея надо учиться вести хозяйство, учиться, как наиболее плодотворно обрабатывать землю и как обходиться с бедными батраками, чтобы они остались довольны. Крестьяне готовы были идти за него в огонь и в воду. Они его не только боялись и уважали, но и любили по-настоящему, потому что он обходился с ними как человек, как друг, как отец. Такого обхождения мужики никогда не видели от своих прежних хозяев, польских панов. Не надо забывать, что старшее поколение крестьян еще не забыло ужасов крепостного права. Они еще носили на своих спинах следы розог. Тут же с ними обходились как с людьми, а не как со скотом. А какое доверие питали они к хозяину! Мало кто в деревне мог сосчитать, сколько будет дважды два. В расчетах крестьяне всецело полагались на старика. Они были уверены, что он не обсчитает их ни на грош.

Трудно себе представить, какое направление приняла бы история еврейского народа и какую роль мы бы играли в политической и экономической жизни страны, если бы не знаменитые «временные правила» министра Игнатьева, направленные против евреев, запрещавшие им селиться в деревне, покупать и арендовать для обработки землю. Я говорю это потому, что сельские хозяева типа старого Лоева были не редкостью в описываемой местности, как и в других местностях благословенной «черты». Евреи из Богуслава, из Канева, из Шполы, из

Ржищева, из Златополя, из Умани бросились из местечек в деревню, арендовали большие и малые участки, помещичьи фольварки и показывали чудеса: превращали плохую землю, пустоши в настоящий рай. И здесь нет никакого преувеличения. Автор это сам слышал от крупного русского помещика Василия Федоровича Симеренко, который состоял в деловых отношениях со стариком Лоевым.

## 70

### ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ

*Деревня Софиевка. — Автор воспоминаний знакомится с миром. — Три счастливых года. — Учитель и ученица сближаются, как брат и сестра. — За книгами, на поле, у соседей*

Деревня, куда попал автор этих воспоминаний, принадлежала графу Браницкому и называлась Софиевкой. Попал он сюда как служащий, как учитель, на короткий срок, а остался навсегда. Здесь он нашел вторую родину. Здесь, как мы это увидим из дальнейшего, определилось счастье всей его жизни. В качестве учителя он провел в деревне около трех лет, и эти три года он может считать лучшими и счастливейшими годами. Можно сказать, что это была истине весна его жизни, весна во всех отношениях. Здесь он получил возможность поближе познакомиться с природой, с божьим миром, с землей, откуда мы все пришли и куда всем суждено уйти. Он увидел, понял, почувствовал, что наше место здесь, среди природы, а не только там, в городе. Здесь он пришел к убеждению, что все мы — частица великого целого, огромной вселенной и что мы всегда тосковали и будем тосковать по матери-земле, что мы всегда любили и будем любить природу, что нас всегда тянуло и будет тянуть к деревенской жизни. Я надеюсь, что снисходительный читатель простит мне это короткое отступление. При воспоминании о деревне я не могу не высказать чувств, которые связаны у меня с нею. Теперь, поскольку я их высказал, можно пойти дальше и дать подробное описание счастливой деревенской жизни.

Утром учитель просыпается в своей большой, светлой комнате с закрытыми ставнями и толкает рукой раму. Окно открывается вместе со ставнями, и в комна-

ту врывается сноп света и солнечное тепло, а с ним — аромат резеды, запах мяты, полыни и других неведомых ему трав. Травы эти, как говорят, были посеяны здесь когда-то графом Браницким, но теперь они росли сами по себе наравне с бурьяном, репейником и крапивой. К середине лета травы так разрастались, что учитель и его ученица не раз уходили по шею в траву, прятались в ней и долго искали друг друга, пока не находили. Шум открываемого окна всполошил наседку, закудахтав, она бросилась в сторону со всем своим семейством. Однако тут же вернулась обратно и снова принялась обучать своих цыплят шарить и разгребать землю.

Встать с постели, одеться, умыться — все это занимает не очень много времени. И хотя совсем еще не поздно, учитель, выйдя из своей комнаты, уже никого в доме не застает. Старый Лоев давно на работе — на току, откуда доносится стук молотилки. Жена Лоева — на птичьем дворе, среди индюшек, гусей, уток; здесь целое птичье царство. С широких полей медленно тянутся груженные хлебом, запряженные волами возы. Вдали открываются взору просторные пшеничные поля. Большая часть пшеницы уже убрана и сложена в копны. Остальная — еще стоит на поле, и спелые желтые колосья ходят волнами под легким ветерком. За пшеницей виднеются большие зеленые листья свеклы, которая растет ровными рядами. Между рядов, на приличном расстоянии друг от друга, стоят, как солдаты на часах, высокие подсолнухи в больших желтых шапках. К подсолнухам слетаются пичужки и выклеивают по одному еще белые, но уже сладкие семечки. Еще дальше — густой дубовый лесок, который называют «Турчина». Когда здесь жили помещики, они ходили сюда стрелять дичь — «на полеванье». Теперь, когда лесок попал к арендатору, беззащитные зайцы и птички, виноватые разве лишь перед богом, могут быть совершенно спокойны. Евреи не стреляют. Они предпочитают извлекать из леса иную пользу. Старый Лоев вывез порядочно древесины, и понастроил сараев, кладовых, амбаров для зерна, конюшен и хлебов, и наделал телег, саней и много всякого инвентаря.

После первого завтрака, а вслед за ним и первого урока учитель отправляется на прогулку в сад, иногда один, иногда вдвоем со своей ученицей. Трудно сказать,

в какую пору сад прекрасней: в разгаре ли весны, когда деревья в цвету и только начинают розоветь смородина и крыжовник, или позже, в самом конце лета, когда яблоки сами падают с деревьев и на ветвях остаются только поздние черные сливы, которые называются «черкусамн»? В любую пору сад сохраняет свое очарование. И в любую пору учитель и ученица открывают в нем что-нибудь новое. Пусть крыжовник еще зеленый, как трава, и кислый, как уксус, — не страшно. Они исцарапают себе руки, но сорвут самые крупные ягоды, которые свисают с веток и просвечивают на солнце. А что уж говорить о том времени, когда смородина наливается красным вином и рдеет на солнце — тогда она сама просится в рот, — еще веточку, еще одну! Они наедаются ею до оскомины во рту. То же самое с черешней, вишней и со всеми фруктами и овощами, которые поспевают и зреют в разное время. Правда, все это можно и в городе достать, купить за деньги. Но фрукты имеют совсем иной вкус, иной аромат, если вы сами срываете их с дерева, а в особенности если вы не один, а вдвоем с девушкой, которая вам мила и дорога, которой и вы милы и дороги, словно родной, словно брат.

И как же иначе могла относиться ученица к своему учителю, если родители ее относились к нему, будто к сыну? Они не делали никакого различия между ним и их собственными детьми. Точно так же, как их родные дети, учитель купался в роскоши, не знал ни нужды, ни забот, связанных с деньгами. Деньги в этом доме как бы не существовали. То есть денег было много, очень много, но никто, кроме старика, не знал им цены и не чувствовал потребности в них. Все подавалось готовым и широкой рукой: еда, питье, так же как и одежда, и обувь, и роскошный выезд. На каждом шагу — прислуга. И лошадьми вы можете пользоваться сколько угодно и когда угодно. А если вы показываетесь в деревне, крестьяне вам кланяются и снимают шапки. Урожденные графы не могли себя чувствовать лучше, свободней, быть в большем почете.

Старик приходил с работы, покрытый с головы до ног пылью и мякиной. Он сбрасывал высокие сапоги, умывался, переодевался и приобретал совершенно другой вид. Усевшись за письменный стол, он брался за

почту, которую привозил верхом мальчишка с сумкой через плечо со станции Баранье Поле. Просмотрев корреспонденцию, старик подзывал учителя и поручал ему написать ответы на письма. Учитель делал это быстро, так как понимал старика с одного взгляда и был в курсе всех дел. Старик не любил повторять что-либо дважды и предпочитал, чтобы желания его угадывались еще до того, как он их выскажет. Сам ловкий работник, он требовал, чтобы и у других работа кипела в руках. Покончив с делами, садились обедать. Редко случалось, чтобы за столом не сидело нескольких посторонних. Большею частью это были соседи, арендаторы или купцы, которые приезжали закупить пшеницу, овес, гречиху или другое зерно. За столом, как я уже говорил, царил строгая дисциплина. Никто не смел слова вымолвить, один только старик гудел, как колокол. Темы его разговоров были неисчерпаемы. По любому случаю он мог рассказать историю, притчу, найти поговорку, которая заставляла и посмеяться и призадуматься. Не было второго такого человека, который обладал бы его умением интересно рассказывать, имитировать, представлять каждого со всеми его манерами. Это был настоящий талант, хотя и слыл он странным человеком, чудачком, «свихнутым». И все же купцы любили иметь с ним дело, потому что слово его было свято, и если он что-либо продавал, то, как бы ни повысилась цена, они могли быть уверены, что на попятный старик не пойдет. Это была прирожденная честность, честность, которая не знает уверток и не любит кривых, фальшивых путей. В торговом мире такого человека за глаза называют сумасшедшим, но предпочитают лучше иметь дело с такого рода сумасшедшими, нежели с иным нормальным.

После обеда, оставив старика, который беседовал за столом или толковал о делах со своими гостями, учитель с ученицей отправлялись заниматься, готовить уроки, читать, главным образом читать. Они читали все, что попадалось под руку, — без контроля, без системы, без разбора, — большей частью романы. Произведения великих классиков — Шекспира, Диккенса, Толстого, Гете, Шиллера, Гоголя — читались попеременно с худшими бульварными романами Эжена Сю, Ксавье де Монтенена, Ашара, фон Борна и тому подобных пустых писак. Начитавшись до одури, они отправлялись посмотреть на молотилку или шли в поле поглядеть, как жнут

хлеб и вяжут снопы. И тут их разбирает охота, засучив рукава, самим взяться за дело. Но смотреть, оказывается, куда легче, чем самому нагибаться, жать хлеб и вязать снопы, ибо посторонний наблюдатель не обливаешься потом, на руках у него не вскакивают волдыри... Зато какой потом прекрасный аппетит! Придешь домой, поешь простокваши с черным хлебом и отправишься на прогулку в сад. А то велишь заложить фаэтон и едешь с Андреем в какое-нибудь другое имение или экономию: в Гузовку, в Крутые Горбы, в Закутницы. Или же заедешь в Баранье Поле к почтмейстеру Малиновскому. И всюду тебя принимают как желанного гостя, не знают куда усадить, ставят самовар, подают варенье. У почтмейстера сразу на столе появляется бутылка, которую, потягивая понемножку, выпивает он сам, ибо Малиновский не дурак выпить. Иногда заглянешь к эконому Додю, который живет здесь же, в господском дворе. Тут, у Доди, в его маленьком домике, веселей, чем у них, в большом доме, и то, что найдешь у Доди, там никогда не достанешь. Например, где можно себе позволить полакомиться щавелем с зеленым чесноком, как не у жены Доди! Или поесть горячую картошку в мундире с солеными огурчиками, прямо из банки! А сладкие кочерыжки от капусты, которую Додиха шинкует для закваски! Где еще они могут позволить себе выпить яблочного квасу, у которого поистине райский вкус! По всему видно, что Додиха очень рада их приходу, а Додя — тот и вовсе на седьмом небе от счастья. Но эконом Додя представляет интерес сам по себе и заслуживает того, чтобы ему посвятили отдельную главу.

## 71

### эконом додя

*Простой души человек. — Старый Лоев читает историю Петра Великого, а Додя при этом засыпает. — У Додихи в доме. — Герой пишет трагедию и романы и не задумывается о собственном «романе»*

Эконом Додя, человек богатырской силы, был не столь высок ростом, не так уж плотен, как ладно скроен и крепко сшит. Был он светловолосый, с маленькими глазками, которые слегка косили. Плечи — сталь. Грудь —



железо. Руки — молот. Не всякая лошадь могла его выдержать. Он садился на лошадь и, казалось, прирастал к ней — трудно было определить, где кончается седок и где начинается лошадь. Мужики дрожали перед ним и смертельно боялись его руки, хотя дрался он

очень редко: когда не находил другого выхода и словами ничего не мог добиться. Достаточно было сказать «Додя идет», как прекращались всякие разговоры и мужики, бабы и девки усердно принимались за работу. Подойдя к работающим, Додя не тратил лишних слов, он брался за плуг, за серп, за лопату и собственными руками показывал пример. Обмануть Додю было трудновато, а своровать у него — невозможно. За кражу самая суровая кара не была слишком велика. Пьянства Додя тоже не допускал. Выпить рюмку водки — пожалуйста, но напиться и устраивать скандалы — не доведи бог!

И представьте, этот вот Додя, богатырь, перед которым дрожала вся деревня, был неузнаваем, когда стоял перед стариком Лоевым. Тут он был тише воды, ниже травы, держал руки по швам, затаив дыхание. Солдат не стоит перед генералом с таким почтением и страхом, как Додя перед старым хозяином. Попав в деревню мальчишкой, он остался там навсегда; вырастая, поднимался все выше и выше, пока старик не увенчал его званием эконома, то есть сделал смотрителем над всеми экономиями. Здесь, в деревне, Додя женился, получал свое жалование, муку, солому, дрова, обзавелся домом, садом, двумя дойными коровами — стал настоящим хозяином и отцом семейства. И все же в присутствии старого Лоева он не смел присесть даже на минутку. Один только раз ему довелось посидеть в присутствии хозяина, и то случилось нечто такое, что Додя запомнил на всю жизнь.

Я, кажется, уже упомянул о том, что старый Лоев любил просвещать каждого, делиться своими знаниями. Однажды, это было в долгий зимний вечер, Додя, как обычно стоя перед стариком навтыжку, отдал рапорт об экономиях и ждал, чтобы ему разрешили удалиться. Однако старик был в хорошем расположении духа, и ему хотелось потолковать о всяких посторонних вещах, не только об экономиях, но и, например, о соседях-поляках. Постепенно он коснулся и Польши и Польского восстания. От Польши старик перешел к России, к русской истории и к Петру Великому. А так как на столе перед ним лежала русская история в переводе Манделькерна на древнееврейский, то он принялся читать, переводя Доде историю Петра Великого на еврейский язык. Читая, Лоев велел эконому присесть. Но Додя не



посмел. Тогда старик повторил приказание, и он вынужден был сесть. Присел Додя у самой двери под старыми стенными часами. Так как голова его не привыкла к такого рода лекциям, да к тому же он еще и сидел, то не мудрено, что глаза его стали слипаться, он понемногу задремал и, наконец, уснул под чтение старика сладким сном. Теперь оставим Додю, пусть спит в свое удовольствие, и скажем несколько слов о деревенских стенных часах.

Это были старые искалеченные часы, давно отслужившие свой век, которым впору было покоиться на чердаке среди всякого ненужного хлама. Но старый Лоев питал особое пристрастие к старым вещам, например, к древнему стертому зеркалу, которое показывало два лица вместо одного, к ветхому полуразвалившемуся комоду, в котором выдвинуть ящик было не менее трудно, чем рассечь Чермное море, и к прочей рухляди. Так, у него на столе с незапамятных времен стояла старомодная чернильница — стеклянный сапожок в черной деревянной мисочке с песком. Ни за какие блага нельзя было склонить старика выбросить эту чернильницу и заменить ее новым приличным письменным прибором. Дело тут не в скупости. Старик вовсе не был скупым. Наоборот, если уж он покупал что-нибудь, то самое лучшее и самое дорогое. Ему только трудно было расстаться со старой вещью. То же происходило и с часами, которые, отслужив свой век, стали нуждаться в добавочном грузе. Время от времени к гилям подвешивали все новый груз. Собираясь бить, часы эти хрипели, задыхаясь, как страдающий астмой старец, которому трудно откашляться. Зато если они уже били, то звонко, как церковный колокол: бом! бом! Бой этих часов слышен был во дворе.

Теперь вернемся к Доде. Додя спит, а старик читает историю о Петре Великом и его жене. Вдруг часам вздумалось пробить десять. Спросонья Доде померещилось, что на току пожар. Он порывисто вскочил и закричал: «Воды!» Испуганный старик бросил книгу и уставился сквозь очки на Додю. Этот взгляд, говорил потом Додя, он не забудет и на смертном одре.

Шолом любил Додю за его непосредственность и доброту. Он был убежден, что этот простой души человек за всю свою жизнь ни разу не солгал. Его верность и привязанность к хозяину и его семье не имели границ.

А так как учитель был у них как родной, то Додя считал и его членом семьи и готов был за него в огонь и в воду. В глазах Доди всякий, кто имел отношение к семье Лоева, являлся существом высшего порядка, — во всяком случае, не таким, как все прочие люди. Семью Лоева он просто обожествлял. Это распространялось и на учителя. В жаркие летние дни, в долгие зимние вечера учитель и его ученица любили забираться к Доде с Додихой. Там, в маленьком домике с низко нависшим потолком, до которого можно рукой достать, они чувствовали себя лучше, чем дома. Щавель и молодой чеснок летом, горячий картофель в мундире с солеными огурчиками или с холодной квашеной капустой зимой имели особую прелесть и казались в тысячу раз вкуснее изысканных блюд, которые подавались дома. А дни, когда Песя, жена Доди, пекла коврижки или топила гусиное сало, были для молодых людей настоящим праздником. Что может быть лучше горячей коврижки, только что вынутой из печи, или свежих жирных шкварок, таявших во рту, как манна небесная \*, которую евреи вкушали в пустыне.

Чаще всего они приходили в гости к Доде и Додихе зимой, когда окутанные снегом деревья походили на окоченевших мертвецов в саванах. В это время деревня теряет свою летнюю привлекательность, свое очарование, и остается только забраться к Доде в его жарко натопленный домик и наслаждаться Песиными яствами. Вокруг мертвая тишина. Глубокий снег. Никто не приходит. На душе легкая грусть. Тоскливо. Разве только велишь Андрею запрячь лошадей в розвальни, тепло укутаешься, укроешься овчиной и катишь из одного фольварка в другой. Там для тебя ставят самовар, попьешь чаю и едешь обратно.

Зима, впрочем, имеет и свои достоинства. Остается много времени для чтения и письма. За те без малого три года, что наш герой провел в деревне, он написал гораздо больше, чем впоследствии за десять лет, когда стал уже Шолом-Алейхемом. Никогда ему так легко не писалось, как в то время. А писал он целыми ночами длинные душераздирающие романы, крикливые драмы, запутанные трагедии и комедии. Мысли лились у него, как из бочки. Фантазия была фонтаном. Для чего все это пишется, он никогда себя не спрашивал. Как только «вещь» была закончена, он читал ее своей ученице, и оба приходили в восторг, оба были уверены, что

произведение великолепно. Но ненадолго. Стоило учителю закончить новую «вещь», как уже эта, последняя, становилась мастерским произведением, а первая тускнела и блекла. Она находила свой конец в печке, и таким образом погибли в огне не одна дюжина романов и не один десяток драм...

Что парню на роду написано быть писателем, в этом учитель и его ученица ничуть не сомневались. Они постоянно говорили об этом, мечтали, строили воздушные замки. Обсуждая планы разнообразных произведений, они о своих личных планах и не задумывались. Об этом и разговора не было. Юноше и девушке никогда и в голову не приходило признаться друг другу в своих чувствах или задуматься над судьбой своего собственного романа. Понятие «роман» было, видно, слишком шаблонно, слово «любовь» — слишком банально для выражения тех чувств, которые возникли и расцвели между этими двумя юными существами. Их взаимная привязанность была настолько естественна, что казалась понятной сама собой. Не придет же в голову брату объясниться в любви своей сестре! Боюсь, я буду недалек от истины, если скажу, что посторонние люди гораздо больше знали и говорили о романе молодых людей, чем они сами. Уж очень они были юны, наивны и счастливы! На их небе не появлялось ни облачка. Никто им не мешал, и они оставались беспечными. За три года знакомства они ни разу не подумали о возможности разлуки. И все же настал день, когда им пришлось расстаться. Пока не навсегда — ненадолго.

Это случилось, когда герой должен был явиться на призыв.

## 72

### ПРИЗЫВ

*Бесконечные толки о призыве. — Герой прощается с ученицей и берет из Софиевки письмо к предводителю. — Мечты в пути. — Письмо оказывает свое действие. — До его номера не дошло. — История с сыном-калекой. — Учитель возвращается в деревню, но мечты его все же не сбываются*

Можно с уверенностью сказать, что в течение упомянутых трех лет не было дня, когда в доме не склонялось слово «призыв». Для старого Лоева мысль о призыве была своего рода болезнью, манией, которая не

давала ему покоя ни днем, ни ночью. Призыв уже обошелся ему в целое состояние. Каким образом? Сын его Йошуа должен был явиться на призыв; тогда отец первым делом отправился в Черниговскую губернию, проканикулел там немало и, измучившись вконец, купил «квитанцию»\*. Это была одна из считанных «зачетных квитанций», которые освобождали от призыва, то есть тот, кто представлял такую квитанцию, мог считать себя свободным от военной службы и зачислялся в ополчение. Стоимость этой квитанции представляла целое состояние. Для родного ребенка старому Лоеву ничего не было жаль.

Когда с квитанцией было покончено, началась новая история. Разразилась русско-турецкая война, и поговаривали, что очередь дойдет и до ополченцев. Следует, стало быть, своевременно обеспечить сына «белым билетом». Ополченцу пришлось явиться в присутствие для освидетельствования здоровья, чтобы определить, годен ли он в солдаты. Оказалось, конечно, что в солдаты он не годится, и ему выдали «белый билет», то есть забраковали, слава богу. Впрочем, его не только забраковали при призыве, его пришлось после в спешном порядке отправить в теплые края — в Ниццу, Ментону — лечиться, так как он был болен тяжелой сердечной болезнью, от которой, как мы увидим дальше, через несколько лет и умер. А пока в доме творилось нечто невообразимое: ездили в Киев, заводили знакомства с исправником, с предводителем дворянства, с врачами. Чиновники присутствия без зазрения совести брали «взаймы»; добрые приятели и советчики тоже не упускали случая погреть руки. Деньги из Лоевых выкачивал всякий, кому не лень. Одним словом, в доме только и толковали что о призыве.

Когда пришло время призываться и герою этой биографии, старый Лоев занервничал. Прежде всего он добился, чтобы учителя своевременно вычеркнули из списков в его родном городе Переяславе и приписали к Каневскому присутствию, где у Лоева была «рука» и где он был в силах «что-нибудь» сделать. Мне кажется, родной отец не мог бы так заботиться о сыне, как старый Лоев заботился об учителе. Больше того, сам учитель так не боялся призыва, как семья Лоева. Парню поездка в Канев и явка в присутствие представлялась праздником. Он заказал себе пару больших сапог, солдатский

башлык и был хоть сейчас готов на службу. Он был уверен, что выдвинется, отличится перед начальством и вскоре станет унтер-офицером или фельдфебелем — выше этого ведь еврею ходу не дадут. Однако, когда дошло до дела и нужно было отправиться в путь, учитель вдруг утратил весь свой задор. К стыду своему, он должен признаться, что, когда пришло время прощаться с семейством Лоевых, быть может навсегда, сердце его сжалось, и, спрятавшись у себя в комнате, он зарылся лицом в подушку и заплакал горькими слезами.

Он не один плакал в этом доме. Ученица в своей комнате плакала еще горше. Глаза ее распухли от слез, и она в тот день не могла выйти к обеду. Под предлогом сильной головной боли она оставалась весь день у себя и никого не хотела видеть.

Печальным, очень печальным было прощание. В доме царил траур, а на душе было пусто и темно. Когда Шолом уже сидел в фаэтоне и кучер Андрей потянулся за кнутом, юный герой в последний раз посмотрел на окна и увидел пару заплаканных глаз, которые говорили яснее всяких слов: «Счастливого пути, милый, дорогой! Приезжай поскорее, потому что я без тебя жить не могу...»

Слова эти герой ощутил всей душой, и глаза его отвели: «Прощай, милая, дорогая! Я вернусь к тебе, потому что и я жить без тебя не могу». И только теперь почувствовал он, как крепко привязано его сердце к дому, который он оставляет, и что нет в мире такой силы, которая могла бы оторвать его от ученицы, разве только смерть. Воображение Шолома разыгралось, разгоряченная фантазия подхватила его на свои крылья, и он размышлял о том, как по возвращении прежде всего откроется ей, а потом ее отцу и матери; как он обратится к старику со словами: «Я люблю вашу дочь, и сделайте со мной что хотите!» Старик обнимет его и скажет: «Хорошо, что ты мне сказал, я давно этого жду». И начинают приготовления к свадьбе. Приглашают портных из Богуслава и Таращи шить платье для жениха и невесты, пекут коврижки и варят варенье. За родственниками жениха посылают стоящую в сарае большую карету, которой пользуются в самых торжественных случаях. И вот приезжают отец, дядя Пиня и остальная родня. Неизвестно откуда является на свадьбу и Шмулик, тот самый Шмулик, который жил у

раввина, «сирота Шмулик», рассказывавший такие чудесные сказки. Расцеловавшись с женихом, он обращается к нему: «Ну что, Шолом, не говорил ли я, что клад будет твоим!»

Эти сладкие детские мечты, золотые мальчишеские грезы не оставляли его во все время пути в Канев. Остановившись у родственника старого Лоева, богача-горбуна Боруха Перчика, содержателя винного погреба для помещиков, он тут же занялся своими делами и первым делом передал предводителю письмо. В этом письме Лоев писал, что посылает на призыв учителя своей дочери и надеется не позже чем через неделю увидеть его снова у себя... Предводитель прочитал письмо и произнес одно только слово: «Хорошо...» Этого было достаточно, чтобы герой мог чувствовать себя спокойно. Он пошел на призыв, тянул жребий и вытянул номер 285. Номер оказался не таким уже большим, однако на цифре 284 призыв закончился... И учитель оказался свободным. Благодаря ему освободились еще несколько человек с далекими номерами, и велика была в тот год радость в городе Каневе.

К радостному исходу «призыва» в Канев приехал и отец рекрута вместе с дядей Пиней, у которого там, если я не ошибаюсь, жил родственник, и радость таким образом увеличилась вдвое. Борух Перчик неплохо поторговал вином, а виновник торжества послал в Софиевку через станцию Баранье Поле такую депешу: «Поздравьте, до меня не дошло. Свободен. Завтра утром выезжаю».

Прошло, однако, не одно утро, прежде чем наш герой смог выехать из Канева. Нашелся некто Вышинский или Вишневский, у которого забрали в солдаты большого сына. И отец стал кричать повсюду: «Как, мой сын, убогий, пойдет служить вместо богатеньких сынков, которые сыплют деньгами?! Я знаю тайну, почему господин предводитель забривает калек!..» Отец рекрута грозил, что этого дела так не оставит. «Я отдам, — кричал он, — под суд и предводителя, и докторов, и все присутствие!»

Свободным Шолом почувствовал себя только тогда, когда он уже сидел в фаятоне, который послали ему

навстречу на станцию Мироновка, и когда кучер Андрей передал ему привет от всего дома и сообщил, что все, слава богу, здоровы и все в полном порядке. «Все благополучно!» — закончил Андрей и принялся по-своему объясняться с лошадьми. А лошадки понимали его и несли фаэтон как по воздуху. Теплый, мягкий осенний день, солнце не жжет, а гладит, ласкает. Глаза смежаются, и приходят мечты, и воздвигаются воздушные замки, золотые замки. Сейчас он будет дома. И как только приедет, он раскроет перед Лоевым свои карты: «Знайте, я люблю вашу дочь, а дочь ваша любит меня...» Уже скоро... Еще полчаса, еще четверть часа... Вот уже знакомое Баранье Поле, лес, пашня, кладбище, ветряки, похожие издали на махающих руками великанов: «Сюда! Сюда!» Еще несколько минут, и вот уже двор, большой белый дом и два его крыльца. Едва ли радость бывает большей, когда родной сын приезжает свободным в свой дом к отцу и матери. Герой без конца рассказывает о призыве, словно об исходе из Египта. Но самого важного, к чему все время готовился, он не сказал и своих карт перед старым Лоевым не раскрыл. Это он отложил на завтра, на будущее. Но проходили день за днем, неделя за неделей, и совсем неожиданно разразилась катастрофа, из-за постороннего человека, который открыл старику глаза.

Это была женщина, пронцательная и дальновидная, приехавшая из Бердичева, родственница старика. Мы будем называть ее тетя Тойба из Бердичева. Познакомившись с ней, вы убедитесь, что звание тети ей подходит как нельзя лучше. Но о ней — отдельная глава.

## 73

### ТЕТЯ ТОЙБА ИЗ БЕРДИЧЕВА

*Тетя Тойба выслеживает молодых людей. — Старый Лоев узнает их тайну. — Катастрофа. — Оскорбленный герой уезжает куда глаза глядят. — Его письмо перехватывают, и он блуждает в беспросветной тьме*

В действительности гостя никому теткой не приходилась, она была двоюродной сестрой старого Лоева. Но, как уже говорилось выше, звание тети было ей к лицу. Женщина некрасивая, рябая, длинноногая, она

обладала очень умными глазами, которые видели все насквозь. Муж был у нее под башмаком, она заправляла всеми делами и была довольно богата. Приехала она в гости к Лоеву после того, как они много лет не виделись.

Разумеется, тетке, приехавшей из Бердичева, жизнь в имени представлялась не только странной, но и дикой. На все она смотрела своими бердичевскими глазами и всему удивлялась. Со старым Лоевым она была на «ты» и напрямик высказывала ему свое мнение, что ей нравится и что не нравится.

Ей, например, нравилась жизнь в деревне, воздух, коровы, лошади, свежее молоко, которое отдает пастбищем, хлеб из собственной пшеницы. Все здесь пахнет землей, все здесь собственный труд — хорошо, очень хорошо! Даже Додя и тот ей нравился. Но она не согласна с порядками, заведенными ее кузеном, с тем, что он ведет себя слишком по-барски. Еврей и помещик — по ее понятиям, это нечто несовместимое. Или взять хотя бы то, что он исправный землевладелец, любитель сельского хозяйства — ну что ж, раз на этом можно, с божьей помощью, деньги нажить и стать богачом, почему бы и нет. Она бы, возможно, тоже не отказалась от такого дела. Но зачем Лоев отдаляется от евреев — вот чего она не поймет. Почему, когда наступают праздники, он не удосужится съездить в Богуслав. Ставила она ему в упрек и то, что он насмеяется над благочестивым человеком, «внуком» праведника, облаченным в зеленую шаль, который иной раз забредет к нему за милостыней. Милостыню-то он давал, и щедрой рукой, но при этом насмеялся. «Лучше не давай и не издевайся!» — говорила тетя Тойба из Бердичева.

И еще одно. Учитель тете Тойбе понравился. Славный молодой человек — ничего не скажешь; образованный и к тому же из приличной семьи — это совсем хорошо. Но почему это учитель должен быть так близок со своей ученицей? А по ее мнению, учитель что-то слишком уж близок с ученицей. Откуда это ей известно? Уж тетя Тойба знает! У тети Тойбы такой глаз! Тетя Тойба взяла на себя труд следить за каждым шагом юной пары, и сама своими глазами видела, как они ели с одной тарелки. Где это было? У Доди. Тетя Тойба из Бердичева с первого же дня заметила, что девушка изнаывает по парню, а парень готов жизнь отдать для



девушки. Да это всякий видит, говорила тетя Тойба; не видеть этого может разве лишь слепой на оба глаза или тот, кто не хочет замечать, что у него под носом делается... Достаточно, говорила тетя Тойба, присмотреться к тому, как эти двое, сидя за столом, перекидываются взглядами, переговариваются ими. С первого же дня, говорит тетя Тойба, она с них глаз не спускает. Тетя Тойба не уставала следить за молодой парой, когда они занимались, когда гуляли, когда садились в фаэтон покататься.

Однажды, как рассказывала тетя Тойба старику, она заметила, как они зашли в домик к эконому Доде. Это ей сразу не понравилось: «Какие дела могут быть у детей в бедном домике эконома?» Она не поленилась, эта тетя Тойба из Бердичева, и заглянула в окно эконома, — видит, парочка ест с одной тарелки. Что они там ели, она не знает, но она сама видела, дай ей бог так видеть добро в жизни, как они ели, болтали и смеялись. Одно из двух — если это нареченные, то должны знать родители. Если же тут любовь, роман, то родители давно должны знать об этом. Потому что лучше, достойнее, приличней выдать дочь за бедняка учителя, у которого всего-то за душой одна пара белья, чем ждать, покуда учитель в одну темную ночь сбежит с дочкой в Богуслав, в Таращу или в Корсунь и там тайком обвенчается с ней...

Таковы, как выяснилось впоследствии, были соображения тети Тойбы. И высказала она их кузену под строжайшим секретом за полчаса до отъезда. Слова ее нашли отклик в сердце старого Лоева: когда он вышел проводить свою родственницу, видно было, что он чем-то взбешен. В течение целого дня после этого он ни с кем слова не вымолвил, заперся у себя в комнате и больше в тот день не показывался.

Поздним вечером приехал его сын, Иошуа, и остался ночевать в Софиевке. В доме творилось что-то странное, в доме было беспокойно. Отец с сыном заперлись в покоях старика, — очевидно, шел семейный совет. Ученица собиралась с учителем на прогулку, но ее задержали. К столу выходили не все вместе, как обычно, а поодиночке и в разное время; поев, вставали и уходили к себе. У Лоевых происходило что-то необычное. Царила странная, зловещая тишина, затишье перед бурей. Кто мог предполагать, что несколько многозначительных слов,

брошенных тетей Тойбой, произведут такой переполох и перевернут в доме все вверх дном! Возможно, если бы тетя Тойба знала, что ее слова приведут к таким результатам, она не вмешалась бы, во что не следует. Долгое время спустя стало известно, что тетя Тойба тут же пожалела, что затеяла всю эту историю, и хотела поправить дело, но было уже поздно. Повернув дышло, она пыталась внушить старику, что несчастье, собственно, не так уж велико и она не видит причин для особого огорчения. Разве парень виноват в том, что он беден? «Бедность — не порок», «Счастье от бога», — говорила тетя Тойба, но слова эти не помогали. Старик твердил одно — против парня, собственно, он ничего не имеет, но как у него в доме посмели завести роман без его ведома! Он вовсе не возражает против того, чтобы дочь его вышла за бедняка. Но только в том случае, если он, отец, найдет для нее мужа, а не она сама будет выбирать себе жениха. Ему было больнее всего, что она сделала выбор, не спросив отца.

О всех этих толках и разговорах Шолом узнал лишь много времени спустя. Теперь же юноша и девушка, как невинные ягнята, ничего не подозревали. Они только чувствовали, что в доме заварилась каша. Какая это каша, видно будет завтра. Утро вечера мудренее...

А когда наступило утро и герой наш поднялся, он никого в доме не застал — ни старика, ни его жены, ни их сына, ни дочери. Где же они все? Уехали. Куда? Неизвестно. Из прислуги никто ничего не мог сказать. На столе лежал приготовленный для учителя пакет. Он вскрыл конверт, надеясь найти в нем письмо с объяснением. Но в пакете не было ничего, кроме денег — жалования, которое накопилось за все время работы учителя. Во дворе его ждали запряженные сани (дело было зимой), в них теплая овчина, чтобы укрыть ноги. Из людей нельзя было выжать ни слова. Даже эконоом Додя, который за учителя и ученицу дал бы себе руку отсечь, в ответ на все расспросы только вздыхал и пожимал плечами. Страх перед стариком был сильнее всего. Поведение Доди еще больше взволновало оскорбленного учителя. Он совершенно растерялся и не знал, что предпринять. Несколько раз он принимался писать письмо, сначала старику, затем его просвещенному сыну, потом ученице. Однако ему не писалось. Катастрофа была огромна, такой пощечины он не ожидал. Поэтому без дальних

проволочек он уселся в сани и велел везти себя на станцию, чтобы оттуда ехать дальше. Куда? Он и сам не знал куда. Куда глаза глядят. По дороге к станции он велел кучеру остановиться в Бараньем Поле, у почтовой станции, через которую Софиевка получала корреспонденцию. В Бараньем Поле у героя этой биографии был друг, — вы знаете его, — смотритель станции, или почтмейстер, Малиновский.

По натуре своей он был взяточник и, как мы уже знаем, любитель выпить. Из имения Лоева он часто получал подарки: мешок пшеницы, воз соломы, а иногда под праздник и деньги. С учителем и ученицей он вел себя по-дружески, — в общем, человек как будто неплохой.

К нему-то и заехал учитель, чтобы облегчить душу. Он задумал сделать Малиновского посредником между собой и дочерью Лоева для пересылки контрабандой писем — его к ней и ее к нему, если таковые будут. Выслушав просьбу, почтмейстер протянул Шолому руку и поклялся богом, а для большей убедительности еще и перекрестился, что он все исполнит наилучшим образом. А когда между добрыми друзьями заключается сделка, то ее необходимо sprыснуть водкой и селедочкой надо закусить. Не помогли никакие отговорки. Они сели вдвоем за стол и не встали до тех пор, пока бутылка не оказалась пустой. Когда Малиновский нагрузился, он бросился целовать учителя и еще раз поклялся, что передаст его письмо дочери Лоева прямо в руки — беспокоиться нечего. Слово Малиновского свято.

Так оно и было: несколько первых пламенных любовных писем, которые герой посылал одно за другим, почтмейстер Малиновский, как это позже выяснилось, передал прямо в руки... старому Лоеву. Поэтому легко догадаться, что ответа на свои пламенные письма учитель не получал; поэтому же легко понять, что он писал свои письма до тех пор, пока... не перестал.

• • • • •

Что означают эти точки? Они означают долгую темную ночь. Все окутано густым мраком. Одинокий путник нашупывает дорогу. Он натывается на камень, падает в яму... Падает, подымается и идет дальше; и снова натывается на камень, опять падает в яму. Не видя перед собой ни зги, он делает глупости, совершает ошибки, одну

другой хуже. Трудно с завязанными глазами выбиться на верную дорогу, приходится блуждать. И он блуждал, долго блуждал, пока не выбился на верную дорогу, пока не нашел самого себя.

## ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ

*Приезд в Киев. — Герой тянется к великим звездам просветительства. — Облава в заезжем доме. — Розыски поэта Иегалела. — Автор «Записок еврея» и преферансик. — Шолом добирается до поэта, но встречает холодный прием*

Куда направиться бездомному юноше, который мечтает достичь чего-либо в жизни? Конечно, в большой город. Большой город — это основа основ, притягательный центр для каждого, кто ищет какого-нибудь дела, занятия, профессии или должности. Молодожен, спустивший приданое, муж, невзлюбивший свою жену, человек, поссорившийся с тестем и тещей или со своими родителями, купец, порвавший со своими компаньонами, — куда все они едут? В большой город. А иной слышал, что на бирже делают творожники из снега и набивают золотом мешки. Что ему остается делать? Едет, конечно, в большой город искать счастья. Большой город обладает магнетической силой, которая притягивает и не отпускает. Вас всасывает, как в болото. В городе вы надеетесь найти все, что ищете.

В тех краях, где жил наш герой, этим большим городом был прославленный Киев-град. Туда он стремился, туда и попал. К чему, собственно, он стремился и чего искал, трудно сказать определенно, потому что он и сам точно не знал, чего жаждет его душа. Он тянулся к большому городу, как ребенок тянется к луне. В большом городе есть большие люди. Это светлые звезды, которые с высокого безбрежного неба озаряют землю своим сиянием... Великие просветители, знаменитые писатели, одаренные богом поэты, чьи имена пленяют сердца наивных невинных юношей, верных поборников просвещения. Это был первый вылет нашего героя в широкий мир, первый приезд в большой город. Остановился он в заезжем доме Алтера Каневера, в нижней части города, называемой Подолом, где разрешалось жить евреям. Я говорю — «разрешалось жить евреям»,

но должен тут же оговориться, чтоб не подумали, упаси бог, что любому еврею разрешалось там жить. Ничего подобного. Там могли жить только те евреи, которые имели «правожителство». Например, ремесленники, приказчики, служившие у купцов первой гильдии, николаевские солдаты и те, чьи дети обучались в гимназии. Все прочие евреи пробирались сюда контрабандой, на короткий срок, и жили в великом страхе, пользуясь милостью дворника, «господина околоточного» или «господина пристава». И то до поры до времени, до первой облавы, когда солдаты и жандармы нападали посреди ночи на еврейские заезжие дома. На их языке это называлось «произвести ревизию». Если они обнаруживали контрабандный товар, то есть евреев без «правожителства», то последних сгоняли, словно скот, в полицию и выпроваживали с большим парадом, то есть вместе с ворами отправляли по этапу домой, в те города, где они прописаны.

Это, однако, никого не удерживало от поездки в Киев. Как гласит русская пословица: «Волков бояться — в лес не ходить». Облав действительно боялись, но в Киев ездили. О том, чтобы «ревизия» сошла благополучно и чтобы, упаси бог, не обнаружили «запрещенного товара», заботился сам хозяин заезжего дома. Как же он это делал? Очень просто: хозяин заезжего дома подмазывал кого следует. Он заранее знал, когда нагрянет «ревизия», и находил выход из положения. «Запрещенный товар» засовывался на чердак, в погреб, в платяной шкаф, в сундук, а иной раз в такое место, что никому и в голову не придет искать там живого человека. Забавнее всего, что, вылезши на свет божий, те самые люди, которые лежали в такого рода тайниках, старались превратить всю историю в шутку, как будто они дети, играющие в прятки, а в худших случаях, вздохнув, утешали себя: «Э, мы переживали времена и похуже, бывали тираны и покруче!»

Автор этого жизнеописания в первый свой приезд в великий святой Киев-град имел честь и удовольствие вместе с еще несколькими евреями дрожать на чердаке заезжего дома Алтера Каневера. Было это в темную зимнюю ночь. Так как «ревизия» оказалась внезапной, то мужчины едва успели натянуть на себя, извините за

выражение, подштанники, а женщины — нижние юбки. Счастье, что «ревизия» на этот раз длилась недолго, не то бы они совершенно закоченели на чердаке. Зато какая наступила радость, когда хозяин заезжего дома Алтер Каневер, почтенный человек с белой бородой, обратился к ним со странной речью в рифму:

— Евреи, будьте как дома, вылезайте из соломы!  
Черти убралась натошак, освобождайте чердак!

Переполох закончился общим весельем — подали самовар, пили чай с сушками и рассказывали всяческие небылицы! Веселье, однако, было омрачено тем, что хозяин заезжего дома наложил на своих постояльцев нечто вроде контрибуции — полтора целковых с головы, чтобы покрыть расходы по ревизии. Не помогли даже протесты женщин. Они, бедняжки, доказывали, что с них ничего не следует брать, так как они приехали сюда не ради удовольствия, не ради дел и заработков. Они приехали к профессору лечиться.

И пошли тут у них разговоры о докторах и профессорах. Каждая рассказывала о своей болезни и называла профессора, к которому она приехала. Оказывается, все приехали к одному и тому же профессору и у всех одна и та же болезнь. Каким бы недугом ни страдала одна, точно такой же оказывался и у всех остальных женщин. Но удивительнее всего, что женщины, сколько ни есть, говорили разом и все же ухитрялись слышать друг друга. Некоторые зарисовки этой ночи автор настоящих воспоминаний использовал впоследствии в одном из ранних своих произведений, назвав его «Первый вылет» (история о том, как два юных птенца впервые вылетают на свет божий).

Так наш герой провел первую ночь в великом святом Киев-граде. Наутро он пошел представляться великим светилам, что сияют нам с высоких небес, иначе говоря, нашим знаменитостям, просветителям, поэтам, из которых ему известен был в Киеве пока лишь один. Это был популярный поэт, писавший на древнееврейском языке под псевдонимом Иегалел. К нему-то и хотел добратся герой и добрался. Но не так легко, как это могло показаться с первого взгляда. После долгих расспросов герой узнал, что в Киеве существует миллионер Бродский, а у этого Бродского на Подоле мельница. При мельнице есть контора. В этой конторе служат разного рода люди. Среди них есть кассир, фамилия которого

Левин. Этот-то И. Л. Левин и есть знаменитый поэт Иегалел. Вот тут и начинается канитель.

Не каждый может получить доступ на мельницу Бродского. Туда может попасть только тот, кто имеет какое-нибудь отношение к зерну, к муке. «Кого вам нужно?» — «Известного поэта Иегалела». — «Здесь нет такого». Какой-то маклер по пшенице нашел даже повод для плоской остроты. Он спросил юношу: «Разве сегодня начало месяца, что вы читаете молитву «Галел»?» \*

Но господь сотворил чудо — вошел долговязый, худой человек с длинным носом, морщинистым лицом и с несколькими желтыми пеньками во рту вместо зубов. В рваном пальто и выцветшей шляпчонке, с огромным дождевым зонтиком из серой парусины в руках он походил на всемирно известного Дон-Кихота. Оказалось, что этот Дон-Кихот всего-навсего бухгалтер, но работает он на мельнице вместе с знаменитым поэтом Иегалелом. Узнав, кого спрашивает юноша, долговязый взял его за руку и, не говоря ни слова, повел в контору. Там он поставил в угол свой большой дождевой зонтик, сбросил с себя пальто и остался в коротком пиджачке с протертыми локтями; ноги у него были выгнуты колесом, иначе он был бы еще выше. После нескольких обычных фраз, которыми люди обмениваются при первом знакомстве, длинный бухгалтер внезапно вырос в глазах юноши еще на целую голову. Оказалось, что он был лично знаком с человеком, который в то время казался юноше чуть ли не посланцем божьим, ни более ни менее, как с самим Богровым, автором книги «Записки еврея». Бухгалтер служил вместе с ним в одном банке в Симферополе.

— Вот как? Значит, вы знали Богрова лично? — с воодушевлением переспросил юноша.

— Чудак человек! Вам же говорят, что мы с ним служили в одном банке, в Симферополе, а вы сомневаетесь...

— И вы сами с ним разговаривали?

— Так же, как вот теперь с вами. Не только разговаривали, но даже в карты играли, в преферанс. Любит картишки Григорий Исаакович, ох любит!.. То есть он не картежник, но любит перекинуться в картишки, в преферансик сыграть... Почему бы и нет? Ох этот преферансик!..

Подняв тощую, костлявую руку с протертым локтем, он сморщил свое и без того сморщенное лицо и, описав носом полукруг, обнажил желтые пеньки своих бывших зубов. Это должно было означать улыбку. Но тут же он снова стал серьезен и, поглядев куда-то вдаль сквозь очки, почесал у себя за воротником и заговорил о Богрове с уважением:

— Большой человек — Григорий Исаакович! Шутка ли сказать — Григорий Исаакович! Ого, очень большой человек! Много выше вашего знаменитого поэта Иегалела. Этот мал... этот совсем крошечный! — И он показал рукой, какой Иегалел крошечный.

В это мгновение отворилась дверь, и в комнату вошел маленький, плотный человечек с круглым брюшком и косящими глазами. На первый взгляд рядом с долговязым и худым Дон-Кихотом он выглядел как Санчо Панса, его оруженосец. Не поздоровавшись, Санчо Панса пробежал мимо собеседников и скрылся за решеткой в соседней комнате.

— Это он и есть, ваш поэт Иегалел. Можете пройти к нему, если хотите. Не такой важный барин...

Из этих слов, а также из предыдущего сравнения с Богровым было ясно, что бухгалтер с кассиром живут словно кошка с мышью. Но от этого поэт ничего не потерял в глазах своего пламенного поклонника. В трепете, с бьющимся сердцем Шолом, глубоко почтительный, переступил порог соседней комнатки. Известного поэта он застал в поэтической позе со скрещенными на груди руками — ни дать ни взять Александр Пушкин или по меньшей мере Миха-Иосиф Лебензон\*. Он был, видно, в весьма приподнятом поэтическом настроении, так как расхаживал взад и вперед по комнате со скрещенными на груди руками, почти не замечал своего юного почитателя и на его приветствие ответил только сердитым взглядом косящих глаз. Пригласить гостя сесть, расспросить, кто он такой, откуда, зачем пришел, здесь явно не собирались. Наивный почитатель был уверен, что таковы все поэты, Александр Пушкин тоже не отвечал на приветствия. Парню, конечно, не доставляло удовольствия стоять болваном у двери, но ничего не поделаешь. Обидеться ему и в голову не приходило — ведь перед ним не простой смертный, а поэт. Зато несколько лет спустя, когда наивный почитатель сам стал писателем, и не только писателем, но и редактором ежегодника



(«Еврейская народная библиотека»), и поэт Иегалел принес ему фельетон — его бывший почитатель и нынешний редактор Шолом-Алейхем напомнил ему их первую встречу и изобразил вышеописанную сцену. Поэт показывался со смеху.

Сейчас, однако, Шолому было не до смеха. Можно себе представить, с какой горечью в сердце ушел он от поэта. Этим злоключением, однако, его первый вылет не кончился. Настоящие бедствия, которые ему суждено было претерпеть в его первом большом путешествии, только начинались.

## 75

### П Р О Т Е К Ц И И

*Хозяин заезжего дома толкует о протекциях. — Герой делает визит киевскому казенному раввину. — Его направляют к «ученому еврею» при генерал-губернаторе. — Рассеянное существо. — Протекция к известному адвокату Купернику\**

Чужой человек в большом городе, как в лесу. Нигде не чувствуешь себя так одиноко, как в лесу. Никогда и нигде герой этого жизнеописания не чувствовал себя так одиноко, как в ту пору в Киеве. Люди в этом большом городе как бы сговорились не оказывать юному гостю и признаков гостеприимства, — ни капли теплоты. Все лица нахмурены. Все двери закрыты. Пусть бы хоть люди, что мельтешили перед глазами, не были так разодеты по-барски в дорогие шубы, не носились бы в великоколенных санях, запряженных горячими рысаками! Пусть бы хоть дома не отличались такой роскошью и великолепием. Пусть бы лакеи и швейцары у дверей не смотрели так нагло и не хохотали прямо в лицо. Все бы Шолом простил, только бы над ним не смеялись. А ему, как назло, казалось, что все смеются над ним, все, даже хозяин заезжего дома Алтер Каневер, который был в чести у начальства только благодаря тому, что его постояльцы не имели «правожителства» и не смели приезжать в святой Киев-град.

Разговаривая, этот человек имел привычку глядеть не в глаза собеседнику, а куда-то мимо него, и легкая усмешка играла при этом в его седых усах. К юному постояльцу он ухитрялся обращаться ни на «ты», ни на «вы»; ловко изворачиваясь, как акробат, он обходился вовсе без этих слов. Передаю здесь один разговор между

старым седовласым хозяином заезжего дома и его юным постояльцем.

Старик, усмехаясь, смотрит вниз и, скручивая сигарку, говорит визгливым сладеньким голоском.

Хозяин. Что слышно?

Постоялец. А что может быть слышно?

Хозяин. Как дела?

Постоялец. Какие могут быть дела?

Хозяин. Я хочу сказать, что мы тут в Киеве делаем?

Постоялец. Что же делать в Киеве?

Хозяин. Вероятно, ищем чего-нибудь в Киеве?

Постоялец. Чего же искать в Киеве?

Хозяин. Занятие или службу?

Постоялец. Какую службу?

Хозяин. По рекомендации, по протекции. Мало ли как!

Постоялец. К кому протекция?

Хозяин. К кому? Хотя бы к раввину.

Постоялец. Почему именно к раввину?

Хозяин. Ну, тогда к раввинше...

Тут хозяин первый раз за все время поднимает глаза на собеседника и умолкает. Но молодой постоялец сам уже не отстает от него.

Постоялец. Почему же все-таки к раввину?

Хозяин. Откуда я знаю? Когда паренек из нынешних приезжает в Киев, то у него, вероятно, письмо к раввину, я хочу сказать, к казенному раввину, конечно. Через казенного раввина он может получить протекцию... Так водится в мире. А если я ошибаюсь, то прошу прощения, значит, «я не танцевал с медведем»\*, — сказал он вдруг по-русски.

Непонятно, почему ему ни с того ни с сего пришло в голову перевести на русский язык еврейскую поговорку. Однако слова хозяина о протекции через казенного раввина крепко засели в голове у молодого человека, и он решил, что это, может быть, не так уж глупо. Добьется ли он протекции или не добьется, но нанести визит раввину не мешает. Может быть, из этого что-нибудь и выйдет! Как-никак раввин, да еще какой — губернский казенный раввин! Шутка ли? Чем дальше, фантазия все больше разыгрывается, и надежда получить поддержку киевского казенного раввина все больше прельщает нашего героя, принимает реальные формы. Очевидно, так суждено, чтобы из пустой болтовни, из-за того, что

какому-то Алтеру Каневру захотелось поиздеваться над ним, родилась счастливая идея, блестящая мысль. С идеями всегда так бывает. Благодаря какому-нибудь толчку, случайности возникают важнейшие мировые события. Это ни для кого не ново — так рождались самые ценные открытия.

Несколько дней Шолом все собирался, затем, узнав, где живет казенный раввин, в одно морозное утро позвонил у его двери. Дверь отворилась, и высунувшаяся рука указала ему налево, на звонок в канцелярию. Шолом позвонил. Отворилась дверь, и он вошел в канцелярию, где застал много народу. Тут были люди всевозможных профессий, большей частью ремесленники, забитые, оборванные бедняки, несколько убогих женщин с измученными лицами и распухший мальчик в больших рваных башмаках, из которых выглядывали пальцы, зато шея у него была укутана двумя шарфами, чтобы он, упаси бог, не простудился. На стене висела изодранная карта Палестины и лубочный портрет царя. Эта канцелярия, эта рваная карта и портрет царя, оборванные мужчины, жалкие женщины, распухший полураздетый мальчик — все здесь наводило уныние. Тоскливую картину дополнял сидевший у старого, выдавшего виды за платанного письменного стола старик с выцветшим мертвенным лицом. Если бы старик не держал в руках пера и не макал его поминутно в чернильницу, можно было бы подумать, что за столом сидит покойник, который скончался по меньшей мере тридцать лет назад, но его замариновали, и он кое-как держится. Выцветший покойник постепенно отпускал одного за другим мужчин и женщин, собравшихся здесь, и это отняло у него не так уж много времени, всего каких-нибудь полтора часа. Наконец очередь дошла до распухшего мальчика в двух шарфах. Мальчонка отнял тоже добрых полчаса. Он плакал, а маринованный покойник кричал на него. Слава богу, и с распухшим мальчиком покончено. Покойник кивнул герою этого жизнеописания, приглашая его подойти к столу, и еле слышно проговорил:

— Что скажете?

— Мне нужно к казенному раввину.

Покойник заглянул в книгу записей и спросил замогильным голосом:

— Метрика?

— Нет.

- Свадьба?
- Нет.
- Мальчика, девочку записать?
- Нет.
- Кто-нибудь умер?
- Нет.
- Милостыню?
- Нет.
- Что же вам все-таки нужно?
- Ничего. Мне хотелось бы повидать раввина.
- Так бы и сказали!

Маринованный покойник встал из-за стола и, ступая медленно, словно на подрубленных ногах, исчез в соседней комнате минут на пятнадцать — двадцать, затем вернулся с постным лицом и печальным результатом:

— Раввина дома нет. Потрудитесь зайти в другой раз.

К киевскому казенному раввину герой наведывался не раз и не два, пока ему наконец удалось застать его дома. Зато и принял его тот приветливо, сердечно. Вначале, правда, дело не клеилось. В первую минуту раввин был даже словно испуган. Не без труда узнал он от юного посетителя, в чем, собственно, состоит его просьба. Парень полагал, что раввин в таком городе, как Киев, должен с первого же взгляда сам понять, что кому нужно. Оказывается, он, как любой грешный человек, глядит вам в глаза, и вы должны разжевать ему каждое слово и вложить прямо в рот. И лишь после того, как все ему было достаточно разжевано, обнаружилось, что он ничего не может сделать, решительно ничего. Единственно, чем он может помочь, — это дать рекомендацию, оказать протекцию.

— Протекцию? Вполне достаточно! Чего же больше? Мне только этого и нужно.

Посетитель разглядывает киевского казенного раввина и сравнивает его с раввинами в маленьких местечках, которых ему приходилось встречать. Перед ним проходит целая вереница казенных раввинов, один из них плешивый. Все это замухрышки, маленькие люди. В сравнении с ними киевский раввин — величина. Они дикари против него, карлики. Киевский раввин — богатырь и хорош собой. Один только недостаток — он рыжий и, кроме того, тяжеловат на подъем: говорит не спеша, делает все медленно и думает медленно — человек

без нервов. Такие люди живут сто лет. Они не торопятся умереть — им не к спеху.

— Значит, вы желаете получить протекцию? К кому?

— К кому? Вам виднее.

— Хорошо. Надо подумать.—И раввин снова спрашивает посетителя — кто он такой, откуда и чего хочет.

Засим следует пауза в несколько минут. Нажатие кнопки, и появляется выцветший, тщательно замаринованный покойник из канцелярии. Раввин велит ему написать письмо к одному из своих друзей, — фамилии посетитель не расслышал, — и попросить его, не сможет ли он что-нибудь сделать для этого юноши... А юноше раввин заявил, что письмо его адресовано Герману Марковичу Барацу, присяжному поверенному и «ученому еврею» при генерал-губернаторе.

Проделав столь сложную работу, раввин отдышался. Видно было, что у человека гора с плеч свалилась. Пришлось-таки потрудиться. Зато сделано полезное дело, составлена парню протекция, и какая протекция, к «ученому еврею» при генерал-губернаторе! Так далеко разгоряченная фантазия юноши и не заходила. Рекомендация, которую он спрятал в боковой карман, грела его и окрыляла. Он сейчас же пойдет к «ученому еврею», который при генерал-губернаторе. Тут что-нибудь да выйдет! И сам «ученый еврей» представлялся ему не иначе как профессором, увешанным медалями, словно генерал. С трепетом позвонил он у дверей, и его впустили в кабинет, уставленный шкафами со светскими и духовными книгами. У героя зуб на зуб не попадал. Несколько минут спустя в комнату влетел человек с жидкими бакенбардами, чрезвычайно близорукий и очень суетливый. Неужели это и есть «ученый еврей» при генерал-губернаторе? Если бы у него не была выбрита часть бороды как раз посреди подбородка, можно было бы поклясться, что это меламед, учитель Талмуда. У «ученого еврея» была одна особенность — он плевался во время разговора. Видно было, что это человек очень рассеянный. О нем, как герой узнал позже, в Киеве рассказывали всякие анекдоты и смешные истории. Например: он никогда не мог попасть к себе домой, пока не натыкался на дощечку с надписью «Герман Маркович Барац». Однажды Барац, внимательно посмотрев на дощечку, прочитал указанные на ней часы приема — с трех до пяти. Взглянув на часы и убедившись, что сейчас всего

только два, Барац решил, что Бараца, должно быть, нет дома. А раз Бараца нет дома, то Барацу здесь делать нечего. И он отправился на часок погулять в саду. Одним словом, про Бараца в Кieve говорили, что Барац ищет Бараца и не может найти. В это утро Барац был особенно рассеян и не в духе. Он куда-то спешил, метался и брызгал слюной. Прочитав письмо раввина, который рекомендовал ему юношу, «ученый еврей» схватился за голову, стал расхаживать взад и вперед по комнате, плевать и умолять, чтобы его оставили в покое, потому что он ничего не знает, ничего не может сделать и не сделает. Жалко было смотреть на этого «ученого еврея»! Юноша оправдывался, уверял, что у него нет никакого злого умысла, что единственно, на что он рассчитывал, это... может быть... протекция... Но Барац не давал ему говорить. Он сам все это знает. Его возмущает раввин, который каждый день посылает к нему молодых людей. Что Барац может для них сделать? Что он знает? Кто он такой? Что он собой представляет? Ведь он не Бродский!

С разбитым сердцем, в тяжелом настроении вышел парень от «ученого еврея». Но, когда он очутился уже на самом низу лестницы, его окликнули. Это был «ученый еврей», который, пораздумав, решил, что сам он ничего не может сделать для юноши, но рекомендовать его своему другу и коллеге Купернику может. Куперник, если захочет, в силах сделать многое, очень многое. Шутка ли, Куперник! Его протекция стену прошибет, он способен привести в движение самых больших людей. И, не долго думая, «ученый еврей» сел к столу и написал записку своему лучшему другу и коллеге, знаменитому адвокату Льву Абрамовичу Купернику.

76

#### КУПЕРНИК

*Поиски знаменитого адвоката на Крещатике. — «Меняльная контора Куперника». — В окружном суде. — Герой находит наконец, кого ищет, протекция оказывает свое действие. — Небольшая ошибка: не Куперник, а Моисей Эпельбаум из Белой Церкви*

Имя Куперника, простые евреи произносили его как Коперников, было почти столь же известно и популярно, как, к примеру, имя Александра фон Гумбольдта

в Европе или Колумба в Америке. Кровавый навет, прогремевший на Кутаисском процессе \*, где Куперник добился оправдания обвиняемых, сделал его столь же знаменитым, как много лет спустя сделал знаменитым адвоката О. О. Грузенберга \* процесс Менделя Бейлиса \*. И так же как о Грузенберге, о Купернике в свое время рассказывали чудеса, окружая его имя легендами.

Имея протекцию к такому человеку, как Куперник, можно было позволить себе помечтать, пофантазировать. Шолом не торопился, тем более что он еще и адреса Куперника не знал. Медленно поднялся наш герой на Крещатик, красивейшую улицу Киева, а там уже нетрудно было допытаться, где живет Куперник. Войдя в какой-то двор против гостиницы «Европа», он прочитал вывеску на русском языке: «Меняльная контора Куперника». Шолома это немного удивило, почему у адвоката Куперника — меняльная контора. Но загадка вскоре разрешилась.

В конторе он застал молодого человека в синих очках и женщину в белом парике.

— Кого вам нужно?

— Куперника.

— От кого?

— От «ученого еврея» Германа Марковича Бараца. Письмо...

— Письмо от Бараца? Давай сюда!

Молодой человек в синих очках взял письмо и подал его женщине в белом парике. Женщина надела очки, прочитала письмо и кинула его прочь.

— Письмо вовсе не ко мне. Это к моему сыну.

— Где же он?

— Кто?

— Ваш сын.

— Где мой сын? Что значит где? Ступайте в окружной суд — там вы его и найдете.

Искать адвоката в окружном суде так же бессмысленно, как искать иголку в стоге сена. Окружной суд — это огромное старое здание с железными лестницами и с таким количеством комнат и залов, что посторонний человек может там заблудиться, голову потерять. Первый раз в жизни наш герой видел такую уйму людей, и все в черных фраках, с большими портфелями. Это сплошь присяжные поверенные. Изволь угадать, кто из

них Куперник. Остановить кого-либо из них и спросить — вещь совершенно невозможная. Все они заняты, все бегут с портфелями то туда, то сюда, словно одержимые. Одного человека, симпатичного на вид, не во фраке, но с большим желтым портфелем, Шолом все же решился остановить и спросить: «Где тут Куперник?» И тотчас получил ответ: «Зачем вам Куперник?» — «У меня к нему письмецо от «ученого еврея» Германа Марковича Бараца». — «А, от Бараца? Посидите немного, я сейчас приду». И, указав на длинную полированную скамью, человек скользнул куда-то и исчез. Юноша сел на скамью. Сидел полчаса, час, полтора часа — нет ни этого человека, ни Куперника. Наконец он встал и собрался уходить. Народ поредел, только кое-где еще мелькнет черный фрак. Вдруг Шолом снова увидел человека с желтым портфелем.

— Ах, вы еще здесь? Что вам, собственно, нужно от Куперника?

Юноша объяснил ему еще раз:

— У меня к нему письмецо от Германа Марковича Бараца.

— Где же это письмецо?

Шолом показал письмо. Тот прочел его.

— Что вам, собственно, нужно от Куперника?

— Я и сам еще точно не знаю... Может быть, мне удастся получить от него место.

— Что вы умеете делать?

— Я хорошо пишу по-еврейски и по-русски.

— По-русски тоже? Идемте со мной!

Мог ли еще Шолом сомневаться в том, что перед ним Куперник? Выйдя с юношей из окружного суда, он, то есть Куперник, взял лихача — фаэтон на резиновых шинах — и крикнул: «Гостиница «Россия»!» Лихач стрелой домчал их до гостиницы. Войдя в сильно накуренную комнату, Куперник усадил гостя за стол, закурил папиросу и, дав ему лист бумаги и перо, предложил написать несколько строк. Юноша обмакнул перо и, прежде чем приступить к делу, спросил Куперника, как писать — по-еврейски или по-русски. «Разумеется, по-русски!» Юноша постарался. Дух учителя Мониша — обладателя великолепного почерка — сопутствовал ему и здесь. После первой же строчки Куперник остановил Шолома, сказал, что почерк вполне его удовлетворяет, и предложил ему папиросу. От папиросы юноша отказался.



— Простите, господин Куперник, я не курю.

— Простите, молодой человек, я не Куперник. Моя фамилия — Эпельбаум.

— Эпельбаум?

— Ну да, Эпельбаум. Моисей Эпельбаум из Белой Церкви... Присяжный поверенный...

Так уж, видно, суждено было Шолому. Поди угадай, что киевский Куперник вдруг превратится в Моисея Эпельбаума из Белой Церкви! Моисей Эпельбаум из Белой Церкви показал себя настоящим джентльменом. Он не торговался из-за жалования, соглашался на все условия. Он даже пообещал подучить Шолома адвокатуры и потом дать рекомендацию не то что к Купернику, а к гораздо более важным лицам, чем Куперник, потому что он знаком со всеми большими людьми в Киеве, в Москве и в Петербурге, он с министрами на короткую ногу. Если юноша ничего не имеет против, можно хоть сегодня отправиться в Белую Церковь. Он, Эпельбаум, должен только забежать на минутку к генерал-губернатору. Но, если посетишь генерал-губернатора, нельзя обойти визитом и губернатора. Ведь эти собаки страшно завидуют друг другу. Не мешало бы, правда, повидаться и с киевским полицмейстером, но полицмейстер и сам не хвор наведаться к нему. Черт его не возьмет...

Эпельбаум выскочил из комнаты, оставив незнакомого юношу одного. Тому, однако, приключение пришлось по душе. А личностью Эпельбаума он и вовсе был очарован. Он еще не успел обдумать свое положение, как Эпельбаум вернулся, подкатив на лихаче, нагруженный пакетами и свертками. Там было все, что душе угодно: селетка, рыба, балык, икра, фрукты, папиросы...

— Вы думаете, я покупал это? Все это подарки от генерал-губернаторши, губернаторши и жены полицмейстера.

— Вы были у полицмейстера? Ведь вы сказали, что...

— Боже сохрани! Это не от жены его, а от любовницы... Я ее адвокат. Веду в палате ее полумиллионный процесс. Она миллионерша. Но очень скупа. Готова повеситься из-за гроша. Для меня, однако, ей ничего не жаль. Для меня они на все готовы... Значит, едем в Белую Церковь?

— Едем в Белую Церковь!

## ДОЛЖНОСТЬ «СЕКРЕТАРЯ»

*Герой едет со своим новым патроном в Белую Церковь. — Его принимают как дорогого гостя. — Семейная идиллия. — «Реб Лейви». — Хозяин обучает своего секретаря адвокату-ре. — Герой жестоко обманут. — Красноречивое письмо отцу и новые надежды*

По пути из Киева в Белую Церковь «присяжный поверенный» Эпельбаум показал себя богачом, настоящим барином, не поскупился на билеты первого класса и на вокзале в Фастове немало денег оставил в буфете. Человека, который им прислуживал, он тоже не обидел. Нашего героя он представлял знакомым как своего «секретаря». Что он говорил про «секретаря» своим домашним, одному богу известно. Но по всему видно, что «присяжный поверенный» представил «секретаря» в самых радужных красках, ибо герой встретил в его доме такой великолепный, теплый прием, которого мог ожидать только долгожданный гость или богатый родственник из Америки, от которого надеются получить наследство... Жена Моисея Эпельбаума — праведная женщина и великолепная хозяйка — нарядилась по-праздничному, причесала детей. А ужин она приготовила такой, от которого и сам царь не отказался бы. Старший сын Эпельбаума Лейви, умница парень — дома его прозвали «реб Лейви», — не мог сдержать своего восторга и, встав из-за стола, пробормотал, поглаживая живот, что было бы совсем неплохо, если бы такие гости приезжали к ним каждый день и для них готовили бы такие ужины. Тогда Моисей Эпельбаум отвесил ему пощечину и пробормотал, что вовсе было бы неплохо, если бы он, «реб Лейви», стал немного поумнее и держал язык за зубами. И тут же обратился к «секретарю»:

— Как вам нравится мой наследник, «реб Лейви»? Нечего сказать, сокровище! Светило науки! Не сглазить бы. Пока он научится читать по мне «Кадиш», не беда, если голова моя уже будет покоиться в земле.

Эта острота всех рассмешила, в том числе и самого «реб Лейви». Однако мать нашла нужным заступиться за сына. Как-никак родная мать! Ее вмешательство чуть не привело к конфликту. Госпожа Эпельбаум была уверена и открыто выразила свое мнение, что, когда ее наследник достигнет возраста своего отца, у него будет ума точно столько же, сколько у папаши.

— А может быть, и больше, чем у папаши, — подхватил «реб Лейви», отчего отец пришел в ярость. Счастье, что сынок своевременно убрался, иначе дело могло бы кончиться плохо. Моисей Эпельбаум признался, что хотя он и противник телесных наказаний и считает порку варварским обычаем, противоречащим «принципам цивилизации», тем не менее он полагает, что такому избалованному парню, как его «реб Лейви», не вредно отведать розог хотя бы раз в неделю. Это, заявил Эпельбаум, принцип. И нужно думать, что этот принцип был знаком «реб Лейви», ибо у него оказался свой принцип: когда ему угрожала взбучка, он исчезал — ищи ветра в поле.

На этот раз исчезновение Лейви не рассеяло возникшего конфликта. Борьба только перешла, литературно выражаясь, на другую почву. Война, которая минутой раньше происходила между отцом и сыном, разгорелась теперь между мужем и женой. Эпельбаум весь гнев обрушил на супругу: виновата, мол, во всем она, дай бог ей здоровья, его милая, преданная женушка, потому что всегда заступает за своего драгоценного наследника. Но супруга тоже в долгу не осталась и напомнила милому, дорогому муженьку, дай ему бог здоровья, что в возрасте своего сына он был босяком намного хуже, чем ее наследник. И если у него, у дорогого Моисея Эпельбаума, хорошая память, то он, вероятно, не забыл, что его когда-то называли не Моисей Эпельбаум, а «Мойше-блин».

Гостю, конечно, не особенно приятно оказаться неожиданным свидетелем семейной сцены и наблюдать, как милые и преданные супруги на глазах у чужого человека перебивают друг друга косточки. Одно лишь бросилось в глаза гостю и поразило его: обе воюющие стороны, как муж, так и жена, не принимали всего этого близко к сердцу. Наоборот, могло показаться, что, недавно из-под венца, чета эта совершает свое свадебное путешествие и от нечего делать обменивается сладкими комплиментами. Всякого рода люди есть на божьем свете и всякого рода идиллии!

После великолепного ужина «присяжный поверенный» Эпельбаум усадил своего гостя и «секретаря» за письменный стол, дал ему переписать какую-то бумагу, а сам прилег вздремнуть. Вздремнув, он закурил папиросу и завязал разговор со своим юным «секретарем». Разговор был настолько интересен, что грешно, право, оставить его неотмеченным. После стольких лет трудно,

конечно, передать этот разговор дословно, но содержание и смысл его были примерно таковы:

— Послушайте меня, молодой человек, дело такого рода. Вы, я вижу, малый не глупый, почерк у вас превосходный, и по-русски вы хорошо говорите — все данные налицо, чтобы ваше стремление исполнилось, то есть вы прирожденный адвокат. Вам нужно только одно — желание. Если только пожелаете — вы им будете. Знания — вещь второстепенная. Главное — вас не должно смущать то, что другие знают больше вас. Своим языком вы должны уничтожить любого человека с любыми знаниями. Вы ни на минуту, ни на секунду не должны подавать виду, что в чем-то уступаете большим людям, потому что вы самый большой человек. Вы должны не переставая сыпать словами. Язык должен работать больше, чем голова. Вам нужно засыпать противника таким количеством слов, чтобы он обалдел, потерял всякое соображение, и тогда вы легко забросаете его тысячами гранат из «Свода законов» и «Кассационного департамента», каких там никогда и не бывало. Это все для судей. О клиентах и говорить нечего. Клиенты — это овцы, которые дают себя стричь; коровы, которые дают себя доить; ослы, которые любят, чтобы на них ездили верхом. С ними тем более нечего церемониться. Они и сами невысокого мнения о размазнях, проповедующих мораль. Нахала они уважают больше, чем ученого профессора, который набит законами, как мешок —ловой. На улицу вы не должны показываться без большого портфеля — пусть он даже будет набит старыми газетами или грязными манжетами и воротничками. Дома вы можете хоть целый день играть с кошкой, но, чуть заслышав звонок, должны немедленно углубиться в толстую книгу и потирать лоб. Клиента вы не должны выпускать из рук, пока не высосете его до конца, и не может быть ни одной вещи в мире, о которой вы сказали бы. «Я не знаю», — ибо вы знаете все!..

После такой великолепной лекции автор биографии мог бы, кажется, догадаться, что за птица этот «присяжный поверенный». Но у Эпельбаума было такое умное, симпатичное лицо, он так очаровывал вас глазами, так подкупал своей речью, что, сами того не желая, вы целиком подпадали под его власть. Вечером, изрядно подремав, Эпельбаум взял портфель и палку и собрался уходить. И тут между милыми, верными супругами снова

вспыхнул конфликт. Жена спросила мужа, куда он идет. Муж ответил, что уходит на полчаса в клуб — ему нужно там повидаться с одним человеком. Жена заметила, что знает, какие это полчаса; дай бог, чтоб он вернулся завтра к обеду... И человек, с которым он должен повидаться, ей тоже хорошо знаком. Это не человек, сказала она, а человечки — сплошь короли, дамы и валеты...

— Но, дорогая моя, о тузах ты, верно, забыла. Какая же это будет игра без тузов!

Жена ничего не ответила, но бросила на мужа такой взгляд, что другой на его месте провалился бы сквозь землю. Однако Моисей Эпельбаум и ухом не повел. Он подошел к своему юному «секретарю», который в это время писал, склонился к нему и тихонько спросил, сколько у него денег. «Секретарь» схватился за карман и показал, сколько у него денег. Эпельбаум на минуту задумался, а потом протянул руку:

— Не одолжите ли вы их мне на несколько минут? Я возвращу вам сегодня же, когда вернусь из клуба.

— О, с величайшим удовольствием! — ответил «секретарь» и отдал все свои наличные.

После ухода Моисея Эпельбаума мадам Эпельбаум стала расспрашивать «секретаря», каким образом он попал к ее мужу в секретари и какое отношение он имеет к Бродскому. «К какому Бродскому?» — «К киевскому миллионеру Бродскому». — «При чем тут Бродский?» — «Разве Бродский не приходится вам дядей?» — «С чего это вы взяли, что Бродский мой дядя?» — «Кем же он вам приходится?» — «Кто?» — «Да Бродский...» — «Кем он, по-вашему, может мне приходиться?»

Короткая пауза. Оба удивленно смотрят друг на друга, думая каждый о своем. Минуту спустя мадам Эпельбаум снова спросила «секретаря»: «Вот как? Значит, вы не служили у Бродского?» — «Почему вы решили, что я должен был служить у Бродского?» — «И вы даже с ним незнакомы?» — «С кем?» — «Тьфу, черт побери! Говорим, говорим и никак не можем договориться! Скажите мне хоть, кто вы такой и как вы сюда попали?»

На следующий день нашего наивного героя ждал новый сюрприз: его патрон Моисей Эпельбаум не вернулся из клуба. Для «реб Лейви» нашлось занятие — сбежать в клуб и позвать отца обедать. «Реб Лейви»,

однако, не имел никакой охоты получать натошак незаслуженные пощечины, и мать была вынуждена выдать ему эти пощечины авансом. Наконец «реб Лейви» принес весть, что отец его утром поехал прямо из клуба на вокзал, а оттуда — в Киев.

Для нашего героя это был удар грома среди ясного неба. Он и деньги потерял, и в дураках остался. Тогда только он начал наводить справки о своем патроне и узнал, что Эпельбаум никогда не был присяжным поверенным. Он только ходатай по делам, один из тех, кого называют «подпольными адвокатами», и имя его в Белой Церкви произносится не иначе как с улыбкой... Положение нашего юного героя становилось печальным. Похоже было на то, что ему предстоит снова испытать все прелести голода. Со стесненным сердцем сел он за стол и написал отцу в Переяслав длинное и весьма красноречивое письмо. Красноречие, можно сказать, вывезло его: при помощи красноречия можно много написать и очень мало сказать... Только к концу письма он закинул словечко насчет того, что охотно съездил бы домой, будь у него немного мелочи на дорогу... Вскоре от отца пришел денежный пакет, в котором было несколько рублей и письмо с предложением поторопиться и приехать как можно скорей, потому что в одном городе близ Переяслава открылась вакансия казенного раввина и у Шолома есть все шансы занять эту должность. Письмо заканчивалось следующим изысканным древнееврейским оборотом: «Торопись, торопись! Лети стрелой! Лети, как на крыльях орла! Торопись, не опаздывай! Приезжай, и да сопутствует тебе удача!»

## 78

### ВЫБОРЫ

*Как выбирают казенного раввина. — Прежний лубенский раввин — старый знакомый нашего героя. — Нахман Каган покровительствует юному кандидату. — Герой произносит речь и производит прекрасное впечатление. — «Поздравьте, избран единогласно!» — Для прихожан и это чудо. — Приезд в Переяслав, омраченная радость. — Герой дает себе слово не быть таким, как все*

Лубны — вот название города, который пожелал занять нового казенного раввина.

Слово «пожелал», как вы можете понять, употреблено здесь для литературного оборота. Город так же желал

казенного раввина, как желают, к примеру, могильщика. Ведь институт казенных раввинов, собственно говоря, излишен. Он навязан правительством русским евреям, и им приходится с ним мириться, как с чем-то путным. Любопытнее всего, что казенный раввин не назначается непосредственно властью для опеки над евреями, а его должна избрать еврейская община. Однако выборы эти вынужденные, навязанные сверху. Начальство предписывает общине собраться там-то и там-то в такое-то время и избрать казенного раввина. Тут появляются кандидаты. У каждого кандидата свои сторонники, и каждая сторона пользуется своим оружием и своими средствами для завоевания публики. У одного кандидата — сильная протекция, второй действует с помощью денег, третий — рюмочкой. Никто не дремлет. Город кипит, клокочет. Народ горячится. Словом — на еврейской улице праздник: выбирают раввина; баллотируют, опускают шары — жизнь бьет ключом. Иногда это тянется неделями, а порой и месяцами. Для наблюдения за выборами, для того, чтобы, упаси бог, не было злоупотреблений при подсчете шаров, на место присылается «карда». Но самый настоящий кавардак начинается после выборов. Так как выборы должен утвердить губернатор, то в губернское правление летят доносы и жалобы со стороны отвергнутых кандидатов. И если выборы кассируются, то вся история начинается с начала: новые кандидаты, новые выборы, а затем снова доносы и снова кассации.

Среди лиц, выставивших свои кандидатуры в раввины в городе Лубны, был и прежний раввин — сын учителя Мойше-Довида — Шимон Рудерман, тот самый, который, если вы помните, когда-то в Переяславе чуть не крестился и которого евреи вызволили из монастыря и определили в житомирскую школу казенных раввинов. Этот раввин, видимо, пришелся не по вкусу в Лубнах. Община ждала выборов как избавления. Лубенские евреи не хотят знать никакой политики, им чужды фокусы. Если человек им нравится, они ему говорят: «Ты нам нравишься». Когда человек не нравится, они ему говорят напрямик: «Иди с богом! Ты нам не нравишься...» Раввину Рудерману они уже давно сказали, и без обиняков, что он может искать себе другой город. А чтобы он не подумал, будто с ним шутки шутят, они уступили другому его место в синагоге, и когда он пришел в суб-

боту молиться, ему негде было присесть, и он вынужден был всю службу простоять на ногах. В следующую субботу он явился с полицией и силой занял свое место у восточной стены. Можно себе представить, какой это произвело эффект. Событие это стало достоянием гласности. Помимо того что вся история была описана в газете «Гамейлиц», редактор Цедербаум прибавил еще от себя петитом «Примечание редактора», которое заняло втрое больше места, чем сама корреспонденция. В нем он воздавал должное как самому раввину, так и публике, распекал их за оскорбление святыни, за то, что они допустили в божью обитель полицию. Закончил он свое примечание поучением, — так, мол, поступать нельзя. Поучение он сдобрил несколькими притчами, стихами из Библии и выдержкой из сказания об Эсфири: «Хватит нам терпеть позор и поношения...» Цедербаум, упокой господи его душу, на это был мастер!

Однако Рудерман не снял своей кандидатуры на должность казенного раввина в Лубнах. И другие кандидаты действовали вкуче со своими сторонниками, каждая сторона на свой манер, и борьба началась. Почти уже к самому концу, за несколько дней до выборов, точно с неба свалился герой настоящей биографии с письмецом от дяди Пини к его родственнику, одному из самых уважаемых обитателей города Лубны, Нахману Кагану. Это был почтенный старец и большой богач. Такой человек занимает в синагоге самое почетное место, кантор не смеет продолжать богослужение, пока реб Нахман не выстоит «Восемнадцать благословений» — пусть это длится хоть целую вечность. А если реб Нахману случалось опоздать в синагогу, что бывало почти каждую субботу, он посылал кого-нибудь сказать, чтобы его не ждали. Народ, однако, знает приличия и понимает, что богач, должно быть, хотел этим сказать, чтобы его ждали. Словом, реб Нахман был таким сокровищем, которому вполне подходили слова: «Ученость и величие собраны здесь воедино...»

Молодой кандидат застал его за чтением Мишны. Прочитав письмо дяди Пини, старый Каган поправил очки и оглядел юношу с головы до ног. Похоже было, что малый, в своем коротком пиджачке, произвел не слишком благоприятное впечатление на старика. Но, видно, заслуги дяди Пини получили перевес, и старик предложил гостю сесть. Разговорившись с ним и убедив-



шись, что парень далеко не невежда в Писании, знает толк в Талмуде и в разговоре может ввернуть древне-еврейское словцо, старик заулыбался и велел подать чего-нибудь закусить. Был принесен поднос, и на подносе стояло блюдечко, на блюдечке лежал один-одинешенек, как сирота, сладкий пряник, а в прянике торчала одна изюминка.

— Совершите благословение и закусите! — предложил старый богач и стал расспрашивать юного кандидата про город Переяслав, который он посетил как-то, лет шестьдесят с лишним тому назад. Тогда это был еврейский город. Как там теперь обстоит с благочестием?

— Все обстоит хорошо, — ответил гость и отказался от угощения, собственно не из-за благословения, которое нужно произнести перед едой, а из боязни, что старик заставит потом совершить заключительное благословение, которого Шолом никогда не мог запомнить наизусть. На прощание хозяин пожелал ему успеха. А успех, с божьей помощью, обеспечен, заверял его старик, ибо его пожелания всегда исполняются, потому что он коген...

В тот же день по городу распространился слух, что появился новый кандидат в раввины, совсем еще юноша, но полный достоинств. Во-первых, он из хорошей семьи, родственник Нахмана Кагана; кроме того, он знаток Писания, обладает прекрасным почерком и знает наизусть весь Талмуд со всеми комментариями. А так как фантазия у людей разыгралась, то некоторые добавляли, что он имеет также звание духовного раввина, может давать советы по вопросам религии и заткнет за пояс не только местного духовного раввина, но и еще трех таких, как он. Одним словом, птица редкостная, чудо из чудес. Когда Шолом появился на улице, между рядами лавок, на него показывали пальцами, и он слышал, как говорили за его спиной:

— Это он и есть?

— Кто?

— Новый казенный раввин.

— Такой щенок?

— Молоко на губах не обсохло...

— Какие у него длинные волосы!

— Волос долог, да ум короток...

Однако у героя хватило ума за один день нанести с полдюжины визитов местным заправилам, сливкам го-

рода — Бахмутским, Каневским, Рогачевским и прочим представителям лубенской буржуазии. В субботу перед выборами он был в синагоге. Его посадили на видное место, чтобы хорошенько наглядеться на него; ему пришлось выдержать несколько сот рукопожатий. Наконец нового кандидата вызвали к чтению торы.

Это было нечто вроде экзамена. Парень прочел текст с блеском. Однако все это ничто в сравнении с тем, что творилось во время выборов. А творилось вот что. Зал управы был полон народу, и уже собрались приступить к выборам, как вдруг самый молодой из кандидатов выступил с речью, и к тому же по-русски, которую ни к селу ни к городу пересыпал цитатами из Писания, притчами и аллегориями. Тем не менее речь его так понравилась, что он был избран в раввины всей общиной единогласно, не получив ни одного черного шара. Сейчас же домой полетела телеграмма: «Поздравьте, избран единогласно!» Сам же только что избранный молодой раввин отправился принести свою благодарность реб Нахману Кагану. Старик был чрезвычайно растроган, что его протекция оказала такое действие. И он попросил молодого раввина повторить перед ним речь, которую он произнес на выборах. Раввин ответил, что охотно повторил бы ее, но, к сожалению, тут и слушать нечего.

— Почему же говорят, что публика пальчики облизывала?

— Если разрешите, я расскажу вам одну историю...

— Пожалуйста, если она только имеет отношение к делу. — Реб Нахман Каган приготовился слушать, надел очки, и молодой раввин начал:

— История, которую я вам расскажу, случилась с одним священником. Молодой свежеспеченный попик пришел к митрополиту за благословением и советом, — что бы ему такое сказать прихожанам в праздник. Митрополит благословил его и посоветовал рассказать прихожанам о святых угодниках: например, о чуде с сорока святыми, которые три дня и три ночи блуждали по лесу и чуть не умерли с голоду. Но господь явил чудо — они нашли каравай хлеба. Все сорок святых уселись есть этот хлеб. Ели они, ели, и еще на завтра осталось... Когда наступил праздник, молодой священник рассказал прихожанам в церкви о чуде, только чуточку по-иному. Один святой блуждал по лесу три дня и три



ночи, чуть не умер с голоду. Тогда господь явил чудо — святой нашел сорок хлебов. Присел он утолить голод. Ел-ел, ел-ел, и еще на завтра осталось. Позже, когда митрополит сделал священнику выговор, как это он мог допустить такую грубую ошибку, молодой попик ответил: «Для моих прихожан и это чудо...»

Старый Каган чуть не лопнул от смеха. Он был очень доволен новым казенным раввином, радовался ему, как родному. Торжество юноши длилось, однако, недолго. Оно было вскоре омрачено, как мы это дальше увидим. Пока же съездим с юным раввином в его родной город Переяслав.

Наш герой представлял себе, что Переяслав ходуном ходит по случаю его избрания. Шутка ли — такой успех и в таком возрасте! Ничего подобного! Рада была только его родня, и то не совсем. Радоваться можно будет только тогда, когда выборы утвердит губернатор. А пока



дело висит в воздухе. Нужно еще съездить в губернию, в Полтаву, хлопотать, подмазывать... Этого одного было достаточно, чтобы охладить восторг героя. А вдобавок нужно же было ему встретиться с Хайте Рудерманом, младшим братом бывшего лубенского раввина. Хайте шел ему навстречу с независимым видом, руки за спину, в желтой куртке внакидку. Не чувствуя за собой никакой вины, наш герой протянул ему руку. Но тот и пальцем не пошевелинул, отступил в сторону и прошел мимо, как незнакомый. «Брат за брата», — подумал оскорбленный герой, найдя тут же оправдание для оскорбителя, и побежал излить свою душу перед другим своим товарищем, Авремлом Золотушкиным. Несмотря на то что Золотушкин был с Хайте Рудерманом на ножах, он решительно стал на сторону Рудермана и сказал герою в глаза, что порядочный человек не должен ему подавать руки по двум причинам: во-первых,

потому, что он теперь казенный раввин, а казенный раввин — это лицемер, ханжа, блюдолиз у богачей и чиновник правительства; во-вторых, честный человек не отбивает у другого заработок, не вырывает, как собака, кость изо рта...

Коротко, но ясно. Герой наш чувствовал, что в словах Золотушкина кроется большая правда. И ему вспомнилась встреча в день выборов с лубенским эксраввином Шимоном Рудерманом: как тот побледнел, какие у него были испуганные глаза, словно спрашивающие: «Что я тебе сделал?» Таким жалким выглядит пес, которого искусали и затравили другие псы. При этой встрече у героя сжалось сердце. В какую-то минуту он был готов броситься несчастному Шимону Рудерману на шею, просить у него прощения, уступить ему Лубны вместе с их почтенными обывателями и снять свою кандидатуру в раввины. Вот это было бы человечно, даже более чем человечно. Но порыв длился не дольше одной минуты, тут же выступил эгоист — собственное «я». И это «я» победило.

Можно себе представить, в каком душевном состоянии герой ушел от своего друга Золотушкина. Что может быть хуже сознания, что прав другой, а не ты? У Чехова есть для этого точное выражение: он чувствовал себя так, будто мыла наелся. Одного только Шолом не мог понять: почему казенный раввин должен быть обязательно лицемером, лизоблюдом у богачей и чиновником правительства. И он дал себе слово, что таким не станет. Он будет не таким раввином, как все. Человек — это то, кем он хочет быть.

. . . . .

## **ПЬЕСЫ**



# **ДОКТОРА!**

**Шутка в одном действии**



## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- Хаим - Лейб Крендельман** — новоиспеченный богач, человек лет 50, в старомодном сюртуке, ходит с непокрытой головой.
- Хана - Лея** — его жена, неопределенного возраста, молодится, утопает в жемчуге и брильянтах.
- Верочка** — их дочь, красивая девушка, из «современных».
- Абрамчик** — их сынок, «просвещенный» юноша, напичканный книжной мудростью.
- Шолом - шадхен** — посредник по брачным делам, в ермолке, в старомодном зеленом кафтане.
- Златка** — молодая девушка, горничная.
- Брайна** — пожилая женщина, кухарка.

Просторный зал. Дорогая мебель, обитая плюшем. Диваны. Зеркала в бронзовой оправе. Много столов и столиков. Стекланные горки, сплошь уставленные серебряными, позолоченными ложками, чайниками, бокалами, зелеными и красными рюмками. На креслах валяются в беспорядке бесчисленные дамские наряды — шелковые и бархатные. На столе — скатанный лист макаронного теста. На окне — большая медная кружка с двумя ушками. Горшки с дорогими, но засохшими цветами; на них висят свежевывищенные брюки и белый жилет. На изящной книжной этажерке много кусков разрезанного на части пирога. Там же — большая банка варенья. Фортельяно, на котором валяется подушка. Одним словом, всюду и везде «образцовый порядок».

## ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Хаим - Лейб, Шолом - шадхен.

Хаим - Лейб (*мечется взад и вперед по комнате, отмахивается руками*). Что он мне голову морочит?

Шолом - шадхен (*бежит за ним вслед, тычет ему в руки письмо*). Вот почитайте сами, что мне пишут, что? Обманывать я вас стану, что ли?

Хаим - Лейб. Но кто вас просит? Не надо мне вашего жениха! Не желаю! Что он мне голову морочит!

Шолом - шадхен. Я ничего от вас не хочу! Я хотел бы только, чтобы вы потрудились взять это письмецо и прочитали бы, что мне там пишут, что?

Хаим - Лейб. Чего вы пристали? Отвяжитесь, ради бога. Некогда мне с вами разговаривать! Приходите в другой раз, прошу вас. Что он мне голову морочит?

Шолом - шадхен (*про себя*). Стараются не слышать, не хочет приданое давать... свиное рыло! (*Хаим - Лейбу*.) Только несколько строчек, реб Хаим - Лейб, сердце мое, дай вам боже до ста двадцати лет дожить! Пару слов только, прошу вас, ровно три слова! Что вам стоит, что? Ну, сделайте мне одолжение, сделайте! Я вам клятвенно говорю, верьте слову моему, верьте: это счастье, редкое счастье, чтоб я так жил! Раз в десять лет такое счастье приходит! Натe, прочитайте, будьте любезны! Своими глазами прочитайте! Смотрите, вот...

Хаим - Лейб (*хватается руками за голову*). Гвалт! Караул! Что за несчастье на мою голову! Пристал, как банный лист! Что он мне голову морочит? Гвалт! Караул! Караул!..

## ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Хана-Лея.

Хана-Лея (*испуганно*). Ша! Что там случилось?

Хаим-Лейб собирается что-то сказать, но Шолом-шадхен не дает ему говорить, одной рукой затыкает ему рот, а другой тычет письмо.

Хаим-Лейб. М-м-м...

Шолом-шадхен. Понимаете ли, Хана-Лея, сердце мое, дай вам бог здоровья! Я им показываю вот это письмо, письмо показываю! Ну, зачем мне обманывать — скажите, мне нужно? Я от чистого сердца говорю, поверьте, говорю я... Счастье это для вашей дочери, истинное счастье, дай мне боже столько счастья с вами за компанию! Натe, возьмите, читайте! Да читайте же, — вы сами увидите, что я неправды не говорю вам, не говорю! К чему мне вас обманывать, сохрани бог, скажите, к чему? Какой мне в этом прок? Вот поглядите, нате, читайте! Натe, нате вам!

Хана-Лея (*берет у него письмо и передает мужу*). А почему тебе не прочитать, Хаим-Лейб? Что тебе, жалко? Дорого стоит, что ли?

Хаим-Лейб берет письмо, напяливает на нос очки в серебряной оправе и начинает читать вслух, громким голосом. Хана-Лея садится рядом с ним, Шолом-шадхен, стоя за его спиной, одобрительно кивает головой после каждого прочитанного слова, беззвучно двигает устами и млеет от восторга.

Хаим-Лейб. «Достопочтенному, многоуважаемому, любезнейшему и драгоценнейшему реб Шолому, мужу глубокопросвещенному и богобоязненному, да светится свет его, аминь! Во-первых, честь имею вас уведомить, что я, благодарение богу, нахожусь в добром здравии и благополучии, чего и вам желаю отныне и вовеки... А во-вторых, да будет вам известно, что предполагаемая партия между вашим богачом, о коем вы мне изволили писать, и нашим богачом, боюсь, расстроится, потому что, во-первых, вы, вероятно, слышали историю, приключившуюся со сватом нашего богача, и что старшая дочь его...» На кой мне это черт? К чему мне это знать?

Шолом-шадхен (*хватает его за руку*). А что вам стоит? Читайте дальше, вы сами увидите.

Хана-Лея. А ну, читай. Любопытно знать, что с ней случилось такое? Занятная это, может быть, история.

Хаим-Лейб (*продолжает читать*). «...Его старшая дочь — не про вас будь сказано! — втюрилась в какого-

то учителя, сбежала с ним из отцовского дома в какой-то город, и там они хотели обвенчаться по закону. Пришел наш господинчик со своей девицей к духовному раввину — повенчаться. Раввин, наверно, отказался венчать их по закону. Тогда он пошел с ней венчаться к казенному раввину, а казенный раввин говорит ему...» Но какое это имеет отношение к нам? Прошу я вас...

Шолом-шадхен. Что вам стоит, что? Вы читайте, читайте же!

Хана-Лея. Что же? Раз начал, так читай.

Хаим-Лейб (*раскрасневшись от гнева, продолжает читать*). «...А казенный раввин говорит ему: «Что вы хотите?» Так он говорит ему: «Я хочу, чтобы вы меня повенчали с нею». А казенный раввин тогда говорит: «Что значит, я вас повенчаю с нею? А я разве вас знаю?» — говорит он, это казенный раввин ему говорит. А он ему говорит: «Тьфу на вашу голову!» Он ему говорит, и он ему говорит... Зачем мне вся эта говорильня? Откуда взялась она на мою голову? (*Швыряет письмо и бросается в бегство.*)

Но Шолом-шадхен не пускает его, держит за руку и сам принимается за чтение письма.

Шолом-шадхен (*читает быстро, захлебываясь*). «Ай-ай-ай! Вот вам нынешние учителя и нынешние доктора!.. Во всяком случае... да... значит, вашему богачу наш богач не подойдет, не пара... Поэтому я имею предложить вашему богачу лучшую партию — более подходящую, более почетную и во всех отношениях более блестящую партию, а именно: есть в городе Липовце весьма почтенная вдова, госпожа Бейля, — да продлит господь ее годы! — Бейля Гольдшпiner. И пусть она не так богата, как ваш богач, зато она происходит из весьма высокого рода — из рода самого реб Пинхуса Липовецкого. Главная же суть в том, что у нее есть сын, единственный сын и совсем редкостная жемчужина, хоть весь свет обыщи, а такого не сыщешь, а именно: пригож, красив, страшно образован, просто ужас. Всем языкам, понимаете ли, обучался, просвещен в науках, словно как доктор, а может быть, еще больше, чем доктор. Всех докторов за пояс заткнет!» (*Хане-Лея.*) Ну, что скажете насчет такого жениха? Вы ведь, как говорится, женщина с головой, умница, чтоб не сглазить!

Хана-Лея (*с брезгливой миной*). Нет, не о таком женихе думали мы.

Хаим-Лейб. Не о таком мы думали.

Шолом-шадхен (*про себя*). Вот те и на! Связывайся с новоиспеченными богачами! Звездочку с неба им доставай — и то мало! (*Обоим.*) А вам бы чего хотелось?

Хана-Лея. Нам бы хотелось, чтобы было что-нибудь... этакое... понимаете ли... что-нибудь особенное!

Хаим-Лейб. Да, чтоб это было что-нибудь особенное!

Шолом-шадхен. За ваши десять тысяч — что-нибудь особенное? Золотой клад?

Хана-Лея. Десять тысяч? Почему десять? Двадцать тысяч!

Хаим-Лейб. Двадцать тысяч? Нет, десять тысяч!

Шолом-шадхен (*про себя*). Вот, иди знай, — десять тысяч, двадцать тысяч! Разберись тут толком! Двадцать тысяч, десять тысяч!

Хана-Лея (*криливо*). Если вам говорят — двадцать тысяч, значит, двадцать тысяч.

Шолом-шадхен. Двадцать тысяч!

Хаим-Лейб (*громко*). Раз вам говорят — десять тысяч, стало быть, десять тысяч!

Шолом-шадхен. Десять тысяч!

Хана-Лея (*еще громче*). Двадцать тысяч!

Шолом-шадхен. Двадцать тысяч.

Хаим-Лейб (*перекрикивает его*). Десять тысяч!

Шолом-шадхен. Десять тысяч! (*Про себя.*) С ума сойдешь с ними! Прямо рехнуться можно.

Входит Абрамчик с ворохом книг под мышкой, ходходит к шкафу.

### ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Абрамчик.

Хаим-Лейб. Откуда бог несет такого еврея, как ты?

Абрамчик (*ни на кого не глядя*). Из библиотеки бог несет такого еврея, как я. Фу... жара какая! (*Увидав Шолом-шадхена.*) А, реб шадхен! По какому случаю? Опять сводничеством занимаетесь? Опять жениха предлагаете? О, позор наших дней! До каких пор наконец вы будете торговать живыми людьми? Как долго вы еще будете выставлять на торжище женихов и невест?! Вы же хуже азиатов! Дикари первобытные! Деспоты!\*

Хайб-Лейб (*наклоняет ухо к сыну, смотрит на Шолом-шадхена самодовольно-горделивым взглядом*). А? Что ты сказал?

Шолом-шадхен. Что ты сказал, что?

Абрамчик. А если я вам скажу, вы разве поймете?

Хана-Лея. А отчего бы им не понять? Разве реб Шолом — скотина непонятливая?

Абрамчик. Кто говорит, что скотина? Я говорю только, что ему все равно не понять, потому что это иностранное слово...

Шолом-шадхен. Какое слово? Повтори-ка.

Абрамчик (*наклоняясь к Шолому*). Иностранное! Теперь поняли? Иностранное слово!

Шолом-шадхен (*моргает глазами*). А-га!

Отец и мать Абрамчика млеют от восторга.

Абрамчик. А-га! Что «а-га»? Еврей тебе брякнет «а-га»!

Шолом-шадхен. Я насчет этого слова, насчет этого. Стало быть, это, как говорится, такое слово, которое должно означать... (*вертит пальцами*) э-э-э...

Абрамчик (*хватается руками за живот*). Ха-ха-ха! О, фанатики! О, фанатизм! О, хасидизм! Иностранными словами называются чужие слова, то есть слова, взятые из чужих языков, как, например, «деспот», «деспотизм». А знаете, откуда берутся эти слова?

Шолом-шадхен. Ну, скажи сам, откуда, ну, скажи! Я простой еврей, в школах я не учился, в университеты тоже не ходил... Знаешь что? Дай-ка мне папироску... дай-ка мне.

Абрамчик угощает его папироской.

Абрамчик (*горделиво*). Слово «деспот» происходит от слова «деспотизм». Теперь вам ясно?

Шолом-шадхен (*кивает головой*). Вот как? Пссс! А что означает «деспотизм»?

Абрамчик. Деспотизм — это то же, что деспот.

Шолом-шадхен. А-га! Ну, если так, так я уже знаю... А нет ли у тебя спички?

Абрамчик дает ему спички.

А что означает «деспот»? (*Закуривает.*) Что ж, растолкуй, пожалуйста, разъясни.

Абрамчик. Деспот — это такой человек, который ведет себя деспотически, и все!

Шолом-шадхен. Понимаю, понимаю! (*Курит папиросу, пуская изо рта клубы дыма.*) Так что означает слово «деспотически»?

Абрамчик. Слово «деспотически» означает, что он ведет себя как деспот, а деспот значит тиран, это почти одно и то же, — и оставьте меня в покое! (*Разглядывает свои книги, перелистывая одну страницу за другой.*)

Шолом-шадхен. Н-да! Теперь я понимаю! Теперь я все понимаю! Корень этого слова, значит, один, а смысл таки другой. По правилам грамматики, значит, выходит... (*Жестикულიрует пальцами.*) Скажи же мне, Абрамчик, — дай тебе бог здоровья, дай тебе бог, — из какого языка берутся такие слова — из немецкого или французского?

Абрамчик (*глядя в книгу*). А? Деспотизм! Это — латинское слово\*.

Шолом-шадхен. Вот как? Та-та-та! Аж с латинского. (*Хаим-Лейбу и его жене.*) Видали, а? Вот это значит знать, вот это значит! Да, вот это значит нынешний свет, вот это! В наши годы, реб Хаим-Лейб, что мы знали, скажите, про чужой язык, про латынь?

Родители млеют от гордости.

Абрамчик (*Шолом-шадхену, глядя на него сверху вниз*). Кто же он такой, этот женишок ваш, которого вы предлагаете моей сестре? Доктор медицины или юрист? Или, может быть, совсем инженер-технолог?

Шолом-шадхен (*пыхтя папиросой*). Ни то, ни другое и ни третье.

Абрамчик. Ни то, ни другое и ни третье? Так кто же он? Купчик? Тунеядец?

Шолом-шадхен. Господи спаси и помилуй! Он очень приличный человек, сын богатых родителей. Что значит? Он ученый человек, страшно ученый! Сколько языков знает! И русский, и еврейский, и немецкий, и французский, и... и... и ужасно много языков!

Абрамчик. Так это вы знаток? Дожили, нечего сказать! Напрасны ваши труды, реб Шолом! Моя сестра не пойдет замуж ни за кого, кроме как за доктора, и притом не иначе, как доктора медицины.

Хаим-Лейб. А тебя кто спрашивает? Ты что за указчик такой? Что ты в этом понимаешь?

Абрамчик. Стало быть, понимаю. Потому что знаю, что Верочка не пойдет ни за кого, кроме как за доктора медицины.

Хаим-Лейб. Да, но ты-то здесь при чем? Твое дело — книжки и книжечки. Уходи себе подобру-поздорову.

Хана-Лея (*заступаясь за сына*). А тебе что за беда, если дитя разговаривает?

Хаим-Лейб. Не люблю дерзостей! Не переносу!

Абрамчик (*собирается уходить, внезапно останавливается в позе трагического актера, качает головой, ни к кому не обращаясь*). О, деспотизм, фанатизм, хасидизм, обскурантизм! (*Уходит.*)

Родители млеют от восторга.

#### ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Хаим-Лейб, Хана-Лея, Шолом-шадхен.

Шолом-шадхен. Вот что значит образованный человек! Вот это ученый, вот это... Одним словом, коротко, какой же будет ваш ответ, какой? Вы мне прямо голову закрутили, голову... Значит, я строчу сейчас телеграмму или напишу открытку компаньону насчет этой партии, чтобы...

Хана-Лея (*перебивая его*). Не трудитесь. Не строчите телеграммы и не пишите открыток. Эта партия не про нас!

Хаим-Лейб. Не про нас эта партия!

Шолом-шадхен. Что значит?

Хана-Лея. Потому что мы хотим доктора. Теперь ясно? Раз навсегда вам сказано: доктора!

Шолом-шадхен. Доктора? Мне не жалко. Пусть будет по-вашему! Вы хотите доктора — пусть будет доктор, пусть.

Хаим-Лейб (*жене*). Вот как? Доктора? Иначе тебе не пристало?

Хана-Лея. Иначе мне не пристало.

Хаим-Лейб. Ну, а я хочу-таки купца! Сколько раз я тебе говорил, что хочу взять за дочерью купца, а не доктора! Подумаешь, находка — доктор! Учится, учится без конца, весь выучился, и что же? Кто к кому идет, если у меня, например, живот заболит? Я к нему или он ко мне? Кто у кого берет целковый? Я у него или он у меня? Ну, скажите сами, реб Шолом, я на вас сошлюсь!.. Короче говоря, не надо мне для моей дочери



доктора! Купца мне дайте для нее. Так и запишите, реб Шолом: купца!

Шолом-шадхен. Купца? Пожалуйста! Пусть будет по-вашему. Вы хотите купца — пускай будет купец.

Хана-Лея. Вот именно потому, что ты хочешь купца, я хочу доктора!

Шолом-шадхен. Доктора.

Хаим-Лейб (*громко*). Слышите, реб Шолом? Купца!

Шолом-шадхен. Купца.

Хана-Лея (*громко*). Доктора!

Шолом-шадхен. Доктора.

Хаим-Лейб (*еще громче*). Купца!

Шолом-шадхен. Купца.

Хана-Лея (*перекрикивая мужа*). Доктора!

Шолом-шадхен (*про себя*). Голову с ними потеряешь, сума сойдешь! (*Обращается к обоим.*) Знаете что? Я вам дам такого купца, который лечит, или я вам дам такого доктора, который торгует, и пусть будет конец! Да велите подать что-нибудь к столу—глотку промочить. В горле пересохло от разговора с вами. Да чтобы...

Хана-Лея нажимает кнопку звонка. Горничная приносит на подносе водку и закуски.

С улицы появляется Верочка, в шляпке и перчатках, с зонтиком в руке.

## ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Верочка.

Верочка (*Шолом-шадхену*). Бонжур, монсье!

Шолом-шадхен. Меня зовут реб Шолом, а не Мойсей.

Верочка. Ха-ха-ха! Вот невежда! «Бонжур, монсье» значит — с добрым утром, милостивый государь!

Шолом-шадхен. Хорошее доброе утро! Какое тут доброе утро, когда скоро ночь. С добрым вечером тебя! Ну, лехаим, желаю здравствовать, реб Хаим-Лейб! Ле-хаим, Хана-Лея, желаю здравствовать! Дай боже на свадьбе у вашей дочери еще раз чокнуться!

Верочка. Ха-ха-ха! Вот комик! Что вы тут делаете? Все насчет женихов? Напрасны ваши старанья. Только зря ноги утруждаете.

Шолом-шадхен. Ноги мои, а не чужие!

Верочка (*заливается смехом*). Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Хана-Лея. Что тут смешного, доченька?

Хаим-Лейб. Что за смех такой?

Верочка (*матери*). Комическая фигура! Ха-ха-ха!  
И откуда берутся такие невежды? Что у вас тут делает шадхен?

Хана-Лея. Что может делать шадхен? Что полагается, то и делает. Сватовством занимается.

Верочка. Кому же и кого он сватает?

Хаим-Лейб. Кому? Мне!

Хана-Лея. Он тебе жениха предлагает, Верочка!

Верочка. Что значит — он предлагает жениха?  
Жених должен сам себя предложить. (*Снимает перчатки.*) А кого, любопытно узнать, он мне предлагает?

Хана-Лея. Он тебе предлагает доктора.

Хаим-Лейб. Купца он тебе предлагает.

Хана-Лея. Доктора, а не купца!

Шолом-шадхен (*повторяет за ней*). Доктора.

Хаим-Лейб (*громко*). Купца, а не доктора!

Шолом-шадхен (*повторяет*). Купца.

Хана-Лея (*еще громче*). Доктора!

Шолом-шадхен. Доктора.

Хаим-Лейб (*перекрикивает ее*). Купца!

Шолом-шадхен. Купца. (*Про себя.*) Уже! Начинается представление. Театр, да и только. (*Мужу и жене.*) Ша! Знаете что? Спросим-ка у нее самой, спросим-ка. (*Верочке.*) Ты кого бы лучше хотела, девушка, — купца или доктора?

Верочка. Вы нахал!

Шолом-шадхен. Кто — я?

Верочка. Нахал!

Шолом-шадхен. Нет, ошибаешься, девушка! Я шадхен, а не нахал. И если ты хочешь, я могу предложить тебе на выбор, если угодно. У Шоломашадхена, слава богу, выбор богатый. Могу тебе предложить купеческого доктора или докторского купца. Выбирай кого хочешь, выбирай.

Верочка (*надрываясь от смеха*). Ха-ха-ха! Купеческий доктор или докторский купец! Ха-ха-ха!

Шолом-шадхен (*про себя*). А девица что-то повеселела, девица-то! Ну, лехаим, реб Хаим-Лейб! Будемте здоровы! Лехаим, Хана-Лея! Дай боже в близком будущем у нее на свадьбе...

Хана-Лея. Что же ты молчишь, доченька? Скажи ему, своему отцу, этому тирану, этому деспоту, что ты согласна выйти только за доктора, а никак не за купца!

Шолом-шадхен (*повторяет*). Доктора, а не купца.

Хаим-Лейб. За купца она выйдет, а не за доктора!

Шолом-шадхен (*повторяет*). За купца, а не за доктора!

Хана-Лея (*громко*). Доктора!

Шолом-шадхен (*повторяет*). Доктора!

Хаим-Лейб (*еще громче*). Купца!

Шолом-шадхен (*повторяет*). Купца!

Хана-Лея (*топая ногой*). Доктора! Доктора! Доктора!

Шолом-шадхен (*повторяет*). Доктора! Доктора! Доктора! Лехаим, реб Хаим-Лейб! Будем здоровы! Лехаим, Хана-Лея!

Верочка (*покатывается со смеху*). Ха-ха-ха! Доктора! Доктора! Доктора!

Отворяется дверь из кухни, и вне себя от испуга вбегает горничная Златка, с полотенцем и гусиным крылом, за ней кухарка Брайна с ухватом и сковородкой в руке.

## ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, Златка и Брайна.

Златка. Доктора! Кому нужен доктор? Какого доктора? Бегу! Сейчас бегу за доктором!

Брайна. Ой, горе мое! Ой, разрази меня гром! Что случилось? Обморок? Кто упал в обморок? Кому нужен доктор?

Верочка хохочет до упаду.

Хана-Лея (*набрасывается на горничную и кухарку, угрожая кулаками*). Все громы и молнии, все черные напасти и гнойные язвы — на ваши головы, на ваши руки и ноги! Вон, негодницы! Вон отсюда!

Обе служанки стремглав пускаются обратно в кухню и сталкиваются лбами с Шоломом.

Шолом-шадхен. Пока что, пока да и нет — можно пока что получить здесь пару тумачков, можно... Су-масшедший дом, да и только! Всем им нужен доктор, всем им! До зарезу нужен доктор!

*Занавес.*

# **СХОДКА**

**Комедия в одном действии**

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Казенный раввин — молод, окончил четыре класса, в синих очках.

Раввинша — его жена, молодая женщина.

Борух-Герш — ростовщик, не очень молод и не очень стар, любит общество молодых.

Симхе — богатый еврей, откупщик таксы\*.

Авремел — просвещенец, дает займы под залог.

Арця — человек, который только что перестал жить на харчах своего тестя, толкается среди «сильных мира сего».

Бенця — человек, который еще на харчах, смотрит Арце в рот.

Мотл	}	юноши, читающие газеты.
Янкл		
Иосл		
Гершл		
Берл		
Аншл		
Ицл		

Лейбке — шамес.

*Действие происходит в конце XIX века в небольшом городке неподалеку от Мазеповки, между Макаровкой и Стрищем, в доме казенного раввина, вечером, на исходе субботы.*

Собравшиеся расхаживают по комнате, курят, шумно разговаривают.  
Казенный раввин садится за стол.

Раввин. Ш-ш-ш-ша! Ша! Прошу дорогих гостей занять места и выслушать доклад, который я вам зачитаю. Из доклада вы поймете, зачем мы собрались. Садитесь! Садитесь! *(Достаёт из бокового кармана бумагу и читает.)* «Так как...»

Симхе. Прежде всего, как говорят, вы у нас раввин, так велите шамесу принести горькие капли и закуску тоже.

Раввин *(к шамесу)*. Реб Лейб! Раз так, то сбегайте на одной ноге... Ша! *(К жене.)* Пойди сюда, моя дорогуша! Селедка у тебя, вероятно, есть? Распорядись, душа моя, пусть приготовят закуску и...

Борух-Герш. Я-то думал... Фу, стыд, срам, честное слово. Селедку, значит, на исходе субботы! У людей на сходках видел я...

Авремл. Э! Не перебивайте на самой середине. Кажется, читают!

Симхе. Представьте себе, не грешно бы раввинше приготовить борщок, но такой, как на Вольни, как сказано...

Раввинша. На тебе, на вторые дни праздника! Кто мог подумать, что на исходе субботы...

Раввин. Ша! Не перебивай, мамочка! Ты же видишь, мы делом заняты. *(Читает.)* Так как...

Лейбке. А кто даст денег? На водку нужны деньги, не так ли?

Борух-Герш. Юноши, что вы молчите?

Арця. А ну-ка, молодежь, давайте наличные!

Бенця. Наличные, наличные!

Юноши (*все вместе*). Давайте послушаем раввина. Не ради водки мы здесь собрались. Дело делают! Пусть зачитают, вот и мы узнаем, что, кто, кому! (*Суют ша-мечу несколько серебряных монет.*)

Раввин (*кашляет, читает*). «Так как...»

Раввинша. Селедка кончилась, что делать?

Раввин. Значит, купить надо. Оставь меня, сколько раз начинал — история без конца! (*Читает.*) «Так как в современных условиях мы, евреи, мучимся, страдаем...»

Борух-Герш. Что он читает?

Симхе. А я знаю? Видимо, речь.

Арця. Ша! Пусть будет тихо! Ведь читают что-то!

Бенця. Вы же слышите, читают что-то.

Юноши (*все*). Ша! Ш-ша! Ш-ш-ш-ша!

Раввин (*кашляет, читает*). «Так как...», нет, не то. На чем я остановился? Да... «Страдают, не имеют заработка, евреев бьют, гонят, дерут, кусают. Одним словом, плохо! Евреи валяются на улицах, погибают от голода. Всюду, как вам известно, нашлись люди, образованные, честные люди, люди умные, можно сказать — добрые люди, гуманные люди, которые проявляют заботу о делах общества, люди, которые пекутся о своих бедных братьях, каждый помогает, чем только может, устраивают сходки, собирают деньги, благотворительством занимаются — в общем, дела творят, трудятся, не спят, со всех концов мира несутся слова: комитет, эмиграция...»

Борух-Герш. Прошу вас, разъясните, пожалуйста, господин раввин, что это за эмиграция? Я все слышу — говорят: «эмиграция, эмиграция!»

Арця. Ах, не перебивайте! Дайте кончить, потом вы спросите!

Бенця. Спросить — вы потом спросите!

Симхе. Имей дело с евреем! Вопросающему хочется знать, так он спрашивает!

Авремл. Спрашивает! Прежде всего надо выслушать, читайте, читайте.

Раввин (*дальше читает*). «Эмиграция, Америка, Палестина. Везде действуют на благо общества. В газетах мы читаем: здесь одно, там другое, разные братства созданы всюду: в Макаровке, в Кашперове, в Ямполье, даже в Стрище тоже есть братство. А такой город, как наше местечко, стыд и срам!.. Не сглазить бы, евреев здесь уйма, да множится их число...»

Борух-Герш. Пусть множится! Наш раввин совсем не глупый человек, честное слово!

Авремл. Короче говоря, шутки в сторону — читают ведь что-то.

Юноши (*все*). Читайте до конца! Читайте!

Раввин. «Столько евреев, не сглазить бы, гам... гам... я таки думаю, что пора и нам что-то начать делать, иметь в виду пользу общества».

Борух-Герш. Следовательно...

Авремл. Куда торопитесь? Вы заняты больше всех?

Юноши (*все*). Читайте, читайте!

Раввин. «В полном согласии с современными, с просвещенными и образованными, любящими науку, читающими газеты и теми, которые знают, что в мире творится, понимают и чувствуют, что...»

Борух-Герш. Ну, короче, к делу!

Авремл. Видали? Еврей — это тебе не шутка! У него нет времени!

Юноши (*все*). Читайте, читайте!

Раввин. «...которые понимают, которые чувствуют, которые следят, которые видят и слышат, которые знают, как в настоящее время нам плохо. Потому решено, чтобы мы все, сегодня собравшиеся здесь у раввина, все вместе что-то придумали на пользу общества, как у солидных людей, чтобы нам не стыдно было перед другими городами, вокруг нас находящимися, чтобы все видели, как мы прежде всего...»

Симхе. Правильно!

Борух-Герш. Не понимаю! Разве у нас нет братств? Мало ли мы расходуем в год на всякие благотворительные дела? Сколько мы тратим на мозсхитым? \* А на таксу?

Симхе. Ах, оставьте в покое! Не об этом речь!

Борух-Герш. О чем же речь? Хочу знать!

Арця. Вы не слышали? О чем раввин читал?..

Бенця. Вы же слышали!

Борух-Герш. К чему мне то, что читали! Послушайте, что я вам скажу!

Авремл. Зачем мне знать ваши соображения? Я заранее знаю, что вы мне скажете. У вас и у Симхе в голове такса, и только. Курице просо снится.

Симхе. Вот тебе на, как это говорят: лук есть лук, а чеснок — чеснок... Кто тебя спрашивает, кто?

Юноши (*все*). Не перебивайте! Дайте поговорить еврею!



Арця. А что дает разговор? Надо дело делать!

Бенця. Делать надо!

Раввин. «И прежде всего...»

Борух-Герш. Деньги! О чем здесь долго толковать?

Симхе. Вот именно деньги! В этом весь сказ.

Авремл. А если деньги? Вы крепко испугались.

Арця. Надо подумать, сколько денег и какие деньги. Это же не просто «жид, давай гроши». Для того и сходка собралась, чтобы обмозговать.

Бенця. Разумеется, надо обмозговать.

Авремл. Слова сказать не дают. Перебивают друг друга, это никуда не годится. Читайте, читайте!

Юноши. Читайте, читайте!

Раввин. «Следовательно, прежде всего...»

Борух-Герш. Что прежде всего?

Авремл. Погодите секундочку!

Раввин. Прежде всего, наши богачи... люди состоятельные...

Симхе. Наши богачи? Чуть что—взывают к богачам.

Арця. Перестаньте! Почему вы все время перебиваете?

Бенця. Почему перебиваете?

Раввин. «Что богачи и солидные и состоятельные люди нашего города сложились и...»

Борух-Герш. Я это знал наперед! Открыл Америку! Слово в слово было сказано в прошлом году.

Авремл. Право-таки, история с этим евреем. Не дает слова выговорить.

Борух-Герш. Знаете, что я вам скажу, дорогой раввин, сокращайтесь и скажите одним словом, что же надо делать!

Симхе. Одним словом? Необходимо прежде всего избрать старост, доверенное лицо и членов.

Авремл. Членов? Кого же?

Арця. Что значит—кого? Нас, разумеется.

Бенця. Конечно, нас, нас!

Симхе. Не кипятитесь! Погодите!...

Мотл. Нет, надо подумать...

Янкл. О чем подумать?...

Иосл. Записать в общинной летописи и...

Гершл. В Стрище совсем иначе. Поначалу отправили бумагу в Петербург...

Берл. Что ты мелешь, Стрищ! Я только оттуда.

Аншл. Вот и заспорили: писали, не писали. Какое это имеет значение!

Ицл. Нет, это большая разница. Посмотри, что написано в «Хамагиде». (*Достаёт газету, читает, юноши шумят.*)

Борух-Герш. Сорванцы, тихо! Когда старшие разговаривают, молодым положено молчать.

Янкл. В делах общественных молодежь имеет такой же голос, как и старики.

Симхе. В бане будешь ораторствовать, нахал, нас уважать надо!

Иосл (*к юношам*). Я предвидел, что так оно и будет.

Симхе. Ш-ш-ш-ша! Послушайте, что я вам скажу. (*Забирается на стол.*)

Авремл. Три слова, которые займут четыре битых часа.

Арця (*залез на стол*). Выслушайте меня, у меня созрел план.

Бенця. Новый план!

Юноши (*все*). А именно, какой? Говори!

Борух-Герш (*прикрывая рукой рот Симхе*). Дай еврею высказаться!

Симхе (*срывает руку Борух-Герша*). Для того чтобы избрать старосту, надо бросить жребий.

Арця. Ты свихнулся, какой жребий?

Бенця. Свихнулся!

Авремл. Погоди, дай договорить! Не дают слово вымолвить. Комедия с этими евреями!

Симхе. Жребий не годится? Это же самый верный способ, поверьте мне.

Борух-Герш. Я о другом думал, совсем о другом.

Раввин. Дайте же мне сказать, а затем вы уже выложите свое разумение.

Юноши (*все*). Пусть говорит раввин!

Борух-Герш. Заранее известно, что раввин скажет. Деньги — вот что он скажет. Известно!

Авремл. Борух-Герш, что вы так раскричались? Дайте слово вымолвить, а потом вы уже скажете!

Борух-Герш. Согласен, пожалуйста, прошу. (*Закрывает свой рот рукой.*)

Раввин. Во имя интересов всей общины...

Борух-Герш. Интересы общины, интересы общины... Весь вечер бубнит одно и то же.

Авремл. Мы условились, что будет тихо.

Борух-Герш. Короче, согласен, согласен!

Раввин. Чтобы что-то сотворить во имя интересов всей общины...

Борух-Герш. Опять...

Авремл. И секунды не может молчать. Комедия, и только!

Раввин. Чтобы подумать об интересах общества, члены не основа основ, членов наберется много...

Борух-Герш. О каких членах вы говорите, у вас управа, что ли?

Арця и Бенця. Не членов, а старост.

Юноши *(все)*. Нет, членов, непременно членов.

Авремл. Члены, старосты, не вижу разницы.

Симхе. А из кого будем выбирать старост?

Арця и Бенця. Из своих, то есть из наличного здесь состава. Теперь и немедленно.

Мотл. На прошлой неделе в газете было написано...

Янкл *(отталкивает Мотла)*. погоди! Тихо! Не так! Я вам скажу, как...

Иосл. Мудрец нашелся, он скажет!

Гершл. Скажи ты, ну, прошу, говори, говори.

Берл. Здесь находятся люди постарше нас, пусть они скажут.

Аншл *(выступил наперед)*. Молодые, старые, каждый должен высказаться, на то и сходка.

Ицл *(развертывает газету)*. Здесь в одной корреспонденции написано...

Борух-Герш. Молодым всегда некогда.

Симхе. Может быть, вы скажете — как?

Авремл *(вскочил на стол)*. Я предлагаю совсем другое, у стариков и спрашивать нечего, они только делу помеха. Давайте выберем старосту, доверенного, касира...

Борух-Герш. Все участвуют в выборах? Совсем все? Весь кагал?

Юноши *(все вместе)*. Да, все. А почему нет?

Борух-Герш. И молодые цуцики тоже?

Юноши *(все)*. А почему нет? Теперь молодые управляют миром. Читайте газеты, узнаете.

Раввин. К чему этот спор? Вы еще ничего не узнали, не поняли, мы еще ничего не решили. Зачем старосты, когда у нас нет денег...

Арця. Так не годится!

Бенця. Нет, не годится так!

Авремл. Почему не годится? С евреями чистая комедия!

Симхе *(влез на стол)*. Послушайте, что я вам скажу!

Борух-Герш (*стаскивая его со стола*). Довольно, оставьте. Я вам вот что скажу...

Симхе (*вырываясь из рук Борух-Герша*). Нет, слушайте только меня.

Борух-Герш. Какая бестолочь! И слова не вставишь!

Симхе. Кто вам мешает? Говорите на здоровье.

Борух-Герш. Из присутствующих здесь надо выбрать старост, но из тех, кто постарше.

Арця. Почему только из старших?

Бенця. Чуть что — старшие.

Борух-Герш. Каждый проповедует свое.

Авремл. Нет, чистая комедия! Пусть говорят по очереди.

Раввин (*встает, стучит кулаками по столу*). Ш-ша! Пару слов, и конец. Зачем мы собрались? Ругаться, кричать, шуметь? Или дело к нам взывает? А? Я думал, что с молодыми можно столковаться. А на поверку? Хуже, чем со стариками. Позор! Был бы здесь кто-нибудь со стороны, он бы нас высмеял и в газетах описал...

Юноши (*все*). Верно, верно.

Симхе. Описать в газетах. (*Смотрит на Ицла*). А ну, пусть кто попробует...

Ицл. Не пугайте. Захотим — и напишем. Десятью водами не отмоешь.

Борух-Герш (*к Ицлу*). Мальчишка! Вытри нос! Ты лучше напиши о своем папаше, банкроте! Нас он в газетах опишет, слыханное ли дело? А ну, в хедер, молодкосос!

Мотл (*Ицлу*). С процентщиком ты хочешь объясниться? Ты разве не знаешь этих пиявок, этих фанатиков?

Симхе. Пиявки? Ах, мерзавец ты этакий, еврея с бородой ругаешь? Думаешь, это тебе такса, которую ты описал в газетах?

Галдеж. Раввин успокаивает.

Раввин. Именем бога! Стыдно нам должно быть, если разоидемся без какого-либо решения. Пальцами укажут на нас: вот они, глупцы.

Авремл. На самом деле, давайте примем решение.

Арця (*к Симхе и Борух-Гершу*). Вы же постарше, посоветуйте, что делать?

Бенця. Что делать?

Борух-Герш. Я и сказал: ничего у нас не получится, если молодые лезут на рожон...

Симхе. Ошибаетесь, реб Борух-Герш, ошибаетесь, честное слово. Я вам так скажу...

Арця. Скажите, скажите.

Бенця. Говорите, говорите.

Симхе. Выберем старост, а уж потом узнаем, что надо делать.

Раввин. Старосты? Зачем? Надо же раньше знать — к чему.

Авремл. Симхе прав. Старосты, члены нужны.

Юноши. Члены, члены!

Арця. Кто из нас члены?

Бенця. Кто?

Раввин. Члены найдутся. Дослушайте доклад.

Борух-Герш. Опять доклад? Сколько можно?

Авремл. Не перебивайте. Комедия, чистая комедия!

Юноши. Дайте раввину договорить.

Раввин. Я сказал бы так: поскольку мы уже все здесь, то, по совести говоря...

Борух-Герш. Пустые слова.

Раввин (*в сторону раввинши, которая накрывает стол. На столе водка и закуска*). Вот несчастье. Слово вымолвить не дают. Говорить всем охота, а слушать никто не хочет. Комедия, смешная комедия! Что ты на это скажешь, душа моя?

Раввинша (*двигает плечами*). Чистая комедия!

Симхе. Есть у нас староста, доверенный, казначей и члены. Что еще потребуется?

Арця. Кто они?

Бенця. Кто?

Авремл. Симхе, Борух-Герш и раввин — старосты.

Арця. А далее?

Бенця. Далее?

Авремл. А доверенный... даже два доверенных...

Симхе. Арця и Бенця.

Борух-Герш. Раз так, то один из них — доверенный, другой — казначей.

Симхе. Нет, два доверенных и один казначей. Или два казначей и один доверенный. Авремл — доверенный, Арця и Бенця — казначей.

Юноши. Вот какой оборот?..

Раввин. А юноши?

Борух - Герш. Слишком молоды.

Арця. Мы их выберем в члены.

Бенця. В члены, члены.

Симхе. Таким образом, выборы состоялись. Имеем трех старост, двух доверенных, то есть одного доверенного, и двух казначеев...

Раввин. Что же из этого следует? Имеем старост, доверенного, казначеев...

Авремл. И шесть членов.

Арця. Молодых семь, — выходит, и членов семь.

Бенця. Семь, семь.

Борух - Герш. В добрый час. *(Наливает водку.)*  
Лехаим!

Симхе. Не торопитесь. Все надо оформить на бумаге.

Раввин. Что оформить? Надо подумать, чем будем заниматься. К чему старосты, члены...

Симхе. Вот я и говорю: оформить. Чем наше братство хуже других?

Авремл. Давайте впишем в общинную летопись.

Арця. Где она находится?

Бенця. Где?

Симхе. А ну-ка, юноши, где летопись?

Арця. Молодые, почему молчим?

Бенця. Молчим почему?

Мотл *(Янклу)*. Ну!

Янкл *(Иослу)*. Ну!

Иосл *(Гершлу)*. Ну!

Берл *(Аншлу)*. Ну!

Аншл *(Ицлу)*. Ну!

Ицл *(в руках у него газета, вдумчиво читает)*. Гм...  
Гм... А... *(Считает на пальцах.)*

Все парни *(к Ицлу)*. О чем ты думаешь? Трудная задача, Ицл, доставай летопись. Ведь не впервой.

Ицл *(про себя)*. Нет, не так. В частности... Какой стих сюда годится...

Авремл. В общем, это не важно. Будет и летопись, как полагается. Наше братство в грязь не ударит.

Арця. А как именуется наше братство? Братство должно иметь название.

Бенця. Должно название иметь.

Раввин. Что это даст? Не имя важно, а...

Авремл. Не говорите. Каждая вещь должна иметь свое имя.

Борух-Герш. Чепуха!

Симхе. У вас все чепуха.

Борух-Герш (*держит в руках водку*). Они ищут имя! Братств у нас много (*считает на пальцах*): братство по изучению Талмуда, братство по чтению псалтыря, братство вспомоществования нищим, больным, убогим... Может быть, новое братство назвать братством дураков?

Авремл. Вам бы только шутить.

Раввин (*встает*). Выслушайте меня.

Симхе. Нет, лучше меня.

Борух-Герш. Зачем весь тарарам?

Авремл. Дай человеку сказать. Комедия с евреями!

Раввин. К чему раздоры? Дитя еще не родилось, а они подыскивают ему имя.

Борух-Герш. Зачем имя, главное — иметь братство. Давайте выпьем. Накричались вдоволь, в горле все пересохло. Лехаим, евреи! Лехаим! (*Пьет.*)

Все. Лехаим! Лехаим!

Все пьют, галдят, медленно и в одиночку расходятся. На сцене остаются раввин и раввинша.

Раввинша. Вот и разошлись.

Раввин. А с чем? Ни с чем.

Раввинша. Как это ни с чем? Кричали, шумели...

Раввин. Выбрали старост, казначеев, членов.

Раввинша. А дальше что?

Раввин. Ничего. (*Снимает очки, трет глаза.*)

Раввинша. Ни-че-го. (*Громко смеется.*) Ха-ха-ха!  
Одна комедия с твоими сходками. Чистая комедия!

*Занавес.*

**ПОЗДРАВЛЯЕМ!**

**Комедия в одном действии**



## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- Бейля — кухарка. Вдова лет тридцати с лишним.  
Женщина деbeatая.
- Фрадл — горничная. Милостивая брюнетка.
- Реб Алтер — книгоноша, около сорока лет. Вдовец,  
может быть, старый холостяк. Одна половина  
лица смеется, другая плачет. Носит грязную  
манашку и потрепанный котелок.
- Хайм — лакей из соседнего дома. Парень-хват, с  
перстнем.
- Миша } хозяйские дети. Говорят наполовину по-еврей-  
Маша } ски, наполовину по-русски.
- Мадам — сама хозяйка. Появляется только на ми-  
нуту в последней сцене.

*Действие происходит на кухне.*

## СЦЕНА ПЕРВАЯ

Бейля (*стоит, засучив рукава, у печи. Готовит. Напевает*).

Молодые годы без печали,  
Как вы, безмятежные, прошли?  
Вас ли воды вешние умчали?  
Или вас метели замели?<sup>1</sup>

Эх ты, горе мое горькое! Что уж там говорить, если Бейля в таких летах должна быть прислугой и иметь такую хозяйку, такую «мадам», которая только и делает, что ругает ее и пилит! Хороша богачка! Нищему куска хлеба не подаст! У собственных детей куски во рту считает. И всех подозревает: все будто только и делают, что пенки у нее снимают, обворовывают! (*Собирает со всех горшков понемногу и откладывает в отдельную посудину.*) Хватит с них обжираться! Как реб Алтер говорит: «Меньше червям в могиле достанется...» (*Срезает еще кусок мяса.*) Ничего, обойдутся... Эх-хе-хе! Давно ли я сама была хозяйкой! За своим столом, со своим мужем, пасху справляла!.. (*Поет.*)

Как рыбу без перца  
Варить не годится,  
Так в людях не сладко  
И за стол садиться.

Как суп без кастрюли  
Сварить не придется,  
Так и без мужа  
Не сладко живется.

---

<sup>1</sup> Стихи даны в переводе Л. Фрухтмана.

Как пища, что дымом  
Пропахла-прогоркла,  
Вот так на поденной  
Работать мне горько.

И что горек кусок —  
Никому не скажи,  
Но горше служить  
У такой госпожи.

Стук в двери.

Кто это там стучит? Наверное, реб Алтер! Вот хороший человек! Чистый, честный, без всяких выкрутасов. Трудится, бедняга, из-за куска хлеба, света божьего не видит. Совсем как я... *(Открывает двери.)*

Входит реб Алтер с пачкой книг под мышкой.

## СЦЕНА ВТОРАЯ

Реб Алтер *(кладет книги, расправляет бороду, вытирает пот красным платком)*. Добрый вечер, Бейля, голубушка! Как живете-можете? Проходил мимо, вижу — у вас светло, дай, думаю, загляну на минуточку... Весь день на ногах, из дома в дом, все думаешь — авось то, се, пятое, десятое... Что это у вас за праздник такой, Бейля? Что это вы так поздно готовите?

Бейля. А черт их ведает! Ни с того ни с сего гостей приглашала, чтоб ей провалиться!.. Жених приехал, нашу мадмазель смотреть. Какой-то хлюст с пуговицами, черт его батьку ведает! Сейчас придет Фрадл, она все знает... Садитесь, реб Алтер! Садитесь! Может быть, стаканчик чаю выпьете? Или молока? А может быть, и того и другого? А может быть, вы лучше закусите? *(Придвигает к нему тарелки с едой.)*

Реб Алтер. Спасибо, к чему вам утруждать себя, Бейленю? Я вовсе не так голоден. Но, конечно, с другой стороны, как это говорится, почему бы и нет?.. *(Ест.)* Стало быть, у вас сегодня вроде праздника? Ну что ж! Помогай бог! Я против них ничего не имею! Правда, они у меня книг не покупают. Так ведь не они одни: мало ли таких аристократов, не сглазить бы, у которых я ничего заработать не могу? Вот, к примеру, взять хотя бы вашу



мадамочку... Было время, когда она мне много денег платила за книжки. Но с некоторых пор она перестала понимать по-еврейски. С тех пор она побывала за границей, она забыла наш язык, точно сорок лет слова еврейского не слыхала... Заграница эта самая, доложу я вам, для нашего дела зарез!..

Бейля. Где уж там книжки читать, когда люди дни и ночи напролет режутся в карты? Только вечер настанет, все собираются: Файнкугл, и Хинкис, и Штрудл, и Бейглман, и Кнакнисл, и пошла «стукалка», — чтоб у них в голове стучало, господи боже ты мой! А я должна стоять у печи: вари для них, жарь для них, — пусть бы им самим жариться на медленном огне. Может быть, выпьете, реб Алтер, рюмочку водки? Осталось со вчерашнего дня. *(Достает и наливает ему рюмку. Он пробует.)*

Реб Алтер. Спасибо, к чему вам утруждать себя? *(Опрокидывает рюмку.)* Знаете, что я скажу вам, Бейля? Совсем не скверная стопочка водки, честное слово!

Она наливает еще рюмку.

Спасибо, к чему вам утруждать себя? Тяжелые времена, доложу я вам! Эх-хе-хе! Прибывает, бывало, транспорт романов из Вильны, — у меня их с руками отрывают. А сейчас, бог его ведает, с тех пор как сионисты\* стали издавать свои книжки, мои заработки сильно пострадали... Еще и сионисты откуда-то взялись на мою голову! Н-на!

Бейля. Цибелисты? Это что еще за напасть такая, реб Алтер?

Реб Алтер. Сионисты — это, понимаете ли, сионисты, это те, которые занимаются сионизмом... А хотят они, понимаете ли, чтобы мы все ехали в Пелистину...

Бейля *(качает головой)*. Еще чего не хватало! Блестерина какая-то на их голову, провались они!..

Реб Алтер *(перебивает)*. Тише, бог с вами, Бейля, за что вы их проклинаете? Они говорят, что якобы для нас же стараются... Наоборот, им спасибо надо сказать, что они хотят беднякам помочь... Народ, понимаете ли... То се, пятое, десятое...

Бейля. Вот как? Чего же вы молчите? В таком случае дай им бог здоровья и всего хорошего! Пусть минует их всякая беда... Пусть вместо них мои хозяева пропадом пропадут!

Реб Алтер. Упаси бог! Что я могу иметь против них! Вот, к примеру, получил я свежую пачку товара, романы из самой Америки, свеженькие, еще тепленькие, из-под иглочки. Редкие вещи, говорю я вам! Замечательные! Во рту тают...

Бейля (*достает из-под кровати бутылку и наливает стаканчик вина*). А ну-ка, реб Алтер, попробуйте, пожалуйста, это вино. Осталось у них со вчерашнего обеда...

Реб Алтер. Спасибо, к чему вам утруждать себя? (*Пробует и облизывается.*) Вот это, доложу я вам, Бейленю, винцо! Всем винам вино! (*Пьет и облизывается.*) С тех пор как господь бог спиртным торгует, у него еще такого напитка не бывало... (*Заглядывает в стаканчик, любуется.*) Эге! Богачи, видать, знают толк в хороших вещах! Да, знаете, — кафтан заложить, а богачом быть!.. Ну, коль скоро так, будемте здоровы! (*Опрокидывает стаканчик.*) Да, знаете, вот это вино! Это напиток, который можно назвать вином... Тут, понимаете ли, имеется все, все штучки, какие полагается иметь... э-э-э... стаканчик вина! (*Облизывается.*) То, се, пятое, десятое...

Бейля (*наливает ему еще стаканчик*). Ничего, выпейте еще стаканчик! Нечего жалеть: у них в погребе хватит... Прохворать бы им столько. На доброе здоровье!..

Реб Алтер (*повеселев*). Упаси бог! Что я имею против них? Пускай себе пьют. Пусть евреи пьют на здоровье... Еврей — это еврей! Еврей выпьет малость и — ничего... Ну что ж, выпьет рюмочку, две или даже три и — тихо, спокойно, мухи на стене не обидит... Пьян? Фи! Никогда он не бывает пьян! Никогда!

Бейля (*доливает его рюмку*). Никогда!

Реб Алтер. Как это мы, собственно, заговорили об этом? Да, вот вы говорите: «трудимся»... трудимся через силу... Вот, скажем, допустим, возьмем, к примеру, молодую вдову, вроде вас... В чем дело? Почему? Отчего? Ничего... То, се, пятое, десятое... Знаете? Не стал бы я этого говорить вам, но с глазу на глаз могу вам сказать... Так вот оно что... До каких пор, спрашиваю я вас, можно работать на чужих? Приготовили ужин и опять приготовили ужин... Не пора ли приготовить ужин и для себя, в своей собственной печке! То, се, пятое, десятое... Понимаете?

Бейля. Да, конечно, вы правы, реб Алтер. Лучше помойка, да своя, нежели миска, да чужая. Но что толку? Несчастливая вдова... Что — мы и что — наша жизнь?

Реб Алтер. Ну и что же? Вдова, по-вашему, не человек? Наоборот, вдова, знаете, это — сортом повыше... С точки зрения жалости... (*Жестикулирует.*) С точки зрения того, сего, пятого, десятого...

Бейля. Ах, бросьте! Кто позарится на меня с моими двумястами целкачей? Моим бы хозяевам иметь не больше, господи милосердный!

Реб Алтер (*хорохорится*). Э, нет, не скажите, Бейля, голубушка! Всякое письмо, знаете, можно читать и так и эдак. Двести рублей по нынешним временам — это капитал, а если бы господь бог к таким-то деньгам да послал вам в придачу порядочного, к примеру сказать, молодого человека, честного человека с делом в руках... Человека, который, понимаете ли... (*Жестикулирует.*) То, се, пятое, десятое...

Бейля. Например?

Реб Алтер (*хорохорится*). Например? Вот, скажем, взять бы, напшиклад<sup>1</sup>, человека с дельцем. Небольшим, правда, дельцем, но с таким приличным, тихим, спокойным... Человека, торгующего таким товаром, который дают напрокат... Ну, к примеру, книгами, романами? (*Жестикулирует.*) То, се, пятое, десятое...

Бейля (*задумывается, рукавом вытирает нос снизу вверх*). Вы говорите, реб Алтер, какие-то такие слова... Намекаете на что-то. Не пойму я... Пейте, пожалуйста, не ждите приглашения... Мы будем трудиться, а они будут жрать и лакать? Пусть черви их съедят! (*Еще наливает.*)

Реб Алтер. Упаси бог! Что я могу иметь против них? (*Берет стаканчик.*) Вы говорите, — мы трудимся... Мы к этому привычны, что поделаешь? Бог так создал мир, что мы должны трудиться, изнывать, а они — жить в свое удовольствие, есть, пить, то, се, пятое, десятое... Досадно только то, что не ценят они нашего труда. Взять, к примеру, лошадь. Она тоже трудится из последних сил. Но посмотрите, как ее холят, нежат, кормят, поят, и то, и се, и пятое, и десятое...

Бейля. Говорите вы, реб Алтер, всегда так странно... Намеками...

Реб Алтер. Не мои эти слова. Я их вычитал из нынешних книжек, которые издают эти сорвиголовы, сицилисты...

Бейля. Что-о? Это что еще за напасть? Болячка им на самый кончик носа!

Реб Алтер. Упаси бог! Что я могу иметь против них? Понимаете ли, это такие люди, понимаете ли, ко-

---

<sup>1</sup> Например (*польск.*).

торые заступаются за бедняков, за рабочих, за меня, за вас, за всех, кто горе мыкает на земле...

Бейля. Вот как? Что же вы молчите? Пусть мои хозяева провалятся сквозь землю за каждый их ноготок!

Реб Алтер Упаси бог! Что я могу иметь против них?

Отворяются двери, входит лакей Хаим. Бейля тут же бросается к печи. Реб Алтер заглядывает в книжку.

### СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Хаим (*шляпа набекрень*). Здравствуйте, пожалуйста, дорогая Бейля! Добрый вечер! Как поживаете, реб Алтер? Знаете, книжечка, которую вы мне принесли, оказалась замечательной! Только принялся ее читать, сразу же уснул на стуле как убитый... (*Наливает себе стаканчик вина.*) Попробуйте, реб Хаим, почему бы вам не попробовать? Как говорит моя мадам, когда угощает своих гостей червивыми орешками... Почему бы вам не попробовать? Где это Фрадл? (*Хочет налить еще стаканчик.*)

Бейля (*ударяет его по рукам*). Убирайся ты, выкрест этакий! Не для тебя приготовлено! Расскажи-ка лучше, с какой это радости ты так расфрантился? Что у вас слышно? Как живут твои хозяева?

Хаим. Жить бы им на том свете, моим хозяевам! Сидят оба дома, как голубки, и ругаются и проклинают друг дружку до седьмого колена!.. (*Достает из кармана орешки, ловко бросает их в рот и ударяет кулаком по нижней челюсти снизу вверх.*)

Бейля. Из-за чего?

Хаим. Ни из-за чего! Просто так! Она хочет в Париж. А он говорит: «В Берлин!» Тогда она говорит: «К черту!» А он ей: «Корова!» А она ему: «Извозчик!» А он ей: «Лишь бы не портной!» Видать, думаю я, оба они очень знатного происхождения. Такого, наверно, как и свояк ихний Хинкис. Вы знаете, реб Алтер, родословную господина Хинкиса?

Реб Алтер. А именно? К примеру?

Хаим. А именно? К примеру? Один дед у него был фотографом: снимал белье с чердаков. А другой — был губернским ревизором всех кабаков... О! Легка на помине!..

Входит Фрадл.



## СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Фра д л (*не видит Хаима. Поет*).

Я на камешке сажу,  
Слезы лью горючие:  
Все девчонки замуж вышли,  
А я — невезучая!..

Ха и м (*притворно вытирает слезы*). Аж за сердце щиплет!..

Фра д л (*не видит его. Поет и приплясывает*).

Ой, грустить не перестану,  
Скоро ль я невестой стану?..

Ха и м (*в другом конце сцены*).

Все стою, стою я у дверей,  
Все люблюсь пташечкой своей!  
Милая, сердечная, чтостряслось с тобой?  
Уж неделю, как не виделась со мной!..

Фра д л (*не видит его*).

Но покамест я девица,  
Я стройна и белолица.  
А замужество придет —  
Вся иссохну от забот!  
Ой, звезда моя, свети!  
Скоро ль мне к венцу идти?

Ха и м (*идет к ней навстречу с распростертыми объятиями*). А вот и я! Я готов! Я готов хоть сегодня, душа моя! Я для того и пришел, чтобы сговориться с тобой, с дорогой моей пташкой, насчет помолвки... Добрый вечер, Фра д л! Как ты поживаешь, сердце мое? Как твое здоровье, мой ангел, мое сокровище, клад души моей, свет очей моих, как говорится в книжках у реб Алтера...

Фра д л. Что с тобой? Чего ты хорохоришься? Скажи на милость, как он расфрантился. Ради какого праздника? Наверно, из цирка идешь или в картишки где-нибудь перекинулся?

Ха и м. А как же иначе, пташка моя? Живем-то ведь один раз, не два, как говаривал мой ребе, когда ему не на что было справлять субботу, а жена его в гроб вгоняла...

Фра д л. Тебя бы самого в гроб!..

Ха и м. Аминь! Всех женщин! Глупенькая, на сей раз

ты не угадала: в цирк я не хожу и в карты больше не играю. Знаешь, с каких пор?

Фрадл. С каких?

Хаим. С позавчерашнего дня! Я дал себе слово больше не играть! По двум причинам: во-первых, не на что. А когда нет пальцев, как говорит реб Алтер, так и кукиш не покажешь. А во-вторых, я сейчас коплю денежку к денежке. На свадьбу, душа моя... Кто бы ни попросил у меня хоть бы грош, — хоть лопни — не дам! Не хочу я в чужом саване помирать, как говаривала моя бабушка, царство ей небесное, когда у нее просили милостыню!

Фрадл. Что же ты делаешь по целым ночам, когда управишься со своей работой по дому?

Хаим. Что я делаю?! Образованием занимаюсь, голубушка! Образованием! Вот читаю сейчас книжку — сладкую-пресладкую! Как варенье! Реб Алтер принес... Ну и книжка! (*Целует кончики пальцев.*) Всю ночь глаз не сомкнул! Читал, читал и читал... Наслаждение!

Фрадл. Воображаю, что это за книжка, если она тебе понравилась! Что это — романс?

Хаим. Да еще какой! В шести частях с некрологом! Реб Алтер. С эпилогом!

Хаим. Я и хотел сказать: с эмпилогом.

Фрадл. Как называется?

Хаим (*хлопает себя по лбу*). Такое длинное название, что никак наизусть не запомнишь... Реб Алтер-сердце! Как она там у вас называется?

Реб Алтер. Кто?

Хаим. Да вот книжка, которую вы мне недавно принесли?

Реб Алтер. Книжка, которую я тебе оставил? Да, уж это, брат ты мой, книжка! Всем книжкам книжка! Первый сорт. У меня ее с руками отрывают! Называется: «Дикий негр в красном кушаке с десятью заряженными пистолетами и шестью заколдованными дамами в образе голубей, или Кольцо Соломона Мудрого». В высшей степени интересный роман в шести частях с эпилогом и песней для исполнения, сочинения Ицхок-Шлоймы Эсик-трайбера по типу романов Шомера\*.

Бейля (*всплеснув руками*) } Гром тебя разрази!  
Фрадл } Какое длинное  
название!

Хаим. Не пугайтесь, у них бывают и подлиннее! И все такие заковыристые названия. Например:

«Плененный король на застывшем море, или Рассеченная губа»... «Черный цыган с серебряными пуговицами в кабриолете, или Стеклянная скалка на пасху»... «Распухшая девица — невеста единственного своего жениха, или Красный байстрюк», пропади он пропадом!..

Бейля } Пропасть бы тебе самому пропадом  
Фрадл } за всех нас, господи милосердный!

Хаим. Аминь! Дай бог и всем женщинам! Словом, книжечка, доложу я тебе, Фрадл, — пальчики оближешь!

Фрадл. Что же в ней описывается? Мог бы хоть рассказать.

Хаим. Описывается там... Трудно запомнить наизусть... Что-то такое... Один порядочный молодой человек, лет двадцати с небольшим...

Реб Алтер. Восемнадцати.

Хаим. Романсирует с девицей лет девятнадцати...

Реб Алтер. Семнадцати.

Хаим. С очаровательной девушкой, как яблочко, с ямочками на щечках, блондинка с черными волосами...

Реб Алтер. С русыми волосами...

Хаим. То есть с русоволосой брюнеткой...

Фрадл. Как ее зовут?

Хаим. Как зовут? Только что из головы улетучилось... Так на языке и вертится... Как ее звать, реб Алтер?

Реб Алтер. Кого?

Хаим. Вот эту девицу, что у меня в книжке...

Реб Алтер. Серафима.

Хаим. Вот, вот, я так и хотел сказать... Описывается, как этот парень влюбился в эту девицу... А девица влюбилась в этого парня... Парень хочет жениться на девице... Девица хочет выйти замуж за парня... Оба, стало быть, хотят... Но вот однажды парень встречает эту девицу в одном месте, — кажется, на кухне? Не правда ли, реб Алтер?

Реб Алтер. А? Что такое?

Хаим. Где он встречается, тот парень из вашей книжки, с этой девицей? На кухне, не так ли?

Реб Алтер. В Париже, на водах... Во дворце графа Салима... В саду, где растут лимоны и апельсины...

Хаим. Вот как? Словом, надумал мой паренек, стало быть, и не поленился обнять ее вот таким манером! (Хочет обнять Фрадл.)

Ф р а д л. Убирайся прочь, шарлатан!

Р е б А л т е р. Нет, упаси бог, совсем не так... Прежде всего он падает к ее ногам...

Х а и м. Я хотел только показать тебе, как парень обнимает девушку в книжке...

Ф р а д л. Провались! Пришел на готовенькое... Поди посмотри, как у людей водится... Вон приехал к нашей барышне жених, черт знает откуда. Заперся с ней в комнате с самого утра...

Х а и м. С самого утра? Батюшки! Почему так долго? Что они там делают, кошечка моя?

Ф р а д л. А я почему знаю? Одно только слово я уловила, когда им чай подавала...

Х а и м. Какое слово?

Ф р а д л. Вот скажу, тогда будешь знать! «Живо-при»...

Х а и м. Живопри? Ага, знаю! По-нашему, это все равно что сказать: «Пить хочется, помираю!» Не правда ли, реб Алтер, это значит выпить?

Р е б А л т е р (*облизывается*). Что значит—«выпить»? Евреи — люди непьющие. Бывает, конечно, еврей выпьет иной раз капельку...

Х а и м. Здорово, кума, — купила петуха! Говорят насчет французского, а вы с водкой...

Допосится голос из дома: «Франя! Фрадл! Подохла ты там, в кухне, что ли, девка мерзкая!»

Ф р а д л. Подохнуть бы вам за всех нас! Иду, иду! Как вам нравится, как она визжит! Я посуду мою! Сейчас иду. Ходить бы ей на костылях!..

Х а и м. Аминь, дай бог и всем женщинам!

Фрадл выбегает из кухни. Вбегают Миша и Маша.

## СЦЕНА ПЯТАЯ

Миша и Маша (*вытаскивают из карманов куски пирога, щелкают орешки, озираются по сторонам*). Смотри, Бейля, никому не рассказывай, боже сохрани!

Бейля. Болячка вашей матери! Вы голодны, голубчики? Ешьте на здоровье, кушайте, птенчики! Что там в доме, деточки?

Миша и Маша. Ничего... Папа и мама играют в карты... Дядя целует сестру! Ей-богу!

Х а и м. Серьезно? А ну-ка, покажите, кошечки, как он ее целует?

Миш а и М а ш а. Вот как! (*Целуются в губы и смеются.*)

Х а и м (*хлопает их по плечам*). Bravo! Bravo! Молодцы ребята! Вот что значит хорошо воспитанные дети! Если бы вы были порядочными детьми, вы бы стибрили со стола немножко вкусных вещей для нас: торт, орешки, яблоки, груши, апельсины, варенье... Никто ничего и знать не будет. Между нами останется...

Миша и Маша уходят. Приходит Ф р а д л с графином.

### СЦЕНА ШЕСТАЯ

Ф р а д л. Ах, чтоб они сгорели!..

Х а и м. Аминь, дай бог всем женщинам!

Ф р а д л. Здесь она кричала: «Девка!», а там, при чужих, медом сочится. «Принеси, говорит, душечка, стакан воды для мадам Локшнкугл...»

Б е й л я. А что подельывают жених и невеста?

Ф р а д л. Чтоб им добра не было!

Х а и м. Аминь, и всем женщинам!

Ф р а д л. Невеста распрекрасная боится, как бы жених на меня не взглянул, вот она и держит его взаперти... Не беспокойтесь, она ему еще покажет, где раки зимуют... Женушка, дай бог всякому! Она ему, бог даст, когда-нибудь глаза выцарапает...

Х а и м. Пусть ему не хочется, как говорила моя старшая сестрица, когда я, бывало, костью подавлюсь... Видно, сегодня же и поздравлять можно будет? Будьте здоровы, реб Алтер! Бейля, потяните его за левое ухо!

Реб Алтер (*до этого момента дремал, посыпывая носом. Очнулся*). Спасибо! К чему вам утруждать себя? Я пью мало... Еврей — человек непьющий... Сиси-сионисты совершенно правы... Они говорят, что еврей... еврей в могиле лежит, глубоко в земле... Еврей вечно чахнет и сохнет, плачет и рыдает... (*Поет грустным голосом.*)

Плачет и рыдает,  
Свои прогоняют...

Х а и м. О-го! Реб Алтер, видать, под мухой, и здорово под мухой! Хватил-таки рюмашечку!..

Б е й л я. А тебе какое дело? Не твое вино он пил!

Ха и м. Аминь, дай бог и всем женщинам! Знаете что, реб Алтер? Уж если вы поете, спойте нам что-нибудь настоящее! Ведь вы же человек из тех, которые торгуют и книжками и песенками ..

Ре б Ал тер. Подтянешь? А вы подтянете? Тогда я спою вам песню, которая как будто обо мне сложена.

В с е. Ну конечно! С величайшим удовольствием! (*Собираются вокруг Алтера.*)

Ре б Ал тер  
(поет)

Сначала десять братьев было нас,  
И мы открыли винный погребок,  
Но вдруг один из нас угас —  
И девять душ оставил бог.

Возьми-ка скрипку, Шмерл!  
Возьми-ка, Берл, бас!  
Такой сыграйте перл,  
Чтоб улицу потряс!

В с е

Возьми-ка скрипку, Шмерл!

Ре б Ал тер

А все же девять братьев было нас,  
И на извозе мы имели добрый куш,  
Но, жаль, один из нас угас —  
И нас осталось восемь душ.

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

В с е

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Ре б Ал тер

А все же восемь братьев было нас,  
И репой торговали мы всерьез,  
Но вот один из нас угас —  
И семеро опухли мы от слез.

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

В с е

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Реб Алтер

А все-таки семь братьев было нас,  
Мы стали продавать табак и ром,  
Но вновь один из нас угас —  
И мы остались шестером.  
Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Все

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Реб Алтер

А все-таки шесть братьев было нас,  
И в бакалее равных не было купцов,  
Но, жаль, один из нас угас —  
И пятеро осталось молодцов.  
Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Все

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Реб Алтер

А все-таки пять братьев было нас,  
Мы стали калачами торговать,  
Но вновь один из нас угас —  
И четверо осталось горевать.  
Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Все

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Реб Алтер

Но все ж четыре брата было нас,  
Мы стали торговать старьем,  
Опять один из нас угас —  
И мы над ним поплакали втроем.  
Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Все повторяют.

А все-таки три брата было нас,  
И кто торгует пивом — не дурак,  
Да жаль, один из нас угас —  
И мы остались, двое бедолаг.  
Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Все

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Реб Алтер

Но все же двое братьев было нас,  
И чаем торговали мы вразнос,  
Да, жаль, один из нас угас —  
И остался я один как пес.

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Все

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Реб Алтер

И вот один из братьев я сейчас,  
И стал я книгоношею, друзья,  
Но кажется, и я угас —  
Пропустим-ка по чарочке...

*(Наливает.)*

Возьми-ка скрипку, Шмерл!..

Все

Хороша рифма!

Х а и м. Ну что ж, выпьем по маленькой без рифмы!  
Лехаим, реб Алтер! Будем здоровы!

Реб Алтер *(пьет)*. В самом деле, будемте здоровы!

Прибегают Миша и Маша с полными карманами.

### СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Миша и Маша. Иди, Фрадл, мама зовет!

Фрадл хватает графин с водой и убегает.

Х а и м. Ну-ка, покажите, что вы принесли!

Миша и Маша *(выкладывают из карманов)*. Вот вам яблоки, груши, апельсины. Ловко стащили, ей-богу!

Х а и м *(целует их)*. Bravo! Bravo! Молодцы ребята! Вот что значит хорошие дети, умные, талантливые! Вот что значит хорошо учиться с малых лет! *(Наливает по*



*стаканчику вина реб Алтеру и себе.)* Пейте, реб Алтер, и закусывайте. Пусть вам будет на пользу, как сказано в Священном писании! Пейте и ешьте, реб Алтер, все равно помирать будем, как говаривал один мой знакомый извозчик, когда на стол подавали миску картошки, от которой шел пар, как в бане.

Реб Алтер. Как? Впрочем, может быть, вы и правы. В самом деле, выпьем по капельке... Лехаим! Лехаим! Дай бог, чтобы евреи были евреями. Потому что еврей — это, знаете ли, не так просто... Еврей водки не пьет, фи! Еврей пьет вино... И сколько бы ни пил, он всегда трезвый... *(Весело.)* Еврей никогда не бывает пьян! Не правда ли, Хаимуля? Ник-когда не п-п-пьян!..

Хаим. Упаси бог! Как это может еврей быть пьяным? Надо по этому случаю выпить еще по капельке! *(Снова наливает, целуется с реб Алтером, затем берет детей за руки и пускается с ними в пляс.)*

Реб Алтер, прихлопывая в ладоши, поет песенку.  
Входит Фрадл, останавливается в изумлении.

## СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Фрадл *(налетает на Хаима)*. Ты с ума сошел или рехнулся? Вдруг ни с того ни с сего танцевать?! *(К детям.)* Идите, мать зовет. Достанется вам за эти апельсины!

Дети уходят.

И вы тоже, реб Алтер? Постыдились бы! Такой человек, не сглазить бы!

Реб Алтер *(заплетающимся языком)*. Еврей... Еврей — это еврей... Еврею дай бог здоровья и долголетия! Потому что еврей, сколько бы он ни выпил, никогда не бывает пьян... *(Наливает рюмку.)*

Фрадл. Наваждение какое-то, да и только! Там, в доме, обрученье, — по этому случаю вы здесь лакаете вино?! Бейля!

Бейля. Да они вовсе не так много выпили. Скажи пожалуйста! Пригубили...

Хаим. Пригубили, да тут же и проглотили... Послушайте-ка, реб Алтер! Уж если и в самом деле мы дожили до обрученья, давайте выпьем за нас самих и за наших невест и пожелаем друг другу счастья и удачи! Поздрав-

ляю тебя, Фрадл, дорогая моя невеста, звездочка моя ясная, пташка моя милая! Дай мне твою сладчайшую ручку и пообещай, что будешь мне верна!.. *(Хочет ее обнять.)*

**Фрадл** *(отталкивает его)*. Это что еще за напасть? Ты пьян?

**Хайм**. Пьян? Упаси бог! Разве еврей бывает пьян? Как по-вашему, реб Алтер, может еврей быть пьяным?

**Реб Алтер** *(улыбается, облизывается)*. Еврей никогда не бывает пьян! Еврей — это еврей и то, и се, и пятое, и десятое...

**Хайм** *(хочет обнять Фрадл)*. Может быть, тебе, пташечка, не пристало, что я лакей? Глупенькая, лакеи нынче всем миром верховодят... Мало ли у нас хозяев, которые раньше лакеями были? А мой хозяин, — не смущайся, пожалуйста, — разве не был лакеем? Немножко воровства, немножко удачи и — дай мне бог не хуже хотя бы лет через десять! Или, к примеру сказать, твоя мадам, разве не была она раньше кормилицей?.. Сейчас она уже лечится у докторов и ездит на воды... Глупенькая, ты тоже, бог даст, будешь со временем мадам и тоже будешь, с божьей помощью, лечиться у докторов... Будь спокойна...

**Фрадл** *(отталкивает его)*. Типун тебе на язык!

**Хайм**. Аминь, дай бог всем женщинам! Послушайся меня, моя кошечка, давай отпразднуем помолвку! Тарелки разобьем! Поздравляю!.. Бейля! Реб Алтер! Поздравьте нас! *(Достает из кармана золотую цепочку и надевает Фрадл на шею.)* Так как ты теперь моя невеста, я преподношу тебе этот подарок! Уж две недели, как я его приготовил. *(Обнимает Фрадл и целует ее. Она притворно сопротивляется.)*

**Бейля**. Поздравляю тебя, Фрадл! Носи на здоровье! Что вы скажете, реб Алтер? *(Показывает на цепочку.)*

**Реб Алтер**. Что я могу сказать? Я говорю, что еврей... Дай бог ему здоровья и долголетия... Еврей ест и пьет — и все... Ничего! Тихо, спокойно... Чик-чирик... Чирикает, как птичка... То, се, пятое, десятое... *(Пробует встать, но валится с ног.)* Еврей, если даже и выпьет, вс-всегда трезв... Язык у него не заплетается... На ногах крепко держится. Ходит прямо, как по струнке... Не

кренится ни туда, ни сюда... В твердой памяти... Потому что еврей... Сколько бы вина он ни выпил, никогда, никогда решительно не бывает п-п-п... Ох, горькая наша доля... Еврей, он... *(Напевает под нос.)*

Плачет, рыдает...  
Свои прогоняют  
Проклятое богом дитя...  
Ой-ой-ой...

Х а и м *(берет реб Алтера за руку)*. К чему вам, реб Алтер, плакать и рыдать? Пускай лучше враги наши плачут и рыдают! Вы послушайте меня, реб Алтер, налейте-ка лучше стаканчик вина и выпейте с вашей Бейлей. И пусть будет в добрый и счастливый час! Дай вам бог состариться с ней в богатстве и почете! Ведь я же знаю, что вы вот уже полгода, как приударяете за ней... Люди не без глаз... Ну, что вы притворяетесь, Бейля, к чему ломаться? Мне бы такую жизнь, какая из вас удачная пара! Как говорила жена моего ребе, когда их сосед, бывало, подерется со своей супругой. Пара, говорю я вам!

Р е б А л т е р. Пара, самим небом предначертанная!.. Лехаим! Лехаим!

Снова приходят д е т и. Их карманы набиты орехами.

Х а и м. Дайте же ей, реб Алтер, руку, и желаю вам счастья! Отсюда — в собственный дом, как сказал воришка Лейбуш, когда его впервые привели в острог... Будемте здоровы! *(Насильно вливает Фрадл в рот немного вина.)*

Реб Алтер дает Бейле отпить из своего стакана.

Реб Алтер! Спойте что-нибудь из ваших песен, только настоящую, чтоб весело было!

Р е б А л т е р  
*(поет, забирая высоко)*

Что ни батька — то отец,  
Что ни свадьба — то венец,  
Что ни петелька — застежка,  
Что ни платье — то одежка,  
Коль одежка — то пожитки,  
Только шелк — не нитки...

**Х а и м**  
(перевивает, поет один)

Нитки — это вам не шелк,  
С чем уехал, с тем пришел.

А пришел — так пей до дна,  
Вся компания пьяна,  
Кто не пьет — боится смерти,  
Будем пьяные, как черти!..

**Ф р а д л.** Да ну тебя ко всем чертям!

**Х а и м.** Аминь, дай бог всем женщинам! Знаете, реб Алтер, спойте нам ту песню, что вы раньше пели. Давайте возьмемся за руки и спляшем!

Все берутся за руки и пляшут.

(Кричит.) Веселей, реб Алтер! Ноги выше! Сильней! Крепче! Ребята, нажимай, ребята!.. (Разбивает тарелку.)

Все кричат: «Поздравляем! Поздравляем!» Вдруг раскрывается дверь, показывается сначала нос, а затем и вся мадам.

**СЦЕНА ДЕВЯТАЯ**

**Мадам** (всплеснув руками). Проклятье! Все несчастья, все горести и болезни на ваши головы, на ваши руки и ноги, господи боже мой! Такая бездельница, такая паршивая ведьма, такая сопливая девка! Вон из моего дома! (К реб Алтеру.) А этот бродяга что тут делает?

**Реб Алтер** (рассержен, заплетающимся языком). Б-б-бродяга, вы говорите? Как же это еврей может быть бродягой? Еврей ник-к-когда не бродяга! Ник-к-когда... А то, что вы гоните людей из дому... Ну что ж, гоните, гоните... Но только это несправедливо с вашей стороны... Знаете, п-п-почему? Нынче другая жизнь... Не то, что раньше... Посмотрели бы вы в моих книжках... Сицилисты говорят... Горе вам! То, се, пятое, десятое...

**Мадам** (к Хаиму). А ты, шарлатан, что тут делаешь? Вон отсюда!

**Х а и м** (очень элегантно). Мерси за комплимент!

Мадам направляется к нему, размахивая руками, хочет забрать детей. Хаим берет ее за руку, подмигивает остальным. Ее забирают в круг и продолжают танцевать. Мадам изо всех сил вырывается, но тщетно: ее не выпускают.

**Реб Алтер!** Чего же вы молчите? А ну-ка, давайте что-нибудь настоящее!

Реб Алтер  
(оживленно, поет)

Новый век — теперь в народе  
Кошелек тугой не в моде.  
Красота или уродство,  
Простота ли, благородство,  
Будь богач или бедняк —  
Добрым сердцем ценен всяк!  
Нет ни умных, ни дурных —  
Нынче люди все равны!

Все  
(поют и пляшут)

Будь богач или бедняк —  
Добрым сердцем ценен всяк!..  
Нет ни умных, ни дурных —  
Нынче люди все равны!

Мадам вырывается и сыплет проклятиями, но голоса ее не слышно. В дверь испуганно заглядывают гости хозяйки: мужчины и дамы, в том числе жених и невеста. У некоторых гостей в руках карты. Все застывают от изумления в разных позах.

*Медленно падает занавес.*

# **ЛЮДИ**

**Пьеса в одном действии**

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

**Д а н и е л** — старый слуга, эконом. Молодящийся старый холостяк. Носит красный жилет с медными пуговицами, клетчатые брюки, зеленый галстук. Высокомерен и строг в обращении со слугами, с хозяевами угодлив. Ему подчинена вся прислуга.

**Г е р ц** — элегантный лакей во фраке и белом жилете, с щегольскими усиками.

**Р и к л** — кухарка, веселая по натуре женщина. Белый передник и белый чепец.

**Ф и ш л** — ее муж, служит в другом доме, всегда озабочен.

**Ф а н е ч к а** — бывшая горничная, давно получившая расчет.

**Л и з а** — горничная, принятая вместо Фанечки.

**Р е б С е н д е р** — меламед, оброс густой бородой.

**И о х е в е д** — его жена.

**Р е в е ч к а** — их дочь.

**М а д а м Г о л д** — новонспеченная богачка, говорят, миллионерша.

*Действие происходит в нижнем этаже богатого дома.*

Кухня в богатом доме. Белая плита с блестящими медными поручнями. Кухонная посуда и вся утварь сверкает чистотой. Справа — печь. Слева — лестница на второй этаж. Между лестницей и рампой — нечто вроде комнатухи. Там стоит небольшой столик и старомодное («вольтеровское») кресло. В нем обычно восседает Даниел. Справа, у противоположной стены, — большой зеленый сундук. Рядом с ним, ближе к рампе, — небольшой красный сундучок. Посреди кухни — длинный стол и несколько табуреток.

За столом, сбросив фрак и засучив рукава, сидит Герц и пишет письмо. Рикл стоит за его спиной и диктует.

Рикл. ...И напиши мне, милая сестра, как тебе живется в чужом доме. И много ли у вас слуг, и что за люди? И как у вас обходятся с прислугой?..

Герц (*пишет, высунув язык и двигая им вслед за пером*). «И напиши мне, милая сестра...» Ну, дальше?

Рикл (*диктует*). Нас тут на кухне четыре человека, да еще для стирки белья есть человек, и на конюшне еще человек, и у ворот опять человек, и в саду человек...

Герц. Тррр... Вот заладила: человек и человек... что ты гонишь и гонишь?

Рикл. Что ты написал, горе ты мое?

Герц. «Милая сестра».

Рикл. Только всего?! Все напасти, что приснились мне этой и прошлой ночью, — на твою голову! Этак мы никогда до конца не доберемся!

Герц. А вы что думали? Писать, по-вашему, то же самое, что языком молоть? Перо — это вам не язык и не мельница. Пока выведешь букву, хорошенько вспотеешь. (*Рассматривает перо.*) А тут, как на грех, и перо у нашего эконома... на него самого похоже: толстое и тупое, косолапое.

По лестнице спускается Лиза. Подходит к красному сундучку, садится и, закрыв лицо руками, плачет.



Рикл (*Лизе*). Бог с тобой, чего ты плачешь?

Герц (*Лизе*). С ума сошла?! Ни с того ни с сего разревелась! Будет тебе плакать! Выходи лучше за меня замуж...

Рикл. Получила, наверное, хорошую трепку от мадам? Подумаешь, диковина какая! Когда живешь в прислугах, надо все терпеть.

Герц. Пошли их ко всем чертям, дурочка! Бери пример с меня. (*Потягиваясь.*) Я никого не боюсь. Я над собой не признаю никого! Что мне хозяин?! Что мне мадам?! Что мне эконом?! Лучше выходи за меня замуж, глупая ты девушка, — будешь жить, как у бога за пазухой.

Рикл. Сам жених, сам и сват!

По лестнице спускается Даниел, Герц спохватившись, надевает фрак, ставит чернильницу и перо на маленький столик. Выражение лица у него сразу меняется. Рикл занимает свое место у печи.

Даниел (*Герцу*). Слушай, ты, шалопай, подойди-ка сюда! (*Подводит его к окошку, смотрит ему в глаза, указывая пальцем на Лизу.*) Ну?

Герц. Что «ну»?

Даниел. Хорошо, нечего сказать! Постарался.

Герц. Кто?

Даниел. Я.

Герц. Вы?

Даниел (*щелкнув его рукой по носу*). Клоун! Паяц! Ну, ступай наверх! Ступай, тебя зовут!.. Пропади вы все пропадом!

Герц. Иду! (*Подходит к лестнице.*)

Даниел (*важно усаживается в кресло, засучивает рукава, со звоном отпирает ящик конторки, вынимает оттуда большую конторскую книгу, напяливает на нос круглые очки и, глядя в книгу, движением руки подзывает к себе Лизу*). Тебе причитается за четыре месяца и три недели. Четырежды восемь как будто тридцать два; а за три недели по два рубля — выходит как будто шесть. Тридцать два и шесть — как будто тридцать восемь. Еще двенадцать прибавим для ровного счета. Выходит как будто пятьдесят, не так ли? На, получай деньги. (*Достает деньги, смотрит на Лизу поверх очков.*) Плачешь? Считаешь, что ты права? А?.. (*Строго.*) Ну, не валяй дурака и получай деньги!

Лиза (*берет деньги, не переставая плакать*). Чем я виновата? Он мне говорил, что я красивая. Клялся, что любит меня.

Даниел. Подумаешь, какое счастье! Он ее любит! Этот пац, этот шут, этот прохвост! Пропади все пропадом!

Лиза (*поднимает голову*). О ком вы говорите?

Даниел. А ты о ком говоришь?

Лиза (*опуская голову*). О Натане... О Натане Моисеевиче...

Даниел (*встрепенувшись*). А? Что ты сказала? Натан Моисеевич?

Лиза (*тихо*). Он.

Даниел (*тихо*). Ду-ра! Что ж ты молчала, глупенькая козочка! (*Сердито.*) Отчего ты мне не сказала? Наивный теленок. Мне ты должна была сказать! Пропади все пропадом!

Рикл (*подбегает*). Ой, горе мне, что случилось? (*Ломает руки.*)

Даниел. Не вашей бабушки дело. Ступайте, занимайтесь своими кастрюлями.

Рикл. Тьфу! (*Возвращается к плите.*)

Даниел. Как же это у вас вышло? Рассказывай, не бойся. Мне ты можешь выложить всю правду. (*Тихо.*) Так он, значит, стал тебя уговаривать? Он говорил, что любит тебя? А ты так и поверила ему на слово? Эх, ты, несчастная!.. А я было подумал, что ты спуталась с этим шалопаем, с этим бездельником. Подойди сюда, садись. (*Указывает ей на табурет рядом со своим креслом.*) Скажи мне чистую правду. Помни — ты со мной говоришь... Так это он? Натан Моисеевич, говоришь ты?

Лиза (*плачет*). Клянусь вам... Он даже колечко мне подарил. (*Показывает ему кольцо на пальце.*)

Даниел (*берет ее руку, разглядывает кольцо*). Несчастные вы... овечки!.. козочки!.. телята!.. Верите первому встречному! (*Отбрасывает ее руку.*) Скрывала от меня! Секреты! Сговорились! Поверила? Вообразила себя на седьмом небе? Пропади все пропадом! (*Порывисто встает, шагает по комнате.*) Вот так-то вас и завлекают в сети, глупые вы создания! (*Подходит к ней вплотную, повышает голос.*) Ты что же думала? Что ты воображала? Рассчитывала, что он на тебе женится?

Размечталась, что станешь мадам Голд? Ха-ха-ха! Чего ж ты молчишь? Ну?! (*Садится на стул против нее, берет ее за руку, смягчает тон.*) Расскажи мне, детка, расскажи мне все.

Лиза садится рядом с ним на стул, всхлипывает.  
Рикл, подкравшись, подслушивает.

Лиза. С первых же дней, как я поступила сюда, он все ходил за мной следом и говорил, что я хорошенькая... что я красавица... что я украшение в доме... что он только глядел бы да глядел на меня... Потом он стал охать и вздыхать и уверять, что любит меня, умирает от любви и без меня жить не может... Он спрашивал, согласна ли я быть его женой, умолял пожалеть его, обещал переговорить с ними. Он уверял меня, что, если они не дадут согласия, он отравится, или застрелится, или вообще покончит с собой... И все откладывал со дня на день... Очень мне было жалко его...

Даниел. Она его пожалела! Ха-ха-ха! Пропади все пропадом! Ну, а он тебя пожалел? Отчего он тебя не пожалел, а? Что же он говорил тебе сегодня? Вчера? Третьего дня? Говорила ты с ним, отвечай?

Лиза. Говорила, как же не говорить? Я ему все сказала... Я плакала... (*Плачет.*)

Даниел. Она плакала! Ну, а он?

Лиза. Он сначала просил, чтоб я молчала, подарки обещал, деньги. А когда я отказалась, он сразу переменялся. Он сказал, что, если я подыму скандал, будет хуже для меня... для моей сестры...

Даниел. Откуда он знает про твою сестру?

Лиза. Я ему рассказала, что у меня есть сестра... кассирша. Если узнают, она потеряет место.

Даниел (*встает, в сердцах стучит кулаком по столу, громко*). Где были мои глаза? И почему ты мне раньше не сказала? Какая же ты глупая... (*Садится, трет руками лицо; голос его становится мягче.*) Скажи мне, глупенькая, кто у тебя здесь, кроме сестры?

Лиза (*сквозь слезы*). Никого. Я ведь вам говорила, что у меня здесь только одна сестра. Она служит в магазине кассиршей... Она моложе меня... Если узнают о моем несчастье, ее прогонят со службы. (*Рыдает.*)

Даниел (*успокаивает ее*). Не бойся, ничего с твоей сестрой не случится... Хорошо, что ты мне рассказала. Я уж постараюсь, что-нибудь придумаю... (*Немного по-*

*размыслив.*) Знаешь что? Я тебе дам записку к одной моей знакомой. Побудешь там, пока я что-нибудь придумаю. *(Вынимает листок бумаги, пишет, сопит.)*

Лиза сидит и плачет. На лестнице раздается женский голос: «Даниел! Даниел!»

*(Прячет листок в ящик стола, снимает очки, съезживается, становясь на целую голову ниже.)* Сейчас! Сейчас! *(Подымается по лестнице наверх.)*

Рикл *(подходит к Лизе с ложкой в руке, качает головой)*. Думаешь, я не слышала? Все слышала! Такова уж наша доля, когда приходится жить у господ, холера их всех поberi, боже милосердный!

Лиза *(плачет)*. Ой, Рикл, дорогая, родная моя! Несчастливая я... Что мне теперь делать? Куда я пойду? Что я скажу? *(Ломает руки.)*

Рикл. Не плачь, глупенькая, не плачь! Не люблю я, знаешь, вмешиваться в чужие дела, но будь я на твоём месте... *(Наклоняясь к ее уху.)* Случись со мной такое же дело, — три горшка крови я бы из них выцедила, шкуру бы я с них содрала... *(Рассекает воздух ложкой.)* Правнукам своим заказали бы они так обращаться с людьми! Холера им в рожу!

Лиза *(ломая руки)*. Ох, несчастье! Я за сестру боюсь, се прогонят с места... Что мне делать? Что делать?

Рикл. Ах ты, божья коровка, глупенькая!.. Ведь у тебя теперь есть случай обеспечить себя приданым! У них всего вдоволь! Хвороба их возьми! А какого жениха ты можешь себе подыскать, дурочка, дай бог мне такое счастье! Выйдешь замуж — и конец. Не придется больше жить в прислугах. Сама себе будешь хозяйкой, дурочка, сама будешь слуг держать... Ты только подумай!.. Ой, идут! *(Бежит обратно к плите.)*

Даниел и Герц спускаются по лестнице.

Герц. Вот это да! Сами «свят-свят», а как согрешили, так пес виноват! *(Делает недоумевающее лицо. Принимается за работу.)* Да еще поклеп возводят!

Даниел *(строго)*. Молчать! *(Лизе.)* Собрала свои вещи? *(Открывает ящик стола.)* На вот тебе еще полсотни. На расходы получишь особо. Я уж постараюсь. Несчастные вы создания! Заблудшие овцы! Божьи коровки! Пропади все пропадом!

Лиза, продолжая плакать, собирается уходить.

(Даниел удерживает ее.) Погоди. Я тебе записочку дам, письмецо. (Собирается писать.)

Рикл (подбегая к Даниелу с ложкой в руке). Вы меня знаете — я не люблю вмешиваться в чужие дела. Но у нее теперь такой хороший случай обеспечить себя хотя бы приданым. Вы же сами видите, — божья коровка!

Даниел (строго глядя на нее через очки). Кто у вас спрашивает совета? Ваше место у плиты. Накройте еще на троих. Сейчас придут родственники нашей мадам. Бедные родственнички. Приказано дать им поесть на кухне, вместе с людьми.

Герц. Хорошо еще, что не с собаками!

Реб Сендер, Иохевед и Ревечка спускаются с лестницы, раздеваются. Реб Сендер разматывает шарфы, обнажая свое заросшее волосами лицо. Рикл и Герц смотрят на него, как на дикого зверя.

Рикл. Это кто ж такие? (Указывает глазами на гостей.)

Герц. Понятия не имею! Впервые вижу нечто подобное. Ну и богатый урсжай на лице!

Даниел (гостям). Садитесь за стол, — вам сейчас дадут поесть. Рикл, подавайте гостям.

Реб Сендер совершает обряд омовения рук, после чего произносит вслух соответствующие молитвы. Герц невольно вторит ему: «Аминь, да возвеличится имя его». Рикл смеется в кулак. В кухне появляется мадам Голд. Ее приход вызывает необычайную суматоху. Рикл бросается к плите. Герц хватает посуду, звенит вилками, швыряет ложки. Лиза поднимается с красного сундучка и быстро выходит из кухни. Даниел снимает очки, съезживается, становится на целую голову ниже. Реб Сендер прерывает начатую трапезу.

Мадам Голд (с нижней ступеньки, чуть повыше пола). Рикл! Накормишь их и дашь им по стаканчику чаю. (Иохевед.) Да, я забыла спросить, как ее зовут, вашу дочку?

Иохевед. Рива.

Реб Сендер. Ривка, просто говоря.

Мадам Голд. Рива, Ривка? Некрасиво!.. Ревекка. Ревечка, — пусть зовется Ревечка.

Иохевед. Вам угодно Ревечка, пусть будет Ревечка. Кто смеет вам указывать?! Она же ваша.

Реб Сендер. Мои слова! Было бы ей только хорошо здесь, не знать бы ей ни в чем нужды! Как сказано: «Не в присказке дело, а в самой сказке».

Мадам Голд. Это зависит от нее: будет служить хорошо — будет и ей хорошо; будет служить плохо — и ей будет плохо.

Даниел (*подхватывая*). Будет служить хорошо — и ей будет хорошо; будет служить плохо — и ей будет плохо. (*Кивает Герцу и Рикл.*)

Герц и Рикл (*одновременно*). Будет служить хорошо — и ей будет хорошо; будет служить плохо — и ей будет плохо.

Герц (*в сторону*). Пусть бы им самим так хорошо жилось!

Мадам Голд. Мои люди никогда еще на меня не жаловались.

Даниел. Наши люди никогда еще не жаловались. (*Кивает Герцу и Рикл.*)

Герц и Рикл (*одновременно*). Никогда не жаловались.

Герц (*в сторону*). Столько тебе болячек, сколько раз жаловались.

Мадам Голд. У меня уж так заведено: праздники или именины — мои люди получают от меня подарки.

Даниел. Тут все люди получают подарки. (*Кивает Герцу и Рикл.*)

Герц и Рикл. Мы получаем каждый раз подарки.

Герц (*в сторону*). Пусть бы им самим столько иметь, сколько они нам дарят.

Ревечка. Зачем подарки? Это не обязательно.

Иохевед (*потянула ее за рукав*). Ты, Ривеле, лучше помолчи.

Реб Сендер. Мои слова! «Молчание — золото...»

Герц (*в сторону*). Этот еврей прямо-таки весь из поговий.

Мадам Голд. Очень хорошо, что она умеет писать. Надо, знаете ли, иной раз переписать белье на чердаке, а то крадут, растаскивают, разворовывают.

Даниел. Разворовывают. (*Кивает Герцу и Рикл.*)

Герц и Рикл. Еще как воруют!

Герц (*в сторону*). Ох, не завидую я этим ворами!

Мадам Голд (*Ревечке*). Ну, закуси, а потом за работу. (*Даниелу.*) Даниел! Почаще заглядывай на

конюшню. Посматривай, дают ли лошадям овес или, может быть, только выписывают счета на овес. Ох и любят же они выписывать счета. *(Уходит.)*

Кухня мигом преобразается. Даниел снова напяливает на нос очки, высоко поднимает голову, усаживается в кресло, пишет. Рикл приглашает гостей к столу. Гости едят. Герц тоже. Сверху раздается голос: «Даниел! Даниел!»

Даниел *(снимает очки, опять становится на целую голову ниже; застегиваясь на все пуговицы, подымается по лестнице)*. Сю минуту! Иду! Иду! *(Скрывается.)*

Рикл *(подает к столу)*. Милости просим, гости дорогие!

Иохевед. Кто этот сердитый человек, которого зовут Даниел? То он большой, то он совсем маленький.

Герц. Это наш полухозяин.

Реб Сендер *(положив ложку на стол)*. Полу... чего?

Рикл. Наш эконо́м. Распо́ряжается всеми людьми. Из его рук мы получаем все, что нам причитается... Так вы, стало быть, состоите в близком родстве с нашими хозяевами?

Иохевед. Не такое уж очень близкое родство. Но как-никак считается родней.

Реб Сендер. Седьмая вода на киселе. Хотите знать, каким образом? *(Кладет ложку на стол.)* Вот я вам сейчас расскажу всю родословную.

Герц. Что ж, расскажите. Не мешает знать. *(Продолжает есть.)* Человеку полезно все знать, все, что творится на белом свете. *(Уплетает за обе щеки.)*

Реб Сендер. Мой дядя, то есть наш общий дядя, потому что мы с женой двоюродные брат и сестра, — так вот наш дядя и тетка вашей мадам были родные брат и сестра. Теперь вам ясно? *(Снова принимается за еду.)*

Иохевед. Как раз наоборот. *(Кладет ложку на стол.)* Наша тетка и дядя вашей мадам были родные брат и сестра.

Реб Сендер *(кладет ложку на стол)*. Мои слова! Разве я не так сказал?

Герц *(Иохевед)*. А они как сказали? Разве не так? *(Ест.)*

Иохевед *(снова кладет ложку на стол)*. Ты говорил, что наш дядя и ее тетка...

Реб Сендер *(бросает ложку, сердито)*. Я так сказал? Как я мог это сказать?

Герц (*Иохевед*). Как они могли это сказать? (*Продолжает есть.*)

Иохевед (*бросает ложку, обращается к дочери*). Ну, скажи уж ты, Ривеле: разве не так он сказал? Отвечай же, что же ты молчишь?

Ревечка. Так сказал или этак сказал, — какая разница? Кушайте лучше на здоровье! Целые сутки ничего не ели...

Герц (*Сендеру*). Ваша дочка права, честное слово! Как говорится: «Натошак танцы не идут никак...» Так вы, стало быть, в родстве с нашими хозяевами? Что же, писали они вам? Приглашали приехать?

Реб Сендер. Боже спаси и помилуй! Мы сами приехали. Как видите, дочку привезли, — хотели ей подыскать место. А тут вспомнили, что у нас здесь богатая родня, — мы и пришли сюда. Сперва они было и не признали нас.

Иохевед. Как же им нас признать? Они ведь такие богачи! Миллионщики, не сглазить бы!

Сверху раздается звонок.

Герц. Это меня приглашают. И доесть не дадут. (*Продолжает жевать на ходу.*) Вечно носишься, как собака, и давишься куском, чтоб им самим подавиться! (*Уходит.*)

Рикл (*Иохевед*). Выходит, значит, вы и вправду родня?..

Иохевед. А вы что ж думали? В нашем роду никогда не было слуг, одни хозяева! Наша родня...

Ревечка. Мама, к чему им знать, кто наша родня? Ты породниться с ними собираешься, что ли?

Иохевед. А почему бы им и не знать? Пусть знают. Пусть не думают, что ты простая прислуга, такая, как они.

Ревечка. Мама! Трудно было только решиться пойти в прислуги, но раз я уж решилась, то я здесь такая же, как все... (*Кончив обед, принимается за работу, моет и перетирает тарелки.*)

Реб Сендер (*произносит нараспев послеобеденную молитву, одобрительно кивает головой*). О! Гм! Правда, правда... «Благослови землю и плоды ее... Смиловись!» (*Покачивается из стороны в сторону.*)

Лиза входит с улицы, ломая руки; подходит к красному сундучку, садится, подпирая голову руками.



Ревечка. Кто эта девушка?

Рикл. Наша бывшая горничная. Сегодня только рассчитали.

Ревечка. За что?

Иохевед. Разве им это впервые? Они принимают людей, они им и отказывают.

Реб Сендер (*прерывая молитву*). Гм... Гм... «Как глина в руках горшечника».

Рикл (*Иохевед*). Что сказал ваш муж?

Иохевед. Вам этого не понять. Это из Талмуда\*.

Сверху спускается Д а н и е л.

Даниел (*с минуту расхаживает взад и вперед по комнате, не произнося ни слова, затем останавливается перед Лизой и говорит очень тихо*). Несчастливая ты моя! Горемычное ты создание! Хоть бы ты раньше мне рассказала! Пропади все пропадом!.. Иди-ка сюда!.. (*Снова садится за прерванное письмо*.)

Лиза подходит к столу.

(*Лизе*.) Вот тебе адрес. Прямо к ней и заезжай... Передашь от меня привет. Скажешь — я еще сегодня к ней загляну, если можно будет. А не удастся, так завтра... Горемычные вы создания!

Лиза подходит к красному сундучку, раскрывает его, что-то ищет и потом снова запирает.

Реб Сендер (*окончив молитву, встает из-за стола, вытирает руки фалдами своего длинного сюртука, подходит к Даниелу*). Позвольте вас приветствовать. Шолом алейкем!<sup>1</sup> Я слышал, вы здесь вроде хозяина.

Даниел (*надевает очки, высоко поднимает голову*). Что скажете?

Реб Сендер. Ничего. Я только хотел попросить вас присматривать за моей дочкой, понаблюдать за ней.

Даниел. Понаблюдать? Присматривать? (*Глядит попеременно то на Ревечку, то на Лизу*.) Присматривать за вашей дочкой? Да-да-да! Присматривать. Понаблюдать.

Иохевед. Она нам дороже всего на свете... Правда, она у нас не единственная, сохрани боже, но зато — старшая, а к тому же такая умница! Я вас прошу, понаблюдайте за ней!

---

<sup>1</sup> Мир вам! (*еврейск.*)

Ревечка. За мной не надо наблюдать. Я, слава богу, сама за себя постою.

Иохевед (*дочери*). Глупая ты девочка! (*Даниелу*.) Вы сами понимаете, красивая девушка среди чужих людей...

Даниел. Да, красивая девушка среди чужих людей! (*Смотрит то на Ревечку, то на Лизу*.) Тут красота как раз не бог весть какое достоинство...

Ревечка. Мама, обо мне не беспокойся! Меня никто не похитит! Не маленькая, — мне не десять лет!

Иохевед (*Рикл*). Ну, что вы скажете? Умница какая, не сглазить бы. (*Мужу*.) Ну, Сендер, одевайся, — нам пора ехать. (*Дочери*.) Прощай, Ривеле. Береги себя, — и тебе, с божьей помощью, будет хорошо, лучше, чем дома.

Реб Сендер. Мои слова! «Все в руках божьих...» (*Даниелу*.) Прощайте, реб Даниел! Не забывайте же присматривать за ней. (*Вздыхает*.)

Даниел. Присматривать за вашей дочкой? Да-да-да! Наблюдать за вашей дочкой...

Ревечка провожает отца и мать к выходу и возвращается к прерванной работе. Сендер и Иохевед уходят. С лестницы спускается Герц.

Герц. Мадам велела запрягать лошадей и проводить Лизу с почетом. (*Берет сундучок Даниелу*.) А вас имеют честь просить наверх. Натану Моисеевичу надо поговорить с вами о лошадях.

Даниел. Опять о лошадях! Замучил он меня своими лошадьми! Лошадь им дороже человека! (*Уходя*.) Пропади все пропадом! (*Скрывается*.)

Герц. Ха-ха-ха! Самому паршивому псу достается самый лакомый кусок! (*Лизе*.) За меня не хотела замуж пойти, не захотела?! Гнушалась! Только потому, что слуга! Конечно, лучше с хозяином, чем со слугой. Но если все слуги станут путаться с хозяевами, а хозяева со слугами, — на что, спрашивается, станет тогда похож наш божий свет?

Рикл (*Герцу*). И как у тебя только язык не отсохнет, зубоскал ты этакий? У человека такое горе, такое несчастье, а он языком треплет!

Лиза (*с рыданием бросается в объятия Рикл*). Мама моя родненькая!

Ревечка (*Герцу*). Отчего она плачет?

Герц. Вспомнила что-то печальное.

Ревечка (*Рикл*). Отчего она плачет?

Рикл. Тяжело на душе, — вот она и плачет.

Ревечка (*подходит к Лизе*). Что с вами? (*С участием.*) Скажите мне...

Лиза (*ломает руки*). Ой, не приведи вас господь... узнать то, что я узнала!.. (*На мгновение бросает взгляд на лестницу, и глаза ее наполняются слезами, она бросается в объятия Рикл, рыдая, как ребенок.*) Прощайте, мама моя родная! Вы мне были настоящей мамой!

Рикл (*гладит Лизу по голове*). Ну, довольно, довольно плакать, дитя мое! Божья воля, божья воля!.. Счастливого пути, дитя мое. Пошли тебе господь столько счастья, сколько ты сама себе желаешь. Конечно, если бы ты меня послушалась... Ну, поезжай с богом!.. (*Слезы душат ее, она не в силах говорить и прячет лицо в передник.*)

Слышно, как подъезжает экипаж. Герц хватает красный сундучок и ставит на плечо. На глазах у него слезы, но он не показывает виду и улыбается.

Герц. А сундучок, не сглазить бы, тяжелый. (*Выходит.*)

Лиза с плачем следует за ним, ломая руки, бросает прощальный взгляд на лестницу, наверх. Рикл всхлипывает, пряча лицо в передник. Ревечка, не переставая работать, вопросительно глядит на всех.

Рикл (*про себя*). Так-то они обходятся со слугой! Слуга и собака — у них один черт... Так ей и надо, — сама виновата! Слуга никогда не должен забывать, что он только слуга! (*Ревечке.*) Слышишь, девочка? Когда ты будешь там (*показывает на верхний этаж*), ни на минуту не забывай, что ты служанка и что твое место здесь!

Герц (*возвращается с улицы, глаза у него покраснели*). Одним человеком меньше стало у нас. (*Рикл.*) Знаете, Рикл, меня только одно бесит: мало того что они сами нашкодят, они еще взваливают вину на других!

Ревечка. Эта девушка в чем-нибудь провинилась? Она украла что-нибудь?

Рикл и Герц раздражаются громким смехом.

Рикл (*Ревечке*). Ты еще совсем козочка, я вижу, Герц. Наивная ты девочка, честное слово! Люблю таких. (*Хочет погладить ее по щеке.*)

Рикл (*дает ему по рукам*). Без рук! Ты не Натан Моисеевич...

Герц. Твоя правда! Им (*показывает рукой наверх*) все позволено, нам — ничего.

Рикл. Они хозяева, а мы слуги.

Герц. Знаете, что я вам скажу, Рикл, душа моя? Давненько я уже инструмента в руках не держал. Пальцы совсем одеревенели, ну их ко всем чертям! Надо достать инструмент. (*Вынимает из-под кровати гитару.*) На душе тоскливо, надо хоть грусть разогнать... Что бы вы хотели послушать, Рикл? (*Настраивает гитару.*) Стоит мне заиграть — и всех насквозь проймет! (*Глядит на Ревечку, подмигивает ей.*) Я бы хотел, чтобы все хорошенькие девчонки и все красивые бабенки слушали, как я играю. Рикл, душа моя! Что бы мне спеть вам такое, чтоб вас пробрало?

Рикл. Пусть бы тебя самого пробрало! Знаешь что? Спой еврейскую песенку, и дело с концом.

Герц. Хотите еврейскую? Можно, спою еврейскую... (*Играет и напевает залихватскую песню, отбивая ногами такт и качая головой. Чем дальше, тем звучнее и веселей разливается песня, Герц входит в раж.*)

Рикл и Ревечка покатываются со смеху. Они не замечают даже, как с улицы входит Фишл, муж Рикл.

Фишл (*входит незаметно, тихими шагами; останавливается и несколько минут с недоумением глядит на Герца и на хохочущих Ревечку и Рикл, кашляет*). Весело тут у вас, не сглазить бы. С праздником!

Герц. Взаимно. Нечего делать, ну и бренчишь на гитаре.

Фишл (*сердито*). Нечего делать? Бейся головой об стенку. (*Жене.*) Не спросит даже, как дитя поживает. Ей что? Был бы этот пустозвон, тренькал бы на гитаре.

Рикл. Смотри как разошелся! Садись, отдохни немного!

Герц подносит ему табуретку.

Фишл (*бросает на Герца полный ненависти взгляд и, не желая садиться, отшвыривает табурет в сторону, берет другой, садится*). Эй ты, шалопай, бездельник, гнилой огурец! Ты уже совсем запанибрата с моей женой?! Забавляешь ее своими песенками?!

Герц. Во-первых, я забавляю не только вашу жену — много чести для нее. А во-вторых, не мешает

вам помнить: если живешь в людях, для тебя не существует больше ни жены, ни мужа, ни сестры, ни брата.

Фишл. Вот как? Чего моя левая нога хочет?!

Герц. А вы что думали? Гуляй, голытьба! Вольному — воля.

Рикл (*мужу*). Нашел кого слушать! Что ты обращаешь внимание на этого пустомелю?

Фишл (*вне себя от гнева*). Какой он дурень! Он совсем не дурень! Беспутный он человек — вот он кто! Гуляка, развратник, шут с закрученными усиками и кружит головы чужим бабам и глупым девкам.

Герц. Вот еще! Разве я виноват, если все девчонки и все бабенки вешаются мне на шею?

Рикл. Чтоб тебя на первом суку повесили, бездельник ты этакий!

Герц. Чего вы кричите? Подумаешь! Им (*показывает вверх*) можно? Чего-чего я только не нагляделся там, мама моя родная! Ничего святого! Муж, жена, мое, твое — все общее! Я сам видел, как сват обнимал нашу хозяйку вот так... Я вам сейчас покажу как. (*Хочет обнять Рикл.*)

Рикл (*отшвыривает его*). Головой об стенку.

Сверху появляется Даниел.

Даниел (*хватая Герца за шиворот*). Вот я тебя сейчас обниму! У тебя искры из глаз посыплются. Ступай наверх, тебя зовут. Пропади все пропадом!

Герц. Сию минуту! Иду. (*Фишлу.*) Всего наилучшего. Счастливой ярмарки!

Фишл (*вслед удаляющемуся Герцу*). Катись головой вниз! Да сломай себе ногу по дороге туда или обратно!

Герц скрывается.

Даниел (*раскладывает на столе деньги, сложенные стопками; Фишлу*). Не надо обращать внимания на этого безмозглого шута. Во всей его болтовне столько же смысла, сколько в собачьем лае. (*Открывает ящик письменного стола, вынимает конторские книги.*)

Фишл. Нет, вы понимаете? Разве они нашего брата, слугу, считают человеком? Нанялся — проданся! Нет тебе ни субботы, ни праздника, ни жены, ни ребенка! Если в кои-то веки вырвешься на минутку повидаться с женой, так вот вам, извольте радоваться: застаешь

этого шарлатана, который тренькает на балалайке, а они, эти глупые телки, рты разинули и не налюбуются на него.

Даниел. Глупости. (*Постукивает костяшками счетов, считает деньги.*) Глупости!

Рикл (*Даниелу*). Ну, скажите сами...

Фишл (*Даниелу*). Для вас это глупости, а мне больно и обидно. Пусть мы живем в людях, но людьми-то мы остаемся или нет? А у человека есть самолюбие. Есть амбиция. (*Бьет себя в грудь.*)

Даниел. Что еще за амбиция! (*Стучит костяшками.*) Тоже выдумал — амбиция... Слуга с амбицией! Разве у слуги может быть амбиция?

Рикл (*Даниелу*). Ну, скажите сами! Амбицию выдумал! Вот еще...

Фишл. Вот именно — амбиция! Пускай я только насмный человек, не больше, но ведь у слуги тоже живая душа! Всю неделю маешься, ходишь в упряжке, как лошадь. А если раз в неделю подвернется тебе счастье и можешь вырваться на полчаса, повидать свое дитя или жену, — натыкаешься черт знает на кого! (*Разворачивает завернутую в бумагу шаль, передает жене.*) На вот, я тебе подарок купил. Всего три рубля! Дешевка! Прямо даром!

Рикл. Ой, правда? Знаешь что, я отнесу эту шаль нашей Фейгеле. Она, бедненькая, совсем плохо одета. Встретилась я как-то с ней на рынке, неделю назад. Поболтали минутку, — видно, ей тоже не очень сладко там живется... Ох-ох! Горе тому, кто и сам живет в прислугах, и родное дитя должен отдать в прислуги, вдали от родительского глаза. Подневольные мы люди! (*Снова принимается за работу.*)

Фишл. Подневольные, говоришь?.. А все же, если б тебе очень уж хотелось, ты, я думаю, могла бы видеться с нею почаще. Некогда тебе, что ли? Хлопот много? Пусть бы она к тебе приходила. Нельзя же так забывать свою родную дочь.

Рикл. Вот еще, проповеди читает! Нельзя забывать родную дочь. А если наша мадам и знать не хочет ни о каких детях! Она терпеть не может, чтобы у слуг были дети. Ты это понимаешь или нет?

Фишл. Все они терпеть не могут. Ты бы ее лучше устроила на работу в этом же доме, здесь же, рядом с тобой...

Рикл. Здесь? Рядом со мной? Не доведи господи! Родное дитя бросить в пасть к этим волкам! Чтобы с ней, не дай бог, случилось то же самое, что с Фанечкой или с Лизой? (*Шепчет что-то мужу на ухо, не отрываясь от работы.*)

Фишл (*вскакивая*). Ах, холера на них! Околеть бы им в муках! Тридцать три холеры! Семьдесят семь смертей на их головы! (*С поднятыми кулаками направляется к лестнице.*) Чтобы она вас схватила, эта холера, и свернула, и трясла, и бросала, и угнала на тот свет всех до одного, чтобы от вас ни следа, ни пылинки не осталось! Тысяча чертей вашей...

Сверху раздается женский голос: «Даниел! Даниел!»

Даниел (*становится на голову ниже, кричит наверх*). Иду! Иду! (*Взбираясь по ступенькам, ворчит.*) Вверх и вниз! Вниз и вверх! Пропади все пропадом! (*Скрывается.*)

Фишл. Всюду одно и то же!.. (*Собирается уходить.*) А меня уже, верно, ищут. Все кричат: «Фишл!» Со всех сторон: «Фишл! Фишл!» Чтоб у них глотка треснула, владыка небесный! Чтоб им так хотелось жить на свете, как мне хочется сейчас уходить отсюда! Хотя не очень-то и здесь весело. (*Вздыхает.*) Ох-хо-хо! Неужели же так и должно быть, что если ты служишь у хозяев, то ты уже отрезанный ломоть? Муж оторван от жены, мать — от детей, сестры — от братьев... Как же это мир устроен? (*Ревечке.*) Ты, видно, здесь новая горничная? Быть может, выйдешь когда-нибудь замуж? Так вот, — боже тебя сохрани после свадьбы пойти в прислуги. Лучше раз в три дня черствую корку жевать, но быть самой себе хозяйкой. (*Рикл.*) А ты? Поверь, тебе не худо бы держаться немного подальше от этого музыканта, он закрутил усики вверх и думает, что сам черт ему не брат... Прощай. (*Уходит.*)

Рикл (*с минуту глядит ему вслед, затем начинает хохотать*). Вот я сейчас сяду реветь.

Ревечка (*вне себя от удивления*). Чего вы сметесь?

Рикл. А что же, плакать мне?

Ревечка. Разве он не прав, ваш муж?

Рикл. Кто говорит, что он не прав?

Ревечка. Зачем же вы сердите его?



Рикл. Я — его? Что я ему делаю? Разве я виновата, что мы оба — люди подневольные? Раньше, когда я была девушкой, я всегда служила, все копила и копила деньги, собирала приданое и, наконец, вышла замуж.



И увидела, что мало толку: я сижу дома, как барыня, сложа ручки, а муж в людях мается. Нет, решила я, это не дело! И пошла снова в прислуги! А когда моя Фейгеле подросла, я и ее определила на место.

Ревечка. В прислуги?

Рикл. Ну конечно! Сами мы в людях, и дети наши в людях, и внуки, и правнуки наши, верно, тоже будут в людях. Так уж, видно, нам на роду написано — вечно служить в людях.

Ревечка. На роду написано служить в людях?

Рикл. Ну конечно. Возьми хотя бы себя, к примеру. Вот ты теперь служанка в этом доме. Сколотишь несколько рублей и, уж верно, выйдешь замуж за слугу — за человека.

Ревечка. За кого, сказали вы?

Рикл. За человека.

Ревечка. А за кого же и выходить замуж, как не за человека?

Рикл (*всплеснув руками*). Ой, родненькие мои! До чего эта девчонка глупа, — можно лопнуть со смеху!

С лестницы спускается Герц с кучей разного платья в руках.

Герц. Тот наверх, этот вниз! Вверх и вниз! Ну и поллучил же я нахлобучку от мадам! Даниела, положим, она тоже не пропустила. Накинулись! Сначала хозяйин, потом сама... Тот вниз, этот наверх! Вверх и вниз! Вниз и вверх! (*Берется за чистку платья, сплевывая на щетку.*) Вверх и вниз! Вниз и вверх!

Рикл. Чего это их сегодня трясет, точно в лихорадке?

Герц (*продолжает чистить*). Леший их знает! Вверх и вниз! Вниз и вверх! Гостей ждут! Краковецкие скоро должны прийти — мать с дочкой. Вверх и вниз! Вниз и вверх! А Натан Моисеевич-то как вырядился! Говорят, сватается! Вверх и вниз! Вниз и вверх! (*Ревечке.*) Барышня, ты что ж, без работы осталась? Что ты сидишь, как гостья на свадьбе, душа моя? Лучше помоги мне почистить платье, кошечка моя! (*Передает ей щетку.*) Наша мадам не любит, когда служанка сидит без дела, как барыня. Служанке сидеть без дела, она говорит, вредно для здоровья. (*Щиплет ее за щечку.*) А щечки как пампушечки!

Рикл (*шлепает его по рукам*). Брысь, шалопай! Душает, это ему Лиза.

Герц. Надо ее приучать понемногу, пока она не появилась наверху и с ней не познакомился Натан Мойсеевич! Тс... Ша!.. Фанечка идет! Вот так гостя! Рикл, отворяйте ворота!

Входит Фанечка, наряженная, напудренная и покрашенная, бросается Рикл на шею.

Фанечка. Бонжур, мадам!

Рикл. Поглядите на нее! Барыня, настоящая барыня. Фанечка, что тебя так долго не было видно? Боялась показаться? Где ты теперь? Что поделываешь?

Герц. Тра-та-та-та! Сразу посыпала, как из дырявого мешка. Дайте ей дух перевести. *(Здоровается с Фанечкой за руку, предлагает ей стул.)*

Фанечка *(Герцу)*. Мерси, мосье! <sup>1</sup> *(Делает ему реверанс.)*

Герц. Ты уже говоришь по-французски?

Фанечка. Ха-ха-ха. Иначе как по-французски я теперь и не разговариваю: «Бонжур, же ву при, кескесе, доне муа келькшоз, оревуар, д'аржан, мосье» <sup>2</sup>. А? Поняли? Что вы глаза выпучили? Удивлены? Ерунда! Фанечка теперь уже не та, что раньше! Атанде <sup>3</sup>. Шалишь, брат! Фанечка уже больше не служанка, не «человек» в чужом доме. Я — сама себе человек! Вуаля <sup>4</sup>. *(Хлопает себя рукой по карману.)* Ха-ха-ха! *(Ревечке.)* Чего ты глаза пялишь? Ты кто такая! Новая горничная? А Лиза где? *(Посвистывает, делая соответствующий жест рукой.)* Выставили? Ха-ха-ха! *(Ревечке.)* Мне лучше, чем всем вам тут, черт побери! У меня свой дом, четыре комнаты с кухней, пароль д'онер <sup>5</sup>, полный сундук белья и полнехонький шкаф платья. А драгоценностей и жемчуга — келькшоз де манифик <sup>6</sup>. На днях только у меня украли пару бриллиантовых серег. Хотите знать, кто? Мой жених. Черкес с Кавказа, с горящими глазами, ха-ха-ха! Смотрите, как она глаза вытарасила. *(Указывает на Ревечку.)*

Рикл *(Герцу)*. Что-то она слишком весела.

<sup>1</sup> Спасибо, милостивый государь! *(франц.)*

<sup>2</sup> Здравствуйте, прошу вас, что такое, дайте мне что-нибудь, до свиданья, денег, милостивый государь *(франц.)*.

<sup>3</sup> Погодите *(франц.)*.

<sup>4</sup> Вот *(франц.)*.

<sup>5</sup> Честное слово *(франц.)*.

<sup>6</sup> Нечто великолепное *(франц.)*.

Герц. Она как будто под мухой.

Фанечка. Сэ нэ па врэ<sup>1</sup>. Я непьющая. Я водки не пью. Я пью только вино! Шампанское, пароль д'онер. *(Берет папиросу, Герц подносит ей спичку.)*

Герц. Вот как?! Так у тебя, Фанечка, стало быть, уже и жених есть?

Фанечка. Па-шел! Какая я тебе Фанечка? Нет больше Фанечки! Есть Фаня Ефимовна, черт побери! Все офицеры, полковники, генералы знают только Фаню Ефимовну, и баста! За Фаню Ефимовну два студента подрались, пароль д'онер! Меня — тоже избили, видите? *(Засучивает рукав, показывает синяк на руке.)* Вот, глядите, черт вас побери. Ха-ха-ха. *(Истерически смеется.)*

Рикл *(берет ее за руку, усаживает рядом с собой у плиты)*. Расскажи, дитя мое, где ты была все время? Отчего ты не показывалась?

Фанечка. Что мне вам рассказывать? Я уже все рассказала, все! Но что тут, внутри, творится *(показывает рукой на сердце)*, до этого никому дела нет! А там, наверху *(указывает на лестницу)*, что слышать? Лизу рассчитали, а эту *(указывает на Ревечку)* приняли? Они только и знают, что принимать да прогонять людей. Принимают и прогоняют! Всякий раз новых людей! Ха-ха-ха! Что вы носы повесили? Что вы на меня так смотрите? Я смеюсь? Мне хорошо, вот я и смеюсь! Ха-ха-ха! Чтоб им всем *(указывает на лестницу)* было так хорошо, как мне.

Герц. Аминь!

Фанечка. Хоть наполовину так хорошо!

Герц. Аминь, аминь и трижды аминь!

Фанечка. Это им я должна сказать спасибо за свою хорошую жизнь, им! Ха-ха-ха! Ни днем, ни ночью нет тебе покоя! Вечно наряжайся, вечно подкрашивайся, мажь себе лицо, вечно будь весела! А мой брат!.. Со стыда удрал отсюда... Никто не знает, где он. Есть слухи, что сидит. *(Шепотом.)* За политические дела! Раньше был такой тихоня, а теперь стал политический... С горя... Со стыда...

Пауза.

Ой, до чего он меня когда-то любил! Как любил! Ой, как любил! *(Истерически рыдает.)*

<sup>1</sup> Это неправда *(франц.)*.

Ревечка (*подходит к ней, старается ее успокоить*). Чего вы плачете? Что с вами? Скажите, что с вами?

Рикл (*плачет в передник*). Пошли, господа, всем нашим врагам такую долю!

Фанечка (*Ревечке*). Уйди! Отойди от меня! Не прикасайся ко мне! Ты — чистая, невинная! Никто ко мне не прикасайся! Как бы к вам не прилипло что-нибудь от меня, ха-ха-ха! Как говорит мой жених... У меня есть жених, — поэт, сочинитель, стишки пописывает, ха-ха-ха!

Герц. А женихов-то у нее сколько!

Фанечка. Сколько женихов, говоришь ты? А ты сам не сватался когда-то ко мне, мон шер ами? <sup>1</sup> Эй ты, рожа с усиками! Давай-ка станцуем вальс, силь ву плэ! <sup>2</sup> (*Хватает Герца и кружится с ним в танце.*)

На лестнице показывается мадам Голд, вслед за ней — Даниел. Мадам Голд с минуту стоит молча и пристально разглядывает танцующую пару, пока не узнает наконец Фанечку.

Мадам Голд (*в сильнейшем возбуждении*). Это что такое? У меня на кухне? Мои люди позволяют себе... с эдакой?.. Даниел? Сегодня же рассчитать всех людей. Слышишь, всех людей!

Даниел (*согнувшись в три погибели*). Всех людей, всех людей.

Фанечка (*подходит к мадам Голд*). Вышвырнуть всех людей? Вам легко принимать людей, легко и выбрасывать. Вы швыряетесь людьми, ма шер мадам <sup>3</sup>. Если это из-за меня, то оревуар, авэк плэзир! <sup>4</sup> (*Делает реверанс.*) И не забудьте передать от меня привет вашему сокровищу, вашему благородному сынку Натану Моисеевичу. Мы еще с ним встретимся, будьте уверены! А вы, мадам, не швыряйтесь так людьми, потому что слуга тоже человек, люди — тоже люди, черт вас побери.

Мадам Голд (*топая ногами*). Даниел! Что ты стоишь как истукан? Прогони их! Всех вышвырни вон! Всех людей! Всех до единого! К черту! Провались они сквозь землю, эти люди! Вы мне весь дом испакостили! Вы мне изгадили мой дом!

<sup>1</sup> Мой милый друг (*франц.*).

<sup>2</sup> Пожалуйста! (*франц.*).

<sup>3</sup> Милая мадам (*франц.*).

<sup>4</sup> До свидания, с удовольствием! (*франц.*)

Даниел (спускается с лестницы, подходит к письменному столу, вынимает из ящика деньги, бумаги, конторские книги и швыряет все это к ногам хозяйки вместе со связкой ключей). Довольно! Хватит! Довольно я молчал, пропади все пропадом! (Громко, обращаясь к прислуге.) Мы ей испакостили дом! Мы, люди, изгнали ей дом! Одевайтесь! Идем! Уйдем, уйдем отсюда! Здесь нельзя нам больше оставаться. Нельзя! Кто мы здесь? Что мы для них? Ведь мы хуже самого последнего из последних! Мы — черт знает кто! Мы никто! Мы слуги! Слуги — и только! (Вне себя от ярости, глаза налиты кровью, кричит во весь голос.) Люди мы, люди!

*Занавес.*

# **КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ**

**Народное представление в четырех действиях**

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- Шимеле Сорокер — «потомственный портной», человек средних лет, обладает голосом.
- Эти-Мени — его жена, занятая женщина.
- Бейлка — их дочь, красивая девушка.
- Мотл Косой } портные-подмастерья. Проворные  
Копл Фалбон } парни
- Оскар Соломонович (реб Ошер Файн) — богач с брюшком и лысиной.
- Гертруда Григорьевна (Голда) Файн — его мадам, с лицом землистого цвета.
- Соломон Оскарович Файн — их сынок, красивый парень.
- Колтун — приказчик Файна, уродливый парень.
- Соловейчик — современный профессиональный сват, в шляпе.
- Голдентолер — директор банка.
- Гимелфарб — бухгалтер, человек с хорошо подвешенным языком.
- Вигдорчук — бывший музыкант, человек с выдумкой.
- Рубинчик — бывший парикмахер, его товарищ.
- Перл — торгует мукой и в разговоре мелет, как мельница.
- Мендл — бывший слуга, ныне «лакей».
- Иохевед — горничная, женщина заносчивая.
- Мясник Шмул-Иося — владелец бакалейной лавочки.
- Мойше-Велвл, попечители талмудторы, господа и дамы, и просто мужчины и женщины.

*Место: город в России с преобладающим еврейским населением.*

*Время — канун войны\*.*

## ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Большая комната, обставленная как обычно у мастеровых. Длинный стол. На столе разбросаны ткани, большие ножницы и мелок. Углубившись в работу, сидят за столом оба подмастерья — Мотл Косой и Копл Фалбон, вздыхают. У окна — швейная машина. Две двери: одна — на улицу, другая — в кухню.

Мотл Косой. Ко всем чертям! Чего ты вздыхаешь, Копл?

Копл Фалбон. А ты чего вздыхаешь, Мотл? Тебе можно?

Мотл Косой. Бьюсь об заклад — я знаю, о чем ты вздыхаешь!

Копл Фалбон. Если знаешь, зачем спрашиваешь?

Пауза.

Мотл Косой. Копл, если ты дашь мне слово, что никому не скажешь, я тебе кое-что скажу.

Копл Фалбон (*протягивает ему руку*). Вот тебе моя рука!

Мотл Косой (*оглядывается*). Копл! До каких пор мы с тобой будем играть в прятки? К чему эта комедия? Пора нам объясниться... В конце концов, что это нам даст? Ровным счетом ничего. Мы оба любим одну и ту же девушку, да так, что места себе не находим.

Копл Фалбон. Ты имеешь в виду Бейлку? (*Застенчиво опускает глаза.*)

Мотл Косой. Умница ты, Копл! Светлая голова! А то кого же я имею в виду? Дочку раввина? Конечно, я никого иного не имею в виду, как только ее, дочь нашего хозяина, Бейлку... И тут одно из двух: либо я, либо ты... Не можем же мы оба жениться на одной девушке... Как ты думаешь, Копл?



Копл Фалбон. Конечно, не можем.

Мотл Косой. Мне бы столько счастья, сколько у тебя ума! Она, значит, выйдет за того, кого любит. Ясно?

Копл Фалбон. Как божий день!

Мотл Косой. Дай бог тебе здоровья! Ну и умнее ты, братец!.. Но что же, Копл, душечка, ты прикажешь нам делать, если она любит нас обоих одинаково?

Копл Фалбон. Действительно, что нам тогда делать?

Мотл Косой. Тогда остается один только выход.

Копл Фалбон. Какой именно, Мотл?

Мотл Косой. Мы бросим жребий. Будем тянуть узелки. Вытянул узелок, — ну и живи счастливо! Раскусил?

Копл утвердительно кивает головой.

Ну вот и хорошо! Тогда мы должны поклясться друг другу, что этот наш уговор мы будем выполнять свято! Мы будем идти рука об руку, помогать друг другу в нужде, и оба примем все меры, чтобы Бейлка была наша... то есть моя или твоя. Согласен? Давай лапу!

Копл протягивает ему руку.

Давай морду, я хоть поцелую тебя!

Целуются крепко, звонко причмокивая.

Открывается наружная дверь. Входит Бейлка. В руках у нее сверток. Положив его на стол, она снимает шляпку, поправляет прическу, собирается сесть за машину.

Бейлка. Мотл Косой! Копл Фалбон! Что это вы уселись, как два жениха? Почему вы не разворачиваете сверток?

Подмастерья бросаются к свертку. Бейлка смеется.

Мотл Косой. Бейлка, мы хотели спросить вас об одном деле...

Копл Фалбон (*вздыхает*). Да, об одном деле.

Бейлка. Оба об одном? Или каждый о другом?

Мотл Косой. Дело как раз одно. Но оно касается каждого из нас обоих в отдельности.

Копл Фалбон. Действительно, каждого из нас обоих...

Бейлка (*закрывает уши руками*). Тра-та-та-та-та! Если вы будете тараторить одновременно...

Мотл Косой (*Коплу*). Позволь мне... Я буду говорить...

Копл Фалбон (*Мотлу*). Ладно! Говори ты, говори...

Мотл Косой. Ой, Бейлка!.. Если б вы знали... Мы уже давно собираемся...

Копл Фалбон (*вздыхает*). Еще с прошлого года...

Мотл Косой (*Коплу*). Не перебивай же! Одно из двух: или я, или ты...

Копл Фалбон (*Мотлу*). Ну, говори, говори! Кто тебе мешает?

Мотл Косой (*Бейлке*). Сначала мы хотели поговорить с вашим отцом...

Копл Фалбон. То есть с хозяином...

Мотл Косой (*сердито посмотрев на Копла*). А потом мы решили: нет, это не годится; прежде всего надо поговорить с вами...

Копл Фалбон. Ведь мы же не знаем, кто из нас двоих...

Мотл Косой (*Коплу*). Зачем ты срываешь у меня слова с языка?

Бейлка. Тише! Знаете что? Давайте бросать жребий, тянуть узелки. (*Вынимает носовой платок, завязывает узел.*) Тот, кто вытянет узелок, тот и будет говорить.

Мотл Косой. Ой, Бейлка, душенька, дай вам бог долго жить! Тянуть узелки?.. Мы только что так и порешили с ним...

Копл Фалбон. Но кое о чем другом...

Бейлка. О чем именно?

Копл Фалбон. О том, что мы... что вы...

Мотл Косой. Ну и наговорил! (*Передразнивает его.*) «Что мы... что вы...» Вот я...

Копл Фалбон. Ну говори ты, говори!

Мотл Косой. Мы вот на чем сошлись: так как мы все еще не знаем, кто, то есть кого, я хотел сказать, кого... Значит, мы бросим жребий: кто вытянет узелок, тому, то есть того... Тьфу, когда он не дает говорить!

Бейлка. Ха-ха-ха!

В наружную дверь вкатывается Э т и - М е н и, возвращающаяся с базара; в руках у нее — большая корзинка овощей. Подмастерья быстро берутся за работу. Бейлка подбегает к машине.

Эти-Мени. Отец еще не приходил? (*Опорожняет корзинку.*) Господи, до чего же чеснок вздорожал! Слава богу, хоть лук дешев. А поговори с моим мужем, он ничего знать не хочет. Ему подавай чеснок! А вот и он — наш кормилец!.. Легок на помине! Как говорится, если бы помянули мессию, явился бы мессия...

Входит Шимеле Сорокер. На нем — удивительно большой картуз и старый желтый репсовый длиннополый сюртук. Войдя, Шимеле сбрасывает сюртук и остается в безрукавке-телогрейке с большими карманами, заменяющей ему жилет. Правый лацкан безрукавки утыкан иголками. Из-под безрукавки выглядывает кисть его талескотна. В бороде торчит белая нитка. На шее висит длинная бумажная мерка — сантиметр. Шимеле надевает очки, ермолку, которая едва заметна на его густых волосах, берет ножницы и чертит мелком по черной ткани, лежащей на столе.

Шимеле Сорокер (*кроит и, напевая, мычит себе под нос*). Эх, наш брат — простой народ, утюг да ножницы! (*Жене.*) Что это ты тут говорила о мессии?

Эти-Мени (*принесла из кухни два горшочка, садится в сторонке, чистит картофель*). Я говорю: помянули бы мессию... Заговорили о чесноке, — и ты тут как тут!

Шимеле Сорокер (*чертит мелом*). В огороде бузина, а в Киеве дядька! Может, поэтому утки ходят без обутки, а гуси — без штанов.

Бейлка и подмастерья смеются.

Эти-Мени (*обиженно*). Он стрекочет, а они гогочут. Скажи, пожалуйста, чего тут гоготать?

Шимеле Сорокер. Что из того, что ты заговорила о чесноке?

Эти-Мени. Я сказала, что на базаре чеснок уже прямо на вес золота, а ты, как на грех, любишь чеснок...

Шимеле Сорокер. Поэтому должен явиться мессия? (*Стучит по столу.*) Где мои ножницы? (*Находит ножницы.*) Вот мои ножницы! (*Режет ткань по начерченным мелком линиям, часто снимает с шеи бумажную мерку и сверяет. Работая, Шимеле затягивает песню.*)

Бейлка и подмастерья ему подпевают.

Эти-Мени (*вздыхая*). Вот-вот свалится на нас этот вымогатель, этот миленький приказчик нашего милень-

кого домовладельца, пусть бы холера свалилась ему на голову, на руки и на ноги, а также и на хозяйского сыночка!..

Подмастерья смеются.

Шимеле Сорокер. Что ты все против хозяина? Чем он виноват, что у него квартира и мы ее снимаем?.. *(Подмастерьям, продолжающим смеяться.)* Может быть, вы возьметесь за утюги? Сейчас должен прийти сын хозяина примерять свой костюм.

Подмастерья быстро берутся за утюги.

Я ему обещал примерку на сегодня, а слово надо держать. Шимеле Сорокер — не из тех мастеровых, которые, утюг и ножницы, наш брат...

Открывается дверь, и входит Соломон Файн, гладкий, выхоленный, щегольски одетый с головы до ног. Шимеле Сорокер встречает его с улыбкой.

Легки на помине!.. Только что говорили о вас.

Соломон. Неужели? *(Поглядывая на Бейлку.)* По крайней мере, добрым словом помянули?

Эти-Мени. А как же? Неужели вас будут помнить лихом? С какой стати?

Соломон *(жене портного)*. Очень рад. *(Портному.)* А что слышно, дорогой сосед, насчет моего летнего костюма?

Шимеле Сорокер. Ваш летний костюм? Дай бог, чтобы я так был обеспечен деньгами для уплаты вашему папаше за квартиру, как вы обеспечены летним костюмом.

Эти-Мени *(мужу)*. Не потолковать ли тебе с ним, чтобы он потолковал с отцом, чтобы отец потолковал с миленьким приказчиком, чтобы приказчик соизволил не докучать нам насчет платы за квартиру?..

Шимеле Сорокер *(снимает с крючка летний, еще не законченный костюм. Жене)*. Перестань! Он ведь кумекает... *(Примеряет Соломону белый пиджак.)* Дай мне бог такую хорошую жизнь, как хорошо на вас сидит этот костюм! Как влитой! Я всегда стараюсь, чтобы получилось... Дай мне бог такую хорошую жизнь!

Эти-Мени. Аминь!

Шимеле Сорокер *(любуется пиджаком)*. Никогда в жизни не увидишь такой работы в самом большом

магазине готового платья. Куда им сработать такую вещь?! Утюг и ножницы, наш брат простой народ!..

Эти - Мени. Аминь!

Шимеле Сорокер (*жене*). «Благословен он и благословенно имя его! Аминь!» Ты где? В синагоге, прости господи? Все аминь да аминь!

Соломон. Когда же?

Шимеле Сорокер. Когда будет готово? Дай бог, чтобы у меня так скоро были готовы деньги, которые я должен уплатить вашему отцу за квартиру! А ваш управляющий докучает, жить не дает... Неплохо, если бы вы замолвили словечко вашему папаше, чтобы...

Соломон (*обрывает его*). Это не мое дело...

Шимеле Сорокер (*жене*). Он говорит, что не вмешивается в дела своего отца.

Соломон (*не сводя глаз с Бейлки, обращается к портному и его жене*). До свидания.

Шимеле Сорокер (*провожает его, кланяется*). До свидания, прощайте, передайте привет вашему папаше. Скажите ему, что он может быть совершенно спокоен, — с божьей помощью, я ему, вероятно, скоро уплачу...

Эти - Мени (*кричит вслед Соломону*). И еще с большой благодарностью!

Соломон (*опустив голову, уже в дверях*). Это меня не касается. (*Уходит.*)

Короткое неприятное молчание. Все вернулись к своим занятиям.

Эти - Мени (*чистя картофель*). Черт бы его не взял, если бы он замолвил папаше доброе словечко за нас!

Мотл Косой (*разглаживая ткань утюгом*). Яблочко от яблони недалеко падает.

Копл Фалбон (*плюет на палец и на утюг*). Буржуйчик всегда останется буржуйчиком.

Шимеле Сорокер (*отложил в сторону ножницы. К подмастерьям*). «Буржуйчик!» Хотел бы я видеть, что бы вы, голодранцы, сказали, если бы вы сами были сыновья реб Ошера Файна. Вы были бы лучше? Что уж тут болтать впустую: «Буржуй!» Наш брат!.. (*Жене.*) А ты тоже стала заниматься критикой, Пети-Мети? (*Заглядывает в ее горшки.*) Кажется, ты занята тонкой работой, — чистишь картофель. Вот и чисть! Разве ты знаешь другое блюдо, кроме картошки? (*Напеваает.*) «В воскресенье картошка! В понедельник картошка! Во вторник картошка!..»

Эти-Мени. Видали? Картошка ниже его достоинства! Тогда, может быть, прикажешь жареных голубков с марципанами? *(Перестает чистить картофель. Режет картофелины на мелкие кусочки, перекладывает их из одного горшка в другой.)*

Шимеле Сорокер. А ты что думаешь? Если бог захочет, у нас еще сегодня будут жареные голубки с марципанами... Сегодня же второе мая... Сегодня как будто уже должно стать известно... *(Смотрит на стенные часы.)* Эх, еще нет десяти часов, не то я послал бы в банк спросить, сколько выиграл мой билет...

Эти-Мени. Ха-ха! Сколько он выиграл! Ты бы сперва узнал, выиграл ли он вообще, а потом уже: сколько?

Шимеле Сорокер *(уставясь на жену)*. Вот как! Умница моя! О том, что мой билет выиграл, мне и спрашивать нечего...

Эти-Мени. Как ты об этом узнал? Тебе кто-нибудь написал?

Шимеле Сорокер *(насмешливо, с видом человека, знающего какую-то тайну)*. Если бы вы знали, какой сон я видел сегодня ночью, вы бы перестали острить... Но о чем мне с вами разговаривать? *(Расстегивает безрукавку, из внутреннего кармана вынимает большой носовой платок, в который завернута стершаяся по краям и засаленная желтая бумага.)* Вот вы услышите, что может присниться Шимеле.

Все отложили работу и приготовились слушать сон Шимеле.

Не люблю я пустых снов. Если уж Шимеле видит что-нибудь во сне, то стоит послушать! Утюг и ножницы, наш брат простой народ! *(Снимает очки.)* Значит, снится мне, что я стою за моим столом, вот, к примеру, как сейчас. Тут же мой утюг и мои ножницы, и я крою костюм из сукна «Принц Альберт», четыре рубля восемьдесят копеек аршин. Стою я вот так, задумавшись, с ножницами в руках, поднимаю глаза и смотрю просто так, — и что я вижу? Посреди комнаты — дерево.

Бейлка. Посреди комнаты — дерево?!

Шимеле Сорокер. И на дереве растут червонцы...

Бейлка. На деревне — червонцы?!

Шимеле Сорокер *(Бейлке)*. Золотые червонцы. И я говорю маме: «Эти-Мени, говорю, ты видишь червонцы?» — «Вижу», — она говорит... «Что же ты молчишь?» — «А что я должна делать?» — «Как что? — я

говоря. — Полезай, будь любезна, на дерево и встряхни его, а я буду собирать». — «Но почему я? Полезай сам!» — «А чего ты боишься? Отвалится от тебя что-нибудь?» А она говорит: «Пусть у моих врагов отваливаются целые куски!»

Эти - Мени. Неправда! Я этого не говорила!

Шимеле Сорокер (*жене*). Ну и ослиная же голова у тебя! Ведь это было во сне... (*Дочке*.) Вот тебе квитанция... Когда закончишь работу на машине, будь любезна, пойди в банк — ты знаешь куда?

Бейлка (*за работой*). В «Частно-коммерческий»?

Шимеле Сорокер. В «Частно-коммерческий»... Ты им покажешь квитанцию и помни: покажешь, но в руки не отдашь... и спросишь: сколько я выиграл?

Эти - Мени (*продолжая работать*). Опять — сколько? Комедия с ним!

Шимеле Сорокер (*возмущен*). Видали, кто разбирается в комедиях?! Мне снится сон, а она мне байки рассказывает, — комедия!.. Она думает, я встал утром и ни с того ни с сего сам себя уговорил, что у меня на носу вырос арбуз... А я хоть и портной, но на крупный выигрыш у меня ума хватит не хуже, чем у любого богача! Это надо уметь, — двадцать с лишним лет хранить выигрышный билет, нуждаться в копейке, хоть ложись и помирай, а билета не продать, — дудки! Так умеет только Шимеле Сорокер, наш брат простой народ, утюг и ножницы!.. (*Принимается гладить и, напевая какую-то мелодию, мычит под нос.*)

Молодежь подхватывает эту мелодию.

(*После паузы. Дочке.*) Кончила? Тогда иди, дочка. (*Осторожно передает ей квитанцию.*) И помни, не приведи господь потерять квитанцию! Это деньги! И большие деньги!..

Бейлка уходит.

Эти - Мени. Шимен! Сколько это денег?

Шимеле Сорокер. Что — это?

Эти - Мени. Ну, этот самый большой выигрыш, о котором ты говоришь.

Шимеле Сорокер (*уставясь на нее*). Разве ты поймешь, если я тебе скажу? Это — два раза по сто тысяч.

Эти - Мени (*испуганно*). Два раза по тысяче сто?!

Шимеле Сорокер. Да не два раза по тысяче сто, а два раза по сто тысяч. Ох эти женщины! Ох эти жен-

щины! Вот кого надо было бы описывать в книгах! Комедия мне с ней!

Эти - Мени. Вот как? Со мной уже комедия?  
Шимеле Сорокер. А то с кем же? Со мной?

Входит приказчик Колтун, смуглый, сутуловатый молодой человек. Он одет с головы до ног во все новое, но все сидит на нем мешком. Говорит всегда улыбаясь, часто хватаясь за свои непомерно длинные рукава и подтягивая их вверх. Говорит быстро, глотает слова, не прожевывая их, и немного сюсюкает. Его лысына прикрыта несколькими оставшимися длинными черными жирными волосами. Лицо всегда потное.

(Обращается к вошедшему.) О! Легки на помине! Только что говорили о вас.

Колтун. Добрым словом помянули, хе-хе? (Оглядывается кругом.)

Эти - Мени. А как же? Неужели мы будем вас поминать лихом?

Шимеле Сорокер (указывая на стул). Садитесь, пан Колтун.

Колтун. Спасибо. Я не сидеть пришел, хе-хе... Я пришел по делу... (Оглядывается, ищет кого-то.) Наверное, вы уже сами знаете, зачем я пришел...

Эти - Мени (следит за Колтуном, который все ищет кого-то). Лучше бы мы не знали... Кого вы ищете, хотела бы я знать? Вчерашний день?

Колтун (делает вид, что не расслышал). Сегодня уже — второе мая, хе-хе.

Шимеле Сорокер (вдел нитку в иголку и лизнул палец). Знаю, что сегодня второе мая. У меня хорошая примета. Ведь вчера был тираж. (Смотрит на часы.)

Колтун. Какой тираж? (Закуривает толстую сигару.)

Шимеле Сорокер (закашлялся от сигарного дыма). Сколько вы платите за ваши головешки, пан Колтун?

Колтун. Во-первых, не называйте меня «пан Колтун», хе-хе. Называйте меня моим настоящим именем: «Ефим Пантелеймонович». Теперь меня все так называют.

Шимеле Сорокер. Не обижайтесь, Ефим Панталонович...

Колтун. Не Панталонович, а Пан-те-лей-мо-но-вич!

Шимеле Сорокер. Пусть будет Пантелемович... Вы верите в сны? Нет?



Колтун. Почему нет? Вот мне недавно снилось, что мне удаляют коренной зуб. И что вы думаете? Оказалось, что у меня умерла сестра еще до того, как это мне приснилось. Но к чему я все это рассказываю? *(Оглядывается.)* А где ваша дочь? Почему ее не видеть?

Подмастерья переглядываются.

Шимеле Сорокер. Моя Бейлка? Она скоро придет. *(Вздыхает.)* Эх, если бог захочет, я еще сегодня стану богачом и набью деньгами вот такой короб! *(Показывает руками.)* Наш брат!..

Колтун. Это было бы очень умно и, хе-хе, очень-очень хорошо!

Шимеле Сорокер *(всматривается в него)*. Почему это было бы так уж очень-то хорошо?

Колтун. Потому что тогда вам не приходилось бы, хе-хе, откладывать уплату за квартиру с одной недели на другую, с одного месяца на другой... Но откуда, скажите, пожалуйста, к вам привалит такое богатство? У вас — что? Богатый дядя умер в Америке?

Шимеле Сорокер *(оставляет работу)*. Нет! Мой дядя в Америке еще жив и пусть себе живет до ста двадцати лет! *(Смотрит на стенные часы.)* Еще полчаса, и мы будем знать... Понимаете ли, у меня есть выигрышный билет.

Колтун *(поражен)*. Вы имеете выигрышные билеты, а когда надо платить за квартиру...

Эти-Мени. «Билеты»?! Подумаешь! Один-единственный билет, и тот лежит в банке — заложен-перезаложено, еще со времен Мафусала... \* Врагам бы моим иметь столько денег, сколько уже осталось в этом билете!

Шимеле Сорокер. И все-таки такой билет может выиграть самый главный выигрыш... Никто не знает, чем его встретит завтрашний день.

Колтун *(встал)*. Если вы думаете этим заплатить мне за квартиру, ошибаетесь, мой милый портной. Выигрышные билеты не выигрывают. Чепуха! Это банки и банкирские конторы выдумали. Видите этот потолок? Скорее он на вас упадет, чем...

Эти-Мени. Как говорится, собака лает, ветер носит! Пусть гром поразит моих врагов! Видали вы такое?!

Колтун. Баба! Я же это говорил только иносказательно. Ведь мои хозяева имеют, я думаю, немного больше выигрышных билетов, чем вы, но еще ни один не выиграл. Забудьте про эти билеты и постарайтесь заплатить за квартиру, потому что я вам должен сказать, хотя мне это очень неприятно, что... (*смотрит на часы*) через полчаса я приду к вам с судебным приставам и выброшу вас отсюда...

Эти слова производят впечатление грома. Все повскакали с места, но тотчас замерли. Никто не в состоянии произнести ни слова, кроме одной Эти-Мени.

Эти-Мени (*подходит к Колтуну*). Выбросить?! С приставам?! Как это — выбросить?! Да еще с приставам? Думаете, вам все сойдет? Шимен, ты молчишь?! Я сама найду дорогу к хозяевам — к Файнерам. Я их спрошу: справедливо ли выбрасывать людей, которые несколько лет живут в доме? Я их...

Колтун (*положив руки в карманы*). Прошу прощения, моя милая, к Файнерам, как вы их называете, все это не имеет никакого отношения. Все полностью поручено мне. Это я подал на вас в суд, это я приведу к вам судебного пристава, и это я выброшу вас из квартиры, если вы не уплатите мне хотя бы за три месяца.

Шимеле Сорокер? Вот как? Это все вы? Если так, то провалитесь вы сквозь землю! Утюг и ножницы, наш брат простой народ!.. (*Хватает Колтуна за шиворот и выбрасывает на улицу.*)

За дверью — сильный удар. Шум, голоса. Через полминуты вбегает Шмул-Иося, могучего сложения мужчина, на нем передник мясника. Следом за ним появляются владелец бакалейной лавочки Мойше-Велвл и хозяйка мучной лавочки Перл, вся с головы до ног запорошенная мукой.

Шмул-Иося. Кто это вышвырнул отсюда этого шута? Он всех нас чуть не сбил с ног... К счастью, я его хорошенько толкнул. Теперь он уж недосчитывает нескольких зубов.

Шимеле Сорокер. Это я его выставил! Садитесь, реб Шмул-Иося... Садитесь, реб Мойше-Велвл. Что слышно на свете?

Шмул-Иося. Большое спасибо, но сидеть нам некогда. Мы пришли за деньгами. Вы не забудьте, мой милый, я вам всегда отпускал мясо, а не кости...

Мойше-Велвл. А я отпускал вам бакалею...

Эти - Мени. Присаживайтесь, Перл, почему вы не сядете?

Перл. Спасибо, я уже насиделась сегодня! (*Садится и мелет, как мельница.*) Вы думаете, я бы пришла к вам? Разве я имею время оставить лавчонку и муку и ходить за старыми долгами и за всякими пустяками? Мне не на кого оставить лавчонку, даже если черт беду принесет, потому что сын мой все время корпит над книжками: днем и ночью книжки и книжки, а дочь сидит дома... Я говорю — дома! Но разве это дом? Какой же это дом? С позволения сказать, развалины, а не дом! Да! Так вот я вижу: идет Мойше-Велвл, бакалейщик Мойше-Велвл. «Доброе утро, добрый день! Куда вас несет?» Он мне отвечает: «К портному, к Шимеле Сорокеру за деньгами». — «У Шимеле завелись деньги?» — я спрашиваю. А он говорит: «Да»...

Эти - Мени (*бакалейщику*). Что это значит?

Мойше - Велвл (*хочет начать рассказывать*). Тут такое дело: Соловейчик мне сказал...

Перл (*не дает ему говорить, мелет*). Раз так, я подумала, раз у Шимеле есть деньги, надо пойти, потому что мне с него причитается не за меха и не за брильянты... Мне причитается за муку, а мука — это самое необходимое из всего самого необходимого! Вот тут лежит хлеб... (*Заметив на полке половину буханки, она встает, берет в руки и все мелет и мелет.*) Из моей муки испечен этот хлеб!.. Мука — это мое добро, моя кровь, моя жизнь! Что я еще имею, кроме горстки муки? И если каждый и всякий будет приходить ко мне и брать муку в долг, что же мне останется? Где я возьму деньги, чтобы уплатить на мельнице? Где? Кто будет содержать моих детей? Кто?..

Эти - Мени. Погодите! Дайте еще кому-нибудь сказать хоть одно слово! (*Мойше-Велвлу.*) Что вы сказали про Соловейчика?

Мойше - Велвл. Соловейчик мне сказал, что он имеет для вас деньги.

Шимеле Сорокер (*жене*). Что это еще за напасть?.. Наш брат!..

Эти - Мени. Мои несчастья на его голову!

Перл. Значит, все-таки я не сумасшедшая!

Входит Соловейчик. Он в шляпе, хоть и изрядно поношенной. На нем коротенькое пальтишко, тоже не особенно новое, широкие, но короткие брюки и стоптанные ботинки.

Шимеле Сорокер. Честь и место! Вы легки на помине! Только что, ну, вот действительно сию секунду про вас говорили!

Соловейчик. Неужели?!

Эти-Мени. Скажите-ка, пане Соловейчик, к чему мне ваше «неужели»? Что это вы распустили по городу слух, будто у вас есть деньги для нас?

Соловейчик. Вот столько денег! *(Показывает руками.)* Вы даже не можете себе представить... Это — нечто особенное!

Шимеле Сорокер. Вероятно, он нашел жениха для нашей дочери. Я знаю Соловейчика как облупленного!..

Подмастерья переглядываются, берутся за утюги и тяжело вздыхают.

Соловейчик. Что за вопрос? И не какой-нибудь жених, а нечто замечательное! Клянусь вам жизнью! Я вам говорю сущую правду! Я вам расскажу, кто он, и, если вам не очень жарко, вы поразмыслите и, конечно, ухватитесь за него обеими руками! Но вот что никуда не годится: здесь чересчур много народу. *(К посетителям.)* Извините, господа!

Мясник и бакалейщик отходят в сторону. Перл продолжает сидеть на своем месте. Соловейчик подходит к ней.

Извините, мадам!

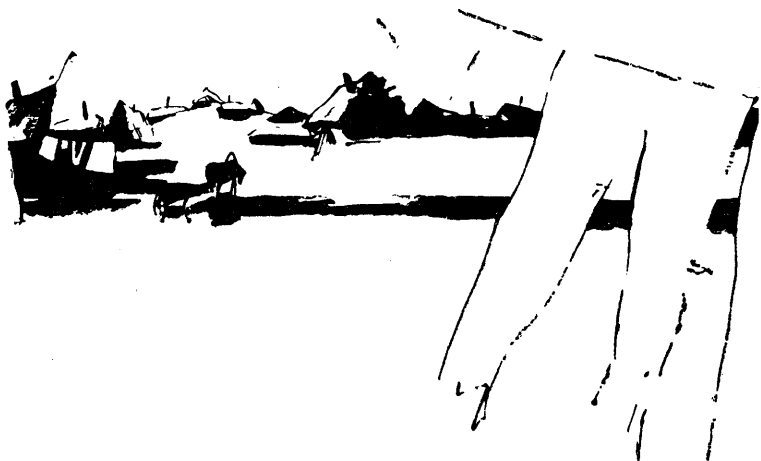
Перл. Что мне «извините»? Что мне «мадам»? Вы говорите, что принесли портному деньги. Где они, эти деньги? Мне тут должны за муку, а не за брильянты! Этот хлеб, который вы здесь видите, испечен из моей муки. Мука — это мое добро, моя кровь, моя жизнь!..

Соловейчик *(отталкивает Перл, которая не умолкает)*. Напасть какая-то, а не лавочница! Возмутительно! *(Хозяину.)* Жених, которого я предлагаю вашей дочери, человек самостоятельный... Должность у него замечательная! Он полновластный управляющий домом. Одним словом, вы его очень хорошо знаете. Управляющий этим самым домом — Колтун!

У подмастерьев утюги падают из рук. Общее смятение.

Шимеле Сорокер *(даже подскочил)*. Этот Ефим Панталонович? Этот паршивец, которого я только что вышвырнул за дверь? Утюг и ножницы, наш брат простой народ!!

Входит Бейлка.



Бейлка (*раскрасневшись, еле говорит*). Отец! Хорошая весть!

Шимеле Сорокер (*кинулся к дочке*). А? Что? Сколько?

Бейлка. Большой выигрыш! Самый крупный выигрыш!

Шимеле Сорокер (*все еще растерянный*). Эти-Мени! Ты слышишь?

Эти-Мени (*всплеснув руками*). Боже!

Перл. Что там еще? Новое несчастье? Ой, горе мне, горе!

Шимеле Сорокер (*вне себя от радости*). Люди! Поздравьте меня: мой билет выиграл! Выиграл!! Большой выигрыш!!! Самый крупный выигрыш!!! (*Бегает по комнате.*)

Перл. Пустите меня! Пустите! Где?

Соловейчик (*отталкивая Перл*). Извините, мадам... (*Хочет что-то сказать.*)

Все остальные, ошеломленные, переглядываются молча. Мотл Косой и Копл Фалбон забились в уголок, стоят глубоко опечаленные, онемевшие.

Бейлка (*все еще в шляпе, радостно возбужденная*). Весь город уже знает об этом... Директор банка, бухгалтер, Файны... Сейчас они все придут сюда...



Эти-Мени (*всплеснув руками*). Все сюда?! Ой, горе мне!.. (*В большом смятении садится на стул, вытирает передником пот с лица.*)

Открывается дверь. Входит бухгалтер банка Гимелфарб. Следом за ним входит директор банка Голдентолер.

Гимелфарб. Где здесь портной?

Шимеле Сорокер (*гордо выступив вперед*). Портной — это я.

Гимелфарб (*оглядывает ошеломленных людей, находящихся в комнате. Портному*). Вы уже знаете? Наш билет, который заложен в нашем банке, пал большой выигрыш. Наш банк — «Частно-коммерческий», — самый счастливый банк в мире. Уже в четвертый раз в нашем банке люди выигрывают. Каждый, кто покупает билеты у нас, имеет шанс выиграть. Если вы мне не верите, — вот стоит директор нашего банка, сам господин Голдентолер...

Голдентолер (*оглядывая всех, говорит Шимеле*). Это вы — тот... тот... Сорокер? Вы уже знаете? (*Пожимает ему руку.*) Мазлтов! Поздравляю вас!

Перл (*банкиру, затем всем остальным*). Скажите, я умоляю вас: что тут случилось? Почему поздравления? У кого-то родился ребенок? Кто-то обвенчался? Помолвка? Или что?

Соловейчик (*отталкивает Перл*). Извините, мадам! (*Пожимает руку портному.*) Поздравляю! (*Обнимает его и целует.*)

Колтун (*вбегают ни жив ни мертв*). А? Что? Так это — правда? А что я сказал? Ну, надо было вам так волноваться?! Вы можете тут жить и жить... Вот и сам хозяин тоже здесь...

Входит Ошер Файн. Колтун почтительно отступает, не осмеливаясь больше говорить.

Ошер Файн (*подаст руку только директору, что-то говорит ему и издали обращается к портному*). Мазлтов! Поздравляю вас, господин Сорокер! Я очень доволен, очень доволен, что в моем доме вам привалило такое счастье...

Входит Соломон.

(*Обращается к сыну.*) Ты слышишь? Оказывается, это правда!..

Соломон. Сколько? Двести тысяч? (*Глаза у него заблестели. Издали обращается к портному, ища глазами дочь портного.*) Поздравляю! Поздравляю! (*Бейлке, галантно расшаркиваясь.*) Особенно я счастлив за вас. Очень рад, очень счастлив, мадемуазель Сорокин...

Бейлка (*все еще раскрасневшаяся. С улыбкой*). Во-первых, не Сорокин, а Сорокер. А во-вторых, почему вы в таком восторге?

Соломон. Потому что, понимаете ли... (*Хочет что-то сказать, но, оглянувшись, замечает, что подмастерья устали на него.*)

Подмастерья уходят в сторону и тихо говорят между собою.

Мотл Косой. Ну, Копл, что ты теперь скажешь?

Копл Фалбон. А что я могу сказать? Суждено было человеку сразу стать бур... бур... буржуем, миллионщиком!

Мотл Косой. За них я рад всей душой. Но что теперь будет с нами?

Копл Фалбон. А как бы ты хотел, чтобы с нами было?

Мотл Косой (*недолго смотрит на него в упор*). Ты же просто осел!

Ошер Файн (*портному*). Может быть, вам нужны деньги? (*Берется за карман.*)

Гимелфарб (*подскочил*). Деньги? Нет!.. Позвольте! Деньги — у нас в банке. (*Портному.*) Мы открыли вам счет, контокоррент — текущий счет!.. (*Смотрит на директора.*)

Остальные говорят все вместе.

Шмул-Иося. Так сколько же прислать вам мяса?

Мойше-Велвл. Недаром говорят: если бог даст крупицу — люди добавят сторицей!

Перл (*услышав, что говорят о деньгах, пробилась к Ошеру Файну, затем — к директору*). Вот как?! Уже деньги платят? Я должна получить раньше всех. Я вдова, и мне следует за муку, а мука — это самое необходимое из самого необходимого. (*Считает по пальцам.*) Рубль двадцать за пшеничную муку и шестьдесят пять копеек за ржаную муку, — раз, и еще раз шестьдесят пять, и опять шестьдесят пять...

Соловейчик (*оттаскивает ее в сторону*). Извините, мадам! (*Заметил Соломона рядом с Бейлкой. Портному.*) Послушайте, у меня есть для вас идея, совсем новенькая идея! Это нечто особенное, клянусь вам жизнью.

Шимеле Сорокер (*как обезумевший сует между всеми и кричит, покрывая все голоса*). Вы только подождите немного! Я вам... я вам всем покажу, кто такой Шимеле Сорокер, на что Шимеле Сорокер способен и что такое наш брат — уют и ножницы, простой народ! (*Жене.*) Ну, Эти-Мени, как тебе нравится мой сон?..

Эти-Мени. А как же? Разве ты какой-нибудь мальчишка?

Шимеле Сорокер (*снимает очки*). Милые вы мои!.. (*Обняв Бейлку, целует ее. Зарыдал.*)

*Медленно падает занавес.*

*Конец первого действия.*



## ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Большая комната. Как будто кабинет, но скорее похоже на мебельный магазин. Здесь можно увидеть любую мебель всех существующих на белом свете сортов. Все новое, и все блестит. Все, что носит хозяин дома, Шимеле Сорокер, ново и элегантно: шелковый халат, только что принесенный из мастерской, и пестрый бархатный жилет с золотыми пуговицами. Все новое, все отглажено. Сорочка снята беллизной. Бородка коротко подстрижена. Он — в золотых очках, без головного убора. С трудом можно в нем узнать прежнего портного. Его жена Эти-Мени вся в шелку и бархате, отделанном самыми лучшими кружевами. На шее — нитка жемчуга. В ушах — серьги с крупными бриллиантами. На восьми пальцах сверкают кольца. У него в руках книга. Раскачиваясь, он читает ее, видимо, с большим интересом. Она сидит, занятая только тем, что любит свои драгоценными украшениями.

Эти-Мени (*мужу, нараспев*). Шимен! Шимен?

Он не откликается.

(*Она повторяет с той же интонацией, но чуть громче.*) Шимен! Шимен?

Шимеле Сорокер (*оторвавшись от книги, переразнивает*). «Шимен! Шимен!» Семен Макарович, а не Шимен!

Эти-Мени. Семен Макарович! Который теперь час на твоих золотых часах?

Шимеле Сорокер (*вынимает из кармана золотые часы*). Без четверти одиннадцать! А что?..

Эти-Мени. Ничего... просто так... Три недели тому назад в этот самый час мы еще не знали, что на наш билет выпал самый большой выигрыш. (*Хрустит пальцами, любит своими драгоценными кольцами.*)

Пауза.

Шимен! Шимен?

Шимеле Сорокер (*поворачивает к ней голову*).  
Опять «Шимен»? Кошачьи твои мозги! Сколько раз в день должен я вдавливать тебе в голову: Семен Макарович! Семен Макарович! Семен Макарович!

Эти-Мени. Не обижайся, пожалуйста! Семен Макарович, что ты там делаешь?

Шимеле Сорокер. Ты же видишь, что я делаю: я читаю. (*Не может оторваться от книги.*)

Эти-Мени. Я вижу, что ты читаешь... Я хочу знать: что ты читаешь?

Шимеле Сорокер. А если я тебе скажу, ты разве поймешь?.. Я читаю одну историю.

Эти-Мени. Какую историю ты читаешь?

Шимеле Сорокер. Ну, не историю, а, так сказать, описание, ну, ну... критику я читаю... Да отвязься ты! (*Раскачивается и продолжает читать.*)

Эти-Мени. Ты что, встал с левой ноги?

Пауза.

Ты, вероятно, потому так сердисься, что читаешь и сам не знаешь, что читаешь...

Шимеле Сорокер (*все еще раскачиваясь*). А вот представь себе — знаю! Я читаю критику, ну — сочинение одного насмешника, который издевается над всем миром. И его зовут Шолом-Алейхем.

Эти-Мени. Алейхем шолом! Если нечего делать, можно и такой работой заняться... А чем ему не угодил весь мир?

Шимеле Сорокер. Не то что весь мир. Понимаешь, он описывает, как один бедный портной, бедняк из бедняков, вдруг высоко взлетел, стал богачом...

Эти-Мени. А какое ему дело?! Ну, и что дальше?

Шимеле Сорокер. И больше ничего. Насмехается он и над портным, и над его женой... Ну и пройдоха! Настоящий наш брат простой народ!..

Эти-Мени. Все мои горести на его голову!.. Чем ему не угодила жена портного?

Шимеле Сорокер. Он разделявает под орех и мужа и жену, но жену он просто в порошок растирает, черт бы его побрал!..

Эти-Мени. Все болячки на его голову! Тьфу! Я бы в руки не взяла такой дряни!.. Что это вообще ты себе нашел за работу? Человек ни с того ни с сего читает книжку и смеется!..

Шимеле Сорокер. А что мне делать? Я чуть с ума не схожу от безделья!.. Если бы я имел хоть какую-нибудь работенку!.. Я же привык работать, наш брат простой народ!..

Эти-Мени. Достаточно ты наработался. Пусть теперь твои враги работают вместо тебя!..

Пауза.

Шимен.. Тьфу, я же хотела сказать: Семен Макарович, куда мы пойдем сегодня вечером?

Шимеле Сорокер. Может быть, ты хочешь пойти в театр?

Эти-Мени. Да ну театр! *(Зевает.)* Скучно! Я ни одного слова не понимаю! Если бы хоть играли по-еврейски! Лучше в «иллюзион».

Шимеле Сорокер. В кинематограф, ты хочешь сказать? погоди, я закончу дело с этой кинокомпанией, тогда мы будем ходить в кинематограф каждый вечер и без копейки денег.

Эти-Мени *(вкрадчиво)*. Ты не обидишься? Нет? Я тебе кое-что скажу.

Шимеле Сорокер. Я обижусь? Я часто обижаюсь? Если что-нибудь толковое, почему не сказать?

Эти-Мени. Не нравится мне твоя компания с этими двумя жуликами, с которыми ты спутался...

Шимеле Сорокер. Почему ты называешь их жуликами, разве ты их знаешь?

Эти-Мени. Я их не знаю... Поэтому я и боюсь, чтобы они тебя не обманули...

Шимеле Сорокер. Обмануть? Меня? Дудки! Меня не проведешь! Я подписываю с ними хороший контракт. Они у меня будут здорово подвинчены. Двадцать два пункта! Наш брат простой народ! Утюг и ножицы!

Эти-Мени. Двадцать два пункта!.. А по двадцать третьему они у тебя деньги заберут как миленькие.

Шимеле Сорокер *(рассердился)*. Типун тебе на язык! Ослиная твоя голова! Ты подумай прежде, чем говорить! Разве ты понимаешь, что говоришь?

Эти-Мени. В том-то и беда, что с тобой и поговорить нельзя — чуть что, ты уже начинаешь петушиться.

Шимеле Сорокер *(стучит по столу)*. Не выводи меня из терпения! *(Встает, шагает по комнате взад и вперед.)* Ты забываешь, с кем ты разговариваешь! Тебе

все еще кажется, что ты разговариваешь с портным Шимеле... Ты забываешь, что я уже теперь не наш брат, не утюг и ножницы! Я теперь *Семен Макарович Сорокер*, один из самых крупных богачей в городе, если не самый крупный богач! (*Ходит по комнате и постепенно успокаивается.*) Поди послушай, что про меня говорят... А какие люди у меня бывают!.. А какие дела мне предлагают!

Эти - Мени. Для меня ты остался таким же, каким был.

Шимеле Сорокер. В том-то и несчастье!.. Не мешало бы тебе немножко больше меня уважать...

Эти - Мени. Вот сейчас я сниму перед тобой шапку...

Шимеле Сорокер (*махнув рукой*). Э, да что с тобой говорить!

Пауза.

Где Бейлка, то есть Изабеллочка?

Эти - Мени. Зачем тебе Бейлка, то есть Изабеллочка?

Шимеле Сорокер. Я хочу, чтобы она мне вслух прочитала почту.

Эти - Мени. Опять почта? Ты уже опять получил почту?

Шимеле Сорокер. И еще какую! (*Показывает на гору нераспечатанных писем на столе.*)

Эти - Мени. Подумаешь, какие нужные письма! Наверное, от еврея, которого выселили из деревни с женой и детьми; от вдовы, муж которой из-за нее же повесился, или от девицы, которой приспичило выйти замуж, но нет приданого...

Шимеле Сорокер. А что ты думаешь? Разве ее не жалко, эту девицу?

Эти - Мени. Получается, что ты должен обеспечить весь мир?

Шимеле Сорокер. Насколько я в состоянии.

Эти - Мени. Разве для этого тебе бог дал крупный выигрыш?

Шимеле Сорокер. А для чего же еще? Для того, чтобы мы ели каждый день бульон с кашей?

Эти - Мени. Надолго ли тебе хватит твоего выигрыша?

Шимеле Сорокер (*очень мягко*). Глупенькая, дело с кинокомпанией даст нам столько, что хватит на

все. Весь город мне завидует. Считают, что тут пахнет полумиллионом... Но что ты понимаешь в миллионах?

Эти-Мени. Хорошо тебе, что ты понимаешь. Ты ведь вырос на миллионах!

Шимеле Сорокер. Однако... Ты же видишь... *(Сел на свое прежнее место, покачивается, заглядывает в ту же книгу. После небольшой паузы говорит тихо.)* Эти-Мени! *(Через полминуты повторяет громче.)* Эти-Мени!

Эти-Мени. Какая я тебе Эти-Мени? Его должны звать Семен Макарович, а меня *(передразнивает)* «Эти-Мени! Эти-Мени!».

Шимеле Сорокер *(смущенно)*. Что правда, то правда... Не обижайся, пожалуйста, я забыл, что теперь уже тебя зовут Эрнестина Ефимовна.

Эти-Мени. Ты же про меня говоришь, что у меня кошачьи мозги.

Шимеле Сорокер. Ты права. Прости, пожалуйста!.. Знаешь, что я у тебя попрошу, Эрнестина Ефимовна?

Эти-Мени. Ну, что ты у меня попросишь, Семен Макарович?

Шимеле Сорокер *(жалобно)*. Немножко варенья...

Эти-Мени. Вдруг, ни с того ни с сего варенье?.. *(Громко кричит.)* Девка! Девка!

Открывается боковая дверь, и входит девка *(Иохевед)*.

Иохевед *(принимает надменную позу)*. Вы меня звали?

Эти-Мени. А то кого же? Раввина?

Иохевед. Разве у меня нет другого имени, кроме как «девка»?

Эти-Мени. А что тебе так обидно, если называют девкой? Разве так уж плохо быть девкой?.. *(Дает ей ключи.)* На, пойди возьми блюдце и принеси хозяину варенья из открытой банки, которая прикрыта блюдцем и обвязана платком.

Иохевед *(берет ключи)*. Сколько принести?

Эти-Мени. Ты же говоришь, что служила в богатых домах. Значит, сама должна знать, сколько варенья ест богач.

Иохевед. Богачи бывают разные. Бывает богач, который ест чуть-чуть — на кончике ножа, как птичка

какая-нибудь... А бывают, простите за выражение, богачи — свиньи, которым все мало, сколько бы они ни ели...

Эти - Мени. Чтоб тебя ели черви! Что за язык у этой девки!

Иохевед (*уходит с ключами в руках, останавливается. Хозяйке*). Меня зовут Иохевед.

Эти - Мени (*мужу*). Прислуга — и такая дерзость! (*Громко кричит.*) Мендл! Мендл!

Входит Мендл. Он во фраке, при белом галстуке на высоком воротнике. Вокруг его губ обильная, густая черная растительность. Голова слегка наклонена. Руки болтаются как плети.

Мендл (*облизывая губы*). Мы меня звали?

Эти - Мени. А то кого же? Раввиншу? Пойди-ка посмотри за этой девкой. Я ее послала за вареньем, как бы она там не набросилась на варенье, как кошка на сметану...

Мендл (*идет к двери, возвращается и говорит хозяйну*). Хозяин! Эти пустозвоны уже ждут там, в передней.

Шимеле Сорокер. Какие пустозвоны?

Мендл. Те двое... из театра...

Шимеле Сорокер (*отложив книгу*). А, Вигдорчук и Рубинчик? Мои компаньоны по кинокомпании? Почему они не идут сюда?

Мендл (*на его толстых губах показывается улыбка*). Потому что я их не пускаю.

Шимеле Сорокер (*удивленно*). Как это ты их не пускаешь?

Мендл (*очень серьезно*). У богачей так заведено. Если приходит человек бедно одетый, ему дают по шее и выбрасывают вон. Если он одет прилично, надо доложить хозяйну. И если хозяин прикажет впустить, тогда его пускают.

Шимеле Сорокер (*пораженный. Жене*). Эрнестина Ефимовна! Что ты на это скажешь? А? Наш брат!..

Эти - Мени (*мужу*). Чепуха! Ни с того ни с сего ты здесь завел разговор с каким-то слугой, а за это время девка сожрет там все варенье! (*Слуге.*) Иди и делай, что тебе приказывают!

Мендл (*направляется к двери, останавливается. Хозяину*). А им я что должен сказать?

Шимеле Сорокер. Кому?

Мендл. Этим пустозвонам.

Шимеле Сорокер. Ничего не говори. Пришли их сюда!

Мендл уходит. У порога встречается с Иохевед. Погружает палец в варенье и облизывает. Иохевед ударяет его по руке. Подав варенье хозяйну, она направляется к двери, но останавливается.

Иохевед (*хозяйке*). Больше ничего?

Эти-Мени. Чего бы ты еще хотела?

Иохевед (*после паузы*). Если я вам опять понадоблюсь, то знайте: меня зовут Иохевед! (*Уходит.*)

Эти-Мени (*мужу*). Это еще что такое? Наказание божие, а не девка!..

Открывается дверь. Мендл впускает Вигдорчука и Рубинчика и исчезает. Оба посетителя очень нарядно одеты. Лица бритые, как у актеров. У каждого в руках цилиндр. Руки в перчатках. Роскошные галстуки.

Шимеле Сорокер (*весьма учтиво принимает вошедших*). Милости просим! Вы принесли договор? Его уже переписали? (*Жене.*) Эрнестина Ефимовна! Прикажи принести еще варенья, а заодно уже и вишневой наливки.

Эти-Мени встает и неохотно уходит за вишневкой и закуской.

(*Обращаясь к молодым людям.*) Дайте договор, мы его просмотрим.

Вигдорчук вынимает из кармана бумагу.

Собственно говоря, его просмотрит моя дочь. Не про вас будь сказано, в грамоте я хромаю. Но бог наградил меня дочкой, хорошей дочкой! Вы ее знаете — она у меня и бухгалтер, — самый настоящий! — и приказчик, и писмоводитель, и все, что угодно... Читает, пишет, считает и все мигом. (*Подносит им серебряный портсигар.*) Пане Рубинчик! Пане Вигдорчук! А ну-ка попробуйте эти папиросы... Это уж всем папиросам папиросы! Вот это уж наш брат!

Молодые люди встают и берут по папиресе.

Да, на чем, значит, мы остановились?.. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, мой милый Вигдорчук и мой дорогой Рубинчик: как это вы оба, молодые люди, — простите, что я говорю так откровенно и запросто, — как

это вы добрались до такого золотого дела, как это приятно с фильмами?

Вигдорчук. О, это целая история...

Рубинчик. Но ее можно рассказать в трех словах. Мы, как вы видите...

Вигдорчук (*не дает ему говорить*). Дай мне. Я все расскажу в трех словах. Я и мой друг Рубинчик, — мы оба люди с выдумкой.

Рубинчик. С комбинациями.

Вигдорчук. И мы всегда имели отношение к театру. Я, например, сам был музыкантом, и знаменитым музыкантом, играл во всех театрах, а мой друг Рубинчик — тоже не кто-нибудь! Он был владельцем парикмахерского заведения и ходил в театр гримировать артистов. Я должен сказать ему в глаза — этому шельмецу: уж если он загримирует кого-нибудь, то это не грим, а живое лицо! Но вот случилась такая история. Наступили плохие времена, — такого времени ни нам, ни вам не довелось бы переживать! — и тогда я нанялся музыкантом в театр-кинематограф. Играю там вечер, играю два, играю три, начинаю присматриваться, — в чем его премудрость, этого кинематографа? Оказывается, никакой премудрости нет...

Рубинчик. Ерунда!..

Вигдорчук (*спохватился*). Хотя, конечно, премудрость есть. И не малая. Но для того, кто ее узнал, она уже не премудрость.

Рубинчик. А сущий пустяк!

Шимеле Сорокер. Я вас не понимаю, я простой наш брат! Одно из двух: либо рыба, либо мясо! Или сюда, или туда! А у вас выходит так: не то премудрость есть, и не малая, не то все это ерунда и никакой премудрости. Признаться, я уже совсем сбит с толку!..

Вигдорчук (*Рубинчику*). А все ты виноват. Ты все время меня перебиваешь! Я хочу объяснить им толком...

Рубинчик. Ладно, объясняй. Кто тебе мешает?

Шимеле Сорокер. Погодите! Вы должны иметь в виду, что мы очень приохотились к этому... «иллюзиону». Когда я еще был... ну... больше чтоб нам уж этого не знать, — я был простой наш брат, мы еженедельно ходили в «иллюзион», конечно, если были деньги на билеты. А теперь, после того как бог осчастливил меня крупным выигрышем, почти не бывает вечера, чтобы мы



туда не ходили. И я очень хотел бы узнать, тем более теперь, когда я вкладываю деньги в это дело, в чем, ну... ну... суть, премудрость этого самого дела. Здесь же непременно должен быть какой-то фокус, какой-то... вроде... *(Пощелкивает пальцами.)*

Вигдорчук. Тут, конечно, не без фокуса!

Рубинчик. Еще какой фокус!

Вигдорчук *(перебивает его)*. Да погоди ты! Вот я им объясню все это дело точно. Они же — человек с головой! *(Приближается к Шимеле.)* Дело простое. Вы заметили, что в кинематографе, против сцены, над дверью, находится фонарь с колесиком, которое крутится. Так вот на это колесико наматывают ленту из целлулоида, длинную ленту. *(Показывает жестами.)*

Рубинчик *(смотрит товарищу в рот и утвердительно кивает головою)*. То есть фильм.

Вигдорчук. А на этом фильме сфотографированы все картинки, которые вы видите на полотне... Ну, как? Раскусили?

Шимеле Сорокер. Простите! Одну минуточку!.. Я хочу, понимаете ли, чтобы моя жена тоже слышала все это и тоже узнала всю премудрость. *(Оборачивается к жене, которая входит из соседней комнаты.)*

За ней Мендл несет поднос. На подносе — графин вишневки, стаканчики. За Мендлом — Иохевед со вторым подносом. Поставив угощение на стол, Мендл и Иохевед уходят.

Эти-Мени. Вот вам — вишневка, вот — варенье. Отведайте, если вам угодно.

Шимеле Сорокер. Отведают, с божьей помощью, обязательно отведают. *(Жене.)* Ты хочешь узнать, в чем секрет «иллюзиона», почему крутится и почему мы видим на полотне все, что только ни происходит на белом свете?.. Присаживайся, — и ты кое-что услышишь. Ты же любишь «иллюзион», — ты бы там дневала и ночевала...

Эти-Мени. А ты, бедненький, не любишь!.. *(Садится на мягкую кушетку, на шелковую подушечку, на которой вышиты пестрые цветы, и складывает руки так, чтобы были видны все ее драгоценности.)* Ну, давайте послушаем.

Вигдорчук *(старается сидеть лицом к мадам, но говорит, обращаясь к Шимеле)*. Так на чем мы остановились?

Рубинчик. Мы остановились на фильме, на том, как колесико крутится возле фонаря...

Шимеле Сорокер (*жене*). Ты видела, наверху, над дверью, как раз напротив простыни стоит фонарь? Так вот там имеется колесико, и оно крутится. (*Показывает руками, как оно крутится. Внезапно хватает графин и наливает три стаканчика.*) Ну, пусть оно там крутится, а мы пока выпьем по стаканчику. Лехаим! Дай бог, чтобы раз и навсегда... Наш простой народ... (*Пьет.*)

Гости едва прикасаются губами к стаканчикам.

А теперь валяйте дальше!

Вигдорчук. Итак, я повторю вкратце. (*Изображает жестами.*) Здесь вы имеете полотно.

Рубинчик. Обыкновенное полотно.

Вигдорчук. На этом полотне ничего нет.

Рубинчик. Ну, ровным счетом — ничего.

Вигдорчук. И на обратной стороне полотна тоже ничего нет!..

Рубинчик. Тоже — ничего!

Шимеле Сорокер, изумленный, смотрит на жену.

Эти - Мени. Это вы бабушке своей рассказываете!.. Как это «ничего нет»? Разве мы не бываем в «иллюзионе»? Разве это стоит нам мало денег? Другой пожелал бы сам себе, чтобы... ну, не знаю, чего бы он себе пожелал. А вы говорите, что на той стороне полотна ничего нет! Мы же не маленькие дети, чтобы рассказывать нам бабушкины сказки!..

Вигдорчук (*растерянно улыбаясь*). Простите, мадам, но мы специалисты. Мы днем и ночью только и заняты этим делом. Мы свое здоровье отдали, жизнь отдаем именно этому делу.

Рубинчик. Это же наш хлеб!

Шимеле Сорокер (*Вигдорчуку*). Ну ладно, валяйте дальше!

Вигдорчук. Итак, на полотне ничего нет. Самое главное — это колесико, которое находится как раз против полотна, там, где фонарь... (*Обернулся, показывает рукою на дверь.*)

Все оборачиваются к двери.

Вон там, где крутится лента...

Рубинчик (*крутит руками*). То есть фильм...

Открывается дверь, несколько мужчин рвутся в комнату. Мендл преграждает путь обеими руками.

Мендл. Потерпите одну минуту, пока я доложу.

Пришедшие (*говорят все вместе*). Что «доложить»? Зачем «доложить»? Мы пришли за пожертвованием в пользу местной талмудторы!

Шимеле Сорокер (*лакею. Кричит громко*). Дурак ты, черт бы тебя побрал со всеми твоими потрохами! Что ты хочешь от этих людей? Впусти их!

Мендл отступает, но жестом предлагает пришедшим снять головные уборы. Они колеблются. Некоторые сняли, остальные еще не решились. Медленно входят.

Эти-Мени (*пришедшим*). Что скажете?

Шимеле Сорокер. Садитесь. Можете оставаться в шапках.

Пришедшие, подбодренные словами Шимеле, усаживаются. Один из них, первый попечитель, обращается к портному.

Первый попечитель. Мы пришли к вам, реб Шимен. Мы слышали про вас, что с тех пор, как бог вам помог, вы даете одно пожертвование за другим. А мы — попечители местной талмудторы, и нам нужно ваше пожертвование...

Эти-Мени (*протягивая руку к карману. Пришедшим*). К чему такое длинное предисловие? Скажите, что вы хотите пожертвование, и вам дадут... Сдача у вас найдется?

Пришедшие (*обрадовались, говорят все вместе*). Со скольких?

Эти-Мени (*вынимает серебряную монету*). С двугривенного.

Пришедшие поражены. Онемев, они смотрят друг на друга.

Шимеле Сорокер (*меняется в лице, встает, хочет выместить свою злобу на жене, но сдерживается. К пришедшим, смеясь*). Моя жена не расслышала, ха-ха, что вы — попечители местной талмудторы. Она, видимо, подумала, что речь идет о пожертвовании для какого-то бедняка. Ничего, я вам сейчас дам. (*Вынимает из жилетного кармана ключик, подходит к несгораемой кассе, недолго роется в ней, достает четыре четвертных билета и подносит их пришедшим.*) Получайте! Вот вам по-

жертвование и запишите в книге мое имя, мое настоящее еврейское имя: Шимен, сын Меера, Сорокер жертвует для местной талмудторы сотню.

Пришедшие встают, изумленные, горячо благодарят его. Один из них решил сказать хоть несколько слов.

Первый попечитель. Реб Шимен! Мы благодарим бога за то, что он дал нам дожить до этого дня. Впервые с тех пор, как существует местная талмудтора, мы получаем такое пожертвование! Сто рублей! Дай вам бог сто лет счастья, удач и всякого добра. Аминь!

Пришедшие (*все вместе*). Да благословит вас бог и да пошлет он вам счастья! Амины! (*Тепло прощаются и уходят.*)

Эти-Мени пылает от гнева. Шимеле, видимо неловко себя чувствуя, ходит по комнате. Останавливается. Настроение подавленное.

Шимеле Сорокер (*про себя*). Да, да! Какая поразительная штука... Чего только люди не придумывают... Лента... полотно... фильм... И оно живет, двигается! Наш брат! (*Молодым людям.*) Ну, на чем, значит, мы остановились? Да! Чтобы не забыть... Нужен еще один пункт. Моя жена ни в коем случае не разрешит нам не вписать его в контракт. (*Жене.*) Эрнестина Ефимовна! Я хочу, чтобы в контракте было ясно сказано, что и ты, и я, и наши родственники имеем право ходить в любой театр, в какой мы только захотим и когда мы только захотим, — днем или ночью, совсем бесплатно, то есть без всякой платы за билет.

Эти-Мени (*ломает руки*). Хорошее дело... Неужели это еще не записано в контракте?!

Вигдорчук. Забыли записать.

Рубинчик. Мадам! Наше слово свято!..

Эти-Мени (*вымещая свою злобу на нем*). Ах, вот как?! А на самом деле вы потом скажете: «Знать не знаем!» Я вашего брата знаю. Видали мы!

Шимеле Сорокер. По-твоему, это надо записать? По-моему, тоже — записать! (*Вигдорчуку, указывая ему на письменный стол.*) Засучите, пожалуйста, рукава и записывайте.

Вигдорчук (*бросается к столу, приписывает к контракту, потом читает*). «Мы, нижеподписавшиеся, до-

бавляем еще один пункт, а именно: господин Сорокер, мадам Сорокер, а также любой член их семьи имеют право в любое время дня и ночи входить и сидеть в любом из наших театров-кинематографов бесплатно». Вы удовлетворены?

Шимеле смотрит на жену.

Эти-Мени. Я хочу, чтобы в контракте была записана также моя сестра Фейгл.

Вигдорчук. Мадам! Тут же записано, что любой член семьи Сорокер!

Эти-Мени. Ее фамилия — не Сорокер, ее фамилия — Вышкробенко.

Рубинчик. Мадам, вы, конечно, правы.

Шимеле Сорокер. В таком случае давайте запишем: «Все родные и знакомые...»

Эти-Мени (*вспылив*). Знакомые? Этого еще не хватало! И без них достаточно! Болячка им — вот что! Они не хворы заплачивать!

Рубинчик. Мадам совершенно права. (*Своему товарищу.*) Запиши: «Мадам Вышкробенко с ее детьми».

Эти-Мени. Нет! Сестру — да, а ее детей — нет. У нее такие детки, пусть они подавятся! Один шалопай хуже другого!

Рубинчик. Мадам совершенно права. Запиши: «Мадам Вышкробенко» — и все!

Эти-Мени. Что за «мадам»? Хороша мадам! Гроша ломаного нет за душой... Беда с ней, горе одно!

Входит Бейлка; она, как всегда, одета скромно.

Шимеле Сорокер. Ты очень кстати пришла. Подойди-ка сюда и прочитай мне контракт. Там все написано, о чем мы вчера говорили?

Молодые люди встают, здороваются с Бейлкой и, подав ей контракт, садятся вновь.

Бейлка (*берет контракт*). Можно, я прочитаю про себя?.. (*Села, читает.*)

Шимеле Сорокер (*молодым людям, тихо*). Она-то все умеет!.. Знает еврейский язык, русский и немецкий, какой только хотите!

Входит Мендл с букетом цветов в руках.

Мендл. Принесли Изабелле Семеновне. С карточкой.

Бейлка (*берет цветы*). Мне?

Шимеле Сорокер (*довольным тоном*). Цветы?.. От кого это?

Бейлка (*читает визитную карточку*). «Соломон Оскарович Файн». Ха-ха-ха!

Шимеле Сорокер. Что тут смешного? (*Лакею*.) Можешь идти.

Мендл уходит.

Бейлка. Разве не смешно? Преподношения, цветы!.. Что это он вдруг? Где он был три недели тому назад, когда — помнишь? — его просили сделать одолжение и замолвить словечко перед отцом о плате за квартиру? Он только плечами пожал (*передразнивает Соломона*): «Это меня не касается!..» (*Отдает отцу контракт.*) Написано так, как вы вчера говорили. (*Показывает на гору писем, лежащих на столе*). А это — сегодняшняя почта?.. (*Собирает письма.*) Я возьму с собой, прочитаю у себя в комнате и потом все тебе расскажу... (*Кивком головы прощается с гостями.*)

Гости быстро и шумно вскакивают. Бейлка уходит.

Шимеле Сорокер (*молодым людям*). Странная у меня дочка!.. Другая бы на ее месте... в такой роскоши!.. И при таком богатстве!..

Эти-Мени. Скажи хоть: «Не сглазить бы!»

Шимеле Сорокер. А когда хочешь нашей дочке купить новое платье, пальто, шляпку, она тебя доводит до белого каления. Не хочет! Что вы прикажете с ней делать?!

Молодые люди слушают с изумлением.

Чего вам больше: ей сватают женихов — самых хороших, самых знатных, она слышать не хочет!.. И смотреть в их сторону не хочет! Представьте себе: сам реб Ошер Файн, — вы же, конечно, слышали о нем? — он хочет, просто помирает, женить сына на моей дочери! То есть, собственно, не так этого хочет он, как его сын, и не так даже его сын, как мне самому очень хотелось, чтобы жених моей дочери был из такой знатной семьи, как Файны, у которых я еще недавно снимал квартиру...

Эти-Мени. Скажи хоть: «Не приведи господи больше никогда...»

Шимеле Сорокер. Кажется, все в порядке, — да? Он хочет, его сын хочет, и я тоже хочу. Можно было устроить помолвку — и все? А она, Бейлка, говорит: «Нет!» Она еще, видите ли, подумает.

Молодые люди слушают с изумлением. Появляется Мендл.

Мендл (*продолжая что-то жевать*). Этот чудак опять пришел.

Шимеле Сорокер. Какой чудак?

Мендл. Соловейчик... Сват.

Шимеле Сорокер. Соловейчик? Где же он?

Мендл. Там, в передней.

Шимеле Сорокер. Почему же он не входит?..

Мендл. Я же говорил вам, что я не первый год служу в богатых домах. А у богачей всегда полагается...

Шимеле Сорокер. Раньше доложить? Ладно, ты уже доложил. А теперь иди и зови его сюда!

Мендл уходит.

Ох, между нами говоря, и порядочки, церемонии у аристократов. Пусть господь бог меня не накажет за мои слова...

Распахнулась дверь. Мендл впускает Соловейчика, закрывает дверь, уходит.

Честь и место. Вы легки на помине! Садитесь, пане Соловейчик.

Соловейчик. Какая жара сегодня, — нечто особенное! (*Вглядываясь в молодых людей.*) А это кто? Что-то они мне очень знакомы. (*Припоминает.*) Ага! Это — те самые? Из театра? Это вы с ними затеяли дело, о котором весь город уже звонит? (*Здоровается с молодыми людьми.*) Как дела? Говорят, вы деньги загребаете? (*Показывает руками.*)

Вигдорчук. Подумаешь! Деньги загребаем! Ничего, не жалуемся. Зарабатываем...

Рубинчик. И еще приберегаем рублик-другой про черный день.

Соловейчик (*портному*). Вы их не слушайте! Вы меня спросите! Это — золотое дело! Неисчерпаемый источник! Люди на этом наживают капиталы, а они говорят: «Приберегаем рублик-другой!»

Молодые люди в восторге от его слов.

Шимеле Сорокер. Так вы говорите, что в городе уже знают о моем деле, о «фильмкомпании»? Не отведаете ли нашей вишневки? *(Наливает ему стаканчик.)*

Соловейчик. Что за вопрос? Все знают, все говорят об этом, и все вам завидуют. *(Осушив стаканчик, закусывает.)*

Шимеле Сорокер. Завидуют?

Соловейчик. Клянусь вам жизнью! Что же, я лгать буду? Говорят даже, скоро станете миллионером... И дай вам бог! *(Молодым людям.)* Я вам скажу, Семен Макарович такой человек! Они любят сами хорошо зарабатывать, но им не жалко, если и другой при этом работает. Как говорится: живи и давай жить другим!.. *(Портному.)* Вам, Семен Макарович, счастье уже улыбнулось. Значит, теперь пойдет удача за удачей! Как сказано в Писании: «Если ты начал падать, ты будешь падать и падать»...

Шимеле Сорокер *(жене)*. Ты слышишь, что он говорит? *(Наливает Соловейчику еще стаканчик.)*

Эти - Мени *(глядя на графин)*. Слышу, я не глухая. *(Свату.)* Скажите лучше, что слышно с тем делом?

Соловейчик *(жене портного)*. А что, мадам, должно быть слышно? Дай бог всем евреям такие дела! *(Портному и его жене.)* Если у Соловейчика в голове родится какая-нибудь идея, он доведет ее до конца, хоть бы весь мир перевернулся!.. Я как раз только что оттуда, от аристократов... Ну и приняли они меня! «Мое почтение», и «садитесь», и «вот папиросы», и «вот лимонад»... Из-за жары пересохло в горле — нечто особенное!.. *(Вновь осушив стаканчик, закусывает.)*

Шимеле предлагает Соловейчику папиросу из своего портсигара.

Шимеле Сорокер. Значит, вы от Файнеров? Как теперь обстоит там дело?

Соловейчик. Все обстоит очень хорошо! Было бы так хорошо повсюду, где я сватаю женихов и невест!.. Уж если у Соловейчика в голове родится какая-нибудь идея!.. *(Закуривает папиросу.)* Если вам не очень жарко, я вам расскажу про мой сегодняшний визит, как я туда пришел, и что сказал, и что они сказали, и что я ответил, и что они ответили, — словом, весь наш разговор... *(Засучивает рукава, готовясь рассказывать обстоятельно, со всеми подробностями.)*



Шимеле Сорокер (*нетерпеливо*). Пане Соловейчик, зачем же разговоры? Вы же знаете: я простой человек, люблю, чтобы все было сшито и выутюжено. Скажите мне самый-самый конец: к чему вы в конце концов пришли?

Соловейчик. Вот самый конец! Они пригласят вас к себе в гости. Там будет вся аристократия... Но до этого они еще будут с визитом у вас... И может быть, еще сегодня... Вот на что способен Соловейчик!

Шимеле Сорокер (*жене*). Ты слышишь?.. (*Тихо.*) Надо приготовить всякого рода закуски... (*Свату.*) А вы уверены, что они придут сюда?

Соловейчик (*ест варенье, запивает вишнежкой*). Так же, как в том, что моя фамилия — Соловейчик.

Шимеле Сорокер. А их парень тоже будет с ними?

Соловейчик (*доедает остатки варенья*). Что за вопрос?

Шимеле Сорокер. Значит, сам старик сказал вам это?

Соловейчик. Да! Он! Сам старик сказал мне: «Мы будем с визитом у господина Сорокера, может быть, еще сегодня. Он все же одно время, говорит, снимал квартиру в нашем доме...»

Шимеле Сорокер. Так и сказал? (*Жене.*) Ступай позаботься, чтобы все было...

Эти-Мени уходит.

Соловейчик. Так и сказал! Это его подлинные слова, — клянусь вам жизнью... А вы думали, Соловейчик какой-нибудь мальчишка? Кстати, мне надо вам сказать пару слов с глазу на глаз... (*Молодым людям.*) Извините... (*Отводит Шимеле в сторону.*) Как говорится, три дела — два слова. (*Остановились недалеко от рампы.*)

Шимеле Сорокер (*свату*). Я наперед знаю, что вы хотите мне сказать. Насчет приданого. Сколько я даю?

Соловейчик (*тихо*). Вы же просто мудрец! Но вы, наверно, думаете, что это они хотят узнать или сам жених? Боже сохрани! Я ведь это так... Если конец дела, думаю, уже так близок, положительно вот-вот, то нельзя же мне стоять как истукан, если вдруг, понимаете ли, меня спросят...

Шимеле Сорокер. Вы прекрасно знаете, что дочка у меня одна-единственная и через сто двадцать лет... все перейдет к ней.

Соловейчик. А все-таки более или менее...

Шимеле Сорокер. Пятьдесят тысяч рублей отложены в «Частно-коммерческом банке». По правде сказать, там лежит три раза по пятьдесят тысяч. Но одни пятьдесят тысяч — отдельно для дочери. Она же у меня одна-единственная, следовательно, когда через сто двадцать лет меня позовут туда: «Будьте любезны, наш брат простой народ...»

Молодые люди прислушиваются.

Соловейчик (*перебивает*). Чепуха! Зачем говорить о таких вещах?! Вы еще будете жить и жить, даст бог!.. Вы *должны* жить, потому что вы делаете много добра людям... Кто этого не знает? Добрые дела дают о себе знать. Следовательно, пятьдесят тысяч — это точно, наличными?

Шимеле Сорокер. Деньги на бочку! У меня — без всяких хитростей, без пустых слов и обещаний. У меня так: если я говорю — «дам», значит, даю. Это же, понимаете ли, наш брат простой народ!..

Соловейчик. Одним словом, мы уже обо всем договорились. И я, следовательно, могу идти дальше. Мне еще предстоит бегать и бегать, говорить и говорить. Ну, будьте здоровы и успевайте в делах! Прощайте! С божьей помощью, скоро встретимся на помолвке... (*К двум компаньонам Шимеле.*) Желая вам каждому по полмиллиона прибыли, а вашему компаньону — целый миллион! До свиданья, прощайте! (*Уходит.*)

Шимеле Сорокер (*молодым людям*). Не обижайтесь, у меня, не сглазить бы, такой дом, что каждую минуту новые люди с новыми делами... А теперь надо все-таки взяться за наше дело. (*Надевает очки, засучивает рукава, подходит к столу.*) Сейчас, стало быть, надо выполнить деликатную работу: проставить подпись. (*Подписывает контракт.*)

Вслед за ним подписывают контракт оба компаньона.

Шимеле Сорокер. Теперь, стало быть, нужно дать вам монету... немножко медяков... (*Идет к несгораемому шкафу.*) Но должен вас предупредить, мои милые компаньоны, что у меня нет наличных денег...

Несгораемая касса, как видите, у меня есть, но таких больших денег я дома не держу. Для этого, понимаете ли, имеется банк... *(Открывает кассу, достает чековую книжку.)* «Частно-коммерческий банк». Там я храню весь свой капитал. А когда бы мне ни понадобилось и сколько бы мне ни понадобилось — я выписываю чек, и мне дают... *(Кладет чековую книжку на стол.)* Но вот какое дело! Писать надо по-русски, а я в грамоте немного хромаю. Для этого у меня есть дочка, и она, как вы уже знаете, ведет всю мою бухгалтерню.

Входит Э т и - М е н и.

Позови сюда Бейлку на минуточку. Ей нужно кое-что написать для меня.

Э т и - М е н и. Изабеллочку? Ее, кажется, дома нет. Пойду посмотрю. *(Уходит.)*

Шимеле Сорокер. Нехорошо, знаете ли, когда ты слепой человек. Не уметь писать по-русски еще хуже, чем без очков...

Пауза

А впрочем... Знаете что? Может быть, имело бы смысл, чтобы вы были настолько любезны и сами заполнили этот чек? Вот вам чернила и ручка. Кто из вас лучше пишет?

Вигдорчук и Рубинчик подбегают к письменному столу. Вигдорчук берет ручку с пером, готовится писать.

*(Шимеле надевает очки и с видом человека, хорошо разбирающегося в правилах заполнения чеков, указывает пальцем на чековую книжку.)* Вот здесь, справа, — видите? — будьте любезны, напишите цифрами: пятнадцать тысяч... Одна единица, пятерка и три нуля, да, три нуля. О, вот так! А там, внизу, напишите уже словами: «Пятнадцать тысяч». «Рублей» не надо писать: это уже напечатано. О, вот так... Написали? Теперь дайте, пожалуйста, сюда перо, и я опять проставлю подпись. *(Снова засучивает рукава и медленно ставит свою подпись. Ему даже жарко стало.)* Уф! Я просто уже устал сегодня писать... *(Размахивает чеком в воздухе.)* А кто виноват? Мой же родной отец, царство ему небесное, не хотел он, чтобы меня учили писать. Если бы меня учили, я писал бы, как никто в мире! Можете поверить. Вы же видите, как я быстро и хорошо разбираюсь в самых больших делах!..

Вигдорчук (*прощаясь*). Вы на редкость способный человек.

Рубинчик (*прощаясь*). Талант! Особого рода талант!

Шимеле Сорокер (*явно польщен, пожимает им руки*). Неужели? Как жаль, что моей жены тут нет. Пусть бы она послушала, что обо мне говорят! (*Передает чек Вигдорчуку.*)

Рубинчик пытается заглянуть в чек, но Вигдорчук отталкивает его локтем и прячет чек в свой бумажник. Заметно нервничая, он застегивает пиджак и готовится попрощаться с Шимеле.

Вигдорчук. Мы отняли у вас так много времени...

Рубинчик. И заморочили вам голову...

Шимеле Сорокер. О чем вы говорите? Мы же, с божьей помощью, сделали дело!

Вигдорчук. И — хорошее дело!

Рубинчик. Блестящее!

Шимеле Сорокер. Зачем же лишние разговоры? Раз так, мы обязательно должны перед вашим уходом выпить хотя бы еще по стаканчику этой вишневки (*стоя наливает три стаканчика*) и пожелать друг другу, чтобы наши полмиллиона не заставили себя долго ждать и чтобы весь город знал, что значит наш брат — простой народ!..

Чокаются, пьют стоя.

Теперь можете идти. Идите и будьте здоровы. Желаю успеха...

Вигдорчук и Рубинчик почтительно прощаются. Уходят. Шимеле провожает их до дверей. Через полминуты входит Эти-Мени.

Эти-Мени. Бейлка сейчас зайдет. (*Осматривается.*) А где эти пройдохи? Ушли уже? Кто же тебе написал все, что нужно? Ты отложил до другого раза?

Шимеле Сорокер. Какое там «отложил»? Я не люблю откладывать: у меня сказано — сделано, сшито — вытужено! Наш брат!

Эти-Мени. Но кто же тебе писал?

Шимеле Сорокер. Они. Я диктовал, а они писали.

Эти-Мени (*всплеснув руками*). Они писали! Кто знает, что они тебе там написали?! Ты не мог подождать Изабеллочку?

При последних словах Эти-Мени входит Бейлка.

Бейлка. Я прошу вас: не называйте меня Изабеллочкой, называйте меня моим настоящим именем. У меня есть имя — Бейлка!

Эти-Мени. Вот тебе радость! Разве мы теперь такие, какими были раньше?

Бейлка. Вот это и печально, мама, что мы не такие, как раньше... То есть на самом деле мы такие же, какими были, но почему-то думаем, что мы уже не мы... Поэтому и делаем не то, что нужно: ходим нетуда, куда нужно, и принимаем у себя не тех, кого нужно... А тех, кто наши настоящие друзья и равные нам, — тех мы и в дом не пускаем...

Эти-Мени (*мужу*). Что-то она так туманно, так странно говорит! И не поймешь ничего!..

Шимеле Сорокер (*жене*). Куда тебе понять наши разговоры... (*Дочери*.) Но все-таки одно другого не касается; если нас пригласят к Файнерам в гости, — тем более что раньше они будут с визитом у нас, то к ним ты не откажешься пойти вместе с нами? Это все-таки реб Ошер Файн!

Бейлка. Посмотрим... Еще подумаем... Может, пойду с вами, а может, и не пойду.

Шимеле Сорокер (*разгневанный*). Как это не пойдешь с нами? А я-то кто тебе? Отец или не отец?

Эти-Мени (*желая примирить их*). Ну, стоит ли? Посмотрите, что творится!.. Медведь еще не убит, а уже спорят, никак шкуры не поделят. Файнеры пока что у нас еще не были, и к себе еще не звали, и не так еще скоро будем мы на помолвке тарелки бить... А вы уже ссоритесь...

Шимеле Сорокер (*возмущенно*). Мазлтов! Поздравляю! Она тоже вмешивается! (*Жене*.) Кто тебя просил мирить нас?.. (*Дочери*.) Мы с тобой никогда не ссорились и теперь не будем ссориться. Наш брат, мы знаем, что лучше по-хорошему сговориться, чем ссориться и злиться... Скажи мне, дочка, что с тобой делается? С тех пор как бог осчастливил меня крупным выигрышем, я не вижу, чтобы ты была довольна, весела, счастлива... Как будто не мне достался главный выигрыш!..

Бейлка. Чего же ты хочешь? Чтобы я танцевала на улице?

Шимеле Сорокер. Кто требует, чтобы ты танцевала на улице? Я только думаю, что ты должна была

бы как-то так... (*Показывает жестами.*) Как-то зажить... вроде, как-то. Наш брат...

Бейлка. Скажу тебе, отец, всю правду. Если ты уж заставляешь меня говорить, я тебе скажу... Не по мне все это... Ничто мне не мило... Ничто мне не дорого. Все я делаю словно из-под палки... Все против моей воли... Кого бы я хотела видеть, тех не вижу. Кого вижу — не хочу видеть... Я не могу раскрыть душу перед вами, потому что вы меня не поймете!.. Вы не хотите меня понять и не можете понять, — потому что выигрыш вскружил вам головы и вы не видите, что вокруг вас творится. Белое вам кажется черным, а черное — белым...

Шимеле Сорокер. Получается, что мой крупный выигрыш — это несчастье?

Бейлка. Для кого счастье, а для кого несчастье... (*Чуть ли не сквозь слезы.*) Ваше счастье для меня несчастье.

Шимеле Сорокер (*повторяет ее слова*). Наше счастье для нее несчастье... (*Жене.*) Что ты на это скажешь? Ты что-нибудь понимаешь?

Эти-Мени (*мужу*). Ты же говорил, что только я одна ничего не понимаю, а ты все понимаешь... Она тебе намекает, что не хочет идти с нами к богачам... Она их ненавидит...

Шимеле Сорокер (*повторив ее последние слова*). Ты? А я скажу иначе! (*Повысив голос.*) Если я говорю «идти», значит, надо идти. (*Стучит по столу.*) Наш брат простой народ! Утюг и ножницы!..

Эти-Мени. Ну? Зачем тебе это нужно было? Только разозлил девочку...

Шимеле Сорокер (*вскакивает как ошпаренный*). Эти-Мени! Не зли меня!

Эти-Мени. Послушай-ка! Что ты меня пугаешь?

Шимеле Сорокер. Уважать меня надо! Держи язык за зубами! Ты, кажется, знаешь, кто я такой!

Эти-Мени. Смотри-ка, как возгордился! Иголка с ниткой тебе кланялись!

Шимеле Сорокер (*вне себя*). И ты смеешь мне говорить такие слова? Мне, перед которым все снимают шапки, когда я прохожу по улице?

Эти-Мени. Все! Только не я! Ты воображаешь, что ты великий барин! А я считаю, что ты портной, портняжка!

Шимеле Сорокер. Замолчи, горе ты мое! Не то я тебе покажу, кто я!

Эти-Мени. Пропади ты пропадом, — не доживешь ты до этого!

Шимеле Сорокер. Тьфу на тебя!

Эти-Мени. Тьфу на тебя!

Открывается дверь, и появляется Мендл.

Мендл (*жует*). В зале вас ждут гости.

Шимеле Сорокер (*спомнившись*). Гости?

Эти-Мени. Какие еще гости?

Мендл. Господин Файн, мадам Файн...

Шимеле Сорокер (*сразу протрезвившись*). Что же ты молчишь? (*Жене.*) Эрнестина Ефимовна! Прикажи поставить самовар! Прикажи подать вишневку, вино и варенье, всякого рода варенье!.. (*Хочет направиться к двери.*)

Эти-Мени (*тянет его назад*). Куда ты летишь?! Таких гостей ты хочешь принимать в халате? (*Лакею.*) Что ты стоишь как истукан? Ты же видишь, что хозяин в халате. Принеси ему сюртук!

Мендл уходит.

А я пока пойду принимать гостей. (*Остановившись у зеркала, приводит себя в порядок. Уходит.*)

Мендл приносит черный сюртук, помогает хозяину надеть его. Шимеле застегивает сюртук на все пуговицы, расшаркивается и раскланывается, репетируя, как он войдет и представится именитым гостям. За его спиною Мендл повторяет его движения со всеми его ужимками. Шимеле большими шагами идет к двери. Мендл идет за ним такими же шагами.

*Занавес падает.  
Конец второго действия.*

## ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Прихожая. В глубине — второй занавес, который подымается сейчас же после окончания первой картины, и вторая картина третьего действия может начаться без антракта. Прихожая должна быть достаточно длинной. В ней находятся столик с зеркалом, вешалка, стойка для зонтиков и палок, стенные часы и несколько плетеных стульев. На втором занавесе нарисована закрытая дверь. Один или два боковых входа. У нарисованной двери стоит Мендл. Возле него в позе, выражающей покорность, стоят подмастерья — Мотл Косой и Копл Фалбон. Вытирают пот с лица, они торгуются с лакеем Мендлом, а тот, с видом человека, от которого многое зависит, держит руки в карманах и жует.

Мендл. Пусть отсохнут рукава моей жилетки, если бы я сделал это для кого-нибудь другого. Попробовал бы он даже насыпать эту комнату золотом до потолка, все равно я вышвырнул бы его отсюда вон. Потому что... вы даже не можете себе представить, какой строгий у меня хозяин!

Подмастерья крайне удивлены.

Мотл Косой. Шимеле Сорокер — строгий хозяин? Вы шутите!

Копл Фалбон. Вы насмехаетесь над нами!

Мендл. Насмехаюсь? Пусть у того, кто насмехается, вскочат чирьи на носу! Хозяин чуть ли не тысячу раз приказывал, чтобы бедно одетый человек не переступал порога... А если придет мастеровой, например, портной, так просто гнать в шею.

Подмастерья поражены.



Мотл Косой (*товарищу*). Как тебе это нравится? Кто бы мог подумать?..

Копл Фалбон. Человек меняется. Деньги привалят — и человек становится таким же буржуем, как все буржуи.

Мотл Косой (*вынимает кошелек и, порывшись в нем, достает монету, вручает ее лакею*). Вот вам! Пусть уж будет по-вашему!..

Копл Фалбон. Но только пойдите и вызовите ее сюда.

Мендл (*рассматрив монету, прячет в карман*). Так кого, вы сказали, я должен вызвать? Только ее, барышню, значит, или?..

Мотл Косой. Только ее! Только ее!

Копл Фалбон. Никого другого не нужно!

Мендл. И что мне сказать ей?

Мотл Косой. Скажите ей, что два хлопца ждут ее. Они должны сказать ей всего лишь два слова.

Копл Фалбон. Не просто хлопцы, а хлопцы, которые три года работали с нею за одним столом.

Мендл (*продолжает жевать. После раздумья*). Нет! Сказать только «хлопцы» — никуда не годится. Мало ли какие хлопцы бывают на свете! Нужны имена! Имена нужны!

Мотл Косой. Раз так, то скажите ей: Мотл Косой и Копл Фалбон хотят вас видеть!

Копл Фалбон. На два слова — не больше.

Мендл (*повторяет*). Мотл Фалбон и Копл Косой. Мотл Фалбон и Копл Косой.

Мотл Косой (*поправляет его*). Не Мотл Фалбон и Копл Косой, а наоборот.

Копл Фалбон. Мотл Косой и Копл Фалбон.

Мендл. Ага! А непременно надо говорить «хлопцы»?

Мотл Косой. Вы зря теряете время.

Копл Фалбон. И может ведь нагряться сам...

Мендл. Его не бойтесь — нет его дома. Ушел гулять. Он сделал дело, огромное дело! Закупил все театры в городе! Теперь все театры будут нашими... Если надумаете пойти в театр, сперва нужно будет обратиться к нам.

Парни переглядываются.

А мы... если захотим — впустим вас. Не захотим — придется постоять на улице. С нами не шутите! (*Заметил, что его речь мало действует на парней, но все же продолжает.*) А вам известно, что мы побогаче самих Файне-

ров? Они обивают у нас пороги. Сперва посылали к нам сватов по три раза в день... Потом сами пришли... И все поровят скорее свадьбу справить... Они помирают, готовы на все, лишь бы заполучить нашу барышню! А их сыночек влюблен (*показывает на уши*) по уши. Просто — вот-вот кондрашка его хватит. Ну, и она, конечно, в него втюрилась.

Мотл Косой. Влюблена?

Копл Фалбон. Давно? С каких пор?

Мендл. С каких пор, я не знаю, но целыми днями они только и знают, что целуются, милуются. То — он к ней, то — она к нему, никак не нацелуются досыта, не намилуются вволю... Ну, как же я должен ей сказать? Два хлопца, Котл Фасой и Мопл Фалбон? Тьфу! Из-за вас я совсем уже запутался! Все морочите мне голову!..

Мотл Косой. Не надо называть имен! Скажите только: «Два хлопца» — и все!

Копл Фалбон. И скорее бы все кончилось!

Мендл. Хорошо. Я согласен. Иду. Но если вдруг сюда зайдет холера...

Мотл Косой. Какая холера?

Копл Фалбон. Это он, наверное, об Эти-Мени...

Мендл. Какая Эти-Мени? Забудьте Эти-Мени! Ее уже зовут не Эти-Мени, а Эрнестина Ефимовна! (*Идет к двери, но тут же возвращается.*) Сядьте пока здесь... Или лучше — вот здесь... (*Усадив обоих, снова идет, жуя и повторяя.*) Мокл Фасой и Фотл Фалбон. Копл Фасой и Мопл Фалбон... (*Уходит.*)

Подмастерья осторожно садятся на плетеные стулья и разговаривают вполголоса.

Мотл Косой. Станный лакей!

Копл Фалбон. Придурковатый какой-то!

Мотл Косой. Кто будет говорить первым, — я или ты?

Копл Фалбон. Начинай ты, а я уж потом...

Мотл Косой. А не успею я рот открыть, как ты тут же и заговоришь.

Копл Фалбон. Нет, не буду. С чего ты думаешь начать?

Мотл Косой. Начну я так. (*Встает, откашливается, репетирует дрожащим голосом.*) «То, что мы сюда пришли, Бейлка, то, что нас сюда привело, не касается никого, кроме...»

Копл Фалбон. «...кроме вас одной!»

Мотл Косой (*товарищу*). Значит, ты хочешь говорить. Говори! (*Садится.*)

Копл Фалбон. Нет, нет, говори ты, говори!

Мотл Косой. Что же ты перебиваешь меня? (*Встает, откашливается, положив руку на сердце, вновь репетирует.*) «Речь здесь идет только о вас, Бейлка, о вашем счастье, о всей вашей жизни. Мы не имеем права вмешиваться в чужие дела — это мы знаем. Но мы не могли больше совладать с собою. Нам стало известно, что вы себя связываете, — или другие связывают вас на всю жизнь с человеком, который вас недостойн... Он недостойн быть с вами под одной крышей, дышать с вами одним воздухом...»

Копл Фалбон. Хорошо сказано!.. А если она тебя спросит: «Почему вы вдруг заговорили об этом?»»

Мотл Косой. Тогда я ей скажу всю правду: мы оба ее любим с давних пор, мы изнываем...

Копл Фалбон. ...телом и душой! (*Прислушивается.*) Тише! Кажется, она идет...

Мотл Косой (*прислушиваясь*). Кто? Бейлка? (*Застегнулся на все пуговицы, откашлялся, готов выступить с речью.*)

Входит Бейлка. Подмастерья делают шаг ей навстречу.

Бейлка (*протягивая к ним руки*). Как хорошо, что вы пришли!.. Сам бог вас сюда привел!.. Где вы были до сих пор? Я уже все глаза проглядела, ожидая вас! Я уже потеряла всякую надежду...

Мотл Косой. Бейлка, душенька, вы ведь не знаете, как мы мучаемся.

Копл Фалбон. Разве к вам пускают?

Бейлка. Кто не пускает?

Мотл Косой. Да этот... ваш верный страж!

Бейлка. Да, да, я забыла! Если бы вы знали, что за дом у нас теперь! Моим страданиям нет конца...

Мотл Косой. Уж который раз мы пытаемся пробраться сюда...

Копл Фалбон. Как сквозь железные ворота...

Мотл Косой (*Коплу*). Только не перебивай меня!

Копл умолкает.

Мы хотели вам сказать... Вы не знаете, как вы нам дороги, как вы выросли в наши сердца!

Копл Фалбон. Как сестра! Как родная сестра!

Бейлка. Не то... Нет... Сейчас не об этом надо говорить... Сейчас надо меня спасти!

Мотл Косой. Для вас мы готовы на все!

Копл Фалбон. В огонь и в воду!..

Бейлка. Вот, вот! Вот это главное! Вы должны помочь мне спастись, уйти из этого дома, вырваться отсюда! Вы не знаете, какой теперь дом у нас! А что стало с моим отцом! С тех пор как он заполучил этот большой выигрыш, его и узнать нельзя! Я не помню, чтобы он раньше хоть раз так сердился. А теперь, чуть что не по нем — он страшно раздражается, не дает слова сказать... Не дает голову поднять! А главное — он хочет обкрутить меня с этим... *(Закрывает лицо руками.)*

Мотл Косой. Мы знаем! Мы уже слыхали! Мы все знаем!..

Копл Фалбон. Этот буржуй?.. Не дожить бы ему до этого!

Бейлка. Недавно он был у нас... Они все пришли... И нас к себе звали... Наши обещали, что мы придем к ним... Но я сказала потом отцу, что не пойду. Вот он и устроил мне «концерт». Все было: крики, слезы... Чего только не было! Но я настаивала на своем — нет, нет и нет! Что я — кукла? Я не позволю продавать себя!..

Копл Фалбон } *(вместе)*. Правильно! Совершенно  
Мотл Косой. } но верно!

Бейлка. Не пойду! Никуда я не пойду!.. Я убегу от них! Убегу куда глаза глядят! Лучше есть кусок хлеба раз в три дня, лишь бы не... *(Закрывает лицо руками, тихо плачет.)*

Мотл Косой. Бейлка, душенька, сердце мое, не плачьте! Мы вам поможем!

Копл Фалбон. Мы готовы в огонь и в воду!

Бейлка *(оживает)*. Вы мне поможете? Я знала, что вы придете мне на помощь!.. Я хочу их проучить! Моего отца и мою мать хочу я проучить!.. Хочу напугать их! Устроить скандал!.. Убежать, убежать среди ночи... Нет, недалеко убежать: в соседний город, на ближайшую станцию. Но убежать!.. Ой, как они испугаются!.. Как они будут меня искать... И тогда я добьюсь своего!..

Мотл Косой. Какая вы умница!

Копл Фалбон. Умнее всех на свете!  
Бейлка. Так вы поможете мне бежать?

Мотл Косой }  
Копл Фалбон } (вместе). Когда?

Бейлка. Хотя бы сегодня ночью!.. Они уйдут туда, я останусь одна... а вы будьте наготове... вот здесь — под моим окном. (Указывая рукой.) Вы должны приготовить подводу... Вам же нужны деньги... (Берется за карман.)

Мотл Косой } (вместе). Какие деньги? При  
Копл Фалбон } чем тут деньги? Не надо!  
У нас есть!..

Бейлка. Так помните: как только они уйдут, я открываю окно... Ой, мать идет!.. (Бросается бежать.)

С противоположной стороны входит Эти-Мени. Парни замирают.

Эти-Мени (осматривает Мотла и Копла). Смотри-ка! Копл? Мотл? Наверное, к моему мужу? Ну, как вы поживаете? У кого работаете? Почему стоите? Если уж пришли, так можете присесть на минуточку... Вы хотите видеть моего мужа? Сегодня вам нельзя будет его увидеть... Завтра тоже... Послезавтра тоже нельзя... Потому что он теперь вечно занят. Он подписал контракт с какой-то большой компанией... Предпринял одно дело. Большое дело. Очень большое дело!..

Мотл Косой. Да, мы знаем...

Копл Фалбон. Мы уже слыхали...

Эти-Мени. Что вы слыхали?

Мотл Косой. Что реб Шимен сделал большое дело.

Копл Фалбон. Скупил весь город...

Мотл Косой. Со всеми театрами...

Копл Фалбон. И со всеми гостиницами...

Эти-Мени (поражена). Кто это вам рассказал?

Мотл Косой. Все говорят!

Копл Фалбон. Весь город!

Эти-Мени. Весь город?!

Мотл Косой. Из конца в конец!

Копл Фалбон. Как в котле кипит...

Эти-Мени. Кипело бы у них в сердце и в животе! Откуда они все узнали и так скоро? Вероятно, этот Соловейчик раструбил. Вот у кого длинный язык!.. Да! Вы теперь не можете увидеть его, моего мужа. Но если он вам очень нужен, можете сказать мне.

Мотл Косой Нам ничего не нужно.

Копл Фалбон. Мы просто так зашли.

Эти-Мени. В гости, значит? Пожалуйста! Очень мило с вашей стороны... Я ненавижу разных этих бедняков, попрошаек, — пусть не накажет меня бог за такие слова, — сколько ни делай им добра, сколько ни дай, — все мало! Как в прорву... У вас, значит, все есть?.. Мне это приятно. И это очень хорошо с вашей стороны, что вы не забываете своих старых хозяев. Заходите когда-нибудь... Знаете когда? Бог даст на праздник...

Парни переглядываются и встают.

Тогда мой муж будет свободен... Только не заговаривайте с ним о прежней нашей жизни. Ему это неприятно... Вы же понимаете. Вам пальца в рот класть не надо, откусите...

Парни медленно пятятся к выходу, не сводя глаз с Эти-Мени, и вытирают пот.

Идите и будьте здоровы. Ради бога, не забудьте же, на праздники! Вы тогда будете приятными гостями. Я вас угощу вишневкой и вареньем... Идите и будьте здоровы! *(Уходит направо.)*

Подмастерья направляются налево и у самого выхода встречаются с Шимеле Сорокером.

Он пришел с улицы в пальто и с тростью в руке.

Шимеле Сорокер. А-а! Мое почтение, гости! Что вы здесь делаете? И почему вас не видно было? Что вы прячетесь? Наш брат простой народ, уют и ножицы...

Мотл Косой. К вам теперь не подступись... Как к какому-нибудь царю! Мы уж столько раз сюда приходили, но он нас не пускает.

Шимеле Сорокер. Кто?

Копл Фалбон. А это... Чучело... Ваш слуга...

Шимеле Сорокер. А вы его не слушайте! Идите прямо ко мне! Вы же из моих людей, наш брат простой народ!..

Мотл Косой. Он говорит, вы ему приказали гнать в шею всякого портного, который сюда придет...

Копл Фалбон. Ко всем чертям гнать! Клянусь богом, он так и сказал.

Шимеле Сорокер (*вне себя*). Я так сказал? Я?  
(*В возмущении хватает колокольчик и звонит.*)

Эти-Мени вбегает ни жива ни мертва.

Эти-Мени. Кто это звонит? (*Увидев подмастерьев.*) Вы еще здесь?

Подмастерья пятятся к дверям. Шимеле задерживает их.

Шимеле Сорокер. Это я звонил... Где он — этот замечательный лакей, этот шут гороховый, этот паец?..

Эти-Мени. Что такое? Зачем он тебе нужен?

Шимеле Сорокер. На кой черт он мне дался! Ничего, он получит от меня такую взбучку, что у него потемнеет в глазах. Ему неповадно будет выгонять людей из моего дома! (*Подмастерьям.*) Как же выживаете? Я по вас давно скучаю... Как-никак столько времени работали за одним столом... Пойдемте ко мне, посидим, побалакаем, выпьем немного, наш брат...

Эти-Мени. С ума спятил! Кто тебе даст выпить хоть каплю? Ты забыл, что нам пора уже готовиться к такому визиту?.. (*Смотрит на часы.*) Пора переодеваться... Мотл и Копл не обидятся, они свои люди. Пусть лучше зайдут в другой раз...

Мотл и Копл (*довольны, говорят вместе*). Да, лучше в другой раз.

Шимеле Сорокер (*протягивая им руку*). Боюсь, уйдете, и поминай как звали! Нет! Заходите в субботу... Только приходите прямо ко мне и никого не спрашивайте! А на этого дурака, который стоит у дверей, не обращайтесь никакого внимания. Если он вздумает вас не пускать, покажите ему, что такое наш брат простой народ!..

Подмастерья уходят в одну сторону; Шимеле — в другую.

Эти-Мени звонит в колокольчик. Входит Иохевед.

Эти-Мени. Видишь, что здесь творится? Пойди принеси половую щетку, подмети так, чтоб было чисто.

Иохевед (*внимательно разглядывая пол*). Где? Тут, кажется, и так довольно чисто. Зачем здесь подметать? Зачем убирать?

Эти-Мени. Тебе говорят убрать, значит, должна

убрать. Ты же видела: только что здесь сидели двое под-  
мастерьев, напачкали своими сапожищами. А ты еще  
задаешь вопросы: «Где?», «Что?».

Иохевед, пожав плечами, уходит. Входит Бейлка. Голова ее за-  
вязана белым платком.

Бейлка (*держась за голову*). Кто тут звонил?

Эти-Мени. Это я вызывала сюда девку... (*Обеспо-  
коенно.*) Что ты, доченька, держишься за голову?

Бейлка. Ничего, мама, пройдет...

Эти-Мени (*еще более обеспокоенно*). Не лихорад-  
ка ли, сохрани бог? Озноба нет?

Бейлка. Не то чтобы озноб, но немного холодно...

Эти-Мени. А не чувствуешь ли ты ломоту или, не  
дай бог, не колет ли у тебя в боку?

Бейлка. Не ломит, нет... А вот в боку немножко  
покалывает...

Эти-Мени (*заламывает руки*). Ой, горе мне!

Входит Шимеле. На нем — накрахмаленная верхняя сорочка, на-  
детая поверх брюк. Он держится за воротник.

Шимеле Сорокер (*задрал голову кверху, не за-  
мечает дочери*). Эти-Мени, тьфу, я хотел сказать, Эрне-  
стина Ефимовна! Где ты? Что это за сорочку ты мне  
приготовила? Таким воротником в пору лишь удавиться!  
У меня уже глаза на лоб вылезли! Хоть руки на себя  
наложи! Хоть кричи!

Эти-Мени. Пойди сними ее, я тебе дам другую. За-  
чем же кричать?

Шимеле Сорокер (*держась за шею*). Легко тебе  
сказать — «другую сорочку», когда я из этой — ни туда,  
ни сюда! (*Замечает дочку.*) Что такое? Зачем ты завя-  
зала голову?

Эти-Мени. Девочка нездорова.

Бейлка. Немного нездоровится...

Шимеле Сорокер (*забыв о воротнике*). Чего же  
вы молчите? Почему ты не ляжешь? Надо послать за  
доктором! (*Звонит.*)

Бейлка. Зачем? Не стоит, пройдет и так... Я при-  
лягу. Может быть, засну немного. Только пусть меня не  
будят...

Эти-Мени. Ложись, спи на здоровье... Никто тебя  
не станет будить...

Бейлка уходит.



Шимеле Сорокер (*обеспокоенный. Жене*). Может, все-таки послать за доктором?

Входит Мендл.

Мендл, бегом за доктором! Одна нога — здесь, другая — там!

Эти-Мени. Давай лучше попозже, когда мы вернемся из гостей. А теперь пусть она поспит... (*Мендлу.*) Не надо вызывать врача!

Мендл, направившись к выходу, останавливается.

Шимеле Сорокер. А может быть, мы отложим этот визит на другой раз?

Эти-Мени. Пожалуйста. На кой черт дался мне этот визит!..

Шимеле Сорокер. Но, с другой стороны, как же это так? А свадьба? Столько трудов ухлопали, бились головой об стенку, носом землю рыли, а теперь, когда вот-вот уже подходим к счастливому концу, получает-ся, — наш брат!..

Эти-Мени. Ну, тогда иди одевайся.

Входит Иохевед. В руках у нее — половая щетка, мокрая тряпка и гусиное крыло для стряхивания пыли.

Видали вы девку! Ей велели немного подмести, а она вывилась со всеми своими причиндалами!

Шимеле Сорокер. Так как же по-твоему? Не посылать за доктором? (*Мендлу.*) Погоди! (*Жене:*) А вдруг это инфлюэнца?

Эти-Мени. Ты же сам слышал: девочка хочет спать. И она просила, чтобы ее не будили.

Шимеле Сорокер. Не было у бабы хлопот, она купила себе лихо... Зачем мне нужен был весь этот тарарам, все это... (*Уходит.*)

Вслед за ним — Эти-Мени.

Мендл и Иохевед молча смотрят друг на друга и, держась за бока, долго смеются. Их смех нарастает *crescendo*<sup>1</sup>. Свет гаснет; в это мгновение декорация исчезает, и вторая картина третьего действия начинается без перерыва.

---

<sup>1</sup> Музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звучания.

Ярко освещенная гостиная в богатом доме. Хозяин дома, Ошер Файн, человек с брюшком и лысиной, весьма несловоохотливый, с неизменной сигарой во рту, и трое гостей играют за ломберным столиком в преферанс. Остальные гости — аристократы сидят вокруг игроков и с большим интересом заглядывают в карты. Доносятся только чередующиеся с паузами отдельные возгласы: «Семь пик...», «Пас...», «Трефы...», «Пас...», «Пас...», «Пас...» За другим столом, на котором лежат всякого рода большие и маленькие альбомы, сидит мадам Файн со своими гостями — женами аристократов. Мадам Файн представляет собою полную противоположность мужу: она худая, лицо землистого цвета, вся в брильянтах. Дамы одеты нарядно и тоже увешаны драгоценностями. Все сидят чинно, как настоящие аристократки, и просматривают альбомы. Только две из них, сидящие подле мадам Файн, беседуют с ней вполголоса. Остальные дамы, делая вид, что углублены в рассматривание альбомов, прислушиваются к их разговору, многозначительно переглядываются и при этом странно гримасничают. По случаю торжества у Файнов Колтун Ефим Пантелеймонович одет «шикарно»: во фраке, при белом галстуке и в белых перчатках. Он взял на себя роль главного распорядителя, обслуживающего гостей, не как слуга, — боже упаси, — а как близкий друг хозяев дома. Стоит поодаль от гостей, но держит себя высокомерно, с видом управляющего, которому дано право распоряжаться всем и всеми. Сват Соловейчик тоже здесь. Одет по-праздничному, лицо сияет. Он не в состоянии усидеть на одном месте.

Мадам Файн. Не родись красивым, не родись умным, а родись счастливым.

Первая дама. К чему вы это говорите, Гертруда Григорьевна?

Мадам Файн *(не обращает внимания на вопрос)*. Вы понимаете? Мой муж с давних пор имеет бесконечное множество выигранных билетов, но он не выиграл. А этот имел, с позволения сказать, один-единственный билет, и как раз на его номер падает выигрыш, да еще самый крупный!

Дамы, рассматривающие альбомы, многозначительно переглядываются и улыбаются.

Вы поверите? В тот день, когда мне сообщили «радостную весть», что двести тысяч достались этому... Сорокеру, я чуть не умерла. Сперва я не поверила. Потом, когда пришел мой муж, а за ним мой Соломон и сказали мне, что они сами видели директора банка Голдентолера и он сам это подтвердил, мне, с позволения сказать, стало так плохо! Еще минута — и я упала бы в обморок! А после этого мне всю ночь клали на сердце

мокрые полотенца. У меня, видимо, были спазмы... Еще теперь, когда я вспоминаю, у меня пробегают по телу судорога...

Дамы, рассматривающие альбомы, качают головами: «Ай-яй-яй!»

Первая дама. Но я слышала, будто этот Сорокер вот-вот станет тестем вашего сына, Гертруда Григорьевна!

Мадам Файн (*не обращая внимания на ее слова*). То же самое происходит со мной из-за женитьбы сына. Я всегда молила бога, чтобы он послал моему Соломону невесту не из нашего города, а из большого города, из знатной семьи....Такой сын, как мой Соломон!.. Мне ведь не надо его расхваливать, его и без того знают... Но вот в дело вмешивается сатана, любовь, с позволения сказать!..

На лицах дам, рассматривающих альбомы, появляются гримасы.

Одна из них говорит тихо: «Любовь к пятидесяти тысячам».

Вторая дама. Гертруда Григорьевна, а правду говорят, будто Сорокер дает за своей дочкой пятьдесят тысяч приданого?

Мадам Файн. Представьте себе, он дает как раз семьдесят пять тысяч... А если бы даже он давал все сто тысяч? Разве он не в состоянии это сделать? Она же — их единственное дитя! Но вы не должны забывать, кто такой, с позволения сказать, *он* и кто — *мы*.

Первая дама. Но ведь говорят, что девушка очень красивая.

Вторая дама. И хорошая, говорят, девушка!..

Мадам Файн (*не обращая внимания на слова обеих дам*). Если бы к нам пришел посредник и предложил невесту из такой семьи, мой муж сбросил бы его с лестницы. Но раз уж вмешалась любовь, с позволения сказать...

Колтун надменно и вместе с тем угодливо-покорно называет входящих гостей.

Колтун. Семен Макарович Сорокер! Эрнестина Ефимовна Сорокер! (*Подобострастно расшаркиваясь перед ними, он с фамильярно-дружеской улыбкой почти-тельно отступает, чтобы дать дорогу портному и его жене.*)

Шимеле в новеньком цилиндре. Эти-Мени странно одета. На ней все цвета радуги. Гости внимательно разглядывают обоих.

Шимеле Сорокер (*протягивает руку Колтуну*). Как поживаете, Ефим Панте... Панте...

Колтун (*убрав руки за спину, подсказывает ему вполголоса*). Пантелеймонович...

Эти - Мени (*тянет мужа за рукав*). Идем!.. Нашел, с кем завести разговор! Противно смотреть на него.

Шимеле Сорокер (*жене*). Это же Колтун, наш бывший управляющий! Ты его не узнала?

Хозяин дома, Ошер Файн, швыряет карты на стол, встает и бросается встречать гостей. Мадам Файн тоже встала. Из боковой двери выходит Соломон Файн. Идет навстречу гостям.

Ошер Файн (*по дороге*). Милости просим, дорогие гости! Мы все так долго и с таким нетерпением ждем вас. Почему так поздно? И где ваша дочь?

Шимеле Сорокер (*останавливается, не снимая цилиндра*). Она виновата! (*Указывает на жену.*) Начали одеваться, — и что бы мы ни надели, все плохо. А когда мы были уже совсем готовы (*осматривает себя в новом костюме*), она вдруг придумала, чтобы я надел цилиндр. Иначе она со мной не пойдет. Я ей говорю: «Зачем мне этот цилиндр? Зачем эта дымоходная труба на голове?» А она отвечает: «Все аристократы так одеваются...» — «А если аристократы отрежут себе носы, я тоже обязан?» (*Снимает цилиндр.*)

Колтун подбегает, хочет принять цилиндр и положить на место, но портной не отдает.

Один из гостей. Ха-ха! Отрежут себе носы! Хорошо сказано!

Все смеются. Среди гостей неожиданно вырастает фигура свата Соловейчика.

Соловейчик. Ха-ха! Замечательно! Если уж Семен Макарович скажут, так это — нечто особенное...

Ошер Файн (*берет портного под руку*). Пойдемте, я вас представлю моим гостям! (*Подводит его к каждому гостю отдельно.*) Макар Семенович Сорокер... Будьте знакомы... Макар Семенович Сорокер...

Шимеле Сорокер (*обрывает его*). Извините, вы перепутали молитву, вы вывернули ее наизнанку...

В это же время мадам Файн обнимает мадам Сорокер, сначала крепко целуется с ней, затем представляет ее дамам.

Мадам Файн. Где же ваша дочь?

Эти-Мени. Что-то ей нездоровится... Боюсь, не инфлюэнца ли у нее...

Мадам Файн. Боже упаси! Почему вы так думаете? Бывает, человеку нездоровится... Да я сама, с позволения сказать, целую неделю плохо себя чувствовала... *(Усаживает Эти-Мени на самое почетное место.)*

Первая дама *(тихо)*. Я не желаю ей плохого, но нам бы себя так чувствовать...

Вторая дама. И всем дай бог!..

Ошер Файн *(портному)*. Где же ваша дочь? Почему мы ее не видим?

Шимеле Сорокер. Вдруг заболела. Простудилась. А может, угорела... Осталась дома, бедняжка...

Ошер Файн *(усаживает гостя на самое почетное место)*.

Шимеле широко разваливается в кресле. Все занимают свои места.

*(Хозяин дома подает Шимеле коробку сигар.)* Что вы курите? Я хотел сказать, что вы больше любите — папиросы или сигары? Да, жаль, ох как жаль, что ваша дочь не пришла!

Шимеле Сорокер. Правду говоря, я не курю ни сигар, ни папирос. Но это не важно. Как говорится, от прибывка голова не болит... *(Берет сигару.)*

Один из гостей. От прибывка голова не болит! Ха-ха! Хорошо сказано!

Все гости смеются.

Соловейчик. Ха-ха! Замечательно!

Шимеле Сорокер *(поднеся сигару ко рту)*. Ну, кто из вас с огоньком и может дать прикурить?

Несколько гостей поспешно роются в карманах и сразу подносят ему зажженные спички.

Большое вам спасибо! *(Подносит сигару к огню, пыхтит, крихтит, но ему все не удается прикурить.)*

Соловейчик *(стоявший в стороне, подбегает)*. Извините! Вы же забыли откусить этот питем\* райского яблока.

Шимеле Сорокер *(Соловейчику)*. Зачем же я стану откусывать питем райского яблока? Разве я беременная женщина?

Отдельные голоса. «Беременная женщина»!  
Ха-ха! Хорошо сказано!

Остальные смеются.

Соловейчик. Замечательно! Ха-ха!

В это время дамы усиленно ухаживают за женой портного: кто подносит ей стул, кто подсовывает ей скамеечку для ног, кто показывает ей альбомы. Мадам Файн с сияющей физиономией следит, чтобы всем был подан чай. Колтун сервирует чай искусно, ловко, как фокусник.

Шимеле Сорокер (*схватил Колтуна за фрак*). Ефим Пантелеймонович! Что это вы все мечетесь как угорелый? Постоите минуточку! Я хочу у вас кое-что спросить. Вы хоть помните, как три недели тому назад говорили мне, что с тех пор, как существует мир, ни один человек еще не выиграл по выигрышному билету? Вы сказали, что это мошенничество? Эх, наш брат!

Мадам Файн вне себя от скандального происшествия: будущий тесть ее сына завел разговор с приказчиком. Она взглядом предлагает мужу спасти положение — загладить впечатление от «скандала».

Ошер Файн. Вас можно поздравить, Семен Макарович. Говорят, вы сделали большое дело.

Один из гостей. Миллионное дело!

Шимеле Сорокер. До миллионов еще далеко, но если бог захочет, будут и миллионы...

Один из гостей. Говорят, вы сделали синдикат из всех кинематографов нашего города?

Еще один из гостей. В Америке это называется трест.

Шимеле Сорокер. Я не знаю, как это называется в Америке, но я знаю одно: из всех дел, которые мне предлагали, это было самое лучшее, самое красивое и самое почетное. А миллионы — у бога... (*Дымит сигарой.*) Вы не можете себе представить, сколько дел мне предлагали. У вас не хватит волос на голове, чтоб сосчитать! И все, все без исключения вдруг стали моими лучшими друзьями и готовы за меня хоть сквозь землю провалиться!

Раздается звонок. Колтун скользящим шагом устремляется к двери.

Колтун (*объявляет громогласно*). Генрих Феликс-ович Гимелфарб!

Ошер Файн (*берет за руку Гимелфарба, подводит к гостям и представляет его*). Генрих Феликсович Гимелфарб — бухгалтер «Частно-коммерческого» банка.

Шимеле Сорокер. Старый знакомый! (*Подает ему руку.*) Что слышно нового? Наш брат!

Гимелфарб. Да, мы старые-старые знакомые. (*Хозяину дома.*) Я первый принес им радостную весть, когда на их билет пал самый крупный выигрыш. (*Портному.*) Что? Разве я не был первым?

Шимеле Сорокер. Первый не первый, но из первых.

Один из гостей (*повторяет*). Первый не первый, но из первых... Ха-ха! Хорошо сказано!

Все смеются.

Соловейчик. Когда Семен Макарович скажут, — так это уже нечто особенное!

Шимеле Сорокер (*свату*). Собственно говоря, что я такое особенное сказал?

Гимелфарб (*портному*). Во всяком случае, на наш банк вам жаловаться не приходится.

Шимеле Сорокер. Потратить бы мне на врачей и лекарства столько, сколько я потерял на делах с вашим банком! Всем бедным мастеровым желаю таких дел, наш брат простой народ!

Гимелфарб (*портному*). Спрашивается, почему же в таком случае вы ни с того ни с сего ушли от нас? Это же называется: черная неблагодарность, или, как говорят, поблагодарить камнем по голове... Мы, конечно, из-за вас не попали, упаси боже, в беду. Но все-таки обидно. У нас ведь своя амбиция! У нас не какой-нибудь мелкий банк! Наш банк вполне мог бы работать даже в Егупце! Он и там лицом в грязь не ударил бы! Подумаешь, какую роль играет для нас выдать сто пятьдесят тысяч рублей! Для нас это просто — фу! (*Взмахнул рукой.*)

Шимеле Сорокер (*не поняв, продолжает пить чай; оглядывается*). Вы не знаете, чего он хочет, этот чудак?

Гимелфарб (*продолжает, не слушая*). Мы не разоримся, упаси боже, и без ваших денег. Приятно, конечно, иметь такого клиента, как вы. Почему бы и нет? Но жили ведь мы и до того, как вы выиграли эти двести

тысяч! Все же нам обидно, что вы надумали вдруг, ни с того ни с сего, забрать все ваши деньги!

Шимеле Сорокер (*смеясь во все горло*). Что за чушь! Что он лопочет? Что он мне морочит голову? Чудак какой-то.

Гимелфарб (*не слушая, говорит безостановочно*). В первую минуту, как только мы увидели ваш чек на такую сумму, нам стало немножко не по себе, и мы хотели послать к вам проверить: не ошибка ли это? Но мы же слышали, что вы предпринимаете какое-то колоссальное дело, — синдикат, затеваете чудовищно большое предприятие. Поэтому мы только обратились за указаниями к нашему директору господину Голдентолеру. А наш директор распорядился не ставить никаких вопросов и выдать деньги... Но по тому, как он говорил об этом легко было заметить, что директор обижен. И он прав! Ведь какое бы крупное дело ни затевалось, все равно не могут понадобиться вам сразу все сто пятьдесят тысяч... Следовательно, есть еще одна причина, по которой вы решили перевести ваш текущий счет в другой банк. Я не спрашиваю, какой это банк, потому что мы не боимся конкуренции. Я только спрашиваю: что тут за причина? Я прошу вас: вот сейчас при всех скажите...

Все постепенно заинтересовываются. Мужчины окружают портного и бухгалтера. Дамы прислушиваются издали. Никто ничего не понимает и меньше всех — портной.

Шимеле Сорокер (*Файну*). Сколько, «наш брат», этот господин Сорок-один говорит, я взял со счета?

Ошер Файн. Он говорит: сто пятьдесят тысяч...

Шимеле Сорокер. Ха-ха-ха! Настоящий шут! (*Бухгалтеру*.) Молодой человек, идите домой и проспите!

Гимелфарб. Лучше вы идите спать, — вам пора. А я человек молодой и хочу еще повеселиться. Говорили, что сегодня здесь и танцы будут. Вы же не танцуете, Семен Макарович, а я танцую.

Шимеле Сорокер. Танцуй, танцуй! На здоровье! Но что это за сто пятьдесят тысяч? О чем ты говоришь?

Гимелфарб (*рассердившись*). Во-первых, я попрошу вас не тыкать...

Шимеле Сорокер. Чего не делать? (*Закрывает один глаз*.)



Гимелфарб. Не тыкать! Не говорить мне «ты»... Правда, я — моложе вас, намного моложе, но я тоже уже не мальчик.

Ошер Файн (*хочет примирить их*). Ну, бросьте!.. Пустяки!..

Соловейчик (*тоже вмешивается*). Чепуха!

Гимелфарб. А во-вторых, зачем вы прикидываетесь наивненьким: «Что это за сто пятьдесят тысяч?» Может быть, вы еще скажете, что это не ваш чек принес какой-то Кременчук или Романчук?

Шимеле Сорокер. Не Кременчук и не Романчук, а Вигдорчук. Это один из моих компаньонов, которые организуют вместе со мною эту... эту фильмокомпанию. И я ему действительно выдал чек на пятнадцать тысяч...

Гимелфарб. Вероятно, вы хотите сказать — на сто пятьдесят тысяч?

Шимеле Сорокер. Это *вы*, вероятно, так хотите сказать! А я говорю точно, столько, сколько было написано в чеке.

Гимелфарб. Если вы хотите назвать точную сумму, которая была обозначена в чеке, вы должны сказать: сто пятьдесят тысяч.

Шимеле Сорокер. Почему?

Гимелфарб. Потому что вы сами приказали выдать именно такую сумму.

Шимеле Сорокер. Вы что, хотите сказать, что я сумасшедший?

Гимелфарб. Нет, это вы хотите представить *меня* лгуном или плутом. Но, может быть, вы шутите? Бог вас знает...

Все заинтересовываются. Мужчины еще теснее окружают спорящих.

Шимеле Сорокер (*уже обеспокоенный*). Ну, я вас спрашиваю, что вы скажете об этой комедии? Он мне рассказывает, будто я дал чек на сто пятьдесят тысяч, когда я выдал на пятнадцать тысяч. Какой-то странный человек!

Ошер Файн. Между пятнадцатью и ста пятьюдесятью тысячами чересчур большая разница.

Соловейчик. Замечательно!

Шимеле Сорокер. Что вы мне рассказываете сказки? Я ведь сам писал чек... То есть не я, писал-то

он—этот Вигдорчук. Но я хорошо смотрел, когда под-  
писывал. (*Пишет в воздухе пальцем.*) Одна единица,  
одна пятерка и три нуля...

Гимелфарб (*тоже пишет в воздухе*). Одна едини-  
ца, одна пятерка и четыре нуля.

Шимеле Сорокер (*пишет в воздухе*). Три нуля!

Гимелфарб (*пишет в воздухе*). Четыре нуля.

Шимеле Сорокер. Посмотрите, как он размахи-  
вает рукой, этот надутый индюк!.. Четыре нуля! Пять  
нулей! Шестьсот нулей!.. А разве там не было написано  
словами ясно и точно: «Пятнадцать тысяч»?!. Что вы те-  
перь скажете, наш брат?

Гимелфарб (*громко*). Вы, вероятно, хотите ска-  
зать: «Сто пятьдесят тысяч! Сто пятьдесят тысяч руб-  
лей!»

Ошер Файн. Фи, здесь какая-то некрасивая исто-  
рия!

Все, в том числе и дамы, столпились около спорящих. Чувствуется,  
что назревает какое-то событие. Эти-Мени подошла последней.

Эти-Мени. Что здесь происходит, Шимен... то есть  
Семен Макарович?

Во время спора между Шимелем и Гимелфарбом Колтун стоит  
в стороне. «Мефистофельски» улыбаясь, он смотрит то на одного,  
то на другого и злорадствует. Раздается звонок. Колтун скользя-  
щим шагом устремляется к двери, возвращается и объявляет.

Колтун. Максим Васильевич Голдентолер!

На мгновение взоры всех обращены на дверь. Ошер Файн идет на-  
встречу директору, хочет представить его гостям, но Гимелфарб ме-  
шает ему и, горячась, кричит.

Гимелфарб. Вот и сам директор! (*Голдентолеру.*)  
Максим Васильевич! На какую сумму был чек господина  
Сорокера, по которому мы уплатили какому-то Мееро-  
вичу... или Вигдоровичу... а может быть, Вигдорчуку—  
да, Вигдорчуку?

Голдентолер (*равнодушно-спокойно*). Сто пять-  
десят тысяч рублей. А что?

Шимеле Сорокер (*с блуждающим взором*). Эти-  
Мени!.. Где мы? (*Увидев жену, кричит не своим голо-  
сом.*) Спасите! Караул! Бегите! Догоняйте! Ловите!  
Меня обокрали! Ограбили! Обобрали до нитки! Они же

все забрали! Я стал нищим! Помогите! Помогите мне поймать этих разбойников! *(Хватает свой цилиндр и устремляется к дверям.)*

Открывается дверь, и врывается Мендл. Лицо его выражает сильный испуг.

Мендл *(ищет глазами кого-то)*. Не было здесь Изабеллы Семеновны? Значит, на вас свалилось большое несчастье... Хозяин! Ваша дочь удрала через окно и — фьють!..

Эти-Мени *(заламывает руки)*. Горе мне! Горе мне горькое! Несчастье стряслось! Беда на мою голову!.. Теперь я понимаю, в чем дело! Я знала, что так будет!.. Она же мне говорила: «Мама, я убегу куда глаза глядят!..»

Шимеле Сорокер *(жене)*. Вот как! Чего же ты молчала?! Дура! Почему ты мне не сказала? *(Хватается за голову.)* Дочь моя! Мое дитя!.. Пусть пропадут к черту деньги! Пусть все к черту пропадет, — лишь бы с дочерью моей ничего не случилось!.. *(Быстро вынимает кошелек из кармана, срывает с себя золотую цепочку с часами, кричит.)* Эти-Мени! Снимай! Дай сюда жемчуг! Серьги! Кольца! Все драгоценности!..

Эти-Мени послушно снимает с себя все и отдает мужу.

*(Он собирает все в цилиндр и протягивает гостям.)* Вот! Отдаю вам все, что имею!.. Делайте что хотите — только помогите мне найти дочь! Помогите мне! Помогите мне вернуть мою дочь!.. *(Рыдает.)*

Эти-Мени тоже плачет. Все ошеломлены.

*Занавес падает.*

*Конец третьего действия.*

## ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Заезжий двор близ железнодорожной станции. Две комнаты. Одна — большая, светлая. У стен — две опрятно застеленные кровати. Столик, несколько стульев, диван, зеркало. На стенах — дешевые картины в простых рамках. Несколько горшков с цветами. Две двери: одна — прямо против зрителя — ведет на улицу, вторая — в другую комнату. У закрытой двери, ведущей в соседнюю комнату, приложив к ней ухо, стоит Мотл Косой. Посреди комнаты стоит Копл Фалбон. Они тихо разговаривают.

Копл Фалбон (*Мотлу*). Ну?

Мотл Косой (*отступая от дверей на цыпочках*). Она еще спит...

Копл Фалбон. Шутка ли! Такая ночь! Она ведь совсем не спала!..

Мотл Косой. А страх? А ужасы? Ей все казалось, что за нами погоня...

Копл Фалбон. Откуда ты знаешь?

Мотл Косой. Она сама мне сказала...

Копл Фалбон. Когда?

Мотл Косой. Сегодня... Когда ты пошел заказать еду, самовар, мы здесь немножко побеседовали...

Копл Фалбон. О чем?

Мотл Косой. Обо всем...

Копл Фалбон. А о том, что будет дальше?

Мотл Косой. Тоже говорили...

Копл Фалбон. Что говорили?

Мотл Косой (*раздраженно*). Что говорили! Сам знаешь, зачем же спрашивать? Она боится, чтобы отец не догнал нас... Тогда нам всем несдобровать!

Копл Фалбон. В таком случае... Что же нам остается делать?

Мотл Косой. Остается только одно: возможно скорее справить свадьбу. Тогда пусть он приезжает хотя бы вместе с раввином и раввиншей, — поздно, пропало... Значит, теперь надо решить только один вопрос: кто из нас двух будет тем счастливым?

Копл Фалбон (*испуганно*). Ну да! В этом все дело!..

Мотл Косой. Но об этом мы с тобой давно уже договорились. Либо мы предоставим это ей самой, то есть Бейлке... Пусть, стало быть, сама скажет, кого она выбирает... Либо мы бросим жребий...

Копл Фалбон (*беспокойно*). А она тебе еще ничего не говорила, кто... то есть... кого...

Мотл Косой. Глупенький, если б она мне сказала, я бы тебе рассказал...

Копл Фалбон. Значит, все еще висит в воздухе?

Мотл Косой (*поднимает глаза кверху*). Конечно, в воздухе... Однако не мешает заранее приготовить все, что потребуется для венчания...

Копл Фалбон. А именно?

Мотл Косой. Например, десять евреев...\*

Копл Фалбон. Ну, это не трудно: заплатим по полтиннику, сейчас же соберутся.

Мотл Косой (*оживленно*). Дай бог, чтобы все было так хорошо, как твой план!

Копл Фалбон. А если здесь нет раввина, я могу пойти на то, чтобы венчал любой честный еврей!

Мотл Косой. Ей-богу, Копл, ты умница! Ты человек с головой!

Копл Фалбон. А если у них нет здесь балдахина для венчания? Ничего, обойдемся. Возьмем четыре палки, натянем большой платок... Чем плохо?

Мотл Косой (*обнимает его*). Копл! Расцеловать тебя надо за это! Делай так, как ты придумал! Пусть все будет наготове!.. Ступай, а я побуду здесь: нельзя же оставлять ее одну...

Копл Фалбон. Боже сохрани! (*Колеблется*.) Но дело вот в чем: не лучше ли нам раньше узнать, как и что... а потом пойти...

Мотл Косой. Нельзя медлить. Что, если, не дай бог, нагрянет отец... Зачем терять время? Нет, лучше ты все приготовь. А когда вернешься, мы вместе с ней и решим — туда или сюда!.. Что ж? Кому выпадет счастье... Но я тебя уверяю, если ты окажешься счастли-

цем, я сердечно порадуюсь за тебя... Что я могу против тебя иметь? Ведь у нас с тобой одно и то же желание: видеть Бейлку счастливой...

Копл Фалбон. Я тоже так считаю. Если ты — твое счастье... Ведь главное — Бейлка... Ну, я иду. *(Одевается.)* А ты уж тут старайся, следи за всем... *(Копл идет к двери, возвращается, останавливается на мгновение, уходит.)*

Мотл Косой *(про себя)*. Вот размазня! Он еще надеется... Кажется, и слепому видно, в кого влюблена Бейлка... *(Прислушивается.)* Кажется, встала...

Открывается дверь, ведущая во вторую комнату. На пороге показывается Бейлка. Она сняет и улыбается.

Бейлка *(приводит в порядок слегка растрепавшиеся волосы, осматривается)*. Никого нет? А Копл?

Мотл Косой. Ушел поискать балдахин, привести людей и все прочее. Как мы условились...

Бейлка. Мотл! А это должно произойти именно сегодня?

Мотл Косой. А как же? Отложить на завтра? Вдруг нагрянет твой отец...

Бейлка. Ой, Мотл, молчи! Я даже подумать об этом не могу! *(Приближается к нему.)* Мне хочется отомстить им, доказать, что я человек, что я живу своим умом, что я свободна!.. А потом пусть они приходят и говорят что угодно... Ах, Мотл, Мотл! Ведь у нас девушка освобождается от родительской власти только тогда, когда отдает свою свободу кому-нибудь другому...

Мотл Косой. Разве кто-нибудь говорит о твоей свободе? Разве кто-нибудь хочет отнять у тебя свободу? Бейлка, душа моя! Разве мы не клялись любить друг друга верно и вечно?! Разве мы не связаны с тобой давным-давно? Задолго до того, как твой отец, к его большому счастью или большому несчастью, заполучил крупный выигрыш? Но мы друг другу об этом не говорили, пока не пришло время... А теперь? Неужели один из нас уже раздумал?

Бейлка *(пылко)*. Я не такая! Уж если я решила... Я только пожаловалась на свою судьбу. Почему я — единственная дочь, всеми любимая, над которой всегда дрожали и отец и мать, — почему я должна самый радостный день в моей жизни, самый лучший праздник моего сердца, справлять тайком и поспешно, словно я

совершаю какое-то преступление... Не забудь, Мотл, что отец мне все-таки отец. И мать — все-таки мать...

Мотл Косой. Видишь ли, если тебе жалко отца и мать, то могут быть два выхода: подождать, пока они приедут сюда, или повернуть оглобли и ехать домой...

Бейлка. Боже сохрани! Тогда я пропала! Ты не знаешь моего отца. Думаешь, он такой же, как был раньше? Пусть бог простит мне эти слова, но с тех пор, как отцу достался крупный выигрыш, он просто взбесился. Нет, я должна его так проучить, чтобы возврата к прошлому не было.

Мотл Косой. Значит, только ради этого?

Бейлка (*смотрит на него, улыбаясь*). Ах, Мотл! Ну и занятный же ты парень, Мотл! Тебе хочется лишний раз услышать слово «люблю»... Люблю тебя так, как можно любить только жизнь!.. Копл уже все знает? Ты говорил с ним?

Мотл Косой. Нет, Бейлка, я не смог... Сердце не позволяет!.. Парень совсем ослеп. Он все еще надеется: а вдруг ты выберешь его, а не меня...

Бейлка (*загрустила*). Жалко его... он меня любит...

Мотл Косой. Души в тебе не чаёт!

Бейлка. Как же быть? Может быть, мне с ним потолковать?

Мотл Косой. Если можешь... Я ему сказал, что ты должна решить сегодня же, в последнюю минуту, кто из нас тебе по сердцу. А если ты откажешься это решить, тогда мы будем бросать жребий, тянуть узелки. Кто вытянет узелок...

Бейлка (*звонко смеется*). Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Мотл Косой (*удивленно*). Что тут смешного?

Бейлка. Мне пришла в голову мысль! Замечательная мысль! (*Вынимает белый платок, делает два узла.*) У меня тут два узла. Ты — старше Копла, вот я тебе первому и дам тянуть. И ты вытянешь узелок — ха-ха-ха!..

Слышатся шаги. Бейлка отходит к окну. Входит Копл Фалбон, вспотевший, нагруженный свертками и кулками.

Копл Фалбон. А, Бейлка уже встала? (*Бейлке.*) Желаю здравствовать!.. Уф! Ну и набегался же я... (*Складывает свертки и кульки, вытирает пот.*)

Мотл Косой. Хоть не напрасно бегал? (*Рассматривает свертки.*)

Копл Фалбон. Боже упаси! Как это напрасно?.. Сейчас сюда придут люди со всем, что полагается, как мы уговорились... *(Указал на свертки.)* А это разные лакомства и закуски: пряники, селедка, немного крепкого вина...

Мотл Косой. Bravo, Копл! Ты достоин медали!.. Теперь дело только вот за чем: значит, десять евреев для обряда венчания у нас есть, кому совершить венчание — тоже есть, и балдахин есть. Вином, закуской и пряниками мы тоже обеспечены. Невесту мы тоже имеем. Осталось решить только одно: кто из нас будет женихом? *(Бейлке.)* А уж это ты *(спохватился)*... то есть вы, Бейлка, должны решить... Зависит от тебя... то есть от вас...

Бейлка. Поверьте, мне очень тяжело... Мне неприятно.. Вы знаете, как я вам обоим благодарна... Вы оба так много для меня сделали...

Мотл Косой. Мы и теперь готовы для вас...

Копл Фалбон. ...в огонь и в воду!

Бейлка *(делает вид, что обдумывает)*. Погодите!.. Знаете, что мне сейчас пришло в голову? Давайте бросим жребий!..

Мотл Косой. Мы и сами об этом подумывали...

Копл Фалбон. Даже до того еще, как случилось это несчастье с выигрышем...

Бейлка. Видите? Удачная мысль приходит на ум сразу многим... *(Вынимает платок с готовыми узелками, отворачивается, словно для того, чтобы завязать узел, и затем протягивает им торчащие из кулака два хвостика.)* Кто из вас старше?

Копл Фалбон *(уже протянувший было руку к платку)*. Ты старше, Мотл, если я не ошибаюсь...

Мотл Косой. На один год и одну неделю...

Бейлка *(Мотлу)*. Если так, тогда ты... то есть вы, Мотл, должны тянуть первым... *(Протягивает ему кулак с двумя хвостиками платка.)*

Мотл Косой делает вид, что задумывается на мгновение, колеблется и медленно тянет двумя пальцами кончик платка; показался узелок. Бейлка прячет платок.

Мотл Косой *(словно стряхивая что-то со своих рук, смотрит на Копла взглядом, просящим прощения)*. Ну?..



Копл Фалбон (*побледнев и вздохнув, обращается к Мотлу*). Твое счастье... Дай бог... (*От волнения он не может больше говорить; глотает слезы.*)

Бейлка. Эх, Копл, я не ожидала... Я считала вас другом...

Мотл Косой (*Бейлке*). Разве он что-нибудь говорит? Наоборот!..

Копл Фалбон. Вот именно... Дай мне бог того же, чего я желаю Мотлу и вам обоим... Это ведь жребий, лотерея...

Мотл Косой. Если бы он вытянул, он и был бы...

Копл Фалбон. Конечно, если бы вытянул я... Желаю вам вместе дожить до старости и в... и в... полном благополучии!

Мотл Косой. Аминь! Поди сюда, давай расцелуемся.

Мотл и Копл обнимаются и целуются.

Копл Фалбон. Сказать вам правду? Если вы хотите знать, мое сердце давно уже подсказывало мне, что счастливец окажется Мотл, а не я... Куда мне?! Я всегда был самым настоящим неудачником... Отпетый неудачник!.. И я ни к кому не в претензии... Бог свидетель, как я вас любил, Бейлка, и как люблю еще сейчас и какой я настоящий друг моему товарищу Мотлу... Повторяю: дай бог мне хоть половину того, что я вам желаю... А если была у меня маленькая надежда, то я не виноват... Я ведь только человек... Но я не забывал, что судьба может мне и не улыбнуться. Ну, вот я и решил: если, упаси боже, для меня все развеется как дым, я сейчас же уеду в Америку. Если не верите, вот... (*Расстегивает сюртук, вынимает из внутреннего кармана книжечку.*) Вот я приготовил паспорт...

Мотл Косой и Бейлка переглядываются. Оба растроганы.

Бейлка. Зачем так далеко, в Америку? Оставайтесь здесь, и давайте будем настоящими друзьями.

Мотл Косой. Подумай, Копл, кто тебя просит...

Копл Фалбон. Мы еще подумаем... А пока я ведь остаюсь с вами и раньше всего должен справиться вашу свадьбу. Я ведь буду на этой свадьбе вроде как единственный близкий родственник жениха.

Бейлка. Нет, невесты!

Мотл Косой. И жениха и невесты!

Копл Фалбон. И жениха и невесты. (*Прислушивается.*) Идут? Идут...

Один за другим входят десять евреев разного вида: в картузах и шляпах, в длинных кафтанах и коротких пиджачках. Один подпоясан красным платком, а из-под мягкой шляпы видны толстые пейсы и ермолка. Он взял на себя роль раввина. Другой держит в руках стаканчик и бутылку. Он заменит синагогального служку. Четверо держат высокие шесты, к верхним концам которых привязана зеленая шаль с бахромой. Это будет заменять свадебный балдахин. Осторожно проскользнули сюда несколько женщин. Они стали поодаль с благочестивым выражением на лицах, готовые произнести: «Благословен бог и благословенно имя его, аминь!» Мальчишки-озорники пришли посмотреть «тайную свадьбу». Они к тому же надеются получить по куску пряника.

(*Подмигнув тому, кто взял на себя роль раввина.*) Ну?!

Еврей (*Коплу*). Ну-ну! (*Кивком предлагает одной из женщин подойти к невесте.*)

Женщины подходят к Бейлке, разворачивают желтый платок.

Женщина. Кто жених? (*Жестом приглашает Копла подойти ближе.*)

Копл Фалбон (*указывая на Мотла*). Жених он.

Мотл Косой (*подходит*). Это я.

Женщина (*дает ему желтый платок*). Будьте любезны, вот этим платком покройте невесте лицо. Это нам заменит фату.

Мотл берет платок, медленно подходит к Бейлке и покрывает ей лицо. Женщина берет Бейлку за руку и жестом показывает Коплу взять жениха под руку. Копл ведет жениха и невесту под балдахин.

Еврей (*жениху*). Ну! Кольцо!

Жених не понимает его вопроса.

Женщина. Обручальное кольцо!..

Копл Фалбон (*схватился за карман*). Кольцо? Есть, есть... Обо всем я должен помнить... Все приготовить, даже обручальное кольцо. (*Вынимает из кармана завернутое в бумажку кольцо, разворачивает бумажку, достает кольцо, передает его Мотлу.*)

Еврей (*Мотлу*). Надень кольцо на палец невесте и повторяй за мной каждое слово! (*Он говорит. Мотл повторяет за ним.*) «Вот ты... обвенчана... со мною... этим...

кольцом... по закону... Моисея и Израиля...» (Всем.)  
Поздравляю! Мазлтов!

Все присутствующие. Поздравляем! Мазлтов!

Копл и Мотл обнимаются, целуются. Шум усилился. В разгар шума в комнату врываются Шимеле Сорокер, Эти-Мени и Соловейчик. Переполох.

Бейлка (*припадает головой к рукам Мотла*). Отец!.. Мама!..

Шимеле Сорокер (*оглядывается, не узнав дочери, лицо которой закрыто желтым платком*). Где она?! Где мое дитя?! Что вы молчите?! Наш брат!..

Эти-Мени. Ты не узнал ее голоса?

Соловейчик (*протискивается*). Позвольте!.. Извините, господа! Вот же она! (*Срывает желтый платок с лица Бейлки*.) Замечательно! Вот так история! Это же нечто особенное!..

Шимеле Сорокер (*увидев Бейлку, бежит к ней с раскрытыми объятиями*). Доченька моя дорогая! Ты жива, и мои глаза тебя видят! Чего же еще?!

Бейлка падает в объятия к отцу. Оба плачут.

Эти-Мени (*заламывает руки, опускается на стул, покачивается, плачет и причитает*). Горе мне, горе мое горькое! Гром меня поразил! Несчастье какое! До чего мы дожили и что мы видим своими глазами! Чем согрешили мы перед богом, что наш ребенок так нас опозорил? Что здесь делается?! С кем она хочет венчаться? Все в моей жизни опустело, все потемнело!..

Соловейчик (*который уже успел поговорить шепотом с присутствующими и в одну минуту все узнать, обращается к Эти-Мени*). Извините, мадам, вы не понимаете, о чем говорите. Ваша дочь только что обвенчалась. Вот с этим хлопцем... (*Показывает на Мотла*.) Вас надо поздравить, мазлтов!..

Эти-Мени (*закидывает голову, словно падает в обморок*). Гром меня поразил! Ой, беда, удар какой! Пуля попала мне в самое сердце! Копьем в мое сердце ударили!..

Шимеле Сорокер. Ладно! Тихо! Хватит тебе причитать, глупая плакальщица! Ослиная твоя голова! А если бы твое дитя, сохрани господь, умерло, тебе было бы лучше? Слыхали, какое несчастье? Ее дочь вышла замуж за человека, который ей ровня, за портного! Это

же — настоящий наш брат! А мать еще горюет. (*Дочери.*) Который твой муж? (*Показывает на Мотла и на Копла.*) Этот? А может быть, тот? Мне еще не очень ясно...

Копл Фалбон (*указывая на Мотла*). Он счастливее, он... Мы бросали жребий...

Шимеле Сорокер (*поражен*). Какой жребий?

Копл Фалбон. Мы же оба были влюблены... Поэтому мы тянули узелки. И он вытянул... Значит, он выиграл....

Соловейчик. Замечательно! Разве я не говорил вам, что один из них двоих женится на вашей дочери? Клянусь вам жизнью...

Шимеле Сорокер. Зачем же надо было бежать из дому? Ведь вы могли сказать мне. Было бы красиво, благородно и тихо, и наш брат...

Мотл Косой. Разве можно было говорить с вами?

Бейлка. После этого несчастного случая, после того, как ты выиграл крупный выигрыш?

Шимеле Сорокер. Ты мелешь чушь! Вздор ты городишь! Нет больше выигрыша! Нет моего несчастья! Обобрали, все высосали, околпачили, выскребли все — до последнего гроша! И следа от денег не оставили. Я теперь такой же наш брат, как был...

Бейлка (*поражена*). Кто у тебя забрал? Где? Когда?

Эти - Мени. Вот те двое!.. Эти пройдохи из театра...

Бейлка. Вигдорчук и Рубинчик? Как это случилось?

Шимеле Сорокер. Как бы ни случилось — все пропало... Отняли как миленькие, удрали — и ищи ветра в поле!.. И воробей на крыше не чирикнул... Но может быть, ты думаешь, что перед этим, накануне ночью, мне не снился плохой сон? Дай бог, чтобы на их головы обрушилось все, что мне снилось!

Эти - Мени. Аминь!

Женщины (*их лица приняли благочестивое выражение*). Аминь! Благословен он и благословенно имя его!..

Шимеле Сорокер. Ну, ладно! Шут с ними! Мое дитя нашлось — чего ж мне еще надо?! И я воздымаю руки к небу и говорю: «И это — к лучшему!..»

Эти - Мени. Аминь!

Женщины (*благочестиво*). Аминь! Благословен он и благословенно имя его!..

Шимеле Сорокер. Правда, я остался гол как сокол! Сам бог покарал меня за то, что я захотел стать миллионщиком... Захотелось пролезть в знать... Голова у меня закружилась. Я опьянел... вроде как угорел... Теперь угар прошел, я протрезвился и вижу, что был дурак дураком, что меня пороть следует... *(Присутствующим.)* Люди добрые! Вы, верно, слышали, что одному бедному портному выпал самый большой выигрыш — двести тысяч? Это я выиграл! Меня зовут Шимеле Сорокер... Двести тысяч улетучились, унеслись с ветром и дымом. И опять Шимеле — такой же наш брат, как и был... Сегодня у меня радость, веселье: моя дочь, в добрый час, вышла замуж! Но где же пирушка в честь ее свадьбы?! Давайте нальем понемножку чего-нибудь покрепче и выпьем за наш простой народ, наш брат, уют и ножницы!.. Лехаим!

Копл Фалбон *(бросается к своим сверткам и кулькам, разворачивает их и раскладывает на столе)*. Здесь есть все: и выпивка и закуска...

Он и заменяющий синагогального служку расставляют на столе бутылки и стаканчики.

Соловейчик *(берет на себя роль распорядителя свадебного стола. Он проводит Мотла и Бейлку на почетные места за столом, а Шимеле и Эти-Мени сажает рядом с молодыми)*. Извините, вам полагаются самые почетные места. *(Остальным.)* Давайте все к столу! *(Коплу.)* Ну-ка, родственник жениха! Наливай стаканчики! *(Женщинам.)* Женщины! Берите пряники и сотворите над ними молитву! *(Раздает им пряники и пробует сам. Указывает взглядом на детей.)* Дайте этим хлопчикам тоже по куску пряника! Это будет доброе дело. К тому же пряники вкусные — нечто замечательное! *(Жует.)* Лехаим, друзья жениха и друзья невесты! Лехаим, все собравшиеся! Дай нам бог здоровья! И танцевать на свадьбах! *(Пьет.)*

Все протягивают друг другу стаканчики, пьют и закусывают.

Шимеле Сорокер. Выслушайте меня, люди добрые! История вот такая: у меня сегодня двойной праздник. Во-первых, нашлось мое дитя, моя единственная дочь, которой дорожу как зеницей ока! Пусть она будет здорова и переживет меня!

Эти-Мени. Аминь!

Женщины (*с благочестивой миной*). Аминь! Благословен он и благословенно имя его!

Шимеле Сорокер. Во-вторых, она соединила свою судьбу с человеком, который ей ровня, она выбрала себе мужа из нашего простого народа, — утюг и ножицы! Она и слушать не хотела о том гусе, об аристократе, который с улыбочкой подбирался к приданому в пятьдесят тысяч. Я было и думал дать ей именно столько. Но жулики забрали эти деньги и заодно еще сто тысяч. Пропади они пропадом вместе с деньгами. Если суждены мне, вам, всем евреям всякие беды, пусть они обрушатся на головы этих двух жуликов.

Эти - Мени. Аминь!

Женщины (*благочестиво*). Аминь! Благословен он и благословенно имя его!

Шимеле Сорокер. Но если так случилось, надо опять налить понемножку и выпить «лехаим» в честь молодых, и в честь их родных и друзей, и... и в честь всех наших, в честь нашего брата простого народа!.. (*Протягивает свой стаканчик к другим, пьет.*)

Все пьют вместе с ним.

Теперь я хочу выпить с тем, кого выбрала моя дочь. (*Мотлу.*) Лехаим, Мотл! И дай бог, чтобы твой выигрыш был счастливей и долговечней моего.

Эти - Мени. Аминь!

Женщины (*благочестиво*). Аминь! Благословен он и благословенно имя его!

Шимеле и Мотл целуются.

Шимеле Сорокер (*уже совсем навеселе*). Выслушайте меня! Уж если господь привел, что мы встретились с вами на таком торжестве, бесовестно будет не повеселиться и не поплясать по-настоящему, как полагается. Давайте возьмемся за руки, вы поможете мне петь, и мы все будем танцевать. Наш брат настоящий простой народ!..

Все окружают Шимеле, прихлопывают в ладоши, подхватывают веселую мелодию. Из толпы отделяется еврей, обвенчавший молодых. К нему присоединяется еще один, и оба пускаются в пляс.

Соловейчик (*останавливает первого*). Дядя, кто вы такой?

Еврей (*продолжая плясать*). Тот, кто венчал молодых!

Соловейчик. А другой кто? (*Указывает на второго пляшущего.*)

Еврей (*продолжая плясать*). Просто еврей...

Шимеле Сорокер. Совершенно верно! Это бра-  
вый еврей! Он наш брат! (*Подбирает полы сюртука,  
танцует «фрейлехс».*)

Соловейчик. А что же я? (*Засучив рукава, пля-  
шет перед Шимеле.*)

Оба стараются превзойти друг друга в пляске. Темп ее делается все более стремительным и бурным, до того момента, пока в середине круга не врывается женщина, которая вела невесту под балдахин. Помахивая желтым платком над головой, она пляшет «козачка». Копл Фалбон не может совладать с собою и тоже пляшет в середине круга, пускаясь вприсядку. Все поют, хлопают в ладоши.  
Голос Шимеле покрывает шум.

Шимеле Сорокер. Крепче, братцы! Живее! Жи-  
вее! Наш брат, утюг и ножницы! Наш брат простой  
народ!!!

*Занавес медленно падает.*

## **О ЛИТЕРАТУРЕ**





## СУД НАД ШОМЕРОМ

### ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Лет двадцать прошло с тех пор, как еврейский язык стал обнаруживать признаки языка, шевелиться, приходить в движение. Такие три великана, как Абрамович \*, Линецкий \* и Гольдфаден \* в Польше, а также Айзик-Меер Дик \* в Литве, нашли в себе достаточно силы, чтобы поставить народный язык на ноги, перенести его из «Цеэно-уреэно» \* и «Тайчхумеша» \* в живую литературу, из детской сказки — в роман, из «Прославлений Бешта» \* — в поэзию, — «Тхинес» \* в сатиру. Эти четыре гиганта, эти великие мужи создали новый язык, вселили европейский дух в старый жаргон, и читатели пришли массами! Публика ухватилась за еврейскую литературу с энтузиазмом, с пылом, присущим еврейскому народу. И не было почти ни одного еврейского дома, где бы люди не надрывали животики со смеху, читая «Польского мальчика» Линецкого в первой еврейской газете «Кол-мевассер» \*, выходящей под редакцией Цедербаума, где бы не пели бессмертных сладостных песен Гольдфадена, где бы не увлекались прекрасными сценами из «Таксы» Абрамовича, не декламировали и не заучивали их, и т. д. Одним словом, это был яркий момент в истории еврейской литературы, счастливая пора в еврейской жизни вообще. Евреи и поныне вспоминают об этом с большим удовольствием...

Но вместе с ясным солнцем приходят и мрачные тени. Там, где растут плодоносные деревья, пробиваются и сорняки, а на розах растут и шипы. В каждой литературе рядом с великим талантом шагают по одной и той

же тропе бездарность и ничтожество. Вслед за величавым богатырем-львом ползет червячок. Если бы великий талант, гений существовал вечно и вечно осенял литературу своим крылом, червячок не имел бы никакого значения. Но поскольку так бывает очень редко, червячок постепенно вырастает в большого червя, и вред от него столь велик, что люди начинают искать, как бы выкурить его, чтобы от него и духу не осталось. Но не всегда это проходит гладко...

Упомянутые выше знаменитые народные писатели сложили оружие, и публика стала их постепенно забывать. Вот тогда и вылезли червячки из своих дыр, стали откладывать яички, плодиться и размножаться. Из всех углов и гнезд посыпались тараканы и всякие жучки и так запаковали еврейскую литературу, что придется долго ее чистить и мыть, пока она примет приличный вид.

Словно песок и мусор, просыпались «народные писатели», романоделы и до того запрудили еврейскую литературу своими «романами», — да еще какими! — до того наводнили ими весь мир, до того испортили вкус публики, что никто и в руки брать не хочет других произведений, кроме этих «романов». Более того, все читатели стали писателями; все мальчишки, все праздношатающиеся — романистами! Достаточно любому парню прочесть какую-нибудь книжонку, чужой роман, как он уже становится романистом; он лишь переделывает имена героев, дает произведению еврейское название и за бесценок продает первому попавшемуся книгоноше свой «сверхзанимательный роман» в четырех частях с эпилогом. Книгоноша становится издателем, мошенник — «народным писателем», «романистом», а толпа принимает это за товар. И пошло.

Самым крупным, плодовитым и богатым из всех этих тараканов, жучков и червей является великий «романодел», наш подсудимый Шомер.

Этот молодчик взялся не на шутку затолпить еврейскую литературу своими невозможными, водянистыми романами, своими диковинными произведениями, стоящими ниже всякой критики. Они, безусловно, вредны читателям, как яд, ибо извращают его лучшие чувства ужасными небылицами, дикими мыслями, душераздирающими сценами, о которых еврейский читатель раньше не имел никакого представления.

Это показалось странным нашим представителям. Была выделена комиссия. Обследовав полсотни романов Шомера, она пришла к следующим выводам:

а) почти все они просто украдены из других литератур;

б) все сшиты на один покррой;

в) романодел не дает реальных, подлинных картин еврейской жизни;

г) поэтому его романы к нам, евреям, никакого отношения не имеют;

д) эти романы лишь расстраивают воображение и никакого поучения, никакой морали дать не могут;

е) они содержат лишь словоблудие и цинизм;

ж) они, кроме того, очень плохо составлены;

з) автор, по-видимому, невежда;

и) школьникам и взрослым девицам ни в коем случае нельзя давать этих романов;

к) было бы большим благодеянием выкурить его вместе со всеми его диковинными романами из еврейской литературы с помощью конкретной систематической критики.

Здесь, на столе, лежит перед вами полсотни романов этого романодела. Они служат лучшим доказательством того, к чему может привести невежество сочинителя, наивность читателя, а также молчание критики, терпящей существование таких романистов.

#### РЕЧЬ ПРОКУРОРА

Господа судьи и господа присяжные заседатели!

Подсудимый, сидящий перед нами, — не вор, не злодей, не мошенник. Он не совершил никакого уголовного преступления. Он никого не оскорбил, ни у кого ничего не отнял, никого по миру не пустил, — и все же он сидит у нас на скамье подсудимых, как настоящий преступник, как подсудимый. Что же это значит? В чем его особенность? По-моему, господа присяжные заседатели, он более преступен, чем вор, злодей, душегуб. Этот злодей не вышел убивать людей на большой дороге со шпагой, или копьем, или с обухом в руках, — нет! Он всего лишь выступил против невинной еврейской литературы и, изуродовав народный язык, испортил вкус публики, совратил множество простых читателей, которые без

критики не умеют отличить хорошее от плохого, блуждают в темноте и поэтому не понимают разницы между произведениями Абрамовича и мусором, какой им подносят сочинители, вроде подсудимого Шомера.

Обмануть человека, отнять у него деньги, убить, зарезать, по-моему, менее преступно, чем обмануть целый народ, зарезать целую литературу, испортить вкус тысяч читателей, ибо в первом случае страдает только одно лицо, а в данном случае страдает коллектив, множество, вся народная масса.

Поглядите-ка, до чего этот романодел довел нас! Посмотрите, до чего он извратил чувства и испортил вкус массового читателя. Любой ремесленник, любая женщина, любая девушка так напичканы пустыми, дикими, нелепыми романами Шомера, их мозги так засорены его сумасбродными небылицами, что они, эти читатели, уже не способны взять в руки путную, поучительную книгу, а только «сверхзанимательные» романы Шомера! А в них описывается много сложных, запутанных интриг, трогательных и душещипательных сцен: в них воруют и разбойничают среди бела дня, выкапывают мертвецов из могил, дерутся и убивают из-за прекрасной брюнетки или красивого блондина. Есть и другие подобные дикие выдумки, заимствованные из разных пустых русских, немецких или французских романов.

Полагаю, господа присяжные заседатели, вам известна священная цель литературы. Изящная литература, подлинный роман из подлинной жизни, знакомой каждому читателю, рисует всевозможными красками положительные и отрицательные черты человеческого характера, стремясь познакомить читателя с духом человеческим.

В каком случае писатель достигает своей цели? В том случае, когда он живописует знакомые нам картины, которые могут иметь место в жизни. Если же, например, писатель рассказывает нам сказку о том, как кочерга влюбилась в лопату, а ревнивому гусиному крылу, которым сметают пыль, стало обидно и оно взбодорожило всех гусей и индюков, — что за пользу, спрашиваю и я вас, какое нравоучение, какую мораль мы из всего этого можем извлечь? Кто это поймет? Кому это доставит удовольствие и кому это причинит страдание?

Увлечись плодами своей фантазии, наш «романист» Шомер зашел так далеко, что меламед превращается у

него в лорда, трубочист — в графа, мертвец превращается в живого и живой — в мертвеца, миллионы и брильянты валяются у него, как мусор, все слуги и служанки «крутят любовь», или, как Шомер это называет, «романсируют». Из-за этого они топятя, стреляются, вешаются и т. д., — делают именно то, что мы привыкли видеть в некоторых французских романах. Таким образом, когда вы читаете роман Шомера, вам кажется, что Бердичев перенесен в Париж, что Хаим, Иосл и Авремл — люди не от мира сего; они не знают, что значит купец, рубль, маклерство, пан, процент, и лишь ищут «любви», а Ханця, Мирка и Брайндл никогда не слышали, что на свете существует торговля, лавка, шинок, тайчумеш, — нет! Ханця, Мирка и Брайндл сидят на мягких бархатных диванах с белыми собачонками в руках и распевают сладенькие сентиментальные песенки о «любви»...

Но так как запутанную историю иногда хочется послушать, даже пустую сказку и ту порой хочется послушать; и когда нет рыбы, едят картошку, а если нет и ее, жуют солому, — вот народная масса и жует солому. Каждый бедный еврей и каждая простая еврейка раздобывают роман Шомера, и в субботу днем, после обеда, когда можно на минуту сбросить с себя бремя забот о пропитании, когда можно хоть на миг забыть о существовании лавки, торговли, маклерства, пана, процентщика, все усаживаются в круг: бабы, парни, девки — и слушают диковинные, нелепые истории, удивительные чудеса про меламеда-лорда, про трубочиста-графа, про любовь белокурого юноши Янкла к брюнетке Рохеле с розовыми щеками. О, какие прекрасные песни они изволят петь, какие горячие слезы они проливают при бледном свете луны. А охи и вздохи несчастных влюбленных, чьи сердца соединены, но изверги родители хотят разлучить их, сделать несчастными, сжить со свету?..

...Любовь, господа присяжные заседатели, это песенка старая в литературе, очень старая песенка! Каждый писатель и каждый читатель уже понимает, что самый лучший материал для романа — это любовь, любовь молодых. Любовь, конечно, священное чувство, благородное чувство, дар божий, без которого мы, люди, стояли бы ненамного выше животных. Однако существует любовь различного рода и вида, например: любовь родителей к детям и взаимно — детей к родителям;

любовь братьев, сестер, друзей и т. п., любовь между товарищами, любовь к человечеству, к природе, к просвещению, к добру или злу и т. д. Однако лишь любовь мужчины к женщине, юноши к девушке именно тот вид любви, который используют почти все романисты всего мира, именно об этом роде любви написаны тысячи тысяч романов. Юноша и девушка, мужчина и молодая женщина — вот главные элементы почти каждого романа. Юноша любит девушку, девушка любит юношу, они любят друг друга, их сердца соединены, души близки, но сами они разъединены, их тела далеко друг от друга, и оба стремятся быстрее и легче достичь единственной своей цели в жизни, удовлетворить единственное желание — прильнуть друг к другу, связаться в прочном вечном союзе. Вот эта борьба и эти страдания, в сочетании со счастьем неустанной борьбы за идею, это преимущественно и есть та канва, по которой писатель вышивает образы своего романа. Но не везде и не всегда любовь протекает гладко. Часто она наталкивается на препятствия, бывают разные несчастные или счастливые случаи: тут родители согласны, а там — нет; тут нравится жених, а там не нравится невеста; тут оказывается дядя-изверг или соседка-сплетница, и они всё расстраивают, — словом, влюбленные никак не могут достигнуть своей цели. Тогда они преисполняются гневом и возмущением и начинают лить слезы, а там уже возникают всяческие, не приведи господи, несчастья: жених вешается, невеста топится, поднимается шум, переполох. Или же наоборот: все препятствия, слава богу, преодолены, и жених соединился с невестой — мазлтов! мазлтов! Вот так большей частью заканчиваются романы у многих писателей.

Нужно, однако, быть наивным, как ребенок, чтобы считать главным в романе самое происшествие и полагать, будто весь интерес заключается лишь в том, добился ли юноша своей девушки или не добился. Как я вам уже говорил, господа присяжные заседатели, суть в том, чтобы изображать положительные и отрицательные черты человеческого характера. И подлинный писатель, образованный романист, кроме наслаждения, которое он доставляет правдивыми картинками жизни, должен раскрыть каждому, по его разумению и представлению, мораль, в них заключенную. Показывая нам, как нужно жить, он облагораживает нас, помогает раз-

решить жизненные вопросы, воспитывает в нас высокие чувства сострадания, любви, человечности и т. д. и т. д.

Однако это удел только образованного писателя, честного романиста. Что же мы видим у нашего подкудного, господина Шомера? В одном из сладеньких произведений, лежащих здесь перед вами, в романе «Кровавое прощай», упомянутый романодел позволяет себе говорить следующее: «Сочиняя свой роман, я не имею в виду дать вам какое-нибудь нравоучение, как это делают все романисты. Нет, клянусь своими бородой и пейсами (как вам нравится такая острота?), что я об этом и не помышлял... Я писал роман с единственной целью — доставить вам удовольствие».

Мы скоро увидим, какое удовольствие может нам доставить Шомер своими удивительными историями. Сейчас я говорю лишь о нравственности нашего романодела. Он имеет наглость утверждать, да еще клянется замечательной прибауткой, «бородой и пейсами», что не имеет в виду нравоучения, а думает лишь об удовольствии.

Как Шомер понимает слово «сатира» и ее цели, можно усмотреть из его маленького сатирического произведения «Черт с ним». Он говорит, что сатира нынче вошла в моду, а именно: высмеять друга за глаза, издеваться над бедняком — одним словом, смеяться для того, чтобы хорошо посмеяться. Но тут же невзначай Шомер просит, чтобы его самого не высмеяли. И вот это называется сатирой!..

...Нет! Не могу я больше равнодушно говорить о сатире и юморе Шомера, о его нравственности! Оставляю это и перехожу к шомеровской фантазии, к его серьезным, крупным, капитальным «сверхзанимательным» романам в двух частях», где талант нашего великого романиста проявляется в полном объеме. И чудится мне, что я вижу перед собой не Шомера, а знаменитых французских псевдороманистов Ксавье де Монтепена, Понсона дю Террайля, Поль де Кока и т. п., с той только разницей, что эти фантазеры создали своих неправдоподобных героев с их дикими приключениями силой собственного воображения, а наш романодел Шомер всем этим полакомился и перенес данных героев из Парижа в Несвиж, из Марселя в Бердичев и из Бордо в Эйшишки! Поэтому все они имеют такое же отношение к нашей еврейской жизни, как Марсель к Бердичеву.



Оттого и нужны нам романы Шомера, как собаке пятая нога. Вот я беру со стола один из лучших романов Шомера — «Нищий миллионер» (сверхзанимательный роман в двух частях).

Этот «сверхзанимательный роман», господа присяжные заседатели, переделан, перелицован с известного романа «Парижские тайны» известного французского романиста Эжена Сю<sup>1</sup>. Насколько этот роман хорош или плох, сейчас не время толковать. Известному гебраисту Калмену Шульману роман понравился, он его перевел, просто перевел на древнееврейский язык, и, кстати, хорошо перевел. Казалось бы, и Шомер мог бы поступить так же, то есть перевести на еврейский язык «Парижские тайны» Эжена Сю — и все! Но нет, наш подсуди-

---

<sup>1</sup> Как видно, господину прокурору неизвестно произведение Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Если бы он его читал, то наверняка увидел, что «Нищий миллионер» является подделкой произведения Дюма, лишь французские имена героев переделаны на еврейские. Удивительно, что стенограф Шолом-Алейхем этого не заметил! Или, может быть, из благодарности к прокурору за его защиту еврейской литературы он не хотел его перебивать. Впрочем, какая разница, кому Шомер подражает, важно то, что это не свое...

*Наборщик.*

Примечание автора. Виноват, виноват, виноват! Я верю наборщику. Раз он говорит, что «Нищий миллионер» перелицован Шомером из «Графа Монте-Кристо», стало быть, он компетентен в таких делах. О, если б я сейчас мог найти «Графа Монте-Кристо», я бы за него отдал состояние вместе со всеми пятьюдесятью романами Шомера! Но кто виноват, если не сам Шомер? Кто обязан присматривать за его произведениями и проверять их? Автор сам обязан указать место, откуда он добывает такое сырье. Вот перед нашими глазами три «исторических» романа Шомера:

1. «Мнимый наследник» — исторический роман.
2. «Кровавый жених» — исторический роман.
3. «Фальшивый герцог» — историческая повесть.

На всех трех книгах значится: «Сочинение Шомера» (не перевод?). И я обомлел, откуда это у Шомера взялся исторический роман? Ведь для того чтобы написать исторический роман, надобно прежде всего знать историю, а чтобы знать историю, надо знать еще кое-что... Я сильно сомневаюсь, имеют ли эти романы отношение к истории, не перелицованы ли они, как и другие романы Шомера... Поэтому я откладываю эти три «исторических» романа и еще несколько редкостных вещей Шомера и прихвостней Шомера (этих редкостных вещей, присланных мне друзьями, спасибо им, наберется до полсотни). Я откладываю все это до следующего раза, когда, даст бог, на сердце будет радостно. Аминь!

*Шолом-Алейхем.*

мый не хочет быть простым переводчиком, это ему не к лицу. Что же он сделал? Он состряпал собственный роман, использовав сюжет произведения Эжена Сю, и назвал его «Нищий миллионер». У Эжена Сю главную роль играет принц Рудольф, у Шомера ту же роль играет еврей — миллионер Глазвалд. Кто он такой, этот Глазвалд? Что это за Глазвалд? Это нас не касается. Принц Рудольф бродит по Парижу инкогнито и разыскивает пропавшую семью. Точно так же ходит Глазвалд по городу Несвижу и тоже ищет свою пропавшую семью. Принц Рудольф, как вам известно, в конце концов нашел свою пропавшую дочь Марию — и господин Глазвалд нашел своего пропавшего сына, часовщика Нафтоле. У Эжена Сю фигурирует страшный убийца Жак Ферран. Соответственно этому имеются у Шомера изверг Герценштейн, вор и разбойник Шпин, какой-то аспид Гилон из Парижа, некая Элизабет и много других героев. Если у Эжена Сю имеется несчастная бедная семья Морель в Париже, то почему бы у Шомера не быть такой же бедной семье — Ципы и Леи в Несвиже? Там появляется Рудольф и выручает их из нужды, здесь приходит Глазвалд и сидит у изголовья Леи.

Но я повторяю: если бы Шомер всю эту запутанную историю перевел на еврейский язык, в этом был бы какой-то смысл, и мы тогда говорили бы об Эжене Сю, а не о Шомере. Но так как Шомер, изменив название романа, выдал его за собственное произведение, мы забываем об Эжене Сю и рассматриваем «Нищего миллионера» как произведение Шомера.

Однако мы, к сожалению, не находим во всем романе ни одного типа еврея, ни единого еврейского образа. Сочинитель показывает нам целую кучу марионеток, заводных человечков, которые ходят, бегают, сидят, разговаривают. Этот влюблен в ту, а та влюблена в того; этот — ангел, на редкость благородный человек, тот — злодей, убийца; этот — умница, тот — идиот; эта — прекрасная, нежная женщина с белокурыми длинными волосами, а та — уродливая, противная, как смерть... Шомер повелевает тому или другому герою пасть ниц и произносить: «Люблю тебя, мой ангел!» — и тот падает на колени и произносит: «Люблю тебя, мой ангел!»

Нет, это не роман. Это какая-то шарманка, ручку которой Шомер вертит сзади, а с лицевой стороны выскакивает «любовь»! Все у него влюблены, и все

влюблены на один манер. Элизабет падает в обморок, и модистка падает в обморок, ибо все они обмануты в своей любви, все в отчаянии, все недоверчивы. Герои Шомера так похожи друг на друга, что, если бы не разные имена, мы бы не отличили богатую Элизабет от бедной Леи, миллионера Глазвалда от часового мастера Нафтоле, изверга Герценштейна от злодея Шпина-Гехта-Фаерфана. Злодеем у Шомера называется тот, кто убивает людей, грабит на большой дороге, похищает мертвецов из могил, маскируется под разными именами: то он убийца Шпин, то подрядчик Гехт, то муж модистки Фаерфан, который всюду имеет невесту, богатую невесту с богатым приданым, с большими деньгами — деньги у Шомера что мусор, по всем уголкам валяются миллионы!

Таков у Шомера отрицательный герой, злодей. Шомер не понимает, что отрицательным героем, разбойником может быть и человек вполне благопристойный, почтенный хозяин, вовсе не скрывающийся под тремя разными именами; ему невдомек, что можно быть убийцей, никого не отравив, не зарезав, не ограбив ночью при луне, не вытаскивая мертвецов из могил, чего еще среди евреев никогда не случалось, и мне даже не представляется, чтобы среди читателей нашлись такие дураки, которые приняли бы это за чистую монету и поверили сочинителю на слово.

Итак, поскольку роман не имеет ничего общего с действительной жизнью, значит, роман не роман, а небывлица, сказка о принце и принцессе, о раввине и раввинше, о двенадцати братьях с двенадцатью замками, о гиене полосатой и оборотне и т. д.

Было бы еще полбеда, если бы романы Шомера были только пустыми и бесполезными. Но они еще вредны с нравственной стороны, как я вам уже ранее показал и как покажу еще, с божьей помощью, дальше.

Я раскрываю перед вами еще один «сверхзанимательный» роман Шомера под названием «Покинутая».

С удовольствием выслушал я предисловие, в котором Шомер говорит: «Могу положительно утверждать, что все мои герои взяты из жизни...» Мне это было очень приятно. Стало быть, Шомер все-таки знает, что герои романа должны иметь отношение к подлинной жизни...

Но говорить легко, а верить Шомеру на слово никто не обязан. Поэтому я принялся искать по всему роману

хотя бы одного живого человека, а не дутую куклу, хотя бы один знакомый тип, хотя бы одну правдивую картину из еврейской жизни. И что я нашел? Опять ангела, идеал, небожителя, который страдает, бедняга, за чужие грехи на земле, и опять злодея, разбойника, бандита (у Шомера сплошь бандиты), опять изверга, который грабит, разбойничает, загребает деньги, живет припеваючи и в конце концов терпит поражение совсем неожиданно, к вящему удовольствию сочинителя и читателей, уже осведомленных, что нечестивца ждет у Шомера плохой конец, а праведник будет вскоре, с божьей помощью, спасен, — аминь...

Так у Шомера происходит с «Покинутой», с «Разлученной», с «Наследством», с «Братом-тираном», с «Кающимся», с «Нищим миллионером», с «Богатым нищим», с «Кладом», с «Современной невестой», с «Проданной невестой» — со всеми героями «сверхзанимательных» романов Шомера, которые, в сущности, представляют собой один большой, бесконечный роман, где меняются лишь имена, — здесь бандита звать Герценштейн, там — Фельдбаум, тут он — Перец, там — Велвлростовщик, а там — Даниел Пинтл. Однако все они бандиты, все они воры, разбойники, кровопийцы, вампиры, ханжи. Они то и дело строят интриги, выманивают деньги; они по нескольку раз женятся и совращают много прекрасных невинных девушек, они запанибрата со всеми международными ворами и работают заодно с могильщиками, похищающими мертвецов из могил... Одним словом, все персонажи — бандиты Шомера — это не герои, не люди, не звери, а какие-то драконы, полурыбы-полулюди, какие-то вурдалаки, восьминогие кони, диковинные, страшные создания из сказок «Тысячи и одной ночи», какими можно пугать малых детей.

Так обстоит с персонажами-бандитами, так обстоит с персонажами-ангелами, праведниками. Они тоже все являются одним и тем же лицом, но с разными именами: хорошие, благочестивые, честные, чистые, красивые, замечательные, без единого пятнышка, отважные, смелые парни, высокообразованные, беспредельно преданные ребята. Если они пишут горячие пламенные письма — им присущ один и тот же язык, если они говорят о священной любви — их стиль единообразен, будто выписан из книги и заучен наизусть: «О, люблю тебя, мой ангел!», «О, люблю тебя, жизнь моя!» Шомер стоит

позади своего героя и подсказывает ему: «О, люблю тебя, мой ангел!» И тот говорит: «О, люблю тебя, мой ангел!» Слова без души, без всякого чувства, и произносятся они автоматически, как машиной... Героини, женщины, девушки, у Шомера ведут себя иначе, но также все на один манер, все по одной и той же программе, по одной и той же инструкции, а именно: они все устремляют очи горе; они там ищут свой идеал, витающий в далеких небесах, и поют во всех романах слащаво-сентиментальные песни...

Чтобы заинтересовать публику, наш талантливый романист, написавший за свою жизнь тьму романов, совершил в «Покинутой» нечто новое. Это новое—скандал.

Правда, в других литературах это уже не ново, например, в парижских бульварных романах. Но у нас, на еврейском языке, это очень важное новшество, и ввел его Шомер...

...Как бездонно море, так и философия Шомера бездонна, и я должен был бы говорить перед вами три дня и три ночи, чтобы показать хотя бы десятую долю того, что наш подсудимый написал в своих ста романах. Шутка ли сказать—целая сотня романов! В каждом романе имеется от тридцати до сорока героев (на героев у Шомера урожай), значит, не больше и не меньше, как четыре тысячи героев, то есть четыре тысячи разных лиц, разных характеров, у каждого свои чувства, свои мысли, свои способности, свои наклонности, свои привычки, свои достоинства и свои недостатки,— словом, это дело не такое уж легкое. Для этого требуется совсем иной талант. Каждая книжка в отдельности должна быть обработана, должна доставаться кровью, должна стоить здоровья. Помимо того что нужно обладать божьим даром, талантом, сочинитель, прежде чем выпустить свое произведение, должен его хорошенько обдумать, десять раз обдумать, чтобы оно выглядело литературным произведением, реальным и актуальным, чтобы оно жило, говорило и уму и сердцу.

Но не так понял свою обязанность наш подсудимый Шомер: он принял народную литературу за предприятие по поставке романов, он сделался подрядчиком, поставщиком романов для еврейской печати... А масса смотрит на это равнодушно, и критика так же смотрит и молчит: «Что уж там, ведь это только для народа, для массы, для толпы, ей можно и солому жевать,— не ве-

лика беда!» И таким вот образом эксплуатируют массу, берут у нее деньги и дают ей жевать солому, и никто не смеет и слова сказать. «Но ведь Шомер — это Шомер; он все же написал почти сто романов, и масса их читает, наверное, они что-то собой представляют!» И когда известный критик из «Восхода»\*, господин Критикус\*, сделал попытку просмотреть одну книжку Шомера и оценил ее по достоинству, великий романодел выступил со статьей в «Идишес фолксблат», в которой Шомер доказывает, что он Шомер...

Словом, Шомер знает, что требует публика. Шомер знает, что толпа любит иллюзии, фокусы, и он дает ей иллюзии, фокусы; толпа любит скандалы, он подает скандалы, один больше другого, такие вот скандалы... Но к этому мы скоро вернемся. Я хочу показать образец его «Предисловия».

«Еще раз прошу моих читателей, если они возьмут в руки какое-нибудь из моих произведений, хорошенько рассмотреть первую страницу, значит ли там мое настоящее имя, так как некоторые стали эксплуатировать мое имя, Шомер, и выставляют его на разном тряпье, дабы пустить читателям пыль в глаза...»

Это значит: «Остерегайтесь подделки!», или: «Берегитесь воров!..» Горе молодой еврейской литературе, если у нее могут найтись такие сочинители и такие издатели, которые пошли бы на подделку Шомера! Мы можем его утешить словами русского поэта:

- Я разорился от воров.
- Жалею о твоём я горе.
- Украли пук моих стихов.
- Жалею я о воре.

Жалко вора, жалко еврейскую литературу, жалко народ!

Чтобы быть народным писателем, нужно быть талантливым писателем, патриотом и другом людей, нужно любить народ; бичуя и высмеивая, надо быть преданным народу, подобно Абрамовичу, у которого кровь сочится, когда он смеется и критикует. «Когда я пишу о моем несчастном народе, — пишет Абрамович в частном письме к знакомому, — у меня сочится кровь; я как будто смеюсь, но это горький смех, а когда я пишу с пылом, я и сам пылаю и медленно сгораю, как свеча...» Но так пишет Абрамович, а отнюдь не Шомер, который ищет

лишь скандалы и гадости, за которые, как ему кажется, народ ему рукоплещет...

...Другой великий еврейский писатель — Линецкий. За кусок хлеба насущного он мучается, кривляется и транжирит свой редкостный сатирический талант на шутовские штучки, которые любит толпа. Но, смеясь и кривляясь перед публикой, он исходит кровью, когда говорит, или пишет, или думает о бедном еврейском народе. Нет, господа, ничего более печального на свете, чем смеяться поневоле, когда тебе очень хочется плакать, паясничать, когда сердце пылает огнем, когда мысли витают где-то далеко, а за спиной стоит ангел смерти...

Но это о Линецком, а отнюдь не о Шомере, который признается в романе «Покаявшийся», — голова у него, мол, такая слабая, что он не помнит ничего...

Я ему верю, верю: голова может разболеться от одного только чтения таких, с позволения сказать, пятидесяти романов Шомера. Я с большим ужасом прочитал их, и перед моими глазами сейчас мелькают одни лишь оборотни, драконы, бандиты, ангелы, старые девы с очами, воздетыми горе, с сентиментальными приторно-сладкими песенками и с шомеровской «мрачной философией, или крапцефалией»...

...Писатель, господа присяжные заседатели, народный писатель, художник, поэт, настоящий поэт является для своего времени, для своей эпохи своего рода зеркалом, в котором отражаются лучи жизни, как в чистом источнике — лучи светлого солнца. Поэтому идея рождается сначала у талантливого писателя, у духовного пастыря человеческого общества. Поэтому, когда случается бедствие, божья кара, когда обрушивается несчастье, это прежде всего доходит до тонкого чутья поэта, радетеля о благе народном. То же самое, когда доносится благая весть, радость: прежде всех это выражает поэт, одухотворенный человек, которого господь благословил возвышенным умом, благородным чувством, мягким и горячим сердцем. Поэтому между народом и писателем существует крепкий, вечный союз; поэтому каждый такой писатель является для своего народа и слугой, и жрецом, и пророком, поборником правды и справедливости; поэтому каждый народ любит такого слугу божьего, жреца, пророка, борца, который утешает народ в его горе, радуется его радостям и высказывает

его идеи, мысли, думы, надежды и упования и т. д.; поэтому, говорю я, немыслимо ни одно жизненное явление, радость или несчастье у народа, которых писатель не касался бы.

...Теперь, господа присяжные заседатели, после того как я вам разъяснил, что за романист наш подсудимый, каким народным писателем является Шомер, я надеюсь, что ваш здравый смысл, ваш вкус и ваша чистая совесть подскажут вам, как вы должны поступить с ним по всей строгости закона. Вы его, безусловно, не помилуете, так как этого не заслуживает такой вредный писатель, как он. Этим вы совершите два благодеяния: вы уничтожите литературного дельца и оградите нашу молодую еврейскую литературу от других подобных паразитов. Не от себя я это говорю вам, господа присяжные заседатели, — я это говорю от имени литературы, всей массы читателей, всего народа!



## ТЕМА НИЩЕТЫ В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АБРАМОВИЧ  
(«Фишка-хромой»)

К изображению низших классов, к созданию образов бедных, голодных, бесприютных, оскорбленных и обездоленных людей часто обращаются крупнейшие писатели мира. Нет ничего удивительного в том, что тема нищеты так занимает и наших народных писателей, ибо не всюду вы встретите столько бедняков, угнетенных, несчастных, убогих и побирающихся, как у евреев.

Русский народный поэт Некрасов выражает свою скорбь о доле русского мужика такими словами:

Волга, Волга, весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народной  
Переполнилась наша земля!

Что же сказать о еврейском бедняке, у которого ни земли, ни скотины, ни кола, ни двора?

Из всех бед и напастей нашего тяжелого времени нужно выделить две самые тягостные — голод и нужду. Не случайно поэтому такой талантливый, поистине народный писатель, как Абрамович, чаще всего изображает в своих замечательных творениях бедняков, нищету; то и дело вы встречаете у него людей обездоленных, разоренных, нищих, выпрашивающих милостыню или просто голодающих...

Книгу «Фишка-хромой», это самое маленькое по размеру произведение нашего самого крупного писателя,

мы потому и выбрали для рассмотрения, что она целиком посвящена еврейской нищете, того рода беднякам, которых у нас называют попрошайками; короче говоря, перед нами *рассказ о еврейских нищих*. О бедноте у Менделе Мойхер-Сфорима сказано немало глубокомысленных, острых и горьких слов и в других произведениях, где освещаются хорошие и дурные стороны еврейской жизни, как, например, в книге «Путешествие Вениамина Третьего»:

«Жители Тунейдовки почти все большие бедняки, не про вас будь сказано, настоящие нищие, но, — правды не скроешь, — они веселые бедняки, жизнерадостные нищие, полные надежд... Если, к примеру, вам вздумается вдруг спросить тунейдовского еврея, где и каким образом он добывает средства к существованию, то вначале он растеряется, бедняга, не зная, что ответить, а потом придет в себя и скажет со всем простодушием: «Я? Э! Как бы я ни жил... Есть, говорю я вам, бог на свете, он не оставляет свои создания. Худо-бедно, но кое-что он им подбрасывает, и дальше, наверно, будет подбрасывать, вот что я говорю».

«Но чем же вы все-таки занимаетесь? Владаете вы хоть каким-нибудь ремеслом, имеете какое-нибудь дело?»

«Благословен всевышний, у меня, видите ли, дар божий — хороший голос, настоящий инструмент, по праздникам я молюсь у анаоя, где-нибудь в округе. А по части обрезания младенцев и раскатывания мацы мне равного нет. Порой удается и сосватать кого-нибудь. И вот, как видите, у меня даже постоянное место в здешней синагоге. Между нами говоря, я содержу еще и шинок, который понемногу доится, и коза у меня есть, эта хорошо доится, а недалеко отсюда у меня богатый родственник, который в трудную минуту тоже дает себя слегка подоить... А помимо всего прочего, бог, говорю я вам, отец, и не перевелись еще среди нас милосердные, сыны милосердных. Грешно жаловаться...»

Вот таким образом вполне достойно проживает свой век уважаемый тунейдовский хозяин... А если вам угодно, вы можете прочитать у нашего лучшего писателя в «Маленьком человечке», как живется детям в бедной еврейской семье:

«...Когда я плакал, меня унимали не медовыми пряниками и не другими лакомствами, а оплеухами и под-

затыльниками. Ни от кого я не видел ласки; мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь сказал, например: «Бедненький, он ничего не ел», или: «Жаль бедняжку, у него лицо распухло» и т. п. В моих ушах только и звучало: «Посмотрите-ка на эту образину, на эту надутую физиономию, на эти лапы, красные, как бураки; посмотрите-ка на этого обжору, вечно у него слюнки текут; посмотрите-ка на этого уродя, как он дергается, дрожит, стучит зубами...»

И все это не по злобе, не от жестокости, а от вопиющей бедности. Читайте дальше:

«Ребенок бедных родителей — это никому не нужное существо. Он всем мозолит глаза, он успеваает нажить себе врагов еще до того, как появится на свет божий. А уж когда появится, то растет сам по себе, без любви, без ласки. Разве лишь тяжело заболевает. Тогда только найдет он путь к человеческому сердцу, окаменевшему от жестоких страданий, от горькой нужды; тогда только раскроется это сердце с его подлинными родительскими чувствами. Родителям ясно представится бесприютная жизнь их бедного ребенка, лишенного тепла и радости, им станет больно за эту невинную душу, которая зря прозябает на свете. А когда окаменевшее сердце открывается, оно похоже на реку во время ледохода...»

Какой глубокий, поистине философский взгляд на жизнь еврейской бедноты! Абрамович вовсе не отрицает наличия родительских чувств у бедных людей, но показывает, как нужда, горе, злосчастье сковывают, превращают в камень человеческое, может быть, даже доброе сердце. Но стоит льду тронуться, и вода прорывается. Так и человеческое сердце. Оно раскрывается для всех чувств, свойственных человеку, и он дает волю слезам.

Однако мы слишком задержались на двух крупнейших произведениях Абрамовича. Разговор о них нам предстоит в будущем, теперь же вернемся к той небольшой книжке, о которой нам хотелось побеседовать с читателем.

Напечатанное лет двадцать тому назад в Житомире под названием «Фишка-хромой», это произведение мало знакомо публике — во всяком случае, намного меньше, чем «Кляча», «Такса», «Маленький человечек» и другие произведения Абрамовича, хотя, по моему мнению, оно ни на йоту им не уступает и может быть поставлено рядом со всем лучшим, что написал Абрамович. «Фиш-

ка-хромой» заслуживает того, чтобы ему была посвящена особая статья<sup>1</sup>.

Кто такой Фишка? Откуда он взялся и что это за существо такое? Остановимся на этом вкратце.

Фишка всего-навсего бедный парень, косоглазый и хромой, «урод, не про вас будь сказано, — пишет о нем Абрамович. — Даже в «холерные женихи» его и то не взяли...»\*. Жил Фишка в городе Глупске, в кирпичной бане; его делом было каждую пятницу зазывать народ в баню. Летом он, кроме того, еще торговал вразнос зеленым чесноком. И вдруг Фишка пошел в гору. Каким образом? Община женила его на немолодой слепой сироте, их обвенчали около «Мертвой синагоги», рядом со старым кладбищем, и Фишка превратился в щеголя, в новом с иголки кафтане и в плисовой шапке... Но ведь не может счастье улыбаться человеку вечно! Бывает и так, что удача, дразня нас, как шут, сверкнет перед глазами, покажется на мгновение и тут же исчезнет. Так случилось и с Фишкой; в один прекрасный летний день ему пришлось, разутому, раздетому, с опухшими, искусанными ногами, пуститься бегом за чужой телегой, умоляя:

«— Люди, сжальтесь над калекой, подвезите меня в город!

— Как ты сюда попал, Фишка? Откуда ты вдруг взялся?

— Ой, провалиться бы ей! — со стоном ответил Фишка.

— Что случилось, Фишка? Кого это ты проклинаешь?

— Ой, провалиться бы им обоим — и ей и ему!

— В чем дело, Фишка, расскажи нам. Ты рассказывай, а мы тем временем помолимся».

И Фишка трогательно и простодушно, тем изумительным языком, равного которому мы не находим ни у одного еврейского писателя ни до, ни после Абрамовича, рассказывает свою грустную историю.

Ее можно передать в нескольких словах: слепая жена Фишки, жившая попрошайничеством, научившая и мужа побираться, изменила ему. Неверная жена стала обходиться с ним крайне деспотично, совсем не по-лю-

---

<sup>1</sup> До нас дошло, что «Фишка-хромой» перерабатывается теперь писателем для нового издания. Вступление, напечатанное в виде образца в «Хойз-фрайнд», 1888 г., дает нам право надеяться, что в переработанном виде это произведение станет еще лучше, если только возможно писать лучше, чем оно написано.

*Автор.*

ски, как мы это увидим в дальнейшем. Эта незамысловатая история служит Абрамовичу канвой, по которой он вышивает разнообразнейшие узоры, яркими красками изображая жизнь еврейских нищих, попрошаек; с ними стоит познакомиться, и это даже небезынтересно. Почему бы и нет? Интересует же нас жизнь зверей и животных, слонов, например, или обезьян, пчел и даже незатейливого клеща. Тем более должна нас интересовать жизнь нищих, ведь они, не взыщите, такие же люди, как и мы с вами. Слушайте же внимательно!

Нищие делятся у Абрамовича на оседлых и бродячих. Бродячие, в свою очередь, делятся, как солдаты, на пехоту и кавалерию, то есть на пеших нищих, тех, что передвигаются пешком, и фургонных нищих — эти тащатся в фургонах. Последние совсем как цыгане. День и ночь они странствуют с места на место; они рождаются, вырастают, женятся, живут и умирают в пути. Они свободные люди. Вы, конечно, хотите знать, что понимает Абрамович под словом «свободные»? «Свободные» здесь означает: «Их ничто не касается — ни налоги, ни паспорта, ни молитвы, ни все прочее, относящееся к еврейству; нищенская сума неразборчива: что мясное, что молочное — все вперемешку. Нищие — люди особого склада...» Фишка и его слепая жена были из пеших. А так как Фишка припадал на одну ногу, жена грызла его, говорила колкости, пока не перешла на откровенную ругань. Обучая Фишку ремеслу нищего, она осыпала его бранью.

Так добрались они до Балты, потом плелись еще несколько месяцев, пока не пристали к ватаге фургонных нищих — «кавалеристов». Перед Фишкой, который все больше присматривался к этим людям, к их нравам, к их повадкам, открылся новый мир. Фишка вдоволь нагляделся и наслушался, как они смеются над всеми на свете, как они издеваются над богачами, не оставляя на них живого места. Проклиная, ругая их почем зря, они, когда приходят за подающим, делают жалостливое лицо, прикидываются калеками, клячат и вымогают, из-за каждого гроша затевают спор, а иногда и унесут, что плохо лежит: хлеб «слямзят», курицу «стибрят» и т. п.

От Фишки не ускользнуло и то, как в этой компании парни вступают в разговоры с девушками, шутят с ними, как один фургон сватается к другому. Но об этом, считает Фишка, и рассказывать неловко...

Вот вам подлинная картина жизни наших нищих. Но не думайте, что в их среде не существует интриг, всяких вздорных историй, сплетен! Бывают, конечно, и среди них интриги, но они несколько не походят на те бессмысленные, запутанные, нелепые интриги, которыми изобилуют писания наших недалеких, пустоголовых романистов, вернее романоделов. Интриги здесь вполне реальные, каждый может их себе представить.

Потрудитесь послушать самого Фишку:

«Один из этой компании, рыжий, здоровенный дедина, стал улещивать мою жену разговорами и шутками. Если ему удавалось где-нибудь выпросить кусок халы, коржик или немного вареного гороха, он отдавал ей. А я ничего не понимал. Ну и балуй ее коржиками, угождай ей, балагурь с ней! Пусть! Не моя забота! Но со временем, однако, они уж слишком снюхались и начали надо мной насмехаться, грызть меня, залезать в печенку, а вслед за ними мною занялись все фургоны, — то и дело по моему адресу отпускались шуточки, каждую минуту меня обзывали новым прозвищем. Я стал козлом отпущения; каждый мог делать со мной все, что ему вздумается. Если я выходил из себя, компания возмущалась: «Смотрите-ка на этого неженку, как он тут расшумелся, сейчас нюни распустит!»

Меня били-колотили, а когда я порой плакал от обиды и боли, спрашивали: «Чему ты так радуешься, Фишка? Чего зубы скалишь? А ну-ка, стукните его по лопаткам. Да по ляжкам не забудьте погладить...»

Иногда меня выбрасывали из фургона, и я терпел страшные муки, так как приходилось бежать на больных ногах за повозкой, а они в это время хлопали в ладоши и со смехом кричали:

«Браво, Фишка! Так, так, Фишка! Потанцуй, потанцуй немножко! Потопай ножками!» Однажды тот, который лез к моей жене, провалиться бы ему, сказал даже, что я вовсе не хромым, что я притворяюсь. Короче говоря, люди добрые, меня всячески изводили. И мне вспоминались счастливые, добрые дни, когда я барином сидел в бане, и жилось мне как у бога за пазухой. Чего мне тогда не хватало?»

Сознайтесь, дорогой читатель, не защемило ли у вас в груди от трогательного, наивного рассказа незадачливого Фишки? Вот в этом-то и кроется великая тайна, поразительное искусство Абрамовича: мимоходом, как бы

невзначай, он вас глубоко тронет, за душу возьмет, увлечет, вырвет из груди вздох, а иногда вы даже подадите автору слезу — и все это без страшных, душераздирающих сцен злодейства, как в пресловутых «чрезвычайно интересных романах». Никто, никто не может состязаться с Абрамовичем в искусстве самым неожиданным образом заставить вас смеяться. И вместе с тем даже такой урод, прости господи, как Фишка-хромой, вызывает у вас симпатию, жалость, будит человеческие чувства. И чем же? Несколькими простыми, от души идущими словами, а не высокопарными, крикливыми и в одинаковой мере пустыми фразами.

Однако, увлекшись автором, мы забыли о нищих. Может быть, вы думаете, что у них нет собственных идей? Есть идеи, да еще какие независимые! Вот любопытствуйте, что Фишка нам рассказывает дальше:

«Прибыв на какое-нибудь новое место, компания устремлялась кто куда, разбрелась по домам, налетала на город, как саранча. Это называлось «идти на работу». Каждый был убежден, что жители обязаны вынести подаяние ему навстречу. Как же иначе? На роду у них, что ли, написано, у этих богачей, сидеть дома сложа руки и чтоб все на них работали? Не мешало бы, право, поменяться с ними: пусть сами попробуют просить милостыню. Ничего, мы ничем не хуже их».

Неплохо сказано, не правда ли? Подозревали ли вы о наличии таких высоких мыслей среди «пехотинцев» и «кавалеристов»? И попробуйте докажите, что то, что они говорят, — неверно, не ясно, как божий день. Приходится удивляться писателю, откуда он только так знает этих людей с их языком, со всеми их повадками. Здесь и не пахнет выдуманным романом, бабьими сказками. Для того чтобы так знать нищих, так глубоко проникнуть в их жизнь, требуется, очевидно, помимо таланта, еще и умение заглядывать в самые укромные уголки, искать, докапываться, нюхать и чуют, все видеть, замечать каждую мелочь.

Здесь необходима уверенность в том, что то, о чем автор пишет, он доподлинно знает, и то, что знает, о том и пишет, — не в пример сочинителям пресловутых историй об ангелах и деспотах, раввинах и раввиншах, принцах и принцессах!..

— Но помилуйте, ведь здесь нет любви! Куда годится книга без любви? — спросят некоторые читатели...

Ах, так? Вам любовь подавай? Так вот вам и любовь! Но не та, что изготавливают романоделы, не затаканная любовь между блондином и брюнеткой, которым больше и делать нечего, как целоваться при «невинной» луне, распевать глупые сентиментальные романсы и проливать водянистые слезы...

Раз вы заупрямились и требуете непременно любви, то мы и у Фишки-хромого отыщем для вас любовь.

Вот послушайте.

В том фургоне, куда судьба забросила Фишку, обрелась горбатая девушка, одинокая, потерянная, несчастная, как и он сам. Кто она была, чья, откуда — об этом история молчит, значит, и нам говорить не стоит... Абрамович рассказывает только, что росла эта девушка за кухонной печью, куда ее запихнули, словно какой-то запрещенный товар. Вся скрюченная, она сидела там, не смея издать ни звука. От запаха жареных гусей и гусиных печенок рот у нее наполнялся слюной; голодная, она терпеливо ждала, пока вспомнят о ней и сунут в ручку корку хлеба или обглоданную косточку. Стоило бедняжке невзначай пискнуть, как внезапно возникшая над печью кочерга или лопата опускалась на ее голову, руку, била куда попало. Так провела девушка годы раннего детства, но и потом ей было не легче. Когда ее мать, кухарка, вышла замуж, она отвела своего горбатого ребенка на глухую улочку и там оставила.

«— Чья ты, девочка? — спросила подкидыша какая-то торговка.

— Я мамина! — последовал ответ. — Мамина я. Мама велела мне здесь сидеть, а то кочерга с лопатой придут и будут меня бить...»

Кочерга и лопата — их силу девочка испытала на себе; кроме этого, она ничего не видела на своем веку. У «сердобольной» торговки девочке тоже приходилось не сладко: по целым дням она нянчилась с ребенком торговки, а по вечерам та отправляла ее на «работу», выпрашивать себе на хлеб... Однажды девочка так долго ходила, побираясь, из дома в дом, что заблудилась, и тут-то она попала на глаза фургонным нищим. Они увезли ее и стали повсюду таскать с собой. «Кавалеристы» обходились с ней весьма жестоко, немало она от них натерпелась.

«Не стану отрицать, — говорит Фишка, — я сильно, всей душой полюбил ее. Мне ее очень жалко было, и что-то влекло меня к ней... Не раз, когда все спали, мы с



ней разговаривали наедине и плакали всласть. Мы изливали душу друг перед другом без всяких задних мыслей, а тот негодяй, рыжий, увидел нас, чтоб ему не видать царства небесного, и наврал моей жене с три короба. Тогда она совсем разъярилась и назло мне еще ближе сошлась с рыжим поганцем, провалиться бы ему, и они, как господа какие, вместе ходили побираться и стали совсем свои — одна рука...»

Ну, чего же еще? Тут вам и любовь, и ревность, и интриги, все, чему полагается быть в романе. Конечно, у тех пресловутых писак дело не обошлось бы без дуэли, убийства, покойников, крови, слез, пламенных поцелуев и «запретных плодов» любви... Вернее, этим писакам вообще было бы не к лицу заниматься бог знает кем, Фишкой-хромым и убогой горбатой девушкой, — какой уж тут роман?! Главное в романе, утверждают они, интрига, запутанная интрига, от которой читателя бросает в жар и в холод. Без этого у них роман не роман...

Представляю себе удивление некоторых, определенного типа, читателей, если скажу, что в небольшой книжке Абрамовича, отнюдь не романе, а обыкновенном рассказе о еврейских нищих, намного больше любви и поэзии, чем в тысяче романов всей банды романоделов, которые пекут романы, как булочки.

Чтобы подкрепить свои слова доказательством, я решу себе привести целых два отрывка из этой книжки, где каждая страничка — изображение, каждый персонаж — тип, где каждая строчка и каждое слово взвешены, ибо в еврейской литературе Абрамович — непревзойденный стилист. Мысли его глубоки, его творения полны мудрых инсказаний, слова всегда отточены, отшлифованы, хорошо пригнаны, гармоничны, язык по-настоящему народный.

«Как-то, — рассказывает Фишка-хромой, — мы приехали в одно местечко Херсонской губернии, и вся компания отправилась на работу. Рыжий — тот поганый, ходил с моей женой, а я один... Мне, однако, повезло: я попал в дом, где справляли обрезание, и мне преподнесли хорошую стопку водки, дали изрядный кусок коврижки да еще несколько грошей наличными... «Вот сегодня жена будет меня уважать», — подумал я. Правда, добрый кусок коврижки я отложил для горбуни, которая засела у меня глубоко в сердце. Когда все лягут спать, я дам ей, пусть полакомится, бедняжка, ведь она такая одинокая, такая покинутая, с такими ранами в

душе, ведь она светлой минуты в своей жизни не видела. Пусть же знает, что Фишка ей брат, что он заботится о ней, что он готов оберегать ее как зеницу ока. Фишка лучше сам не поест, а для нее прибережет самый лакомый кусок. Мне представилось, я это словно своими глазами видел, что мы с ней сидим под открытым небом на поросшем травой пяточке около Большой синагоги. В глазах у горбатенькой слезы, и она поет своим тихим, жалобным голосом, как это часто бывало, известную песенку:

Отец со свету сжил меня,  
Родная мать живьем заела...

Я стараюсь утешить ее добрыми словами и протягиваю кусок коврижки; лицо у девушки становится веселее, она смотрит мне в глаза и смеется.

— Какой ты добрый, Фишка! — говорит она. — Ты мне очень дорог, Фишка, ты мой единственный на земле! Ты, Фишка, мне и отец, и мать, и брат! Смотри же, будь мне верен, не оставляй меня! Поклянись мне синагогой. В этот ночной час там молятся покойники, а среди них, может быть, и мой отец, которого я никогда не видела, и он будет свидетелем! Поклянись мне, Фишка, что ты меня никогда не забудешь!..»

Дорогой читатель! Чтобы проникнуть в душу такого создания, как изображенная Абрамовичем бедная горбатая девушка, нужно быть большим поэтом и подлинным психологом. Кто читал произведение известного французского поэта Виктора Гюго «Человек, который смеется», тот не мог не почувствовать возвышенной одухотворенной любви бедной слепой Деи. Святое чувство любви, этот божественный дар, может овладеть любым человеком, может проникнуть в любое горячее сердце, которое еще не успел остудить ледяной поток жизни, поэтому нам не трудно предположить, что горбатая девушка была способна любить ничуть не меньше, а может быть, и сильнее, чем богатая и счастливая Элизабет или прекрасная Зинаида, и незадачливый Фишка любил горбатую девушку ничуть не меньше, а может быть, и сильнее, чем какой-нибудь блондин Соломон любил свою возлюбленную.

Но вам, наверно, хочется знать конец Фишкиной истории. Конец этот грустный, очень грустный. Не суждено было горбатой девушке отведать кусок коврижки, который приберег для нее наш герой, и его воздушные замки

рухнули. Когда Фишка вернулся в богадельню, где остановились «кавалеристы», он никого из них там не застал. За несколько часов до его прихода фургон с нищими укатил вместе с его слепой женой, с рыжим поганцем, «провалиться бы ему», и с горбатой девушкой, а Фишка остался один-одинешенек, как придорожный камень. Кое-как добравшись до Одессы, он устроился на неплохую службу в бане. Одесская баня, однако, ему не понравилась. Одесские бани, по его словам, даже не пахнут тем, чем должны пахнуть еврейские бани, а миква \* там и вовсе курам на смех. В глупской микве вода имеет совсем другой вкус, другой цвет, она намного гуще, в ней чувствуешь себя евреем. А там, в одесской микве, вода как вода, прозрачная вода, которую даже можно пить. Свой рассказ Фишка заканчивает такими словами:

«Мое место в Глупске, и туда я вернусь. Как говорится: «Хоть и связанный, да среди своих...» Отправляюсь-ка я восвояси, в Глупск, и пусть придет погибель на мою слепую жену и на того поганца, провалиться бы ему! Вот только горбатую девушку мне очень жаль!..»

Ну, а дальше?.. «Это все? Стоило ли столько говорить о такой маленькой книжке?» — спросят иные любители «чрезвычайно интересных романов». Я их слышу, этих любителей, я знаю, я чувствую, что так *должны* говорить некоторые, определенного типа, читатели. Но от этого я вовсе не падаю духом, а еще меньше падает духом талантливый автор «маленькой книжки», отец всех еврейских писателей, наш единственный, бессмертный Абрамович.

### ЛИНЕЦКИЙ

(«*Мальчик из Польши*»)

Линецкий, «Мальчик из Польши» — этих нескольких слов достаточно, чтобы вызвать улыбку у любого еврейского читателя, настолько первый еврейский сатирик известен публике.

Сатира в умелых руках талантливого писателя — бесценный инструмент, который облегчает самый тяжелый труд и никогда не попадает мимо. Публика надрывается от смеха, не замечая, что смеется над самой собой. Смех этот горький, господа!

Вот таким редким даром сатирика обладает знаменитый писатель Линецкий. В представлении народа он про-

стой парень, свой брат, весельчак; он непринужденно говорит, плетет что-то, насмехается, чисто шут какой... Именно поэтому Линецкий так известен и так любим народом.

Давайте посмотрим, как описана у Линецкого повседневная жизнь еврейской нищеты в первом и самом лучшем его произведении — «Мальчи́к из Польши».

.....

Не таясь, автор перед всем миром выставляет напоказ самые горькие и темные стороны этой нищеты, он как бы выворачивает еврейскую жизнь наизнанку: «Нате, мол, любуйтесь!» И мы любуемся, и мы смеемся, хотя и с болью душевной, но смеемся, горе нашему смеху!..

Мы смеемся, мы наслаждаемся тем, как описана жизнь несчастного мальчика из Польши, и в то же время жалеем его. Нам, однако, и в голову не приходит, что смеемся-то мы над самими собой и жалеем не кого иного, как самих себя. Ведь с той самой минуты, когда ангел щелчком по носу\* заставляет нас забыть тору, которую мы изучали в утробе матери, начиная с этого сигнала перед тем, как увидеть свет в темном мире, и вплоть до момента, когда подвыпивший служка отрешает нас от всего земного и просит прощения от имени остающихся в живых, — на нас, к сожалению, не перестают обрушиваться всякие беды, как это описано у Линецкого.

.....

Первой встречает нового пришельца в мир бабка-повитуха, у нее диплом еще со времен рабства египетского, ибо сказано: «И они повитухи». И в самом деле, зачем бабке чему-либо учиться? Эка важность! У нее еврейская голова на плечах, она и без всякого учения разберется. Эта повитуха, эта многоопытная бабка немало повинна в болезнях и муках, которые невинное создание пронесет через всю свою жизнь. Вслед за бабкой появляется нянька, у этой ребенок по двадцать раз на день падает и приобретает горб, кривые ноги, а иногда и изрядную чесотку от нечистоплотности. Солидная доля в бедах и напастях, преследующих маленького мученика, принадлежит и самим родителям, не имеющим никакого представления о воспитании. Поздней им на помощь приходят помощники мелаamedов, которые выманивают завтрак у малыша, затем сами мелаамеды, которые порют его, потому что не внесена плата за обучение к началу месяца, затем товарищи, обучающие его всяким пакостям; позже появляются знаменитые сваты и

свахи, готовые свести гору с долиной, лишь бы заработать несколько рублей, а затем и жена, которая могла бы быть матерью своему супругу, или же, наоборот, которой впору еще в куклы играть, и тесть с тещей, дающие хворобу вместо обещанного полного содержания молодых, и сборщик \*, и «он, долгие годы ему», с его старостами и посыльными, и дети мал мала меньше, и малые заработки... Ах, эта бедность, нищета, еврейская стоголовая и тысяченогая нищета!

Вот он лежит в корыте, маленький человек, связанный, спутанный, а в рот суют ему тряпку, пытаюсь обмануть: пусть думает, что это грудь... Когда малыш немного подрастет, нянька пугает его чертом, трубочистом, нищим, который вот-вот запрячет его в свою горбу. Ребенок катается на своем «простите за выражение» по улице, калечит себя и ест золу из печи... И все же мальчик из Польши, благодарение богу, растет, и отец с матерью искусно воспитывают его. Это значит, что отец учит его показывать матери кукиш, а мать учит его плевать отцу в бороду, и оба вместе учат его и перед чужими людьми отличаться соответственным образом...

Время, однако, не стоит на месте. Мальчику из Польши, с божьей помощью, уже исполнилось четыре года: пора в хедер. И тут в семье начинаются раздоры: мать хочет отдать мальчика к Нехемье Штурмаку, так как плакальщица Хайча говорит, что Нехемье — самый ученый из всех меламедов; отец же, обозвав мать коровой, толкует наоборот: раз Нехемье Штурмак ездит к зеркевичскому цадику, значит, он наглец, и хорошим меламедом можно назвать только Нахмана Траска.

Вам, наверно, интересно узнать, что за хедер у Нахмана Траска. Но он вам знаком, этот хедер, господа, вы хорошо его знаете.

«В доме грязи по горло: возле двери полное да краев помойное ведро, покрытое плесенью, на поверхности которого плавает то, что было вылито на голову Амана...\* Из печи валит дым, как в пятницу в бане. Ребе в засаленной, потрепанной ермолке на голове и в накинутом на плечи рыжем бершадском талескотне сидит на почетном месте и чешет себе спину о печку; в одной руке у него плетка с пятью ремешками, второй рукой он поскребывает у себя за пазухой. Рядом на кровати лежит его тяжело больная жена. По полу ползают двое маленьких детей,

задрав выше головы свои задрипанные рубашонки. На столе корзина с горшками, и на них облизывается рябой кот с глазами серыми, как у ангела смерти. Помощник учителя щелкает плеткой, и десять сопливых мальчишек, заглядывая в один молитвенник, кричат во всю глотку.

— Видишь эту плетку? — спросил меня ребе. — Этой плеткой порют мальчишку, не желающего учиться. Если ты пожелаешь учиться, то ангел сбросит тебе с потолка грош. Если же не пожелаешь, тебя будут пороть железными прутьями и черти тебя закинут за темные горы. Ну, говори же «алеф»! Говори «бейс»!..» \*

Но ведь это ничем не примечательная, совсем будничная картина! Чем здесь восхищаться? Разве надо быть Линецким, чтобы такое описать? Все так просто, так обыкновенно!

И в самом деле, просто, обыкновенно, но это-то и хорошо, потому что правдиво.

«Годы раннего детства, — говорит Линецкий дальше, — промчались, как облако, и мальчику из Польши исполнилось, на радость родителям, семь лет. И тогда мать сказала отцу: «Пора, право, купить мальчику пару башмаков!» — «Потерпи еще немножко, — ответил отец, — на куши я, с божьей помощью, всучу кишкескому арендатору моих два цитруса с дырками. Тогда...»

Однако удастся ли отцу сбыть свои два цитруса с дырками или не удастся; будут ли у мальчика башмаки или не будут, — так или иначе, к учителю Талмуда его надо отдать, ибо ему минуло семь лет.

Учитель Талмуда — пресловутый сладкоречивый Авремл Хирик с трехэтажной губой. Да его всякий знает.

Когда к нему привели мальчика, Авремл Хирик извлек из-под полы березовые прутья и, с почетом уложив нового ученика на скамейку, всыпал ему намного больше, чем тот мог сосчитать. Так как Авремл Хирик предпочитал проводить свое время в синагоге, а не в хедере, то жена его поручала ученикам самые разнообразные домашние работы: они выносили помойное ведро, сажали хлеба в печь, выгребали золу, месили глину и т. п. Хотя до учения почти и не доходило, все же каждую субботу мальчик должен был принести Талмуд домой, чтобы отец его проверил. Но до проверки ли отцу, когда на дворе осень, а он сам, и мать, и дети пухнут с голоду? В общину за помощью отец пойти не может,

две пары опорков он уже оставил в уличной грязи... Нищета скачет, нужда пляшет. Нищета, куда ни повернись! Вот скупая и вместе с тем точная картина еврейской нищеты в изображении талантливой сатирика:

«Итак, милые кущи ушли, как, оставив жену и детей, уходит отшельник; ушли, как летняя ночь проходит за игрой в преферанс; как после свадьбы — горячая любовь; ушли, как заговор знахарки от сглазу, как последний миг обманутой надежды.

Пение сменилось стонами, радость — страданием, башмаки — опорками, и молодые женщины стали похожи на старых баб... Мне, однако, хуже всех: надо снова идти в хедер к Авремлу Хирику...»

Одна эта картина может послужить достаточно яркой иллюстрацией жизни еврейской бедноты. Как это правдиво и как грустно!

.....

Вот уже мальчику из Польши, слава богу, и девять лет. Меламеда для него на месте не найти, да и платить за обучение нечем, поэтому ему остается только «тереться» в синагоге среди взрослых парней-ешиботников. Как проводят время в польской синагоге такие парни, известно всякому. Они бездельничают, пьют водку, закусывают коржами, режутся в «козу и волка», воруют подгнившие яблоки, затевают драки и пакостят, как только могут: ломают пюпитры, превращают молитвенники в макароны, озорничают вовсю. По части озорства мальчик из Польши лицом в грязь не ударит... Но погодите! Он уже парень хоть куда, ему уже невесту сватают! На него напяливают отцовский субботний кафтан, и наше сокровище предстает перед «экзаменатором». Экзаменатор, дока в Писании, забирается вместе со сватом в глубокие дебри схоластики. Словно богатыри какие, выходят они оба на поединок. А сражаются они из-за печки, которую топили не то соломой, не то щепками. В спор вмешивается и отец жениха. Экзаменатор загибает толстый палец и кричит: «Вот на что намекает мишна!» Сват протягивает в ответ все пять пальцев и утверждает обратное: прав, мол, жених. Хотя о женихе среди шума и крика совсем забывают, все же в результате оказывается, что он «весьма приличный» парень, и помолвка, с божьей помощью, состоится. Вот с этого момента, господа, нищета разрастается вширь и вглубь.

.....

Вам, конечно, хочется узнать со всеми подробностями о великолепной свадьбе мальчика из Польши; вас интересуют рифмы бадхна \*, спич жениха, свадебные подарки, золотой бульон \* и т. п. А может быть, вам еще любопытней узнать, как впоследствии коротает свой век такой законченный нищий, а также новое поколение нищих, которое он производит на свет? Тогда потрудитесь перечитать сочинение Ицхок-Иоэла Линецкого «Мальчик из Польши» от корки до корки. Получите удовольствие. Наряду с забавным и смешным вы найдете там много грустного и, смеясь, захотите плакать, плакать над вековой, горькой нищетой, бездонной, как море, обширной, как мир, который так же стар, как стары страдания еврейского народа...

### СПЕКТОР \*

(«Бедные и обездоленные»)

Надо признаться, что от романа «Бедные и обездоленные» мы ожидали большего. Само название давало нам право думать, что перед нами раскроется новый мир, мир нищих со всеми его сословиями, нищих «бедных» и «богатых», весь еврейский пролетариат — одним словом, мы надеялись увидеть подлинную картину современной еврейской нищеты, модной нищеты.

Нашу надежду поддерживало имя М. Спектора, молодого писателя, который, как мы знаем, умеет создавать правдивые картины жизни. Казалось бы, в книге, посвященной бедным и обездоленным, можно было тем более оставаться верным реальности и изображать жизнь без романтики, не фантазируя. Бедняков у нас предостаточно, их так много повсюду, что писателю с талантом можно поставить свой письменный стол где угодно — в городе ли, в местечке ли. Надо только смотреть на прохожих и зарисовывать их. Можно не сомневаться, что картины возникнут самые правдивые, и люди будут как живые...

Поэт, конечно, вправе создавать картины, порожденные его фантазией, лишь бы они были жизненными. Спектор, однако, как и всякий начинающий, слишком уж полагается на свое воображение, а оно уносит его так высоко, что у него начинает кружиться голова и он видит мир в особой окраске. От солнечного сияния там, на вершинах фантазии самые обыкновенные, пепельно-серые краски превращаются в розовые. Отсюда — празд-



ничность, телячий восторг по любому поводу, как в тех пасторалях, где изображаются златокудрые пастухи в шелковых рубахах, в красных сафьяновых сапожках с серебряными застежками и с золотой свирелью в руках. Такие картины привлекательны, они радуют глаз, но как далеки они от истины!..

В жизни, к сожалению, пастухи не так уж поражают нас благообразием. Они подчас разуты-раздеты, ноги у них исколоты и распухли, лица темны, как земля, и мрачны они, как ночь. В руках у такого пастуха — обыкновенная ивовая дудка, на спине — торба, а в торбе — краюха хлеба или же и того нет — как бог даст.

Бесприютная, горькая жизнь бедняков отнюдь не идиллия, отнюдь не красивая картинка для пресыщенных, как это получается местами у Спектора. Мы видим в книге Абрамовича «Фишка-хромой» горбатую девушку такой, какой ей надлежит быть. Горбатая девушка — милое дитя. Это несчастное создание, обладающее нежным сердцем, показано с чувством меры. У Абрамовича все, как в самой жизни, все у него взвешено: ни одного лишнего слова, ни одной ненужной улыбки. Подобной строгости не хватает автору романа «Бедные и обездоленные». Так, Шейндл, Рохл и Рейзеле — девушки, живущие на подаяния, — ведут между собой «умный» разговор о еврейском мягкосердечии, которое, мол, портит бедный класс, потому что жалость только умножает число тунеядцев, бездельников и попрошаек.

.....  
Можно подумать, что не нищенки, а какие-нибудь барышни, курсистки завели разговор о самостоятельной работе, о независимости, чуть ли не об эмансипации.

Из-за подобных недостатков нам придется хорошенько проверить роман «Бедные и обездоленные», отделить мякину, и тогда останется одно хорошее, немного, правда, совсем немного, но зато настоящее. Лучше немного, да хорошо, чем много, да черт знает что...

Так же, как и у Абрамовича, нищие у Спектора делятся на три категории. Первая — оседлые нищие. Так как они из города никогда не выезжают и широкий мир перед ними закрыт, они убеждены, что все городские обыватели, вместе с их домами, делами и всем прочим, для того только и созданы, чтобы им, нищим, было у кого просить подаяние.

Вы, может быть, думаете, что эта нищая братия не-

высокого мнения о себе? Упаси бог! Наоборот, все они гордецы и кичатся своей знатностью. «Богом избранные», — называет их Спектор...

«Попробуйте только усомниться, и нищий тут же выложит вам свою родословную, из которой видно, что его предки были «не кто-нибудь», а потому не воображайте, что своим подаванием вы делаете ему одолжение. Напротив, он делает одолжение вам, ибо чем бы вы заслужили царство небесное, если бы вам некому было подать милостыню?..»

Вторая категория, по Спектру, — это скитающиеся нищие, такие, которые бродят по белу свету. Их жизнь подчас бывает весьма интересной. В большинстве это несчастные разорившиеся хозяева, скатившиеся на дно. Они, в свою очередь, делятся на две категории — на пеших и на владельцев собственной лошадки и повозки, на которой и разъезжают. Это, в сущности, те же два сорта нищих, которые Абрамович называет «пехотой» и «кавалерией».

Вряд ли «пешему» нищему приходится ходить пешком больше, чем обладателю повозки и лошади, потому что лошадь его такое же жалкое создание, как и ее хозяин. Автор «Бедных и обездоленных» с большой правдивостью изображает бедную лошаденку, которая мучается, выбивается из сил до тех пор, пока не свалится и так и останется лежать где-нибудь под горой глины, возвышающейся у въезда почти в любой город с еврейским населением.

«Эта грустная сцена привлекает толпу, глазеющую на растянувшуюся на земле лошадь и на несчастную женщину с детьми. Преисполненные жалости, добрые люди запрягают другую лошадь и завозят нищих во двор синагоги».

Наблюдательный читатель мог заметить, что в романе Спектора «Бедные и обездоленные», как в зеркале, отражаются те же самые типы, что и у Абрамовича в книге «Фишка-хромой». Нищие — это почти те же «пехота» и «кавалерия», и даже лошадь напоминает ту горемычную лошаденку, которая так часто встречается у Абрамовича. Мы ни в малейшей степени не собираемся бросить тень на г-на Спектора: возможно, он даже еще и не видел сочинение Абрамовича, когда сел писать своих «Бедных и обездоленных». Нам хотелось только отметить этот случай. Ведь иногда разные канторы поют на один манер, хотя, впрочем, наши мудрецы утверждают, что каждый пророк изрекает свои истины по-своему.

Мастерски изображает Спектор в своем романе поездку одного нищего из Кишинева в Одессу, поездку, длившуюся не более и не менее, как семь лет.

Еще красочнее изображены в романе интриги, которые плетут оседлые нищие, стоит только затесаться среди них чужому.

«Опять эти шатуны! И какой ветер заносит их сюда? Точно мы загребаем золото, точно здесь не хватает своих нищих. И чего они у нас не видали, какого черта!..»

— Посмотри-ка на эту, как она оглядывает все кругом! Можно подумать, что она попала к своему папаше на виноградник. Теперь небось у нее жалостливое лицо... Но попробуй-ка пожалеть такую бродяжку — и не успеешь оглянуться, как она нахально будет стоять впереди тебя у дверей и перехватывать лучшие куски. О, уж я знаю этих бездельников! Терпеть их не могу. И зачем только они здесь шляются? Они обжоры, и глаза у них завидушие, им всего мало. Гнать их надо, как собак...»

«Попробуйте сойтись с ними поближе, поживите среди них, — говорит у Спектора «добрый знакомый», — присмотритесь к ним, и в каждом нищем, в каждом попрошайке перед вами откроется целый мир».

### ШАЦКЕС

(«Предпасхальные дни»)

Здесь, господа, перед нами снова правдивое воспроизведение жизни, печальная картина горемычной нищеты. И до чего мастерски эта нищета показана, как великолепно изображена!

Длинное нравоучение, если его прочитает даже наилучший проповедник, тоже надоест слушать. Но никогда не надоест слушать поговорки, шутки, хотя бы и злые, видеть перед собой знакомые, вернее, правдивые картины подлинной жизни и незаметно для себя извлекать из них пользу, услышать дружеский совет, слово, которое заставит вас серьезно призадуматься. В этом, по нашему мнению, секрет искусства милого г-на Шацкеса, критика и сатирика, скрывавшего даже вначале свое настоящее имя, в этом вся прелесть «Предпасхальных дней». Серьезное и смешное, сожаление и шутка, талмудическое пустословие и острая поговорка идут

здесь рядом, и так тесно, что едва только вы успеете проникнуться печалью, ага, опять шутка, опять смешное описание, и вы не можете не смеяться. Но смех ваш недолог, так как вы снова сталкиваетесь с картиной нищеты, и охота смеяться у вас пропадает.

Не будем, однако, голословны. Откроем книгу и посмотрим, так ли это на самом деле.

«Послушайте, женщины! — разошлась одна из соседок, плакальщица и говорунья Геля. — Так бы мне зла не знать, и вам, и всем евреям, как я не знаю, каким чудом придет в этот дом пасха. Право же, пусть народ размножается, но ведь пять семейств, не сглазить бы... Говорю вам по совести, пасха в этом году меня немного тревожит. Несколько монет завтра придется истратить на базаре. Индюшку какую-нибудь надо купить? От куска падали, прости господи, бульон жирнее не станет. А от индюшки, не забывайте, еще и смалец будет. Ну, а как же с картошкой, с луком, с хреном? Вот тут и начинается! Придется попросить деньги у моего милого муженька, чтоб ему так любо было жить, как мне любо просить у него деньги, пусть к нему черт в гости напросится. Вы думаете, самому ему жрать неохота? Ого, еще как разборчив! Между нами говоря, он, может быть, и прав. От такого кусочка индюшки тоже особенного вкуса не будет. Для меня-то все ладно. Положишь луковичку, картошечки накрошишь, ну и на том спасибо, лишь бы здоровье... Куропатки мне нужны, что ли? По мне, хоть бы и вовсе завтра ничего не готовить! Но он, злосчастье мое, разве он может потерпеть? Он будет рвать и метать. Ему все равно, что будни, что канун пасхи, его не касается, ему бы только жрать. Мне смешно, когда люди говорят: «Ведь он, бедняжка, трудится!» А на кого же он, собственно, трудится? На себя и на своих же байстрюков! Такую бы ему долю на том свете, какую жизнь он мне устроил на этом свете».

После такого очаровательного монолога вы можете подумать, что больших обжор, чем литовские евреи, и на свете нет. Но послушайте дальше «и вникните», как говорит Шацкес.

«Соседки сошлись на том, что ужин все-таки надо приготовить, но легкий, потому что время позднее. Угадайте же, что они приготовили? Ну, конечно, не яичницу из десятка яиц и не клецки на чистом молоке. Только у вас, на Воляни, может такое прийти в голову,

но никак не в Литве. Здесь это не пройдет. Кому охота прослыть обжорой и расточителем? Кто на Литве разрешит себе подобные яства? Разве лишь откупщик, подрядчик, сборщик или же странник из Палестины, а простому человеку, который кормится собственным трудом, такие роскошества недоступны. Что же, в таком случае, сварили женщины? Похлебку».

Что это за блюдо такое «похлебка»?

На это Шацкес дает исчерпывающий ответ.

«Есть такое блюдо на Литве, которое называется «похлебка». Круглую неделю, по три раза в день, это блюдо бурлит в каждом доме, как река Самбатон\*. Может быть, вы, волынские и галицийские евреи, никогда не едали похлебки и не знаете даже, из чего она делается? Тогда я вам расскажу: похлебка — это, прошу прощения, самая обыкновенная вода с крупой; иногда к ней прибавляется картошка, а иногда и нет, нельзя же вечно угождать утробе! О мясе приходится только мечтать, ибо кто же это в состоянии платить пятнадцать, а то и шестнадцать копеек за фунт мяса? Достаточно положить в похлебку на грош смальца или масла... Таким питанием довольствуются всю неделю. Хотите знать, кто породил похлебку? Ведьма-такса, да будет проклято имя ее, вот кто родная мать похлебки!»

Таков, как видите, обычай в Литве: круглый год ходить с пустым брюхом, разница там между буднями и кануном пасхи только в том, что в канун пасхи о еде даже говорить не полагается.

Но время не ждет. Как туча, надвигается «длинная суббота», и голова идет кругом. Вот уже, слава богу, есть и новый мешок для мацы. Его поставили в уголок, на особую табуретку, посланную свежим сеном, и строго наказали детям не вертеться около него, держаться подальше.

Легко представить себе, как эти бедняки рады пасхальной муке, которая досталась им с таким трудом. Покупать пшеницу, тащить ее на мельницу, ругаться с мельником и ссориться друг с другом не так уж приятно. А насчет привозной муки раввин — долгие годы ему — очень строг: он велел объявить во всех синагогах, чтобы ни под каким видом никто не пользовался привозной мукой. Да и без этого никому не хочется изменить старинному обычаю, в особенности если этот обычай связан с пасхой.

. . . . .

Вот против таких раввинов, которые свое пустое тщеславие ставят выше страданий бедняка, против этих мелких людишек, которые легко разрешат богачам пить сомнительное по своей «кошерности» вино, а беднякам не разрешат в голодный год пшено или рис на пасху, потому что вино-то будут пить богачи, а пшено и рис — пища бедняков, — вот против таких ханжей и выступает г-н Шацкес в своих «Предпасхальных днях», против них направлено его острое оружие.

Послушайте-ка чудеса: должно же так случиться, что индюшка, которую купила женщина, представьте себе, стала трэфной.

«Готовишься, готовишься, а как праздник придет, не хватит сил даже поесть, прости господи! По правде говоря, и есть-то особенно нечего. Рыбу я сегодня готовить не буду, лучше оставить на завтра. Сварила бы я галушки, так смальца пока нет. Трудилась четыре недели на черта, пусть не накажет меня бог за такие слова. Хоть бы картошкой заправить бульон... А то что же? Пустая вода... Фасоль нельзя положить — пасха!»

Легко смеяться сытому, он сидит после вкусного обеда с сигарой в зубах. Легко ему смеяться над замечательными порядками в Литве, а также и в Польше, описанными в занимательной книге «Предпасхальные дни». Но не так уж весело бедному человеку, который весь год ждет не дождется милого, светлого праздника пасхи. Можете себе представить, каково-то ему? «Кто не видел, как радовались эти люди, когда ели картошку, тот никогда в своей жизни не видел настоящей радости!» — так заканчивает автор эту главу.

А как же пасха? Слава богу, пасха уже наступила: в каждом доме — трапеза; за каждой трапезой — своя «королева» и свои «принцы». Одно удовольствие!

«В общем, церемониал закончен, парад уже позади, пора бы и поесть чего-нибудь. К столу подается одно яйцо на троих. Только хозяину дома, «королю», подается целое яйцо. Яйца макают в соленую воду и набивают животы мацой, иначе сыт не будешь... После яиц подается бульон, то есть полная до краев миска горячей воды, в которой плавают крупа из толченой мацы. Мясом и не пахнет. Какой вкус может придать полфунта падали такой многоводной реке? И говорливая плакальщица не стерпела:

— Женщины, вы хоть обратили внимание на дайена \*, который объявил наших индюшек трэфными \*, и как он сидел в шапке набекрень? Не знаю, но мне кажется, что он даже не дал себе труда подумать... Он только и смотрел на кружку, как бы кто-нибудь не забыл опустить монету за продажу хомеца \*, — да не накажет меня бог за такие слова!»

Заметьте, дорогой читатель, как часто у этой говорливой женщины вырывается протест против деспотизма духовенства с его дикими нравами! Роняя вскользь слова, она тут же спохватывается: «Да не накажет меня бог!..» Видно, немало таких женщин, которые не только чувствуют, но и начинают понимать, в какие смешные и вместе с тем грустные обстоятельства они поставлены. Они только высказываться не умеют. Петуха кольнет под крыльями, он и кукарекает, но что означает его кукареку, в этом он себе отчета не отдает... И многое эти люди делают автоматически: как дед и отец поступали, так и сын. Но стоит заронить в душу такого человека искру, стоит немного открыть ему глаза, как он начинает задумываться над тем, что происходит вокруг него:

— Горе мне! Ведь мы, стыдно сказать, будто скотина какая; мы погрязаем в болоте черной нужды, мы погребены в ней и думаем, что иначе и быть не может. Так червяк, забравшись в хрен, воображает, что нет ничего слаще...

К подобным мыслям неизбежно приходит любой читатель, даже самый неискушенный, когда дочитывает последнюю страницу «Предпасхальных дней», книгу, полную остроумных шуток, поговорок, светлых мыслей, полезных сведений, назидательных слов, прекрасных образов, веселых сцен и грустных раздумий. Все в ней сделано с толком. Эта острая, пламенная сатира написана хорошим языком и богата такими находками, такими оригинальными оборотами, каких до Шацкеса наш молодой разговорный язык не знал.

Нам очень жаль расстаться с книгой «Предпасхальные дни», ибо нам не удалось показать и тысячной доли ее достоинств, рассыпанных чуть ли не на каждой странице, но надо же когда-нибудь кончать...

Словом, нищета у нас растет и растет, и ничего не меняется, и нет просвета, и нет надежды, а может быть, только надежда и осталась нам в удел.

**ИЗ КНИГИ  
«ЕВРЕЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ»**





## ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ

(Диалог)

- Шолом алейхем! <sup>1</sup>
- Алейхем шолом! <sup>2</sup>
- Откуда едете?
- Из Варшавы.
- Чем занимаетесь?
- Я — еврейская газета.
- Как вас звать?
- «Юдишес фолксцайтунг». А вы, откуда вы?
- Откуда мне быть? Из Егупца.
- Чем вы занимаетесь?
- Чем мне заниматься? Я — еврейский писатель.
- Как вас звать?
- Шолом-Алейхем.
- Шолом-Алейхем? Жить вам, значит, миром и ладом!
- Того же вам и вашим чадам!
- Что же вы подельваете, пане Шолом-Алейхем?
- Что же нам подельывать? Пишем.
- Что пишем?
- Что нам писать? Что видим, про то и пишем.
- Что же дают вам писания, которые вы пишете?
- Что они могут дать? Горести, колики, слезы, обиды, муки, страдания, тревоги...
- И это все?

---

<sup>1</sup> Мир вам! (еврейск.)

<sup>2</sup> Вам мир! (еврейск.)

— Чего вы еще хотите?

— Я имею в виду...

— Почет? Без меры, без счета! Ни один писатель в мире не имеет столько почета, как еврейский сочинитель. Шутка ли, у евреев писатель, человек, который пишет!

— Вы это всерьез?

— А то что же? Шучу, что ли? Посмотрите-ка сами, что творится на наших юбилеях. Наилучшие пожелания от почитателей, от горячих поклонников и просто от усердных читателей летят со всех концов света, — из Касриловки, из Тунеядовки, из Тетерева, из Затрапезовки, из Галаганишка, из Стрища, — отовсюду! А корреспонденции, которые сам юбиляр печатает в газетах?! А пиршества, банкеты, тосты?! Море разливанное! А стипендии, а пожертвования, которые вносятся в это время на благо трудящихся земли обетованной!.. Вы шутки шутите, — какой почет оказывают еврейскому сочинителю?

— Нет, я не о том; я имею в виду...

— Заработок? Полон рот! Только бы хватило свободного времени вдобавок к тому быть еще и меламедом, лавочником, маклером, сватом или просто человеком, не отказывающимся от подаяний, способным ходить по домам и собирать деньги на издание своей книги. Вы шутки шутите с еврейским сочинителем? Еврейский сочинитель — свободный человек!

— Что значит свободный человек?

— Он свободен от всех благ и на этом и на том свете; он свободен от куска хлеба, от здоровья, от друзей, от жены и детей, от всех радостей жизни...

— Мне кажется, пане Шолом-Алейхем, что тут в вас уже говорит желчь, вы даже залезаете в дебри нетерпимости. ...Нехорошо это. Не к лицу еврейскому писателю, который пишет для народа, так обрушиваться на евреев. Еврей обязан все в жизни принимать с любовью и три раза в день произносить...

— «Все к лучшему»?

— Конечно! Все к лучшему! А что было бы, если бы вы и того не имели? Какой вид мы имели бы среди народов, если бы сбросили с себя наш единственный кафтан? Разве есть у нас, кроме нашей литературы, иная одежда, чтобы покрасоваться в ней перед миром?

— Быть может, вы и правы.

— Как это «быть может»? Наверняка! Но давайте поговорим о чем-нибудь более веселом.

— О поминках?

— Не то. У меня к вам...

— Просьба? Пропечатать кого-нибудь в газетах?

— Боже сохрани! У меня к вам небольшое дело.

— По части сватовства?

— Нет... А впрочем, да, по части сватовства.

— Кто жених? Откуда невеста?

— Жених в Егупце, невеста в Варшаве.

— Далековато для сватовства. Как же их звать?

— Невесту звать «Юдишес фолкссайтунг», а жениха — Шолом-Алейхем. Нравится вам план?

— Недурно. Только бы...

— Что «только бы»?

— Только бы... Ничего...

— Не люблю недомолвок. Скажите, что вас смущает?

— Что может меня смущать? Ничто ни капельки не смущает меня! Одним словом, чего вы хотите?

— Хочу я вот чего. Раз я еврейская газета, а вы еврейский писатель, я хочу, чтоб вы писали, а я печатал.

— Что же мне писать?

— Фельетоны... Чтоб смеялись.

— Смеяться? Ведь плакать хочется...

— Вы можете плакать, только бы публика смеялась.

Понимаете?

— Понимаю, как не понять? Вы хотите, чтоб я представился скоморохом, комедиантом, клоуном, шутком гороховым — словом, забавлял публику...

— О! Только свяжись с еврейским сочинителем! Кто сказал — скоморох, комедиант, клоун, шут гороховый? Я только хочу, чтобы в ваших писаниях была и шутка, и прибаутка, и по плечу хлопок, и по заду шлепок. Словом, публике надо доставлять удовольствие...

— Чтобы все говорили: «Черт бы побрал этого Шолом-Алейхема! Ну и язычок — онеметь бы ему! Ну и рученька — отсохнуть бы ей!»

— И еще я хочу, чтобы вы толком поговорили с нашими евреями, и именно на их наречии, на их родном языке, чтобы вы так и сказали им: вы, мол, такие и сякие, вы, дескать, и растакие и рассякие!.. То есть вы должны разделить их под орех, но красиво, чинно и благородно. Вы меня понимаете?

— Понимаю, как не понять? Вы хотите, чтобы мы с ними играли в ту игру, которая называется «кошки-мышки»?.. Так и быть... Только бы...

— Что «только бы»?

— Только бы... Ничего...

— Я же вам говорил — терпеть не могу недомолвок. Давайте прямо, что вас смущает?

— Что может меня смущать? Ничто ни капельки не смущает меня. Одним словом, чего вы еще хотите?

— Еще давайте им сценки...

— Чтоб они зевали?

— Рассказывайте им истории...

— Чтоб они быстрее засыпали?

— Напишите большой роман, роман с любовью, с трогательными сценами, чтобы дух захватывало. Одним словом, чтоб был роман...

— В шести частях с прологом и эпилогом, а-ля Шомер? Ни с чем не сообразные, дикие, нелепые сцены, ни к селу ни к городу?.. Меламед из Несвижа заводит любовь со служанкой Ривкой; он пишет горячие письма, она поет чувствительные песни; потом он уезжает в Париж и спустя девять месяцев возвращается бароном или миллионером и застаёт свою возлюбленную на кухне у ростовщика Эфраима, бандита, убийцы, душегуба. Тут между ними разыгрывается дуэль: ростовщик Эфраим хочет расколоть пополам несвижского барона; тогда барон бежит к губернатору, будит его и возвращается вместе с ним и с тремя жандармами; видя такой оборот дела, ростовщик хватается нож и закаляется, служанка Ривка падает в обморок и поет при этом немецко-еврейскую песню, да такую душещипательную, что и камень может растаять...

— Все? Вы уже кончили? Не нужно, чтоб несвижские меламеды ездили в Париж, чтоб губернаторов будили среди ночи, чтоб ростовщики закалывались и служанки пели на кухне душещипательные немецко-еврейские песни. Я хочу, чтобы вы дали роман, но роман еврейский, любовь, но любовь еврейскую. Вы меня понимаете?

— Понимаю, почему не понять? Вы хотите, чтоб я писал о жизни, о подлинной еврейской жизни? Хотите, чтоб я писал кровью сердца, нервами, от глубины души, нечто такое, за что расплачиваешься здоровьем и старисься раньше времени, от чего лицо покрывается мор-

щинами, а голова — сединой, вы этого хотите? Так и быть... Только бы...

— Что «только бы»?

— Только бы... Ничего...

— Опять недомолвки? Скажите же, наконец, что вас смущает?

— Что может меня смущать? Ничто ни капельки не смущает меня! Словом, чего вы еще хотите?

— Хочу, чтоб вы потрудились хоть раз в месяц просмотреть все те книги и книжонки, что пишут писатели...

— Изводят бумагу...

— Но печатники печатают...

— Как подмажешь, так и поедешь. Раз им платят, они печатают.

— Но книготорговцы берут.

— Меняют книгу на книгу, шило на швайку...

— Но народ читает...

— Что ему еще остается? Не дают скотинке отрубей — она жует солому...

— Вот вы и потрудитесь все это просмотреть, прочесть, а потом вкратце пересказать читателю, хорошенько ему разжевать, объяснить, что хорошо, а что ни к черту не годится...

— Надо щадить его желудок...

— Словом, будете писать критику.

— Великое ли дело?! Стану той же скотинкой и подохну в том же стаде...

— Но что же? Попрошу, чтобы все это — без лишнего шума...

— К чему кричать?

— И без огня...

— И без воды...

— И без злости...

— Злиться — грех...

— Ваша критика должна быть и нескудной, и полезной, и серьезной, и шутиливой... Вы меня понимаете?

— Понимаю! Почему не понять? Вы хотите, чтоб из хлама, которым завален наш литературный рынок, я состряпал вам настоящий цимес. Рыться в куче навоза, — авось найдется когда-нибудь жемчужина, — легкая работа; от нее недолго и посинеть — так полезна она и для тела и для души. Ну что ж, недурно... Я готов, только бы...

— Что «только бы»?

- Только бы... Ничего...
- Фу, пане Шолом-Алейхем! Я вам сколько раз говорил, что не терплю недомолвок. Со мной вы должны быть откровенны. Скажите, пожалуйста, что означает ваше «только бы»?.. Деньги?
- Кто говорит о деньгах?
- Что же? Почет?
- Кто говорит о почете?
- Что же? Здоровье?
- Что говорить о здоровье?
- Что же вы все твердите «только бы»?
- Только бы читали!..

## ДЕДУШКИН ОТЕЛЬ

Случалось ли когда-нибудь, чтобы вам захотелось стать не тем, что вы есть? Я, к примеру, был бы иногда не прочь стать неевреем. Конечно, не навсегда, боже сохрани, а только так, на короткое время, чтобы поглядеть нееврейскими глазами, какой вид имеют евреи, когда они идут, беседуют, галдят, препираются и машут руками. Это, полагаю, должна быть необычайно интересная картина. Самая обыкновенная беседа, несомненно, показалась бы мне ссорой, перебранкой, и, глядя на двух евреев, спорящих между собой по какому-нибудь принципиальному вопросу, скажем, — когда нынче заход солнца, или когда у нас в этом году рош-гашано<sup>1</sup>, или сколько может стоять вот этот каменный дом, или еще о чем-либо подобном, — я определенно решил бы, что они поносят друг друга и дело вот-вот дойдет до потасовки.

Эти мысли пришли мне на ум, когда мы, три еврейских прозаика и один поэт \*, совершали первое путешествие по знаменитым Альпам. Почти все, кого мы встречали на нашем пути, — среди них были французы, немцы и англичане, — с каким-то удивлением смотрели на нас, словно мы явились сюда бог весть из какой страны и наряжены в невиданные одежды. Полагаю, это было потому, что мы беседовали, быть может, слишком громко, и в какой-то мере еще и потому, что мы, все четверо, говорили разом. Говорить всем вместе — это такое искусство, которым владеем только мы, евреи. Ни один народ не может этим похвастать. Наши собрания, наши разбирательства, торжества и заседания славятся в мире.

---

<sup>1</sup> Новый год (*древнееврейск.*).



Парламентаризм, то есть когда говорят по очереди каждый в отдельности, — хорошая штука, но не всегда и не везде. И менее всего по душе он трем еврейским прозаикам и одному поэту, странствующим вчетвером по Швейцарии среди знаменитых, покрытых вечными снегами Альп, когда они, все четверо разом, говорят о литературе, о поэзии, о Талмуде, о его толкованиях, об истории, политике, революции и прочих подобных вещах. Не устроим же мы *на ходу* «заседание» чтобы выбрать президента и просить у него слова!

Люди, которых мы встречаем, — эти французы, немцы и англичане, — карабкаются по тем же горам, что и мы, но их путешествие лишено интереса.

Они идут и молчат, а если заговорят, то очень тихо, еле-еле слышно. Каждый из них занят только собой, своим собственным желудком. Это вообще правило: если несколько человек идут вместе и молчат, значит, их мысли погружены в дела собственных желудков. Мы не таковы. У нас желудок — груз, подвешенный нам природой, что-то вроде внутренней торбы, чтобы нам весь век с ней маяться. Мысль эта — не моя. Дедушка реб Менделе уже много раз касался ее в своих бессмертных творениях.

Как бы ни обстояло дело — все прохожие смотрели на нас с большим удивлением. Иные останавливались и прислушивались к нашим крикам, — видимо, в ожидании минуты, когда мы начнем драться. Глупцы! Они не знали, конечно, что таких истинно добрых друзей, как мы, трудно найти на всем белом свете, хотя мы друг другу комплиментов не говорим, в карты не играем, не питаем пристрастия и к другим земным утехам, которые обычно сближают людей. Когда еврейские беды сгоняют нас в одно место, вся наша отрада в том, что мы изливаем один перед другим всю горечь исстрадавшегося сердца, вместе сетуем над бездомностью благодати, скорбим о судьбе несчастной, исхлестанной «клячи», то есть народа нашего, — а уж если, с божьей помощью, иногда на проводах царицы-субботы хлебнем по малости вина, нам становится так весело, так весело, что слезы льются из глаз...

\*

Шествие солнца по светло-голубому швейцарскому небу было в самом разгаре. Оно закидало горы золотыми снопами, которые колосьями рассыпались по веко-

вым камням и катились вниз, под гору, по зеленым долинам, и падали вместе со змеящимися ручейками в ослепительно-синюю беспокойную Рону, бегущую с певучим шумом между скал, бог весть с каких пор и доколе, бог весть почему, зачем и ради чего! А мы все еще под горой, которая вырастает у нас на глазах, с каждой минутой становится шире, выше и прекрасней. И чудится, что она уже не бежит от нас, как прежде, а наоборот, идет нам навстречу, чтобы чествовать, глядит на нас дружелюбно, но горделиво, подмигивает нам, чтобы, дескать, мы, четыре еврейских писателя, потрудились взойти туда, к ней наверх, поближе к небу, к трону божьему. Там она покажет нам свои великие чудеса; там прочитает нам главу из книги творения; там она расскажет нам, на что горазд всевышний, и оттуда откроет перед нами изменный, глупый мирок, где несмышлениши-дети понастроили маленькие домики и их скопления называли городами, погнали маленькие тележки и называли это поездами, а сами представляются царями, королями и президентами, разыгрывают войны, морские битвы, господ и рабов — совсем, совсем как большие...

У каждого из нас гора получает свое название: у одного она называется «Старец», другой нашел, что ей больше к лицу быть «Великой», третьему нравится величать ее «реб Снизойдите». Дедушке реб Менделе захотелось доставить сюда величайшего из великанов, легендарного Ога, царя Васанского, который взвалил бы гору на плечи, пробежал с нею одним духом пятьсот миль и задумал сбросить ее на евреев; но бог вдруг совершает чудо, и у свирепого царя вырастают два клыка, один — вверх, другой — вниз, и царь-душегуб застывает с горой — ни туда, ни сюда. Неповторимая трагикомическая сцена!..

— Как она называется, эта прекрасная гора?

Все глаза обращены на моего коллегу, человека с горячим темпераментом, — ведь он в Швейцарии как у себя дома. Он здесь знаком, по его словам, со всеми горами и в наилучших отношениях со всеми реками и речушками. Одним словом, свой человек. Мой коллега, тот самый, что с горячим темпераментом, остановился, покраснел, потер себе лоб, посмотрел вверх, на вершину горы, и сплюнул с такой злостью, словно ему наступили на ногу.

— Тьфу, чертовщина! Я забыл название этой горы! Только что знал — и забыл! Что скажете?

— Забыл? — отзывается дедушка реб Менделе. — Скажи на милость! О том, что такое забывчивость, спросите меня. Нет худшей кары на свете, чем забывчивость! Мне знакомо такое, когда что-нибудь хорошо тебе известное вдруг вылетает из памяти, как птичка из клетки, — поди лови! Забывчивость — это болезнь, наваждение, несчастье для человека! Если хотите, дети, расскажу вам историю, — не выдумку, а подлинную быль. Это случилось со мной в Одессе несколько лет назад. История с отелем...

— Я расскажу вам поинтереснее историю, которая приключилась со мной, и тоже в Одессе!.. Слышите? Она стоит того, чтобы ее описали!..

Так воскликнул мой темпераментный коллега \* и уже собрался было начать рассказ, но поэт его перебил:

— А я вам расскажу еще более интересную историю, происшедшую со мной не в Одессе, а в Житомире!

— А я-то что? Не в счет? — вырвался четвертый, то есть я сам, своей собственной персоной. — Я вам лучше расскажу историю о трех городах сразу, будете показываться со смеху!..

— Сразу о трех городах? Если так, за вами первенство!

Так проговорил Дедушка нараспев, раскатисто смеясь, и махнул рукой, словно говоря: «Вы всех обскакали!.. Ваш и выигрыш!»

Все четверо расхохотались, а я вспомнил изречение: «Семь примет у болвана!» Я понял, как бестактно было с нашей стороны прервать нашими историями речь Дедушки. Желая загладить свою вину, мы стали просить Дедушку рассказать историю, происшедшую с ним в Одессе. И Дедушка, — настойчивой просьбе он всегда уступит, — по своему обыкновению, засучил рукава, сдвинул очки на высокий, белый, умный лоб, обрамленный волнистыми белоснежными волосами. Маленькие, но острые, глубокие, пронизывающие глаза полуприкрылись, посмотрели вверх, несколько в сторону, по лицу разлилась сияющая детская улыбка, которая делает его лет на пятьдесят моложе и придает ему столько обаяния, что хочется сидеть возле него и вечно слушать, — только бы он говорил, и говорил, и говорил!..

И медленно, по своему обыкновению полушутливым-полусерьезным тоном, он начал свой рассказ:

— Было это, как я вам сказал, несколько лет назад в Одессе, то есть не в самой Одессе, а где-то не доезжая Одессы. Короче говоря, я ехал домой, в Одессу. Дело было осенью. Весь мир облачился в дождь. Небо заливалось слезами, ветер выл, земля скорбела и тосковала по милому горячему солнцу, словно вдова по мужу. Деревья давно стряхнули с себя пожелтевшие листья, птицы покинули свои гнезда, пообещав вернуться на будущий год, если бог дарует жизнь... Непрерывно моросил мелкий дождь, время от времени сердито нахлестывая по запотевшим окнам вагона, где мы, расположившись удобно, просторно, в тепле, сидели целой компанией и беседовали о различных вещах, делах, предметах. Напротив сидел пассажир — образованный, начитанный, чудесный человек, как выяснилось позднее, христианин и редкостный друг евреев. Вы ведь знаете, для меня еврей-подхалим хуже выкреста, и я не прихожу в раж, когда христианин говорит о нас доброе слово. Но к моему соседу я проникся личной симпатией благодаря глубоко скрытой в нем притягательной силе, не подвластной рассудку. Что мне вам сказать? Я чувствовал себя так хорошо с ним, я сказал бы даже — по-свойски, мне, право, не надоело бы ехать вместе еще три дня. И хотелось хоть чем-нибудь быть полезным ему, сделать что-нибудь приятное. И представьте себе, желанный случай подвернулся сам собой. Как это произошло? Так как он, видите ли, впервые едет в мой город, в Одессу, и ему хотелось найти подходящее пристанище — какой-нибудь приличный отель, и так как я местный старожил, то не могу ли порекомендовать ему по моему разумению самый благоустроенный, самый лучший отель в Одессе? — Отель? Ах!..

Обеими руками ухватился я за этот предлог и самими яркими красками стал рисовать ему известный отель, по моему мнению, самый большой и самый прекрасный из всех имеющихся в городе. Во-первых, панорама. Дом поставлен так искусно, что все окна выходят к морю. Просторные, высокие, светлые комнаты, роскошный зимний сад, оранжереи, читальный зал, обслуживание, я имею в виду персонал. А ресторан! А музыка! Короче, я так воодушевился, словно рисовал перед ним не отель, а рай.

Светлое, теплое, веселое пристанище в чужом городе, когда на улице так пасмурно, в десять раз отрадней, чем в другое время. В глазах моего спутника светилась благодарность, он выслушал меня с сияющим, счастливым лицом. Я видел, как он вынул из кармана записную книжку, отцепил от часов золотой карандаш и ждал, покуда я кончу говорить, чтоб записать название отеля. Но я все еще был воодушевлен моим описанием и не переставал перечислять достоинства этого замечательного отеля. Я совсем не заметил, что мы уже вот-вот в Одессе. Но когда народ стал подниматься с мест и заглядывать вверх на свои узлы, мой собеседник осторожно, с весьма дружеской улыбкой, обратился ко мне и деликатно спросил каково название этого отеля?

— Ах да! Название? Сейчас я вам скажу!..

Я на минуту задумался. Боже мой, как же он называется? Я только что знал... Дело — дрянь! Не стало названия! Вылетело!.. Напрасно я тер себе лоб, искал во всех карманах, — нет никакого намека! Вы, может, думаете, что название такое сложное, запутанное, что его нелегко запомнить? Сейчас вы услышите! Более простого и не может быть на свете! Скажу больше — это такое название, которое даже при желании невозможно забыть! Услышите — сами скажете! Короче, мне казалось, что я сам разорву себя на части! Это слово лежало у меня, как говорится, на языке: вот-вот! Но выговорить его — никак, хоть взывай к всевышнему! Хоть ложись да помирай! Что мне вам сказать? Мой спутник, видимо, заметил, что я в трагическом положении. Он хотел мне помочь, насколько возможно, вытащить из трясины, в которую я по собственной воле залез. Он прилагал все усилия, стал подсказывать мне, перечислять все существующие на белом свете названия: «Гранд-отель», «Бельвью», «Терминус», «Метрополь», «Националь», «Интернационал», «Бристоль», «Париж», «Мадрид», «Санкт-Петербург», «Чикаго», «Сан-Ремо», «Лондон», «Гамбург», «Константинополь». Нет, нет и нет! Короче, мой попутчик, увидев, что названия городов меня не выручают, кинулся к названиям стран: быть может, «Франция», «Монтенегро», «Англетер», «Россия», «Австро-Венгрия», «Бельгия», «Голландия», «Бразилия», «Аргентина»? Какое там! Ничего похожего! Быть может, «Отель Пост», «Отель Рояль», «Отель Европа», «Отель Лувр», «Отель Дагмара», «Отель Империаль»? Короче,

я видел, как мой собеседник спрятал свою записную книжку, прицепил золотой карандаш назад к часам, довольно добродушно распрощался со мной, благодарил, просил не утруждаться, — он как-нибудь уж сам позаботится, чтобы его доставили в самый лучший отель...

А я? Развернись передо мной могила — я бы туда живьем полез! Такой срам! Такой скандал! Пощечин надавать бы себе! Порку, порку заслужил я!.. И я безжалостно честил себя: старый ты дурень! Ты же каждый день повторяешь перевернутую молитву: «Да пребуду все дни свои во злодеях, нежели час единый во глупцах!» — «Лучше быть мне всю жизнь разбойником, только бы ни часу дурнем!» И ты напорол такой вздор? Кто просил тебя изображать из себя благодетеля? Кто тебя просил рекомендовать незнакомому человеку отель в Одессе? Откуда у тебя взялись отели? И как можно забыть такое, что знаешь, что видишь каждый день, что у тебя в мыслях люблю минуту???

Короче, что мне вам рассказывать? Домой пришел я распаленный, ходил по комнатам, тер себе лоб, — быть может, я все-таки вспомню название отеля? Нет, нет никакого названия!

— Не знаешь ли ты, — говорю я моей жене, — как называется отель?

— Какой отель?

— Вот так так! Поди скажи ей, какой отель! Я ведь спрашиваю тебя!

— Скажи же мне название, — отвечает она.

— Ну? Поговорите-ка с женщиной! Короче, придется самому потрудиться и сейчас же пройти туда, к отелю.

Но у человека, вернувшегося из поездки, обычно находятся тысячи занятий, письма, дела — со всем этим надо справиться. Оттого я еще больше раздражаюсь, волнуясь, злюсь на себя и на весь белый свет, изливаю свое недовольство на тех, кто ни в чем не виноват. Таким образом, дела и завертели меня. Настала ночь, уже давно отужинали, пора ложиться спать, а меня все еще мучает название отеля. Слыхали вы такое? Что мне вам рассказывать? Один выход: завтра чуть свет, без всяких проволочек пойду к отелю! Но сон меня не берет! Скорей бы дождаться рассвета, одеться и первым делом подойти к отелю и посмотреть вывеску, — как же он называется. Вдруг срываюсь с кровати и начинаю одеваться.

— Бог с тобой! — говорит мне жена. Она, бедняжка, перепугана насмерть. — Куда ты?

— Терпения больше нет! — отвечаю. — Я должен немедленно пойти и посмотреть!

— Что посмотреть?

— Возьми фонарь, — говорю я жене. — Пойдем со мной!

— Куда?

— Не спрашивай, идем!

Что и говорить! Положение моей бедняжки жены излишне описывать. Вы сами должны понять состояние женщины, муж которой уезжает из дому, кажется, совершенно здоровый, а возвращается злой, ни с кем не разговаривает, шагает по дому, трет лоб, словно умом тронулся, и вдруг просыпается ночью, поднимается с кровати, велит зажечь фонарь и говорит: «Идем!»... Но чего только не сделает жена ради мужа? Он говорит «идем», она идет! Короче, что тут толковать, я иду, моя жена — за мной. Я шлепаю по лужам, моя жена шлепает следом! Бог помог, и мы пришли. Подходим к отелю, я поднимаю фонарь, гляжу на вывеску, — а ну, угадайте, какое название? Будь вы о семи головах — не угадаете! Отель назывался: «Одесса»!!!

## КАК МЕНЯ ЗВАТЬ?

— Когда у нас в Одессе начались погромы, пожары, убийства, я сказал себе: провались оно сквозь землю, уберусь-ка я отсюда, уеду куда глаза глядят, черт возьми! И стал я готовиться в путь. Но легко сказать: уеду! Не так-то просто в бочке селедке вырваться из самой середки. Паспорт стал у меня костью в глотке!.. Не моя вина, что у меня рифмуются середки, селедки, глотки, плетки и околотки... Да, так на чем же я остановился? Пришлось начать хлопоты о паспорте, пришлось иметь дело с различными субъектами, да сотрется вовеки память о них, познакомиться с писарьками, холера их возьми сегодня же!..

— Этак вы скоро исчерпаете весь запас проклятий. Может, вернее перестать ругаться и толком рассказать свою историю?

Так обратился к нему Дедушка, и мой коллега, обладатель горячего темперамента, продолжал свой рассказ:

— Разве я кого-нибудь проклинаю? Черт его возьми! Я просто говорю — провались оно в преисподнюю! Словом, стал я добывать себе паспорт. А что у нас значит раздобыть паспорт — это, кажется, излишне рассказывать вам. Раздобыть паспорт означает: познакомиться со всякими мордами, со всякого рода паразитами, раздавать им деньги, как — простите за сравнение — в канун Судного дня у входа в синагогу. Каждой морде — целковый! Короче, вполне достаточно морд рассмотрел я, прежде чем попал к его благомордию, к самому начальнику... Пройдя все семь кругов ада, вошел я к нему в кабинет и застал в самом разгаре работы: он скрипел



пером. А это вы, конечно, знаете, — когда чиновник скрипит пером, не смей к нему соваться! Пусть погибает весь мир, но ты обязан стоять и ждать, пока не перестанет скрипеть. Только уж очень не любитель я стоять у двери, пока его благомордые когда-нибудь перестанет скрипеть. Набрался я духу и слегка кашлянул, — так сказать, послал эстафету: человек, мол, пришел...

Начальник, однако, не перестает скрипеть. Я осмелел и кашлянул погромче. Он поднимает голову, пялит на меня налитые кровью глаза, разевает пасть и рывкает:

— Что надо?

Я, конечно, вспыхиваю как спичка. Что это за «что надо»? И к чему на меня орать? Я, когда разозлюсь, забываю сразу, на каком я свете; у меня темнеет в глазах, начинает першить в горле, вот тут вот, говорю все, что попадет на язык, мне хочется изломать все, что вижу, разодрать в клочья, уничтожить дотла! Помню историю, я был тогда ребенком. Рос я сиротой, и слово «сирота» было мне ненавистней свинины, и еще не мог я терпеть, когда меня, бедняжку, мол, сироту, жалели. Жалость, когда ее проявляют публично, открыто, перед всем миром, отвратительна, тошнотворна, гадость! Короче, я был сиротой, и меня жалели, а больше других жалела меня наша соседка, ее звали Иешиихой. Надумала однажды эта Иешииха и, преисполненная жалости к сироте, купила ему, прошу вашего прощения, портки. Ладно, описывать вам великолепие, красоту, шик этих портков не приходится. Раз в сто лет попадаются такие портки. Не знаю, можно ли в наше время достать такие портки по три рубля за дюжину! Ладно, не это главное. Стоило бы вам посмотреть, как Иешииха созвала всех соседок и кумушек со всей улицы, развернула портки, показала всему миру — пусть все видят, что за портки Иешииха купила сироте. И весь мир любовался портками, все их разглядывали, как сокровище, оценивали и завидовали не столько сироте, ставшему обладателем таких знаменитых портков, сколько Иешиихе, совершившей такое благодеяние... Я смотрел на все это издали, разъяренный, слезы стояли у меня не в глазах, а в горле, — вот тут вот. Иешииха полагала, вероятно, что я на седьмом небе от счастья, только стыжусь это показать, и обратилась ко мне голосом слаще меда:

— Подойди сюда, сирота, не стыдись, примерь-ка портки, что я тебе купила.

Больше не понадобилось. Я подбежал, схватил портки, впился в них раньше всего ногтями, потом зубами, остальное я доделал ногами. Короче, в несколько минут от портков остались только клочья, напоминавшие, что были некогда портки на белом свете и нет их более... Короче, на чем же я остановился? Да, на том, как «большой» начальник крикнул «что надо?» и как я разозлился и едва не пришел в ярость... но я одумался, — что же из этого получится? Еще останусь, чего доброго, без паспорта! И сдержался на этот раз. Подхожу к столу, без единого слова подаю ему бумаги. Начальник заглянул в бумаги и — ко мне: «Как тебя звать?» Я молчу. Видя, что я молчу, он повысил на несколько тонов голос: «Как тебя звать? Как твое имя?!» Мое имя!!! Слышите, клянусь жизнью, в эту минуту я, как нарочно, забыл, что, кроме моего псевдонима, у меня есть еще и собственное имя. Но как, скажите на милость, забыл?! Совершенно-таки забыл! Начисто забыл! Все имена во всем мире я помнил; все имена моих родственников, друзей и знакомых стояли перед моими глазами, и только одно имя, мое собственное имя, ушло туда, куда уходит милая святая суббота, исчезло бесследно! Неслыханное дело! «Боже милостивый! Как мое имя? Как меня зовут? Ну???» Хоть убейте, забыл! Что тут делать? Начальник смотрит на меня, как на наглеца. «Вот-вот, — думаю я, — он разразится трехэтажным благословением с разворотом, позвонит, и войдут два ангела-хранителя, зацапают меня, как бес зацапал меламеда, и со всеми почестями отведут прямо в холодную!» А я это ненавижу, эту штуку я уже отведал! Довольно! Больше не хочу.

Есть, однако, на свете великий бог, и он спас правого. Он подал мне мысль, чтобы я тверд был, как камень. Эти людишки, если вести себя дерзко, да еще говорить с ними, повысив голос, тотчас обмякают, хоть вей из них веревки. Так и было. Сейчас вы услышите, какой разговор произошел между нами. Передаю его дословно:

О н. Как тебя звать?

Я. Кого? Меня?

О н. А то кого же? Меня?

Я. Точно так, как значится в этих бумагах.

О н. А как значится в этих бумагах?

Я. А читать ты умеешь?

О н. Кто? Я?

Я. А то кто же? Я?

Он (*громким голосом*). Ка-а-ак! Ты смеешь со мной так разговаривать? Со мной? Да ты знаешь, с кем ты разговариваешь?

Я (*тоже громким голосом*). А ты знаешь, с кем ты разговариваешь?

Услышав мой резкий тон, какого отродясь не слышал от еврея, начальник заглянул в бумаги и вслух прочел мое имя, — только это мне и нужно было!

Что было дальше — уже неинтересно. Я, благодарение всевышнему, благополучно выбрался оттуда и славлю бога каждый день, каждый час за то, что он вызволил меня из беды, не зная мне подобной отныне и вовеки!

— Аминь! — отозвались мы все трое, и Дедушка подмигнул мне: «Теперь, мол, твой черед рассказывать». И я приступил к моей «Истории с тремя городами».

## ИСТОРИЯ С ТРЕМЯ ГОРОДАМИ

Почтеннейшие! Было это года за два до «конституции»\*. Я тогда разъезжал по городам и местечкам, совершал благотворительное турне по Литве. Однажды, под хануку, получил я приглашения сразу из трех городов: из Могилева, Витебска и Смоленска, находящихся недалеко один от другого, — все они лежат на одной линии. Приглашения были от различных братий: от «чистых сионистов», «поалей-сионистов» и «бундистов»\*. Само собой разумеется, между всей этой братией царил такая же дружба, как между кошкой и мышкой. «Чистые сионисты» ничего дурного, упаси боже, про своих товарищей «поалей-сионистов» не говорили, а только писали, что «фальшивые сионисты», это им известно, собираются доставить меня в вышеупомянутые три города, чтобы использовать в интересах своей работы, которая ничего общего с сионизмом не имеет. «Поалей-сионисты» тоже не делали враждебных выпадов против своих коллег «чистых сионистов», а только сокрушались, что эти лжемессии ведут агитацию за дело, которое давно уже мертво... Зато «бундисты» со всем гневом обрушивались и на тех и на других, уверяя, что моим выступлениям на вечерах сионистов гарантирован провал... Короче, дела мои были безотрадны. Что тут делать? И я нашел решение, мудрое решение: пока — «да объединятся», а потом — «да размежуются». То есть я им ответил: «Так, мол, и так, деточки, я приеду к вам только при условии, если все вы объединитесь хотя бы на эти три вечера...»

После коротких переговоров мое предложение было принято. И полетели туда и обратно письма и телеграммы по поводу моего маршрута, — какой город должен первым удостоиться моего посещения. Этот пункт достался нам труднее, чем все остальные. План менялся каждый день. Вначале было решено, что раньше всего я еду в Могилев, из Могилева — в Витебск, из Витебска — в Смоленск, а из Смоленска, через Могилев, — домой. Потом решили, что лучше ехать сначала в Смоленск, оттуда — в Могилев, из Могилева — в Витебск и опять-таки через Могилев — домой. Потом и этот план был отменен. Сошлись на том, что я прежде всего еду в Витебск, из Витебска — в Могилев, из Могилева — в Смоленск, а из Смоленска назад, через Могилев — домой. Поразмыслив еще, выработали новый план, — моего же благи ради, — прежде всего податься в Смоленск, из Смоленска через Могилев — в Витебск, из Витебска — назад, в Могилев, а из Могилева, сразу же после вечера, — прямо домой. Дни были установлены следующие: восемнадцатое, девятнадцатое, двадцатое. Итак, запомните и держите в голове этот расчет: восемнадцатого — Смоленск, девятнадцатого — Витебск, двадцатого — Могилев. Выехал я семнадцатого, на ночь глядя, и послал три телеграммы во все три города, что приеду к назначенному сроку. Всюду подготовили все, что нужно, — плакаты, билеты, программы и так далее. По дороге к поезду я снова и снова пережевывал и повторял мой маршрут, но так как мне забили голову планами, каждый раз — новыми, я, вполне естественно, все перепутал, и мне показалось, что восемнадцатого я должен быть в Витебске, девятнадцатого — в Смоленске, а двадцатого — в Могилеве. На этом я и утвердился. Беру билет и совершенно спокойно еду в Витебск. Приезжаю в Витебск, выхожу на вокзал, брожу там полчаса, час, два часа в надежде увидеть кого-нибудь из встречающих. Ай да шатия-братия! Где же ваш порядок? Никто не явился меня встретить.

Я нанял экипаж и поехал в самый большой отель. Снял номер, умылся, не спеша, спокойно переоделся и думаю: «Раз вы оказались такими грубиянами, то черт с вами, ищите меня во всех отелях. Не страшно, Шолом-Алейхем не иголка в сене, будете искать его до тех пор, пока не найдете...» Спустился я вниз в ресторан пообедать, гляжу — два больших плаката:

«Гость в нашем городе! Гость!!!

Шолом-Алейхем — величайший еврейский юморист!  
Девятнадцатого...»

— Девятнадцатого? Как так девятнадцатого? — И я подзываю кельнера, детину с красными руками, черной физиономией и белой салфеткой под мышкой грязного фрака. — Скажи-ка мне, любезный, что у нас сегодня?

Детина высморкал черный нос в белую салфетку и с полной готовностью ответил:

— Сегодня? Сегодня у нас свекольный борщ с капустой, очень хороший борщ, зразы с кашей и утка, если хотите...

— Нет, — говорю, — я не про то. Я спрашиваю, какой день у нас сегодня?

Детина несколько призадумался:

— Что за день у нас сегодня? Вторник, восемнадцатое.

— Как же, — говорю, — называется этот город?

— Какой город?

— Этот самый город, — говорю я, — ваш город?

Он ошалело смотрит на меня и говорит:

— То есть что значит, как называется этот город? Этот город называется... Витебск называется этот город!

— Врешь, — говорю я ему. — Это тебе приснилось, любезнейший. Ваш город называется Смоленск, а не Витебск!

— Хи-хи-хи!.. Хи-хи-хи!..

Величайший еврейский юморист, видимо, показался кельнеру величайшим идиотом в мире, потому что он, этот субъект, отвернулся в сторону, уткнул свою черную обрину в белую салфетку, чтобы я не заметил, как его душит смех. Я же снова обращаюсь к плакатам и читаю. Крупными буквами выведено:

«Шолом-Алейхем в Витебске!..»

В Витебске? Господи боже! Откуда я взялся в Витебске, когда сегодня я совсем в Смоленске? Короче, я не могу найти себе места. Что мне борщ? Зачем мне утка? Надо уезжать отсюда, бежать в Смоленск. Но, чтобы точно установить, на каком я свете, самое верное — сначала протелеграфировать домой, жене, — пусть она мне телеграммой даст знать, где я должен провести первый вечер... Во всех делах, касающихся времени и маршрута, моя жена — профессор. И, чтобы не терять

зря времени, безотлагательно посылаю ей телеграмму в несколько коротких слов:

«Телеграфируй востребования, где я сегодня?»

Отслав телеграмму, я немного успокоился и вернулся в ресторан, назад к свекольному борщу со зразами и уткой, потом прилег вздремнуть и, как полагается, уснул. И во сне путаются у меня перед глазами красные женщины и черные кошки... Это у меня примета: раз мне снятся красные женщины или черные кошки, значит, дело мое плохо. Так и было. Просыпаюсь — горе мне! — поздно! Надо бежать, как можно скорее, может, успею еще попасть в Смоленск! Прибегаю, сажусь в поезд и уезжаю в Смоленск. Уже в вагоне начинаю расспрашивать кондуктора, когда мы прибудем в Смоленск. Он останавливается, глядит на носки своих сапог и сообщает, что в Смоленске я буду завтра в шесть часов утра. Я, конечно, взрываюсь:

— Как это — завтра в шесть часов утра? Я должен там быть сегодня не позднее семи вечера!..

Кондуктор довольно спокойно выслушивает меня и с часами в руках объясняет, что отсюда в Смоленск даже курьерский идет не меньше двенадцати часов с минутами, а теперь у нас четыре часа с минутами, как же мы можем сегодня попасть в Смоленск?.. Выходит, что он прав, но мне-то что от того? Проворонил Смоленск! Что теперь делать? Возвращаться в Витебск? Черт бы его взял! Знать бы хоть, как у меня обстоит дело с Могилевом? Но уж этого никто не знает так досконально, как моя жена. И тут я вспоминаю, что просил жену телеграфировать мне в Витебск, а сам я нахожусь на пути в Смоленск... Как же свяжутся концы с концами? Но человек с соображением всегда найдет выход, не так ли? Посылаю еще одну телеграмму жене и отправляю через кондуктора с какой-то станции:

«Телеграфируй Смоленск, когда я Могилеве».

А теперь давайте пустимся в дебри филологии — науки о языке. Давайте разберем обе мои телеграммы. Получается, что, во-первых, я спрашиваю у моей жены, где я («Телеграфируй, где я сегодня»), и, во-вторых, назначаю телеграфировать в Смоленск, тогда как сам я в Могилеве («Телеграфируй Смоленск, когда я Могилеве»). Когда вы, к примеру, получаете две таких телеграммы от одного и того же лица, у вас не остается сомнений, что тот спятил. К тому же вам не следует

забывать, что и Смоленск не хлопал ушами и тоже не промолчал. Как полагается, восемнадцатого меня ждали на вокзале с часу дня до двенадцати ночи. И разразился невероятный скандал! Публика разносила зал. На сионистов кричали, что они затеяли аферу, выдумали какого-то Шолом-Алейхема, чтобы выманить у публики денежки. Что тут говорить, пришлось открыть кассы и вернуть публике деньги. После полуночи, с болью в сердце, сионисты и бундисты в складчину послали ко мне домой телеграмму:

«Что с Шолом-Алейхемом?»

А теперь покинем принца и обратимся к принцессе. Моя жена, дай ей бог здоровья, получив все эти три веселенькие телеграммы, не стала долго канителиться, уселась в поезд и укатила в Могилев.

Вам, конечно, покажется диким — почему вдруг в Могилев? Но если вы меня выслушаете до конца, сами скажете, что она умница. Во-первых, она знает меня уже не первый год. И она знает, что, если я телеграфирую ей из Витебска, чтобы она мне телеграфировала в Смоленск, это верный знак, что я в Могилеве. Она помнит, понимает ли, одну интересную историю. Однажды был я в Варшаве и на пасху ехал домой в Киев. Вдруг, в первый день пасхи, прибывает от меня телеграмма, что я провожу праздник в Голендре, неподалеку от Вапнярки. Как я попал в Вапнярку, когда Вапнярка лежит на пути между Жмеринкой и Одессой? Шуточка — скачок! Но не задавайте вопросов. Я это сделал не со зла, упаси боже! Я сделал это из лучших побуждений. Чтобы попасть домой как можно раньше, я перескакивал из одного скорого поезда в другой до тех пор, пока не оказался на одесской линии и застрял на какой-то станции Голендра. Но это к лучшему, будем благодарить бога, что я не заехал в Ригу. Таковы плоды поспешности. Не зря говорят в народе: поспешишь — людей насмешишь... Это вам номер первый.

Во-вторых, моя жена исходила из того соображения, что несчастье, судя по моим телеграммам, должно было со мной случиться не в Витебске и не в Смоленске, а где-то между этими обоими городами. Поэтому она не могла выбрать лучшего среднего пункта, чем город Могилев. Для нее не оставалось никаких сомнений, что тут по меньшей мере имело место столкновение двух поездов, — одного, шедшего из Смоленска в Витебск, с дру-



гим, шедшим из Витебска в Смоленск. От этого столкновения, считала она, все вагоны разлетелись в щепки; убитых напавал не меньше двухсот; сотни тяжелораненых, среди них — множество сошедших с ума, и среди последних, конечно, я!

Вообще, надо вам знать, у моей жены такой характер: стоит мне отлучиться из дому, и я начинаю представляться ей жертвой самых страшных происшествий, какие только могут приключиться на белом свете. Какая ни есть напасть: железнодорожная катастрофа, обвал моста, удар молнии, землетрясение, пожар, неожиданная эпидемия, нападение вооруженных разбойников, укусы змей, который случается раз в пятьсот лет, — все это, по ее мнению, подстерегает меня и ждет только минуты, когда мне понадобится куда-нибудь ехать. А когда я возвращаюсь домой цел и невредим, она не верит своим глазам, глядит на меня, как на счастливец, чудом вырвавшегося из лап смерти, и благословляет судьбу.

Увидев меня на сей раз живым и невредимым, она расплакалась, как дитя. Спрашиваю ее: «Что ты плачешь, глупенькая?» Она отвечает: «Он еще смеет спрашивать, почему я плачу! Это ему — второе «Ровно»!..»

Интересуетесь, что это за «Ровно»? Это тоже одно из моих испытаний. Если вы горите желанием слушать, я охотно расскажу вам, что случилось со мной в Ровно. Это было несколько лет назад. Я пропал в Петербурге в связи с изданием еврейской газеты и собирался ехать домой через Вильно. С женой я условился, что в такой и такой-то день выезжаю из Петербурга и, если будет нужно, остановлюсь на день-два в Вильно, а уж оттуда — домой. Если же остановиться в Вильно не будет надобности, поеду домой прямо из Петербурга. Так и было. Случилось, что в Вильно мне остановиться не пришлось, и я ехал без задержек. Зная, что жена оценит это по достоинству, я ночью с пути послал ей телеграмму. Спросонья я выразился не совсем точно, вместо «еду прямо», написал: «Еду ровно...» И так как давно уже не видел детей, я прибавил еще два слова: «Встречай детьми». Коротко ли, долго ли, приезжаю в город ночью, бегаю как сумасшедший по вокзалу — где жена, где дети? Ни души! Подъезжаю к дому — темно, как на кладбище! Звоню, звоню, обрываю звонок, колочу в дверь — еле достучался. Потягиваясь, словно заспанная кошка, в дверях показалась кухарка, чернявая литвачка.

Я — к ней:

— Где хозяйка? Где дети?

— Где хозяйка? — отвечает она и проводит рукой по носу. — Хозяйки нету!

— Как так нету?

— Они ведь уехали!

— Что значит — уехали? Куда они уехали?

— Почему я знаю куда? В Ровно.

— Почему вдруг в Ровно?

— А почему вы меня спрашиваете? Вы же сами вызывали их в Ровно!

— Я вызывал их в Ровно? Я?

— А то кто же? Я? — говорит кухарка, и кажется, она смеется.

Вы понимаете? Я обливаюсь кровью, а она смеется! Клянусь вам честью, — слышите? — стыд и срам признаться, никому другому не рассказал бы об этом, — накажи меня бог, если я в жизни хоть раз тронул человека пальцем!.. Но эта заспанная баба с ее идиотским смехом так вывела меня из себя, что я забыл, на каком свете нахожусь... Чем, думаете, кончилось? Дело дошло до суда... Слово «ровно» влетело мне в копеечку, к тому же пришлось просить прощения у этой женщины...

Короче, услышав добрую весть, что жена моя с детьми в Ровно, я, сами понимаете, — одна нога здесь, другая там, — лечу в Ровно. Приезжаю в Ровно. Какое там? Нет никого. Начинаю допытываться — не было ли где-нибудь тут такой-то женщины с несколькими детьми? Мне говорят: была и уехала. Надо, стало быть, возвращаться домой! Приезжаю домой, застаю там доктора. Что стряслось? Моя жена заболела от переживаний...

— Ну, я тебя спрашиваю, — обращаюсь я к ней после того, как мы оба немного успокоились, — почему ты с детьми полетела в Ровно? С чего это тебе, собственно, взбрело в голову?

— И ты еще спрашиваешь? — отвечает она. — Когда я получила твою телеграмму, чтобы мне с детьми выехать в Ровно, я чуть с ума не сошла. Какие только мысли не мелькали у меня в голове! Я иначе и не думала, что ты, не дай бог, заболел в пути, где-то неподалеку от Ровно, либо тифом, либо черной оспой...

— Откуда еще взялась черная оспа? — сдержанно спрашиваю я.

— Я как раз в тот день читала, — говорит она, — в газете, что где-то в Индии вспыхнула черная оспа.

Тут я больше не мог сдержаться и подпрыгнул на стуле.

— Я не понимаю! Где Индия и где Петербург?!

Смотрит она на меня, как мать на ребенка, и говорит:

— С тобой все может случиться!

.....

.....

Ну, не правда ли, цены нет такой жене?!

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ «КЛЯЧИ» \*

Солнце палило, припекало всюду, накалило камни в горах так, что от них шел нестерпимый жар, с нас сошло семь потов, и мы вынуждены были скинуть пиджаки. Отирая обильный пот, мы поднимались в гору уже не так стремительно, потому что дали себя почувствовать ноги. А это плохая примета: части человеческого тела любят, чтобы их не ощущали. Нехорошо, когда вы чувствуете их,— это я еще в хедере слышал от моего ребе, вызывавшего тем не менее чувствительность в таких частях моего тела, которые без него никогда о себе не напоминали... Короче говоря, ноги дали себя знать, и мы начали переглядываться, спрашивать друг друга:

— Что случилось? Вы уже отстаете?

— Кто? Я? Боже упаси!

— Что же вы так тащитесь?

— Это вам кажется...

— Вы что-то стали, чудится мне, припадать на ногу?

— Кто? Я?

— Вам, видно, трудновато подниматься в гору?

— Ничуть не бывало!

— Что же вы так сопите?

— Ошибаетесь! Отродясь не сопел, у меня и привычки такой нет!

— Ну, а вы, как вы себя чувствуете?

— Недурно! Только ноги отказываются повиноваться.

- И у меня то же самое.
- А у меня не так ноги, как ступни!
- Ступни — вздор! Главное — икры!..

И младенец поймет, что после такого разговора мы, четыре еврейских писателя, из коих один поэт, уселись на зеленую травку и буквально ожили. Дедушке, реб Менделе, уступили самое почетное место, а мы трое расселись вокруг него, как внуки или как ученики вокруг старого учителя, готовые слушать его поучения, слушать, как он трактует библейские изречения, рассказывает о вещах, имеющих отношение к тому, что касается всех нас, — к еврейской литературе, причем каждый раз вплетает постороннюю историю, которую называет «предисловием». Предисловие в начале, предисловие в середине, предисловие в конце.

— Когда я забеременел «Клячей», — начал рассказ дедушка...

Но тотчас же его, как обычно, перебили. Его засыпали вопросами:

— Дедушка! Откуда у вас взялась «Кляча»?

— Дедушка! Какое произведение впервые было написано вами по-еврейски? Что привело вас к решению писать по-еврейски?

— Дедушка! Почему вы избрали себе псевдоним «Менделе Мойхер-Сфорим»?

Спокойно, с полузакрытыми глазами и улыбкой на губах, выслушал Дедушка все наши вопросы и, громко засмеявшись, ответил:

— Ну? Все? Больше ни у кого из вас вопросов нет? Если есть еще вопросы, давайте их сюда, пожалуйста, не стесняйтесь, дружно сыпьте в грудку — это дело обычное... Забросав меня со всех сторон вопросами, вы напомнили мне сцену: мать приносит с базара корзину со всякой всячиной — тут и яблоки, и груши, и бублики, булочки, яйца, картофель, морковь, сливы, петрушка, и с упругим гребнем красный петух сам-друг выходит в круг. И вот ее окружают со всех сторон дети: «Мама, мне яблоко! Мама, мне грушу! Мама, а можно мне съесть сырую морковку? Мама, а зачем нужна петрушка? Мама! Сколько стоит этот петух?» — «Детки, — умоляет мать, — дайте мне перевести дух, и я вам всем отвечу!»

Так успокоил нас Дедушка, и каждому дал обстоятельный ответ на его вопрос, никого, упаси бог, не обо-

шел. Оказалось, что писать по-еврейски, то есть говорить с народом на его языке, Дедушку тянуло уже давно, задолго до того, как он посвятил себя еврейской литературе. А так как сорок лет назад писать по-еврейски считалось делом зазорным, тем более для него, молодого человека, «просветителя», о котором умные люди говорили — это, мол, растет второй Хаим-Зелик Слонимский, — первое свое произведение, «Маленький человечек», он тщательно скрывал и, чтобы никто не дознался об авторе, подписался именем некоего Сендера-книгоноши (Мойхер-Сфорим) — подлинное имя человека, таскавшегося в ту пору со своей лошадкой и тележкой по окрестностям Бердичева, то есть знаменитого Глупска. Образ «маленького человечка» — богача Ицхок-Авремла — тоже написан с живого человека, который в те годы, пощелкивая большим кнутом, управлял еврейской паствой в Глупске... Написал он «Маленького человечка» в течение трех дней, не более; полный страха и трепета, автор отослал свою рукопись в «Кол-мевассер» к Александру Цедербауму. Увидев на титуле «Сендерл Мойхер-Сфорим», Цедербаум всполошился — не метят ли в него самого (Александр — Сендер — Сендерл)? Он недолго раздумывал — еврейский редактор никогда не разводил особых церемоний с еврейским писателем, в те времена тем более — и переделал имя Сендерл на Менделе. Так возник и вышел в свет «Менделе Мойхер-Сфорим», который не переставал разъезжать со своей тележкой, полной печатного товара, по царству Глупскому, а оттуда перекочевал в Кабцанск и Тунеядовку...

Вот те три столицы, которые фигурируют во всех творениях Менделе Мойхер-Сфорима и самими названиями метко выражают всю сущность тогдашнего еврейского гетто. Вот те три черты, которыми отмечено было прежнее еврейство в России: Глупск — невежество, Кабцанск — нищета, Тунеядовка — бедняки без ремесла, без работы, без занятий, лишние существа на свете.

— В ту эпоху это были три главных элемента еврейского народа, с которыми мне суждено было иметь дело во всей черте оседлости, — вздохнул Дедушка и горько улыбнулся. — Но вы, кажется, спрашивали о происхождении «Клячи»? Придется уважить вас, дети, и рассказать. Дело было так. Однажды летом сию я в Глупске в заезжем доме и, задумавшись, гляжу на улицу

в открытое окно; вижу — подоткнув полы рваного кафтана, измученный, обливающийся потом еврей хлещет кнутом бедную, измочаленную, взмокшую, всю искусанную клячу, запряженную в телегу, полную кирпича, и осыпает страшными проклятиями и клячу, и себя, и весь белый свет:

— Сгореть бы шкуре твоей, кляча проклятая!

А кляча, повернув к нему изможденную горестную морду, глядит на него, как грешный человек, и чудится мне, будто слышу, как она ему говорит:

— Глупец! Он называет меня клячей! Сам ты кляча! Взгляни туда, на площадь, куда я тащу кирпичи, и увидишь, что все вы клячи, истомленные, изнуренные клячи, горе, горе вам!

Так, чудилось мне, говорила кляча. И я обратил глаза к площади, на которую указала мордой кляча, и увидел знакомое обличье расторопного живоглота, ухитрившегося махинациями да плутнями стать обладателем собственного каменного дома в Глупске, затем еще одного такого же дома, и все это за счет праведных грошей еврейской бедноты, праведного пота и крови евреев... Удачливый ловкач, так сказать, достойный человек, стоял он, заложив руки за спину; шапка сдвинута на затылок, лоб, за которым прятались большие планы, покрыт потом, а вокруг него, как рабы, униженно суетились бедные людишки, заглядывали ему в глаза, как преданные собаки, радовались каждой его улыбке и тряслись, как в лихорадке, от одного его свирепого взгляда... И пришли мне на ум слова из «Песни песней»: *«Кобылице в колеснице фараоновой уподобил я тебя, возлюбленная моя»*. Кляче в повозке фараона приравниваю я тебя, еврейская паства! Так и произошло во мне зачатие «Клячи».

Три дня метался я по Глупску сам не свой. Не слышал, что люди говорят мне, на «здравствуйте отвечал «кляча», потому что все лица казались мне теперь клячеобразными. И так вот «клячило» меня до тех пор, пока не вернулся я домой, в Тунеядовку, заперся у себя в комнате на шестнадцать дней и написал все шестнадцать глав «Клячи»...

И тогда возник вопрос: что делать с «Клячей»? Для нас еще не была открыта Колумбова Америка, еще не было тех добросердых людей, которые тридцать лет

спустя пожалели меня, бедного Менделе Мойхер-Сфорима, и издали там, в Америке, не испросив на то согласия и не дав мне знать, — мол, сим ставим вас в известность, реб Менделе, что вас облагодетельствовали, вас обокрали!..

Тут Дедушка замолчал и задумался. Мы, внуки, имели все основания полагать, что теперь самое время метать громы и молнии, обрушить огненный шквал на головы этих ловких плутов в Америке, которые и в самом деле совершили неслыханное преступление против единственного еврейского классика, против величайшего еврейского поэта, мыслителя и художника. Они издали все его произведения и продавали не только в своей Америке, но и приволокли их сюда, в Европу, и тем самым нанесли ему жестокий удар, создав конкуренцию его товару при помощи его же собственного товара — и подите тащите их на суд праведный!..

Естественно, что мой коллега — тот самый, с горячим темпераментом, — выступил с пламенным протестом против американских пиратов и морских разбойников, смешал их (за глаза) с грязью и удивлялся, почему никто не поднял свой голос.

— Почему вы смолчали, Дедушка? — взывал мой коллега. — На вашем месте я сделал бы из них вот это вот!

И мой темпераментный коллега показал в воздухе обеими руками, что он сделал бы из них; но что именно — понять было трудно, потому что показать руками человек может все, что угодно, бог знает что!..

Дедушка ответил ему на это с улыбкой:

— Я вот что вам скажу. Быть только ограбленным — это еще куда ни шло, это можно стерпеть, что поделаешь? Никто не огражден от несчастья. Но быть вдобавок к тому же еще и глупцом — это для меня уж слишком. Протестовать, мстить — глупо; это должны делать другие, не я. То, что я сам должен сделать, будет вероятно, сделано... Менделе Мойхер-Сфорим, хвала всевышнему, еще не умер! Ладно... Короче говоря, все это глупости. Вы ведь хотите знать: как «Кляча» вышла в свет? Вот и следует рассказать вам, что было дальше.

И Дедушка поведал нам, как в тесном кругу близких друзей он впервые читал «Клячу», как друзья вначале



смеялись над ним и высмеяли даже название произведения.

— Далась же ему лошадь, кляча!

И как они потом стали серьезны... Как один из них (Йойсеф-Бецалел Гаркави) после чтения «Клячи» забрал у автора тетрадь, молча положил в боковой карман, увез в Петербург и через некоторое время прислал сочинителю готовую, напечатанную «Клячу». Как потом цензор горько поплатился за то, что пропустил такой крамольный товар. И еще много интересных историй рассказал нам Дедушка, пока мы, его внуки, сидели на травке, а наши измученные ноги наслаждались отдыхом!

## НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

И опять нас было четверо, те же четыре еврейских писателя и самый молодой среди них — поэт. Дедушка, как всегда, был душой нашего общества и сидел в середине, а мы, внуки, расположились вокруг него. Была летняя ночь, восхитительная, ароматная, теплая ночь. Не хотелось возвращаться в дом — трудно было расстаться с такой ночью! Разговор шел о сверхъестественном, непостижимом в природе и о декадансе в литературе. Дедушка смотрел своими небольшими, но острыми, близко-руко сощуренными глазами куда-то в полумглистую даль. Потом речь зашла об описаниях природы. Дедушка сказал, что описывать природу значит профанировать ее, и начал своим незатейливым, но сочным еврейским языком рисовать картину ночи не то восторженным, не то ироническим тоном, так, что трудно было понять, говорит он серьезно или шутит...

Вот как Дедушка изображал летнюю ночь:

— Тихо подкрадывается ночь. Поодиночке, точно свечи, угасают красные лучи заходящего солнца. Пробегает легкий ветерок и поверяет вам тайну: «День миновал... День умирает...» Деревья насупили брови, они хотят спать. Повсюду печаль, уныние вокруг, как в субботний вечер перед последней трапезой, когда все грустит, все тоскует, и дух праздничной благодати порывается куда-то, трепещет, ему трудна разлука... Но — тише! Вот и она, колдунья-ночь, шествует, простирая над нами свои черные крылья. Вот-вот усядется она в своем темном шатре, и его озарят мерцающие звезды. Вот-вот она скажет нам: доброй ночи! Тихо прошепчет

последнюю молитву на сон грядущий и уснет, и будут ей сниться разные причудливо переплетенные, запутанные всесветные сны...

Дедушка умолкает. Мы сидим как зачарованные. Нам хочется в эту роскошную летнюю ночь слушать еще и еще, отдаться очарованию его великолепных ночных картин. Он понимает наше желание.

Вдруг Дедушка прерывает свое молчание:

— Ну, ладно, короче говоря, природа! Все наши описания — сплошная ложь! Перед лицом самой природы все наши изображения, картины имеют такой же вид и дают нам о ней такое же представление, как те знаменитые иллюстрации к хагоде, что печатаются в Вильно или в Бердичеве, дают представление об исходе евреев из Египта... Если хотите, дети, я лучше расскажу вам подлинную историю, страшную историю, которая однажды приключилась со мною в Бессарабии. История эта содержит в себе нечто мистическое, непостижимое и очень гармонирует с такой вот прекрасной ночью, полной волшебства, мистицизма и декаданса... Если хотите слушать, сидите тихо, спокойно, а главное — не перебивайте, по своему обыкновению, и не задавайте вопросов. Могу вас заверить, со временем все само собою разъяснится.

И мы, все три внука, придвинулись к Дедушке поближе, а он махнул рукой, как бы отгоняя от себя кого-то, и начал спокойно и медленно рассказывать свою страшную историю:

— Бессарабия, знаете, это край, где не водятся, упаси боже, ни колдуны, ни духи, ни прославленные на весь мир воры, разбойники или грабители. Бессарабия — это край кукурузы, вина и мамалыги, так что само название это еще не дает особого основания ожидать, что со мной случится там какая-нибудь необыкновенная, сверхъестественная история. И тем не менее я обязан вас предупредить, что, слушая меня, вы будете цепенеть, замирать и трепетать от страха. Трезвым рассудком вы не сможете понять суть происходящего, я даже побаиваюсь, что не захотите поверить, то есть не станете, боже сохрани, думать, что я выдаю вам вымысел за подлинное происшествие, — помилуй бог! Вы не позволите себе такой грубости! Но про себя будете думать: мало ли что могло стрястись со стариком, ему могло и примерещиться...

Итак, слушайте внимательно. Представьте себе город в Бессарабии лет тридцать с лишним назад (но только не Кишинев, от Кишинева меня уже воротит!) Итак, город в Бессарабии, и в центре города — заезжий дом. Разумеется, мне незачем рассказывать вам, что такое заезжий дом и как он выглядит. Этот дом был построен специально для господ, а раз для господ, можете не сомневаться, он обладал всеми возможными удобствами, потому что господин — это не еврей. Еврей — это еврей, господин — это господин! Но не в этом суть...

Сам по себе дом — обыкновенное здание, не высокое, не низкое, под красной черепичной крышей. Высокие и широкие ворота рассчитаны на то, чтобы экипажи въезжали прямо во двор, где с обеих сторон, справа и слева, протянулись двери комнат. Комнаты — чистые, просторные, глядящие окнами на улицу. Приличная мебель: круглый стол посреди комнаты, красивая полированная деревянная кровать, свежееубранная и затянутая занавесью, такой же платяной шкаф, умывальник, мягкий диван с зеркалом в спинке и пара стульев. На стенах — картины, обычные картины: портрет Мойше Монтефиоре с его пышным жабо и — да простится мне, что рядом помянул, — Наполеон Бонапарт со своей треуголкой и рукой, заложенной за борт жилета, и, пожалуй, слишком уж свирепым видом, являющим резкий контраст с Монтефиоре, у которого, наоборот, излишне слащавый вид. Примечательно! Два различных героя двух разных эпох изображены двумя художниками, а в обоих портретах один и тот же недостаток: не соблюдена мера... Но не в этом суть. Самым прекрасным и самым лучшим украшением комнаты была печь — простая печь, без затайливых завитушек, обыкновенная, желтая, с синими разводами, приятная, а главное — теплая печь, надежная, как мать. Отсюда следует, что история, которую я собираюсь вам рассказать, произошла зимой, — это очень существенная для дела подробность.

Точно так же как лето имеет свое обаяние и красоту, которые милы нам и дороги, и зима имеет свою прелесть и очарование, когда на дворе стоит изрядный холод, дует ветер, жгучий мороз прокрадывается сквозь закрытые ставни и рисует веселые узоры на окнах, а вы сидите с друзьями в жарко натопленной и ярко освещенной комнате у накрытого стола; и горячий самовар кипит, исходит паром и долго, тонко и тягуче поет. Говорите,

что хотите, — все хорошо в свое время. Нехорошо только, когда среди зимы вдруг становится по-летнему дождливо или среди лета нагрянет холод, напомнив о зиме... Но не в этом суть.

Сидел я у самовара и пил чай один-одинешенек, вот мне и захотелось, чтоб кто-нибудь вошел, хоть слово сказал, как это бывает иногда, когда стоскуешься о человеке. Кстати, такова особенность людей: они надоедают, но когда их не видишь, тоскуешь по ним. И бог помог: открылась дверь и показалось обросшее существо, с волосатыми руками, одно из тех, какие могут водиться только в стране кукурузы, вина и мамалыги. Давать его портрет я считаю необязательным, но в двух словах сказать не помешает: он был, как говорится, поперек себя шире, да так зарос жиром, что едва переводил дыхание. Человек оказался хозяином, владельцем заезжего дома. Зашел он ко мне, чтобы, как принято, приветствовать гостя, почтить вниманием, спросить, откуда и куда тот едет, заглянуть, пронюхать, так сказать, «прощупать», а вдруг гостю что-нибудь нужно, и тогда он окажет ему услугу. Ну, и так далее. Долго уговаривать его присесть не понадобилось; выпить со мной стакан чаю я тоже легко убедил его. И пошел у нас разговор, но вряд ли он будет вам интересен. Разговор этот вертелся все больше вокруг разных мировых событий, городских дел, торговли, семейных обстоятельств, а отчасти и просто так, — лишь бы говорить, не молчать. Мой хозяин, как я вам уже говорил, был несколько тяжелый человек, пожалуй, чересчур обросший жиром, оттого ему и трудно было начать говорить... Каждый раз перед тем, как что-нибудь сказать, он некоторое время сопел и отдувался, как кузнечный мех, но едва кончал сопеть и выдувал все содержимое меха, его речь шла как по маслу. Он дал мне полный отчет о Бессарабии, ознакомил со всеми помесиками, — и с теми, у которых много земли и мало собак, и с теми, у кого мало земли и много собак. Рассказал он мне также много интересных историй о конях; о «честных» конях и о «вороватых» конях, о конокрадах и о ворах, таскающих все, что попадает под руки, и о разбойниках, которые приходят в эти места из Румынии, преимущественно цыгане, и вытворяют иногда такое, что волосы дыбом встают! Я слушал и присматривался к этому обросшему существу с волосатыми руками, — уж не находится ли он в дальнем род-

стве с теми разбойниками из Румынии. Но тут же убедился, что напрасно заподозрил его. Из дальнейшего разговора выяснилось, что он просто невежда, неуч, а, кроме того, вдобавок еще и основательная скотина! Покончив с разбойниками, он перешел к колдунам, духам, бесам и чертям, мертвецам, вампирам и гномам, которых «своими глазами видел», и — вот вам доказательство: они с рогами. Кто с рогами, — я забыл спросить, у меня уже слипались глаза... Бог знает, сколько этот умник просидел бы над моей душой, если б я не начал подремывать. Материалу для болтовни у него было, видимо, сколько угодно, потому что, прощаясь, он пообещал зайти завтра в это же время и еще многое, многое порассказать. Перед уходом он вместе со мной осмотрел окна, проверил, хорошо ли прикрыты ставни, заглянул в печь, не слишком ли рано закрыли выюшкой трубу, показал, как надо запереть дверь, пожелал мне доброй ночи, вынул свой кузнечный мех и ушел.

Как только он вышел, я замкнул дверь и потянул: не открывается ли? Нет, не открывается. После этого я осмотрел все окна, заглянул, просто так, мимоходом, под кровать, стал раздеваться, положил на стол часы и спички, лег в кровать, накрылся чистым теплым байковым одеялом, погасил огонь и...

Тут Дедушка вдруг остановился и замолчал. Ночь и вправду была полна волшебства. Вось глядела на нас своими звездами, которые перемигивались, мерцали, моргали, совсем как человек. Они подмигивали нам, они обращались к нам, они нам говорили: «Если бы вы знали, что у нас тут в небе творится?!» — «А ну, пожалуйста, скажите нам, звездочки, скажите, что у вас там в небе творится?» Но звездочки не говорят, что у них там в небе творится. Они мигают, искрятся, моргают. А мы глядим, вглядываемся в глубь неба и не знаем, что там происходит.

Мы все, по-видимому, разглядывая звезды, углубились в свои мысли и не сразу заметили, что Дедушка почему-то очень долго молчит. И мы все трое обратились к нему:

— Ну?

— Что ну?

— Почему вы замолчали?

— Я хотел испытать, внимательно ли вы слушаете.

— Как так — внимательно ли слушаем? Конечно, слушаем во все уши.

— Скажите же, деточки, на чем я остановился?

— Вы остановились на теплом байковом одеяле. Вы укрылись, погасили огонь и...

— Вот такими я вас люблю. Раз вы слушаете со вниманием, я могу продолжать рассказ. Итак, я чудесно укрылся и — спокойной ночи!.. Не скажу вам точно, — то ли я уже уснул, то ли вот-вот должен был уснуть, то ли успел уже поспать некоторое время, — знаю только, что глаза у меня были закрыты, когда я услышал вдруг шаги, тихие-тихие шаги. Идут!.. Напрягаю слух — да, идут!.. «Пустое! Мне это, наверное, чудится!.. Это плоды рассказней хозяина...» Так думаю я про себя, хочу накрыться одеялом с головой и — снова слышу довольно явственные шаги! Пускаюсь в догадки: быть может, это ходят в соседней комнате, по ту сторону стены? Быть может, это — наверху, над моей головой? Нет! Я слышу шаги вот тут, у себя в комнате, недалеко от моей кровати! Я собрал воедино все свои мысли, вспоминаю — как будто хорошо замкнул дверь, осмотрел все окна, заглянул и под кровать... Кто же это может быть и откуда он здесь взялся? А вокруг темно, хоть глаз выколи! Что делать? Спичку чиркнуть? Вы, конечно, правы. Это — верная мысль. Только вот вопрос: как взять спички, когда они за версту, где-то на столе? Ну? Что станете делать? Молчите, не так ли? В том, что кто-то находится в комнате, у меня уже сомнений не было. Неизвестно только: откуда он взялся? Как он вошел? Думать надо — либо через дверь, либо через окно? Если через дверь, то это сам хозяин с запасным ключом, если через окно, это просто вор. Большой разницы тут, правда, нет, но человек, наделенный умом, любит каждую вещь продумать, чтобы знать, на каком он свете, чтобы не блуждать в темноте даже тогда, когда он лежит в темноте... Я представил себе, понимаете ли, все, как в Библии сказано: «У мудреца глаза его в голове его». Я воскресил в памяти комнату, стол, кровать. Как я улегся? Головой к окну, ногами к двери. Следовательно, будь открыта дверь, кто прежде всего почувствует это? Ноги. Высовываю осторожно ногу из-под одеяла, — сейчас почувствую, наверное, легкий ветерок? Какое там! Дверь

заперта — готов поклясться! Значит, надо взяться за окно. Как же это сделать? Высовываю осторожно из-под одеяла руку — ни малейшего ветерка, прохлада. Двери и окна заперты, а шаги становятся все явственнее и ближе. Могу поручиться, что уже слышу возле себя чье-то дыхание! Разумеется, каждая минута, каждая секунда кажется годом.

У меня выступает холодный пот! Сердце стучит, стучит, точно часы. Что делать? Соскочить с кровати? Поднять крик? Звать на помощь? О чем кричать? Кого звать? Разве знаешь, с кем тут имеешь дело? Сесть в кровати? Но ведь боишься шелохнуться, — к чему показать прищельцу, что ты не спишь? Тут соображение простое, — если это вор, он возьмет все, что ему нужно, и уберется подобру-поздорову. Но если ты начнешь вопить, он захочет спасти свою шкуру, вот и нападет на тебя бог весть с каким оружием. Стало быть, ты сам сделаешь из него душегуба, — к чему тебе это? Но что же? Ждать, покуда он подойдет к тебе, к твоей кровати, набросится на тебя, схватит за горло и начнет душить? Это что-то тоже не то. Итак, скажите теперь, как поступили бы вы? Послушаем. Вы люди молодые, герои!..

С этими словами Дедушка обратился к нам, к своим трем внукам, и стал дожидаться нашего ответа. Раньше всех выскочил с ответом самый младший из нас — поэт.

Он воспламенился, как истинный герой, и, сжав два страшных кулака, показал, какой бы сделал прыжок с кровати, как свалил бы того на землю, как душил бы его, и закончил горячо:

— Жизнь за жизнь! Мне смерть, но и тебе смерть!..

Выслушав ответ поэта, Дедушка махнул рукой, словно говоря: «Допустим, что так!» — и обратился к моему коллеге, обладателю горячего темперамента: как поступил бы он? И тот ответил довольно искренне:

— Скажу вам правду, Дедушка. Напасть на человека, когда я его не знаю и не вижу, — этого я бы не сделал. Я оставил бы ему часы со всем моим скарбом, черт его возьми, а сам выскочил в окно. Связываться со всяким паршивцем, со всяким ворюгой? Провались оно сквозь землю...

— Тоже верно! — произнес Дедушка. — Связываться с неравным себе, конечно, не стоит. Ну, а вы что сделали бы, случись такая история с вами?



Это Дедушка обращается уже ко мне, и я отвечаю ему тоже довольно откровенно:

— Я? Мне бы не пришлось делать ни того, ни другого! Я бы не напал на вора, не прыгал бы в окно. Я бы... Я бы... умер!

— Это вернее всего! — говорит Дедушка, заливаясь громким смехом. И, глядя на него, смеются все, кроме меня. — Умереть со страху — действительно добрый совет, но, прежде чем приходишь к такому выводу, у тебя трижды уходит душа в пятки, прошибает холодный пот, и чувствуешь, как мозги шевелятся под черепом! Видишь перед собой ангела смерти, ощущаешь на горле холодное лезвие и не знаешь только, когда произойдет «чик!»... Короче, не стану вас больше мучить. Слышу, возле самой моей кровати кто-то сопит, но как! С силой, со злобой: «Ха! И-ха! И-ха!» Сквозь одеяло чувствую на себе чью-то руку, крепкую, тяжелую, холодную, волосатую руку, и затем — еще руку. Ага! Кто-то лезет ко мне в кровать, вот, вот он... Вот-вот он схватит меня за горло! Вот-вот он долбанет меня чем-нибудь тяжелым по голове! Вот-вот... Ну? Умники! Что бы вы теперь сделали?

Тут Дедушка остановился, желая, видимо, передохнуть. Мы поняли, — ему, очевидно, было тяжело еще раз пережить эту критическую минуту, — и оставили его в покое, а сами стали вслушиваться в тишину ночи. Знаете, милые друзья? Тишина ночи говорлива, она шепчет какие-то слова. Прислушайтесь когда-нибудь и услышите голоса: тихие, но сладкие слова незнакомого существа, которое сидит возле вас, о чем-то шушукается с вами, и чудится, что этот голос вам знаком, вы где-то его слышали, но не знаете где... А вдруг померещится, что вы слышали вздох, глубокий вздох, и не знаете, кто это вздохнул, — то ли таинственное существо, что сидит подле вас, то ли вы сами вздохнули?! И вас охватывают разом и страх и тоска; вы рады бы подняться, уйти, но что-то удерживает вас — неведомо что... Что-то тянет вас за душу — неведомо что... Давит смертельная тоска, — неведомо по ком... И вдруг вы слышите: плюх! Словно в реку кинули камень или что-то опустили в колодец!.. Нигде вблизи вас, это вы знаете, нет ни колодца, ни реки. Что же это за «плюх»?.. Или «кра» послышится. Откуда это «кра», если все птицы спят?.. И кажется вам, что земля дышит, чуть-чуть слышно... Вместе

с вами дышит она, земля, весь мир, и вы чувствуете себя частью дышащей земли, частью огромного мира, предстающего перед вами великой, великой тайной...

Молчание Дедушки снова затянулось дольше, чем следовало; мы изнемогали от желаний поскорей услышать конец этой истории и начали тормозить Дедушку.

— Ну?!

— Что ну?!

— Как так — «что ну»?! Что было дальше? Кто это был? Что он с вами сделал? Как вы вырвались из его рук?

— Ах, так? Вы и в самом деле хотите узнать конец? Повремените. Завтра тоже не плохой день. Считайте, что это рассказ, который печатается в газете, и умник редактор оборвал его на самом интересном месте, поставив внизу два известных слова: «Продолжение следует». И подите тащите его на суд праведный. Умный редактор, разумеется, сделал это нарочно, чтобы заставить вас на следующий день снова купить газету, — разве есть у вас другой выход? А если хотите, считайте, что это история со змеей.

— С какой змеей?

— Вы не знаете истории со змеей? — протягивает Дедушка нараспев. — Тогда я расскажу вам новую историю, историю со змеей.

Однажды, было это тридцать первого декабря, как раз накануне Нового года, люди читают в газете такого рода рассказ: «Молодая красивая женщина, родившая первенца, сидела со своим крошкой у окна и собиралась покормить младенца грудью. Вдруг откуда ни возьмись подползает змея, кидается прямо на женщину, впивается ей в грудь и начинает сосать. Женщина, само собой разумеется, лишилась чувств. Весь город, естественно, сбежался спасти женщину. Созвали крупнейших врачей, но попробуйте что-нибудь сделать, начните войну с ядовитым хищником! Ничем тут не поможешь — троньте змею, она выпустит свой яд и убьет женщину на месте. Но, с другой стороны, если не помешать змее, она не отстанет от женщины, покуда та не умрет... Скверно! — так заканчивает газета. — Положение критическое. Змея сосет. Женщина без сознания. Врачи заседают и изыскивают средства. Репортеры ждут. Завтра мы сообщим нашим читателям, что случилось с женщиной и змеей». Не одно завтра, разумеется, прошло с тех пор. Публика

ежедневно раскупала газету, долго, долго дожидаясь конца истории. Я даже думаю, что есть такие стойкие читатели, которые и по сей день не перестают покупать газету все ради той же женщины со змеей... Неужто же я не заслужил у вас, дети, чтобы вы подождали меня до завтра? Спокойной ночи!

И Дедушка поднялся и в самом деле стал прощаться с нами. И тогда мы, все три внука, припали к нему, просили, умоляли, целовали, — еле уговорили его снова усесться на свое место и продолжить свою страшную историю.

— Вспомните же, дети, на чем мы остановились! Мы остановились на том, что это существо подошло тихими шагами к моей кровати. И я слышу, как оно сопит с силой и злобой: «Ха! И-ха! И-ха!» И чувствую сквозь одеяло чью-то руку и еще руку, кто-то лезет ко мне в кровать, вот-вот он будет в моей постели!.. Не знаю, как вы, но я когда-то в юности начитался разных страшных историй о чертях, разбойниках, колдунах и духах. Все эти истории, скажу вам по правде, не производили на меня никакого впечатления, кроме того, что я каждый раз хотел знать конец истории, — вот так, к примеру, как вы теперь... Понятия «напасть», «наброситься» «убить», «умертвить» были мне чужды. Даже многоглазый ангел смерти был для меня не более чем страшилище, нарочно придуманное, чтобы пугать нас, не более. На этот раз я увидел ангела смерти перед глазами. Я увидел его и узнал его. Это он! Он! Я только не мог угадать, какой смертью предстоит мне теперь умереть, поэтому я не знал, за что раньше схватиться, — за голову, за горло, за живот? Две большие костлявые холодные руки, представлял я себе, схватят меня скорее всего за горло и начнут душить. Я почернею и посинею, глаза вылезут на лоб, и я не смогу кричать. Еще я представил себе, как тяжелый предмет, железный предмет, обрушивается мне на голову и я умираю... Или широкий, острый, холодный нож врезается мне прямо в живот, и я уже чувствую его прикосновение... Не знаю сам, дети, откуда взялись во мне силы и мужество. Со страху величайший трус иногда становится героем, а если хотите, я открою вам тайну: никаких героев нет; настоящий герой это — именно и только! — трус... Короче, я увидел, что нахожусь на волосок от смерти, и подумал: «Что ты лежишь, дурак? Кого ты ждешь? Твоей жизни теперь все

равно грош цена...» Одним рывком поднялся я и спрыгнул с кровати, следующим прыжком я оказался у стола, схватил спички — чирк! — и поднес к кровати, гляжу: большой черный кудлатый пес, настоящий «сибиряк» с красными глазами!..

По-видимому, этот пес лежал все время где-то под диваном или за шкафом; то ли ему там надоело, то ли ему стало холодно, и вот он явился ко мне с визитом, познакомиться с новым постояльцем, тем более что у меня, на байковом одеяле, и впрямь гораздо лучше, теплее и приятнее...

На следующий день волосатый хозяин заезжего дома рассказал мне, что получил этого пса в подарок от какого-то барина.

— Тихий пес, — оправдывался он, — очень смирный пес, мухи не тронет. Он уже очень стар, да к тому еще слеп на оба глаза.

## КАК КРАСИВО ДЕРЕВО!

*(Эпизод с грушами. Рассказан первым внуком<sup>1</sup> Дедушки реб Менделе и посвящается его 75-летнему юбилею)*

Если вы желаете близко познакомиться с Дедушкой, с удовольствием провести с ним часок, что-нибудь почерпнуть из беседы с ним, воистину насладиться его обществом, то знайте: это невозможно в избранном кругу, на банкетах, где осаждают тостами и оглушают аплодисментами и криками «ура».

Правда, Дедушка и в обществе не растеряется, не спрячется в уголок. Он ответит на все тосты, речи и выступления каждому в отдельности, и ответы его будут полны блестящего остроумия. При этом лицо у него станет светиться, как зажженный семисвечник, а вы почувствуете себя с ним в такой степени по-праздничному, как только можно чувствовать себя с истинным мудрецом. Но это будет, господа, только писатель Менделе Мойхер-Сфорим, отнюдь не Дедушка.

Если же вы хотите узнать Дедушку, уйдите с ним далеко-далеко за черту города, на вольную волюшку, под купол небес. Уйдите туда, где цветет дерево, пробивается травка, пасется теленок, зеленеет лес, где машет

---

<sup>1</sup> Свидетельствую перед всем миром, что я увенчал Менделе Мойхер-Сфорима именем Дедушки. Это было четверть века назад. Тогда я был совсем еще юнец, «озорной внучек», как назвал меня Дедушка в одном из своих писем ко мне. С тех пор и пошло: Дед, Дедушка. Сейчас Дедушка дождался, слава богу, целого поколения внуков.

Пусть же растут и множатся!

*Шолом-Алейхем.*

крыльями мельница, бежит ручеек, поет птица, прыгает белка, порхает бабочка, летают стрекозы, роится, вьется столбом мошка, гудит и кружится, поет хвалу богу...

Туда, туда пойдите с ним, там только вы познакомитесь с Дедушкой, только там вы его узнаете по-настоящему.

Вы увидите перед собой и глубокого мыслителя, и своеобразного художника, и дитя природы. Он сядет с вами на божью землю, на ее зеленый благоухающий покров, усыпанный цветами. Глядя в голубое небо, он выскажет глубокую мысль, нарисует яркую картину, поведаст прекрасное предание старины, бросит умную, острую еврейскую шутку. Громко смеясь, он заставит вас и развеселиться и задуматься. И вам будет с ним так хорошо, как никогда раньше, и будет вам обидно, почему вы раньше не знали его. Вы будете сожалеть, что не захватили с собой карандаша, чтоб записать его глубокие мысли, живые картины, удивительные предания старины, умные, острые еврейские шутки.

Нет, Менделе Мойхер-Сфорим в жизни — это не тот Менделе Мойхер-Сфорим, что в книгах. Менделе Мойхер-Сфорим в жизни сам — книга.

Из этой книги я вырываю листок и отдаю его тебе, друг-читатель, сегодня, в день 75-летнего юбилея нашего Дедушки, в честь нашего общего праздника, праздника еврейской литературы.

В те далекие времена я жил в Одессе, на даче, далеко от города, на берегу Черного моря, на Фонтане. Время было хорошее (Толмачев \* тогда еще не свирепствовал). Славное это было время! Недоставало только гостей, милых добрых гостей.

И бог помог мне: ко мне приехал из города Дедушка Менделе со своим адъютантом И.-Х. Равницким \*.

Трудно представить себе Дедушку Менделе в Одессе без Равницкого, как трудно представить себе, например, город без казенного раввина, или варшавский еврейский дозор \* без крещеного еврея, или царскую Думу без Пуришкевича... Тысячу раз прошу прощения у моего друга и товарища Равницкого за такое сравнение. Я отнюдь не хотел его задеть. Упаси боже! Я ничего против него не имею. Но таков уж писатель: если пустится сравнивать и проводить параллели — подхватит все, что узрит глаз.

Короче, у меня были гости: Дедушка Менделе и Равницкий. Искупавшись в море, где Дедушка показал нам, как можно плавать в шестьдесят лет и какие можно проделывать фокусы в воде, мы пешком отправились с Малого Фонтана на Большой и дальше. По дороге Дедушка рассказывал нам множество разных историй. Мы слушали и удивлялись, восхищались и радовались, как настоящие хорошие любящие внуки. Вдруг Дедушка останавливается:

— Как красиво это дерево!

Мы поднимаем глаза, — вот так дерево! Ай да дерево! И не так дерево, как груши на нем. Что за груши! Бергамоты! Круглые, желтые, сочные, сладкие, атласные, мягкие, они висят на толстых загорелых ветвях. Они распространяют тонкий аромат. Они приветливо глядят на нас, подмигивают нам, просят нас: «Люди добрые, сделайте милость: благословите и отведайте нас...» А за этим деревом еще дерево, и еще дерево — и все они усыпаны грушами. Море груш!

С мфистофельской улыбкой на посеребренных устах Дедушка сквозь очки пронзил нас острым взглядом своих умных глаз, без слов говоря: «Вижу: вы, ребятки, кажется, охотники до этих груш...» И мы, все трое, словно сговорившись, направились в сад за грушами.

Евреи не любят долго раздумывать. Мы не стали гадать, что за груши, какие груши, чьи груши. Выяснится, вероятно. Самое главное — найти ворота, вход в сад, а там уж найдется, конечно, хозяин, сторож или садовник, и за деньги мы получим груши.

И действительно, очень скоро мы увидели ворота. На дощечке — золотыми буквами: «Анатра». Таким образом нам стало известно, что хозяин сада — Анатра.

Мы слышали об Анатре: он грек, миллионер и неприятный человек. Но кто может знать, продает ли он груши? Может быть, продает, а может быть, и нет. Можно быть миллионером, а груши из своего сада все-таки продавать. Здраво рассуждая, для чего одному человеку столько груш?

Так размышляя, мы медленно вступаем в чудесный сад, идем по расчищенным дорожкам, выложенным маленькими морскими камешками и украшенным с обеих сторон подстриженными деревцами. Отовсюду выглядывают ароматные цветы, они улыбаются нам и

дружелюбно приветствуют: «Благословенны вошедшие! Милости просим! Добро пожаловать!»

Мы идем дальше и дальше, все глубже в сад. Вдруг, откуда ни возьмись, с яростью и рычанием прямо на нас — собака. Но какая собака! Теленок, а не собака! Лев! Леопард! Блестящая желтая шкура. Лапы мягкие, круглые, как у тигра. Морда черная, мокрая, но симпатичная. Зубы белые, острые. Глаза красные, горящие, как у разбойника. Красавец пес, но все же пес!

Не знаю, как вы, но я, — признаюсь, чего мне стесняться? — я собак боюсь... То есть мало сказать «боюсь». Слово «боюсь» слишком слабо, чтоб передать вам то чувство, которое вызывает у меня собака. Всех животных на земле я люблю, люблю всех без всякого исключения. Собаку я тоже люблю, но собака, видите ли, не внушает мне доверия...

Когда я прихожу к кому-нибудь в дом и вижу собаку (у христиан, разумеется, потому что евреи собак не держат, а если у евреев есть собака, так это не собака), я уже не слышу слов, обращенных ко мне. Мои мысли там, вокруг собаки... Когда она подходит ко мне близко и обнюхивает меня, ласкается ко мне и вертит хвостом, — ладно, очень мило, согласен: мы приятели! Только не трогай меня, только не клади на меня свою холодную лапу и не тычь мне в лицо мокрую морду. Я люблю тебя, понимаешь ли, только на почтительном расстоянии...

Как мой товарищ Равницкий — не скажу: возможно, он боится собак еще больше, чем я. Он уверяет меня, что не очень боится. И что за страх? Разве у него нет зонтика? И еще какого зонтика... Да, я забыл сказать вам, что мой друг Равницкий шагу не делает без зонтика ни зимой, ни летом. Если вам случится быть в Одессе и вы встретите на улице еврея с румяным сияющим лицом, с добрыми, немного грустными глазами, с задумчивым белым лбом и с зонтиком под мышкой, хотя на улице зима и трещит мороз, знайте, что это он, Равницкий. Мне известна тайна его зонтика: это от собак... Ах, вы скажете: ведь для собаки лучше палка?

Не задавайте лишних вопросов!

Словом, когда мы оба — я и мой товарищ Равницкий — увидели это создание, движущееся прямо на нас с разинутой пастью, наши души отделились от тела. Нашей первой мыслью было — бежать! Но хорошо бежать,



когда у вас есть ноги. А что станете вы делать, если ноги у вас отнялись, сердце держится на ниточке, волосы стоят дыбом, а глаза вот-вот выскочат? Милый друг, вы можете нам не завидовать. Разве только врагу можно пожелать оказаться в том положении, в каком находились мы.

А Дедушка? Этой минуты я никогда, никогда не забуду. Как только собака раскрыла пасть и кинулась на непрошенных гостей, Дедушка скрестил руки на груди, губы сложил в улыбочку и, глядя собаке прямо в глаза, рассмеялся. Я могу поклясться, что собака поняла этот смех. И не только поняла, — она почувствовала себя обиженной. С полминуты они так стояли один против другого и смотрели друг другу в глаза. Может быть, даже меньше, чем полминуты, но мне это показалось вечностью. Это был тяжелый, критический момент. Человек и зверь стояли друг против друга, мерили один другого взглядом: кто кого?.. Потом собаке, видно, надоела вся эта история. Она опустила свои горящие разбойничьи глаза, зевнула во всю пасть, облинулась и потянулась; затем встряхнулась всей своей блестящей желтой шкурой, повернулась к нам без всякого стеснения, извините, задом и, обнюхивая свои собственные следы, отправилась восвояси.

В тот день мы ели груши, и неплохие груши. Но это были груши, которые моя жена привезла из города.

## А У Т О Д А Ф Е

*(Воспоминания, посвященные юбилею Дедушки Менделе Мойхер-Сфорима, написанные его первым внуком)*

Уж так повелось у нас: когда умирает, не будь здесь помянуто и не про вас будь сказано, большой человек, его начинают превозносить и прославлять. Начинают вспоминать и пересказывать разные истории из его жизни, отдельные эпизоды, анекдоты, повторяют его афоризмы, шутки, остроты и даже глупости. Все подхватывается! Все давайте сюда! Все пойдет!

Я беру на себя смелость сказать, что это не только глупый обычай, но, если хотите, это даже в какой-то мере и несправедливо. Что толку возносить человека после его смерти? Почему бы ему не вкусить славы при жизни? Почему бы при жизни ему не услышать расточаемых похвал, разных историй, которые без конца рассказывают о нем, анекдотов, афоризмов, шуток, острот и даже глупостей, приписываемых ему? Я даже пойду дальше и скажу, что гораздо правильнее было бы при жизни передавать такие вещи, потому что, если, не дай бог, кто-либо расскажет о человеке какую-нибудь несутражность, он может открыто выступить и сказать: «Прошу прощения, господин! Вы, кажется, это выдумали про меня».

Об одном насмешнике рассказывают, что он уехал в дальние края и распустил слух, будто судно, на котором он плыл, затонуло, а сам он погиб. Спустя некоторое время возвращается он домой и, конечно, застает полный разгром: жена сошлась с другим, дом продан,

имущество поделили между собой друзья, — все погибло. Он стал слоняться из дома в дом:

— Слышали вы когда-нибудь что-нибудь подобное? Такое несчастье!

— А зачем вы это затеяли?

— Я хотел послушать, что люди скажут...

Юбилей — это давно уже отмечено мудрецами — подобен, не будь они рядом помянуты, похоронам. Со мной это случилось. Я сам пережил несколько лет назад такого рода похороны и наслушался о себе таких вещей, каких и во сне не видывал. Жаль только, что публика занялась чем-то другим и скоро замолчала... Так вот, зная, что такое юбилей, я хочу сделать приятное Дедушке и его многочисленным друзьям и почитателям и поделиться с ними одним из многих, многих моих воспоминаний о Дедушке.

История эта случилась в Одессе, на берегу Черного моря, на даче, на Большом Фонтане. Вот все приметы этого места. А самой верной приметой будет название дачи: «Мандражи» — и пусть Дедушка вспомнит, «как может живой опровергнуть свидетельство живого...».

В то время — лет двадцать, должно быть, прошло с тех пор — я находился под сильнейшим влиянием Дедушки и писал большое аллегорическое произведение. Это был роман, но с аллегорией, нечто вроде «Клячи». А так как мне непременно хотелось дать аллегорию, то я, вместо того чтоб рисовать реальную действительность, витал в эмпиреях. И, как это с нашим братом бывает, я был влюблен в свое произведение, как жених в невесту, и полагал, что лучше этого произведения нет. Мне очень хотелось показать кому-нибудь предмет моей любви — мое новое произведение. Кому же показать такой перл?.. Батюшки, да ведь есть у меня высокий авторитет: всего в получасе езды от Одессы живет Дедушка Менделеев! Как говорится, ему и книги в руки! Но до бога высоко, а до Дедушки далеко... Как быть?.. Понести рукопись Дедушке? Уж слишком она велика. Заставить Дедушку прийти ко мне — как-то не совсем почтительно. И я нашел выход: время летнее, стоят жаркие дни, надо пригласить Дедушку на дачу подышать воздухом, искупаться в море. Тогда можно будет немного и поговорить. Однако заполучить Дедушку не так просто, нужен удобный случай. И бог мне помог: нашел-

ся благовидный предлог, и я привез Дедушку на дачу. Дедушка — мой гость на целые сутки.

По моему глупому разумению, среди всех добродетелей долг гостеприимства скорее удовольствие, чем долг. И, если будет мне дозволено говорить еще более откровенно, я сказал бы: не тем велик прародитель наш Авраам, что он был странноприимен, — что может быть приятнее, чем принимать гостей?

Но если вообще принимать гостей — удовольствие, то иметь в качестве гостя Дедушку реб Менделе — праздник. Менделе Мойхер-Сфорим в обществе так же своеобразен, как Менделе Мойхер-Сфорим в литературе, если хотите, он в жизни еще ярче. Встречаясь с писателями, нам случается иногда жалеть о том, что мы увидели их слишком близко. Дедушка же Менделе при личном знакомстве превосходит все, что вы раньше представляли себе о нем в своем воображении. Разумеется, он не чудо какое-нибудь, но, беседуя с Дедушкой, вы чувствуете, что перед вами незаурядная личность. Это не только старец, украшенный высоким разумом, лучший тип еврейского мудреца; это человек, полный жизни, движения. Жизнь горит в остром взгляде его умных глаз, глядит из глубоких морщин высокого лба и молодой улыбки, которая змеится на его тонких губах, жизнь бьется в каждой его жилке. И вы спрашиваете себя: «Так это и есть Менделе Мойхер-Сфорим?» При более близком, более интимном знакомстве с ним вы увидите перед собой ребенка, старца-мальчишку, который покажет вам, что такое мускулы, что значит держаться прямо, как струна, что значит бодро шагать, бегать, играть с детьми. И вы снова спросите себя: «Так это и есть еврейский писатель, семидесятипятилетний юбилей которого сейчас празднуют?» В его обществе вы сами начинаете чувствовать себя моложе, свежее, живее, и вы забываете с ним, как пролетело время, куда девался день.

Но, как известно, соловья баснями не кормят. Как ни был я рад дорогому гостю, как быстро ни убегло время, мой роман не выходил у меня из головы ни на одну минуту. Но как приступить к этому делу? Нельзя же вдруг взять да сказать: «Дедушка, я буду вам чигать свой роман!» И господь сотворил чудо: Дедушка сам спросил у меня — вечером это было, после ужина: «Что слышно? Что новенького пишете?» Я почувствовал, что

сердце у меня забилося. Слава богу, пришла желанная минута! Я не заставил себя долго просить, вынул мою зазнобушку из ящика, где она лежала свернутая, как священный свиток, перевязанная красной шелковой нитью, и уже готов был приступить к чтению. За мной дело не станет! Но Дедушка взял меня за руку: «Сейчас? Нет. Сейчас нужно идти встречать луну, которая выходит из моря».

Прекрасно море, когда разыграется оно под ослепительными лучами золотого солнца; прекрасно оно во время заката, когда огненный шар спускается с неба и и вдруг падает в бездну; все вокруг облито пламенем, в пурпурный плащ одевается край горизонта, и тихая прохлада спускается на землю и воцаряется на ней. Но во сто крат прекраснее море ночью, когда вырисовывается на небе бледный лепесток луны. Волны все в свете и серебре; луна заливает белым очарованием и сковывает ночным колдовством тихие воды дремлющего моря; оно чуть-чуть дрожит и отражает мириады звезд. Нет, Дедушка прав. Не время сейчас читать романы. Такая ночь!.. И все же у меня из головы не выходит мой роман. Все роман! О чем бы мы ни говорили, я сворачиваю на роман. Я хочу передать Дедушке хотя бы идею романа, познакомить его с содержанием. «Зачем? — говорит Дедушка. — Завтра утром мы сядем с вами вдвоем и прочитаем роман от корки до корки». Ах, как хорошо, как хорошо!

В ту ночь я не сомкнул глаз. Я представлял себе, что будет, например, когда мое произведение уже будет прочитано. Что Дедушка скажет? «Я в восторге»? «Я поражен»? Нет, Дедушка не таков. Он не рассыплется в комплиментах, в сладких речах. На его языке это называется слащавостью. Будет вполне достаточно, если он положит мне руку на плечо и скажет: «Ну, бог в помощь. Пишите, пишите много таких произведений, и пусть Дедушка порадуетя на своего внука...»

А может быть, он ничего не скажет. Решительно ничего. И его молчание будет для меня достаточно выразительно. «Дедушка», которого «внучек» обогнал (признаюсь, была такая мысль), — что может он сказать?.. Немножко мне было жаль Дедушку, что я его обогнал. Он ведь не кто-нибудь, он ведь Менделе Мойхер-Сфорим! Шутка сказать: появляется какой-то мальчишка и создает произведение, которое отодвигает в сторону

такого исполина, оставляет его позади, — ах, бедняга, бедняга...

В ту ночь Дедушка тоже не спал, но не из-за моего романа. Причина была несколько другая: комната, где мы устроили нашего гостя, была рядом с детской. Ребенок (этот «ребенок» сейчас уже студент) всю ночь плакал, у него прорезались зубки, и он не дал Дедушке глаз сомкнуть!

— Что это у вас за крикун? — жаловался нам Дедушка на следующее утро. — Я хотел бы знать, откуда у ребенка берутся силы так кричать, не сглазить бы?

Еще несколько шуток в адрес «крикуна», и Дедушка делает мне знак:

— Ну?

Из всех «ну» на свете это было самое лучшее, самое сладкое «ну». Райское блаженство разлилось по всему моему телу. Я уселся с Дедушкой в кабинете, закрыл окно, запер двери, вынул из ящика священную рукопись, развязал красную шелковую нить и...

— Я сяду, — сказал мне Дедушка, — вот здесь, у окна, против вас, а вы садитесь сюда, ближе к моему левому уху, чтобы я мог вас лучше слышать. Но прежде расскажите мне, что вы хотели сказать этим романом.

Что я хотел сказать? Этим вопросом Дедушка как будто обдал меня ушатом холодной воды.

Что это значит — хотел сказать?..

— Писатель, когда садится писать книгу, — поясняет мне Дедушка, — должен прежде всего спросить себя: «Что я хочу сказать?»

Признаюсь, для меня это было настоящее открытие Америки. Уже лет пять, как я пишу, написал уже, слава богу, столько вещей и еще ни разу не спросил себя, чего я хочу. Чего может хотеть писатель? Писатель хочет писать, потому что, если б он не хотел писать, он не был бы писателем... Я вышел из положения, сказав, что мое произведение представляет собой аллгорию, в которой заложена мысль, и я хочу видеть, поймет ли Дедушка эту мысль, прежде чем я окончу произведение. И я принялся читать, и мне казалось, что это не я читаю, а кто-то другой читает. Я не узнавал своего голоса, и это взволновало меня. Но это было бы еще с полбеда. В самую решительную минуту раскричался мой наследник — крикун. Хоть повесься! Ах, показал бы я ему, как плакать! Я готов был с минуты на минуту

вскочить, вбежать в комнату крикуна и заткнуть ему рот ватой. Но Дедушка меня не отпускал. Он взял меня за руку, глаза у него были закрыты, — это значило, что он внимательно слушает, и приказал мне ни на что не обращать внимания и продолжать читать. Сколько времени я читал, — не знаю. Я не смотрел на часы, я смотрел только на Дедушку. Я хотел видеть, сильно ли он восхищен. Но трудно было по лицу его прочитать, что он думает. Если у человека глаза закрыты, вы никогда не угадаете, что он думает. Вдруг Дедушка открывает глаза, берет меня за руку, с улыбкой глядит на меня поверх очков и машет рукой.

— Послушайте, я должен вас прервать. Как вы думаете, у вас на кухне уже готовят обед?

— Обед? Наверное. Вы, может быть, хотите есть? Я попрошу что-нибудь принести.

— Есть? Боже сохрани! Я только хочу знать, топится ли у вас там печь.

— Наверное, топится...

— Если топится, то бросьте, будьте добры, эту тетрадью в печь и сожгите ее. Это не ваш жанр. Нет, нет! Никуда не годится!

.....

Мы не однажды после этого встречались с Дедушкой, много раз говорили о писательском труде, о том, что является моим жанром, — но о той истории с «нет» и аутодафе мы никогда, никогда больше не говорили, никогда не вспоминали. И поэтому мне не случилось до сегодняшнего дня высказать Дедушке, пошли бог ему долгие годы, как я ему благодарен!

Ах, очень нужно, чтобы чаще топилась у нас печь в то время, когда мы заканчиваем книгу, которая нам кажется так хороша, что лучше и быть не может...

**ПИСЬМА**  
**(1882—1916)**





# I

## 1

### БРАТУ ВОЛФУ (ВЕВИКУ)\*

*Декабрь, 1882—10/XII, Лубны.*

Дорогой брат!

Твое письмо я получил. Меня радует, что ты с большим усердием взялся за изучение ремесла! Ты всегда должен держаться того, что труд человека не позорит... Наши мудрецы говорили, что не стыдно сдирать шкуру с падали, только бы не жить подаяннием человеческим. Блажен тот, чья рука искусна в ремесле.

Почему ты мне не пишешь, как проводишь свободное время, с кем встречаешься, приобрел ли ты товарищей среди молодых людей, кто они?

Мне хочется рассказать тебе о лесе и саде. В каждом городе живут различные люди с разными характерами, по-разному воспитанные. Люди честные и нечестные; люди доброго нрава и люди дурного нрава; чужой город — что лес дремучий. В дремучем лесу все деревья неведомы, очень трудно отличить одно дерево от другого. Поэтому-то в нем и трудно отыскать дорогу. В чужом городе среди чужих людей тоже вначале трудно разобраться, и найти среди них хороших товарищей труднее, чем у себя дома.

Теперь — о саде. В саду растут плодовые деревья — яблони, груши, вишни, сливы и иные. Каждое дерево в саду имеет свои особенности, свою природу, характер, приносит свои плоды. Например, на яблоне не станут расти груши и, наоборот, на груше не будут расти яблоки. Это очень просто. Каков корень, посаженный в землю,

таково дерево, вырастающее из него. Что еще растет в том же саду? Сорные травы, тернии, колючки и крапива.

Ты не похож на тех молодых людей, которые подобны тернию или крапиве. Ты обязан помнить, что ты сын Менахем-Нохума, сына Зейв-Волфа Рабиновича, и носишь имя нашего, светлой памяти, деда. Берегай же честь нашего деда, берегай честь нашего отца, всегда ступай лучшей стезей.

И в этих наших «беседах», и когда мы, бог даст, встретимся, я не буду читать тебе нравоучений. Ведь если я тебе, к примеру, скажу: «Смотри, Вевик, будь благочестив, не то станешь посмешищем в глазах всех!..» Разве такое нравоучение имело бы успех? Нет! Оно лишено смысла, так пугают маленьких детей — бу! Иное дело, если я тебе скажу, что ты обязан быть честным человеком, чтобы твоя совесть всегда была чиста, кристально чиста!

Давать наказания, поучать, читать нравоучения — нет у меня к этому призвания. Я хочу только вести с тобой «беседы» для того, чтобы ты никогда в жизни не плутал, чтобы ты, во время нашей разлуки, находясь в чужом городе, мог обо всем говорить со своим родным братом.

Пиши мне, получаешь ли письма от отца и что он тебе пишет? Пиши ему почаще да повеселее. Ты должен знать, что у нашего отца, пошли ему бог долгие годы, только и отрады — получать от нас частые радостные письма.

Пиши мне обо всем подробно. Будь здоров и счастлив.

Твой брат *Шолом*.

Пиши, как к тебе относится Янкеле. Передай ему мой сердечный привет, а также всей его семье каждому в отдельности. Смотри не обойди ни одной из наших тетушек.

Помнят ли они еще поклоны тети Ханы, которые были так... сердечны?..

## 2

### Е М У Ж Е

*Лубны, 4 февраля, 1833.*

Дорогой брат Вевик!

Могу передать тебе привет от переяславцев. Я был в Переяславе и виделся со всеми нашими родственниками, друзьями и товарищами, почти с полгородом. Отец

передал мне теплый привет от тебя. Он же рассказывал о твоих успехах в ремесле, что очень меня обрадовало. Прежде дом Янкла Солечникова \* был для тебя школой, гимназией, а ныне он стал твоим университетом! По окончании его ты должен стать совершенным человеком во всех отношениях. Отец говорил мне, что в свободное время ты читаешь вслух для всей семьи Солечникова книги, которые я тебе присылаю. Так должно быть.

Очень хорошо, что ты проявляешь большую заботу о Берле \*. От души поздравляю тебя! Твой план одобряю. Разумеется, все зависит от Берла, нравится ли ему это ремесло и хочет ли он вообще стать ремесленником. Почему-то он изъявил желание прибыть ко мне в Лубны в качестве переписчика бумаг. Разве это серьезное занятие? Постарайся увлечь его ремеслом, вам надлежит жить в братской дружбе. Ты должен помнить, что не так давно и ты горе мыкал в чужом городе среди чужих людей. Отцу тяжело будет расстаться с Берлом, как патриарху Иакову с Вениамином \*, ибо Берл самый младший сын, которым его одарила наша, светлой памяти, мама. Но отец не может не проявить заботы об устройстве своего сына, потому он дал согласие на отъезд Берла в Бердичев.

Я думал с тобой подольше побеседовать, это случилось бы, если ты ответил бы на мое предыдущее письмо. Все зависит от тебя. Пиши подробно о своей жизни и о том, что происходит «на берегах» Бердичева, по-русски это значит — в городе Бердичеве, который стоит на реке Гнилопятавке.

Будь здоров и счастлив, как того желает тебе брат Шолом.

Сердечный привет Янклу и всей его семье,

*Шолом.*

### 3

#### ОТЦУ \*

*16 апреля 1884.*

Дорогой отец! Сегодня в часов пять-шесть пополудни я сообщил тебе радостную весть: бог благословил меня дорогим даром. У нас прекрасная дочь — плод многолетней любви, пошли ей бог долгую жизнь! Помнишь, отец, когда ты гостил здесь, у нас, мы были готовы выехать за границу, чтобы там искать исцеления болезни моей

хрупкой жены. Но болезнь исчезла, словно ветром ее унесло, потому что на чашах весов все врачи с их измышлениями весят не больше тончайшей пылинки по сравнению с всемогущей природой; все их советы не много стоят! Страх и радость наполняли сердце при мысли, что не сегодня-завтра наступит положенный час, когда женщина становится матерью! И вот прошли секунды, не больше двадцати минут, — и моя жена, храни ее бог, дала себя услышать раз и другой, и дом из края в край наполнился голосами... Крошка малютка распелась, что-то вроде: «Куа! Куа!» По-видимому, природа одарила ее певучим голосом? Хорошо, хорошо, дочурка моя! Пой же, пой, прекраснейшая из дочерей, дай мне слышать твой голос, он так хорош! «Куа! Куа!..» Но что ты скажешь лет через пятнадцать и более? Что ты тогда будешь петь? Где слова, тайные знаки и намеки, начертанные на страницах твоей жизни? Запечатаны и скрыты эти слова, и ничей человеческий глаз их не видел!.. Иди же, дочь моя, и живи в стране жизни! Руками любви обнимет тебя первый день и понесет на своем плече дальше, дальше и передаст тебя второму дню, а второй день — третьему дню и так далее, и это твоя жизнь! А что потом будет? Спроси, дочь моя, своего деда, и он тебе расскажет, спроси своих прадедов — они тебе скажут, а мне не задавай вопросов. Потому что нет вопросов и нет ответов в жизни, — все зависит от судьбы и случая... Но хватит философствовать!

Будь здоров, дорогой отец, передай привет всей семье, а заодно и нашим друзьям — Золотушкину и Галеви.

Любящий тебя и желающий тебе всего наилучшего, твой сын

*Шолом.*

Привет моей уважаемой матери Хане, долгой ей жизни. Моему дорогому брату Гершлу, да сияет светоч его, а также жене его Рохл-Лее особый привет.

4

БРАТУ ЭЛЕ\*

*[Белая Церковь] 25 мая 1884.*

Дорогой брат! Одновременно с твоим письмом я получил подарок, присланный невесткой Мириам моей дочери. Мы очень обрадовались, увидев доченьку, наряжен-

ную в красивую шальку. И вправду, она прекрасна в этой чудесной короне. Посему от глубины души я и моя нежная жена говорим спасибо невестке Мириам за подарок. Что касается нашего здоровья и самочувствия — не жалуемся. Дай бог, чтобы впредь было не хуже. Для умножения здоровья, возможно, мы с женой снимем дачу, может быть, в Боярке или в другом подобном месте. Но мне что-то не хочется выезжать куда-либо. По многим причинам. Перечислять не стану. Вероятнее всего, мы никуда не выедем и на все лето останемся здесь. Новостей у нас никаких, если не считать заграничную поездку тестя к своему сыну Иешуе. Он слаб здоровьем. Это вынуждает его жить вне родины.

О моей внешней жизни, то есть о мире моих торговых дел, писать нечего. Торговля застопорилась, жилы ее напоминают стену ниспадающей воды. Может быть, с будущего года торговля вновь начнет процветать. Ближайшее время это покажет.

И еще. Что собой представляет учитель русского языка твоего сына Дойвы? Ты учителя очень хвалишь. Но русское письмо Дойвы полно ошибок. А учитель, вероятно, проверяет письма своего ученика. Кстати, оно списано с письмовника.

В одном из ближайших номеров «Фолксблата» будет напечатано письмо некоего портного редактору журнала «Восход», господину Ландау, за подписью «Гершла Хаита»\*. Так знай же, Эля, что этот портной и есть твой брат Шолом. Именно я, никто другой. Надеюсь, будут опубликованы и мои статьи по гигиене\* за подписью «Шолом-Алейхем». Со второго полугодия, то есть с первого июля, ты будешь получать «Фолксблат» и «Хамейлиц» на свое имя прямо в Стар.

Сие слова брата твоего, который желает тебе мира и счастья.

*Шолом Рабинович.*

Р. С. Через пару дней брат Гершл передаст тебе небольшую сумму, которую я накопил для тебя. После субботы, вероятнее всего, в воскресенье или понедельник я ее ему вышлю.

Р. Р. С. Привет сыну брата моего, Дойву, да сияет светоч твой, долгой тебе жизни! Если ты, Дойв, увидел бы мою прелестную дочь в прекрасной шальке, подаренной

ей твоей мамой, то сердце твое возгорелось бы к двоюродной сестре твоей пламенной любовью. В ответ на твое благословение шлю свои наилучшие пожелания тебе и твоим родителям.

Всего хорошего,

твой дядя

*Шолом.*

5

Г-НУ Я. ДИНЕЗОНУ\*. ВАРШАВА

*Киев 28 апреля 1887.*

Мой господин король!

Чего изволите? Что Вы требуете от Вашего слуги Шолом-Алейхема, чем он может Вам служить?

Напишите мне коротко, что Вам угодно? Большая или маленькая вещь? Проза или поэзия? В настоящее время пишу легенду, через три дня она будет завершена. Осталось сократить ее немного и отшлифовать, обметать петли и вытянуть стежки. Легенда хорошо обработана, в белых стихах.

Сообщите Ваши условия и когда Вы приступаете к первому выпуску. Готовый служить делу Вашему

*Шолом-Алейхем.*

6

ЕМУ ЖЕ

*Киев, 4—5 января 1888.*

Милостивый г-н Динезон!

Я сегодня, не про Вас будь сказано, очень расстроен и вряд ли сумею закончить это письмо. Однако Ваше послание меня так разобрало, что вынужден немедленно ответить Вам...

Расстроен я тем, что мои две малютки, которые мне дороже всего на свете, вдруг первого января заболели. А так как это впервые в их и в моей жизни, то Вы понимаете, в каком состоянии я находился... Только вчера

им стало легче и появилась надежда, что они вновь будут моими. Но так как Вы бездетная плоть, то об этом с Вами бессмысленно вести разговор. Когда бог подарит Вам «то, чего Вы хотите», и «то, чего Вы хотите» подарит Вам ребенка, и малютка впервые окажется с высокой температурой, начнет кашлять и маленькими ручонками обнимет Вашу шею, и полными слез глазами Вам скажет: «Ой, папа, боже мой! Боже мой!» — вот тогда только Вы поймете, что я испытываю, когда крошка сидит у меня на руках и своими двумя тонюсенькими пальчиками играет моими волосами и заливается смехом: «Папа, где твои косы, ха-ха-ха?»

Но... хватит сантиментов. Разве можете Вы понять мое счастье? А теперь возвращаюсь к Вашему милому письму. Эх, Динезон! Еще два таких послания — и я назову Вас «братом» и полюблю Вас навсегда. Знайте же! Я ведь немножко сумасшедший, как и Вы, точная копия! Не иначе как Вайсберг\*, этот поганый литвак (так именую всех литваков), которого я люблю, Вам кое-что рассказал о моих волнениях при виде малейшей подлости, мою раздражительность от несправедливости людской, мою эксцентричность в восторге или в гневе и т. д. Вайсберг немного знает меня. История с этим дурнем д-ром «Скоморошко» и великим Грецом\* я уже знал до того, как Вы мне об этом написали, и до получения «Гацефира» и «Хамейлица». Она меня очень огорчила. О докторе Скоморовице я Вам написал как-то так, между прочим. Конечно, хорошо бы видеть «Историю народа» Греца в переводе на жаргон. Но этот идиот Скоморовиц, который ищет невесту, повесил свои грязные подштанники на виду у всех, пусть, мол, знают: «я и Грец, Грец и я, дайте мне невесту, у которой 50 000 приданого. К тому же я «доктор», состою в переписке с Грецом!» Понимаете?.. Эх, брат Динезон, слов много, а слушать нечего. «Хамейлицу» я отвечу, а Вы напишите в «Гацефира». В «Фолксблат» помешу об этом фельетон. Ваши маленькие и добротные произведения шлите мне...

Дай боже, чтобы дети мои выздоровели, тогда поговорим вдоволь. Пишите, пишите мне, не переставайте мне писать. Куй железо, пока горячо. Вы поняли?

*Шолом-Алейхем.*



Киев, 27 марта 1888

Господин Линецкий, сударь мой Линецкий! Отец хочет идти в синагогу, и дитя хочет идти в синагогу, — кто важнее? Скажете: отец? Нет, дитя! Вы хотите ехать из Одессы в Киев, а я хочу ехать из Киева в Одессу. Кто важнее? Тут остается нерешенным только один вопрос: когда? Бог даст, в ближайшие дни, аминь! А теперь вы можете выставить ваши 20 вопросов, и не только 20, но и 200. Вы сразу же получите на них ответы, — не бойтесь. Но прежде, чем вы станете задавать мне вопросы, я изложу вам ответы. Вот слушайте:

1. У меня есть «рука» в Петербурге, и надеюсь, что все удастся.

2. Нельзя разглашать имя ребенка до того, как он родится.

3. До выхода журнала\* я издам один за другим два сборника, которыми ошеломлю мир.

4. Цена — самая дешевая, дабы осчастливить многих и многих.

5. Затея моя предпринята не ради прибылей, а во славу еврейского языка.

6. Программа будет такая, какой не упомнят со времен Адама.

7. Она будет содержать все, включая птичье молоко.

8. Вводится систематическая критика того, что выходит на еврейском языке.

9. Если где-нибудь имеется еврейский писатель, и стоящий, он мой.

10. Плачу (и, что называется, чистоганом) за каждую строчку от 2 до 10 копеек за прозу, от 10 до 20 — за поэзию.

11. Хочу изгнать манеру эксплуатировать автора при помощи лесты.

12. В первом сборнике я дам оригинальные статьи разных писателей, пишущих по-еврейски, а также гебраистских и русских писателей в переводе на еврейский язык, целые, не очень большие рассказы, новеллы, поэмы, один роман, немного стихов (и хороших), а также разное из всех отраслей знания и из области языка.

13. О медицине, гигиене, кушаньях, напитках и тому подобном тоже будет.

14. Популярные отрывки из Бернштейна \*, Дарвина, Брема \*, Бокля, Милля, мудрецов Талмуда и еще, и еще.

15. Таким образом, ваш перевод истории естествознания может не найти себе места: это — слишком жирно. К тому же боюсь, как бы такой большой дозой не испортить читателям желудок.

16. О чем я позволю себе просить вас, господин мой Линецкий? О весьма небольшом: сценку из еврейской жизни, из народного быта, вроде ваших «Выборов»; я воздерживаюсь от лести, но тут я вынужден обнаружить мой вкус и сказать, что нравится мне в этом жанре.

17. Мне нравятся портреты «по-гейневскому» и народный язык «по-щедринскому»; там, где вы пишете *от народа*, вы Линецкий, а там, где вы хлещете избитое, — вы уже не Линецкий. Об этом моем мнении знают Черни и Соколовский \*.

18. Не думайте только, что я не знаю, почему и ради чего вы повторяете известное. Знаю, знаю!

19. Ваши «сценки» будут у меня в числе избранных, и оплачивать их буду не так, как Спектор, — обещаниями, а наилучшим образом и наличными.

20. Сценок может быть три, четыре, маленькие, красочные, живые. А теперь, господин мой Линецкий, когда у вас имеются двадцать моих ответов, вы можете ответить на них своими вопросами, и я незамедлительно откликнусь ответом, и вы мне тотчас ответите вопросом, и так до тех пор, пока не придем к чему-нибудь определенному.

Ну, идет? Ваш слуга покорный

*Шолом-Алейхем.*

P. S. О дне моего выезда в Одессу я вас извещу, а пока отвечайте. Не ждите, некогда. Напишите мне ваш подробный адрес.

*Шолом-Алейхем,*

8

Я. ДИНЕЗОНУ

*Киев, 1 апреля 1888.*

Уважаемый господин Динезон!

Сколько ни ломаю голову, чтобы найти причину, почему вы на меня рассердились и не хотите мне писать,

ничего не могу понять, ибо я от греха чист, невинен и чист. К тому же друг наш, господин Вайсберг, клянется, что вы на меня нисколько не в обиде. Почему же вы молчите?

---

А теперь, любезный друг мой, у меня к вам серьезная просьба. Но, прежде чем начать говорить, хочу взять с вас святое обещание, что вы сохраните все в строжайшем секрете. Потому что когда я однажды доверил Вайсбергу доставшийся мне от Леви\* секрет, он написал о нем вам, а вы по простоте душевной, без всякой задней мысли передали его идиоту Тобиашу, который тут же написал об этом Леви; переслал мне письмо Тобиаша, и с той поры между нами — между мной и Леви — разгорелась ссора, которая закончится, кажется, полным разрывом, как это можно заметить по «Фолксблату», от которого Шолом-Алейхем уже начинает понемногу отдаляться...

Потому я и нашел справедливым обратиться на это, друг мой, твое внимание и просить тебя, — а я совершенно уверен в твоей честности, — не оглашать до поры до времени строжайшую тайну, в которую я тебя сегодня посвящаю.

Как по-вашему, могу ли я молчать при виде того, как измываются над нашим бедным народным языком? Возьмите три-четыре последних номера «Фолксבלата» — и увидите, что там творится! У меня нет слов, язык прилипает к гортани, а перо бессильно выразить причиняемые мне страдания! Вы меня понимаете, брат, вы обязаны меня понять! Но чем я могу помочь, когда я — тут, а он, этот сумасшедший упрямец, — там? Достаточно крови стоил он мне, и наконец я плюнул, махнул на все рукой, — провались он со своим «Фолксблатом», с вокалами Мейзаха\* и с невеждой Ульрихом Калмусом\* вместе!

А то что же? Шолом-Алейхему отставить, стало быть, свой инструмент и — конец, долой идиш! — приняться за торговлю? Что вы скажете? Справедливо? Ну, а муза? А то самое, что щекочет (литературный зуд)? А народ? Нет, этого вы от Шолом-Алейхема не добьетесь!

Что же сделал Шолом-Алейхем? Пошел он, принес себя в жертву во имя господа и сотворил нечто совершенно новое: ежемесячный еврейский журнал, на который у меня, надо полагать, имеются шансы и протекции среди власть имущих, но так как должно пройти еще два-три месяца, пока что-либо определится, а Шолом-Алейхем принадлежит к тем проказникам, которым ждать некогда, то поэтому я расшибу голову публике тем, что в одно прекрасное утро вдруг выйдет в свет большой еврейский сборник, да такой, каких свет не видал, но без объявлений, без барабанного боя, без трезвона, без выманивания денег, без премий, но — с оригинальной программой, с твердо установленной оплатой сотрудников, с доступнейшей ценой, со всеми достоинствами, со всеми привилегиями; в общем, брат мой, это будет нечто особенное, такое, чего и на древнееврейском не было. И представьте себе — это нравится публике, в течение двух недель я получил уже больше половины материала. И что за материал! И от каких писателей! От каких еврейских писателей! Товар высочайшей м[арки]. Первые известия о нем появятся, когда сборник будет полностью готов; за деньгами останковки нет, и трезвонить мне ни к чему...

Итак, брат мой Динезон, имею к вам две просьбы:

1. Дайте мне мудрый совет, как, что и когда, потому что я считаю вас и знатоком и верным другом.

2. Вайсберг мне говорил, что вы основательно читаны в немецкой литературе, а посему вы могли бы меня снабдить значительным количеством афоризмов умных людей, эпиграмм, поговорок и т. д. А если у вас есть что-либо готовое, небольшая зарисовка, новелла или что-нибудь иное в этом роде, прошу прислать мне как можно скорее, ибо я через месяц примусь за дело.

Печататься сборник будет с пунктуацией, под моим собственным наблюдением, во святом граде Бердичеве.

Гонорар вы от меня получите соответственно стоимости труда. Я вообще не обижу ни одного сотрудника, не стану отделяться лестью и добрым словом, как это делают иные иезуиты. Нет! Мои сотрудники — это мои товарищи, мои компаньоны, мои братья! Совет каждого мне дорог, пожелание каждого для меня свято, я пойду по стезе первосвященника Аарона\* и не превращу свой журнал в место дразг и ссор из-за почета.

Названия я еще не сообщаю вам, ибо до рождения ребенка его имени не разглашают. Вы сами, конечно, понимаете, что я все это затеял не как «доходное дело», упаси боже. То, что останется от прибылей, будет распределено между сотрудниками как бы в виде дивиденда, простите за сравнение. Если же придется, упаси боже, покрывать убытки, то есть человек, который их покроет, благословен господь. Но так или иначе, писателям буду платить всем.

Ну, как вам нравится моя затея? Представляю себе глаза Леви и его нос при виде первого блина. Боюсь, как бы с ним, упаси боже, не случился припадок. Шутите с литваком?..

Афоризмы, — спасите! — присылайте афоризмы! Ибо на это у меня, кроме вас, никого нет. Вайсберг говорит, что у вас там в Варшаве редчайшая библиотека. Пишите мне незамедлительно, каково ваше мнение, дайте совет и ваши соображения относительно того, что я предпринимаю; пишите откровенно и точно; помогите мне!

И не один только Леви содрогнется. Думаю, что и Спектор не слишком обрадуется, прочитав в газете: «Вышел в свет сборник и т. д., составленный Шолом-Алейхемом и т. д.». У него заносит под ложечкой, потому что он меня знает, он знает: то, что я сделаю, я сделаю как следует... Не думайте только, что я хочу этим кому-либо из них насолить! Накажи меня бог! Наоборот, я пишу сейчас и для «Векера»\*, и для второго номера «Хойзфрайнда»\* (кстати, и первый номер «Хойзфрайнда» лежит еще в пеленках, а то и во чреве матери)...

Итак, мой друг, жду вашего незамедлительного благоприятного ответа и надеюсь, что вы все это сохраните в тайне до поры до времени, пока я не напишу вам: «Разгласите».

У меня к вам еще просьба.

Поспросайте-ка у честного печатника:

1. Сколько он берет за одно только печатание — не его бумага, не его обложка — за одно только печатание, включая расходы по брошюровке, с каждого листа (1000 и 2000 экз.)?

2. Как считается лист: по тексту с обеих сторон или только с одной стороны? К примеру, 16 или 32 страницы?

3. Есть ли разница в цене между малым и большим форматом?

Милый Динезон! Если вы просто сердились на меня, забудьте. Если кто-нибудь вам наслетничал (это случается среди наших сочинителей, дай им бог долгой жизни и здоровья), плюньте тому в лицо. Если я вас задел острым словом, чем-нибудь, упаси бог, затронул вашу честь и т. д., простите меня, и тогда — будь даже мои прегрешения багряны, как кармазин, они станут белы, как снег. Подадим же друг другу руку и станем снова друзьями, как прежде, тем более что никакого Леви уже больше нет между нами, а мне нужен ваш совет, ваша помощь, ваше мнение, ваша поговорка, потому что я ведь все-таки в этом деле зелен, — учтите это!

Преданный вам

*Шолом-Алейхем.*

Р. С. Посылаю заказным! Боюсь: говорят, в Варшаве водятся воры.

9

И. Х. РАВНИЦКОМУ\*

*Киев, 8 июня, 1888.*

Мой дорогой друг, Рав Коцин!\*

Спасибо! Спасибо!! Спасибо!!!

Знаете за что? За что? За Ваше прекрасное письмо господину Литваку\*, опубликованное в № 22, 23 «Фолкс-блата». Спасибо!!! Надо же так угодить мне своим ответом, как Вы угодили, точным, умным и острым!! Спасибо!!!!

Я не в силах, как говорит Абрамович (вообразите, я в состоянии), изложить Вам на бумаге, как хорошо, во всех отношениях хорошо, Вы поступили. Да благословит господь Ваше перо за то, что Вы защитили наш дорогой народный язык, в кой я влюблен, словно юноша! Поверьте мне, брат, из-за несправедливости и насилия по отношению к нашему дорогому жаргону я харкаю кровью... Ой, не могу больше! Потому до сего времени не выступил (и не так скоро выступлю) со своими взглядами (взгляды? Что значит взгляды?), ибо если возьмусь за перо, то буду метать гром и молнию против этих... Прошу Вас, не заставляйте, не заставляйте!! Так было с Шомером, я долго молчал, пока не накипело на

сердце! Брошюра так скоро увидит свет, как Ваши глаза, с божьей помощью, совсем скоро узрят победу справедливости...<sup>1</sup>

Вам, конечно, хочется знать о моем деле (о сборнике), так знайте, друг мой, что за два месяца я в свои 28—29 лет поседел, как голубь (представьте себе, что я еще не седой: посмотрите на мою фотографию у Линецкого и Замощина \*).

А что с Вашим «Векером»? Я должен еще раз в порядке комплимента сказать Вам, что Ваше письмо в «Фолксблате» написано хорошо и честно, умно и мудро — поздравляю Вас! Вы помните гоголевскую унтер-офицершу, которая сама себя высекла? Вот так поступил этот Литвак, который взял и сам измордовал себя до смерти...

Ваш друг

*Шолом-Алейхем.*

10

#### МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

*Киев, 26 июля 1888.*

Мой дорогой любимый Дедушка.

Нахожу, что я сильно провинился перед Вами. Не думайте только, что я забыл о Вас; у меня голова кругом идет: работы по горло! «Библиотека» \* уже печатается в Бердичеве. Ваш «Призыв» \* я получил и дважды перечитал. Там есть на чем остановиться; Вам пришлось, чувствуя, дорогой Дедушка, хорошенько попотеть над ним. Особенно — над концом драмы, потому что в ней много мысли, многое продумано и взвешено, финал напоминает «темное царство» Островского, он хорошо задуман и сильно отработан; я вообще могу думать, что «Заветное кольцо» \*, к примеру, написано сердцем, а «Призыв» — рассудком, то есть преимущественно головой, хотя Рейзеле \* и сердечная девушка, но, сжальтесь, я не о том; я тут имею в виду ваше сердце... Или, если Вы не понимаете меня с полуслова, мы отложим это до следующего раза. Теперь я настолько заморочен, что мне «плюнуть некогда» (риторика!). Кто это

---

<sup>1</sup> Опущены несколько строк. (Ред.)

придумал бердичевскую типографию? У меня к Вам просьбишка, дорогой Дедушка. Так как я пишу для «Библиотеки» роман \*, и к тому же еврейский роман, как вы того хотите, вот мне и хотелось бы, чтобы Дедушка его видел раньше и высказал свое мнение! Но любопытно, как он может к Вам попасть и сможете ли Вы его взять и прочесть в несколько дней. Тогда бы я выслал его Вам. Но он покамест еще не готов: я должен еще закончить его и отшлифовать, — как Вы говорите. Я послушен Вам во всем! Ответьте мне, как Ваше здоровье и чем Менделе занят?

Ваш преданный внук *Шолом-Алейхем.*

11

БРАТУ ВЕВИКУ

*1 декабря, 88.*

Дорогой брат!

Извини, что так долго не отвечал на твое письмо. Я тебе писал, что я, слава богу, уже не нуждаюсь в должности казенного раввина. А теперь сообщаю, что я распрощался с Лубны. Вместе с женой переехал в Белую Церковь. Переезд занял много времени, что и лишило меня возможности побеседовать с тобою. Зато сейчас я сумею чаще и больше писать тебе. Я теперь довольно часто держу перо в руках и пишу рассказы один за другим на нашем родном языке. А раз я уже пишу, то буду часто и письма писать.

Об Аббе \* я еще ничего не знаю. В Вену, в госпиталь, я уже отправил несколько писем, но словно глас в пустыне. Не знаю, что и передумать. Тоска гложет меня. Получил письмо от отца, оно полно слез. Сердце разрывается. Нам надо для утешения отца придумать что-нибудь. Пиши ему все хорошее о себе, что немножко успокоит его глубокую боль.

Будь здоров и счастлив, как того желает тебе твой  
брат *Шолом.*

Наилучшие мои пожелания передай Янклу и его семье.



## Д. ФРИШМАНУ\*

*Киев, 17 января 1889.*

Друг мой!

Понравились ли тебе моя жена, ее нежная племянница и «Стемпеню»?

Разве ты забыл, что я высоко ценю твое суждение о моем романе (ибо о нем речь)? Неизвестно ли тебе, что именно твое мнение, мнение гордого поэта, стихотворца, «творящего миры»\*, мне важно знать? Разве ты всего этого не знаешь?

Поэт ты хороший, но человек ты плохой, злодей, разбойник, убийца! Наш друг Динезон в тысячи раз лучше тебя. Он открыл мне свою душу, был искренен. Сказал все, и хорошее и дурное. А ты? Ты прекрасный и любимый поэт, но скверный человек и т. д. Правда, друг мой? Нет! Ты и человек замечательный, добрый. Именно таким хочу тебя видеть или, по крайней мере, такие отзывы о тебе хочу услышать от дам, находящихся в настоящее время в Варшаве под сенью твоих и Динезона крыльев.

Твои слова мне так желанны, как желателен обед, когда я смертельно голоден.

Твой друг, который почитает и любит тебя,

*Шолом-Алейхем.*

## БРАТУ ВЕВИКУ

*Киев, август, 1889.*

Дорогой мой брат!

И мне захотелось на некоторое время стать парижанином. Думаю, что скоро это случится. Но пока меня радует то обстоятельство, что имею брата-парижанина. Моя радость была бы приумножена, если я получал бы от тебя более веселые вести. Насколько я понимаю, тебе там живется не так уж сладко, не так, как полагается умельцу по выработке перчаток, и не как богу в Одессе\*.

То, что на границе тебя обобрали, — в этом ты сам виноват. Меня удивляет, почему ты не сообщил мне, что

собираешься в Париж. Знай я об этом раньше, я бы отсоветовал тебе совершать такое путешествие, не имея заграничного паспорта. Туда надо отправляться как полагается солидному человеку, с заграничным паспортом. Но это дело прошлое.

Усваиваешь ли ты речь, которую слышишь в стране французов (словечко это Спектора), или она для тебя такая тарабарщина? Если хочешь быстро научиться французскому языку, то начинай болтать по-французски. Чтобы научиться плавать, надо лезть в воду. Так ведь? Совсем не умеешь плавать? Не пугайся. Говори то, что ты еще не знаешь... Как только произнесешь первые два слова, ты уже продвинулся вперед. Остальное договоришь руками, кивком головы или глазами. После этого все пойдет, как по маслу. Как бы то ни было — скоро ли начнешь плавать, то есть разговаривать по-французски, или нет, наш родной язык ты забыть не должен никогда.

Раз я пишу тебе об этом, то, вероятно, догадываешься, как меня радует, что и в Париже ты читаешь еврейские книжки вообще и мои в частности. Тем более что ты читаешь их в «кружке» еврейских товарищей. Будем надеяться, что в твоём Париже я скоро буду иметь сотни читателей, а быть может, и тысячи! Когда будешь в Париже общаться с молодыми людьми еврейской национальности, знающими наш родной язык, и с бородатыми евреями, недавно эмигрировавшими во Францию, то не забудь спросить их, знают ли они проказника, которого зовут Шолом-Алейхем? Кто знает! Я только собираюсь в Париж, а на поверку окажется, что я давно уже там числюсь аборигеном. Человек хотя имеет ноги, но может и поездом передвигаться, а вот книга с места сама не тронется. И все же случается так, что книга опережает человека...

Так как на границе тебя ограбили, высылаю тебе через банк 50 русских рублей. Обменяй их на франки по курсу. Прилагаю квитанцию, в которой все сказано. Ищи себе хорошее место и не хватайся за случайное. Хорошее место за один день не находят.

Твой брат, который желает тебе много счастья в Париже и в любом другом городе.

*Шолом-Алейхем.*

22 октября 1889.

Дорогой мой брат!

Получил твое письмо с поздравлением, о котором пишешь, что оно коротко и ясно. Я же думаю ответить тебе тоже ясно, но не так коротко.

Я был в Бердичеве и беседовал пару часов с твоей невестой у нее дома. Трижды говорю молодец. Ты выбрал себе красивую невесту. К тому же в Бердичеве. Хорошо, что ты не искал ее где-то на стороне. Хорошо также, что при выборе на первом месте были не деньги, а человек... Деньги — пустяки. Они приходят и уходят. Основное — это человек! А счастье в руках бога. Меня поразило отсутствие в твоей депеше точной даты моего выезда в Бердичев. Из твоей депеши я ничего не понял. Возможно, и моя телеграмма не осведомила тебя о моем выезде. Итак, наши телеграммы, с божьей помощью, запутали друг друга. С твоей депешей случилось то, что со многими бывает: исказили слова и получилось черт те что. Полагаю, что нечто подобное приключилось и с моей телеграммой.

Я также был у Соре-Ривы \*. Во-первых, она меня отчитала за все старые грехи, во-вторых, я понял, что она вам не друг. Вряд ли это огорчит тебя.

Был я у Шефтла \*, удастся ли напечатать мои произведения, пока сказать трудно.

Пиши, как поживает Сося \*. Понимает ли она толк в ремесле, нравится ли ей оно? Почему она не пишет? Впрочем, я сам у нее спрошу:

Милая сестра Сося (прошу тысячу раз меня извинить, но Сося мне больше нравится, чем Зофья), почему ты ничего не пишешь? Ты же мне родная сестра. Я тебя плохо помню, но хочу тебя знать так, как полагается брату знать родную сестру. Будьте вы оба здоровы и счастливы.

Ваш брат *Шолом-Алейхем*.

Биба шлет вам свои приветы.

## МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОР ИМУ

*Еврейская народная библиотека, издание  
Соломона Рабиновича. Киев, Елизаветинская  
№ 8, 22 января 1890 г. № 1656.*

Дорогой Дедушка!

Не имея времени, чтобы потолковать с Вами о предисловии — мы еще к нему вернемся, — хочу, однако, знать Ваше окончательное решение насчет Ваших книг.

Вы правы, говоря, что мое объявление о продаже Ваших книг может Вам повредить. Посему в «Библиотеке» следует поместить анонс лишь о том, что «Фишку» и «Клячу» можно приобрести во всех книжных магазинах, у самого автора (Одесса, Базарная, 91), а также в редакции «Библиотеки». Решил было дать объявление о том, что подписавшиеся на «Библиотеку» могут за рубль приобрести обе Ваши книги. Потом передумал. За один рубль с учетом порто<sup>1</sup> две книги сразу. Потому возвращаюсь к первому моему плану, а именно: установить для книгопродавцев стоимость двух книг один рубль, но при условии, что они выписывают не меньше 50 экз. Тогда и порто не велико (товар малой скоростью). Чтобы Вам ни в чем не помешать, я о такой ничтожной цене ничего в «Библиотеке» не сообщу. А что же? Как я поступлю? Поговорю с читателями частными письмами и этим надеюсь помочь Вам реализовать Ваши книги. В «Библиотеке» же будет помещено объявление, в котором будет сказано, что каждая Ваша книга стоит один рубль, а кто выпишет обе книги, у автора ли или в редакции «Библиотеки», тому они обойдутся в 1р. 50 коп., включая порто.

Думаю, что после рецензии на «Клячу» с моими добавлениями на полях найдется много охотников, чтобы познакомиться с нею поближе.

Остаюсь в ожидании Вашего подробного письма с окончательным решением (окончательным из окончательных)

Вашим обремененным заботами внуком

*Шолом-Алейхем.*

---

<sup>1</sup> Порто — почтово-телеграфные расходы, относимые за счет клиента (итал.).

## ЕМУ ЖЕ

Ст. Боярка (Ю.-З. ж. д.), дача 26.  
6 июня 1890.

Родной мой, дорогой, добрейший Дедушка!

Сообщаю Вам, что мы с женой собираемся, если бог даст, нынешним летом ехать в Одессу, как обычно. Выедем мы в обычное время, заедем на обычную станцию и будем там находиться обычное число дней. Здесь мы сидим покамест на обычной даче и заняты обычной работой. Дела идут, как обычно. Третья «Библиотека» тоже, вероятно, выйдет \* к обычному сроку с обычным материалом. Писем от Вас не получаю, как обычно, и полагаю, что у Вас на душе, вероятно, как обычно... Потому что и мне последнее время весьма не по себе, словно мне предстоит вскоре покинуть этот мир, право. Но ведь мы, вероятно, все умрем в обычный час!

Будьте здоровы. Привет Вашей семье и всем нашим обычным друзьям, и отвечайте на письма. Ваш обремененный заботами внук

*Шолом-Алейхем.*

## МОРДХЕ СПЕКТОРУ\*

Киев, 26 сентября, 1894.

Милый коллега!

Ваше счастье, что письмо ваше застигло меня как раз тогда, когда обед еще не готов, жены и детей еще нет, я смертельно голоден и ни за какое дело не могу взяться, потому что на голодный желудок не пляшется. Вот я и взялся за перо, чтобы ответить на ваше письмо. Дело решено, — вы будете удовлетворены. Это значит, что не позднее, чем через месяц, числа двадцатого октября, бог даст, вы получите обещанное мною произведение под названием «Тевье-молочник — история его внезапного возрождения, рассказанная самим Тевье и переданная слово в слово Шолом-Алейхемом». Двести экземпляров, которые я требую от вас, нужны мне не для продажи. Я уже говорил вам это ранее. Но, чтобы успо-

коить вас, прошу выслать мне сейчас только пятьдесят экземпляров, а остальные сто пятьдесят — позднее. Итак, братец, смотрите же, вытяните на будущий год добрый жребий, как вам того желает

*Шолом-Алейхем.*

Р. С. Почему бы вам не прислать мне ваш календарь? \* Мне ведь все ваше интересно читать.

18

**РАХИЛИ ЛОЕВОЙ\***

*Киев, 1896.*

Миша проснулся с криком: «Мне приснилась бабушка». Маруся заодно с ним орет: «И я то же». Их крик доносится до седьмого неба. Сегодня праздник, дети поэтому не пойдут в гимназию. Тися занята кружевами. Ляля не расстается с книгой, которую ей купили за 45 коп. Эмма ей завидует.

*Шолом.*

19

**ЭРНЕСТИНЕ РАБИНОВИЧ\***

*(Запись в альбом)*

Я не мастер писать стихи. Я люблю прозу. Простую, хорошую, честную прозу. Сегодня, 16 апреля 1897 года, тебе исполнится тринадцать лет. Будь ты мальчиком, мы бы сегодня, согласно принятому нашим народом обычаю, отметили твое религиозное совершеннолетие. А так придется отодвинуть этот праздник на целых пять лет, когда наступит твое гражданское совершеннолетие. Желаю, чтобы исполнились все твои мечты и, дай бог, чтобы твои желания всегда были нашими, а наши — твоими. Аминь!

Твой папа *С. Рабинович.*

*Киев, 16 апреля 1897.  
Б. Васильковская, 7.*

## Б. И. ИЕРУХИМЗОНУ\*

Соломон Наумович Рабинович  
Киев, Б. Васильковская, 5  
27/XI 1901.

Славный вы мой человек!

На ваше милое письмо могу лишь ответить, что «Десять историй» — запаситесь терпением! — еще не вышли, и немало воды утечет, заверяю вас, пока они выйдут. Мне хочется выпустить такую книгу, какой еще не бывало в нашей народной литературе, а на нашей барахолке тем более. Основные моменты каждого рассказа будут иллюстрированы молодыми, весьма одаренными художниками, и на это требуется время. Кроме того, все старые рассказы я переработал так, что, мне кажется, только названия остались прежние. В общем, все здесь ново.

Один из этих рассказов я, возможно, буду иметь честь читать публично шестого декабря у вас, в Б. Церкви, на вечере в школе для девочек, хотя, по совести говоря, белоцерковские паршивцы аристократы этого не заслужили. Я отлично понимаю: стоит им услышать, что в город собирается приехать Шолом-Алейхем с каким-то Варшавским, будут рассказывать побасенки, будут петь песенки, и пойдет: фи, разве пристало белоцерковскому богачу, который, видите ли, и мухи не обидит, богачу, обладающему собственными домами и туго набитой мощной, — своими ли деньгами, чужими ли, безразлично, — разве подобает такому богачу сидеть рядом с бедняками, с какими-то меламедами, простыми мужчинами и простыми женщинами, не украшенными брильянтами, — фи, позор! Но если хорошенько подумать, то им назло *надо* приехать и им назло *надо* читать, и пусть сидят дома, черт их подери, пусть любуются на себя в зеркало, пусть поглаживают животики и наслаждаются пищеварением. Знаю я их, этих сволочей, ох как знаю! Они изнывают, им тоже хочется послушать живое слово, но перед самими собой неловко, — ведь аристократы же!

Что касается вашего восторга, то я его не понимаю. Прочитайте «Маленькие рассказы»\*. Только там *я начинаю писать*.

Правильно говорит мой Менахем-Мендл: «Пишешь и пишешь, и все еще будто только начинаешь». Да, я еще только начинаю. Надеюсь, что, с божьей помощью, в скором времени начну писать неплохие вещи. Знаете ли вы, что лучшие люди начали нами интересоваться, присматриваться и прислушиваться к нам. Один из них, замечательный мастер пера, человек огромного таланта и золотого сердца — Максим Горький — взялся за дело с большим жаром.

Готовится к изданию довольно большой сборник лучших произведений еврейской литературы в переводе на русский язык. Из моих вещей уже успели подготовить «Горшок» (именно «Горшок»), «Флажок», «Рябчик» и еще кое-что. Несколько вещей Дедушки я сам перевожу на русский. Стихи Бялика (не Ляма и не «Исаака», а другого Бялика!), Гордона, Долицкого \* и Розенфельда Мориса \* переводит Фруг \*. В общем, дело идет. Посоветуйте, стоит нам ехать в Белую Церковь или нет, — но серьезно, по совести.

*Шолом-Алейхем.*

Р. S. Передайте привет доктору Черни. Как вам понравилась моя «Ханука»? Слабовато или ничего? Читал местным аристократам в праздник хануки, чуть дом не разнесли.

## 21

### ДОЧЕРИ ЭРНЕСТИНЕ

*Кременчуг, 18 августа 1902 г.*

Дорогая моя Тисенька! Я, кажется, уже писал тебе, что местному фотографу захотелось, как рекламу для своей фирмы, снять меня «всей Европе на смех» (посылаю Равницкому одну карточку). Словом, выхожу вчера, в субботу, погулять по главному проспекту (по Екатерининской улице) и вижу — народ толпится возле витрины, словно увидели знаменитость, к примеру, Шаляпина. Фотограф, ради пушшего эффекта, подписал также и мой псевдоним по-еврейски. И посыпались гуляющие со всех сторон, и стали смотреть на меня, тыкать пальцами заглядывать прямо в лицо, — черт знает что такое! Я был вынужден бежать с проспекта и спрятаться в гостинице! Но меня разыскали и начали приглашать на



вечера, на заседания и просто на чашку чая. Ну и народ же тут! Как долго я здесь пробуду, не знаю. У мамы очень много забот, для нее — слишком много. Тебе следовало бы, может, приехать домой, ей стало бы легче. У меня на душе так тоскливо, что временами жизнь невозможна. И вообще трудно жить на свете. Работы по горло. Целую тебя несчетно.

*Твой папа.*

22

#### А. ЦЕЙТЛИНУ\*

Многоуважаемый Арнольд Яковлевич!

В интересах издания Максима Горького\* срочно требуются кой-какие биографические сведения о еврейских писателях.

Я уполномочил своего родственника г. Рабиновича зайти в «Юдаику» и отыскать в периодике некоторые материалы.

Убедительно прошу Вас разрешить ему вычитать и выписать самое необходимое.

Сохранность и аккуратность гарантирую.

С глубоким уважением

*С. Рабинович  
(Шолом-Алейхем)*

15/IX 02

23

#### М. СПЕКТОРУ

*Киев, 2 ноября 1902.*

Моей дражайшей супруге, госпоже Спектор\*, дай бог ей здравствовать.

Ты меня, стало быть, вполне заморозил, ну тебя совсем!

Не понимаю, дражайшая супруга, какой черт тебе мешает, если наши письма останутся целы? Почему нам сжигать их? Пусть горят наши враги! Наоборот, пусть через сто двадцать лет читают о том, как переписывались два еврейских народных писателя, которые сочетались браком без венца и обручения, и что творилось с еврейским языком (идиш). Представляю себе, какой вид

мы оба будем иметь в глазах наших праправнуков, к примеру, через пятьдесят или сто лет, когда наши кости уже давно будут гнить в земле! Ах, идиш, идиш! Кто знает, какую роль он еще будет играть в жизни нашего народа! Но пусть «история» идет своим путем, мы должны пока помнить о наших делах. Дражайшая супруга! Если бы ты был в Житомире и видел почет, который был мне там оказан нашей публикой, ты умер бы от радости. Буквально на руках носили! На другой день в «Волыни» \* был помещен отчет о том, что в городе гостит известный еврейский писатель Шолом-Алейхем. Там упомянуто также и твое имя («Волынь», номер 242). Всюду, где приводится мое имя, я забочусь, чтобы и моя вторая половина — Спектор — тоже была упомянута, только бы он не злился на меня! В субботу вечером, перед отъездом, мне устроили банкет — ну-ну! Пишу фельетон о хануке. Моя дочь перенесла операцию и, слава богу, поправляется. Мой малыш уже надел гимназическую фуражку, взглянешь на него — помрешь!

Жду теперь хороших сообщений от моей супруги и приветствую от всей моей ватаги.

Твой супруг *Шолом-Алейхем.*

24

Е М У Ж Е

*(Киев) 12 ноября 1902 г.*

Моей дражайшей супруге госпоже Спектор, дай бог ей здравствовать.

Посылаю тебе копию письма, полученного от редактора Гинзбурга\*. Ему тотчас ответил телеграммой: «*Прошу ради общих интересов воздержаться от опубликования моего имени в проспекте*». И надеюсь, что этот Гинзбург джентльмен, вероятно, послушается и моего имени не поставит. А сейчас, дражайшая супруга, смотри, в какую кутерьму ты меня вовлек! Совершенно чужие люди предлагают мне сто рублей всего-то за пять коротких очерков в месяц, без каких-либо условий, а я оказался связан, завязан и привязан пуповиной! Горе, горе нам обоим! Ладно уж, связанность из-за «Юда» я понимаю; было бы нечестно, если бы я писал и туда и сюда. Но в петербургскую газету — какое это имеет

отношение? Вообще условие, которое ты мне поставил, моя дражайшая супруга, чтобы я *нигде никогда не заглядывался ни на какую другую женщину*, — это было такое варварское условие, что только два таких глупца, как мы оба, и только в таких горьких обстоятельствах [в которых] я находился, могли на такое согласиться! Ничего подобного не слышно было во всем мире! Так не продает себя даже служанка, раб, — разве только сто или сто пятьдесят лет тому назад. Но — пропало. Я буду привязан пуповиной до тех пор, куда ты, дражайшая супруга моя, не скажешь: идем, дорогой супруг, мы свободны, то есть хозяйева нам отказали от места. И несомненно, бог даст, так и будет, потому что они не смогут вести войну против нового Голиафа. Наши лучшие места займут такие людишки, что нам доведется, не дай бог, кланяться им в пояс. Это — материальная сторона дела. Что же говорить о моральной?! Я, Шолом-Алейхем, вольная пташка, я имею крылья, умею летать и хочу летать, умею петь и хочу петь, а весь народ хочет слушать, — с какой же стати я вынужден буду сидеть в стороне, на дереве, любоваться чужими птицами, слушать чужие песни и молчать, тихонько покачиваться на одинокой ветке и слушать, слушать, слушать?! Да, дражайшая супруга, горе, горе нам обоим!.. Я пока ответил им письмом, но путем переписки мы ни о чем не договоримся, необходимо лично свидеться, потолковать; конечно, я писал дипломатично. Я убежден, что не позднее, чем через неделю, ко мне явятся из Петербурга. Так что, супруга моя, надобно тебе знать, что мое первое условие: у меня есть жена Спектор, жить ей до ста двадцати лет, с которой я не могу развестись ни при каких добавлениях к брачному контракту! Я не могу без моей жены Спектора, жить ей до ста двадцати лет, ни двинуться с места, ни взять в руки перо, ни вывести букву. Так я им скажу. А если они меня спросят: как так и почему? — я скажу им, что в «Фрайнд» я смогу писать лишь в том случае, если моя жена, Спектор, жить ей до ста двадцати лет, будет находиться в Петербурге и стоять у печи «Фрайнда». Никому другому не могу я доверить мое тесто, мое печенье, мои яства, мои блюда. Об оплате моей работы потрудитесь обратиться опять же к ней, к моей супруге, дай бог ей жить и здравствовать до ста двадцати лет. А тебя, дражайшая супруга, извещаю: надобно тебе знать, что дела наши — хуже некуда; твоя

шания получит свою ежедневную газету тогда, когда я от тебя забеременею. Что касается письма, в котором тот пишет вам, будто он говорил с министром, то оно к лицу моему Менахем-Мендлу, — а ты, глупая баба, опухнуть бы твоей роже, веришь в ворожбу? Но я знаю, супруга моя, тебе тяжело и горько, ты сама связана, и меня привязала, и обоих нас завязала, и оба мы, благодарение господу, весьма основательно угроблены, не сглазить бы, увязли в болоте и трепыхаемся!.. Понимаешь ли хоть ты, глупая баба, сгореть бы всем моим врагам, что означает для меня, по нынешним временам, еще сто целковых в месяц (к тем сорока, которые я получаю после удержаний по счетам)?! Но я держусь за юбку моей супруги, что мне еще делать? Что мне делать, если ты уже на сносях, вот-вот должен разрешиться на здоровье, не было бы только, упаси боже, выкидыша и не родила бы ты бычка, не приведи господь, или уродца, а то и вовсе не оказались бы, боже сохрани, все твои потуги всеу...

Твой супруг

*Шолом-Алейхем.*

25

**И. Х. РАВНИЦКОМУ И Х. Н. БЯЛИКУ**

*Киев, 22 января 1903.*

Добрый день, мои дорогие прекрасные друзья Равницкий и Бялик!

Прежде всего — поздравляю Вас, Равницкий, с лавкой \*, а Вас, Бялик, с Вашим «Садом» \*, помещенным в газете «Фрайнд». Мой восторг смешит мою дочь, однако и она радовалась, читая Ваши стихи. Хорошо, хорошо, очень хорошо, говорю, Вы слышите, Бялик? Хорошо — и только! Прекрасно! Я Вам говорю, что это прекрасно! Вы слышите? Это говорю я, это я говорю Вам, прекрасно! Хорошо. Лучше не надо! Короче — прекрасно!.. Изумительно, вот именно изумительно... просто изумительно!

Посылаю Вам иллюстрации к «Ножику». Иметь бы вам столько времени для еды, сколько у меня для писем! Будьте здоровы и напишите еще такой «Сад». Пусть собаки увидят, что мы, жаргонисты, тоже имеем Бялика. Они думают, что только они Вас имеют; нет, и мы име-

ем!.. О чем же еще хотелось Вам написать? Вспомнил, о «Саде» (в газете «Фрайнд»). Ну и сад, ну и сад! Сад из садов! Среди садов — сад! С тех пор как бог создает сады, он еще такого и во сне не видел. Вот это сад! Вот так надо на языке идиш писать о саде, если о саде писать хочется. Одним словом — вот это сад!

И далее (к Вам, Равницкий, речь моя обращена), Спектор сообщил мне, что «Тушия» \* намерена поручить Вам составить мою биографию в качестве приложения к «Собранию сочинений Шолом-Алейхема». Сегодня я отправил Спектору свою автобиографию и список всех своих произведений (по-русски). Это, с божьей помощью, облегчит Ваш труд.

Бялик, ну и сад, ну и сад! Кланяйтесь Пае \*. Ее просьбу о родственнике — удовлетворил. Теперь он меряет улицы Егупца \*. Со временем все образуется, пока он немного помогает мне писать \*. О чем еще сообщить Вам? Черт бы побрал Вашего батьку, Бялик, нарисовали же вы садик, ну и ну! Пишите хоть иногда письма. Вы же не маленький. Будьте здоровы и счастливы...

От Вашего лучшего друга

*Шолома-Алейхема.*

26

### МОРДХЕ СПЕКТОРУ

*Пасха. Киев (1—4 апреля 1903).*

С праздником, Спектор, черт бы тебя побрал!

Знай же, какой подарок я шлю тебе, — ты его вовсе не стоишь! Новый роман, а-ля «Степеню», но значительно короче, разбитый на восемнадцать небольших глав, и называется «Мошкеле-вор» \*. Может, в субботу вышлю тебе первые восемь глав, но ты не огорчайся. Клянусь тебе святой мацей, что роман уже закончен и находится у переписчика. Во вторник вышлю остальные десять глав, и ты будешь, с божьей помощью, обеспечен материалом до пятидесятницы. Должен признаться, что чувствую себя, словно я заново родился и полон новых непечатых сил. Могу сказать, что *только начинаю писать*. До сих пор я дурака валял, шалил. Боюсь, не иссякает ли уже, упаси бог, запас моих лет... Я теперь забеременел столькими мыслями и картинами, что я крепче

железа, если не лопаюсь от досады: горе, горе мне, я вынужден метаться в поисках рубля! Сгорела бы биржа. Сгорел бы этот рубль! Сгореть бы всем евреям со стыда, если еврейский писатель не может жить одним своим писательством и вынужден метаться в поисках рубля! Те, кто знает, кто видит меня каждый день, спрашивают, когда я пишу? Право, я и сам не знаю! Вот так и пишу, на ходу, на бегу, сидя у кого-то в кабинете, разъезжая в трамвае, и как раз в ту самую минуту, когда мне морочат голову по поводу леса, непорубленного леса, или дорогого имения, или заводика, как раз тогда у меня вырастают самые яркие сцены и слагаются самые лучшие мысли, а нельзя оторваться ни на минуту, ни на мгновенье, чтобы изложить все это на бумаге, — сгореть бы всем моим делам! Сгореть бы всему миру! А тут еще приходит жена и напоминает о квартирной плате, о плате за учение в гимназии, а мясник-джентльмен — он ждет, а лавочник-паршивец не хочет давать в долг, а адвокат грозит описать стулья (глупец! — он не знает, что они уже давно описаны...)... А тут выбирают нового казенного раввина — и опять-таки виноват я, а мой маленький сынишка говорит: «Папа, деньги!» Ему необходимо купить себе какую-нибудь очень нужную вещь, вероятно, лошадку. Попробуй наберись духу и не дай! А с одной стороны кричит Спектор: спаси, давай материал! А «Фрайнд» засыпает меня телеграммами: материал! А Америка прежде всего присылает гонорар, так что уже невозможно быть свиньей и приходится посылать и туда, а «Восход» тоже не собачья затылка, а изданию Максима Горького и подавно необходимо... Ша, звонят. Поздравляю, либо кредитор со счетом, либо маклер с описью имения — сгореть бы им всем и тебе, Спектор, вместе с ними хотя бы за одно то, что ты мне пишешь так редко и так мало!

Твой Шолом-Алейхем.

27

Е М У Ж Е

*Киев, 2 февраля 1904 г.*

Брат Спектор!

Не стал бы писать тебе. Я дал себе слово, по крайней мере, полгода ни строчки тебе не писать за то, что ты

так отличился при отъезде, и за твое гробовое молчание вот уже пять-шесть недель. Но две вещи заставили меня написать тебе. Не могу не написать.

1. . . . .

2. Все, что когда-либо приснилось мне дурного, мрачного, зловещего, страшного, да падет на головы моих врагов! Это я тоскую о твоей безумной, нелепой трагедии, которую ты напечатал в «Тог»!\* Ты думаешь, я шучу? Нет, я серьезно. Ты взял и измазал себе лицо, не взыщи за выражение,... украсил себя мочалой, напялил на голову бумажный шутовской колпак с бубенчиками, взобрался на гребень крыши касриловской бани, и это называется — Спектор показал фокус: сатиру, с позволения сказать, написал, провалиться тебе! Не могу понять, что с тобой приключилось, — то ли ты хлебнул лишнее в тот день, то ли просто на несколько часов с ума спятил? Позор, стыдно перед людьми! Где это видано, чтобы Спектор, который написал «Роман без названия», «Межбиж», «Еврейские дочери», «Украсил свадьбу» (последнее — прямо пальчики оближешь), чтобы тот же Спектор замесил квашню из лука с яичной скорлупой, кошачьим пометом и обмывками детских пеленок. И это у него называется юмор, сатира! При чем ты тут, дуралей ты этакий?! Не твое это дело! Это должно быть Я...с! Не будь подписи «Эмес»\*, я подумал бы, что «Тог» решил кому-то всыпать среди бела дня<sup>2</sup>, какого-то новоявленного комедианта, подумал я, вырвало таким длинным опусом, что вчуже тошно становится. Поклянись мне, брат, что это в первый и в последний раз! Был бы ты поумнее, ты бы разослал всем своим персонажам письма, попросил бы у них тысячу раз прощения и поклялся бы своей совестью, что ты в тот день был не в своем уме. Задевать живых людей надо умеючи, надо знать, кого, как и к чему. Ты меня опозорил, брат! Я здесь, в Киеве, говорю всем, что это вовсе не Спектор, хотя и подписано Эмес. Это какой-то новичок по фамилии Амитин\*. А теперь, когда ты получил по заслугам, потрудись натянуть на себя штанишки, поцелуй розгу и скажи: больше не буду! Оставайся Спектором праздничных рассказов, повестей о

---

<sup>1</sup> Строка точек автора.

<sup>2</sup> Здесь игра слов: тог — по-еврейски означает день.

простых людях и их дочерях, о свадьбах и бедных трапезах. Оставайся самим собой, тогда ты будешь моим. В противном случае провались в преисподнюю. (Боже упаси!)

Твой, черт тебя побери, навеки

*Шолом-Алейхем.*

28

#### ДЕТЯМ

*Санкт-Петербург, 15 ноября 1904.*

Дорогие дети!

Пишу вам всем под свежим впечатлением моего первого визита к кумиру наших дней, властителю дум, Максиму Горькому. Он принял меня по-товарищески. После первых же слов он оглядел меня с головы до ног и пригласил в столовую выпить чаю. И пошел у нас разговор о делах литературы вообще и в частности о еврейской. Не успел я, право, оглянуться, как прошел час (с 11 до 12). Он просил приходить к нему запросто. Сам взялся познакомить меня с лучшими представителями прессы, — одним словом, был дружелюбен, совсем не как некоторые другие! Внешность его вовсе не такая, какой мы себе ее представляем. Интересный человечище, русский человек в полном смысле слова, с хорошим, открытым, ясным лицом и широким носом. Сам высокий, крепкий (совсем не больной), мягкий, хотя немного угловатый, в блузе, разумеется, и в высоких сапогах (продолжение следует).

*Папа.*

29

#### ДОЧЕРИ ЭРНЕСТИНЕ

*Санкт-Петербург, 15 ноября 1904.*

Моя дорогая Тиси!

Получил твое хорошее письмо от 12 и обрадовался.

Сегодня я вам всем написал о моем первом визите к Максиму Горькому, который принял меня в высшей степени дружелюбно, чисто по-товарищески и очаровал меня.



Пользуюсь случаем и посылаю тебе трешницу на почтовые расходы. Я очень рад, что могу обчислить государство на пятнадцать копеек, все теперь обкрадывают государство; давай, думаю, будем делать то же самое. Без меня у тебя, наверное, нет ни сантима, ведь мама-то женщина скупая, тем более что кошелек ее набит пуговицами, квитанциями лесоторговцев, старыми конвертами и другим подобным добром.

Как поживает Наумчик? \* Сердце болит, когда я прозношу это имя! Скорее бы дожить и увидеть вас! До свиданья. Миллион поцелуев.

*Твой па.*

### 30

#### Е Й Ж Е

*Санкт-Петербург, 29 ноября 1904.*

Друг Тиси!

Все ближе время нашего свидания, и я с трепетом в сердце жду часа, когда смогу покинуть проклятый Петербург. Есть надежда, что этот час близок, очень близок. По секрету пишу тебе, что в субботу вечером выеду, и прежде всего, разумеется, в Киев; мне тяжело откладывать до субботы, но это зависит не от меня, а от обстоятельств.

То, что здесь делается, трудно описать. Вчера был бой — что-то вроде репетиции революции. Ждут завтра чего-то грандиозного...

*Па.*

### 31

#### Ф Р И Ш М А Н А М

Мои дорогие друзья и милые хозяева!

Прошу тысячу раз меня извинить. Нахожусь у Спектора. Он привез из Петербурга столько новостей, что дай бог успеть ему их выложить в течение двух дней. Между тем его супруга доверила мне великую тайну: она готовит вареники из гречневой муки. Вы слышите? Из гречневой!!! Короче, я здесь остался обедать. А он, то есть Спектор, просит, чтобы Вы, то есть Фришман, тоже

пожаловали к нему, к Спектору то есть; он, то есть Спектор, имеет сообщить Вам, то есть Фришману, много новостей из редакции, то есть из «Хазмана»\*. Прошу еще раз извинить меня, желаю Вам приятного аппетита и всего хорошего. Аминь!

*Шолом-Алейхем.*

*Варшава, 6 февраля 1905 г.  
2 часа дня.*

32

ДАВИДУ ФРИШМАНУ

*Киев, 8 апреля 1905.*

Марек\* пишет мне, что на днях в театре «Элизеум» будет показана моя пьеса «Разброд», сцены из еврейской жизни на польском языке. Дирекция театра, по словам Марека, намерена пригласить меня на премьеру. Вряд ли я приеду. Потому хочется, чтобы Вы обязательно присутствовали на первом представлении и написали мне о своем впечатлении и о том, как публика приняла спектакль. Одновременно пишу г. Мареку (переводчику пьесы), чтобы он обеспечил ложу для мадам Фришман и для Вас.

Ваш, который понимает Вас лучше, чем другие,

*Шолом-Алейхем.*

Р. С. Только что получил пасхальный номер «Хазмана», немедленно приступаю к чтению «Маленького государства», сочинения Д. Фришмана.

33

М. ФИШБЕРГУ\*

*Киев, 13 сентября 1905.*

Любезный д-р М. Фишберг.

Как Вы доехали, живы ли Вы? Вы еще меня не забыли? Помните ли Вы, что Вы обещали мне у Соколова?\* Я закончил две драмы для американской сцены, в четырех и в пяти актах\*. Пятиактная с народными песнями и музыкой. Можете ли Вы поговорить с мистером

Томашевским\* (народный театр) или с мистером Дж. Адлером?\*

На внутренней стороне письма Вы найдете новости из «дома»\*.

Ответьте мне, пожалуйста, поскорей.

*Шолом-Алейхем.*

34

И. Д. БЕРКОВИЧУ

*Киев, 23 ноября 1905.*

Дорогой мой сын Беркович!

Пишу тебе эти строки, весь обложенный компрессами от макушки до бороды (хотя она и сбрита), потому что очень и очень страдаю от зубной боли!

Картина, которую ты мне нарисовал, — люди редакции «Хазман», — как живая перед моими глазами, но в Бен-Авигдора\* я все же верю, верю, что он достигнет своей цели\*.

Посылаю тебе «Надпись для памятника на моей могиле», которую я сочинил в эти «черные» дни, и прошу тебя перевести ее в стихах, как у меня; если сам не сможешь осилить, попроси от моего имени нашего друга Шнеера\*, который «зубы съел» на стихотворном деле.

Здесь погребен простой еврей.  
Он был писатель из народа,  
Всю жизнь писал он для людей  
Простого звания и рода.

Он на смех поднимал, честил,  
Язвил насмешкой мир великий,  
Но мир, однако, не тужил,  
А он век прожил горемькой.

И в час, когда все от души  
Смеялись, позабыв печали,  
Он плакал, — видит бог, — в тиши  
Тайком, чтоб люди не видали<sup>1</sup>.

*Шолом-Алейхем.*

Год конституции и погромов (1905).

---

<sup>1</sup> Перевод И. Гуревича.

## ДОЧЕРИ ЭРНЕСТИНЕ

*Киев, 23—24 ноября 1905.*

Дорогая Тисюня!

Пишу среди ночной тишины. Все спят, а я бодрствую до утра в ожидании предстоящей экстракции (ты еще не забыла зубоврачебной терминологии?). Страдания мои превосходят всякие пределы, и я ищущу успокоения в письме к тебе и Берковичу (на обороте). Между прочим, я посылаю ему эпитафию в стихах, которую бы желал иметь на моей могиле (через сто двадцать лет, разумеется) на обоих еврейских языках \*. Стихи правильные, восьмислоговые и десятистопные ямбы; таковыми же они должны бы быть и по-древнееврейски, если это возможно. Что касается срока, то это не к спеху: я на тот свет еще не собираюсь. Думаю еще совершить турне по Америке, затем вернуться сюда вкушать пару десятков лет истинную свободу. А затем целую тебя крепко.

*Твой па.*

## М. ФИШБЕРГУ

*Львов, 4 января 1906.*

Любезный д-р Фишберг!

Как это понять? Вы долгое время не отвечали мне на мои письма из Киева. Вы объявили забастовку? Из Брода я Вам телеграфировал — Вы опять не ответили. Отсюда я писал Сорезону \*, просил и умолял найти Вас и сообщить мне, что происходит. В итоге от Сорезона ни приветов, ни ответов. Что это все означает? От горя я с ума сойду. Что мне делать? К кому обратиться? Разве все мои планы и воздушные замки сушие мыльные пузыри? Что станет с моей семьей? С угрозой для жизни, с последним поездом я выбрался из Киева. Рассчитывал, что обязательно получу точные сведения от Вас в ответ на мои письма! А в итоге словно набрали воды в рот. Никто не отвечает!!

В Киеве я за два месяца получил от Вас только одно письмо и первые триста рублей. С тех пор земля замкнулась! Я оставил уполномоченного в Киеве для получения денег и корреспонденции. Однако он пишет

мне, что ничего не получил. Как я должен это понять? Быть может, Вы вне Америки, тогда кто-нибудь другой должен был мне ответить. А я жду! Жду! Жду!

Ваш Шолом-Алейхем.

37

## ДЕТЯМ

*Лидз, 6—7 июля 1906.*

Дорогие деточки!

Прежде чем начать описывать наше пребывание в провинциальной Англии, чувствую себя вынужденным дать вам торжественную клятву, что все, прочитанное вами здесь, истинная правда, то есть это не фельетон, а подлинное происшествие.

Из Манчестера мы выехали второпях (сломя голову), не позавтракав, и прибыли сюда часа в два, голодные, как Ляля\* в шестом классе гимназии или как Миша\*, который вчера вечером не ужинал. Сионисты (подайте Кауфману\* стакан воды), встретившие нас, вначале привели нас в один, потом в другой отель, на что потребовался час. Первый вопрос, который был задан голодным путешественникам, заключался вот в чем: «Как смотрят русские евреи на раскол в сионизме после Герцля\* и имеет ли территориализм\* в России будущее? На это я ответил, что мы не только ничего не ели, но даже еще и чаю не пили. Намек был сразу же (назло Кауфману!) понят, и один из них проговорил с английским акцентом: о! что касается еды, мы можем быть совершенно спокойны, так как мистер Ф. предоставил в наше распоряжение свою столовую на все время нашего пребывания в Лидзе! И вот наконец явился сам мистер Ф., расспросил, как проходит наше путешествие, и пригласил к себе. Мы пошли. Шли-шли, шли-шли, пришли. Уселись. Сидим. Беседуем о том о сем, а больше всего о сионизме. У него вот сынишка (бой), четырнадцать лет ему, он тоже сионист и отлично декламирует «Сион» Любошицкого. «Эй, Сэм, подойди-ка сюда! Прodeкламируй-ка дорогим гостям «Сион»! Но — с блеском!» И четырнадцатилетний Сэм встал и начал декламировать перед нами «Сион», отчего у нас стало сосать под ложечкой (повидимому, от голода, потому что время было уже около четырех), а Нумчик, бедняжка, расплакался: «Мама, ку-

шать! Мама, булку!» Этот дуэт длился не так уж долго, всего каких-нибудь минут сорок восемь, и нас в конце концов представили хозяйке, которая до сих пор была занята своим туалетом. Просидев с мистрис Ф. минут двадцать и побеседовав о «местном климате» и наболевшем в Англии злободневном вопросе (служанки), мы наконец сами встали и направились вместе с хозяйкой в столовую. На наше несчастье, нам пришлось проходить мимо пианино, и маме вздумалось вдруг выказать хозяйке свое дружелюбие и спросить: «Что, ваши дети играют?» Хозяйка сочла себя оскорбленной: «Что за вопрос? Еще как играют! Эй, дочка, сыграй-ка для дорогих гостей!» В ответ на этот призыв тотчас же показалось существо с распущенными локонами, сделало реверанс и — давай барабанить на чем свет стоит. Мы остолбенели и все время простояли на ногах; один только Нумчик время от времени нарушал гармонию, заявляя довольно громким голосом: «Мама, я не хочу музыки, я хочу кушать!» (Вот озорник!) Но всему на свете существует предел. Я заявил мистру Ф., что прошу второе музыкальное отделение отложить на послеобеденное время, потому что ребенок, говорю, голоден, а сами мы сегодня еще и чаю не пили. Мы спустились в столовую (она — на нижнем этаже). На столе уже были приготовлены блюдечки, стояла тарелка с земляникой, лежали два-три ломтика хлеба, намазанных мягким желтым маслом (как раз то, что я страшно люблю, можно сказать — обожаю!), и... больше ничего! «Что вы больше уважаете — содовую воду или лимонэйд?» Я говорю: «Нет, ни то, ни другое. Дайте, если это возможно, хлеба, только без масла». Хозяйка спрашивает: «Почему? Вы не уважаете хлеб с маслом?» У меня на языке уже вертелось: «Это дрянь какая-то, а не масло», — но Нумчик меня опередил и обратился к маме: «Это у них называется обед? Хорош обед!» (Вот сорванец, на что способен!)

. . . . .

#### э п и л о г

Часов в восемь вечера тихие жители города Лидз могли заметить, как два отощавших путешественника с мальчишком тащатся без цели и надежды по улицам, останавливают мирных англичан и обращаются к ним на ломаном языке с вопросом: «Ресто-рант?!»

(Конец. Продолжение не следует.)

Меня сюда вызвали сионисты. Я еще голоден. Скоро полночь. Ресторана мы не нашли. Подумываю о браунинге. Муторно на чужбине без обеда...

Целую вас.

38

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «УНЗЕР ЛЕБН» \*

Нью-Йорк, 30 апреля 1907 г.

Дорогие друзья Спектор, Вайнтройб и Гохберг! \*

Хотя я от вас еще не получил ответа на мои два письма (со вложением глав моего романа «Потоп»), посылаю вам также новый рассказ «Шпринца», новехонький рассказ *Тевье-Молочника* (в честь пятидесятницы), «рассказанный самим Тевье и переданный слово в слово *Шолом-Алейхемом*»

Бог велик, Шолом-Алейхем жив, и Тевье еще не умер.

«Шпринца» — это *шестой* рассказ моего друга Тевье из Бойберика, который впервые имел честь встретиться с еврейской публикой в газете Спектора «Хойзфрайнд». С тех пор Тевье дарит нам каждый год по новой истории. И сколько *дочерей*, столько историй. Как видите, Тевье не изменился нисколько. То есть как сказать? Обстоятельства изменились, годы сделали свое, но Тевье остался тем же Тевье, с тем же мировоззрением, с теми же мыслями и принципами и даже свой слог сохранил. Мне доставит живую радость, если мои братья и сестры в России, которые иногда интересуются еврейским словом, встретятся в пятидесятницу этого года со стариком Тевье и через него получат сердечный привет от их друга

*Шолом-Алейхема.*

P. S. А ну, покажите, что вы такие же джентльмены, как ваш преданнейший

*Шолом-Алейхем.*

Само собой разумеется, что «Шпринца» не должна быть напечатана раньше пятидесятницы и пусть пойдет обязательно в газете и ни вами, ни кем-либо другим не печатается отдельным изданием, ни до и ни после праздника.

[Женева, без даты.]

Дорогой Бялик!

Теперь, когда Вы живо воображаете, будто Вы находитесь на Монблане \*, надеюсь, Вам непременно захочется побывать вместе с нами \* в Швейцарии. Мы глаза высматриваем в ожидании Вас, словно мессию. Все, древний седой и высокий Монблан тоже. Приезжайте, будете вместе с нами лазать по горам.

*Шолом-Алейхем.*

Эх, Бялик, Бялик!

Вы уехали и как в воду канули. Где это видано, чтобы человек уехал и даже письмеца не написал? А у меня, представьте, для вас привет. Угадайте-ка от кого! От туфель, от ваших домашних туфель.

На следующий день после вашего отъезда из Швейцарии я, как обычно, просыпаюсь рано утром, хочу достать из-под кровати свои домашние туфли, смотрю — совсем незнакомые туфли, клетчатые, с кожаными носками. Беру в руки, что ж, хорошие туфли, еще совсем новенькие. Чьи же они? Оказывается, это домашние туфли Бялика, вот какая история! Каким образом попали сюда туфли Бялика? Видно, он забыл их, а может быть, нарочно оставил мне в подарок? В общем, в доме начался кавардак: туфли-туфли, туфли да туфли!! Первой выступила с претензией Тиси. Ее Берковича с Бяликом водой не разольешь, и поэтому туфли принадлежат ей, и никому больше. Тогда вторая, Ляля, та, что учится на доктора, говорит: по справедливости, туфли должна получить она. На каком основании? Просто так. У нее нет домашних туфель. Она уже давно собирается купить туфли. Тогда третья, Эмма, говорит, что было бы не грешно, если бы туфли достались ей, уж у нее-то, во всяком случае, нет туфель. А младшая, Маруся, и вовсе



обижается: чем она хуже других? Туфли Бялика и ей в пору. Тут о туфлях услышал Нумчик. Не вдаваясь в подробности, он закричал во все горло: «Мама, хочу туфли!» Разбуженный шумом, Миша устроил погром: это, мол, его туфли, и все тут. Ведь Бялик спал в одной комнате именно с ним, а не с кем-нибудь другим. Значит, туфли, по совести, должны принадлежать ему. В это время приходит Бен-Ами с дочерью Саррой. Узнав, из-за чего спор, Бен-Ами заявляет, что туфли, конечно, должны перейти к нему. Ведь, не случись новогоднего инцидента \*, Бялик, несомненно, захел бы к нему и туфли оставил бы у него, а не в другом месте. Сарра, естественно, поддакивает ему и не отрывает глаз от туфель. Тогда Миша и Тамара \* предлагают половинчатое решение: пусть достанется одна туфля Мише, а вторая — Тамаре. Короче говоря, мы отправились к Дедушке попросить совета, как поступить с туфлями, кому, наконец, нужно их отдать. Выслушав с прищуренными глазами и с улыбкой на устах все претензии, Дедушка реб Менделе вынес решение: так как туфли эти забыты, брошены на произвол судьбы и так как их хотят получить все, пусть туфли пока перенесут к нему, к Дедушке, значит, и у него они будут храниться до пришествия Ильи-пророка. Приговором остался доволен один только Бен-Ами. Ему припомнилось изречение: «Ни тебе, ни мне...» Я же остался недоволен, и поэтому туфли пока у меня. Собираюсь вскоре, с божьей помощью, переправить их вам в Одессу, не обе сразу, конечно: одну я вам пришлю осенью, тотчас после кушей, а вторую — под пасху, вот у вас опять и будут две туфли. А для того чтобы вы не скучали по своим туфлям, я сфотографировал их. Прилагаю при сем снимок туфель с дружеским приветом от всех нас, а также и от них, пока они находятся у меня на ногах, потому что у меня и в самом деле нет туфель, кроме ваших. Спасибо вам за туфли. Прошу вас и в дальнейшем приезжать к нам каждое лето в новых туфлях и оставлять их у нас, ибо я по опыту знаю, что в туфлях лучше, чем без туфель, не говоря уж о таких красивых, как ваши, которые являются наилучшими туфлями среди всех возможных.

*Шолом-Алейхем.*

После дня всепрощения 1907.

## И. Д. БЕРКОВИЧУ

*Женева, 7—8 апреля 1908.*

Дорогой мой сын Беркович! Я озадачен и не верю, что получу от тебя ответ на телеграмму\*, — наверняка не получу. Я отчаялся и махнул на это рукой. Мы будем спасены иным путем. И тем не менее я не потерял надежды. От всего сердца верю, что настанет время, когда «Клад» будут разыскивать днем с огнем, с ним будут носиться, им будут наслаждаться, о нем будут говорить очень и очень много! Но пока с ним дело очень трудное. Что же нам делать и что мы можем сделать? Надо подождать еще полгода — не больше. Мои глаза, быть может, этого не увидят, но ты, несомненно, увидишь это, потому что ты молод и тебе предстоит еще долгий жизненный путь. Поэтому ты не должен поддаваться отчаянию. Если ты не находишь себе там работы по душе, не пугайся и не падай духом, потому что, быть может, суждено, чтобы и нам и тебе пришло спасение не в стране доллара. Мы, наверное, не умрем с голоду и здесь, в странах Запада, а что касается тебя, мне не следует повторять еще раз слова, уже однажды сказанные мной тебе от глубины души, а именно, что наш дом — твой дом, что мы будем делить хлеб, и только если, упаси боже, нам нечего будет есть, тогда не будет и для тебя, как водится в нашей коммуне. (А Тамара лезет мне под ноги, катается по полу и поет песенку под столом.)

А я, обнимающий тебя с отцовской любовью, весь  
твой *Шол.*

## МЕНДЕЛЕ МОЙХЕРСФОРИМУ

*Генф. Швейцария, Пасха, 1908.*

Ой, Дедушка, Дедушка! Годы и горе озорству не помеха. Признаюсь, я таки озорной внук! В нынешнюю пасху я такое проделал с Вашими письмами, да простит меня бог, и Вы тоже. Послушайте историю.

Сегодня утром до ухода в синагогу я от Вас получил письмо. Не успел зайти в синагогу, как Бен-Ами

шепнул мне на ухо: «Вы знаете? Я получил от Дедушки письмо!» — «Поздравляю вас! А ну-ка, покажите, что пишет Дедушка?» И Бен-Ами засовывает мне Ваше письмо прямо в молитвенник. Прочитав письмо, я положил его к себе в карман и ему вернул взамен его древнееврейского письма свое «жаргонное». Кантор между тем поет и распекает, а Бен-Ами, ничего не подозревая, прячет в карман мое письмо, а я — молчок!

Сейчас начинается вторая часть драмы: Аберсон\*.

Во время чтения торы еврейская душа, по обыкновению, покидает синагогу, выходит на улицу погулять, держит руки в карманах, курит папиросу. И разумеется, первое слово Аберсона ко мне было: «Привет вам от Дедушки». — «Каким образом?» — «Я сегодня получил письмо». — «На самом деле? А ну-ка, посмотрим!..» Держу его письмо, читаю, перечитываю, затем незаметно всовываю Аберсону письмо Бен-Ами, а себе в карман забираю письмо Аберсона. При этом заговариваю зубы, расписываю богослужбное усердие Аберсона и мадам Аберсон, восхваляю их молитвенный экстаз, пение гимнов и т. п. И возвращаюсь в синагогу.

Вот только теперь начинается развитие интриги со всеми драматическими элементами. Прежде всего направимся к Бен-Ами, но нет, не так! Сначала пойдем к Аберсону. Он вернулся домой, произнес молитву над бокалом вина и сел за стол рядом с женой (в пансионе Фукса).

«Когда развеселилось сердце царя от вина»\*, Аберсон сказал мадам Аберсон: сегодня я прочту тебе письмо Менделе из Одессы. Гости тоже заинтересовались. Возникает разговор о Менделе. Кто он такой, этот Менделе? Вот это-то и наиглавнейшее. Одним словом, Менделе — это Менделе, тот самый Менделе! Менделе — это великий Абрамович! «А чем он занят?» — «Его занятие? Он писатель, еврейский писатель. Разумеется, знаете. Так вот я от него получил письмо из Одессы. В настоящее время он живет в Одессе». — «А на каком языке он вам пишет? Конечно, по-французски?» — «Вы не здешний, что ли? На жаргоне, на простом жаргоне», — так отвечает Аберсон, достает письмо и... о, ужас! Древнееврейское! Бе-ме! Не идет, хоть лопни, язык не тот! Одним словом, он рассматривает письмо со всех сторон, читает адрес: Бен-Ами! Но как к нему попало письмо Бен-Ами? Он его правда видел, но издали, даже

полусловом не обмолвились. Как это все понять? Аберсон поднимается со стула и отправляется к Бен-Ами. А разве есть другой выход?

А Бен-Ами? Бен-Ами пообедал (фаршированной рыбой и другими пасхальными блюдами, конечно, виномпейсаховкой и пр.), достал из кармана письмо и передал его Сарре. Пусть знает, что пишет Дедушка. «Папа, — спрашивает Сарра, — почему Дедушка на сей раз пишет на языке идиш, а не на древнееврейском?» — «Что ты мелешь, Сарра? Ты не в своем уме»... Одним словом, вновь и вновь читают, Бен-Ами вне себя. Рано утром, перед уходом в синагогу, письмо было на древнееврейском, а теперь стало еврейским! Переворачивают, нюхают... И вдруг звонок. Вваливается Аберсон. «Ой, гость, с добрым праздником!» — «Какой я гость? Послушайте, Бен-Ами, не получили ли вы сегодня письмо от Дедушки?» — «Да, а вы?» — «Я тоже, но странное дело, кажется, перепутали наши адреса, покажите, пожалуйста, ваше письмо!» Ну что ж, бывает, давайте меняться. Однако беда в том, что письмо к Бен-Ами находится у Аберсона, а письмо у Бен-Ами адресовано не к Аберсону, а черт знает кому — Шолом-Алейхему. Вероятно, и Шолом-Алейхем получил от Дедушки письмо. Спрашивается, почему он молчал и прикидывался дурачком? Это во-первых. А во-вторых, где же письмо Аберсона? Одним словом, надо пойти к Шолом-Алейхему. И Бен-Ами с Аберсоном поднялись со своих мест и отправились к Шолом-Алейхему (продолжение следует).

Извините, Дедушка, что прервал письмо, так как наступил час молитвы. Будьте здоровы, спасибо Вам за то, что вспомнили о своих внуках, которые Вас любят и желают Вам всего доброго.

*Шолом-Алейхем.*

43

М. СПЕКТОРУ

*(Одесса) 23 июня, 1908.*

Брат Спектор!

Сегодняшние одесские газеты я выслал в редакцию \*. Трудно описать, что здесь творится. Для Одессы вечер, вероятно, будет историческим. Вдове Штейнберг \* оказана серьезная помощь. Билетов продано на сумму свыше

2000 рублей. За вычетом расходов она получит рублей 1500 — это хорошо. А моральный успех! Опасаюсь давки и драк у театра. Это я говорю вполне обоснованно. Пришлось обеспечить полицию. Евреи и знать не хотят про билеты-шмилеты, им дай послушать всех шести писателей \*, да и баста!

Твой Шолом-Алейхем.

44

Д-РУ Г. ЛЕВИНУ \*

[Август, 1908.]

Я все еще пишу с муками, полулежа, но все же пишу! Могу передать Вам привет с того света (от Ваших пациентов? О нет, нет! От пациентов Ваших коллег...). Ничего, и там жизнь. Та же, что и здесь. Имеется «Наша жизнь» и другие газеты... Но холеры там нет... Ага!..— Точки и тире я ставлю в подражание Перцу<sup>1</sup>. Жена моя благодарит Вас за Ваше письмо. Больше писать она мне не разрешает. Жена — это цензор.

Ваш Шолом-Алейхем.

P. S. В Вашей статье я встретил своего белостокского еврея с желтым порошком \*. Ах, где мне достать желтый порошок... от кашля?!

45

М. СПЕКТОРУ

В день поста Гедалии \*, 1908. Барановичи.

Брат Спектор!

К сожалению, много писать не могу, впрочем, мало тоже. Но как не написать Спектору хоть пару строк? В общем, что? Ничего! Был одной ногой в могиле, вырвался из лап ангела смерти. Выпросил маленькую отсрочку, пока не напишу все, о чем имею сказать, пока не обработаю сотни сюжетов, которые копошатся в го-

---

<sup>1</sup> Опущены две строчки. — *Ред.*

лове, и не исправлю все, до сих пор написанное, пока не переведу все свои произведения с идиш на иврит (в противовес тому, что, судя по его заявлению на конференции в Черновцах \*, собирается делать талантливый Аш!). А засим, когда справлюсь со всеми этими делами, тогда, пожалуйста, потрудитесь, пан ангел смерти!.. О времени я веду разговор не с ним. Время в руках у бога. Торопиться некуда; не опоздаю... Одним словом, Шолом-Алейхем жив и готов, засучив рукава, взяться за бумагу и начать писать новыми свежими инструментами. Так врач, пропади он пропадом, не дает! Кстати, и сил тоже нет. Ноги не двигаются (сорванцы!), руки не подчиняются (наглецы!), а голова кружится (что голове может прийти в голову!). И сам я не того! Желая тебе и твоей супруге счастливого года.

Всегда твой

*Шолом-Алейхем.*

46

**Н. Е. МАЗОР\***

*(Нерви) 7.20.10.08.*

Милая Наташа!

Жестокий рок играет со мной, он хочет омрачить мою душу, испортить настроение, бросить меня во тьму меланхолии, но я не из тех, которые так скоро распускают нюни. Раскис я только тогда, когда ты, словно светлая голубка, слетела ко мне в Барановичи, в незабываемые Барановичи \*. О, тогда было совсем другое дело. Тогда я плакал, бывало, по два раза в день, но, кажется, напрасно. Теперь я уже не плачу. Я только пугаюсь немножечко, и больше ничего. Вот, к примеру, позавчера утром снова показалась кровь, то есть не кровь, а так, невесть что, самые пустяки, какие-то «кровяные шарики в выделениях мокроты...». И я подумал: вот-вот повторится барановичская история. Стоило ли в таком случае трудиться и ехать в эту божественную страну? Но явился врач (Мандельберг — милый человек) и высмеял нас; выяснилось, что это отрывка барановичских грехов. И действительно, я встал, гуляю по «марине» (взморье), и меня ласкают лучи такого солнца, какого я до сих пор еще никогда не видывал. Какое

солнце! Какой воздух! Если я отсюда не уеду богатырем, значит, судьба моя решена. Ты получишь, Наташа, это письмо точно в самый день моего праздника, моих литературных «именин» \*, к которым, как нам пишут, готовятся повсюду, во всех уголках. А я буду в этот день бродить, одинокий, по берегу Средиземного моря, один со своими мыслями, темными, как ночь, с непостижимым страхом перед неизвестным будущим, так как я не знаю сегодня, на что мы проживем завтрашний день... А если мы и проживем, то на чьи средства? На средства «общества»? Да, как ни верти, все всегда грустно, черт побери, и, уж во всяком случае, не так весело, как это обычно рисуется в моих глупых, но веселых писаниях. Было когда-то и весело, но это было давно, это было в ту счастливую пору, когда мы праздновали твой 19-летний юбилей (в Одессе, помнишь?). Ну, мне уже надо идти к морю. Желаю вам веселиться на этом свете. Моисею Савельевичу \*, Н. С. Сыркину \*, Евгению Львовичу \* и всем моим друзьям в несчастье и в радости — мой самый теплый привет!

Твой дядя, не падающий духом

*Шолом-Алейхем.*

47

**Я. ДИНЕЗОНУ**

*Октябрь — ноябрь 1908.*

Бесценный друг, дорогой Динезон!

Не обессудьте за карандаш, я все еще пишу лежа. А ну-ка, попробуйте писать лежа чернилами, вы увидите, что из этого получится: кривульки, закорючки, поди разберись!

Бог с вами, Динезон, вы совсем колдун! Ваше описание моего юбилея и сравнение моей особы со знаменитой вашей лошадкой Шамшона-Шлоймы попало в точку. Как будто вы своими глазами видели. По совести говорю: было много радости, — телеграммы со всех концов земли и пожелания, бесконечные добрые пожелания, и слезы, конечно, были, скрытые тихие слезы, как водится у Шолом-Алейхема. Но и слезы эти были слезами радости. Оттого что я сподобился увидеть свой народ или, по крайней мере, лучших людей народа вы-

росшими, сознательными, тактичными, полными человеческого достоинства, равными другим народам, нисколько не менее благородными.

Видели бы вы телеграммы! Многие и многие из них проникнуты любовью к народу, «к униженному народу, к его литературе, к его языку». Разве это не прогресс? Разве это не достаточное вознаграждение для писателя? Что касается меня, то клянусь, что уж одним этим я удовлетворен. Мне не хватает только двух вещей, которые имеют отношение ко мне лично и без которых Шолом-Алейхем не Шолом-Алейхем: первое — это здоровье, второе — душа моя.

Что касается первого пункта, то моему брэнному телу необходимо проваляться не меньше года у моря, в жилище, полном света и воздуха, а такое жилище обходится в 1500—1800 франков в сезон (600—700 русских целковых). А поскольку такие деньги мне и во сне не снились, то дело плохо. Здесь обычай: деньги на бочку! Вы должны знать, что в той же мере, в какой мне на свой собственный рубль наплевать, мне чужой рубль дорог. Не думайте, что так уж приятно разменивать чужие целковые, общественные! Да и целковые эти, кстати сказать, где-то еще в пути, а может быть, только в воображении. Но такие целковые итальянские банкиры никак не хотят разменивать, хоть им кол на голове теши. «Динариа дел Русиа ченто рубла»<sup>1</sup>, — говорит банкир, глотая слюнки и показывая вам сотню. Вот и приходится лежать в пансионе без солнца, а это скверно, скверно, Динезон. Нужно солнце, солнце нужно.

Второе, душа, вы сами знаете, — это мои детища, мои сочинения, они должны быть мои и ничьи больше... Был бы я здоров, я бы своими силами постепенно выкупил их из рабства\*. Но где же взять здоровье? Здесь, в раю, в котором я нахожусь, можно окончательно выздороветь только при помощи воздуха, солнца и хорошего питания. На все это нужны деньги, деньги, деньги. А все мое достояние пока составляют лишь огорчения и прошлогодний снег. И все-таки ничего, не надо падать духом, как вы говорите.

Вы меня достаточно знаете, меланхолией я не страдаю. Я, пожалуй, полная противоположность вам, Динезон. Вы вздыхаете, рыдаете, обливаетесь слезами, а

---

<sup>1</sup> На русские деньги четыре рубля (*итал.*).



кончаете ласковым словом, доброю надеждой. И читатель уходит от вас умиротворенный, в несколько размягченном состоянии, но довольный, счастливый, согретый, обласканный и утешенный наилучшим образом. Я же наоборот, — ха-ха-ха да хи-хи-хи, всегда живой, всегда веселый и, глядя, ушипнул, уколос, сжал сердце в комок, а там — вздох, стон, слеза и снова ха-ха-ха и опять хи-хи-хи, но, расставаясь со мной, читатель, мне кажется, чувствует себя немножко того... И наверно, про меня говорят: «Вот бездельник, а? Что вы скажете? Будто ничего... А как подумаешь... черта его батьке!»

Но вернемся к началу. Вы хотите знать, как я себя чувствую? Пока, благодарение богу, так, что и врагам не пожелаю. Кашляю ли я? Еще бы! Желая Крушевану\* так кашлять хотя бы года три с хвостиком. Болит ли голова? А почему бы ей, собственно, не болеть? Иногда больше, иногда меньше — не от меня зависит. Голова — своенравное создание, это все знают. Температура? Ничего! Должна быть 36 с чем-то или без чего-то. А у меня — 37 и того больше. Спасибо, что не 38. Appetit? Кто этим интересуется? Интересоваться-то интересуются, еще как! То и дело суют кашу, молоко, яйца! Сколько, вы думаете, яиц? Шесть яиц, семь яиц, восемь яиц, девять яиц, десять яиц, — во имя бога, оставьте меня в покое! Вы думаете, это все? Так нет же, потрудитесь еще похлебать молока, да масло глотайте, да кашу жрите, наполняйте кишки, набивайте их, дабы червям было чем питаться лет этак через сто двадцать...

Как я себя чувствую? Дай бог Пуришкевичу! Я чувствую себя так, как должна себя чувствовать телка, которую вскармливают не просто так, а с задней мыслью, как стреноженный конь в чужом овсе; как кот, который смотрит на масло, накрытое стаканом; как связанный петух; как верный пес, потерявший своего доброго хозяина, или — погодите-ка! — как еврейский писатель, который отбарабанил 20 лет, стал кашлять кровью, да уберезет вас от этого господь, и как раз к юбилею завезли его куда-то там в Италию, забрали перо из рук и стали ему твердить: «Побольше воздуха, побольше солнца! Ешь, ешь, ешь!»

Ваш благодарный друг

*Шолом-Алейхем.*

## И. РОЗЕТУ\*

*Нерви, 8 ноября 1908 г.*

Май дир френд<sup>1</sup> Розет! Ай тенк ю вери мач<sup>2</sup> за портреты, за почтовые открытки и за ваш поздравительный стих. Надеюсь, что вы ол райт и ваши бизнесы хороши. У меня это идет номером хуже. Мне еще не разрешают писать письмо пером и чернилами, и поэтому прошу вас экскюзить<sup>3</sup> меня, что пишу вам карандашом. Благодарение богу за это. Было время, — и совсем недавно, — когда я одной ногой был на том свете. А сегодня меня уже тянет писать фельетоны, рассказы, комедии, но увы, друзья не дают! Бог создал жену затем, чтобы морочить нам голову бифштексами, молоком и яйцами, причем только сырыми и во множестве. Гулять она велит по берегу моря и на солнце, а солнце здесь, Розет, не то, которое светит притворно, греет холодной усмешкой, а настоящее солнце, сияющее светом первых семи дней творения. Оно ласкает и греет, как мать, а воздух, друг Розет, струится сюда прямо из рая. И вот тут, у моря, на воздухе, под этим солнышком гуляет ваш больной Шолом-Алейхем с карандашом в руках и пишет свои историйки (одну вы скоро получите, если потрудитесь написать в Варшаву доктору Левину, Лешна, 34. Рассказ называется «Шмуел Шмелькис из Касриловки и его юбилей»). Пришлите мне, если возможно, почтовые открытки с моим портретом и передайте привет всем интересующимся мной. Напишите мне лэтэр<sup>4</sup>. Гуд бай.

*Шолом-Алейхем.*

## М. Н. СЫРКИНУ\*

*Нерви, 6 декабря 1908.*

Милый, дорогой Сыркин!  
Мы только что получили ваш весьма дружеский адрес, который вы написали, а пьяная братия подписала.

<sup>1</sup> Мой дорогой друг (англ.).<sup>2</sup> Благодарю вас (англ.).<sup>3</sup> Простить (искаж. англ.).<sup>4</sup> Письмо (англ.).

Представляю себе, сколько было выпито водки. Пусть ее столько достанется всем нашим врагам вместе с Пуришкевичем, скажем даже, на один завтрак. Жалко вам, что ли? Адрес растрогал меня до слез. Это ведь Киев, а Киев — это ведь мой город. Можно пожелать нам обоим, мне и вам, иметь то, во что мне обошелся Киев. Быть всюду на моем празднике невысказанно, но то, что я не мог быть в Киеве, нагоняет на меня тоску! Что же касается самого вечера, должен вам правду сказать, — я никоим образом не ждал и половины того. Я лично считаю это необычайным успехом. А что творилось бы, если бы вам предоставили там немного больше свободы! Если бы вам дали, к примеру, держать речи на Подоле и на Демиевке, а доктору Лиокумовичу — читать меня на еврейском языке! Но не будем говорить о грустных вещах. Подождите немного, — взойдет еще когда-нибудь солнце и на нашей улице. Вы ведь не любите, когда вас благодарят, — передайте же привет моей старой знакомой, с которой я был знаком еще до того, как вы надели ей на палец обручальное кольцо, ущипните вашего наследника в щечку и напишите мне, везет ли вам в карты, в «шестьдесят шесть»? Доктора Элиашева я уже пригласил сюда на хануку. Сорвитесь-ка и вы сюда, в Нерви, и мы втроем, скинув сюртуки, в одних арбеканфесах будем резаться на балконе в «пятьсот одно» всю ночь напролет.

Ваш друг *Шолом-Алейхем*.

50

### ОДЕССКИМ ДРУЗЬЯМ

*Нерви (Италия), вилла «Бриано»  
6 декабря 1908.*

Дорогим друзьям, избранным и могущественным и т. д. и т. д.! Дедушке реб Менделе, льву среди нас, Бялику, Левинскому\* и Равницкому — привет!

По каллиграфическому почерку, по бисерным буквам а-ля Абрамович вы можете догадаться, что Шолом-Алейхем больше на этом свете, чем на том. Не день ото дня, а час от часу я чувствую себя все лучше и лучше. За те несколько недель, что я здесь, в благословенном городе Нерви, я прибавил почти четыре кило, то есть

десять фунтов. Десять фунтов мяса. Скажите «не сглазить бы», сплюньте три раза и покажите мне за глаза кукиш...

Как человек практичный, который когда-то, не в пример теперешнему, делал дела, я подсчитал, что если так пойдет дальше, то мне не останется желать ничего лучшего. Расчет как на ладони: десять — пятнадцать фунтов в месяц, вот вам и сто восемьдесят фунтов в год. Фунтов сто пятьдесят я весил раньше, значит, мы имеем на круг триста тридцать фунтов, или восемь пудов и десять фунтов. С таким весом мне уже незачем писать или выступать с публичными чтениями, достаточно показываться перед публикой! Это намного легче, чем писать или выступать. Да и публике тоже интереснее посмотреть на крупного писателя, чем слушать его. Что же касается Америки, то там можно золото загребать. Я уже и рекламу придумал:

**ЧУДО ЧУДЕС!**  
**ПРИХОДИТЕ! ВАЛИТЕ ТОЛПАМИ! СМОТРИТЕ! ЛЮБУЙТЕСЬ!**  
**САМЫЙ КРУПНЫЙ ЮМОРИСТ В МИРЕ!**  
**ВЕСИТ ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ФУНТОВ!**  
**— ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ! —**  
**...ВХОД ОДИН ДОЛЛАР...!**  
**СПЕШИТЕ! ПЕРЕДАЙТЕ ДРУЗЬЯМ!**

Теперь давайте прикинем, сколько можно на этом заработать. Предположим, что во всем мире десять миллионов евреев. Не будем обольщаться. Допустим, что лишь один из ста захочет посмотреть на крупного юмориста, и то вы имеете сто тысяч долларов. Тогда уже незачем ждать, пока еврейская община преподнесет тебе именование \*, можно самому купить целых два имения. Мы с вами знакомы, кажется, не день и не два, и вы прекрасно знаете, что я не фантазер какой-нибудь, упаси бог. Я люблю, когда расчет ясен, подан на тарелке. С таким расчетом можно прожить в Италии не одну зиму. А больше мне вам нечего писать, то есть я бы многое мог написать, но мне не дают. Помимо врача, бог наградил меня еще и домочадцами, которые берегут меня как зеницу ока (нехорошо быть зеницей ока!), дрожат надо мной, как над стеклянной пасхальной посудой, не допускают, чтобы я склонялся над столом

больше получаса в день, и гонят меня или на солнце, которое по целым дням купается в море, или есть. Ох, эта еда меня в могилу вгонит. Она у меня уже под ложечкой стоит (да убережет вас от этого господь!). Душа из меня вон, а они — знай одно: есть! есть! есть!

Таким образом, вы думаете, что я уж и не пишу вообще. Столько бы болячек на кончик языка нашим злопыхателям и столько бы нам с вами тысяч, сколько строк я здесь написал. В скором времени, бог даст, вы будете читать мою небольшую книжонку\* сразу на трех языках: на еврейском, древнееврейском и русском. Надеюсь, она доставит вам удовольствие, и вы скажете, что Шолом-Алейхем остается

*Шолом-Алейхемом.*

О главном забыл: пусть вас не удивляет, что я не выступаю в газетах с благодарностью за оказанную мне честь. Я уже несколько раз собирался это сделать, но, что ни день, поступают все новые поздравления, письма, адреса, телеграммы. По не зависящим от них обстоятельствам, многие города не успели освятить луну\*, некоторые собираются в праздник хануки есть в мою честь оладьи. В Америке тоже готовится к тому же времени большая шумиха. Там во главе Давид Пинский\*. Авром-Эля\*, очевидно, опоздал, хотя я получил от него несколько очень горячих писем из Карлсбада, Берлина, Парижа и других городов, в которых он побывал. Ну-ка, соберитесь с силами все четверо, купите в складчину марку и напишите письмецо вашему лучшему и верному другу

*Шолом-Алейхему.*

51

СЫНУ МИШЕ\*

*Нерви, вилла «Бриано», 8/XII 1908.*

Дорогой Миша! Заниматься переводами достаточно сложное дело. Тем не менее нельзя знать заранее, кто хорошо и кто плохо переведет. Многое зависит от таланта, но еще больше — от опыта, навыка, и, по моему мнению, все зависит от желания. Даже то, что люди видят во мне талантливого, я называю исключительно желанием, настойчивым желанием. Переводчик, кроме

того что он знает и понимает оба языка, должен сильно желать хорошо переводить. А чтобы желать, требуются усилия. Прежде всего, надо вдуматься в оригинал. После того как перевод уже сделан, нужно тщательно проконтролировать каждую фразу: говорят ли так, пишут ли так по-русски. Каждый язык имеет свои идиомы, которых сразу не перевести. Надо искать соответствующие эквиваленты. Примеров имеются тысячи. Я приведу тебе по меньшей мере один.

По-еврейски: от спешки ничего хорошего не получается; по-русски: тише едешь — дальше будешь.

Или еще пример.

По-еврейски: вот ты и имеешь! По-русски: вот тебе на!

И еще. По-еврейски: ну и сбегал же по порученьицу!

По-русски: попал пальцем в небо.

По-еврейски: и не начинается!

По-русски: ничуть не бывало!

При встрече с трудными идиомами я всегда готов тебе помочь. Начинай! Мы еще не раз будем беседовать об искусстве перевода. Меня это будет радовать не только с точки зрения заработка, но и по многим другим мотивам. На днях пришлю тебе кое-что для дебюта. Целую тебя.

*Папа.*

Р. С. Прежде всего ставлю условие: всегда, даже в черновиках, писать четко и ясно. Эта ясность сообщается и мысли. Пойми это.

## 52

### И. РОЗЕТУ

Милый друг Розет!

Вы, конечно, еще не получили мою благодарность за ваши открытки? \* Ну, примите же ее сегодня, когда мне, слава богу, немного лучше и я могу уже ходить один, без провожатого, уже могу выводить букочки тоненьким перышком... Программки киевского вечера, вижу, у вас напечатаны. В «Киевских вестях» читаю, что ваши открытки полностью распространены, и меня радует, что мой литературный вечер связан с именем того, кто остался мне так дорог и перед кем я, бывало, изливал свое наболевшее сердце в те времена, когда все держалось за бока, читая мою писанину. Помните те времена?

Но прочь сетования! Живу, выздоравливаю и пишу уже второй и третий рассказ, а в голове роится еще множество рассказов, и все они жизненно трагичны и горестно-веселы, и хохочется сквозь слезы, и плачется сквозь раскатистый смех, и тянет меня домой к свирепой махехе, к бедненьким родненьким братьям и сестрам, томящимся в изгнании, в изгнании, в изгнании... Мир вам.

*Шолом-Алейхем.*

Р. С. Напишите мне, прошу вас, исчерпывающий отчет о вечере и обо всем, что может интересовать меня в далекой Италии.

*11 декабря 1908.*

53

И. ЯМПОЛЬСКОМУ\*

*[Нерви, без даты.]*

Мой честный друг Ицхок Ямпольский!

Когда в земном и заброшенном раю, имя которому Нерви, больной и одинокий человек получает письмо от друга, к тому же от такого честного и искреннего друга, как Вы, Ицхок Ямпольский, тогда этот человек начинает себя хорошо чувствовать, улыбаться и у него появляется аппетит.

Вы говорите, что некоторые американские газеты озлоблены против меня. Возможно. Это, вероятно, потому, что я у них своровал (а не они у меня) и перепечатал (а не наоборот) несколько фельетонов?.. Можете говорить что угодно, но у меня нет врагов, ибо я никому не враг: Тевье никогда не покидала надежда на лучшее будущее, а Менахем-Мендл никогда не переставал верить всему свету... Скоро Вы прочтете «Юбилей неудачника Шмуэля Шмелькиса», который написан мною в дни моей болезни. Посему не удивляйтесь, если он чуток слабоват. А быть может, он и не такой уже слабенький? Вы ведь знаете, я всем доверяю, но не себе. Внутри меня сидит какой-то бес, который подтрунивает, хохочет и издевается над моим писанием. Стоит мне что-нибудь написать и прочитать с энтузиазмом, как, по обыкновению, мой бес свистит губами и смеется глазами.

Удалось бы мне его схватить, я бы его задушил! Иногда бывает, что он меня серьезно выслушивает и качает головой. Я это принимаю за одобрение и написанное отправляю в типографию. Вот когда бес раздражается злорадным смехом, сгореть бы ему!

В «Эпитафии», которую Вы напечатали, кое-что изменилось. Я добавил к началу четыре строчки:

Извините, человеке, куда спешите?  
Вы кому нужны, герой?  
Шолом-Алейхема ищите?  
Он давно в земле сырой!  
Он был писатель из народа, и т. д.

Крепитесь, Ямпольский, и пишите хорошие вещи, да сопутствует Вам счастье, как того желает Вам

Ваш друг *Шолом-Алейхем.*

54

#### МЕНДЕЛЕ МОЙХЕ-СФОРИМУ

*Нерви, 10 января, 1909.*

Большое Вам спасибо, Дедушка, за Ваш подарок \* и за Ваше письмо. Я себе позволил в письмах к некоторым моим друзьям цитировать Ваши слова о кисло-сладком мясе, пироге и рюмочке вина. Я помню, что Вы отмечаете русский Новый год. Посему желаю Вам от своего имени и от имени моей колонии много счастья в новом, 1909 году. Последняя неделя была у нас холодной, гремело, сверкали молнии, а я был прикован к постели и родил двойню: два новых рассказика сразу. А еще десятком новелл я забеременел. Помилуй мя господи, я, не про Вас будь сказано, стал курицей, которая кудахчет... Где взять силы? Счастье, что со мной рядом Беркович, я ему диктую, а он записывает. Диктовать — сущее удовольствие. Можно диктовать, будучи больным, лежа в постели. Плохо то, что домашние долго своевольничать не дают. А врач утверждает, что для здоровья лучше аппетитно поесть, чем диктовать. Бабы сказки! Что Вы скажете об этом мудреце? Будьте здоровы и пишите мне иногда. Это послужит исцелением для Вашего больного — здорового внука.

*Шолом-Алейхем.*



## СЫНУ МИШЕ \*

(Нерви) 10—23/1 1909.

Дорогой Миша!

По правде говоря, мне твои оба письма не нравятся. В первом письме ты излагаешь какую-то скептическую чайльд-гарольдовскую философию безысходности. В сегодняшнем письме ты подводишь итог своим занятиям за минувшие годы и приходишь к выводу, что до золотой медали тебе не дотянуться. Разве дело в медали? И разве медалисты имеют гарантию, а немедалисты разве непременно останутся вне стен университета? Речь идет о том, что ты должен стараться получить как можно больше пятерок и ни одной двойки. Об университете пока забудь. Думай только об аттестате, причем о хорошем аттестате, вот тебе и вся философия. Что же касается разочарования, — плюнь на него, не читай современных идиотов, читай лучше классиков. Весь поток современного литературного декаданса (в особенности русского) очень скоро минет! Жаль, что ты не прислал мне копию твоего перевода прежде, чем отнес в редакцию. Но раз отнес, то — пропало. Я просил тебя достать «Киевскую мысль» и непременно прислать мне. От Наташи и от М. С. \* мы почти ежедневно получаем письма из Ниццы.

Твой па[па].

## А. Л. ПРИЦКЕРУ ДЛЯ Н. Е. МАЗОР

4.II.1909.

Дорогие Моисей Савельевич и Наталья Евсеевна!

Вы, стало быть, объездили мир. Были в Париже, теперь вы в Берлине. Я особенно рад, что Наташа в конце концов увидела мой Париж \*, которым я так горжусь. Надеюсь, Моисей Савельевич, что тебе показали там все, начиная от Лувра и кончая Гранд-оперой. А бульвар? А кафе по вечерам? Ах, Наташа, Наташа! Как жалко выглядит теперь Киев после блестящего Парижа и после чистенького Берлина! И все-таки, если бы мне предложили выбрать один из этих трех городов, я остановился бы только на Киеве, хотя он и не так благоухает

и не так благоустроен. И чем чаще я слышу, что мне придется оставаться здесь не один сезон и не один год, тем больше меня тянет туда, *домой...* До сегодняшнего дня я себя чувствовал превосходно, много гулял по взморью и еще больше писал. Сегодня же подскочила температура, но это — мелочь. Кашляю гораздо меньше. Аппетит есть. В весе я прибыл. Чего же еще нужно? Погода у нас — просто очарование. Запахло маем. Вчера я написал вам в Киев, писал и по поводу «первофевральской» лжи в виленской «Идишер цайтунг» о моем юбилее в Филадельфии. Это еще остается загадкой по сей день. Кончаю мое письмо приветом многоуважаемой Анне Львовне и желаю вам и ей всего наилучшего.

Ваш Соломон Рабинович.

57

Н. Е. МАЗОР

(Нерви) 24.2.09.

Дорогая Н. Е.!

Мы теперь переживаем здесь какое-то подобие зимы. Вчера ночью температура была 10° (ниже нуля. Днем—5°) Кутаемся теперь в перины и т. д. Видимо, русские снежные завирухи сказались и на нашей атмосфере. Тем не менее завтра у нас может быть очень жарко, вот ведь, к примеру, вчера днем на солнце было больше 25° тепла.

Вчера и сегодня мы получили из Варшавы два письма, которые я отсылаю вам. Для того чтобы вы их поняли, мне нужно рассказать вам все детали. Как вы знаете, с главным издателем, с Лидским, уже уладили (он издал два юбилейных тома по 1 рублю и около 30 небольших брошюр, которые расходятся очень хорошо). Ему уплатили 2700 рублей за все права на 75 печатных листов за 1000 экземпляров этих двух томов. Эти самые экземпляры и брошюры упакованы и ждут дальнейших результатов переговоров с другими двумя издателями. Один из них («Тушия») уже сдался. С ним уладили на прошлой неделе. У него отобрали первые, уже давно изданные, четыре тома и все права. Сколько комитет уплатил этому «Тушия», мне не пишут. Таким образом, комитет имеет в своем распоряжении 6 томов и около 30 брошюр, то есть не считая книг, матриц-стереотипов;

все, стало быть, было бы очень хорошо, не будь здесь небольшой беды. Беда такая: дело с обоими издателями будет считаться улаженным при условии, что и третий издатель (Крынский)\* отступится от своих прав, которые он получил в качестве компаньона на 20 листов прозы (небольшими брошюрками) и 10 листов драматических произведений. И вот, представьте себе, что именно Крынский — это такой орешек, который не дает себя раскусить. Вы это увидите из писем доктора Левина и Динезона, посылаемых мною. А почему он не сдается — вполне понятно. Я знаю, к примеру, наверняка, что одна брошюрка «Дядя Пиня», выдержавшая много изданий, дала ему не меньше 3—4 тысяч. Кроме этой брошюры, он издал еще 20 брошюр, из которых иные выдержали 3—4 и 5 изданий. Итого они, по моим подсчетам, за 4 года дали ему 12—15 тысяч прибыли, часть которой должна принадлежать автору. В действительности же автор по сей день не только не получил ни одного сантима из прибыли, но даже гонорар и тот ему еще не весь выплачен (по договору я ему уступил на 20 лет право издавать 20 листов прозы с гонораром по 20 рублей за лист и 10 листов драматических произведений — по 40 рублей за лист, кроме того, я получаю первые 10 лет по 10%, а вторые 10 лет — 25% прибыли). Целых три года я требовал у него гонорар с процентами, но он мне ни разу не ответил. Теперь он представил комитету отчет, по которому он якобы заработал всего-навсего 5200 рублей, причем он считает, что чистой прибыли тут только 50%, то есть 2600 рублей, из которых, по его признанию, мне причитается 260 рублей, а кроме того, еще рублей сто гонорара. Но не в этом дело. Несчастье в том, что он не хочет расстаться с изданием. Он требует много тысяч отступного; комитет, по-видимому, растерялся, потому что с этим господином связано все дело по выкупу моих произведений. Это вам — раз. Во-вторых, вот уже два месяца, как продажа книг и брошюр по нашей вине почти полностью остановилась. Мы упускаем золотое время! Но... Тут идет хорошее «но». В моем контракте с этим самым господином (этот контракт мой где-то в пути среди бумаг, следующих из Варшавы в Нерви уже больше месяца) имеется среди прочих и такой пунктик, который гласит: «Если автор продает полное собрание своих сочинений, он, Крынский, обязан уступить по той же цене и его 30 листов, и все права» и т. д. Таким об-

разом, я могу продать полное собрание вам или комитету, третьему, четвертому, скажем, по цене в 10—15 рублей за лист и за какие-нибудь три-четыре сотни рублей ликвидировать с ним все дело. Останется только выкупить у него остаток экземпляров согласно оценке или по взаимной договоренности, а также и стереотипы. Так что мы его аппетит немного умерим. Остается один вопрос: как это провести? Пока я об этом пункте написал комитету. Но ведь комитет — это всего только комитет. Если бы я уже был вполне здоров, Ольга съездила бы сама в Варшаву. Необходимо послать ему нотариальное извещение, во-первых, о расторжении контракта за невыполнение элементарных условий общества. Во-вторых, о продаже полного собрания и т. д. (как сказано выше). Жаль, что Варшава так далеко от Киева. Иначе Наташа могла бы много помочь, и вы, Моисей Савельевич, тоже не отказались бы помочь комитету своим добрым советом. Если даже передать это дело третьейскому суду, то некому выступить за меня. А хуже всего, что этот субъект тормозит выкуп, а также распродажу книг. Не могу выразить, сколько волнений и страданий я испытываю от всего этого. За последние 8—10 лет люди заработали на моих произведениях десятки, да, десятки тысяч рублей, а я получил всего-навсего жалких несколько сот рублей!!! К тому же я преступно отнял у моих детей единственное достояние, которое может остаться после меня... Все это сделала нужда, державшая меня, словно железный обруч, все эти годы моей неудачливой жизни... Простите, дорогая, что я вторгся к вам с моими «гешефтами». Хотелось излить душу, и все. Письма, которые я при этом посылаю, прошу вас сохранить. Обнимаю вас и целую ваших детей.

Ваш Соломон.

58

### МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

*Нерви, 20 февраля — 5 марта 1909.*

Моему милому и дорогому Дедушке реб Менделе Мойхер-Сфориму, да сияет светоч его.

Из всех благословений и подарков, которых я удостоился на моем литературном празднестве, этот пода-

рок несомненно самый лучший; я имею в виду машинку, на которой я выстукиваю, Дедушка, мое первое Вам машинное письмо. Врачи мне категорически запретили писать, иное дело — машинка. Сидишь, понимаете ли, удобно расположившись, как король за пасхальной трапезой\*, и постукиваешь. Истинное, говорю Вам, наслаждение!

Словом, как же Вы поживаете? Главное, как ваше здоровье? Я, благословен господь, как говорят в Америке, — ол райт! Главное, что от смертельной опасности я, слава богу, ушел. Подумываем уже о чем-нибудь послекурортном, то есть, когда лето здесь закончится, — примерно в мае, — уехать искать другое (несколько более прохладное) лето, где-нибудь в Швейцарии или даже в нашей России, быть может, в лесу и, возможно, где-нибудь неподалеку от Вашей Одессы — все это зависит не от меня, а от врачей. Во всяком случае, в Америку уже не так скоро. Ну, а раз не в Америку, значит, есть какая-то надежда, что мы с Вами, бог даст, свидимся. Скорее бы, с радостью в сердце, да обновятся наши дни, как в былые времена... Если Вам не лень, Дедушка, напишите когда-нибудь письмо. Не ищите себе оправдания в том, что раз у Вас нет машинки, то Вы свободны от писания писем. Наоборот, Ваше письмо имеет наибольшую ценность именно потому, что оно написано Вашей рукой. Пропади все машинки, кроме моей, за одно Ваше собственноручное письмо с Вашим редкостным очаровательным жемчужным почерком.

Ну, будьте здоровы вместе со всеми, всеми Вашими! Ваш внук

*Шолом-Алейхем.*

Моя жена просит передать Вам привет, написанный моей рукой, а не на машинке. Она не в восторге от нее. Она утверждает, что машинка — это тело без души. Если я когда-нибудь, говорит она, уеду и стану писать ей письмо, чтоб я не смел писать его на машинке. Она отошлет мне его назад. Так она говорит. Посмотрим!

Ваш *Шолом-Алейхем.*

*Нерви, 11 марта 1909.*

Здравствуйте, Дедушка, с праздником, пусть всегда будет у нас праздник!

Хорошо, прекрасно, когда получаешь письмо и немедленно садишься за стол, чтобы ответить. Я стал удивительным еретиком. Вы помните? Вы меня когда-то прозвали «торопыгой» \*. Нынче, с божьей помощью, я стал хуже всякого торопыги, остро чувствую, что каждая прожитая минута — дар божий, и потому необходимо немедленно ею воспользоваться. Знаю, что чувство это из глупейших, но ничего не могу с собой поделать. И если подумать, то это даже хорошо: от подаренной минуты получаешь больше удовольствия, чем от минуты своей. Однако в этом есть что-то недоброе: кажется, что минуты зря проходят; жаль подаренных минут... Короче, Вы спрашиваете, как я поживаю? Хвораю, слава всевышнему, крепко хвораю. Пью всякую дрянь (словечко позаимствовано у Бен-Ами) и делаю вид, будто верю врачам, что так следует себя вести. Счастье, однако, в надежде, будто завтра станет легче. Но приходит завтра, и опять хвораю: сильно кашляю, голова трещит от боли, одним словом, великолепно; глотаю пилюли, от которых так тошнит, как от полемики Аша с его товарищами... \* Но зато здесь море, оно само исцеление от всех болячек. А местный воздух — истинный рай. Жаль, что, по мнению врачей, я сумею здесь пробыть еще только две-три недели, а затем они меня отправят в Тироль, Швейцарию или Германию. Вы об этом будете знать первым. Ваш ответ не откладывайте в долгий ящик.

Ваш внук *Шолом-Алейхем*.

А Равницкий и Бялик, не долго думая, решили — ша! Вот уже скоро полгода!

*Нерви, 27 марта 1909.*

Дорогой, хороший, милый Яков Динезон!

Узнали Вы бумагу? Это — Ваша. Имеется, слава богу, и в Италии бумага. Но бумага Динезона совсем не

то. Есть и чай в Италии. За деньги можно достать все. Но чай Динезона имеет совсем другой вкус. Мы уже вчера пили чай Динезона за столом со всеми детьми. Маленькая Тамара тоже была. Она не знает дядю Динезона. Но скоро узнает, что где-то, в каком-то городе Варшаве, на Дзельной улице, живет маленький, худенький, бледненький, с маленькими, но чистыми ручками, с маленькой седоватой бородкой, — была когда-то рыжеватой, — с хорошими, всегда улыбающимися, даже когда он плачет, глазами, всегда тщательно одетый; маленькие сапожки блестят, папироски курит собственные, свои маленькие пальчиками свернутые, чай пьет собственный, им самим в своем чайничке заваренный, и всегда на одном и том же стуле сидит он за столом, где всегда лежат в необычайном порядке закрытые чужие тайны, чужие беды, чужие воли, которым он отдал большую часть своего необыкновенного большого сердца, — и звать этого самого доброго дядю: дядя Динезон... Из этого Вы должны понять, что у нас теперь гость, — вы знаете, конечно, кто этот гость. Если я Вам, к примеру, выскажу сотую долю того, что питает к Вам мое сердце, то знаю, это было бы большой профанацией. Если мне будет суждено прожить несколькими годами больше, чем я полагал, я смогу не колеблясь сказать, что в этом Вы повинны, Вы и все остальные друзья, сделавшие столько, чтобы осуществить Вашу идею «выкупа пленных»\*. Мое выражение благодарности Вам отложу до поры моего пребывания в Варшаве в полном здоровье. А пока хочу передать Вам привет и братский поцелуй от меня и от всех моих — и тех, кого знаете, и тех, кого еще не знаете.

Ваш Шолом-Алейхем.

61

#### МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

*Блазъен (Шварцвальд), 7/20, VII. 1909.*

Здравствуйте, дорогой мой Дедушка!

Тот, кто почитает старших, не станет сводить с дедом счеты — ты мне писал, я тебе писал... Когда доживу до Ваших лет (что-то не верится!), я от своих внуков тоже буду требовать, чтобы они мне уступали.

Я увлекся, как видите, вопросами, касающимися Вас, а пишу Вам, как поживаю я. Слава богу. Вначале, когда я из Италии прибыл в Швейцарию, поживал я не весьма хорошо. То есть совсем-совсем нехорошо. Ха-ха, мне повредила Швейцария! Не смешно ли? И меня переправили сюда, тут я начинаю выздоравливать, и по-настоящему. Послушайте только: я уже купаюсь в холодной воде, как и Вы, ежедневно. Так немцы лечат легочных больных. Они полагают, что это новинка. Не знают (ослы!), что Дедушка Менделе лечится этим способом вот уже лет 40. Словом, все в порядке. И аппетит уже появился. И температура — так, пустяки, а кашлять — ни-ни! Пусть наши враги кашляют, если им хочется. А ходим мы здесь потихонечку и понемножечку, но уже в гору без палки. Все дело только в том, что они не говорят, сколько времени еще придется здесь пробыть и когда уже можно будет уехать домой, я имею в виду именно домой, пусть в Одессу, пусть в Варшаву, только бы перестать заниматься легкими и печенью, желудком и нервами, — тьфу, осточертело! Но должно быть, нет, не так скоро. На зиму они посылают меня еще выше. На какую-то гору в 2000 саженей высотой. К чему это? Подите спросите их. Словом, Вы уже все знаете. А теперь слушаем Вас. Как Вы поживаете? Вы поселились на лето под Вильно. Не плохо. Я там был. Конечно, с Женевой не сравнить, но это лучше, чем жариться на камнях в Одессе. Привет Вам от меня, моей жены, моих детей. А я просил, чтобы спекторскую «Найе велт» \* выслали Вам в Одессу. Я не знал, что Вы теперь виленский житель...

Ваш очень любящий внук

*Шолом-Алейхем.*

62

**В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ДИ НАЙЕ ВЕЛТ»**

*Лугано, отель «Регина», 10 сентября 1909.*

Многоуважаемые друзья Спектор, Загородский, Милштейн! \*

По словам моей жены, вы ждете от меня непременно романа и считаете, что он необходим для дела. Так знайте же, что в интересах вашей газеты и в интересах



дорогой нам литературы я готов исполнить ваше желание. Пора, право, произвести дезинфекцию в литературе, чтобы лицо не пылало от стыда из-за того, что мы дожили до пресловутого американского вкуса, из-за бульварщины, которую мы с таким трудом выкурили во время оно, двадцать лет назад. Я и сам ощущал потребность написать еще один роман после «Степеню» и «Иоселе-соловья», и тем закончить свою трилогию, как обещал когда-то (если не ошибаюсь, во вступлении к роману «Иоселе-соловей»). Там я говорил, что мой третий «герой» будет уже не свадебным музыкантом и не кантором, а чем-то больше, человеком более тонкой души, — артистом или художником. За истекшие двадцать два года обстоятельства, естественно, сильно изменились. Возникли новые идеи. Появились новые кумиры. Народились новые типы. Короче, я нисколько не раскаиваюсь в том, что не поторопился с третьим романом. Было бы куда лучше, если бы и те романы я написал теперь, а не тогда, они выглядели бы совсем по-иному. Ничего удивительного, что мой новый роман \* резко отличается по своему построению от тех двух. Я вовсе не собираюсь приспособливаться ко вкусам улицы, лишь бы сделать его интересным и увлекательным. Но по самому существу своему это увлекательная история, роман, полный поэзии, а также жизни, действия и, само собой, всевозможных картин и образов, — все в юмористическом плане, иначе я уже не умею, если бы даже и захотел стать плакальщицей. Я собираюсь осветить в своем произведении жизнь определенного круга в России, а затем в Америке. Фундамент моей постройки в нашей стране, а завершение свое она найдет в Америке — там происходит развязка. Пишу вам обо всем этом весьма приблизительно. Пока еще не могу дать вам ни названия романа, ни конспекта его содержания, но, во всяком случае, вы о нем уже знаете и можете даже выпустить первую ласточку (анонс!), но с толком. И всевышний, который дал мне силы до сих пор писать лежа и полужеле, с трудом и мучениями, и впредь меня не оставит, ибо писание — это единственное мое лечение, без него я бы давно уже очутился... ого-го!.. Да будет вам известно, дорогие друзья мои, я надеюсь — и очень хочу этого, — что мой роман сделает эпоху в нашей литературе и вместе с тем побьет рекорд в привлечении широкой публики. И пусть нашими руками исполнится

завет: «Искорени зло в себе», и без ругани, болтовни и пустой полемики, а мирно, на самый благородный манер, чтобы читатель и смеялся, и наслаждался, и хотел бы знать, что будет дальше. Аминь.

Ваш покорный слуга

*Шолом-Алейхем.*

63

### Н. ЗАБЛУДОВСКОМУ\*

*Санаторий ст. Блазень, Шварцвальд  
12 сентября 1909.*

Добрый, добрый друг, Нойах Заблудовский!

Благословен воскрешающий мертвых, — Вы, благодарение господу, живы! Откиньте прочь меланхолию, мрачность духа не к лицу хасиду из наших хасидов...

Хотите сделать богоугодное дело? Так и быть. Почему бы нет? И вот Вам тут же исполнение Вашего желания: как я понимаю, Вы едете просто так, пускаетесь в прогулку, удовольствия ради, в путешествие по «черте». Очень хорошо. Вы можете быть полезны и себе, и мне, и литературе вообще. Любопытствуете, каким образом?

Поскольку Вы знаете, я теперь вроде путешественника, коммивояжера\* по всем местам, где обретаются евреи (смотри «Найе велт»). Так вот, быть может, Вы смогли бы проделать следующее: прислали бы мне материал (сырье) из Гомеля, из Витебска, из Белостока, — откуда хотите, но такой материал, который мог бы послужить мне для моих «Железнодорожных рассказов». Тут должны быть типы, встречи, события, происшествия, злоключения, удачи, разные случаи, любовные истории, свадьбы, разводы, вещие сны, банкротства, празднества, — упаси боже, похороны, — одним словом, все, что видите и слышите, или видели и слышали, или услышите в пути, в гостинице, где хотите. Одно только хочу подчеркнуть: никаких вымыслов, только факты и факты! Жизнь богата фактами, полна курьезов, кругом множество несчастий, море слез, которым, пройдя через мою призму, не миновать обернуться смехом, они станут яствами в моем вкусе... Возьмите, к примеру, рассказ номер шесть — «Могилы предков». Это подлинная трагедия,

материалу в нем для модернистского романа на полгода. И все же, как он короток, как безыскусствен! Словом, Вы должны меня понять. Само собой разумеется, Вашего имени я не назову, а покажу Вас только в такой роли, как, например, в рассказе номер восемь «Чудо в седьмой день кушей» (выйдет к празднику кушей). Там у меня изображена встреча с гайсинским купцом. А Ваши рассказы будут у меня воспроизведены в виде новой встречи с другом, инкассатором Нойахом Элькесом, или подберите себе сами какое хотите имя. Понимаете? Я, Шолом-Алейхем, коммивояжер, встречаюсь в поезде с Вами, инкассатором, и вы мне рассказываете историю за историей.

Не старайтесь писать так, чтобы уже было готово к печати. Только разборчиво и на одной стороне листа.

И еще одно: название городов и имена людей должны быть подлинными. Я их сам уже переиначу там, где надо. Пойдет дело или нет? Ответьте.

Как прежде, Ваш

*Шолом-Алейхем.*

64

Д. ФРИШМАНУ

*Нерви, 19 апреля, 1910.*

Друг мой!

Из письма Берковича я понял, что мою русскую книгу \* Вы еще не получили. Больше месяца тому назад я распорядился, чтобы ее выслали Вам из Москвы. Сегодня я моим издателям крепко натер морду... Ваш ответ на это письмо я рассчитываю получить между первыми и вторыми днями праздника (какого? пасхи или кушей?). В Варшаве живет моя дочь, Тисей, или Эрнестиной, ее зовут. Она же имеет дочь (по законам природы дочь имеет дочь, а эта дочь потом тоже будет иметь дочь — и так до конца всех поколений). Зовут ее дочь, дочь Эрнестины, имею я в виду, Тамарой. Люблю я дочь Эрнестины, которую зовут Тамарой, так как люблю мать этой дочери, которую зовут Эрнестиной. Она, мать дочери, т. е. моя дочь, которую зовут Эрнестиной, в пятницу, в шестой день (пасхи, а не кушей!), 16/29 апреля, — именинница. И именно потому, что я очень-очень не

ненавижу ни мать дочери, ни дочь дочери, ни даже мужа матери дочери, ни отца дочки дочери — короче, Вы же видите, нитки кончились. Привет вашей супруге.

*Шолом-Алейхем.*

Р. С. Ровным счетом ничего.

65

Е М У Ж Е

*Нерви, Вилла «Розенгартен»  
22 ноября, 1910.*

Мой дорогой Фришман!

У берегов светло-серого Средиземного моря, под куполом синего неба, красными чернилами пишу я Вам в ответ на Ваше милое письмо, которое меня обрадовало. Слава всевышнему — Вы живы. Доказательство: Вы еще в состоянии иногда написать письмо.

Вы требуете от меня: «не вспоминайте о предыдущих письмах». Согласен. Ни звука более о них. Честное слово!

Смерть Левинского? \* Не говорите, горе, горе, которое не так скоро забудется. Он собирался ко мне (как и Вы, Вам назло — Вам на долгие годы) в Баденвейль, но отправился он совсем неведомо куда-то ввысь, в потусторонний мир — туда, где мы, я и Вы, когда-нибудь встретимся. Ну, и смеяться же мы тогда будем, до коликов в животе, вглядываясь в мир, который внизу, в этот глупый мирок идиотов, дурней, дикарей, зазнаек, нищих, невежд, эгоистов, лгунов, свистунов, делег, так сказать, врачей, царей, заносчивых дам — ха-ха! Уже заранее смеюсь, честное слово!..

Хорошо, что Вы напомнили мне о смерти. Я и сам иногда об этом думаю. Иногда ночью, когда не спится. А иногда и днем. Ибо стоит вообразить мир с его пустыми людишками, как непременно приходит на ум мысль о смерти. Вот Вам ассоциация идей. А с тех пор, как Реб Корев \* сыграл эту шутку, я все чаще возвращаюсь к мысли о том свете. На днях я... но давайте поговорим о более веселых делах.

Привет Вашей супруге. Скажите ей, чтобы она не мешала Вам писать мне письма. Так повелевает

*Шолом-Алейхем.*

## М. КАМИОНСКОМУ

10/23 VI.11.

Мир тебе, друг мой М. И. Камионский \*, мир!

Что с тобой приключилось, друг мой? Кто сказал тебе, будто я освобожден от элементарного нравственного правила — отвечать на письма и т. п.? Напротив, мой принцип всем известен: отвечать каждому, тем более такому другу, как ты, который по отношению ко мне вел себя во все дни моего проживания в Киеве как родной брат и товарищ. Своим письмом ты меня очень обрадовал, хотя о себе ты ничего не рассказываешь. Как поживаешь и чем ты занят? Как поживает твоя семья? Читал твои сочинения и получил истинное удовольствие от чистоты слога. Почему ты скрыл свое мнение о домашней Библии, нуждается ли она в транскрипции на языках идиш и иврит? Ты же переводчик не с чужого для тебя языка, перо у тебя хорошее, и читатель тебя знает. Лишняя скромность — это тщеславие. Если увидишь нашего друга — поэта Иегалела, передай ему привет от меня.

Будь здоров и ты, и твоя семья, как того желает тебе твой друг, который сейчас, как и всегда, высоко ценит тебя.

*Шолом-Алейхем.*

## МЕНДЕЛЕ МОЙХЕРСФОРИМУ

*Монре (Швейцария), Гранд Ри, 93  
15 октября 1911.*

Уже несколько дней, Дедушка, собираюсь написать Вам и все откладываю со дня на день. Во-первых, потому, что я не могу решиться вдруг обратиться к Вам с просьбой. Я никогда, кажется, не обращался к Вам с просьбой. И во-вторых, я болен не моей болезнью, благодарение господу, но от волнения. Это называется — я нервен. И изводит меня одна глупость, но так сильно, что ни за какое дело взяться не могу. Даже писать не могу, а это мне внове, как пьянчуге, простите за сравнение, кото-

рому вдруг опостылела водка, это — дурная примета. Но давайте-ка перейдем к «бизнесам».

У Вас в Одессе кому-то вздумалось издавать еврейский листок. Ну что ж, пусть листок, кого это трогает? Так нет же, захотелось ему этот листок назвать не иначе, как «Шолом алейхем»\*. Услышав об этом, я тотчас же написал Равницкому и самому редактору и получил от них обоих письма, которые еще больше меня взволновали. Редактор позволяет себе насмешки. Он говорит, что лишь после того, как принял решение издать листок под названием «Шолом алейхем», он вспомнил, что существует писатель Шолом-Алейхем... Ну и совпадение, что и говорить! Излагать Вам мотивы, по которым я не могу мириться с этим, считаю излишним, Вы сами хорошо все понимаете. Но вижу, что все мои старания ни к чему не приведут, пока Вы, и только Вы, не окажетесь так добры и не придете мне на помощь. Вам нужно только позвать к себе этого редактора, его зовут Янкевич. Его адрес: Пушкинская, 57. Подарите мне десять минут и переговорите с ним, я уверен — все будет сделано. Клянусь Вам всем святым, я так пришиблен этим пустяком, что не знаю, как мне быть! Прошу Вас, сделайте это ради меня. Ваше слово подействует лучше всяких переписок.

С любовью, Ваш внук

*Шолом-Алейхем.*

68

ГОСП. КАМИОНСКОМУ, В КИЕВ

*Нерви. 27.2.1912.*

Друг мой!

Ты меня обрадовал своими милыми словами. Они свидетельствуют о том, что я сею семена не на совсем каменистую почву. Если найдется один, как ты, мой дорогой, из тысячи один в каждом городе, то это для меня вполне достаточно. Сие и есть плата за мой труд. Но что говорит простой читатель, скажем, еврейская читающая публика в твоём городе? Читатель типа «уважаемый», читает ли он мои произведения после того, как вдоволь в годы оные напищался «Дамой в вуали»?\* И не отдаёт ли он ещё до сих пор предпочтение «Даме в вуали», нежели моим рассказам? Сам свет ещё недо-

статочен, нужно, чтоб он прогнал тьму. Если ты мне по сему поводу напишешь, то я вечно буду тебе благодарен. Хотя я в Нерви, но здоровье мое улучшается с каждым днем. Через неделю возвращусь домой в Кларан, Рю-ди-Ляк, 15.

Остаюсь твоим с любовью.

*Шолом-Алейхем.*

69

Д-РУ ЭЛЬЯШЕВУ

*(Кларан) 28 июля, 1912.*

Любезному доктору Эльяшеву, псевдоним которого «Баал-Махшовес»! \*

На сей раз Вы так подписались, посему и я к Вам так обращаюсь.

«Еврейский твой народ нуждается в заработке» \*. Потому, говорите Вы, нет никакой беды в том, что *писатель*, к тому же *еврейский*, наполняет свой роман старыми газетными статьями \* и т. п.

Поначалу меня это сильно задело, мне захотелось смеяться, смеяться так громко, чтобы смех мой дошел до Вас в Гейдельберг. Затем я решил воздержаться. Ведь это говорит не \*\*\*, который мне однажды сказал, что писатель пишет лишь ради заработка, а европейски образованный, умный Баал-Махшовес. Он утверждает почти то же самое, но в более циничной форме. Как же не смеяться? Как можно удержаться от смеха? Вы попали пальцем в небо! Друже Баал-Махшовес! Не только теперь, когда я независим от «Хайнта» и могу, слава богу, прожить за счет своих произведений, которые расходятся в десятках тысяч экземплярах, но даже в трудные годы, когда я находился в безысходной нищете, искал ссуду для уплаты за «правоучение» детей в гимназии, что было связано с моим «правожителеством» и существованием, — даже тогда я не способен был подсовывать редактору «старые газетные статьи» ради заработка. Роману, который я сейчас пишу, я отдаю всю силу своего умения, свою кровь и мозг; роман этот полируется и шлифуется, многократно переписывается, не менее шести раз переписывается каждая глава (чаще — десять раз). Единственное оправдание Вашему письму (я его сохранию на память, авось иногда

опубликуют наши письма, когда мы оба будем уже лежать в сырой земле...) — это Ваше признание в том, что Вы мой роман не читали, а Ваше суждение основывается на слухах. Я не против критики. Вы прочтете роман и, быть может, скажете, что он никуда не годится. Но если Вы будете утверждать, будто он написан, исходя из девиза «еврейский народ нуждается в заработке», то вспомню \*\*\* и буду смеяться. Во-первых, буду смеяться потому, что это вздор. Убежден, что любой писатель, не только Шолом-Алейхем, но и менее одаренный, хочет дать самое лучшее. Во-вторых, буду смеяться потому, что наши критики никакого понятия не имеют о психологии писателя. Вы пишете в Вашем письме: «Это мое мнение, а Вы как считаете, маэстро?» Видимо, Вы ожидали от меня: «Ну, конечно же, что еврей не делает ради заработка?» И по-Вашему — это было бы «в порядке вещей». Вот что меня смешит! А о «слухе» по поводу протокольных статей, я догадываюсь, кто мог быть его источником. Но о нем помолчу, мне хочется только смеяться. «Источник!» Я его понимаю. Он мне, разумеется, друг и хотел бы, чтобы Шолом-Алейхем перестал быть Шолом-Алейхемом. Глупцы! Идиоты! Они не понимают, эти добрые мои друзья, что Шолом-Алейхем только теперь засучил рукава и начинает быть Шолом-Алейхемом. Но хватит о Шолом-Алейхеме. Что у Вас хорошего? Ваше-то здоровье какво? Не собираетесь ли Вы в Швейцарию? Я на этой неделе хочу посетить Бернер-Оберланд: Берн, Шпиц, Тун, Беатенберг и т. д. Авось встретимся где-нибудь? Потолкуем, только не о «заработке»?..

Ваш Шолом-Алейхем.

70

### Ш. НИГЕРУ\*

*Кларан, 2 сентября, 1912.*

Глубокоуважаемый друг Нигер!

Прочтите письмо г. Шнейфала\* в газ. «Дер фрайнд» (№ 183) о еврейском восьмидесятилетнем писателе\*, который стал разносчиком газет. Факт этот потряс меня. Я написал письмо в газ. «Хайнт» и готов ради старика писателя выступить на вечерах у Вас, в Берне и Генфе. Прошу дать согласие на Ваше участие, и сообщите мне,



когда и где состоятся выступления, — разумеется, в начале семестра<sup>1</sup>.

А теперь о Вашей объемной статье в «Лебн ун висншафт»\*. Не хватает слов, чтобы похвалить Ваше глубокое понимание моих вещей. Думаю, что Вы один из тех, кто скажет первое и важнейшее слово о том, кто подписывается

*Шолом-Алейхем.*

**ВВ.** Если Вам хочется еще побывать в горах, то приезжайте к нам, Вы бы имели удовольствие послушать, как я читаю Вашу статью в кругу моих домашних; они давно хотят ее услышать, но у меня на это *не хватает времени*. Если Вы здесь будете, тогда другое дело. Тогда время *найдется*.

*Тот же.*

## 71

### И. Д. БЕРКОВИЧУ

*Берн, 18 января, 1913.*

Мой дорогой сын! Через Эмму я из Лозанны отправил Тиси несколько слов, чтобы успокоить ее. Пусть не подумает, будто я болен. На самом деле нахожусь не в Лейзене и не в Лозанне, а в Берне, в клинике Лиденгофа, под наблюдением опытного и знаменитого профессора, со мной жена. Состояние мое плохое. Не приезжай сюда, я бы умер, так как лейзенские врачи ничего не понимают... Я телеграфировал другу Нигеру, и он отыскал этого специалиста... Муки и боли, которые я ощущаю, не поддаются описанию. Все муки ада ничто по сравнению с теми, которые я претерпеваю. Большое спасибо Нигеру, проф. Рейхсбергу, доктору Лифшицу и другим, кто навещает меня. Когда кончатся мои мучения, не знаю. Профессор меня успокаивает, говорит — скоро, но я не верю его обещаниям. Счел необходимым поставить тебя в известность, чтобы ты узнал это не от других. Главное моя дочь. От нее ты должен скрыть содержание этого письма. Чем дольше, тем лучше. Вдруг еще придет облегчение. Пиши мне по вышеуказанному адресу. Тиси ничего не должна знать.

Остаюсь твоим отцом, который любит тебя.

*Ш.*

<sup>1</sup> Весь сбор пойдет в пользу старика. Об этом надо объявить в афишах. (*Прим. Шолом-Алейхема.*)

Берн, 25 января, 1913.

Мой дорогой сын!

Я еще все тяжело болен. От тебя ничего не поступило. Для преодоления своих горестей и мук пишу время от времени для «Пинкеса» \* Нигера автобиографию, которую я начал, будучи в Нерви (помнишь?). А ты Нигеру не ответил, он очень сердится. Всю автобиографию я ему не дам, только первые три главы. А с остальными не знаю что делать. К кому мне обратиться и кому их послать? Может быть, оставить их в письменном столе, пусть публикуют после моей смерти?

Главы хорошо читаются, как хороший роман.

Твой отец *Шолом-Алейхем*.

Берн, 23.1.13.

Вот мой теперешний адрес: Линденгоф, Организация Красного Креста для ухода за больными, Берн, частная больница № 82.

Очень дорогой мой Котик!

Вы хотите получить от меня письмо, потому что оно для вас, вы говорите, праздник. Иду вам навстречу, но у вас будет, боюсь, омраченный праздник: пишу из больницы, куда я приехал умирать. Но, представьте себе, не так скоро умирает Шолом-Алейхем. И вот уже несколько дней, как мне вдруг даже лучше стало, и я еще смогу, кажется, закончить свою автобиографию, которую начал писать в 1908 году, когда заболел туберкулезом в Барановичах, если помните. От туберкулеза я излечился: народ меня у смерти отмолил. Что теперь будет — не знаю: пока не лучше. Я уже кое-как передвигаюсь, но муки мои еще не кончились. Все же — пишу и пишу. А главное — хочу описать всю историю моей жизни. Она представляет некоторый интерес для литературы, потому что в ней проходят все наши писатели со всей их литературой. Простите, много я сегодня писать не могу. В понедельник мне было совсем плохо. В женевской синагоге молились. Конечно, Женева не Каменец и не то богослужение; тем не менее и тут жи-

вут евреи, женщины, девушки, студенты и просто еврейская молодежь, которые не хотят, чтобы я вдруг взял да помер, и это придает мне силы. Но в конце концов разве что-нибудь поможет? Мне немного жаль литературу и немного жаль детей. Мои дети еще молоды. Сам же я смеюсь над этим глупым миром, верьте слову!

Пишите письма, старичок, и заканчивайте ваши книги!

Ваш *Шолом-Алейхем*,

74

#### МЕНДЕЛЕ МОЙХЕРС-ФОРИМУ

*Линденгоф  
Организация Красного Креста  
для ухода за больными  
Берн, частная больница № 82  
Берн, 31.1.13.*

Дедушка! Дедушка!

Сегодня такой день, что мне полегчало и хочется написать Вам несколько слов. Вы уже стороной узнали, что я очень, очень болен. Но меня обнадеживают, говорят, что я еще буду жить. Право, не так уж боюсь я смерти. Мне только жаль детей. Они меня странно любят. Моя Тиси \*, к примеру, ничего ни о чем не подозревает. Я пишу ей в письмах разные глупости о Лозанне, а сам я в Берне, в клинике. Что со мной будет, не знаю. Но кажется, что у Смерти я выпросил отсрочку, и мы еще увидимся с Вами в Одессе, и, ой, смеяться же мы будем! Будьте здоровы и излейте душу перед моим Берковичем. Он мне — родное дитя. Я давно уже должен был написать Вам поздравление. Пусть Ваши дети доставят Вам столько радости, сколько мои — мне. Дайте мне Вашу руку, Дедушка, и благословите меня!

Ваш первый внук *Шолом-Алейхем*.

75

#### И. Д. БЕРКОВИЧУ

*Берн, 1 февраля 1913.*

Сын мой, дорогой мой Беркович! Прошлой ночью я одной ногой уже был в могиле. Оставался один шаг между мной и смертью. Я много кричал и еще больше

плакал, что не увижу Тиси перед смертью. Но вот пришел профессор, сделал все, что нужно, и мне стало немного легче. Сегодня днем он еще раз придет сделать мне подкожное впрыскивание, чтобы заглушить боль, пока природа будет делать свое. Но я не очень сильно верю в это... Может быть, я излечусь, а может быть, уйду в могилу. Очень страдаю при мысли, что не увижув и не увижусь со всеми вами. А вы, которые так привязаны ко мне, живите все. Вообще я не слишком огорчаюсь, что моя жизнь обрывается. Я достаточно жил, имел много почета при жизни да еще какое-то наследство после смерти оставляю моему народу, который я люблю великой любовью. Но эти юные агнцы, чем они согрешили? А агнцы еще очень юны! Тамара и Белла \* меня уж совсем не будут помнить; даже Нума не достиг еще совершеннолетия. А моя жена, любимая всей душой, — увы! — что с ней будет? Сегодня консилиум решит, что делать. Приведенные в твоём письме случаи с различными людьми, пережившими такие же боли, вызвали у меня смех. Ведь я всю ночь буквально землю грыз, мои вопли доходили до неба. Передай привет моим друзьям: Бялику, Равницкому и всем нашим близким. Мне очень обидно, что нет возле меня никого, кому я мог бы диктовать мои последние слова. Человек так глуп, что откладывает со дня на день свое завещание. Доктора уверяют меня, что есть еще надежда. Поживем — увидим. Пока пиши мне каждый день.

Твой отец, пишущий тебе с омраченным духом, но при ясном разуме.

Ш.

76

И. Д. БЕРКОВИЧУ

*Берн, 4 февраля, 1913.*

Мой дорогой сын!

Я спал девять часов подряд. Боли утихли. Врача еще не было. Но чувствую, что опасность миновала, есть надежда, что я выздоровею. Маруся была делегирована, чтобы разузнать о состоянии моего здоровья. Теперь она возвращается в Лозанну. Будь здоров и пиши мне.

Любящий тебя отец

*Шолом-Алейхем.*

*Берн, 26 февраля 1913.*

Мой дорогой любимый сын!

Я больше не пишу тебе по-древнееврейски, — вдруг письмо попадет в руки Тиси. Я уже поднялся и буду сегодня гулять, и я уже снова стал человеком, и я уже громко смеюсь, и я уже снова надеюсь жить, и писать, и путешествовать, хотя лечиться мне еще, разумеется, надо. Но лечение можно продолжить дома, и моей радости нет предела, когда я вспоминаю, что всех вас увижу, и с Тamarой буду беседовать, и Беллу держать на руках, и с Тиси прогуливаться, и мои книги смогу читать, и даже бутылочку вина распить с добрыми друзьями, и публику, которая, кажется, немножко меня любит, приветствовать и смешить, — в общем, огромный мир передо мной открыт, а я ведь был на краю могилы, и повергнут в отчаяние, и почти готов распрощаться с солнцем, которое я так люблю, с небом, которое, я всегда думал, принадлежит мне, с землей, которая терпеливо носит меня, и с людьми, которых я почти всех считаю моими родными и близкими. Писать завещание\* я пока раздумал, и это глупо. Целую вас, Тиси и Тamarу.

Твой отец *Шол.*

*Вена, 1 марта, 1913.*

Вчера мама сообщила вам приятную вестъ: проф. Цукерандель отменил операцию и освободил нас от кошмара. Об этом я телеграфировал Равницкому. Мы отправляемся через Венецию, которую Беркович не возлюбил, в Нерви. Вы, конечно, представляете себе, как мы с мамой радуемся. В Швейцарии Кохер (тоже знаменитость) напугал нас своим диагнозом: операция, иначе — капут! (Этот кровожадный Кохер после двухминутной аудиенции даже назначил цену: 1000 франков. От самой аудиенции мне уже дурно стало!) Профессор Цукерандель прописал мне режим и окончательно отбросил всякую мысль об операции, советовал поехать в

Нерви, чтобы отдохнуть и успокоить нервы. Едем на месяц. Можете писать на мое имя в Нерви, гостиница «Эден». Целую вас и прошу совсем успокоиться.

Па [па].

79

### Ш. НИГЕРУ

*Нерви, Хотел «Эден», 31 марта 1913.*

Лучший друг Ш. Нигер!

Я вполне здоров.

Уже приступаю к работе в газ. «Хайнт». К пасхе и для пасхи, по всем правилам, по-настоящему.

Получил письмо от Берковича о его переговорах с Бергельсоном \*. Идет на лад, но все еще не очень определено. Беркович пишет: они могут напечатать автобиографию... \* Они могут платить по 100 рублей за лист плюс матрицы... они могут печатать один лист в месяц... они могут дать аванс в сумме 600 рублей.

Вся эта история напомнила мне, как Шолом-Алейхем играл с приват-доцентом Файтлом Лифшицем \* в «66». Сидит Лифшиц и ломает себе голову, какой картой пойти: пикой или трефой? Знать бы ему, говорит он, какие же карты у Шолом-Алейхема! На что я ему отвечаю: человеке, зачем Вам голову ломать, могу показать Вам свои карты.

— Серьезно? Ну, пожалуйста! (Он оживленно поднимается со стула.)

— Что, пожалуйста?

— Покажите, чем Вы располагаете.

— То есть как это я Вам покажу, чем я располагаю?

— Вы же сказали, что Вы можете мне показать Ваши карты.

— Могу, но не хочу.

Одним словом, жду Вашего письма. Говорят, Вы там редактор, следовательно, самый главный. Поздравляю! Искренне рад.

Ваш Шолом-Алейхем.

P. S. Только что получил письмо от г. Калмановича \*. Он не согласен с предложением Бергельсона. Калманович пишет, что автобиография не может пойти в журнал. Итак, кто же прав?

6/IV 1913.

Мой друг Широ!

Я обещал поговорить с вами о моей «Автобиографии». Дело обстоит так. Я давно уже хотел взяться за историю моей жизни. Кроме того, что она сама по себе занимательна, что она представляет собой роман о своеобразном Менахем-Менделе, который проделал путь из маленьких людей в большие, а из больших в еще большие, потом сорвался вниз, затем снова возвысился, но уже в другом мире и с другими интересами; кроме того, что герой моей автобиографии повстречался с разного рода типами, купцами, большими, малыми и средней руки, и с миллионерами и был с ними знаком совсем, совсем близко. Кроме всего этого, на моих глазах (и вместе со мной) выросла целая литература, наша еврейская литература. Целое поколение сочинителей, целая галерея писателей, больших и малых, молодых и старых, всяческих мастей и различных талантов — и все это мои хорошие знакомые, а некоторые — мои добрые друзья. «Ваша биография — это история нашей литературы, — пишет мне один молодой критик из новых. — Ваш долг как можно скорее взяться за работу. Это будет если не лучшее, то необходимейшее и полезнейшее, а также удачнейшее из всего, что вы до сих пор писали». Теперь я взялся закончить то, что я уже давно начал, и мне кажется, что тот молодой критик, о котором я вам говорю, не ошибся. Боюсь, что это будет не только лучшая, но и единственная моя удачная книга.

А теперь начинается «история об истории», канитель на тему, «где печатать такую книгу». В ежедневной газете нет места для такого крупного произведения. Толстых ежемесячных журналов у нас еще нет. Издать это произведение в виде книги у моего всегдашнего издателя — мне жаль моего гонорара. Я ведь наказан богом согласно библейскому стиху: «И ты будешь жить мечом твоим»\*.

Мой варшавский издатель обязан издавать только то, что ранее прошло в газете или журнале. То, что я получаю от журнала, это моя чистая прибыль. Книги — мой последующий доход. В данное время я веду переговоры с одним виленским предпринимателем, который

предлагает сто рублей за печатный лист (в биографии будет от 25 до 30 листов), а я хочу 200 рублей за лист. И еще тут есть один недостаток: виленский предприниматель хочет печатать ее в своем ежемесячном издании «Ди идише велт» 1 лист в месяц, это значит ни много ни мало — растянуть печатание на 2 или 2½ года. — Неудобно! Главное, чего я хочу, — чтобы биография была, поэтому надо ее закончить. Но так как я вынужден писать и другие вещи (очерки) для заработка (с пасхи в «Хайнте» начнут печататься письма Менахем-Мендла к его жене Шейне-Шейндл), то я буду каждый день понемногу продолжать мою «биографию». Я называю ее здесь «биографией», а не «автобиографией», потому что избрал форму «биографии», то есть автор говорит с читателем о себе в третьем лице. Чтобы вы меня правильно поняли, посылаю вам отдельным пакетом первые несколько глав и прошу вас в свободный час дать себе труд просмотреть их, вдуматься и потом письмом высказать мне откровенно свое мнение, что вы думаете об этом? Не делаю ли я ошибки, придавая столько значения этой книге? Считаю вас лучшим критиком не потому, что вы критик, а потому, что у вас глубокий и широкий взгляд на мир и на людей. Жаль только, что книга пока не сможет дать мне того дохода, который мне причитается по справедливости. Нет у нас литературы, как у других людей. Нет у нас меценатов, как у других народов. Я буду, вероятно, мучиться, но кое-как доведу книгу до завершения и в конце концов все-таки издам ее сам в виде книги, как давно печатавшуюся вещь, — что поделаешь?

В том, что вы мне эти главы вернете, я убежден после того, как вы мне вернули «Блуждающие звезды». До вашего ответа на оба моих письма прощаюсь с вами и дружески целую.

Ваш благодарный друг

*Шолом-Алейхем.*

81

Е М У Ж Е

*Лозанна, 30/IV 1913.*

Глубокоуважаемый и дорогой друг Шриро!

Ваше любезное письмо от 6/19 апреля было мне переслано сюда из Нерви, — мы уже снова в Лозанне.



Соглашаюсь с вами в том, что моя автобиография должна была бы быть более литературной. Этим вы, вероятно, хотите сказать, что я должен уделять больше места литературе и меньше говорить о себе. Так оно и будет. Пока ведь это только начало, описание моего детства. Птичка только вылупилась из яйца, — это еще только, как пишут в книгах, «эмбрион». Дальше все будет расширяться и углубляться, откроются новые горизонты, число типов и картин будет умножаться, как песок на берегу морском, а вместе с тем будет выясняться и личность автора, сначала как человека, потом как писателя. Так постепенно дойдем мы до самой сути дела, — до еврейской литературы с ее пророками и лжепророками, с ее ценными творениями и с гнилыми. Но не один литературный мир будет здесь фигурировать. Перед читателем пройдут, как в кинематографе, целые картины из купеческой жизни; вся биржа с ее настоящими и воображаемыми Менахем-Мендлами, которую я наблюдал в Киеве (Егупце) с тех пор, как мне было 23 года, и до последнего времени. Развернется целая цепь движений нашей общественной жизни: хасиды, миснагды, ассимиляторы, националисты, ховвейцион\*, сионисты, территориалисты, социалисты — все, что пережил я сам. Все это не выдуманные, а живые люди, которых я прекрасно знаю и вижу насквозь, — словом, это будет не моя биография, а история всего нашего еврейского мирка. Попутно же выяснится и моя фигура — как человека и писателя, и если я местами (как, например, когда речь идет о Шмулике) и делаю сокращения, то только с одним намерением: не задерживаться долго на одном месте, а безостановочно идти вперед к настоящей цели. Но я не хотел бы, чтобы вы показывали рукопись чужим людям и моим землякам — воронковцам. Я доверил ее лично вам и никому больше, и ни одна живая душа не должна ее видеть, пока она не выйдет из печати.

А теперь о «деловой» стороне.

Я, конечно, с радостью принимаю ваше предложение. При моем теперешнем бюджете триста рублей в месяц — большой плюс. Но не будем говорить лишних слов. Не будете ли вы так добры распорядиться в конторе, чтобы ваш кассир каждое первое число переводил мне деньги по почте (или через банк). Пусть запишет у себя в книге мой адрес и пусть начнет высылать деньги с 1/14 мая с. г. и высылает их до 1/14 апреля буду-

шего года. Потому что вы ведь еврей, заваленный делами, да еще, не в обиду вам сказано, рассеянный, если не такой рассеянный, как мой герой Шахне (см. в «Хайнте», в номере, вышедшем в канун пасхи, мой рассказ «Из-за шапки»), то, по крайней мере, как Шриро из Баку, который пишет письмо, потом засовывает его в карман и носит с собой три месяца. Я же, со своей стороны, буду потихоньку писать автобиографию и отсылать вам главу за главой, и через год, надеюсь, то есть к концу апреля 1914 года (а может быть, и раньше), книга будет закончена. Принимаю я, само собой разумеется, и все ваши условия за исключением одного пункта, который может убить меня в смысле заработка. А именно: у меня с газетой «Хайнт» условие, по которому я не могу напечатать ни одной строки ни в одной варшавской газете, ни в одном журнале. В Вильне же я могу печататься в журнале (но не в газете) у того самого Клецкина, который предложил мне 100 рублей в месяц. Вы же пишете что-то о варшавских газетах «Момент» и «Фрайнд». Это совершенно невозможно. Яцкан \* меня за это убьет, да и вас пристрелит.

Будьте добры, когда начнете вести переговоры с издателями, напишите им, пожалуйста, что вы купили у меня мою книгу — автобиографию — в качестве мецената, хотите издать ее через их посредство и т. п.

То же можете вы сделать и с американскими жуликами. Предупреждаю вас, впрочем, заранее, что с этим народом вам ничего сделать не удастся, а если и удастся, то вы потом сами не рады будете. Они напечатают вещь, а потом за один доллар продадут обоих нас, и вас и меня. Они могут, например, как-нибудь ввезти книгу в Россию и создать, таким образом, конкуренцию русскому изданию, — словом, они будут вам делать всевозможные неприятности и пакости, даже если вы будете о трех головах и заключите с ними десять контрактов (на их воровском жаргоне это называется «агримент»). Не забудьте, что и наши русские издатели имеют в Америке отделения и что тамошний рынок для нас открыт. Не стоит из-за нескольких сот долларов создавать конкуренцию самим себе и наживать себе кучу неприятностей.

Итак, я резюмирую все пункты: прежде всего надо попытаться выпустить книгу в виде приложения к «Хайнту», — только не к «Моменту», — или же издать ее

отдельными выпусками. И после издания, скажем, у Яцкана в виде приложения, выпусками ли или отдельной книгой, у нас еще остается навсегда право издать потом книгу в издательстве «Централ». Должен вам сказать, что в «Централе» мои книги почти ежегодно выходят новым изданием, — иначе разве стали бы они платить мне пять-шесть тысяч в год? Надеюсь, вы будете добры известить меня своевременно о ходе ваших переговоров с издателями. Несмотря на то что я Менахем-Мендл, а вы — опытный делец и лучше знаете, что и как следует делать, чтобы получить побольше денег, я все же посоветую вам не пренебрегать моими советами. И Менахем-Мендл может подать иногда хороший совет.

Надеюсь, что, прочтя следующие главы, вы измените свое мнение о субъективности биографии. Половину работы нельзя показывать не только глупому, но и умному человеку, а уж одно начало работы и подавно.

Кончаю наконец.

Остаюсь ваш Менахем-Мендл — тьфу! Я хотел сказать — ваш

*Шолом-Алейхем.*

82

М. БЕЙЛИСУ

*Начало декабря 1913.*

Любезный друг Менахем-Мендл Бейлис!

Я Вам до сих пор не писал, так как вокруг Вашего имени было слишком много шума. Что Ваша история мне, как и всем евреям, стоила много здоровья — Вы сами хорошо понимаете. А что ее исход меня радовал, об этом писать излишне.

А теперь примите мое поздравление. Дай бог, чтобы мир больше никогда не услышал ни единого слова клеветы на наш народ, чтобы на Вашей истории все это и закончилось...

Я отдал распоряжение своему издателю в Варшаве, чтобы Вам выслали мои книги — рассказы в шестнадцати томах, написанные на языке идиш. Буду рад, если Вы, после того как отдохнете, будете иногда заглядывать в них, забудете свои муки, будете смеяться, а быть может, и утирать слезу!..

Засим я бы Вам посоветовал (какой же я еврей, если не посоветую?), как Вам дальше жить, собраться ли в

Америку и т. д. Однако я думаю, что советами Вы сыты. Поступайте так, как Ваш собственный разум Вам подсказывает. Кланяйтесь Вашей супруге и детям. Не уверен, знаете ли Вы меня. Я Ваш земляк, лет двадцать прожил в святом Киеве, а имя мое

*Шолом-Алейхем.*

83

**ВНУЧКЕ ТАМАРЕ \***

*Лозанна, 10 января, 1914.*

Дорогая Тамара!

Получил твое письмо, и мне стало не по себе, я так давно тебе не писал. Все пишу и пишу книги, а тебе ни строчки! Но это не означает, что я тебя забыл, совсем наоборот, пишу и думаю: а что скажет Тамара, когда будет читать мои произведения? Значит, я не забыл, правда? Передай привет мадам Белле Кауфман, скажи ей, что она пишет, как курица на песке. Целую тебя и думаю: когда же наступит лето?

Твой папа

*Шолом-Алейхем.*

Забыл тебе сказать, что когда я был в Париже, то мне довелось увидеть девочку с обезьянкой. Было холодно, обе мерзли, обе дрожали и просили кусочек хлеба. Их было так жалко, что я чуть не заплакал.

Забыл рассказать тебе и о том, как на улицах Парижа кинематограф показывает комические картинки, от которых смеются до коликов в животе. Хоть один раз ты обязательно должна поехать со мной в Париж. Расцелуй за меня мамочку, и папочку, и Лялю, и Беллу, и Михаила.

84

**ЯКОВУ П. АДЛЕРУ \***

*Лозанна, пансион «Гелиос», 20 января 1914.*

Большому художнику и мастеру  
еврейской сцены, мистеру

Джейкобу П. Адлеру. Нью-Йорк.

Несравненный мастер!

Посылаю Вам через моего друга Джайкоба Сапирштейна пьесу \*, которую я переработал из ряда моих

635

произведений, написанных за двадцать лет. Я над нею изрядно потрудился и вложил в нее большое содержание. Работая над главным героем, я все время имел в виду Вас, маэстро; только такой артист, как Вы, сумеет создать и представить его подлинный, живой образ, потому что только Вы почувствуете его душу.

Большой мастер сцены! В моей пьесе Вы не найдете тех эффектов, которыми пичкают уже столько лет еврейскую публику, посещающую еврейский театр. Ни душераздирающих слезливых сцен с мертвыми и живыми трупиками в детских кроватках, с безумными женщинами, с взлохмаченными девицами, кричащими, как в доме умалишенных, чем доводят до слез все Бауэри; нет и приторно сладких, рассчитанных на национализм невежд, патриотических песенок, не стоящих никеля\*, тогда как со зрителя дерут кводер; \* нет и постояльцев, влюбляющих в себя распутных скромниц и стреляющихся на глазах у публики; нет и пошлых острот и щекотания кончиками пальцев под мышками — ради того же вожделенного кводера. Нет, не ищите всех этих штук, — у меня Вы их не найдете. Зато Вы найдете еврея, отца пятерых дочерей — он простой человек, но цельный, честный, чистый, страдающий, который при всей своей трагичности смешит слушателя от начала до конца. Смешит не затем, чтобы осмеивать, а чтобы веселым смехом вызвать симпатии и сочувствие к его великим страданиям и малым горестям. Все четыре акта представляют собой четыре малых трагедии, а взятые вместе, они составляют одну долгую жизненную трагедию еврейской семьи. Я это так и назвал, не крикливо: «Семейные картины в 4 актах». Не комедия, не трагедия, хотя она носит в себе элементы обоих жанров. Пора уже, пора Вам, большой мастер, в осеннюю пору своей артистической карьеры выйти на сцену в представлении из подлинной еврейской повседневной жизни. Хорошенько вчитайтесь, вдумайтесь, и Вы увидите, что покажете чудеса, что именно в таком представлении без претензий, без пустых эффектов, без выжимания слез и без натужного смеха Вы покажете себя во всем своем подлинном размахе и создадите одну из лучших, любимейших ролей, где Вы будете привлекательным и любимым, будете вызывать и здоровый смех, и сочувственный вздох, и непринужденную тихую скрытую слезу. Хочу думать, что это станет Вашей коронной ролью на Вашем долгом арти-

стическом пути прежде, чем Вы расстанетесь с вашей профессией, дай бог, чтобы это произошло не так скоро, аминь!

Один из Ваших горячих почитателей

*Шолом-Алейхем.*

Р. С. При распределении ролей Вы роль Хавы, собирающейся принять христианство, будьте любезны передать миссис Адлер. Она проведет ее блестяще. Остальные роли — Вашим дочерям, которые, как я слышал, одарены от природы и от Вас по наследству. Короче, это Ваша фамильная пьеса.

*Шолом-Алейхем.*

85

#### Д. ПИНСКОМУ

*Лозанна, 6 февраля, 1914.*

Глубокоуважаемый коллега и друг Довид Пинский!

На днях у меня гостил Х. Житловский\*. В беседе с ним я ему рассказал о том, что написал пьесу и хотел бы ее отправить в Америку для еврейского театра, но не знаю, через кого. На это Житловский мне ответил, что в Нью-Йорке я имею искреннего друга, замечательного и честного, который мне очень предан.

— Как его зовут?

— Довид Пинский.

Сие предисловие, засим перехожу к бизнесу.

Мои друзья, почитатели и критики, люди знающие, пришли к выводу, что корона моего творчества — «Тевье-молочник» и семь рассказов о его дочерях. Они утверждают, будто «Тевье» — это особый мир. Я, разумеется, ничего сказать об этом не могу. Я знаю только одно, что в течение двадцати лет, на протяжении которых создавал историю Тевье, я чувствовал, что все мои симпатии на стороне этого простого и цельного человека. Жаль, сказали мне, что сей образ до сих пор не показан на сцене. Он и автора прославил бы, и стал бы грандиозной ролью для хорошего актера. Слова эти запали мне в душу, и в прошлом году, когда я читал рецензию

на игру Шильдкраута \* на еврейской сцене, мне сильно захотелось превратить «Тевье» в пьесу для великого Шильдкраута. Но пока я ее творил, я узнал о страшном провале великого артиста ввиду его действительной или мнимой хрипоты. Пьесу свою я забросил и глубоко запрятал в письменный стол. Однако этой зимой я вновь взялся за «Тевье», вспомнив, что в Америке имеется великий художник мистер Джейкоб Адлер, хотя и трудный на подъем человек, но артист он прекрасный. И узрел я, что «Тевье» создан только ради него. Итак, засел я и переписал всю пьесу — один раз и еще раз, еще и еще, как это мне свойственно, и вещь готова. Писал я кой-кому письма, запрашивал, но из этого ничего не вышло, а теперь, кажется, я на верном пути, связавшись с Вами, дорогой коллега и друг. Однако я Вашего адреса не знаю, потому пишу третьему лицу и прошу Вас, как брата, откровенно сообщить мне: хотите и можете ли Вы мне помочь? Если да, то я пришлю пьесу на Ваш суд, в полном смысле этого слова, то есть буду просить Вас прежде всего самому ее полистать, затем вступить в переговоры с импресарио, с Адлером, прочитать ему пьесу, продать ее, быть на гриме, на премьере, то есть представлять меня во всех смыслах.

Название пьесы: «Дочери Тевье», бытовые картины в четырех действиях. Действующие лица: Тевье, его жена Голда, пять дочерей, несколько русских, несколько евреев, слуги — и все. Никаких эффектов, грубых шуток, патристических стишков, мертвых детей и т. п. вещей в ней не содержится. В ней и трагические и комические ситуации, и шутки, и песенки, и острые сцены, и пение. А главное — это то, что с первого акта до закрытия занавеса Тевье работает на все тяжкие, публика смеется, и с развитием событий все больше и больше влюбляется в него. А если Тевье будет играть Адлер, то этот образ станет его коронной ролью, а сам Адлер навсегда станет любимцем публики. И роль Голды (для мисс Адлер) такая же сильная, и еще три-четыре сильные роли трех-четырех дочерей (Годл, Хава, Шпринца, Бейлка). В общем, все ол райт! Даже работа для комика найдется, правда только в первом акте. Однако много комизма, естественного, здорового комизма в самом Тевье, переплетенного с трогательным трагизмом. А язык? О таком языке актер может только мечтать. Уснащенная библей-

скими стихами речь Тевье, с своеобразным их толкованием! Итак, я жду Вашей телеграммы. Сердечный привет Вашей супруге.

*Шолом-Алейхем.*

P. S. В каких Вы отношениях с Адлером — мне неизвестно, удобно ли Вам зачитать ему это письмо от альфы до омеги? Читал о его занятости с каким-то «Клеветником»\*. Не мешает ли он мне? Кроме телеграммы, жду от Вас письма.

*Тот же.*

86

М. СПЕКТОРУ

*Нерви, Приморский отель  
17 февраля 1914.*

Друг Спектор!

Старым, но милым и святым дохнуло мне в сердце от твоего короткого, но теплого письмеца. Спасибо за адрес Пинского! Ты спрашиваешь, что тебе делать, чтобы нам увидеться вскоре в Варшаве? Вот наивный человек Спектор! Ты разве не знаешь, что ждут разрешения? Живешь в Варшаве двадцать лет, а то и больше, хвор ты, что ли, шепнуть там полицмейстеру пару слов, чтобы он не валял дурака? «Пан, — скажи ему на твоём русском языке, — пан! Вы думаете, Шолом-Алейхем реферат, товарищи, киш-киш, куры на свободу? И не начинается! Це не боле мене добре братик читает по-нашему, по-жаргонскому, а мы, еврейчики, держимся за стороны и качаемся на земля!..» Вот если ты выступишь с такой речью, он расхохочется до колик и подмахнет: «Шолом-Алейхему разрешаю, и конец!» Как видишь, я пока еще на старом месте, в Нерви, сижу у моря, под жарким палящим солнцем и — пишу. Стареем, говоришь? Я — нет, слава богу, пока становлюсь моложе. Я не люблю стареть! Бродский\* мне когда-то признался, что он не любит бедняка. Я признаюсь, что не люблю старика... Но тебя я не ненавижу, потому что ты Мордхе Спектор и ты, слава богу, еще большой мастер покушать, дай бог на многие лета. Аминь!

Был и остался твой

*Шолом-Алейхем.*



Главное забыл: где, ты говоришь, мы подзакусим ночью после чтения? В каком баре? Ты думаешь, что я не читаю «Момента» и всего, что ты там пишешь? Ай, глупец, глупец! Я тебя от души разбранил за то, что ты восхищался в Одессе «народной песней», а ты не знаешь, что эта самая «народная песня» написана, шутила ли, Варшавским! Сгори со стыда!

87

ОЛЬГЕ РАБИНОВИЧ

*Нерви, 25 февраля, 1914.*

Друг мой!

Как бы ни хотелось писать о погоде, но когда встаешь утром и вместо Нерви находишь нервишки, то приходится начинать разговор о погоде...

Зато хорошо на сердце! Весело! Знаешь почему? Потому что заканчиваю пьесу. Как, уже заканчиваю? Вот так! После того как ты ее прочла, я ее переписал заново, собственно, написал новую пьесу согласно плану, о котором я тебе рассказывал. Теперь, полагаю, получилось так, как надо. Увидишь. Сегодня допишу четвертый, последний акт. Вышло по-твоему: четыре акта, семь картин. Первые три акта большие, четвертый маленький, но трогательный. Особенно трогает момент прощания Тевье с голыми стенами, когда он их целует, когда горюет по поводу осиротевшей кошки... У неевреев (если пьеса будет достойна внимания нееврейской сцены) вызовет недоумение то, что еврей, которого изгоняют и преследуют, проявил сострадание к кошке...

Как только закончу пьесу, отправлю ее Берковичу для того, чтоб он ее переписал, а сам немедленно приступлю к своему «Мотлу»\*. Ежегодно он снится мне в разных образах. И кроме Мотла, меня донимают разные темы, оторваться от них не могу. Где взять столько сил, а главное, времени, чтобы справиться со всем этим материалом? А тут еще лежит «Потоп»\* и плачет: зачем я забросил оригинал и перевод?

Целую всех.

*Твой.*

*Лозанна, 5 апреля 1914.*

Дорогим детям Дову и Михаилу, Берковичу и Кауфману!

Ваши женушки подложили нам свинью — приехали без предупреждения и вызвали такой тарарам, что смеха было до небес; им удалось захватить кусочек бармицве \*, доставили нам огромное удовольствие и много радостей, и все же они заслужили того, чтобы их крепко наказали. У меня возник прекрасный план! Прямо-таки золотой! Так как они, собственно, купаются в радостях и счастье, а вы оказались «соломенными вдовцами», и ввиду приближающегося праздника пасхи, и ввиду того, что мы уже все в сборе, а вы, по мнению ваших мудрых жен, сидите себе в Берлине одинокие и заброшенные, то по логике, и по совести, и по всем законам было бы правильно, если в пятницу, в канун пасхи, раскрылись бы наши двери и вы бы оказались на пороге, ну будто с неба свалились. Заранее представляю себе, сколько было бы смеха и удовольствия, которое вы бы доставили всем нам, старикам и молодым, вашим присутствием в дни пасхи (сколько пасх нам еще осталось всем вместе отмечать? А потратить на это вам придется всего три-четыре дня). Кроме всего прочего, я так захвачен своим планом и проделкой, что, будь я Ротшильдом, подарил бы вам за ваш приезд целый миллион! В настоящее время в салоне у нас семья Кабак \*, Тиси рассказывает разные истории, и все смеются до колик в животе. Белла и Тамара легли спать. И никому в голову не приходит, что я пишу вам сие подстрекательное письмо! Ах, дети! Дети! Умоляю, садитесь в поезд, который отправляется в четверг в три тридцать дня (в эти же часы ваши жены уезжали), и вы утром в пятницу будете у нас. Все готово. Для пасхальной трапезы мы совместно с Кабаками сняли отдельный зал у Шехтмана \*. Моя квартира в вашем распоряжении. Зачтется Вам в годоваяния ваш приезд ради детей и, главным образом, ради смеха и веселья, которыми будут заполнены два дня, и воздастся вам за все это вниманием ваших детей в той же мере, в какой вы достаиваете вашим вниманием нас. Мы будем фотографироваться (Миша тоже приедет к нам на пасху). А в Берлин, с божьей

помощью, уедем все вместе в ночь на воскресенье, ибо 1/14 апреля мой первый вечер в Варшаве. Предварительно купите нам два билета второго класса в спальном вагоне Калиш — Берлин — Варшава и захватите их с собой. И никакой депеши, вы слышите? Никакой! Приезжайте неожиданно, появитесь, скажете «доброе утро», — и ша!

Вот вам слова отца, который хочет вас видеть и настроится в веселом настроении.

*Шолом-Алейхем.*

Р. S. Раз я знаю, что поезд приходит в 11.30, то встречу вас на вокзале, приведу вас под руки домой и как ни в чем не бывало скажу: вот и они!

**В.** Кстати, мне необходимо с вами посоветоваться о Соколовском, который приезжает из Америки, и о том субъекте, о котором писал мне Воркель\*. Если вы не приедете, то мы и потолковать не сумеем. **Ш.** тоже приехал сюда на пасху, приходит каждый день и выкладывает грандиозные прожекты. Он уже выделил 100 тысяч рублей на газету и издательство. Я же за его сто тысяч и двух франков не дам.

89

### Ш. ШРЕБЕРКУ\*

*Двинск, 6/19. 6.14, пятница.*

Друг Шреберк. Такого приема, как в Двинске, я не имел нигде. Вокзал был запружен евреями (молодежью); кроме букетов, великолепных букетов, меня засыпали цветами, и всю дорогу от вагона до кареты устлали цветами. Сама карета тоже была украшена цветами. Цветы, цветы, цветы! Гремели приветственные возгласы и «ура». Офицеры, жандармы, полиция были чрезвычайно удивлены этим приемом. Одни говорили, что знаменитый раввин приехал, другие объясняли, что это еврейский Чехов, еврейский Горький прибыл. В отеле было битком набито. Всюду приветствия и «ура». Билеты почти все расхвачаны. Хотя вечер должен состояться еще только послезавтра, в воскресенье, а уже поговаривают о необходимости второго вечера, во вторник. С приветом.

*Шолом-Алейхем.*

О моем отъезде я Вас телеграфно извещу

*Нью-Йорк, 27 апреля, 1915.*

Мой дорогой Опатошу!

Благодарю Вас за те две книги\*, которые Вы мне прислали, доставив мне этим огромное удовольствие. Вы обратили мое внимание на «Роман конокрада», но обошли молчанием «Нью-Йоркское гетто»\*. Это свидетельствует, что сам писатель — плохой ценитель собственных произведений. Нельзя сказать, что «Роман конокрада» плох. Думаю, что писать плохо Вы просто не способны. Мне только хочется повторить то, что я уже Вам однажды сказал, когда Вы были у меня дома: пишите об американском еврействе. Рисуйте картины из жизни нью-йоркского гетто — это Ваш жанр, здесь Вы неподражаемы. Ни у кого среди американско-еврейских писателей я не нашел такие острые черты, такие ясные, четкие, живые образы, как у Вас в «Нью-Йоркском гетто». Некоторые выписаны просто мастерски. Мистер Поллак, миссис Рич, ее сестра-ханжа и Джейк-пьяница — прекрасные образы. А диалоги? Золото. Все это говорит о том, что у Вас пронизательный глаз и острое ухо. Сцена, в которой Джейк за рюмкой водки братается с Черным, неоценима. Только у Диккенса и Теккерея подобную можно встретить. Я же уверен, что она Ваша, собственная. Вы ее видели, пережили. Вы хорошо знаете гетто того ада, который именуют Нью-Йорком. Бог Вас одарил талантом, необычным талантом. Не разбрасывайтесь. Делайте свое дело. А дело Ваше рисовать картины нью-йоркского гетто, из жизни американского еврейства. Вы этим обогатите нашу литературу новой главой и обретете имя в мировой литературе. Я искренне счастлив, что на ниве нашей литературы произрастает такой плод, как Вы, при этом здесь, на каменистой американской почве. Произнес я благословенную молитву, как на впервые появившиеся плоды. Хочу еще. Пришлите мне хорошие вещи «молодых». Там я нашел стихи некоего Мани-Лейба\*. Это великолепно! Некоей Фрадл Шток — она баба озорная! И даже Слоним, который давно уже не молодой, очаровал меня отдельными строчками из своих «Городских песен». [...]¹

¹ Опущены цитируемые в тексте стихи Слонима.

Вот что я Вам скажу: каким же стал бы я писателем, если в Ваши годы сочинил бы нечто вроде Вашего «Нью-Йоркского гетто»! Хох! Bravo! Ура! Хейдод! Выкрикиваю на всех языках, ибо дожил я до той поры, когда и в Америке стала развиваться еврейская литература, когда и в Америке стала появляться пресса, не только напичканная «политикой» и не только выращивающая крикунов на час и писателей, жизнь которых измеряется одним днем.

Ваш *Шолом-Алейхем.*

91

И. ИЕГОАШУ\*

*Нью-Йорк, 23 апреля 1916.*

Дорогой, добрый товарищ Иегоаш!

Примите мое искреннее поздравление в связи с Вашими путевыми заметками\*, пока с первыми двумя главами. Сработаны поистине мастерски. Это все, что я сегодня хотел Вам сказать. Желаю Вам доброго праздника\*. Пишите, пишите еще и еще, много, много!

*Шолом-Алейхем.*

## II

92

### Г-НУ С. М. АБРАМОВИЧУ В ОДЕССЕ

*Соломон Наумович Рабинович в Одессе*  
*Шолом-Алейхем*  
*23.XII.84*  
*М. Белая Церковь*  
*(Киев. Губ.)*

Многоуважаемый юбиляр,  
Милостивый Государь  
Соломон Моисеевич!

Чувствую, что опоздал своим посланием, но не вся в этом моя вина. Быть может, в массе писем и поздравлений Ваше внимание невольно остановится на этих строках, которые шлет Вам из далекой провинции, так сказать, из глубочайших недр нашего русского гетто, молодой, но ярый поклонник Вашего таланта, поклонник, работающий на разрыхленной Вами почве, упорно и ревностно следуя по стопам, так метко оставленным Вами на полях нашей жаргонно-литературной нивы. Если же я до сих пор, в продолжении моей двухлетней литературной деятельности в «Евр[ейском] нар[одном] листке», а с недавнего времени в журнале «Евр[ейское] обозрение» (см. июльскую, VII кн. «Евр. обозр.», рассказ «Мечтатели»\*, бледный отблеск Ваших прекрасных «Путешествий Вениамина III»), если же я, говорю я, ничего примечательного еще не дал моими столь

незначительными трудами, зато какая будущность предстоит мне, как начинающему, какое широкое поле для всякого желающего посвятить свои досуги служению алтарю нашей народной музыки! Но я начал с задушевного приветствия юбиляру и кончил тем, что наговорил самому себе кучу любезностей — слабость всякого начинающего! Но я должен был обратить Ваше внимание на пишущего строки, хотя бы с этой, не столь похвальной стороны. А должен я в интересах не личных, а касающихся и этой «массы», которая празднует нынче Ваш юбилейный праздник, и нашего бедного, загнанного и всячески эксплуатируемого жаргона, и меня самого, и даже Вас. Не желая рисковать, быть может, лишними словами, я оставлю «дело» до Вашего ответа, а пока, выразив Вам мою глубочайшую преданность и пожелав Вам от чистого сердца ознаменовать и последующее 25-летие не менее славными успехами в этой благородной отрасли деятельности, остаюсь с глубоким почтением

Ваш покорный слуга

*С. Рабинович.*

Мой адрес:  
В Белую Церковь  
С. Н. Рабиновичу.

93

### М. ГОРЬКОМУ

*Соломон Наумович Рабинович  
Киев, Большая Васильковская, 5  
31 декабря 1901.*

Многоуважаемый

Максим Горький!

Простите, что я Вас так называю, не имея чести знать Вашего имени-отчества.

В свое время я получил Ваше любезное приглашение, которое, вследствие своей официальности, показалось мне несколько обидным. Показалось оно мне обидным еще потому, что в Вашем письме не указан Ваш адрес, из чего я должен был заключить, что Вы намерены отклонить от себя непосредственные со мною сношения. Тем не менее я дважды писал Вам по адресу г. Гольдовского, п. ч. я считал для себя великою честью переписываться с «властителем дум нашего времени», к

которому, признаться, давно стремилась душа моя. И вот оказывается, к[ак] сообщает мне Гольдовский, что письма мои к Вам затерялись у г. Потемкина и у него. Поистине — перст божий!

Ныне же, узнав, что к Вам можно писать, хотя и по чужому адресу, я намерен нарушить Ваш покой присылкой копий с двух моих посланий на имя Гольдовского (от 12.XI и 29.XII), для того чтобы ознакомить Вас с программой Вашего сборника \* по моему разумению.

Просил бы Вас вникнуть в их содержание и удостоить меня скорым ответом. Через несколько дней я Вам пришлю копии с некоторых моих вещиц, уже переведенных с еврейского] жаргона. Я хочу, чтобы Вы познакомились с характером моих писаний, и поэтому просил бы Вас покорнейше уделить им несколько минут внимания.

Затем позвольте пожать Вам дружески руку и пожелать Вам Ново[го] года и полного восстановления сил на пользу неблагодарного человечества.

*Шалем-Алейхем.*

94

Л. Н. ТОЛСТОМУ

*Соломон Наумович Рабинович  
(Шалем-Алейхем)  
Киев, Б. Васильковская, 5*

*27 апреля 1903.  
Графу Л. Н. Толстому  
Ясная Поляна*

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Судя по тому, как Вы чутко следите за всеми течениями и явлениями жизни общества и народов, нельзя допустить, чтобы Вы прошли без должного внимания мимо того вопиющего дела, которое творилось в дни «светлого» праздника Христова в губ[ернском] городе Кишиневе, по наущению злых людей, вроде Крушевана и К°. Читая газеты, Вы не могли не содрогаться при мысли, что в наш век возможны такие безобразия, как избиение евреев в Кишиневе в продолжение 2-х дней на глазах полиции и местной интеллигенции, гнусные насилия над девицами на глазах родителей, избиение младенцев и т. п. ужасы времен варварства. Автор этих



строк имеет честь не только принадлежать к этому вечно гонимому, бесправному, презираемому, но по-своему великому народу, но быть скромным выразителем его чувств, мыслей и идеалов. Короче — я еврейский народный бытописатель, пишуший на еврейском разговорном наречии, именуемом жаргоном, вот уже 20 лет под псевдонимом «Шалем-Алейхем». Мне поручено составить сборник в пользу пострадавших от кишиневского погрома. В сборнике участвуют лучшие еврейские силы. Чтобы обеспечить сборнику успех, я осмеливаюсь просить Вас, Великий Писатель Земли Русской, дать нам что-нибудь, ну хотя бы письмо утешительного свойства. Удрученное и растерявшееся восьмимиллионное еврейство в России нуждается в таком слове, быть может, еще более, нежели в чем-либо другом. Ваше письмо я берусь перевести на еврейский (народный) язык, которого люди знающие считают меня одним из лучших стилистов.

Ждем Вашего скорого ответа, за который заранее благодарит Вас редакция сборника \* в лице глубоко уважающего вас Соломона Рабиновича.

*Шалем-Алейхем.*

P. S. Не побрезгайте прочесть небольшой этюд мой в «Восходе», при сем препровождаемом, и, если не трудно, высказать ваше мнение.

95

ЕМУ ЖЕ

*10 мая 1903.*

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Спасибо за скорый ответ \*, за теплые слова и за готовность участвовать в нашем добром деле. Приятно было бы надеяться, что вещь, которую Вы обещаете, была бы прислана нам возможно раньше, и, во всяком случае, если бы Вы имели возможность определить нам срок. Мы бы тогда могли об этом оповестить в еврейских газетах, издающихся на жаргоне, и подписка на наш Сборник значительно бы поднялась.

Сочувствие, встреченное нашими несчастными братьями среди христиан всего мира, поразительное и трогает нас до глубины души. Из Нью-Йорка и Филадель-

фии мне пишут, что оттуда высылаются в Кишинев от евр. и христ. десятки тысяч долларов. Речь мэра Льюиса стоит выше всяких долларов. Несомненно, что горе наше великое нашло отклик в сердцах всех лучших наших современников, и это служит значительным утешением для моего бедного народа, великого в своих страданиях, которым нет равных в мире, ибо глумление над целой нацией, гордящейся своим прошлым и лелеющей свое будущее воскресение, куда хуже всяких ограничений и даже кровопролития, подобно кишиневскому. Если я, например, не был в Кишиневе во дни святой пасхи и тем сохранил свою жизнь и жизнь моих детей, то разве не льется моя кровь здесь, когда я читаю то, что пишут насчет нас в газетах, и когда я слышу то, что говорят кругом меня люди, именующие себя интеллигентами? Или что должен чувствовать мой мальчик, когда не только товарищи по гимназии, но и сами учителя глумятся над ним только потому, что его фамилия Рабинович? А что должен был он чувствовать, когда, выдержавши экзамен на круглое 5, не был все-таки зачислен вследствие «процентного отношения»? \*

Что касается до Вашего письма к знакомому Еврею, то некоторые места (особенно заключение) для меня совершенно непонятны, и я не смею критиковать его.

Прилагаю при сем летучий религиозно-нравственный листок \*, продававшийся здесь во время пасхи при Михайловском монастыре по 1 коп., и обращаю Ваше внимание на то, что Листок не подпольный, а дозволенный С.-Петербургской духовной цензурой в феврале 1903 г.

Жду Вашего скорого ответа относительно обещанного и остаюсь с глубочайшей преданностью и любовью к Вам

*Соломон Рабинович.  
Шалем-Алейхем.*

96

Е М У Ж Е

11 июля 1903 г.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Одновременно с сим имею честь преподнести Вам 1 т. Полного Собрания моих сочинений \*. Мне будет

очень приятно, если не побрезгаете моим скромным подарком.

Пользуюсь случаем, чтобы напомнить Вам о Вашем обещании дать что-либо для нашего сборника в пользу кишиневских евреев. Ввиду того, что Сборник уже печатается, Редакция еженедельно пишет мне об этом. Прошу Вас от имени всего русского еврейства оказать нам эту честь Вашим литерат. участием в нашем предприятии, — будь это рассказ, статья, письмо или заметка. Не забудьте, что я должен еще перевести Вашу вещь на еврейский язык, а времени осталось немного.

Преданный Вам

*С. Рабинович.  
Шалем-Алейхем.*

97

Е М У Ж Е

24.VII. 1903.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Возложенная на меня миссия Редакциею Сборника в пользу кишиневских евреев и Ваше любезное обещание принять в нем участие присылкою какой-либо статьи или рассказа для перевода на еврейский жаргон дают мне право напомнить Вам еще раз, что все грамотное еврейство — а какой еврей неграмотен по-еврейски? — с нетерпением ждет и надеется услышать авторитетное слово величайшего писателя и человека, впервые переведенное с рукописи и специально предназначенное и для доброго дела, и для симпатичного издания.

Премного обяжете, если уведомите меня о характере и наименовании статьи.

Один из миллионов Ваших учеников

*С. Рабинович.  
Шал.-Алейхем.*

P. S. На днях я имел честь послать Вам 1-й том Полного Собр. моих сочинений на еврейском языке. Простите мой, быть может легкомысленный, поступок.

25. VIII. 1903.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Получил я Ваши две прелестные сказки \* и не считаю себя вправе благодарить Вас, во 1-х потому, что не для этого Вы их написали, и, во 2-х, потому, что спасибо Вам скажут тысячи обиженных в Кишиневе евреев и десятки (а может быть, и сотни) тысяч читателей, которые впервые увидят Ваши произведения, для них предназначенные и — простите мою нескромность — мною переданные на еврейский жаргон. А что я передал их мастерски, в этом я смело Вас могу уверить. Я совсем иначе понимаю слово «перевод». Сохраняя смысл, дух и буквальное содержание Ваших сказок, я постарался сообщить им красоту, свойственную нашему народному, до чрезвычайности простому и вместе с тем образному языку. И в этих видах мне пришлось в некоторых местах поступиться выражениями в оригинале, заменяя их сочными, чисто еврейскими выражениями и оборотами речи. Для иллюстрации я Вам приведу пару примеров из первой сказки. Вы слишком хорошо знакомы с европейскими языками, чтобы не понимать — хотя бы одним чутьем, как великий художник, — еврейско-немецкого жаргона.

Вот примеры:

Стр. 1... «пировать с моими друзьями». Слово «пир» в жаргоне заменяется древнегебрейским словом «souda», отчего «пировать» в жаргоне отсутствует. Поэтому мне пришлось заменить его целой фразой «leben a guten Tag» — буквально «жить хороший день», т. е. весело провести время, что выходит больше, чем пировать.

Стр. 1. «Издохнет» — также имеет гебрейское слово «peger-pej» — заменено у меня фразой: «bis die kouschere Neeschoumegern (душа) wet ihm ausgehn» — пока «кошерная» душа его не отлетит. Kouschere Neeschoume — благочестивая душа — форма иносказательная и насмешливо презрительная.

Стр. 4. «Лаилиэ страдает... и бессильной злобы. Он чувствует себя бессильным» и т. д. Слово «бессилие» в

жаргоне нет, и вдобавок оно повторено здесь *два* раза. Пришлось изменить конструкцию так: Lailje leidet nit asoj von Hüngrer un von wehtog, wie von Bisoin (стыд — *гебр.*) un von Kaass (*гебр.* злоба, а вместе с предыдущим — бессильная злоба). Es brent ihm, nur er fült as er is nit umstand sich rechnen mit'n Ssoine (враг — *гебр.*), obzollen ihm far allesding wous er thüt mit ihm». И дальше: «Одно, что он может, это то, чтобы не доставить своим врагам радости видеть» и т. д. Изменено в переводе так: «Ein Sach, wous er kon ihm obthün (отплатить, отомстить), is nur dous, wous makes (блячки — *гебр.*) wet der Ssojne (враг — *гебр.*) wissen» и т. д. По-русски (на народн. языке) это вышло бы: «Черта с два он будет знать» и т. д. — Дальше. «...к залитому кровью месту казней» — пришлось ярче оттенить «место казней»: zum *güten* Ort, wous is bespritzt mit Blüt.

Стр. 5. Слово *güten* (хороший) применено в том же иносказательном смысле к окровавленному колу.

Стр. 5. «Лаилиэ догадывается, что кол этот освободили для его казни» — Un'Lailje stoist — sich as der güter Vlockn (кол) is oungegreet (vorbereetet) von sein Couwed wegen — для *его чести*. По-русски оно, может быть, и некстати, но на жаргоне еврейском, — *раз приготовили*, то уж непременно к чести.

Стр. 5. «Два палача подхватывают» и т. д. «и хотят опустить на кол». В переводе: «Un die zwei Taljonim (палача — *гебр.*) chap'n ünter dous dosige Laib far die dare fiss, heeben auf un willen ihm araufsetzen auf'n *güten* Spitz von'm *güten* flok'n». По-русски вышла бы нелепость: «на добрую вершину доброго кола»; между тем как по-еврейски это более чем уместно.

Что же касается до древнееврейских слов, которыми, как видите, изобилует мой перевод, то я должен Вам пояснить, что жаргон еврейский, чем богаче он гебреевскими именами существительными и глаголами, тем он красивее; масса таких слов давно получила в нем право гражданства, и народ давно с ними знаком. Для Ваших же «сказок» такая (*гебр.*) форма больше всего соответствует.

В общем, я должен Вам сказать, что в переводе «сказки» вышли так, как будто Вы их написали по-еврейски. Никаких следов перевода в них не заметно.

Теперь позвольте мне сказать Вам, Лев Николаевич, спасибо за удовольствие, которое Вы доставили лично мне Вашими этими маленькими вещицами, и за честь, которой Вы удостоили меня, поручив мне их перевод.

Глубоко преданный вам

*С. Рабинович.  
Шалем-Алейхем.*

Р. S. Уже письмо было готово, когда получил я третью сказку \* Вашу «Труд, смерть и болезнь». Принимаю сейчас за перевод этой третьей (по порядку 2-й) вещицы, чтобы вместе отправить в Редакцию.

Курьезно, что слово «ассирийский» в перестановке букв выходит «русский». Что-то скажет на это г. цензор?!

99

Е М У Ж Е

28. VIII. 1903.

Многоуважаемый Лев Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 25 с/м с приложением «Das bist du» спешу уведомить Вас, что предисловие Ваше я думаю напечатать, как есть, по-русски, вовсе не переводя его на еврейский язык, имея в виду круг читателей, для которых предназначен Сборник.

Что же касается до напечатания «Das bist du», то я позволю себе считать это для данного издания не только бесполезным, но совершенно лишним, могущим вызвать в уме простого человека смешение понятий и тупое недоумение. Сказка Ваша («Ассарходон»), воплотившая в себе идею «Das bist du», облечена Вами в столь прекрасные образы, что прямо жаль портить цельность впечатления у незатейливого читателя. Надеюсь, Лев Николаевич, Вы согласитесь со мною и не будете настаивать на том, чтобы непременно сделать так, как Вы пишете, хотя бы в ущерб делу.

Поправка, вместо «патагонцев» «южноамериканских индейцев» — сделана.

Глубоко преданный Ваш

*Шалем-Алейхем.*

**NB.** Может, еще какие поправки — поспешите. Ответить прошу скоро, т. к. перевод мой переписывается чисто и должен быть на днях отослан в Редакцию.

## А. П. ЧЕХОВУ

Соломон Наумович Рабинович  
(Шалем-Алейхем)  
Киев, М. Благовещенский, 17

30. VIII. 1903.

Многоуважаемый Антон Павлович!

На днях я получил от гр. Л. Н. Толстого «Три сказки», спец[иально] для нашего изд. «Hilf» \*, написанные в пользу кишиневских евреев, и «сказки» эти мною уже переведены на евр[ейский] жаргон и отправлены в редакцию сборника. Я уполномочен редакцией еще раз обратиться к Вам с просьбой, не найдете ли Вы возможным уделить нам какую-нибудь новенькую вещьцу? (Хотя бы копию с того, что предназначено для ближайшей книги журнала.)

Одновременно с этим прошу Вас, не можете ли Вы взять на себя труд перевести мой рассказ из еврейской жизни (на русский язык) в журнале «Русская мысль» \* и др. каком-либо русском журнале? Если да, то могу ли я Вам прислать рассказ для просмотра?

С глубоким уважением

С. Рабинович.  
Шалем-Алейхем.

## Л. Н. ТОЛСТОМУ

3. IX. 1903.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Сегодня я получил письмо от П. А. Буланже \*, которого я не знаю. Он пишет мне, что после того как выйдет еврейский Сборник, то, по всей вероятности, «Сказки» Ваши будут переведены с евр. перевода на русский язык и изданы ловкими промышленниками-издателями и в таком искаженном виде только и станут известны русской читающей публике. Для того же, чтобы избежать такого нежелательного явления, он спрашивает, нельзя ли вслед за выходом в свет еврейского Сборника, *через неделю*, выпустить означенные «Сказки» на русском языке. Вот содержание письма г. Буланже.

Я ему ответил на это, что, во 1-х, нечего опасаться перевода с еврейского разными промышленниками, т. к. в нашем Сборнике мы, в выноске, обращаем внимание тех из читателей, которые возымели бы желание познакомиться русских людей с содержанием «Сказок», что «Сказки» в скором времени будут изданы в оригинале особой книжкой, так что *просят покорнейше их не трудиться*. Во 2-х, выпустить *через неделю* сказки по-русски значило бы идти вразрез с Вашим желанием *содействовать успеху Сборника*, предназначенного в пользу бедных людей. Гораздо проще будет, если мы напечатаем «Сказки» в оригинале здесь же, в Киеве, о чем я уже вошел в переговоры с здешней издательской фирмой С. Б. Фукс (кстати, весьма солидной фирмой), с тем что значительная часть выручки пойдет в пользу тех же кишиневских евреев. Таким образом, мы извлекаем из них наибольшую выгоду в пользу бедных, что, конечно, составляет сущность Вашего желания, и вместе с тем отпадает всякое опасение относительно искажения «Сказок».

Будучи намерен приступить к печатанию «Сказок» по-русски в скором времени (по-еврейски они уже печатаются), я бы просил разрешить мне высылку Вам корректуры, авось Вы найдете нужным внести в них какие-либо поправки или дополнения. Со стороны цензуры мы здесь находимся в несколько более благоприятных условиях, чем в другом центре, т. к. фирма Фукс поддерживает с нею хорошие отношения.

Жду Вашего наискорейшего ответа и остаюсь глубоко преданный Вам

*С. Рабинович.  
Шалем-Алейхем.*

Р. S. Печатал «Сказки» по-русски. Здесь мы их выпускаем лишь тогда, когда продажа еврейского Сборника подвигается к концу.

102

ЕМУ ЖЕ

8 сентября 1903.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

В Вашем письме от 6 сентября, писанном по Вашему поручению г. Никитиным\*, находится одна фраза,



которая требует разъяснения. Там сказано: *«Но при этом просят Вас о всех подробностях списаться с П. А. Буланже»* (о сроке и т. п.).

Если речь идет *только* о сроке издания «Сказок» на русском языке, то на этот счет я уже воспользовался ценным указанием г. Буланже — *выпустить русское издание вслед за еврейским*. Надеюсь, что «Сборник» наш будет продан в течение 2—3-х недель, т. к. большая часть экземпляров, благодаря нашей широкой рекламе о программе книги и об *участвующих в ней силах*, уже продана по подписке. Издание же русское, к которому я уже приступил, будет *напечатано одновременно* с нашей еврейской книгой, а выпущено через короткий промежуток времени вслед за нею. Таким образом, всякое опасение обратного перевода с еврейского на русский само собою отпадает. Так как г-ном Буланже руководит лишь одно желание предупредить искажение произведения автора, то мы на этот счет, значит, с ним спелись. И я ему об этом уже написал. Кстати, я сегодня получил от него письмо из Москвы, в котором он предлагает мне одно из двух: или чтобы мы сами издали «Сказки» по-русски одновременно с евр. Сборником, которому он также очень сочувствует, или, если нам это неудобно, предоставить последнее ему. И т. к. к русскому изданию приступили мы, то о каких еще подробностях могут и должны быть между нами и г-ном Буланже разговоры?

Просил бы наискорейшего ответа, п. ч. всякое Ваше указание для меня закон.

Еще забыл уведомить Вас, что предисловие Ваше к «Сказкам» я распорядился напечатать в евр. Сборнике по-русски, не переведши его по-еврейски.

На мое предложение относительно пересылки Вам корректуры русского издания Вы ничего не ответили.

Жду ответа и желаю здравствовать.

*С. Рабинович.  
Шалем-Алейхем.*

P. S. Часть выручки со «сборника», особенно с издания русского, пойдет в пользу гомельских евреев, ибо и в Гомеле произошло нечто вопиющее прямо *«под команду и под барабанный бой»*... *Куда мы идем?!*

10. IX. 1903.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Уже после того, как я Вам отправил мое последнее письмо (№ 1171), я получил Ваше письмо от 7-го числа, пролившее свет на все те неясности, которые тормозили дело.

От г. Черткова \* из Англии я пока еще никакого запроса не получил. Что же касается до П. А. Буланже, то его желание относительно одновременного издания обоих вариантов исполнено, и я обратился к нему с просьбой о некоторых новых и полезных для нас указаниях, как насчет количества экз., так и касательно формата, цены и пр.

Не могу затем не выразить искренней признательности Вам от себя и Редакции Сборника за то теплое отношение, которое Вы к нему проявляете.

Будьте здоровы телом и духом.

Преданный Вам

*С. Рабинович.  
Шалем-Алейхем.*

24. IX. 1903.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Вследствие праздников (еврейских) издание Сборника несколько задержалось. Тем временем я вошел в согласие с П. А. Буланже относительно издания оригинала «Сказок» в Москве, а не в Киеве, как предполагалось раньше.

В свое время Вы писали мне, что ко мне обратится г. Чертков из Англии, причем Вы мне адреса его не сообщили. Но г. Чертков ко мне не обращался, и, взамен его, я недельки две тому назад получил предложение от М-г'а Aylmer Maude'au (Chelmsford, England), который ссылается на Вас и на г. Буланже. Не желая Вас затруднять лишней перепиской, я обратился к Буланже,

который дал о нем хороший отзыв, и я отослал ему Вашу рукопись для перевода на английский язык и для издания с целью, чтобы чистая прибыль, какая окажется, поступила в пользу погромленных в Гомеле евреев. На этой цели я остановился потому, что требуется немедленная помощь, а официального сбора пожертвований правительство не разрешает нам.

Но вот сегодня вдруг получаю письмо от г. Черткова, который уведомляет меня о том, что ему присланы были Вами те же «Сказки» для издания их на английском и русском же языках в Англии, и он просит лишь известить его о сроке выхода в свет нашего Сборника.

Я ему изложил подробнее все предшествовавшие обстоятельства и просил его очень повидаться с Альмером Моодом, дабы, во 1-х, не вышло два перевода и два издания и, во 2-х, чтобы не повредить той цели, для которой мы затеяли издание и для которой Вами присланы были «Сказки» нам.

Боясь, однако же, осложнений и дальнейших *qui pro quo* и полагая, что Вы состоите с Чертковым в переписке, я бы просил Вас, Лев Николаевич, замолвить за нас доброе слово перед Чертковым, который может быть затронут тем, что я поручил перевод другому, не предупредив его, хотя и не по моей, а по его вине. Моода я просил сойтись с Чертковым.

Истинно любящий Вас

*С. Рабинович.*

**NB.** Забыл в свое время заметить Вам, что основная мысль сказки «Ассарходон» выражена талмудическим ученым Гиллелем: «*Ma schessani loch lechawreich lo taa wad*» — *что неприятно тебе, не пожелай твоему ближнему.* По мнению раби Гиллеля, это есть основание и цель всего Моисеева учения.

105

Е М У Ж Е

*Киев, 3 октября 1903 г.*

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Простите, что пишу Вам на телегр. бланке. Нахожусь на вокзале. Собираюсь в Гомель, на место погрома.

Хотел Вам сказать, что, по причинам цензурным, не касающимся, однако, Ваших «Сказок», издание нашего Сборника несколько затянулось и потребуется еще месяца 1 1/2 для того, чтобы «обезвредить» некоторые наиболее ценные забракованные цензором вещи. Это же потребует мою личную поездку в Варшаву.

Второе, что я хотел Вам сказать, это про инцидент Моод — Чертков. Я попал в крайне неприятное положение. Вследствие того что Чертков мне ничего долго не писал, а я не знал, куда ему писать, я согласился на предложение Моода (считающегося лучшим Вашим переводчиком), которому я и послал копию для перевода и издания на английском языке. Прошу Вас, предоставьте Черткову их напечатание по-русски в Англии, а перевод и изд. английское пусть Чертков уступит Мооду. Ввиду этого конфликта я боюсь, что случится то, чего я больше всего опасаюсь, а именно: чтобы кто-нибудь из этих двух не пожелал предупредить своего товарища и не выпустил бы «Сказки» Ваши раньше времени и тем повредил бы и еврейскому Сборнику, и нашему русскому изданию в Москве.

Простите, Лев Николаевич, что впутываю Вас в такие мелочи; но раз мелочи эти вытекают из Вашего произведения, предназначенного не для корысти книгоиздателя, а для доброго дела, то мы не можем не беспокоить и не утруждать Вас.

Глубоко преданный Вам

*С. Рабинович.  
Шалем-Алейхем.*

*Киев. Мар.-Благовещенская, 27  
С. Н. Рабиновичу*

106

Е М У Ж Е

14. 11. 1904.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

С сим посылаю Вам книгу «Hilf» (переведенные мною Ваши 3 Сказки помещены на стр. 19—33). Книга вследствие цензурных препятствий вышла с большим опозданием, но с возможной полнотой и изяществом, какие только допустимы в еврейском издании. Не

побрезгайте, Лев Николаевич, получить этот 1-й экз. нашего Сборника, как выражение искренней благодарности от еврейской читающей публики, от издателей и переводчика Вашего

*С. Рабиновича.  
Шалем-Алейхема.*

107

Е М У Ж Е

*30 октября 1905.  
Киев. Б. Васильк. 35/1*

Великий Писатель Земли Русской!

После кишиневского погрома Вы указали мне в Вашем письме на истинных виновников того позорного дела. Ваши слова оказались вещими. Лучшим подтверждением этому служит прилагаемое при сем письмо профессора Киев. политехн. инст. Мих. Тихвинского.

Но неужели не раздастся Ваш мощный голос теперь, когда позор и беда постигли нашу общую родину и, больше всех, они коснулись нас, несчастных евреев?! Больше, чем когда-либо, мы нуждаемся в нем теперь. Всякие доводы излишни. 6 миллионов евреев в России и около миллиона моих братьев в Америке ждут от Вас хотя бы слова утешения. Ваш ответ может быть переведен мною во всех здешних и американских еврейских изданиях. Мы ждем его.

*Шалем-Алейхем.*

108

Д. Я. АЙЗМАНУ

*Нерви  
16/29 XI. 08.*

Дорогой Давид Яковлевич! \*

В свое время ответил Вам на Ваше люб. письмо и советом воспользовался. Отправил пару рассказов (в переводе) в «Совр. мир» \* уже давненько. Ответа нет.

Возможно, что моя супруга будет на днях в Питере. Будет и у Вас. Передайте ей, прошу [В], что все благо-

660

получно и что выпиваю литр молока в день — честное слово. Ваше-то здоровье каково теперь? У нас — лето. Супруге [В] мой сердечный привет.

Жму [В] руку. Ш.-Алейхем.

109

ЕМУ ЖЕ

*Нерви. 4. III. 09.*

Многоуважаемый Давид Яковлевич!

Спасибо за извещение. Ваше исчезновение было для нас неожиданностью. Хвала богу, что Вы живы и здоровы. Благодарю Вас очень за готовность содействовать мне в великом океане русской литературы. Как только погода и здоровье позволят, не премину воспользоваться Вашей любезностью и загляну в Ваше Монрепо. Прошу передать мой привет Вашей уважаемой супруге. Ваш очерк «Богема» помещен в переводе евр. в варшавской газете.

Ваш душою Ш.-Алейхем.

110

ЕМУ ЖЕ

*Нерви. 11. V. 09.*

Спешу ответить на «запрос» относительно сверления зубов. Есть у нас решительно все: и «бормашины», и борчики, и всякая чертовщина, которые способны просверлить любой зуб и даже душу вымотать. Однако для человека, прошедшего полжизни в Шлиссельбурге, подобное сверление является, вероятно, легким щекотанием вроде развлечения. В таком случае передайте г. Лопатину\*, что мы к его услугам. Будем сверлить. Надо, однако, торопиться, ибо числа 18—20 мы уезжаем. Приемные часы моей супруги от 2—4 дня. Villa Briand, 3. Это — что касается зубов. Теперь перейдем к литературе. Прочтите, пожалуйста, прилагаемое письмо № 1 и скажите Ваше мнение.

Я в этих делах полнейший профан. Бог весть — успею ли я побывать у Вас в Cavi. Расхворался я после

тех рыбок, помните? — Одновременно посылаю Вам некоторые печатные вещицы (мои), давно (и плохо) переведенные по-русски. Просил бы просмотреть две-три из них и показать также Амфитеатрову \*, что скажет он, как нееврей. То есть могут ли подобные вещи быть сколько-нибудь интересны для русской читающей публики? Я постарался сгруппировать вещицы разного жанра. Разумеется, переводы должны быть возвращены мне до 18—20-го мая.

Не откажите отослать их заказным.

Уважающий Вас Ш.-Алейхем.

P. S. Урра! Я получил 3 рубля за постановку моей пьесы — первый гонорар за 10 лет. Читайте прилагаемое письмо № 2.

111

ЕМУ ЖЕ

*Baugy*  
28. V. 09.

Многоуважаемый коллега Давид Яковлевич!

Как видите, оставил Италию и живу в не менее прекрасной и не менее свободной Швейцарии. Если бы не временная простуда, вроде совершенно излишней инфлюэнцы, я бы сказал, что чувствую себя прекрасно. Жизнь же здесь (пансионная) дешевле и куда удобнее, нежели в Италии. В первых числах июня я переезжаю выше, в Беатенберг. (Пока мой адрес сюда: *Baugy sur Clarens Pension Beau—Site.*) Из Нерви дети переслали мне пакет с моими вещицами от Вас. К сожалению, я в пакете не нашел ни одной строчки от Вас, что меня удивило и крайне огорчило. Не будете ли Вы столь любезны пополнить этот пробел, который меня очень интересует. Надеюсь, что Вы поправляетесь и работаете. Вашей уважаемой супруге мой сердечный привет. Г-ну Лопатину также. Как его зуб — спрашивает моя супруга, которая шлет Вам троим свой привет с высоты 460 метров над уровнем моря. До свидания.

Ваш Ш.-Алейхем.

12/25 VIII. 09.

Дорогой коллега Давид Яковлевич!

Я все еще живу и даже поправляюсь.

Удивлен, что не получил от Вас ответа. Весь томик [В] рассказов я прочел с большим вниманием и удовольствием. Кое-где сделал отметки. При личном свидании побеседуем. Получаете ли Вы газету «Die neue Welt», которую я выписал для Вас? Где Вы теперь и как [В] здоровье? Подумывал на зиму опять в Италию поехать. А вы — о чем думаете? Где [В] мысли? Жму руку.

*Ш.-Алейхем.*

Привет [В] уважаемой супруге. Все мои кланяются вам обоим.

6. IX. 09

Дорогой Давид Яковлевич!

Спасибо за письмо. А то я думал, что позабыли и улетели на Север, и поминай как звали. А дела вот как обстоят. Числа 12-го оставляю санаторию. Уеду на осень в Швейцарию, где посоветуюсь с профессорами и поеду, куда скажут. Вероятнее всего, что на старое пепелище в Нерви или в Кабу (если и Вы там будете: одному скучно).

Об одном прошу Вас: не прерывать переписки со мною. Давайте знать каждый раз, где Вы. То же буду делать и я. Пока пишите сюда. Из Швейцарии же сообщу мой адрес. Из Италии тоже. Если Вы получаете газету «Ди найе велт», то жена [В], вероятно, читает мои «Ж.-д. рассказы», которые, как меня уверяют, просятся, чтобы их перевели по-русски. Имейте их в виду, когда будете в Ред. «Совр. мира».

Обнимаю Вас.

*Ш.-Алейхем.*



*Hotel «Metropole» — Locarno  
11/X. 1909 (н. ст.).*

Дорогой друг Давид Яковлевич!

Вот оно, где я. Недельки 3, как я здесь. По дороге в Нерви, конечно. Но здесь так хорошо, что и Ривьеры не надо. Разве наступит зима, тогда марш в Нерви. А может, и в Давол. Если проф. Салли скажет. Было мне довольно плохо, потом лучше, потом хуже, теперь опять лучше. Что будет потом — увидим после, как говорят в Одессе.

А вы, Давид Яковл., где обретаетесь? Вы еще в Италии или, пожалуй, махнули домой, в Расею? Если домой, то Вы будете ведь в Питере. Так мне необходимо знать Ваш адрес (петербургский). Почему необходим? П. ч. там будет скоро моя жена, которая постарается с Вами увидаться. Кстати, у меня нашелся переводчик. Ын девке ын Адэсс. Дорт, ви мэ акт аф рышыс, зол зах Гот дербареман<sup>1</sup>. Он переводит все мои новые [жел.-дор.] рассказы. С ними-то я бы хотел дебютировать в русском журнале. Ссылаясь на [В] любезное обещание содействовать мне в этом деле, я заблаговременно прошу Вас об этом. Я их даже прямо пошлю к Вам. Стыдно мне как-то стучаться в двери Русской редакции, да боязно тоже. А что, если забракуют? Вам же легче будет объяснить им, что если слабовато, то много виноват язык, на котором я пишу. Всего лучше, чтобы все русские редакторы и критики научились по-еврейски. Тогда они поймут Ш.-Алейхема. А супруга Ваша читает ли? Я шлю ей маленькую вещь «Кейвер увыс»\*. А засим жму Вам руку.

Ваш Ш.-Алейхем.

*31. X. 09.*

Дорогой Давид Яковлевич!

Спасибо! Спасибо!

Все сделано будет, как Вы пишете. Как видите, я на

<sup>1</sup> Именно в Одессе, где говорят по-русски, упаси и помилуй мя, господи (еврейск.).

старом месте. Послал меня сюда Салли, бог медицины. А я, безумец, думал, что попаду в Россию. Простите, много писать сегодня не могу. Я болен и утомлен.

*Ш.-Алейхем.*

Здесь лето в полном ходу. Вашей уважаемой супруге мой сердечный привет.

116

Л. Н. ТОЛСТОМУ

*10. IV. 10.*

Дорогой Лев Николаевич!

Я просил московское книгоиздательство «Соврем. проблемы» выслать Вам для народной читальни Вашего имени в Ясной Поляне 1 экз. моей книги «Дети Черты» (вышел пока I т. — II, III и IV печатаются).

Никогда я бы не дерзнул утруждать Вас произведениями моего пера. Но для Вашей читальни я рискнул это сделать — и вот почему.

«Наше ужасное время, — говорит Амфитеатров в своей рецензии об этой книге, — льет в жизнь такую массу ядов ненависти, что встретить в литературе противоядие — великая радость. Книга Шолом-Алейхема — противоядие могучее и проникновенное». Он поэтому горячо рекомендует эту книгу всем русским родителям, которые хотят, чтобы их молодое поколение возрастало в чувствах справедливости, любви к ближнему и всечеловеческого равенства.

Зная, как надоедает Вам публика, начиная с вопроса о перемене религии и кончая советом, на каком следует лежать боку, чтобы желудок лучше переваривал, я отказываюсь просить Вас ответить на мое письмо. Но я был бы бесконечно счастлив, если бы узнал, что скромный дар мой принят с тем братским чувством, с каким он принесен Вам.

Любящий Вас *Шолом-Алейхем.*

Нерви, 22. 4. 1910.

*Шолом-Алейхем*  
*С. Рабинович*

Многоуважаемый Алексей Максимович!

Пишу под диктовку моего отца, Шолом-Алейхема.

Ваше короткое, но выразительное и прочувствованное письмо застало его в постели, как раз во время сильного недомогания, постигшего его вследствие наступившей у нас неслыханной жары. Потребовались консультации врачей, вызов профессора и прочая бестолочь, которым, по мнению больного, грош цена. Братски выраженное Вами мнение\* подействовало на него, говорит он, лучше всяких велемудрых профессоров и хитро придуманных лекарств.

Папа просит передать Вам, что, по словам американских еврейских газет, Вы собираетесь будто к будущему сезону с супругою на гастроли в собственном театре, где будут играть исключительно Ваши пьесы на английском и русском языках. Папа сообщает Вам это потому, что те же газеты в прошлом году чуть не похоронили его в развалинах Мессины, так что приходилось ему писать опровержение, что благодаря счастливой случайности Нерви лежит далеконько от Мессины и что поэтому он чудом спасся от землетрясения.

Примите рукопожатие от дочери Шолом-Алейхема, которая является Вашей, неведомой Вам, поклонницей.

*Ляля Кауфман.*

7. IV 1911.

*S. Rabinowitz*  
*Scholom-Aleichem*

Дорогой Алексей Максимович!

Здесь распространился слух, будто Вы собираетесь в Нерви.

Если это правда, то моя квартира к Вашим услугам. Занимаю большую виллу в Эденском саду, лучшем в Нерви.

Бываете ли Вы в Фергано у Амфитеатрова? Собираюсь туда на один день. Был бы рад встретиться с Вами где бы то ни было.

Любящий Вас

*Ш.-Алейхем.*

Привет Вашей уважаемой супруге — извиняюсь, не знаю ее имени-отчества.

*Nervi (Italia),  
Villa «Rosengarten».*

119

ЕМУ ЖЕ

8/21. IX. 1911.

Дорогой Алексей Максимович!

Как Вам нравится это письмо? Представьте — это лишь копия. Оригинал остался у меня. И писано оно чрезвычайно легко и до курьезности просто: каменным, агатовым карандашом (Achatstift). Таким карандашом и книгой в 100 листов я снабдил А. В. Амфитеатрова, который пришел в такой восторг, что попросил для Германа Александровича\* то же. Исполняя его просьбу, я, будучи в магазине (Freiburg Eisenbahnstr. 12. Wuhrtapp), вспомнил о Вас по ассоциации идей. Авось и Вам случится надобность написать что-либо в 2-х экз. без всякого труда, а напротив, с значительным облегчением труда.

Я, напр., пишу уже теперь *только* агатовым пером. Даже в 3-х (можно и 4-х) экз. Каталог и книга Вам объяснят, к[а]к это делать, чтобы получать по 3—4 экз. за раз.

Надеюсь, что Вы не откажетесь от ничтожного подарка, чем доставите мне великое удовольствие, остаюсь — любящий Вас

*Шолом-Алейхем.*

Книга и карандаш к ним высылаются посылкой без цены. Баденваймар (Шварцвальд), Villa «Ruppert».

10/23. IX. 12.

Дорогой Алексей Максимович!

Податель сего г. Гольдберг — сотрудник самой пространенной и богатой газеты еврейской в России — «Хайнт» (ее тираж достиг 100 000). Я состою одним из ее постоянных сотрудников (в отделе беллетристики), и это, беру смелость думать, некоторым образом говорит о ее лит[ературной] физиономии.

Редакция «Хайнта» желает заручиться Вашей статьей по определенному вопросу, который передаст Вам г. Гольдберг. Переведет статью сам г. Г[ольд]берг, который отлично владеет жаргоном. Размер гонорара потрудитесь определить сами, и сколько бы ни сказали, если только г. Г[ольд]берг Вам подтвердит, то я Вам ручаюсь. С таким же предложением, но по другому вопросу, он едет в Фетзано к А. В. Амфитеатрову.

Любящий Вас

*Шолом-Алейхем.*

18. X. 12.

Дорогой Алексей Максимович!

Если Вас не затруднит, будьте добры сообщить, действительно ли бывают на Капри зимою, как говорят, сильные ветры? Это раз. Второе — название отель-пансиона (лучшего) и цена какая приблизительно. Четыре зимы провел в Нерви. Хоть я и выздоровел окончательно, но на декабрь — февраль, когда здесь выпадает снег, я бегу на Ривьеру.

Что с Вашей статьей для «Хайнта»? Налаживается ли?

Читаю в рукописи начало новой повести А. В. Амф[итеатро]ва. Чудесная, талантливая вещица!

*Шолом-Алейхем.*

## В. Г. КОРОЛЕНКО

Глубокоуважаемый Владимир Галактионович!

Г-жа Цукасова, Мария Абрамовна, передала мне, что Вы выразили готовность принять мою повесть \* для напечатания в «Русском богатстве».

Считаю нужным ознакомить Вас с сущностью предмета. Это роман из еврейской и русской жизни, бытовой, по объему почти не меньше печатающегося произведения в журнале «Современник»... \* В основе его — идея о нелепом обвинении евреев в «ритуальном» убийстве. Никаких внешних признаков трагедии внутренней. Наоборот, ситуации до забавности смешны. (Христианин и еврей обменялись паспортами, оба студента, в итоге — христианин попадает на скамью подсудимых, будучи обвинен в убийстве христианского мальчика — «ритуальной кровью».) Смеею думать, что если когда-либо появится книга, убедительно опровергающая этот нелепый остаток средневековья, который так пришелся по вкусу нашим доморощенным «патриотам», то это будет моя книга... Она будет переведена на русский язык (произведение пишется по-еврейски)... Жду ответа и остаюсь

любящий Вас

*Шолом-Алейхем.*

## МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

*Нью-Йорк, 28. V. 1915.*

*С. М. Абрамовичу, Одесса.*

Дорогой Дедушка!

Сколько раз собирался Вам писать! Но накопилось столько на душе, что, пожалуй, лучше ничего не писать. Однако как же быть? Ведь хочется поговорить с родным и близким. Живете ли? Здоровы ли? Это наиглавнейшее. Все остальное — пустяки. Привыкли. О себе распространяться не буду. Слишком много надо было писать. Разве в двух-трех словах? Извольте. Настигли меня

вражеские немцы\*. Забрали здоровье, деньги и равновесие духа. Долго вандалился по нейтральным странам. Болел физически и душевно. Совсем уже помирал. Обращался к друзьям, взывал о помощи; никто, по обыкновению, не откликнулся, какими-то чудесами попал с семьей без копейки денег в Америку. Здесь приняли меня по-царски. Устроился при газете с жалованьем в десять тысяч. Пишу больше, чем когда-либо. И с любовью к тому, что пишу. Бодр и продуктивен, как никогда. Одна беда: жена больна, дети часто похварывают, да и сам не Геркулес. Беркович с нами, также работает. В журналах пишет. Ньюма, мизинец, до того насобачился по-английски говорить, что подумаешь — американец! У него талант к рисованию. И, вообразите, рисует карикатуры. Восемилетняя Тамара, Тисина дочь — будущий профессор. Киплинга прочла, берется за Шекспира. Вот и все. Передайте мой привет Бялику, Равницкому и др. друзьям. До свидания. Увидимся ли мы с Вами на этом свете? Напишите, Дедушка!

Ваш Шолом-Алейхем.

### III

124

С. ДУБНОВУ

*Киев, 29 мая 1888.*

Препровождая при сем мое сочинение «Дас бинтл блумен», или «Букет», стихотворения в прозе (первый опыт на еврейском жаргоне писать подобные стихи, доводя язык до совершенства, не прибегая ни к немецким, ни к русским оборотам речи и словам), прошу дать Ваш отзыв в ближайшей книжке «Восхода»\*.

Судьбе не угодно было свести нас, когда Вы были здесь; лишь когда Вы уехали, г. Калмансон передал мне, что Вы были в Киеве; а жаль: мне нужно было с Вами поговорить о многом, в особенности же о моем предприятии — издавать еврейский журнал на жаргоне.

Еще хотелось бы Вам слово-другое передать касательно Вашего труда «История хасидизма»\*. Дело, видите ли, в том, что здесь есть одна личность весьма оригинальная (мой добрый знакомый), утверждающая, что один из благородных отпрысков Бешта принял св. крещение и долгое время служил в Петербурге чиновником какого-то департамента. Не знаю, насколько подобный факт интересен сам по себе для Вашей статьи, так как «Введение» Ваше еще не вполне ясно определяет характер дальнейших Ваших трудов.

До Вашего благосклонного ответа остаюсь с истинным почтением

*Шолом-Алейхем.*



Киев, 4 VII. 88.

Ваше почтенное письмо от 28 июня получил и спешу ответить, что субъект, от которого Вам желательно получить сведения о цадиках, вовсе не такого свойства человек, чтобы снизить до нашей братии шелкоперов — сообщать сведения. Но благодаря тому положению, которое я, волею судеб, занимаю в здешней архиплутократии, я могу косвенным путем выжать из него все нужное Вам. И то при случае, сторонкою, между прочим, что обещаю Вам исполнить самым добросовестным образом.

В Сборнике моем я располагаю одним интересным очерком о целой хасидской группе, который, мне сдается, также не лишен для Вас интереса. Он написан известным критиком-сатириком М. А. Шацкесом. Когда будете в Киеве, я весь к Вашим услугам.

В заключение я к Вам с просьбою. Вы едете в Киев к Мандельштаму\*. Город Киев — город святой и посему не особенно гостеприимный для нашего брата\*. У меня, смею Вас уверить, Вы бы жили славно, вольготно, лучше, нежели у самого Христа за пазухой. Поэтому я и жена моя, т. е. моя жена и я, челом бьем, хлебом-солью встретим Вас, многоуважаемый Семен Маркович, дорогим гостем будете у нас. Знаю, что Вы ответите на это уклончиво, конечно, очень вежливо: дескать, так и так и все прочее-другое, между тем как я никаких резонтов не принимаю, а Ваш отказ будет для меня, выражаясь на моем языке, *kimat a' patsch in ronim*<sup>1</sup>.

Итак, решено. Ну, и прекрасно. Жду только Вашего извещения о дне выезда Вашего. Советовал бы приехать сюда к 15 июля: по случаю 900-летия крещения Руси у «нас» здесь будет большой праздник; съедется к нам весь мир или по крайности полмира. До свидания. Весь к Вашим услугам

*Шолом-Алейхем.*

---

<sup>1</sup> Пощечиной (еврейск.).

7 августа 1888.

Ваше любезное письмо от 31 июля получил. Чтобы еще больше убедить Вас в том, что Вы должны остановиться у меня, я должен сообщить Вам весьма прискорбный эпизод из пребывания здесь одного Вашего знакомого, которого я люблю. Его зовут Я. Динезон. Сей честный муж остановился на Подоле у своих знакомых, и ровно в полночь, когда он наслаждался чтением моего «Букета» (это — между прочим), к нему постучали в дверь... ну, и так дальше. Его попросили «Стихотворения в прозе» оставить на другой раз, а «покудова что» его продержали часов десять в каком-то погребе, это было лишь недели две тому назад. Он дал себе слово никогда моих произведений не читать и на Подоле не останавливаться. Теперь ясно, кажется, что квартира Ваша должна быть у меня. О стеснениях же не может быть речи. Уверяю Вас. К тому же жена моя в сентябре собирается в Ялту; тогда Вы просто облагодетельствуете меня. Забыл тогда сообщить Вам, что у меня есть два херувимчика в образе девочек, которых Вы сразу полюбите, как полюбил их Динезон и еще заставил Г. Ф[ришмана] издали (из Варшавы) влюбиться в них.

Вы спрашиваете, что за Сборник издаю я\* и когда он выйдет? Отвечу Вам на последний вопрос: выйдет он через полтора месяца ровно, и до того времени подписка не принимается, ибо бедный читатель жаргонной книжки, заплативши трудовую копейку, не может долго дожидаться этой самой книжки. На первый же вопрос я отвечаю еще короче: я уверен, что он (Сборник) вполне заслужит Вашу симпатию. У него двойная цель: во 1-х, дать возможно больше лучшего материала за доступную цену и дать возможность нуждающимся литераторам (а какой литератор не нуждается?) зарабатывать рубль-другой, что, как Вам известно, в нашей литературе (т. е. вообще еврейской) дается не так-то легко. Достаточно Вам заметить, что до сего числа мной уплачено гонорара моим друзьям-сотрудникам почти тысяча рублей. Но этим еще не исчерпывается главная суть моего Сборника. Я хотел подняться на такую высоту, до которой не доходило

еще ни одно из подобных изданий, не исключая «Гаасифа», «Кнесета» и пр., и вместе с тем оставаться доступным для народа. Я сгруппировал действительно все, что есть лучшего в нашей литературе. В пылу увлечения жаргоном ко мне перешли лучшие силы древнееврейской литературы, во главе коих Вы встретите и Льва Осиповича Гордона и Д. Фришмана, а за ним маститого Готлобера, и Егалела, и Калмансона etc. Из посмертных сочинений я раздобыл драгоценную в историческом отношении рукопись р. Исак-Бера Левинзона и мудрые стихи — Цвейфеля \*, также переписку, имеющую важный интерес, между р. Исак-Бером Левинзоном и д-ром Эттингером \*. Живое участие в моем издании принимают также Абрамович и Линецкий. Всех не исчислишь в письме. Одна из статей Шацкеса имеет некоторый интерес и для Вас, как материал для «Истории хасидизма», но я ее в I томе моей «Библиотеки», кажется, не дам; но как будете здесь, то воспользуетесь ею, если найдете нужным.

В заключение просьба — и просьба всепокорнейшая. На фельетон г. Случайного Фельетониста \* в последнем номере «Восхода» я написал возражение \*, каковое я думал отправить в редакцию «Восхода»; но подумал — и весьма основательно, — что возражение мое попадет прямо в «корзину» и, при лучших обстоятельствах, удостоюсь еще ответа в «почтовом ящике Редакции». Поэтому я обращаюсь к Вам с убедительной просьбой оказать мне эту важную для меня услугу, которую я Вам не забуду никогда в жизни моей. Извините только, что, не будучи еще с Вами знаком, я уже надоедаю Вам своими просьбами; что же будет потом? Ничего не будет. Вы только приобретете себе горячо преданного Вам друга, который может быть Вам полезен и приятен во всех отношениях (как гоголевская дама).

Еще хотел я Вас спросить: когда Вы рассчитываете окончить Вашу «Историю хасидизма»? Я уже говорил с одним студентом, который согласен перевести ее на жаргон для моей «Библиотеки» (II тома). Разумеется, прежде всего мне нужно Ваше согласие, а затем мне нужно с Вами поговорить относительно того, что необходимо ее, в некоторых местах, сократить; особенно о «Schibche Bescht» \* с «моими» читателями говорить совершенно в ином тоне. «Мои» читатели могут это принять за чистую монету, и тогда получится второе «Schibche Bescht». Я откладываю эту беседу до личного свидания.

Не отпущу Вас. Еще один вопрос. Г. Калмансон (сын) написал для моей «Библиотеки» (I т.) недурную компиляцию о мнениях, высказанных разными учеными и философами о еврейском народе. Статья написана недурно, но меня беспокоит мысль, что не следует народу подносить такой «цимес», что мы, дескать, великая цаца у господ бога, ато bechartonu \*. Как Ваше суждение на этот счет? Жду ответа. Готовый на всевозможные услуги, преданный Вам

*Рабинович.*

P. S. Забыл о самой сути моей просьбы. Я прошу Вас, чтобы Вы похлопотали за меня в редакции «Восхода». Пошлите мое «Письмо» туда, и тогда его наверно напечатают. Если же Вам неудобно, чтобы письмо проходило через Ваши руки, то Вы мне пришлите «Письмо» обратно, и я его сам вышлю туда, а Вы тем временем им напишите. Я посылаю его Вам в готовом конверте, и Вы могли отправить письмо, если бы хотели, из Мстиславля; редакция не заметит.

127

Е М У Ж Е

*Киев, 2 сентября 1888.*

Одновременно с № «Восхода» \* получил и Ваше любезное письмо, и, признаться, мне теперь совестно: не знаю, чем могу Вам услужить за оказанную Вами мне великую услугу. Я в полной уверенности, что без Вашего содействия письмо не было бы напечатано. Важность же заключается не в том, что несколько оправдался перед публикой, вовсе нет, ибо все знающие и не знающие меня проникнуты убеждением, что мое предприятие — дело не коммерческое, дело хорошее. Я хотел только перед читателями «Восхода», большинство коих смотрят на жаргон глазами Случайного Фельетониста, выставить любимый мой жаргон в более благообразном свете, как он (жаргон) этого и заслуживает, с чем Вы, как я вижу, тоже согласны. К сожалению, немногие разделяют наше мнение. Иные на самом деле смотрят на нас, как на маленьких людей, Пимперле; иные плечами пожимают от удивления; иные же, глядя через желтые очки зависти на эту новую литературу, лопаются от злости. При таких-то обстоя-

тельствах нам приходится работать. Какой же тут может быть успех?

Итак, я должен поблагодарить Вас за Ваше участие, но благодарить не буду, а буду ждать случая, когда сумею услужить Вам при первой возможности.

В знак признательности и глубокого моего к Вам уважения посылаю Вам мою фотографическую карточку, и был бы рад, если бы Вы оплатили тем же.

Забыл предупредить Вас, что «Р. Сендер Бланк» есть, собственно, 1-я часть романа. 2-я часть — «Маркус Бланк» — у меня заканчивается в рукописи, а 3-ю — «Последний из Бланков» — я лишь напишу со временем, когда лучше и подробнее, всесторонне познакомлюсь с нашим юным поколением, достойным серьезного изучения. Вы видите, что я задался мыслью Э. Золя при составлении его бессмертного труда «Карьера Ругонов» (Jehawdel)\*.

Я все еще не теряю надежды видеть Вас здесь.

Для моего Сборника я пишу «еврейский роман» под названием «Стемпеню». Имя это принадлежит личности до известной степени исторической, по крайней мере для юго-западного еврейства. Стемпеню был не кто иной, как замечательный маэстро, скрипач в Бердичеве. Сегодня я вернулся из Бердичева, где я на месте собрал кой-какие сведения об этом герое, — и вообразите себе, что описанные мною подробности, даже внешность его и пр. ни на иоту не уступают всему тому, что передали мне бердичевские старожилы. В одном лишь я согрешил против истины; мне необходимо было, чтобы Стемпеню после себя не оставил потомства; ан оказывается, что в Бердичеве и поныне живут его дети. Типов, т. е. я хотел сказать — *характеров*, во всем романе лишь три: Стемпеню — художник, поэт и пр. в еврейском смысле; его супружница — особа мелочная, жадная и жестокая, и, наконец, еврейская Лаура, идеал чистоты, кротости, красоты и чувства. Фабула самая незатейливая, процесс любви — мгновение, как подобает в таком порядке вещей у евреев и лет 20 тому назад. Стиль доведен до совершенства.

Боже мой, что за богатство для нашего брата маляра город Бердичев! Жаль, что дела (проклятые *дела!*) не позволяют мне подольше оставаться в этом еврейском Париже. Но я буду его навещать от времени до времени. При личном свидании я расскажу Вам повесть из действительной жизни в Бердичеве, от которой Вы придете в умиление. Вот она, жизнь!.. Но я Вам поряд-

ком-таки надоел. 7-го я еду денька на три — провожать мою супругу, уезжающую в Ялту. Я еду до Одессы. Наконец я увижу Абрамовича. Он великий человек. Его никто из читающих жаргон не знает, никто решительно. Если бы я не знал, что время Вам так дорого, я бы, невзирая на неприличие, выслал бы Вам его очерк (в корректуре) «Волшебное кольцо», который напечатаю в моей «Библиотеке».

Считаю приятным долгом поделиться с Вами отрадною новостью, что Бен-Ами высылает мне свой очерк для «Библиотеки». Затем г. М. Г. Моргулис \* (Одесса) выразил готовность принять участие в «Библиотеке»... Все сюда!

Имею еще кой о чем с Вами поговорить да посоветоваться, да совестно просто. Жму Вашу руку. Глубоко преданный Вам *Соломон Рабинович*.

Р. С. Когда именно вы переедете в Питер и как будет Ваш адрес туда?

128

ЕМУ ЖЕ

*Киев, 13. X. 88 г.*

Посылаю Вам проспект о выходе (в ноябре) моего Сборника «Евр. народная библиотека». Желательно было бы, в назидание моим врагам, чтобы в «Восходе» была помещена заметка об этом страдном литературном явлении. Прошу Вас, если можете, подействовать мне в этом. Жду еще Вашего ответа и возврата известного Вам письма. Преданный Вам

*Рабинович.*

129

ЕМУ ЖЕ

*Киев, 18 ноября 1888.*

Вчера лишь вернулся из Ялты, где пробыл недели три, и застал Ваше письмо от 24 октября. Спешу уведомить Вас, что Ваше письмо с «документом» \* получил еще перед отъездом в Ялту. Забыл добавить Вам тогда, что в деле просматривания Вашей статьи в корректуре, по-моему, фигурировала одна очень уважаемая и даровитая

677

личность... \* Но не будем больше об этом говорить. Когда-нибудь при личном свидании я Вам сообщу много интересного и поучительного касательно этих «уважаемых и даровитых» личностей. Пока же, дабы не показаться Вам чрезвычайным мизантропом, я спешу оговориться, что я, по натуре своей, слишком доверчив, а по неопытности слишком непрактичен, а то и другое вместе стоят мне очень дорого в смысле крови и жизни.

Неужели Вы так-таки в Киеве не будете? Видно, Ваши глаза «плюют» на Мандельштама. А когда Вы собираетесь в Питер? Не проходит письма без просьбы. Опять просьба. Дело в том, что мой новый роман «Стемпеню», о котором я Вам давеча писал и который входит в состав «Библиотеки», печатается особо — в Одессе — и уже вышел из печати. Вот мне хотелось бы, чтобы Вы взглянули на него прежде еще, чем выйдет «Библиотека», и *особенно* высказали бы мне о нем свое мнение. Идет?

Видно, никакие вылазки Леви и нападки Случ. Фельетониста не имеют никакого действия; подписка на «Библиотеку» идет *очень бойко*, и, кажется, в успехе моего предприятия уже нельзя сомневаться. Впрочем, еще посмотрим дальше. Будьте здоровы и не медлите ответом. Весь Ваш

С. Рабинович.

130

ЕМУ ЖЕ

Киев, 11 января 1889.

Одновременно с сим посылаю Вам заказной бандеролью мое новое произведение «Стемпеню», первый мой роман, давно обещанный мною Вам. «Стемпеню» есть произведение художественное, и от его успеха зависит вся дальнейшая судьба моей литературной деятельности. Задавшись мыслью написать еврейский роман для народа, я спустился к нему, к народу, заимствовал у него все прекрасные легенды об этой, так сказать, исторической личности. «Стемпеню» действительно личность, существовавшая в нашем крае, а в Бердичеве (где он родился), Житомире и других городах Волыни и Украины нет того еврея-старожила, который бы не знал если не самого Стемпеню, то, по крайней мере, массу анекдотов, историй и легенд по поводу него. Для этой цели

я поехал в Бердичев, вошел в переписку и личные сношения с «клезмерами»<sup>1</sup>, которые отчасти раскрыли предо мною душу этого человека; остальное же досоздала моя творческая фантазия. Помимо [этого] и не дожидаясь Вашего печатного отзыва, я прошу удостоить меня письменно Вашим авторитетным для меня мнением. Полагаю, что Вы еще в Мстиславле, ибо не получил от Вас обещанного уведомления о перекочевании Вашем на Север.

При сем прилагаю оглавление моего Сборника, из которого Вы убедитесь, что Сборник уже совершенно готов; на днях будет разослан. Ст. XXXVI, взятая в красную рамку, касается Вас лично. Жду ответа.

Преданный Вам

*Шолом-Алейхем.*

131

Е М У Ж Е

*Киев, 9. II. 89.*

Очень жаль, что обстоятельства помешали Вам пройти по моему Сборнику. Буду надеяться, что с приездом Вашим в Мстиславль Вы не забудете вернуться к нашему жаргону, который считает Вас своим *высоким покровителем* после того, как целое десятилетие, если не больше, наша эмансипированная сестра — русско-еврейская литература совершенно игнорировала своего даровитого подростка-жаргона. В особенности меня интересует Ваше беспристрастное мнение о «Стемпеню», который уже не есть копия действительности, а художественная картинка, одухотворяющая действительность в сочетании стройных, гармоничных и ярких образов и штрихов. Это первая моя попытка создать нечто прекрасное в области фантазии на еврейской народной почве. Вам предстоит оценить, верно или неверно решена мною задача художника. В последующих произведениях я возвращусь к обычному моему жанру — бытописанию.

Вы спрашиваете, как идет подписка, т. е. продажа «Библиотеки». Если это есть успех, то «Библиотека» может на него претендовать, ибо в течение января месяца разослано до 2000 экз. и подписка еще продолжа-

---

<sup>1</sup> Клезмер — музыкант (*еврейск.*).



ется, так что, по мнению экспедитора, в феврале и марте она должна разойтись и потом уже составит библиографическую редкость. Отзывы же *tevinim*<sup>1</sup> достигают высших пределов в своих восторгах. Но Ваше мнение для меня важно ввиду собрания материалов для II тома, к которому имею желание приступить скоро, несмотря на все трудности, неприятности, мерзости, пакости и бесконечные сплетни... Весь Ваш

*Шолом-Алейхем.*

Р. С. Неужели в «Нед[ельной] хр[онике] восх[ода]» никто словом не обмолвится о «Библиотеке»?

132

Е М У Ж Е

*Киев, 14. IV. 89.*

Только сегодня узнал, что Вы уже в Мстиславле. Горю нетерпением узнать Ваше мнение о моем «Стемпеню». Это не простое любопытство, а интерес важный для меня в отношении дальнейших моих произведений. Ваше слово всегда служит для меня путеводною звездою на моем писательском поприще.

Имею к Вам еще частную просьбу. Не знаете ли Вы, из каких источников могу я почерпнуть сведения по истории происхождения еврейского костюма? Профессор Доброславин в ПБурге недавно прочел лекцию о ермолке у евреев. Но это недостаточно для моей задачи.

Собираю материал для II тома моей «Народной библиотеки».

Будьте здоровы. В.В.<sup>2</sup>

*С. Рабинович.*

133

Е М У Ж Е

*Боярка Ю.-З. ж. д. 18 июля 1889.*

Благодарю Вас за карточку. Извините, что до сих пор Вам не отвечал. Дела, дела, дела! (Литературные преимущественно.) В скором времени приступлю к пе-

<sup>1</sup> Понимающие (*еврейск.*).

<sup>2</sup> В. В. — то есть весь Ваш.

чатанию II т. «Библиотеки», который должен переиздавать первый том во всех своих отделах. Сам написал я повесть «Regele»\*, которая стоит мне полгода труда и, кажется, нескольких лет жизни. Никогда я еще столько не трудился над произведением, тщательно обрабатывая его со всевозможных сторон. Характер нового моего романа — лирический; при всей моей склонности к веселому юмору, у меня при нынешнем нашем социальном положении не хватает духу юродствовать, тем более что в жизни, которую я описываю, я нахожу, откапываю такие перлы, как Regele или Rochele в «Степнею». Кстати, «Степнею» печатается теперь в немецком переводе во львовском «Израелите». Нашлись, однако, люди, сумевшие оценить вещь хотя бы на жаргоне. В нашей же еврейской литературе я имею теперь столько антагонистов, что, право, не понимаю, за что такая честь, ибо «много врагов — много чести». Иногда же мне становится довольно жутко при таких обстоятельствах.

Не имеете ли Вы такого знакомого в Петербурге, который бы взял на себя труд — за приличное вознаграждение — написать брошюру «Mausse gedola mitebach Uman»\* в библиотеке Академии наук? Когда рассчитываете Вы быть в Питере? Мне это нужно знать. Еще раз простите, что опоздал ответом.

Весь Ваш С. Рабинович.

Р. S. Будет ли скоро отзыв в «Восходе» о моей «Библиотеке»? Мои древнееврейские «Типы и силуэты»\* печатаются в «Хамейлице». Пришлю Вам потом целую книжку этих крохотных вещиц.

134

Е М У Ж Е

Киев, 3 августа 1889.

Будьте столь любезны и сообщите мне, где я могу достать книгу о кавказских евреях, которую Вы, помнится, разбирали в прошлом году... «Восхода» я, живя на даче, давно не читал. Кажется, я Вам уже сообщил, что мой «Степнею» переведен на немецкий язык в «Израелите» (львовском). Преданный Вам

С. Рабинович.

Боярка. 17. VIII. 89.

Ваше открытое письмо получил. И рецензию Вашу в «Восходе» (июль) читал. Вы — единственный писатель, сочувственно и гуманно относящийся к бедному жаргону. Трудно выразить Вам ту искреннюю благодарность, которую я должен был выразить Вам. Я переживаю нынче столько гонений и несправедливых нападков на меня и на жаргон, с которым почему-то связали мое имя, что не могу не радоваться от всякого доброго слова. В особенности мне достается от одного психопата, забравшего в свои нечистые руки единственный «Народный листок» \*, который обращен им теперь в клоаку для излияния помоев по адресу жаргона и его адептов-поклонников, в особенности по моему адресу, после того как я — что бы Вы думали? — отказал этому проходимцу в ссуде 6000 рублей! С того самого момента и начинается его поход против меня и жаргона (несчастный, ни в чем не повинный жаргон!). И Вам нужно видеть, как издатель (он же фактический редактор) *жаргонной* газеты кричит в каждом номере: «Долой поганый жаргон!» Вот геройство! Но это бы ничего. Чтобы окончательно подорвать авторитет жаргона, он в передовых статьях, в фельетонах, в политической и иностранной хрониках повествует читателям о том, что Шолом-Алейхем-де курит десятирублевые сигары и подкупает своих критиков (в том числе и Вас, конечно) для рекламирования своих произведений, и т. п. грязь, которую повторять стыдно. И это все — в *единственном* органе для массы! Удивительно, как, однако, моя «Библиотека» так быстро и с таким успехом разошлась в народе; а отзывы и сочувствие людей искренних придают мне силу и бодрость бороться против явной несправедливости двумя путями: презрительным отношением ко всякой сволочи и энергичным стремлением вперед, распространяя полезные книги в массе. Ваше замечание относительно существенного пробела в «Библиотеке» — исторических популярных статей — принял к сведению с душевной признательностью. Пред[анный] Вам

С. Рабинович.

*Киев, 2 февраля 1890.*

Давненько не писал я Вам. Не то чтобы не было о чем, а скорее от невозможности самому оторваться от усиленных занятий (на днях II том моей «Библиотеки» выходит в свет) и нежелания мешать другому заниматься. Прошли те блаженные времена, когда люди нуждались в обмене мыслей. Теперь этот обмен мыслей заменили либо деловой корреспонденцией, либо журнальной перегрузкой. Единственное спасение — это искусство, куда удаляешься на время и забываешь всю эту литературную мразь. Говоря об искусстве, я считал для себя приятным долгом уведомить Вас, что через недельки две пришло Вам мой новый роман «Иоселе-соловей», имеющий войти во II том «Библиотеки». Если Вы отнеслись к «Стемпеню» так благосклонно, то я не знаю, что Вы уже скажете об этом произведении. Я, по крайней мере, переписывал его раз пять и, кажется, не даром потрудился над ним. Кстати, посылаю Вам одновременно с этим письмом мои «Типы и силуэты», первые мои опыты на языке наших праотцев. Преданный Вам

*С. Рабинович.*

*Киев, 16 февраля 1890.*

Я уже начинаю думать, что Вы в Питере и письма мои таким образом пропадают в Мстиславле. Но я рискую и пишу все-таки Вам опять и опять. Одновременно с сим посылаю Вам мои мелкие рассказы на древнееврейском языке, как первые опыты, пробы пера (я, кажется, послал Вам их в Петербург). Со стороны содержания их я не могу похвалиться, ибо обратил все свое внимание на изящество слова. Я вынужден был обратиться вначале к типам «отживающим», ввиду того что хочу дать целую серию таких типов и силуэтов вплоть до новейшего времени, и эти типики мне пригодятся для параллели... Если время позволит Вам, пишите о

них отзыв в «Восходе» и, кстати, сообщите мне Ваше мнение. На днях получите мой новый роман «Иоселесоловей», который прошу прочесть с особенным вниманием.

До свидания, В[есь] В[аш]

*С. Рабинович.*

138

ЕМУ ЖЕ

*Ю.-З. ж. д. Ст. Боярка, 17 мая 1890.*

Ваше письмо меня обрадовало: наконец-то мы с Вами познакомимся. Но будете ли Вы скоро в Киеве? Во всяком случае, если приедете в Киев, то прошу Вас заехать либо в Киев, на Елизаветскую улицу № 8, либо в Боярку, дача 26, по Вашему выбору. Мой совет — заезжайте прямо в Боярку, откуда Вы имеете 5—6 киевских поездов в день. Д-р Мандельштам также живет в Боярке, т. е. приезжает ежедневно в Боярку дачным поездом в 5 часов и проводит здесь до следующего утра, по обычаю всех дачников. Я советую Вам потому так делать, дабы не приходилось Вам ночевать в Киеве, что важно во всех отношениях. Наконец я требую и настоятельно прошу ускорить Ваш приезд, ибо в июне — июле — кто знает? — д-р Мандельштам может куда-нибудь уехать. Ясно, кажется, как летний день, что Вы должны немедленно приехать, — и в Вашем полном распоряжении моя зимняя квартира, которая теперь совершенно гуляет, а также полный отдых и самое что ни на есть простое «балебатыше»<sup>1</sup> гостеприимство в Боярке. Жалуйте же, Семен Маркович, не медлите, ибо в середину лета я собираюсь в Одессу. Жду Вашего письма с назначением дня и недели Вашего к нам приезда. Весь Ваш

*Соломон Рабинович.*

Р. С. Казус с Линецким\* для меня не нов: этот несносный автор стоит мне много денег, крови и жизни. 70 чертей и 140 ведьм тому, кто выдумал жаргонную журналистику и жаргонных писателей.

---

<sup>1</sup> Балебатыше — в смысле: хлебосольное (*еврейск.*).

*Боярка, 28 июля 1890.*

Сир и вдов, брожу я весь день в саду, по излюбленной Вами аллее, и все думаю о том, как было бы приятно, хорошо и полезно, если бы стук Ваших каблуков раздавался в столовой, хотя бы тогда даже, когда я буду спать. Лучшим доказательством, что я скучаю, это то, что я почти потерял аппетит, увы! Но довольно сентиментальничать. Поговорим о делах более важных. Эмма \*, Ваша любимица, спрашивает, разыскивая кого-то в саду: «Где дядя?» Не знаете ли, милостивый государь, о ком мечтает сия девица? Извините, я, как отец, беру себе право вникать в сокровенные тайны моих дочек, ведущих кумовство с еврейскими писателями. Кстати, о них, о писателях наших... «Но неужели они еще Вам не надоели?» — скажете Вы. Совершенно верно, они мне надоели страшно, но все же какая-то сила проклятая тянет меня к ним [...] <sup>1</sup>. Я бы писал да писал Вам, но знаю, как  $2 \times 2 = 4$ , что в данную минуту Вы плывете по Днепру, затем Вы, по живости Вашего темперамента, проведете денька 3—4 с «Моткой», затем простоите с недельку в городе Пропойске и лишь к Носчана-габа приедете домой. Такого мнения держатся все мои домашние, которые шлют Вам сердечные поклоны... Обнимаю Вас и грызу ногти от досады, что я делаю, впрочем, всегда.

Весь Ваш *Шолом-Алейхем*.

*Киев, 28 августа (1890).*

...Что же до меня касается, то столь много накопилось, что писать грешно и невозможно. Живу собачьей жизнью. Занят и разбросан. Мчусь на суетно-житейском аэростате по всем направлениям. Голова ходуном идет, в ушах постоянный звон, и вся душа моя будто находится в чьей-то власти, во власти современного Демона;

<sup>1</sup> Опущены несколько строк.

лишь изредка поглядываю вниз, на расстилающийся подо мною мир, и я созерцаю его прелести, упиваюсь его красотой и смеюсь над его неисчерпаемую глупостью. Словом, это не жизнь, а какая-то дьявольщина, и бог весть, куда я попаду, — наверное, в ад...

Моя жаргонная книжка новая скоро увидит свет. Рассказец юмористического свойства живой, бойкий и не лишен психологической правды. Древнееврейский же рассказ \* мой тоже готов к печати, но я остался им недоволен, и едва ли он увидит свет, если его не исправлю. Весь Ваш

*С. Рабинович.*

141

ЕМУ ЖЕ

*Киев, 2.X.90.*

Тяжело будет для Вас то, что я Вам сообщу здесь, но каково уже мне! Ваш раздвоенный друг, столь бурно прошедший бурную жизнь, оскользнулся и погиб... погиб для мира золота и бумаги \*. Пробыл его последний час, и он, сложив оружие, обратился в бегство, — разумеется, до поры до времени. Что скажет «свет»? Как примут это мои друзья, искренние и неискренние? Но до того ли мне теперь? Считая Вас добрым, искренним другом, я прошу вспомнить о том, что говорено было между нами в Боярке. Дела уже тогда были скверны, но один шаг, устремленный мною к выходу из неопределенного и шаткого положения, ускорил лишь конец. Две-три крупнейших неудачи, два-три ужаснейших банкротства — и я очутился в огне, объятый пламенем долгов и обязательств, грозящих мне не только разорением, но чем-нибудь более ужасным. Куда направляюсь я — одному богу известно!

Рад я, что Вы очутились в Одессе, Adonaj schlo-scho<sup>1</sup>. Там живет теперь моя семья. Должен ли я просить Вас быть для нее утешителем? Сойдитесь с Б. А. Он святой человек. У него Вы узнаете адрес моей супруги и деток. Прощайте, дорогой товарищ. Весь Ваш

*Шолом-Алейхем.*

---

<sup>1</sup> Бог тебя прислал (*древнееврейск.*).

## IV

142

БЕРЛИН, «ЦЕНТРАЛОТЕЛЬ», 196

21.XII.07

Многоуважаемые друзья,

Саул Моисеевич и С. Розенфельд!

Часа 2 тому назад я получил любезное приглашение от г. Розенфельда участвовать в «Венике»\*. При этом г. Розенфельд ставит мне 3 условия: 1) дать «самое лучшее», 2) не больше 100 строк фельетон и 3) гонорар за фельетон Ш[олом]-Алейхема «самое лучшее» — шесть рублей серебром! Помните, в Питере у Вас такую монету дают старшему дворнику в день Нового года. Будем откровенны, господа. В 1-ю минуту я был возмущен. Поймите, после моей вопиющей телеграммы из Берлина, после полученных из Швейцарии печальных писем: и от «Фрайнда» ничего, после обещания С. М. \*, что 1-го дек[абря] будет выслано, — я вдруг получаю подобное приглашение. Чем можно отомстить за подобную злую насмешку? А вот чем. Я исполнил желание Ваше. Сел и написал Вам фельетончик для 1-го №-а «Безем» (т. е. «Веник». — *Ред.*), который при сем прилагаю, и — клянусь Вам — пожелай я от какого-нибудь Крынского, кабцана из кабцанов\*, 100 рублей за него, он жену заложит в ломбард и пришлет мне, п[отому] ч[то] Крынский за нечто подобное («Дядя Пиня и тетя Рейзя») попробовал заработать тысячи (я не преувеличиваю).



Я хочу, чтобы этим фельетоном Ваш «Безем» прогремел от одного конца еврейского] мира до другого и чтобы Вы помнили (и, кстати, поняли), что у Вас был сотрудник, которого зовут Ш[олом]-Алейхем. Что же касается до гонорара, то если Вы стоите на этой цене, о которой пишет г. Розенфельд, то будьте любезны отдать его в кассу взаимопомощи нуждающимся студентам-евреям в П[етер]бурге. Я был бы грубияном, если бы я сказал, что я дарю Вам этаким гонорар. Разумеется, что только в 1-м номере «Безем», а не в другом №-е Вы можете дать эту историйку. Что касается рекламы и пр[очего], то не мое дело вмешиваться в Ваш бизнес. В знак того, что я не сержусь (обида слишком велика, чтобы сердиться), я жму обоим Вам руку совершенно по-дружески.

*Ш[олом]-Алейхем.*

143

*Берлин (без даты).*

Многоуважаемый Израиль Моисеевич! \*

Ну, что за счеты? Вы бы на минутку вошли в положение человека, не знающего истинного положения вещей, и Вы бы тогда отказались от всяких обвинений. Отказываюсь и я от них. Будем друзьями. Сомневаетесь ли в том, что я буду участвовать в дальнейших «Беземах»? Я чертовски занят здесь — вот беда. Но урвем минутку и для «Безема», которому я симпатизирую уже до его рождения. Что до «Фрайнда», то я выслал сегодня зак[азной] бандеролью дальнейших «Эмигрантов» \*. Итак, кто старое вспоманет, тому глаз вон. В конце декабря Вы сведете счеты — посылайте же деньги в Женеву по адресу моей жены, прошу Вас: Geneve (Швейцария), M-me O. Rabinowitz. Avenue du Mail, 21. Приобщите к счету и тот материал, который я Вам выслал сегодня, приблизительно и то, что будет выслано мною до заключения счета. А еще лучше было бы, если бы взяли сейчас да отправили моей супруге просимую сумму. Ваш старый друг

*Ш[олом]-Алейхем.*

С. М. и Розенфельду мой привет. Отчего они не пишут сами? Боятся они меня? Не съем...

688

(Берлин) 20.1.08.

Многоуважаемый г. Рапопорт!

Получил Ваше еврейское письмо, на которое я отвечаю Вам по-русски. Когда Вы будете писать мне по-древнееврейски, тогда я Вам отвечу на жаргоне. Получил жалобу из дому (Женева), что с 1-го января перестали высылать мне «Фрайнд» (по адресу: Genève, Avenue du Mail, 21. S. Rabinowitz). Я здесь также его не получаю и не вижу. И, вообразите, встречаю людей здесь, которые благодарят за фельетон в «Безем», а я «Безема» и не видел. Психология писателя — он должен видеть, иметь перед глазами свое детище, для того чтобы производить дальше. Просил бы, помимо экз[емпляра], высылаемого в Женеву (надеюсь, что возобновите высылку), распорядиться о высылке «Фрайнда» с «Беземом» сюда в Берлин в течение этого января месяца (начиная с 1-го числа).

За дружеское письмо благодарю.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

С. М. и Розенфельду поклон.

(Берлин) 24.1.08.

Многоуважаемый Израиль Александрович! \*

Получил неподписанное письмо и чек на г. Ривкеса \* (Берлин) на 75 марок. Спасибо. Но почему же не прислали мне счета? Или счет отдельно пришлют? «Безема» не видел. Теперь я к Вам с вопросом (мит а шайлэ). Имеет ли право газета \* выпустить отдельным изданием напечатанный у нее фельетон или фельетоны без ведома и разрешения их автора? Что может автор предпринять в случае, если бы газета позволила себе такой поступок? Какие существуют законы в ограждение авторских прав в этом случае? Не существуют ли особые законы об этом для Царства Польского? Вы меня премного обяжете, если поручите кому-нибудь из знающих написать мне подробное письмо об этом. Заранее выражаю Вам мою благодарность.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

Привет С. М. и Розенфельду.

15.11.08.

Мой адрес: Geneve (Suisse), 21, Avenue du Mail

Сегодня я узнал, что г. Ривкес (Kaiserstr., 35) писал Вам, между прочим, что денег он не шлет Вам, имел в виду меня, 1) т[ак] к[ак] я живу в одном доме с ним, 2) т[ак] к[ак] я состою Вашим сотрудником, 3) т[ак] к[ак] мне будут причитаться с Вас деньги, 4) т[ак] к[ак] и т. д. — поэтому и т. д. Покорнейше прошу это объяснение, данное Вам помимо меня, записать в дебет *его собственной благоглупости*.

Что касается моих дальнейших работ, то вследствие перевода и постановки моей пьесы\* я залез ужасно далеко в какие-то дебри немецкой журналистики и бог весть, когда я выпутаюсь из этого приятного болота. Бог не без милости. Кланяюсь.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

(Женева) 5.11.08.

Многоуважаемый Александр Израилевич!

Посылаю Вам одновременно с сим «Шалахмонэс»\* (историю в честь праздника пурим, рассказанную касриловским евреем и переданную слово в слово Шолом-Алейхемом).

Дадите Вы его в «Фрайнде» или в «Беземе», если ради праздника издаете в более роскошном виде, на лучшей бумаге.

Имею к Вам просьбу, которую изложу просто в 2-х словах: нуждаюсь в деньгах. До зарезу мне нужна пара сот рублей. Хотя по счету Вашему еще причитается рублей 50 или 60, но Вы не обратите на это внимания и поступите со мною по-джентльменски, к[ак] поступали донныне. Обещаю Вам целый ряд фельетонов и не буду к Вам обращаться за деньгами впредь до того, когда Вы сами раскошелитесь. Еще более любезно поступили бы Вы, если бы распорядились эти деньги выслать мне сюда, в Женеву, телеграфно, так чтобы я их имел здесь не позже 1/13-го марта.

Преданный Вам Ш[олом]-Алейхем.

(Женева) 8.III.08

Многоуважаемый Александр Израилевич!

Ваше письмо от 21 февраля получил. Вы угадали: мой пуримский фельетон\* был уже в пути (теперь он у Вас). Жалею, что не ответил Вам телеграммой на телеграмму. Но теперь уже все равно. Вы уже получили и мою телеграмму, и мои два письма, где была выражена моя покорнейшая просьба об авансе двухсот рублей *по телеграфу*, и я жду с минуты на минуту Вашего телеграфного перевода.

Что касается Вашего предложения насчет «Клада», то я *его принимаю*. Для него нет лучшего места, как «Фрайнд», читаемый *всеми* классами нашего общества. Но тут есть закавыка, и от Вас зависит сие уладить, а именно: т[ак] к[ак] теперь можно в т[еатральну]ю цензуру провести пиесу и на евр[ейском] языке, то Вы возьмете на себя этот труд. Это одно. Второе, — как оградить себя от гг. Фишзонов\* и К°, дабы они не смели поставить ее на сцене без разрешения автора? Будет ли театр[альная] цензура гарантией от того или это еще недостаточно? Возможно ли путем огласки это сделать при печатании самой пиесы, что, мол, все права представления, перевода и пр. сохраняются за автором? Имеет ли подобное «справа архангел Михаил, слева архангел Гавриил» какое-нибудь практическое значение? Как я Вам уже писал, пиеса переводится на нем[ецкий], русский языки, ведутся переговоры с разными театрами о постановке пиесы на нем[ецкой], русской и польской сценах, — и вот какой-нибудь театральный Фишзон может мне натворить беду. Сыщите какой-нибудь способ раньше, чем приступить к обнаружению пиесы, и напишите мне пожалуйста. Во всяком случае, пиеса Ваша. Жду исполнения просьбы *телеграфно*.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

Р. С. Не мешало бы, кажется, в хронике «Фрайнда» поместить маленькую заметку о том, что 5-го марта в Женеве пред большой публикой учащих и толпы евреев была Ш[олом]-Ал[ейхе]мом прочитана на жаргоне его новая пиеса «Клад» (комедия в 4-х актах и 5

картинах) при общем энтузиазме публики, устроившей автору шумную овацию. Как нам передают, это после целого ряда драм *первая жизненная еврейская комедия*, соединившая в себе внутреннее содержание, идею, с редкою сценичностью. Пьеса переводится на русский, немецкий и польский языки.

149

Е М У Ж Е

(Женева) 15.IV.08.

Многоуважаемый Александр Израилевич!

Вы, вероятно, в душе ругаете меня, что как опоздал присылкой моего «Клада», который предназначен у меня для Вас, а рус[ский] перевод его для «Шиповника» \*. Но того Вы и знать не хотите, что писатели вообще народ сумасшедший, а Ш[олом]-Алейхем — подавно. Прежде, чем я выпускаю что-нибудь из рук, я должен по меньшей мере 5 раз перекроить, а потом начинается отделка, полировка — беда! То же случилось и с «Кладом». Из 4-актной комедии она превратилась у меня теперь в одноактную трагикомедию с прологом (в смысле строчек я понес большие убытки — разве это не сумасшествие?). Итак, на днях Вы получите трагикомедию «Дер Ойцер» \*. Но вот что, голубчик мой: мне слезно хотелось бы обеспечить право собственности для театра. А это возможно провести через цензуру, особенно по-русски, в «Шиповнике». И вот что: 3 или 4-го мая (н. с.) меня вызывают на гастроли в Варшаву «Хазомир» \*, где я буду читать вообще и «Ойцер» в частности. Числа около 10-го меня вызывают в Одессу с тою же целью. Мне думается, что если бы «Фрайнд» захотел, он сумел бы организовать хотя бы только один лит[ературный] вечер в Питере, большой, конечно, на котором Ш[олом]-А[лейхем] прочтет свои новые произведения, в том числе и свою пьесу «Дер Ойцер». Помимо других выгод, я бы побывал в некот[орых] сферах в П[етер]б[урге], полезных для меня в смысле устройства моих театр[альных] пьес. Здесь, в Европе, да еще в прекрасной Швейцарии, я задыхаюсь; нет переводчика! Нет!

Сию минуту получил письмо из Нью-Йорка (Америка). Мне пишут следующее от имени Любарского:

Д. Пинский также написал драму «Ойцер». Читал ее Адлеру. Адлер не принял. Но Пинский печатает ее в «Фрайнде», который сторговался с Пинским за 500 руб. (sic!).

Просил бы Вас немедленно сообщить мне, правда ли это, т. е. что Пинский прислал Вам драму под этим названием и что Вы печатаете ее во «Фрайнде»?

Преданный Вам

*Ш[олом]-Алейхем.*

150

Е М У Ж Е

(Женева)  $\frac{6.V}{23.IV}$  08.

Уважаемый Александр Израилевич!

Обещанную пиесу «Дер Ойцер» я выслал г-ну Розенфельду, с тем чтобы он потрудился провести ее через театральную цензуру, а затем уже передать «Фрайнду» для напечатания. К тому же я выслал *два* варианта, которые, быть может, придется либо соединить, либо сделать выбор. Прошу разрешить мне сделать именно так, ибо достоинство произведения важнее для меня гонорара и авторского самолюбия. Вопрос еще в некоторой зависимости от евр[ейского] театра, так что спешить печатанием нельзя! Надеюсь, что займет не более недели времени.

Г-ну Розенфельду пишу особо. А где Саул Моисевич?

Преданный Вам *Ш[олом]-Алейхем.*

На мое письмо я ответа еще не получил.

151

Е М У Ж Е

(Женева)  $\frac{25.A}{8.V}$  08.

Многоуважаемый Александр Израилевич!

После того, как я Вам выслал обе пиесы («Ойцер» 5-актный и «Ойцер» 3-актный), я получил Ваше письмо от 22-го и вынужден был Вам телеграфировать: «Вчера

«Ойцер» выслал. Прошу драмой Пинского подождать. Мою раньше безусловно». Надеюсь, Вы поняли и приняли к сведению! Теперь мотивы. Вы пишете, что не Ш[олом]-Алейхему конкурировать с Пинским. Вот именно, потому я и требую напечатать раньше мою пиесу, на что я бы предъявил даже свои права: 1) Мы вели с Вами переговоры *куда раньше*. 2) Я, кажется, имею основание считать себя более, нежели П[инский], Вашим *постоянным* сотрудником. 3) Никким образом мне не идет печатать произведение после кого бы то ни было *под тем же заглавием и с тем же, по-видимому, сюжетом*. А посему, представив на Ваш суд *оба варианта, прошу* один из них напечатать в «Фрайнде» по Вашему усмотрению.

Что же касается до срока, то я, принимая во внимание осложнившиеся обстоятельства, разрешаю Вам приступить к печатанию *даже сейчас*.

В случае же, если бы Вы, невзирая на все мои доводы, все-таки решили бы печатать раньше пиесу другого автора, тогда я на печатание моей пиесы во «Фрайнде» никким образом *согласиться не могу* — и тогда, само собой разумеется, просил бы рукопись обратно.

В ожидании удовлетворительного Вашего ответа и благоприятных известий вообще  
остаюсь

неизменно Ваш Ш[олом]-Алейхем.

152

Е М У Ж Е

(Женева) 9.V.08.

Многоуважаемый Александр Израилевич!  
Свершилось!..

Нет слов, которые могли бы выразить состояние духа, горечь, обиду и... (я видел «Фрайнд» № 91) \*. Поистине катастрофа! Отчего Вы не предупредили меня за неделю раньше? Ваше письмо было уже тогда, когда набор был готов. Но... нет, я Вас не упрекаю, никого не обвиняю. Сам виноват.

Итак, что теперь?

Вот что, Вы еще можете помочь беде, *если захотите выручить сотрудника*.

Приостановить печатание драмы П[инского], с объяснением, каким Вы найдете для себя лучшим, или же без всякого объяснения, и немедленно приступить к печатанию моей 3-актной трагикомедии, но под другим названием «Золотоискатели»... А когда моя пиеса окончится, Вы приступите к продолжению прерванной.

Если же Вы этого сделать не можете, то немедленно телеграфируйте мне одно слово: «Нельзя». Тогда я напечатаю свою пиесу в другой газете. Это письмо Вы получите во вторник. Я же буду ждать до среды, и, если в среду не получу телеграммы, я буду считать все равно что нельзя, тогда я приступлю к печатанию в другой газете. Вы бы меня премного обязали, если бы, в случае Вы согласились на мое предложение приостановить драму П[инского] и печатать мою, дали мне депешу: «Согласны», которую также жду во вторник или среду.

Итак — во всяком случае телеграфируйте. Неполучение от Вас депеши до среды буду считать за отказ, разумеется.

Ну, решайте же! Больше писать не могу, да и не нужно...

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

153

Е М У Ж Е

(Женева) 9.22.V.08.

Многоуважаемый Александр Израилевич!

Не знаю, услышана ли моя молитва, я делаю свое: прилагаю при сем необходимое предисловие к моей пиесе. Думаю, что Вы еще успеете пристегнуть его к произведению. Повторяю мою покорнейшую просьбу напечатать сейчас мою 3-актную трагикомедию в «Фрайнде» или немедленно отослать мне рукопись вместе с настоящим предисловием обратно, о чем телеграфно уведомить меня. Равным образом, если моя молитва дошла до Вас и Вы, в удовлетворение Вашего сотрудника, согласились поступить против редакционной этики, то прошу также уведомить меня телеграммой: *согласны*. Неполучение таковой до среды буду считать за отказ. Говорю с Вами теперь в тоне «тахнуним»<sup>1</sup>, хотя мог бы

<sup>1</sup> В тоне мольбы (еврейск.).



основываться на правах: 1) Вы со мною вели переговоры об «Ойцере» раньше, нежели с П[инским]. 2) Я Вам выслал *его* на *три* дня раньше, чем я знал о том, что П[инский] Вам прислал свою пьесу, и 3) ...Я не желаю настаивать, я прошу и надеюсь, что Вы вырвете себе здоровый кусок мяса, лишь бы показать, что дорог Вам Ваш

Ш[олом]-Алейхем.

154

(Женева) 9/22.V.08.

(В РЕДАКЦИЮ «ДЕР ФРАЙНД»)

Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Я жду вот уже дней десять, если не больше, Вашего ответа и все дожидаться не могу. А праздник шевуют на носу. А время идет вперед. Чему приписать подобное молчание, к которому я не привык? К тому же я готовлюсь в путь-дорогу в Россию (на время) и не знаю, право, как быть. Да или нет, но ответ же должен быть когда-нибудь. Я его жду каждой почтой.

Жду и жду.

Ш[олом]-Алейхем.

155

(Нерви)  $\frac{26.XI}{9.XII}$  08.

Заказное  
С. И. Рапопорту  
СПбург  
Фонтанка, 147

Дорогой Александр Израилевич!

Получил Ваше письмо и спешу Вас поздравить \*. Я буду на сей раз очень краток. Во 1-х, я ведь пациент \*, хотя и не совсем послушный. Во 2-х, я завален работой. Пишу и диктую одну крупную вещь для английского издания \*, которое, кроме славы, может еще и хорошо заплатить. И нет священнее данного слова, а «Фрайнд» прежде всего. И вот перехожу прямо к цели.

696

«Шмуль Шмелькис»\* написан мною на 2-х языках (жарг. и др. евр.), а копия его отправлена в П[етер]бург С. М. Дубнову для перевода на русский язык. Цель книжки агитационная. Оригинал находится в Варшаве, и тамошний комитет\* — д-р Левин, Я. Динезон и др. — имеют [целью] издать книжку для распространения и т. д. Сегодня-завтра я жду от них извещения о получении рукописи и о готовности приступить к изданию. Получилось вдруг Ваше письмо. Я сейчас же написал Динезону, просил его взвесить все обстоятельства и, в случае чего, зателеграфировать мне; тогда немедленно даю телеграмму Дубнову о выдаче манускрипта Вам. Варшавскому комитету я предложил пряничек такого свойства, что они, члены комитета, я думаю, согласятся. Я им обещал, что «Фрайнд» раньше всего отпечатает рассказ в виде фельетона, а затем, по окончании, отпечатают со стереотипа тысяч пять или десять (я же не могу знать, сколько экземпляров комитету понадобится) в виде особой брошюры со всеми онерами, к[ак] предполагалось в комитете (предисловие, портрет, факсимиле и пр.). Это — что касается «Шмуль Шмелькиса», отчасти вышедшего уже из сферы моего влияния (хотя я надеюсь, что после моего письма к Динезону «Шмуль Шмелькис» должен скорее перейти к Вам). На всякий же случай я оставляю все начатые дела и берусь писать для «Фрайнда» целую серию коротеньких рассказов, созревших у меня во время моей тяжелой болезни в Барановичах. Все, что успею написать, моментально будет отослано Вам. Успею ли к 2-му декабря (через 4 дня) — весьма сомнительно. Да и необходимости в этом нет. Будьте хоть в отношении рекламы американцем. Сперва звоните во все колокола!

Тихо! Жених идет!  
Тихо! Вот он идет!  
Тихо! Вот он!  
Тихо! Жених! Жених!  
Жених уже здесь!<sup>1</sup>

Что же касается до условий, о которых Вы говорите, чтобы я поставил *сегодня*, то я их не выставлю ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, а буду терпе-

---

<sup>1</sup> В письме стихи написаны по-еврейски.

ливо ждать, пока Вы их не выставите сами. А до того времени прошу не беспокоиться и помнить и верить, что я весь Ваш

Ш[олом]-Алейхем.

Р. S. Вчера получил любезное приглашение от г. Ан—ского \* писать для журнала (рус.) «Евр. мир» \* *новые, оригинальные, коротенькие* рассказы. Обещают хороший, высокий гонорар. Желательно ему, чтобы такие раньше всего появились в «Евр. мире». Мне же желательно, чтобы они раньше появились на стр[аницах] «Фрайнда». Как бы скомбинировать так, чтобы *одновременно*? Или Вы против такой комбинации? Подумайте и напишите. А каков состав нынешней редакции, если это не секрет? Беркович \* также собирается писать для «Фрайнда».

NB. Понятно, что в газете не может быть объявлено о «Шмуль Шмелькис», а лишь глухо, до получения моей телеграммы.

156

ЕМУ ЖЕ

6/19.XII.08.

Дорогой Александр Израилевич!

Из письма Динезона я узнаю, что желание мое исполнено и «Шмуль Шмелькис», вероятно, уже не только у Вас в портфеле, но в наборе. Я также жалею, что опоздал к 1-му номеру обновленного «Фрайнда» \*, и потому-то я и просил Вас, по кр[айней] мере, объявить о моем отношении к газете. Вы же скептически отнеслись к моим самым торжественным обещаниям. Как нельзя заставить любить, так нельзя заставить верить. Вслед за «Ш[муль] Шмелькисом» пойдет у Вас заканчиваемый мною новый рассказ «Тевеля Молочника» \*. Что же касается комбинации с «Евр. миром», то вряд ли она выгорит. Никогда я не мог бы согласиться, чтобы рассказ мой, созданный по-еврейски, печатался раньше в переводе. На уступки придется пойти не «Фрайнду», а «Евр. миру». 2-й рассказ мой, который я пишу для «Фрайнда», носит следующее название: «Тевье-молочник едет в Палестину» <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В тексте название рассказа написано по-еврейски.

Черновка готова вся. Скоро получится копия, и сейчас пошлю Вам ее. Жду Ваших более веселых писем. Всегда Ваш

*Ш[олом]-Алейхем.*

На пурим готов для Вас рассказ «Два мертвеца».

Р. С. Будьте так любезны сообщить мне, пишет ли Вам Динезон об оттисках с рассказа «Ш[муль] Ш[мелькис]» и сколько, или вовсе нет?

157

Е М У Ж Е

*Конфиденциально*

7.1.09.  
25.XII.08.

Дорогой Александр Израилевич!

Опять уложила меня инфлюэнца, и вот сегодня лишь встал и взялся за перо. На первой очереди Ваше загадочное письмо, где Вы пишете, что решили ответить мне через «Фрайнд». Искал я во всех «Фрайндах» и ничего не нашел, кроме фельетона Бал Махшовеса \*, который, кстати, очень талантливо и оригинально написан. Но где же ответ на мои письма? Неужели мистификация, в декабре первоапрельская утка?

От загадочного к положительному. «Тевье-молочник» готов \*, но он не может представиться публике в оригинале раньше января. Вы, конечно, знаете, что я имел с «Ш[муль] Шмелькисом»? Перевели его по-русски в П[етер]бурге на мой счет для «Евр. мысли» \*. Но, увидев сего горемыку во «Фрайнде», гг. мировцы \* отшатнулись от него, да еще с претензиями ко мне, что вот, мол, они готовились дать его в 1-й книжке «Мира», что он им как раз пришелся по вкусу, и вдруг такой скандал! Им, мировцам, ходить позади «Фрайнда»! Дабы загладить вину перед моим другом Дубновым (который действительно имел этот рассказ в своих руках раньше возобновления «Фрайнда»), я им дал «Тевеля» для 1-й книжки с тем, что «Фрайнд» его не перехватит по дороге в Питер. Т[о] [есть] я бы хотел так, чтобы «Тевель» появился *одновременно* и в оригинале и в переводе. Нынче он переводится Ан—ским, и как только я получу от Дубнова точные сведения, когда перевод набирается, я направлю оригинал к Вам. Думаю, что это обстоятельство Вам не

повредит. Если же «Ш[муль] Шмелькис» мне повредил тем, что, во 1-х, он выскочил из «Евр. мира», и, во 2-х, что придется мне из кармана заплатить рублей 30 или 40 за перевод — то это не большая беда. Жил бы только «Фрайнд» и стоял бы на прочном фундаменте. Я пока держусь героем за Ваши фалды, хотя, признаться, был бы истинным героем я, если бы Вы последовали моим советам перекочевать на Юг. Я отлично понимаю, что Вы этого не сделали [не] потому, что не любите Юга, а потому, что по пословице: «Не имея пальцев, кукиш из них не состроишь»<sup>1</sup>.

Есть ли резон в П[етер]бурге конкурировать — Вам лучше знать. Если Вы ринулись в бой после столь горького опыта, то у Вас, верно, есть свои резоны и мотивы. Не мое дело вникать в подробности. Только я Вас должен предупредить насчет того, в чем я считал себя наиболее авторитетным. А именно: насчет здоровья. Вы пишете, что работаете 18 ч[асов] в сутки. Столько же работал и я. А чем я кончил? Поддержать 1-й и лучший орган печати во Израиле — вещь весьма похвальная. Но быть мужем своей жены и отцом своих детей также не последняя вещь. Вот что пишет мне мой дедушка Абрамович из Одессы от 17/30 декабря: «Жить — это прекрасно! Правда, некоторые философы проклинают мир, но это своего рода сумасшествие. Право же, кисло-сладкое мясо с пирогом и рюмочка вина — штука прекрасная. Ей-же-ей! Будем живы и здоровы, а с ума пусть другие сходят»<sup>2</sup>.

Возвращаюсь к «Ш[муль] Шмелькису». Он доставил мне неприятности и из Варшавы. *Один редактор одной газеты* пишет мне, что тот факт, что Ш[олом]-Алейхем выступил своим первым произв[едением] после болезни в «Фрайнде», служит доказательством, что он не признает никого, кроме «Фрайнда», и, следовательно, он этим дал пощечину другим газетам, и пр. А потому пошлите нам скорее фельетончик! Потеха! (Прошу об этом факте в газете отнюдь не промолвиться. Я разумею г. Логоса \*).

Уже письмо было готово для подписи, как мне принесли телеграмму из Вильны *срочно*. Газманцы издадут с 1-го января газету\*. Просят убедительно к 1-му номеру фельетон.

---

<sup>1</sup> В тексте пословица приведена на языке идиш.

<sup>2</sup> В тексте цитата написана по-еврейски.

Надо полагать, что фельетона этого они не прочь бы получить по телеграфу. Разумеется, они его, к сожалению, и по почте не получат. Если суждено «Фрайнду» (не дай бог!) погибать, то погибнем вместе. А все-таки... не сделаете ли Вы сверхчеловеческое усилие и не попытаетесь ли перекочевать с «Фрайндом» хотя бы пешком на юг, на юг, на юг!.. Ах, если бы этот сон осуществился!!!

Однако баснями соловья не кормят. Вы хотите видеть фельетон Ш[олом]-Ал[ейхема]. Увидите, увидите. Дай же оправиться от болезни. Не забудьте, что мне *строго* воспрещено писать, а лишь 2½ часа в день мне дано право диктовать (во время прогулки на берегу моря под палящими лучами южного солнца). Положим, что я краду у них еще часика 3—4 на работу. Есть ли это для Вас утешение, что то, что я пишу, я пишу для «Фрайнда», а не для других? Другого утешения я Вам дать не могу. А вот Вы дайте мне хоть какое-нибудь утешение, что «Фрайнд» подает надежду на жизнь. А виленская газета \* много ли может вредить «Фрайнду»?

Кстати, вспомнил об оттисках. Пишу целую серию маленьких рассказов \* и хочу, во что бы то ни стало, сейчас за появлением в газете, чтобы они появились в форме брошюры (одной для всех 10 рассказов). Т[ак] к[ак] с «Шм[уль] Шмелькисом» вышел прецедент, то можно ли надеяться, что это не повторится с этими 10 мелк[ими] рассказами? Вообще попрошу Вас написать мне без мистификаций.

Всего наилучшего. Ваш Ш[олом]-Алейхем.

158

Е М У Ж Е

5/18.1.09.  
Нерви

Многоуважаемый друг, Александр Израилевич!

Получил Ваше письмо, писанное накануне Нового года и в состоянии очень уязвленного самолюбия. Я не буду отвечать Вам на все шпильки, пущенные Вами по моему адресу, забыв самое главное: что я ведь большой человек, часы которого строго рассчитаны, и, несмотря на все мои порывы, мне редко удается братья за перо.

В общем же я готов признать себя виновным перед Вами. Однако не в приписываемых Вами мне прегрешениях и менее всего в предпочтении «Фрайнда» перед другими газетами. Но оставим это. Оно доведет нас до взаимного раздражения, и только. Перейдем к делу. Вы ставите мне вопрос ребром: на каких условиях и пр.? Отвечаю Вам: никаких условий. Полная свобода. Напишу что-нибудь новое, хорошее, пришлю Вам. Захотите — напечатаете. Гонорар по Вашему усмотрению. На днях лишь окончил рассказ «Тевье-молочник едет в Палестину»<sup>1</sup>, который переводится Ан—ским и будет помещен в яв[арской] кн[ижке] «Евр. мира». Согласны ли Вы: 1) напечатать рассказ во «Фрайнде» в день выхода книжки «Евр. мира», и 2) можете ли оставить для меня матрицы с рассказа и напечатать 2000 экз. для меня же, причем стоимость бумаги и печати записать в счет гонорара? Если да, то мы будем держаться этого порядка и по отношению к др[угим] моим новым произведениям. Все матрицы, равно как и экземпляры (на обыкновенной, но не очень плохой бумаге), будут отправляться товаром мал[ой] скорости в Юбилейный комитет в Варшаву по адресу Я. Динезона: Дзельная, 15. Прошу возможно скорого ответа на все вопросы и смею Вас уверить в устойчивости моей к Вам дружбы и преданности.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

ВВ. Почему Вы не предупредили меня о письмах М. Менделя? \* Нехорошо.

Р. S. Не найдете ли возможным напечатать во «Фрайнде» прилагаемые сведения о евреях в Сицилии (из газеты «Дер американер», Нью-Йорк, от 8.1.09)?

159

Е М У Ж Е

(Нерви) 29/30.1.09.

Дорогой Александр Израилевич!

Я отдал «Тевье», чтобы снять с него копию для Вас. Как только изготовят — пришлю. Считаю для «Фрайнда» унижительным получить рукопись с третьих рук в то время, когда у меня есть возможность передать ее непо-

<sup>1</sup> В тексте название рассказа написано по-еврейски.

средственно. Вообще же мне везет с этим несчастным «Тевелем». Не знаю, каков будет его успех в публике, но неприятности от него я *уже* имею. Вы требуете 2 дня до выхода «Мира» \*. Ан—ский просит несколько дней *после*. Однако я надеюсь настоять на своем, чтобы и оригинал и перевод были напечатаны *одновременно*. День раньше или позже, я думаю, не играют никакой роли, если не считать человеческого самолюбия \*. Сверх того, меня угораздило послать копию в Америку с тем расчетом, чтобы в конце января (н. с.) они начали его печатать. Я был уверен, что числа 5/18 уже выйдет «Мир». Тогда же и «Фрайнд». И вот «Мир» запоздал, и я не мог повторить с Тевелем то, что я сделал с «Шм[уль] Шмелькис», который был уже готов в переводе и вдруг — о, ужас! — оригинал появился во «Фрайнде». И вот оказывается, что в американской газете \* Тевель *уже* печатается. Положим, американская газета в Россию доступа *не имеет*; запрещено их получать здесь вообще. Дальше. Предвижу еще одну неприятность. Вы пишете, что «Мир» выйдет 22-го. Ан—ский пишет, что 27-го. Я, конечно, со своей стороны обяжу его честным словом, чтобы и он был так же корректен, как и Вы. Одновременно с сим пишу и Ан—скому.

Преданный Вам Ш[олом]-Алейхем.

160

ЕМУ ЖЕ

(Нерви) 30.1.09.

Дорогой Александр Израилевич!

Забыл во вчерашнем письме написать Вам, что для «Фрайнда» я написал специально к празднику пурим новый рассказ «Золотопряды (Зарисовка из жизни «маленьких людей» в честь праздника пурим)»<sup>1</sup>. Отчего Вы мне не пишете о письмах «М[енахем]-Менделя»? Я не помню, хоть убейте, много ли их у Вас или нет? Я ведь должен иметь соображение.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

---

<sup>1</sup> В тексте название рассказа написано по-еврейски.



31 янв. 1909.

Дорогой Александр Израилевич!

Препровождаю при сем письмо \*, которое, если захотите, пошлете через кого-либо в редакцию «Евр. мира». А если не захотите, то не посылайте. Я такое же письмо послал и в редакцию «Евр. мира» и не думаю, чтобы они отказались исполнить мое желание. Рукопись высылаю Вам заказным. Вслед за ней получите пуримовскую картину «Ди голдшпинерс» \*. Серия мелких рассказов \* подвигается вперед. Однако не могу их отдать в печать, пока не соберется их штук 8—10. Каждый новый рассказ непременно вносит в предыдущие какое-нибудь изменение в форме.

Будьте любезны, прикажите в конторе кому-нибудь составить список мест и лиц, откуда поступили к Вам для юбилейного фонда предыдущие 50 фр[анков] и нынешние 70 ф. (26 руб.). Это нужно для отчета Юб. комитета в Варшаве, куда и направляются все поступления.

Дружески жму [В] руку.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

(Нерви) 1.11.09.

Многоуважаемый друг Александр Израилевич!

После высылки Вам копии «Тевеля» со всеми поправками получил Вашу телеграмму и ответил Вам и «Евр. миру»: «Убедительно прошу немедленно выдать «Фрайнду» манускрипт «Тевье». Приступить к печатанию на 2-й день после выхода «Мира» (1 книжки). Надеюсь на корректность обеих редакций».

Но я гораздо раньше писал ред[акции] «Мира» о том же. Ан—ский мне положительно сообщил, кто кн[ижка] выйдет 27-го, а не завтра, 20-го. Удивляюсь. Думаю, что

Вы не хорошо осведомлены и Вы рукопись мою получите еще до выхода книжки. Инцидент, стало быть, исчерпан. Прошу о тщательной корректуре. Ну, а затем матрицы и пр.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

163

ЕМУ ЖЕ

(St. Blasten) 1.VI.09.

Дорогой Александр Израилевич!

Что в Вами? Нет Вас в Питере? Сердитесь ли Вы или болеете? Уже 2-й месяц от Вас ни слова. Не прикажете ли тиснуть и это (прилагаемое) письмецо? \* Жду Вашего ответа на все предыдущее.

Ваш Ш[олом]-Алейхем.

164

ЕМУ ЖЕ

2 июля 1909, Sanatorium St. Blasten.

Дорогой Александр Израилевич!

По тонкой иронии Вашего последнего письма я догадываюсь, что Вы досадуете на то, что пишут за меня другие. Что делать? Я и сам досажаю. А вот сегодня пишу Вам «собственноручно», хотя и лежа, «бледным» (по Вашему выражению) карандашом.

Вполне понимаю и вхожу в Ваше положение редактора-издателя евр[ейской] газеты в русской столице, где наборщик играет роль наемщика в эпоху славного царствования Николая I... От печатания моих «Ширгаширимов» \* охотно Вас освобождаю. От «Тети Рейзы и ее детей» — тоже. Оказывается, что отпечатанные Вами по 2 [т.] экз[емпляров] «Тевье» и «Гольдшпинеры», по словам моего издателя Лидского \*, для продажи неудобны и, следовательно, матрицы их совершенно негодны. Однако прошу Вас составить счет стоимости уже напечатанных и вообще подвести итоги, прислав мне полный счет. Не забудьте при этом моего старого долга (кажется,

около ста рублей), причем надо бы из долга вычестъ запоздалые письма «Менахем-Менделя». Так мне кажется.

Что же касается до перекочевания «Фр[айнда]» в Варшаву, то разве я об этом мало писал Вам еще в первую стадию моей болезни, из Италии? Вы даже не ответили мне, и я уже думал, не говорил ли я Вам тогда абсурдов? Теперь Вы сами признали целесообразность этой идеи, очевидно. Хотя судить по В[ашему] письму, Вы еще колеблетесь. Вы говорите о каком-то 6-м (почему 6-м?) органе Спектора \* в эмбрионе. Это не эмбрион, а факт, и не факт, а *истинное происшествие*. Приезжал даже ко мне специально Спектор и такой мне предложил гонорар (надеюсь, между нами это останется), что — говорю Вам, как брату родному, — стыдно и грешно мне будет пред моей семьей написать что-либо для другого издания. Не забудьте, что семья моя состоит из 10 человек, а сам я лечусь и должен еще долго лечиться, и не хочется жить на счет общества. Хочется самому зарабатывать...

Возвращаюсь к вопросу о перенесении газеты в Варшаву. Какого бы мнения Вы ни были о Спекторе, как о писателе, но что он человек газеты — это Вы увидите скоро. Он Варшаву знает, как свои 5 пальцев. Говорит, что в Варшаве есть место не для 2-х, а для 5-ти хороших газет. Знаете — одно время я даже собирался предложить Вам открыть отделение «Фрайнда» в Варшаве, т. е. печатать второе издание там, передав дело именно Спектору, тому самому Спектору, над которым вся наша литературная братия так мило посмеивается. Даже безобидный Динезон — и тот не упустит случая лишний раз пошутить над простоватым Спектором. Не писал же я Вам об этом потому, что не хотелось быть литературным шадхеном. Раз. Второе то, что уж очень чувствительны Вы стали к обидам. Видно, Вас баловала жизнь. Не можете переносить малейшего. Если бы Вы знали, любезный друг, какие обиды переносил я от людей *словом и делом*, как оскорбляли меня уже во дни моей так называемой славы. И все ради куска хлеба презренного! Недаром же плачусь я теперь моим здоровьем, которого я зря не растрчивал. Однако я заболтался. Пора кончить. Да поможет Вам бог устроиться так, как того желает Вам Ваш истинный друг

Ш[олом]-Алейхем.

*Sanatorium St. Blasten, 9.VII.09.*

Многоуважаемый друг Александр Израилевич!

Получил Ваше письмо с отказом напечатать мое «Письмо к другу». Это, однако, менее поразило меня, чем Ваше поздравление меня с каким-то *моим новым изданием*. Не только поразило, но и оскорбило. Привыкши считать Вас очень откровен[енным] человеком и желая быть откровен[енным] с Вами, я надеюсь что Вы не откажете мне в моей просьбе ответить мне, о каком таком издании Вы узнали не от Ш[олом]-Алейхема и от кого Вы это узнали? Судя по обидному, прямо оскорбительному тону Вашего письма, нельзя допустить, чтобы Вы подразумевали издание Лидского\*. Не намекаете ли Вы на какое-нибудь период[ическое] издание? Газету? Если Вы верите честному слову и понимаете, что значит для больного клясться своим здоровьем, то я мог бы поклясться Вам, что подозрение Ваше или наушничество другого только причинило мне боль. И боль непростительную. А как узнаете или поймете сами неосновательность, то раскаетесь...

Ваш друг по-прежнему Ш[олом]-Алейхем.

Могу я просить «Письмо к другу» обратно?

*(St. Blasten), 13/26.VII.09.*

Да, любезный Александр Израилевич, Вы совершенно правы. Я больной человек. И больно выслушать такой упрек от человека здорового. А ведь лишь год тому назад и я был здоровым человеком... Однако Вы вот здоровый человек, а бухгалтерия у Вас слабая. Ваш бухгалтер сосчитал число строк в кучу, и вышло у него 3747 строчек. Он, очевидно, упустил из виду, что лишь 2 вещи напечатаны обыкновенной Вашей строкой («Ш. Шмелькис» и «Письма М. Менделя»). Все же остальные вещи набраны строкой почти в 1½ раза шире

обычной строки «Фрайнда». Неужели, если бы Вам вздумалось печатать во всю ширину «Фрайнда», то и тогда бы Вы считали Вашим сотрудникам, даже таким дешевым, как я, тот же размер гонорара? Соображаясь с этим, я сделал тщательный подсчет, и у меня выходит (можете посадить человека и проверить) *minimum* 4826, т. е. на 1083 строки больше (я не считал в 1½ раза больше, а гораздо меньше; именно как есть). Выйдет тогда мой кредит не 187.15, а 241.30. Сняв показанную в дебете сумму 228.92, получится сальдо в мою пользу, если по Вашему счету, 12 р. 38 к. Но нам остается еще поговорить о самом размере гонорара. Конечно, теперь поздно прибегнуть к Вашему благоразумному совету: «побольше деловитости, поменьше сантиментальностей». Если бы я не рисковал казаться смешным, я должен был, в сущности, поставить Вам *мои* условия, послать Вам контрсчет, согласно гонорару, получаемому мною от др[угих] издателей. Ибо нельзя допустить, чтобы Вы серьезно ценили, скажем, мой фельетон «Шир-хаширим»<sup>1</sup>, о котором Вы прислали мне столь восторженное письмо, наравне с фельетоном одного автора, перевод с которого был напечатан по-русски много лет тому назад, да и сам оригинал два года или год тому назад появился в другой стране. (Заметьте — я ничего не говорю о содержании. Об этом предоставляю судить Вам.) А ведь я «Шир-хаширим» писал исключительно для «Фрайнда». Нигде ни для кого не переводил. Даже копии в Нью-Йорк не послал. «Шир-хаширим» — это действительно мой «Шир-хаширим». Этот роман, который, по-моему, должен венчать все написанное мною за 25 л[ет], я пишу главами, т[ак] к[ак] здоровье не позволяет мне написать его целиком...<sup>2</sup> В этот роман я намерен был вложить всю силу маленького дарования, которое дала мне судьба, всю силу моей поэзии, весь полет фантазии. Связал же я его главные моменты именно с нашими праздниками, ибо в них источник вдохновения для еврейской души. И вот Вы, оценив вещь по достоинству до того, что не могли даже удержаться, чтобы не выразить своего восторга (а Вы уже куда более деловитый, чем сантиментальный человек) — все-таки не постесня-

---

<sup>1</sup> В тексте название фельетона написано по-еврейски.

<sup>2</sup> Опущены несколько строк: названия глав, написанных по-еврейски.

лись поставить Ш[олом]-Алейхему за его «Шир-хаширим» пятикопеечный гонорар, что выходит по ширине строчек даже не 5, а 3¼ коп.! Ну, скажите, не есть ли это обида? Вы, м[ожет] б[ыть], скажете, что дела газеты не позволяют широко платить. Допустим даже, что это так. Но я Вам неоднократно намекал на счет, но не на деньги. Я ни разу не требовал денег. Я уверен, что если бы я у Вас попросил денег еще в Италии, Вы бы мне не отказали. Не могли бы отказать. Но я не требовал, п[отому] ч[то] знал или полагал, что когда у Вас будут деньги, Вы сами мне пришлете. Знаете что? Скажите мне по чистой совести: если бы не Спектор с его газетой, Вы бы также оценили меня в 3¼ коп.? Если Вы мне ответите, как честный человек, как Рапорт: «да», тогда я готов забыть обиду. Самолюбие человека, если он не очень глуп, может быть уязвимо только тогда, когда намереваются его язвить, а не тогда, когда его без всякого умысла ценят очень дешево или даже вовсе не ценят. Итак, я жду Вашего ответа.

Все еще уважающий и любящий Вас

*Ш[олом]-Алейхем.*

P. S. Неужели по Вашему распоряжению прекратили печатать мой адрес? Или это одна случайность? Просил бы 1 раз в две недели, если возможно.

Адрес Шолом-Алейхема:

Sanatorium St. Blasten (Schwarzwald).

## V

167

«Еврейская народная библиотека»  
издание Соломона Рабиновича  
Киев, Елизаветинская, № 8  
5 сентября 1889 г. № 1581.

Милостивая государыня  
Берта Львовна! \*

Ваше почтенное письмо я получил. Участие, которое Вы принимаете в бедном еврейском писателе-труженике, конечно, делает Вам честь. Но что я могу сделать для него? Если во всем мире был бы один только бедняк, то, разумеется, он был бы миллионером. К несчастью, их везде много, а между писателями, да еще еврейскими — имя им легион. Единственное, что я могу сделать для Трубника, — это то, что между его рукописями, находящимися у меня, имеется также его толкователь иностранных слов, составленный, кстати, весьма плохо. Пользоваться этим трудом в «Библиотеке» чрезвычайно неудобно, особенно в том виде, как он есть. Но я могу извлечь оттуда наиболее непонятные для массы еврейской слова, придав им *свое* толкование; и ввиду того, что порядок слов все-таки будет взят из его тетради (хотя, Вы понимаете, это может сделать всякий с помощью любого словаря), то автору следует гонорар, но гонорар очень жалкий. Тем не менее мне кажется, что подобный рубль дороже десяти рублей «филантропических». Вы согласны со мною? Поэтому я высылаю Вам при сем же *десять* рублей, которые Вы можете вручить ему, ска-

завши даже, от кого и за что. Впрочем, чтобы не задеть его самолюбия, я денег теперь не посылаю, в ожидании Вашего ответа. Быть может, Вы найдете более удобным, чтобы я ему сам написал, что так как мне нужен его словарь, то... и так далее. Так или иначе жду Вашего ответа и пользуюсь случаем выразить Вам мое нижайшее почтение.

Ваш покорный слуга *Сол. Рабинович.*

168

Е Й Ж Е

*«Еврейская народная библиотека»  
издание Соломона Рабиновича  
Киев, Елизаветинская, № 8*

*1 октября 1889 г.*

Многоуважаемая Берта Львовна!

Ваша телеграмма меня, конечно, сокрушила, как мы ни готовы все встречаться с этим злейшим бичом божьим. Жаль, разумеется, подкошенного преждевременной смертью товарища, но участь бесприютной семьи горше всего. Я, с своей стороны, постараюсь, как я Вам уже выразил в телеграмме, сделать что-нибудь для семьи несчастного Трубника. Думаю, что Вы примете на себя труд руководить вдовой в данном случае. Думаю также, что вдова — женщина простая, которая сумеет, при известных условиях, обзавестись лавочкою, что ли, для пропитания себя и сирот. Также я бы просил Вас, если это возможно, доставить мне сведения о жизни покойного Трубника и его литературной деятельности, и хотя «Библиотека», которую я издаю, некрологов не помещает, тем не менее для сотрудника, выбывшего из ее рядов, всегда найдется место. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы прислали мне некролог, хотя бы на русском языке — сам переведу на жаргон — и за Вашей подписью, конечно. В ожидании Ваших частых писем остаюсь

с глубоким почтением

Ваш слуга *С. Рабинович.*



## Е Й Ж Е

Для писем:  
Киев  
Елизаветинская, № 8  
С. Н. Рабиновичу

Для телеграмм:  
Киев  
Соломону  
Рабиновичу

Соломон Наумович Рабинович. Телефон № 244.

Киев, 14—15 октября 1889 г.

Многоуважаемая Берта Львовна!

Ваше письмо получил. Я заранее во всем с Вами совершенно согласен. Ибо что могу я знать здесь за глазами, за горами? Я только могу обещать Вам мое полное во всем содействие, стараться всеми силами сделать кое-что здесь для осиротевшей семьи, как я Вам уже писал. Затем жду Ваших дальнейших извещений. Всегда готов с Вами советоваться по этому поводу, и если в наставлениях моих будет какая-нибудь надобность, то вполне можете располагать мною. Жду также некролога. Интересно мне знать, читаете ли Вы по-еврейски! Ведь Вы, я понимаю, образованная, интеллигентная женщина; стыдно Вам, с позволения Вашего, *родного* языка не знать. Я говорю, конечно, не о древнееврейском языке, вовсе недоступном современным женщинам. Я разумею, по крайней мере, жаргон. Дело в том, что женщина с Вашим образованием была бы весьма полезна нашему народу на поприще нашей новейшей *народной* литературы. Простите великодушно, что позволил себе маленькое назидание. До свидания.

Ваш покорный слуга *Сол. Рабинович.*

## Е Й Ж Е

«Еврейская народная библиотека»  
издание Соломона Рабиновича  
Киев, Елизаветинская ул., № 8

22 ноября 1889 г.

Многоуважаемая Берта Львовна!

Извините, что до сих пор не ответил Вам. Второй том «Библиотеки» печатается и поглощает все мое время вместе со мною самим. Кроме того, я сегодня лишь за-

кончил крупное произведение — художественное \*, которое, кажется, должно наделять много шуму в нашем муравейнике. Посылаю Вам пока 50 рублей. Еще раз простите. На досуге потолкуем вдоволь. О способе расходования этой суммы не откажите уведомить

Вашего покорного слугу *Сол. Рабиновича.*

P. S. Некролог будет помещен.

171

М. МАКЛАКОВОЙ

3.VIII.1903.

Милостивая государыня!

Ваше письмо от 28 июля я получил и спешу Вас уведомить, что в тот же день я снесся по телеграфу с издательской фирмой «Гушия» в Варшаве и только сейчас получил ответ от редакции «Сборника» \*, что, ввиду высокого интереса, который представляет собою работа Льва Николаевича для нашего издания, и чтобы не остаться в долгу перед оповещенной уже публикой, она отсрочивает издание еще на месяц.

Таким образом, имея в своем распоряжении целый месяц времени, мы надеемся, что Граф может окончить свою работу. Если бы, паче чаяния, понадобилось Графу еще несколько дней, то остановки не будет, потому что без этой обещанной статьи выпуск нашей книги совершенно немислим.

Благоволите немедленно сообщить мнение Графа об этом сроке.

Всего лучшего.

*С. Рабинович.  
Шалем-Алейхем.*

Г-же М. Маклаковой.  
Ясная Поляна.

172

В. ВАЙСБЛАТУ

*Берлин 12.II.08.*

Милостивый государь, г. Вайсблат!

Пишу Вам по-русски для того, чтобы Вы могли показать это письмо В. Н. Догмарову \*.

713

Прочел Ваше задушевное слово в евр. газете «Дерфрайнд» по поводу Евр. худ. театра. Слово это в некоторой степени касается и меня — и вот с какой стороны. Я написал две пьесы: драму и комедию. Предпочтение я отдал последней, ибо драм у нас видимо-невидимо, а комедий почти что нет. Даже в русском репертуаре их мало. В особенности хороших комедий, таких, после которых зритель должен был бы (по выражению моего американского рецензента) «собирать свои бока». Я такую комедию написал. Ее переводят здесь в Берлине на русский и немецкий языки. По-немецки она пойдет в одном из берлинских театров. По-русски — не знаю. Быть может, в Московском Худ. театре \*. Не знаю, известно ли Вам, что я киевлянин. Это была бы хорошая идея — поставить мою комедию в Киеве. Повидайтесь с артистом Догмаровым. Пьеса, хотя и бытовая, еврейская, т. е. типы еврейские, жизнь еврейская, но идея общечеловеческая. Называется она «Клад». Комедия в 4-х действиях Шолом-Алейхема». Я живу здесь временно. Постоянно в Америке. Семья же моя — в Женеве, в Швейцарии, куда и прошу ответить мне на это письмо. Я сам тоже скоро буду в Женеве.

Всегда наилучшего, если что-либо хорошее возможно еще в России.

*Ш.-Алейхем.*

173

Е М У Ж Е

*Женева. 30.III.03.*

Любезный В. Вайсблат!

Вчера я Вам писал по поводу моего нового пасхального рассказа \*, и самый рассказ я Вам послал и просил потрудиться зайти к г-ну Лебединскому. Хочется мне надеяться, что все это будет исполнено. Кстати, если бы рассказ был г-ном Лебединским переведен, в «Киев. мысли» напечатан, то гонорар редакция могла бы выслать мне сюда (за вычетом Ваших расходов по переписке начисто на «ремингтоне» и проч.).

Кроме того, Вы не забудьте прислать мне несколько экземпляров газеты. Все это мелочи. У меня к Вам более крупная просьба, даже две просьбы. Текущий сезон,

714

по-видимому, мы уже продули. Пора заботиться о будущем, подготовив к самому началу сезона пьесу, которую необходимо прежде всего перевести. И вот, имея случай познакомиться с Лебединским, и, если он переведет рассказ, Вы сумели бы заполучить его согласие на перевод моей пьесы «Клад».

Во всяком разе, не мешало бы позондировать почву и в других сферах, — авось откликнется какой-либо аматор или профессионалист переводчик. Пожалуйста, пораскиньте мозгами. Затем я вам, кажись, уже писал, что пьеса моя «Клад» очень подходящая вещь в репертуаре малороссийской труппы. Наверно, у вас есть ходы и среди малороссов, раз вы в таких отношениях с Догмаровым. Пьеса эта как бы создана для польского и малорусского театра. Понятно, что перевод на малороссийский язык может быть сделан только с русского перевода. Где же он? Боже, где же он?

А теперь еще. Гостит у вас еврейская труппа в театре Бергонье. Сем Адлер — это артист, с которым мы некогда заключили контракт. Он поставил «Разброд»<sup>1</sup> миллион раз. Мне заплатили гроши. Но бог с ним. Не в этом дело. А вот в чем: не купит ли он мой «Клад»<sup>2</sup> (комедия в четырех д. и 5 карт.), где он имеет чудную роль для себя (комическую) и для прочих его артистов? Для Спиваковского, напр., выдающаяся роль (Лейви Мозговоер). Получили ли Вы рецензию? Если бы я был немного смелее, я бы Вас настоятельно просил разыскать Сема Адлера и поговорить с ним. Он бы мог спиться со мной. Ему это весьма и весьма полезно.

Ну, милый человек, я Вас, кажется, утомил. Будьте счастливы (если это еще возможно там...).

Ваш Ш.-Алейхем.

174

Е М У Ж Е

*Женева, 28.IV.08.*

Уважаемый Вайсблат!

Получив тогда Ваше любезное письмо, я Вам сейчас же ответил и в то же время написал г. Лебединскому

---

<sup>1</sup> В тексте название пьесы написано по-еврейски.

<sup>2</sup> В тексте по-еврейски — «Ойцер».

письмо. Но ни от Вас, ни от Лебединского ни гугу. Что бы это значило? Скажите.

Привет. Ваш *Ш. Алейхем.*

Пожалуйста, пришлите мне № «Киевской мысли» за 11/24 апреля\*.

Заранее благодарю Вас. *Ш. Алейхем.*

Кстати, меня вызывают в Россию на гастроли — в Одессу и в Варшаву. Присылка моей пьесы, таким образом, облегчена.

175

Е М У Ж Е

*Белосток. 3.VI.08.*

Уважаемый и любезный Вайсблат!

Спасибо, большое спасибо за присланное. Вы ж таки совсем не еврей! (Евр. комплимент.)

Нам видется необходимо, и для этого один лишь благоприятный момент. Это 8-го, воскр., в Одессе, на вечере, где соберутся Абрамович, Бялик, Фруг, Аш и Ваш покорный слуга. Меня прямо вырвали, заставили туда поехать — и я дал слово. Пропало. Тем более я должен с Вами видется, п. ч. в Варшаве сделали предложение, которое должно и Вас интересовать, т. е. интересы переkreщиваются. Я же витаю теперь, как видите из прилагаемой газетки, между небом и землею. Поезжайте в Одессу!

Ваш *Ш. Алейхем.*

176

Е М У Ж Е

*Минск. 4.VII.08.*

Уважаемый В. Вайсблат!

На банкете в Вильне... я встретился с известным М. Розенблатом из Киева, который выразил мысль устроить мой концертный вечер наподобие многих моих других вечеров в Киеве. Я ему ответил, что не знаю, удастся ли мне преодолеть себя и посетить родное пепелище, связанное с лучшими и худшими моментами в моей жизни. А если я соглашусь, то не иначе как при следующих условиях: 1) Вечер должен быть грандиозный во всех смыслах при соответствующей рекламе. 2) Устройство его

716

должны взять на себя представители всех классов и партий. 3) Часть сбора должна пойти в пользу какой-либо общей, всеми симпатизируемой цели, — скажем, наиболее популярного и легализованного общества. 4) В моем литере. вечере должны участвовать и др. силы, как декламаторы, певцы, певицы или музыканты, разумеется, выдающиеся по таланту и по положению. 5) Помещение должно быть снято наилучшее в городе. 6) Разрешения можно добиться, если будут среди устроителей не только добрые мела́мдим и батлу́ным<sup>1</sup>, но и лица с именем и весом. 7) Для этой цели я обещал снабдить его афишами и программами, разрешенными губернатором, ген-губерн-м и полиц-ми других городов, так что с этой стороны также препятствий не было бы. 8) Остается еще вопрос о времени. К сожалению, на это ответить трудно. Я почти на все лето и осень, даже часть зимы, ангажирован разными городами Юга, Севера и Запада (только не Востока). Ближайшей осенью, напр., я в Москве-матушке (вообразите: первопрестольная и евр. писатель?). Затем я в П.-бурге. Глубокой зимой предполагается турне по Сибири. (Дико?) Придется урвать из промежуточных дней между городами кое-какой наиболее подходящий день и для «нашего» Киева. Разумеется, за месяц раньше. Что касается морального успеха, то смею сказать, что он обеспечен. Работы и энергии должно быть затрачено изрядно (со стороны организаторов), но и цены должны быть поставлены во какие, памятуя изречение: если уж жрать свинину, то пусть по бороде течет<sup>2</sup>. Не может ли г-н Догмаров (и др.) принять участие в этом вечере? Кстати, у меня есть идея, кажется, счастливая. Недавно я напечатал в «Унзер лебен» драматический этюд в одном акте под названием «Люди». Во всех крупных городах принято в антрактах моих чтений ставить какой-нибудь водевиль моего сочинения, конечно, с помощью любителей из молодежи. Часто это проходит довольно успешно. Но в Киеве с такими выдающимися артистами, вроде Догмарова, я бы хотел блеснуть более глубокой вещью, какой я считаю именно «Люди». Советовал бы Вам, выписав №№ «Унзер лебен» (7 номеров перед и после пасхи

---

<sup>1</sup> Мела́мдим и батлу́ным — пустомели и болтуны (еврейск.).

<sup>2</sup> В тексте изречение написано по-еврейски.

сего года; в редакции знают), внимательно прочесть и передать г. Догмарову.

В «Людах» есть известная идея и настроения. Типы людей живы, выхвачены из жизни. У хороших, талантливых исполнителей получается живая, занимательная, грустно-веселая картина, заставляющая вдуматься поглубже. Первоначально это была 3-актная комедия. Потом я раздумал и превратил в одноактную, сгустив и сконцентрировав, как в фокусе, всю обстановку и смысл «Людей». Образцы афиш и программ при сем высылаю. А увидимся когда? Неужели лишь осенью или зимою? Пишите в Варшаву.

Ваш Ш. Алейхем.

177

М. ОСТРОВСКОМУ

23 октября 1909.

Милый М. Островский!

Получил Ваши письма. Искренность Ваша меня тронула.

Упрекнуть Вас позвольте лишь в одном: в неразборчивости почерка и небрежности письма. Старайтесь писать медленно, тогда само собой выйдет красивее. Помоему — мысли связаны с почерком. Есть, стало быть, связь между процессом творчества и процессом письма. Надо красиво писать, красиво думать, красиво творить. Каждое мое произведение при всей незрелости тщательно переписано и переработано мною не менее 6—7 раз. Побольше терпения, молодой человек! Сегодня выписываю для Вас из Варшавы все, что имеется у моего главного издателя (Лидского). Когда прочтете и если что особенно понравится Вам, то немедленно напишите мне о Вашем желании переводить, и я немедленно же отвечу Вам, стоит ли перевести или нет. На каждый перевод Вы, таким образом, будете иметь особое разрешение, иначе не идет. О том же, где напечатать, потолкуем после. Ваш первый перевод прислан мне не редакцией, а друзьями. Буду очень рад, если окажусь Вам чем-нибудь полезным.

Всего наилучшего.

Ш[олом]-Алейхем.

## ЗАВЕЩАНИЕ

*Прошу распечатать и обнародовать  
в день моей смерти*

*19 сентября 1915, Нью-Йорк.*

Сегодня, на следующий день после йом-кипур, в самом начале Нового года, мою семью постигло большое несчастье — скончался мой старший сын Миша (Михаил) Рабинович и унес с собой в могилу часть моей жизни, — поэтому я решил заново переписать свое завещание, составленное мною в 1908 году, когда я был болен, в Нерви (Италия).

Будучи здоров и при полном сознании, я пишу свое завещание, состоящее из десяти пунктов:

1. Где бы я ни умер, пусть меня похоронят не среди аристократов, знатных людей или богачей, а именно среди простых людей, рабочих, вместе с подлинным народом, так, чтобы памятник, который потом поставят на моей могиле, украсил скромные надгробия вокруг меня, а скромные могилы украсили бы мой памятник так же, как простой и честный народ при моей жизни был украшением своего народного писателя.

2. Никаких величаний и восхвалений не должно быть на моем памятнике, кроме имени «Шолом-Алейхем» на одной стороне и кроме еврейской надписи, здесь приложенной \*, с другой стороны.

3. Никаких дебатов и дискуссий моих коллег относительно увековечения моего имени и установления монумента в Нью-Йорке и т. п. не должно быть. Я не смогу спокойно лежать в могиле, если мои товарищи будут дурачиться. Лучшим монументом для меня будет, если



люди будут читать мои произведения и если среди зажиточных слоев нашего народа найдутся меценаты, которые возьмутся издавать и распространять мои произведения как на еврейском, так и на других языках, — так будет дана возможность народу читать, а семье моей — прилично существовать. Если я не удостоился или не заслужил иметь меценатов при жизни, то, может быть, я удостоюсь их после смерти. Я уйду из жизни уверенный в том, что народ не оставит моих сирот.

4. На моей могиле потом в течение года и дальше в каждую годовщину моей смерти пусть оставшийся мой единственный сын, а также мои зятья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву. А если читать молитву у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками и просто добрыми друзьями и будут читать это мое завещание, а также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом, понятном им, языке. И пусть имя мое будет ими помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто.

5. Религиозные убеждения детей моих и внуков могут быть какие им угодно, но свое еврейское происхождение я прошу их сохранить. Те из моих детей и внуков, которые отрекутся от еврейства и перейдут в другую веру, тем самым откажутся от своего происхождения и от своей семьи и сами вычеркнут себя из моего завещания. «И нет им доли и участия в среде их братьев».

6. Все, что мне принадлежит — как наличные деньги (если таковые окажутся в моем распоряжении), так и книги — напечатанные и в рукописи, как на еврейском, так и на других языках (кроме тех, что переведены на древнееврейский), — принадлежит жене моей Годл, дочери Эли-Мелеха, или Ольге Рабинович, а после ее смерти переходит к моим детям — всем поровну: к дочери моей Хае-Эстер (Эрнестина) Беркович, к дочери Сарре (Ляля) Кауфман, к дочери Ноэми (Эмма) Рабинович, к дочери Мириам (Маруся) Рабинович и к сыну Нохуму (Нума) Рабиновичу. Что же касается моих произведений, переведенных на древнееврейский язык, то они принадлежат талантливому переводчику, моему зятю З. Д. Берковичу, и его дочери, моей внучке Томор

(Тамаре) Беркович — это будет ее приданым; танъемы, которые будут поступать за мои пьесы как в России, так и в Америке, наполовину отчислять моим наследникам, а другую половину откладывать на имя моей внучки Беллы, дочери Михаила и Сарры Кауфман, — это будет ее приданым.

7. Из всех доходов, перечисленных в предыдущем параграфе, отчислять в пользу фонда для еврейских писателей (пишущих на еврейском и древнееврейском языках) с пяти тысяч рублей в год — пять процентов; если же доход превысит 5000 рублей в год, то десять процентов (например: с 6000 руб. — 600, с 7000 — 700, с 8000 — 800 руб. и т. д.). Если к тому времени будет такой фонд здесь, в Америке, или там, в Европе, то проценты должны быть ежегодно выплачены фонду. Если же к тому времени официального фонда не будет или будет такой, который не соответствует моему желанию, оговоренному в начале этого параграфа, пусть проценты будут розданы нуждающимся писателям непосредственно моими наследниками по взаимному соглашению.

8. Если я при жизни не успею сам поставит памятник на могиле только что умершего сына моего Михаила (Миши) Рабиновича в Копенгагене, пусть это сделают, не скупясь, мои наследники, а в день его смерти ежегодно пусть читают по нем поминальную молитву и раздадут 18 крон милостыни бедным.

9. Я желаю, чтобы мои наследники устроились таким образом, чтобы произведения мои и пьесы не были просто проданы — ни здесь, в Америке, ни в Европе, но чтобы они (наследники. — *Ред.*) имели возможность жить все годы на доход, который будет поступать согласно закону страны. Разве что наступит такое время или отыщется такой глупец, который уплатит за свое право сумму, достаточную для содержания семьи. Тогда пусть все наследники согласятся между собою и, если большинство не будет возражать, поделятся наличными деньгами доля в долю, согласно параграфу шестому, сняв в первую очередь 10% в пользу Еврейского литературного фонда, согласно параграфу 7.

10. Последняя моя воля, обращенная к наследникам, и просьба к моим детям: оберегать мать, скрасить ее старость, усладить ее горькую жизнь, целить ее разбитое сердце, не плакать по мне, а, наоборот, поминать меня в радости и — главное — жить между собою в мире,

не таить вражды друг против друга, поддерживать один другого в трудное время, вспоминать время от времени о семье, питать жалость к бедняку и при благоприятных обстоятельствах платить мои долги, если таковые окажутся. Дети! Носите с честью мое трудом заслуженное еврейское имя, и да будет вам в помощь господь в небе. Аминь.

*Шолом, сын Менахем-Нохума, Рабинович  
(Шолом-Алейхем).*

## **ПРИМЕЧАНИЯ**



Настоящий том содержит автобиографическую повесть «С ярмарки», пьесы, литературно-критические статьи, письма и завещание Шолом-Алейхема. Том завершают основные даты жизни и деятельности писателя.

### С ЯРМАРКИ

Произведения Шолом-Алейхема богаты биографическим материалом. Как никто другой из еврейских писателей, он события и переживания, связанные с его жизнью, отражал в своем искусстве. Но художник этим не хотел ограничиться. «Лучшая книга — это сама жизнь, а лучший роман — это жизнь человека», — говорил Шолом-Алейхем. Потому он уже в середине 90-х годов задумал написать книгу о себе. В письме писателю и другу Мордхе Спектору он в 1895 году сообщает: «Я твердо решил приступить в ближайшие дни к описанию своей жизни (автобиографии)».

Лелеянный писателем замысел не был осуществлен ни в 1895 году, ни в последующее десятилетие. Правда, в 1903 году он вновь возвращается к автобиографии и в письме Равницкому говорит: «Боюсь — не лишнее ли это, моя биография? Не рано ли? Это во-первых. Во-вторых, я бы не прочь и сам написать историю своей жизни — даже целую книгу». На копии этого письма рукой Шолом-Алейхема помечено: «Книгу эту я впоследствии начал писать в Италии под заглавием «Биография Шолом-Алейхема, написанная им самим». Точно неизвестно, когда он начал ее писать, полагают, что в 1907 году.

В «Краткой истории книги «С ярмарки» Шолом-Алейхем рассказывает, что «одесский поборник просвещения» А. Любарский специально приехал в Швейцарию (Шолом-Алейхем лечился на курортах этой страны с перерывами 1907—1909 гг.) и сделал ему такое предложение: так как писатель «прожил большую жизнь и вырос, можно сказать, вместе с еврейской народной ли-

тературой», то ему «следовало бы взять на себя труд изобразить эту жизнь в большом романе». И далее Шолом-Алейхем добавляет: «Идея эта крепко засела у меня в голове, и я взялся за дело, решив осуществить свой замысел в форме автобиографии или романа-биографии».

Шолом-Алейхем активно трудился, и книга росла глава за главой. Однако по истечении нескольких лет он обрывает свою работу над автобиографией и возвращается к ней лишь в начале 1915 года.

Первые две части «С ярмарки» были изданы отдельной книгой в Нью-Йорке в 1916 году. Третью часть он начал печатать в феврале 1916 года в газете «Вархайт». Однако третья часть не была дописана, так как Шолом-Алейхем в апреле тяжело заболел и 13 мая 1916 года скончался.

Автобиография посвящена детям художника. «Вам, — пишет Шолом-Алейхем, — посвящаю я творение моих творений, книгу книг, песнь песней души моей». Почему так дорожил писатель этим произведением? Ответ находим в том же посвящении. «Я вложил в него, — подчеркивает Шолом-Алейхем, — самое ценное, что у меня есть, — сердце свое. Читайте время от времени эту книгу. Быть может, она вас или детей ваших чему-нибудь научит, — научит, как любить наш народ и ценить сокровища его духа, которые рассеяны по всем глухим закоулкам необъятного мира. Это будет лучшей наградой за мои тридцать с лишним лет преданной работы на ниве нашего родного языка и литературы».

Стр. 8. *Гордон И. Л.* (1830—1892) — поэт и публицист, в своих произведениях высмеивал религиозные предубеждения и предрассудки.

Стр. 9. *...вторично в Америку.* — Первый раз Шолом-Алейхем прибыл в Америку в октябре 1906 г., второй раз в декабре 1914 г.

Стр. 12. *Хедер* — еврейская начальная религиозная школа.

*Священный ковчег* — шкаф у восточной стены синагоги, в котором содержат свитки торы. Первые пять книг Ветхого завета в составе Библии именуется торой, или законом, или Пятикнижием.

Стр. 13. *Талес* — молитвенное облачение.

Стр. 15. *Талмуд* — многотомный сборник еврейских догматических, правовых, религиозно-философских, моральных и бытовых предписаний, сложившихся в течение многих веков (IV в. до н. э. — IV в. н. э.).

*Тальненский чудотворец.* — Имеется в виду Давид Тверский, глава хасидской (хасидизм — религиозно-мистическое движение, воз-

никшее в XVIII в. среди евреев Польши и Украины) паствы в местечке Тальном бывшей Киевской губернии.

*Ману Авраам* (1807—1867) — автор романов на языке иврит, преимущественно на библейские темы.

*Слонимский Хаим-Зелиг* (1810—1904) — публицист, математик и астроном. Для популяризации и распространения естествознания среди евреев основал в Варшаве в 1867 г. еженедельник «Гацефира» («Рассвет»).

*Цедербау и А. О.* (1816—1893) — журналист, редактор и издатель газет «Идишес фолксблат» («Еврейская народная газета»), «Хамейлиц» («Защитник») и «Кол-мевассер» («Вестник» или «Голос возвещающий»).

Стр. 16. *Реб* — господин. Почтительное обращение к старшему или знатному.

Стр. 18. *Кабала* (буквально: предание) — религиозно-мистическая философия, которая сложилась среди евреев в раннем средневековье.

Стр. 20. *Корей* — библейский персонаж, восставший против пророка Моисея. Согласно легенде, был жестоко наказан богом: земля разверзлась и поглотила Корей и его сторонников.

Стр. 22. *Кадкод* — библейское наименование рубина.

*Яшпе* (яспис, яшма) — по Библии, род ценного камня.

*Верхний и нижний рай.* — Согласно иудейскому вероучению, существует земной рай (нижний), описанный в первой книге Библии, и небесный рай (верхний), который обещается синагогой в награду за терпение и смирение, за страдание в земной жизни.

Стр. 23. *Давид и Ионафан* — библейские герои, персонифицирующие преданность и дружбу.

*Левиафан и бык-великан* — легендарные рыба и бык, от которых, по представлению верующих, набожные евреи удостоются чести вкусить на «грядущем» пиршестве праведников.

*Живое серебро* — старинное название ртути.

Стр. 24. *...молился и боролся с ангелом смерти.* — Согласно иудейскому вероучению, ангел смерти не в состоянии «забрать душу» у человека во время молитвы.

Стр. 25. *Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф Прекрасный, Моисей, Аарон, Давид, Соломон, пророк Илья* — библейские персонажи.

*Маймонид*, или Рамбам (раби Моше бен Маймон, 1135—1204) — выдающийся еврейский философ и богослов.

*Бал-Шем-Тов* (буквально: обладатель доброго имени, чудодей). — Имеется в виду Израиль Бешт (1700—1760), основатель хасидизма.

*Ружинский чудотворец.* — Имеется в виду Израиль Фридман (1797—1850), влиятельный руководитель хасидских общин Украины.



Стр. 26. ...*потому что раввин был бездетным.* — Согласно иудейскому вероучению, сын обязан читать заупокойную молитву по умершим родителям в продолжение одиннадцати месяцев. При отсутствии сына для этих целей нанимали набожного еврея.

Стр. 27. *Меламед* — учитель хедера.

Стр. 29. *Сирота* — певец, который прославился своим пением молитвенных текстов.

*Иоселе-соловей* — народный певец, главный персонаж одноименного романа Шолом-Алейхема.

«*Продажа Иосифа*» — название скетча на библейскую тему.

«*Исход из Египта*», «*Десять казней*», «*Пророк Моисей со крижалями*» — драматические сцены на библейские темы.

Стр. 30. *Тишебов* — девятый день месяца аба (соответствует июлю — августу), день поста и скорби в память разрушения Иерусалимского храма.

Стр. 31. «*Идишес фолксблат*» — газета на языке идиш, которая выходила раз в неделю с 1881 по 1890 г. в Петербурге.

Стр. 35. *Царь Соломон в «Екклезиасте»*... — Авторство книги «Екклезиаст» традиция приписывает библейскому царю Соломону (X в. до н. э.).

Стр. 36. *Тамуз* — название месяца иудейского календаря, соответствует июню — июлю.

Стр. 37. *Шамес* — служба, или прислужник, снагоги, братства или раввина.

Стр. 39. *Ханука* — иудейский праздник, справляется ежегодно в течение восьми дней месяца кислев (соответствует ноябрю — декабрю) в память освящения Иерусалимского храма и освобождения Иудеи от греческого владычества (II в. до н. э.).

Стр. 40. *Играть в юлу*. — В праздник хануки распространена игра, состоящая в верчении волчка, на четырех сторонах которого изображены буквы g, h, n, s. Они соответственно обозначают: ganz — все, halb — половина, nichts — ничего и stell — прекрати или добавь.

Стр. 41. *Меер-чудотворец* — один из законоучителей Талмуда, живший во II в. н. э. В честь его памяти в еврейских религиозных домах были специальные кружки, куда бросали мелкие монеты для благотворительных целей.

Стр. 42. *Элул* — последний месяц иудейского календаря (соответствует августу — сентябрю), канун религиозных праздников Рош-гашана (Новый год) и иом-кипур (Судный день). По представлению верующих, бог в эти дни предопределяет судьбы людей на наступающий год; набожные евреи в течение этого месяца постятся, чтобы покаянием и смирением умилоустивить бога и заставить его предначертать им год добра и счастья.

Стр. 43. ...*первый звук шофара*. — Имеется в виду первый звук из бараньего рога, который издается в начале злула и служит для верующих призывом к смирению и покаянию.

Стр. 44. *Куци* — древний осенний праздник жатвы, впоследствии справлявшийся в память о легендарном сорокалетнем странствовании евреев после исхода из Египта по пустыне и проживании в шалашах (куцах).

*Гейшанорабо* — по религиозному преданию, в седьмую ночь праздника кушей — гейшанорабо — на небесном престоле утверждается вынесенный в иом-кипур всевышний приговор, которым определяется судьба человека на предстоящий год.

Стр. 45. *Филактерии* (тефилн) — молитвенная принадлежность, представляющая собой кожаные коробочки, к которым прикреплены ремешки. В коробочках содержатся библейские тексты, написанные на пергаменте.

*Разрисованный мизрох*. — Имеется в виду вышитая или нарисованная картина на библейский сюжет, которую верующие евреи развешивали на восточной стене (мизрох).

*Монтефиоре* Моисей (1784—1885) — английский банкир и филантроп.

...*услышать рог мессии*. — Согласно легенде, божий помазанник (мессия) оповестит свое появление звуком из бараньего рога (шофара).

Стр. 48. *Хасид* — приверженец хасидизма.

*Талескотн* (арбеканфес) — четырехугольное полотнище с круглым вырезом в центре и шерстяными кистями (цицес) по углам. Религиозные евреи носят его под верхней одеждой.

Стр. 50. *Пятикнижие с комментариями Моисея Мендельсона*. — Имеются в виду толкования к Пятикнижию (пять Книг Моисеевых: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие») М. Мендельсона (1729—1786) — философа-идеалиста, основоположника еврейского буржуазного просветительства XVIII в.

Стр. 51. *Праздник торы* (симхес-тойре) — последний день праздника кушей, посвящен синагогальному окончанию годового чтения Пятикнижия по недельным главам.

Стр. 55. *Шполянский дед*. — Имеется в виду глава хасидской паствы из местечка Шполы (бывшей Киевской губернии) Арье-Лейб (1725—1812).

Стр. 58. *Кантор* — священнослужитель, читающий нараспев молитвы у аналоя во время синагогального богослужения.

Стр. 59. *Перемена места — перемена счастья*. — Талмудическое выражение, указывающее на то, что со сменой местожительства изменяется и судьба человека к лучшему.

Стр. 72. ...*был «ятюм»* — то есть был молодым парнем.

Стр. 83. «Исайя» — название библейской книги.

Стр. 86. *Пророки* — наименование второго отдела Библии, куда входят книги Иисуса Навина, Судей, Царств, Исайи, Иеремии, Иезекииля и др.

Стр. 89. «Грозные дни». — Так в иудейском календаре называют Новый год и Судный день, так как, по представлению верующих, в это «грозное» время на небесах предрешаются человеческие судьбы на предстоящий год.

Стр. 90. *Кузри* — религиозно-философское произведение еврейского поэта и мыслителя Иегуды Галеви (ок. 1080—ок. 1145).

*Спиноза* Бенедикт (Барух; 1632—1677) — великий философ-материалист.

*Дрепер* Джон Уильям (1811—1882) — ученый, философ-позитивист, автор многочисленных трудов по физиологии, химии, физике, а также по истории и философии.

...отец его из «бритых» — то есть из числа лиц, порвавших с религией. Согласно иудейскому вероучению, брить или стричь бороду категорически запрещается.

Стр. 91. «Восемнадцать гульденов за когена!» — цена за право быть вызванным к чтению первого отрывка недельной главы торы. Хотя цена выражалась в древнегерманской валюте, однако каждый «гульден», по договоренности верующих, обозначал определенное количество рублей или копеек.

Стр. 94. *Дикдук* — грамматика языка иврит.

Стр. 95. *Бармицве* (буквально: «сын заповеди»). — Так называли мальчика, достигшего совершеннолетия (тринадцать лет), и самый обряд его вступления в число полноправных членов иудейской религиозной общины.

Стр. 98. *Мезуза* — кусок пергамента, на котором написаны библейские стихи. Свернутый свиток помещается в деревянный или металлический футляр и прикрепляется к косяку дверей. Мезуза служит магическим средством, способным, как полагают верующие, уберечь их от злых духов.

Стр. 104. «Парижские тайны» — роман французского писателя Эжена Сю.

«По дорогам мира» — справочная книга о народах и странах мира.

...велит... прислуге потушить свечи в субботу. — Иудейская религия запрещает тушить огонь в субботу. Верующие евреи прибегали в таких случаях к услугам неевреев.

Стр. 105. ...и не носит ли он чего-нибудь по субботам? — Подозрение в нарушении субботнего покоя, так как в субботу, согласно иудейской религии, выходя из дому, брать с собой что-либо нельзя.

Стр. 106. ...«и будешь обручен со мной» — молитвенная формула, которая произносится при накладывании филактерий на лоб и левую руку.

Стр. 108. *Хроники* — русское название библейских книг «Дивре-хаййамим».

Стр. 109. *Тноим* — брачный акт, который составляется до венчания, в нем оговорены материальные условия помолвки.

Стр. 110. *Суламифь из «Песни Песней»* — главный персонаж одной из библейских книг. Ее тема — пылкая любовь, которая «сильнее смерти».

Стр. 114. *Швуэс* — древний земледельческий праздник, отмечался на пятидесятый день после первого дня пасхи (отсюда его русское название пятидесятница), впоследствии справлялся в память о легендарном вручении торы пророку Моисею на горе Синае.

Стр. 119. «*Тахнун*» — молитва, набожные евреи читают ее шепотом с «сокрушенным сердцем».

*Отец углубился в книгу Иова*. — В первые дни траура по умершим принято было читать библейскую книгу Иова.

Стр. 121. «*Кадииш*» — заупокойная молитва.

Стр. 122. «*И нет у человека преимущества перед скотом*» — фраза из библейской книги «Екклезиаст».

Стр. 137. *Моисей из Дессау*. — Имеется в виду Моисей Мендельсон, родом из Дессау.

Стр. 139. *Левиты* — греческая форма названия членов библейского колена Левина, служителей иудейского культа.

Стр. 142. «*Капорес*» (буквально: искупление) — иудейский религиозный ритуал, состоящий в том, что в канун Судного дня мужчина берет петуха, а женщина курицу и, читая соответствующую молитву, вертит птицей вокруг головы и произносит: «Да будет это моей заменой... моим искуплением. Этот петух (эта курица) пойдет на смерть, а я обрету счастливую, долгую и мирную жизнь!»

Стр. 144. *Хабад* — аббревиатура слов хохма (мудрость), бино (понимание) и даас (познание), литовско-белорусское или рационалистическое направление в хасидизме, основателем которого был Шнеур-Залмен бен Барух (1747—1812).

*Резгевулка* — род верхней одежды.

«*Кидеш*» (буквально: освещение) — молитва, произносят по праздникам и субботам перед вечерней трапезой над бокалом вина или двумя хлебами.

Стр. 147. *Эмден Яков* (1697—1776) — раввин, ярый защитник ортодоксального иудаизма.

Стр. 148. *Лот* — библейский персонаж, пьяница.

Стр. 149. *Фрейлехс* — веселый свадебный танец.

Стр. 164. *Вейзель* (Вессели) Н. Г. (1725—1805) — поэт и филолог, сборник немецкого просветительства XVIII в.

*Лебенсон А. Б.* (псевдоним Адама Гакогена; 1794—1878) — поэт и грамматик.

*Шульман* Калман (1819—1899) — еврейский прогрессивный писатель, публицист и переводчик.

*Левинзон* Ицхок-Бер (1788—1860) — еврейский писатель, публицист, основоположник еврейского буржуазного просветительства в России.

*Смоленский* Перец (1842—1885) — публицист, противник религиозных реформ, ревнитель иудаизма.

Стр. 167. *«Поколение уходит — поколение приходит»* — фраза из библейской книги «Екклезиаст».

Стр. 169. *«Черта»*. — Имеется в виду «черта оседлости», то есть двадцать пять губерний царской России, где по повелению царя евреям было дозволено жить.

Стр. 171. *«Киевлянин»* — черносотенная газета, которая с 1864 г. выходила в Киеве.

Стр. 173. *«Путеводитель заблудших»* — главное произведение философа и богослова Маймонда.

Стр. 174. *Ешиботник* — ученик ешиботы, духовного училища, готовящего раввинов и других служителей иудейского культа.

Стр. 188. *Готлобер А. Б.* (1811—1899) — поэт, историк и журналист, сборник просвещения евреев в России.

*Иегалел* (псевдоним И. Л. Левина; 1845—1925) — поэт и публицист, последователь Писарева.

Стр. 189. *«Хамейлиц»* («Защитник») — первая газета на древнееврейском языке, выходила с 1862 по 1893 г. в Одессе, а затем в Петербурге.

Стр. 199. *Гакофес* (буквально: кружение) — синагогальный ритуал в день симхес-тойре; прихожане со свитками торы в руках семь раз обходят амвон, распевая молитвенные гимны.

Стр. 208. *«Ойзер-Далим»* («Опора бедняков») — молитвенный гимн, распеваемый в симхес-тойре.

Стр. 209. *Менахем-Мендл* — герой одноименной повести Шолом-Алейхема, стал нарицательным образом несчастливца.

Стр. 211. *Миньен* — необходимый кворум (десять мужчин старше тринадцати лет) для свершения синагогального богослужения.

Стр. 221. *Миснагед* — противник хасидизма.

Стр. 225. *Казенный раввин*. — В отличие от духовного раввина, чиновник, который избирался общиной и утверждался губернатором. Казенный раввин вел записи актов гражданского состояния еврейской общины, приводил к присяге солдат-евреев и выполнял другие подобные функции.

Стр. 231. *Шацкес М. А.* (1825—1899) — еврейский прогрессивный писатель-юморист, критик религиозных догматов иуданзма.

*Вайсберг И.-Я.* (1841—1904) — еврейский писатель.

*Дубжевич А. Д.* (1843—1899) — еврейский публицист.

*Доревский И.* — преподаватель иврита, сотрудник газеты «Хамейлиц».

Стр. 236. «*Хамагид*» («Проповедник») — газета на языке иврит, выходила с 1856 по 1890 г. в Лыке (Германия).

*Дарвин Чарлз* (1809—1882) — английский биолог-материалист, основоположник научной теории развития органического мира.

*Бокль Генри Томас* (1821—1862) — английский буржуазный социолог и историк цивилизации.

*Спенсер Герберт* (1820—1903) — английский буржуазный психолог и социолог.

Стр. 240. *Берне Людвиг* (1786—1837) — немецкий писатель, литературный критик и публицист-демократ.

Стр. 244. *Мордухай у царя Артаксеркса.* — По Библии, дядя царицы Эсфири, который надоумил ее просить персидского царя Артаксеркса отменить указ Амана об истреблении евреев. Впоследствии Мордухай стал первым царским советником.

*Валаам* — библейский персонаж, который должен был по уговору моавитского царя Валака проклясть евреев, но «по велению бога» славил их и предсказал им великое будущее.

Стр. 257. *Шпильгаген Фридрих* (1829—1911) — немецкий писатель.

*Раши* — аббревиатура имени рабби Шлойме Ицхаки (1040—1105), комментатора Библии и Талмуда.

...*дочери Салпаада.* — Имеется в виду библейский рассказ о пяти дочерях Салпаада, которые обратились к пророку Моисею с просьбой разрешить им вступить в право наследования, так как их отец не оставил сыновей.

Стр. 258. *Богров Г. И.* (1825—1885) — писатель. В «Записках еврея» нарисована картина быта русского еврейства 60-х годов XIX в.

Стр. 259. *Миль Джон Стюарт* (1806—1873) — английский философ-позитивист, логик и экономист.

Стр. 263. *Манделькерн С.* (1846—1902) — поэт, перевел на язык иврит стихи Гейне, на немецкий язык перевел рассказы Короленко и романы Мапу.

*Гинзбург Мордхе-Ари* (1792—1851) — публицист, активный поборник просвещения евреев в России.

*Эртер Ицхок* (1792—1851) — поэт-сатирик, последователь Писарева, поборник просвещения евреев в России, активно боролся против хасидизма.

*Доктор Каминер* (1834—1901) — гебраистский поэт.

Стр. 273. *Манна небесная* — согласно библейскому рассказу, чудесная пища, которую древние евреи получали с неба во время своего странствования в пустыне.

Стр. 275. *...купил «квитанцию»*. — Имеется в виду квитанция на уплату денег за освобождение от воинской повинности при царизме.

Стр. 286. *«Галел»* (буквально: хвала) — молитва, состоящая из псалмов 113—118. Здесь игра слов: «Егалел» — восхвалять, прославлять.

Стр. 287. *Лебензон* Миха-Иосиф (1828—1852) — гебраистский поэт, перевел III и IV книги «Энеиды» Вергилия на язык иврит.

Стр. 288. *Куперник Л. А.* (1845—1905) — киевский адвокат и публицист.

Стр. 289. *«Я не танцевал с медведем»* — еврейская поговорка, смысл которой означает «не вышло».

Стр. 294. *Кутаисский процесс* — клеветнический судебный процесс, состоявшийся в Кутаиси в 1879 г. по обвинению евреев городка Сачхери в ритуальном убийстве.

*Грузенберг О. О.* (1866—?) — адвокат; участвовал в качестве защитника в различных политических процессах. Кадет.

*Процесс Менделя Бейлиса* — всемирно известное судебное дело по обвинению портного Бейлиса, будто он в ритуальных целях убил христианского мальчика; слушалось в Киеве в 1913 г. Процесс был инсценирован царским правительством в целях усиления реакции в России, организации еврейских погромов и тем самым укрепления самодержавия. На суде выяснилось, что мальчик явился жертвой воровской шайки. Процесс вызвал демонстрации рабочих. Присяжные вынесли Бейлису оправдательный приговор.

## ПЬЕСЫ

Шолом-Алейхем уделял пристальное внимание актерам, музыкантам, народным шутам и певцам. Их вдохновенному труду он посвятил повесть «Шимеле», романы «Степеню», «Иоселе-соловей», «Блуждающие звезды».

Глубоко сознавая, что театр может стать трибуной для утверждения добра и справедливости, для высмеивания и разоблачения пошлости, обывательщины и безысходной тупости, Шолом-Алейхем создал немалое количество сценических миниатюр в одном действии и трех-четыреактных драм и комедий.

Вскоре после дебюта рассказом «Два камня» Шолом-Алейхем опубликовал в 1887 году свой первый, как он выразился, водевиль — фельетон «Жених-доктор». В том же году он напечатал «Развод»,

комедию в трех картинах, а двумя годами позже «чистую» комедию: «Сходка».

В водевиле «Жених-доктор» Шолом-Алейхем вывел образ толстосума, подлинного представителя еврейского провинциального буржуа. Впредь подобные образы будут присутствовать почти во всех его драматических произведениях.

В 1894 году Шолом-Алейхем завершил комедию «Якнегоз». С необыкновенной верностью натуре драматург изображает здесь финансовых воротил, их опустошенный внутренний мир, их внешнюю оживленность и подвижность в жадном стремлении пополнить свою толстую кошелек. Киевские биржевники в действующих лицах комедии увидели самих себя и донесли начальству «о зловредных писаниях» Шолом-Алейхема. Комедию конфисковали, а на ее автора царская охранка завела досье.

После «истории» с «Якнегозом» Шолом-Алейхем на протяжении пяти лет не писал никаких пьес. Лишь в 1899 году появилась его одноактная комедия «Поздравляем!». В смешных и трогательных сценах Шолом-Алейхем выявляет громадную любовь к людям, доброту и нравственную чистоту главного героя комедии реб Алтера-кингоноши. В этом образе заметно вырисовывается творческое своеобразие Шолом-Алейхема: органическое сочетание комедийности с глубоким лиризмом.

В 1903 году Шолом-Алейхем опубликовал пьесу в четырех актах «Разброд». В ней воссозданы широкие картины из жизни патриархальной еврейской семьи, показан ее распад и внутренняя дифференциация. В апреле 1905 года она была поставлена на сцене польского театра, а затем и на подмостках еврейской сцены в Польше. Пресса дала высокую оценку этому спектаклю. Воодушевленный успехом, Шолом-Алейхем в 1907 году написал пьесы «Клад» и «Люди», а в течение 1909—1911 годов — «Агенты», «Король пик», «Шрага». Однако ни одно из перечисленных произведений при жизни Шолом-Алейхема не было поставлено ни одним театром. Но Шолом-Алейхем был неутомим. В 1914 году он инсценировал «Тевье-молочника», в 1915 году — «Кровавую шутку». В том же году он написал антирелигиозную одноактную пьесу «Царствие небесное», а в 1916 году — идейно насыщенную, веселую комедию «Крупный выигрыш».

Шолом-Алейхем неоднократно принимал необходимые меры для организации еврейского «художественного театра», где можно было бы играть его пьесы. В июне 1905 года он даже подписал контракт, согласно которому он должен был в Одессе возглавить литературную часть театра, директорами которого были Сливаковский и Адлер. В связи с этим Шолом-Алейхем восторженно писал: «Для первого сезона я уже подготовил две большие и четыре одноактные пьесы... Лично буду присутствовать на репетициях и премьерах...»



## ДОКТОРА!

Впервые под названием «Жених-доктор» опубликовано в «Идишес фолксблат» («Еврейская народная газета»), СПб. 1887. В 1907 году переработано под названием «Доктора!».

Стр. 316. *Деспот* — от греческого *despotes*, неограниченный и жестокий повелитель.

## СХОДКА

Впервые под псевдонимом «Шуламис» опубликовано во втором томе «Идише фолксбиблиотек» («Еврейская народная библиотека»), Киев, 1890.

Стр. 324. *Такса*, или коробочный сбор, — специальный налог при царизме на кошерное мясо (дозволенное иудейской религией к употреблению). Этот налог сдавался царским правительством в аренду кому-нибудь из богачей.

Стр. 327. *Мозехитым* — деньги на мацу для бедняков, которые сами не в состоянии ее купить на пасху.

## ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Впервые опубликовано в еженедельнике «Дер юд» («Еврей»), Варшава, 1899.

Стр. 340. *Сионисты* — сторонники сионизма, националистического движения еврейской буржуазии, возникшего в конце XIX в. Ставили перед собой целью создание еврейского государства в Палестине. Современный сионизм — это идеология крупной еврейской буржуазии, сросшейся с империалистическими кругами США и других стран капитала.

Стр. 345. *Шомер* — псевдоним автора бульварных еврейских романов Н. М. Шайкевича (1849—1906).

## ЛЮДИ

Впервые опубликовано в «Унзер лебн» («Наша жизнь»), Варшава. 1908.

Стр. 368 «*Как глина в руках горшечника*» — приведенная фраза не из Талмуда, а цитата из молитвы.

## КРУПНЫЙ ВЫГРЫШ

Впервые опубликовано в журнале «Цукунфт» («Будущее»), Нью-Йорк, 1916.

Стр. 382. *Канун войны*. — Имеется в виду канун первой мировой войны (1914—1918 гг.).

Стр. 392. *...со времен Мафусала* — то есть с древнейших времен.

Стр. 436. *Питем* — остроконечная часть особого вида лимона, у евреев он называется эсрогом или райским яблоком. Верующие евреи полагают, что беременная женщина, съев питем, должна родить мальчика. В тексте речь идет о кончике сигары.

Стр. 444. *Десять евреев*, или миньен (см. прим. к стр. 211).

## О ЛИТЕРАТУРЕ

Шолом-Алейхем вступил в еврейскую литературу со страстной ненавистью к «романоделам», развращающим читателя и извращающим «его лучшие чувства ужасными небылицами и дикими мыслями». Художественная литература, утверждал Шолом-Алейхем, есть своего рода зеркало, в котором «отражаются лучи жизни». Потому между писателем и народом должен существовать крепкий союз. И только писатель, который верно и глубоко знает жизнь народа, является для него «служгой, и жрецом, и пророком, поборником правды и справедливости».

Защищая художественные принципы реалистического искусства, Шолом-Алейхем в своих литературно-критических статьях решительно отвергает теорию о безыдейности искусства и утверждает мысль об активном отношении писателя к важнейшим проблемам его эпохи. Поэтому в «Суде над Шомером» Шолом-Алейхем клеймит позором низкопробные и пошлые сочинения Шомера, отравляющие сознание читателя.

В «Суде над Шомером» изложена своеобразная программа еврейской демократической литературы, возглавляемой Менделе Мойхер-Сфоримом. «Чтобы быть народным писателем, — говорит Шолом-Алейхем, — надо быть талантливым писателем, патриотом и другом людей, нужно любить народ; бичуя и высмеивая, надо быть преданным народу, подобно Абрамовичу, у которого кровь сочится, когда он смеется и критикует».

Свое отношение к Менделе Мойхер-Сфориму и его верным последователям Шолом-Алейхем выразил в статьях под названием «Тема нищеты в еврейской литературе». Примечательно, что, анализируя отдельные произведения писателей школы Менделе Мойхер-Сфорима, Шолом-Алейхем приходит к выводу: народность писателя

состоит не в самом факте обращения к «народной теме», а в гармоничном сочетании национального и общечеловеческого идеалов.

Шолом-Алейхем пристально присматривался ко всему талантливому в еврейской литературе, поощрял и поддерживал писателей, рисовавших «жизненные картины» и боровшихся за освобождение личности и ее человеческих достоинств от пут окостеневших традиций и мещанских предрассудков. Подлинным борцам за подлинное счастье народа он посвятил серию очерков под названием «Еврейские писатели».

#### СУД НАД ШОМЕРОМ

Впервые опубликовано отдельной брошюрой под названием «Суд над Шомером, или Суд присяжных над всеми романами Шомера, застенографировано Шолом-Алейхемом», Бердичев, 1888. Печатается с сокращениями.

Стр. 457. *Абрамович Я. М.* (1836—1917) — основоположник современной еврейской литературы на языке идиш, известный под псевдонимом Менделе Мойхер-Сфорим. Шолом-Алейхем называл его «Дедушкой еврейской литературы».

*Линецкий И. И.* (1839—1915) — еврейский прогрессивный писатель. Шолом-Алейхем называл его «замечательным сатирическим талантом».

*Гольдфаден Авраам* (1840—1908) — драматург, поэт и композитор, основатель еврейского театра.

*Дик Айзик-Меер* (1807—1893) — еврейский писатель. Шолом-Алейхем назвал его среди тех писателей, которые много сделали для развития идиша.

*Цезно-урезно* — произвольное изложение на языке идиш содержания Пятикнижия с добавлениями из произведений средневековых иудейских богословов.

*Тайчхумеш* — Пятикнижие на языке идиш, уснащенное «душеспасительным» чтивом.

*Прославления Бешта* — сборник легенд об основателе хасидизма Израиле Беште.

*Тхинес* — сборник молитв на языке идиш для еврейских женщин.

*«Кол-мевассер»* («Голос возвещающий», или «Вестник») — название еврейской газеты; выходила в Одессе с 11 октября 1862 г. по 15 ноября 1872 г.

Стр. 469. *«Восход»* — вернее, «Книжки Восхода», — журнал еврейской буржуазной демократии на русском языке, выходил в Петербурге с 1881 по 1906 г.

*«Критикус»* — псевдоним буржуазного еврейского историка С. М. Дубнова (1860—1941), большого друга Шолом-Алейхема, высоко ценившего его талант.

## ТЕМА НИЩЕТЫ В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Под таким названием Шолом-Алейхем в приложениях к «Фолкс-блату» за 1888 год печатал свои литературно-критические статьи о некоторых произведениях современных ему писателей. Печатается с сокращениями.

Стр. 475. *Даже в «холерные женихи» его и то не взяли.* — Во время эпидемии холеры набожные евреи во спасение устраивали на кладбищах венчания, для которых подбирали за плату нищих калек.

Стр. 482. *Миква* — бассейн для ритуальных омовений.

Стр. 483. *...с той самой минуты, когда ангел щелчком по носу...* — Согласно талмудической легенде, эмбрион в утробе матери познает «все науки». Однако при рождении ребенка ангел дает ему щелчок по носу, и от испуга новорожденный забывает все то, чему его учили.

Стр. 484. *Сборщик.* — Имеется в виду сборщик налогов на пред-меты религиозного культа.

*...плавает то, что было вылито на голову Амана.* — Согласно ле-генде, на голову Амана жители древнего города Сузы вылили помой и нечистоты.

стр. 485. *Алеф, бейс* — первые буквы еврейского алфавита.

Стр. 487. *Бадхен* — шут на свадьбах.

*Золотой бульон.* — Так именуют бульон, который подается у ев-реев на послевенчальном ужине.

*Спектор* Мордхе (1858—1925) — еврейский прогрессивный писа-тель, редактор и издатель, большой друг Шолом-Алейхема.

Стр. 492. *...бурлит... как река Самбатъон.* — Сказочная река, кото-рая обладает удивительным свойством: шесть дней в неделю ее быстро несущиеся воды бросают камни, в субботу она высыхает.

Стр. 494. *Дайен* — помощник раввина.

*Трефное* — пища, запрещенная иудейской религией к употребле-нию.

*Хомец* — мучные изделия из квашеного теста; иудейская религия запрещает употреблять хомец в пасху.

## ИЗ КНИГИ «ЕВРЕЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ»

Состоит из небольшого количества очерков, написанных Шолом-Алейхемом в разное время, собраны и изданы под названием «Ев-рейские писатели» наследниками Шолом-Алейхема. Впервые опубли-ковано отдельным изданием в Нью-Йорке в 1937 году.

### ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ!

Впервые опубликовано в «Фолксцайтунг», Варшава, 1902.

## ДЕДУШКИН ОТЕЛЬ

Очерки «Дедушкин отель», «Как меня звать», «История с тремя городами», «Происхождение «Клячи» и «На волосок от смерти» впервые опубликованы под названием «Четверо нас сидело» в газете «Унзер лебн» («Наша жизнь»), Варшава, 1908.

Стр. 503. ...*три еврейских прозаика и один поэт.* — Шолом-Алейхем имеет в виду Менделе Мойхер-Сфорима, себя, Бен-Ами (псевдоним беллетриста Х. М. Рабиновича; 1854—1932) и поэта Х. Н. Бялика (1873—1936).

Стр. 506. ...*мой темпераментный коллега.* — Шолом-Алейхем имеет в виду писателя Бен-Ами.

## ИСТОРИЯ С ТРЕМЯ ГОРОДАМИ

Стр. 515. ...*до «конституции».* — Имеется в виду царская конституция от 17 октября 1905 г.

*Бунд* — еврейская мелкобуржуазная партия меньшевистского толка.

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ «КЛЯЧИ»

Стр. 523. «Кляча» — повесть Менделе Мойхер-Сфорима, проникнутая любовью к народным массам и ненавистью к их поработителям.

## КАК КРАСИВО ДЕРЕВО!

Впервые опубликовано в газете «Дер момент» («Момент»), Варшава, 1910.

Стр. 541. *Толмачев И. Н.* — яркий черносотенец, градоначальник Одессы (1907—1911 гг.); отличился произволом в управлении городом и травлей евреев.

*Равницкий И.-Х.* (1859—1944) — фольклорист, критик и журналист. Иногда выступал под псевдонимом Элдад.

...*еврейский дозор.* — Имеется в виду староста синагоги.

## АУТОДАФЕ

Впервые опубликовано в еженедельнике «Дос юдише фолк» («Еврейский народ»), Вильно, 1911.

## ПИСЬМА

Письма Шолом-Алейхема существенно дополняют его литературное наследие и представляют большой биографический и историко-литературный интерес.

Тринадцатого августа 1879 года двадцатилетний Шолом Рабинович написал на древнееврейском языке первое дошедшее до нас в отрывке письмо родственнику Вайсборду, а за двадцать дней до своей кончины, 23 апреля 1916 года, отправил небольшое письмо еврейскому поэту Иегоашу, в котором дал высокую оценку появившимся в печати первым двум главам его книги очерков «От Нью-Йорка до Рехавот». Между этими двумя датами проходит тридцать семь лет, в продолжение которых Шолом-Алейхем неустанно трудился и создал великолепные и широкоизвестные новеллы и рассказы, повести и монологи, пьесы и романы, литературно-критические статьи и стихи. За это же время им было написано огромное количество писем родным, русским и еврейским писателям, журналистам и издателям, общественным деятелям, почитателям и друзьям.

В письме издательству «Художественная литература» зять Шолом-Алейхема, писатель И. Д. Беркович, заведующий «Домом Шолом-Алейхема» в Тель-Авиве, 22 января 1967 года писал: «В нашем архиве имеются письма Шолом-Алейхема на трех языках: иврите, русском и идише. Только на русском языке наберется несколько тысяч». И. Д. Беркович не уточнил их число. Однако о количестве писем Шолом-Алейхема можно судить на основании того, что на протяжении только 1888—1889 годов он написал около тысячи пятисот писем.

К сожалению, огромное эпистолярное наследие великого еврейского писателя все еще хранится в архивах за семью печатями. Лишь незначительная часть его увидела свет: 166 писем в газете «Тог» (Нью-Йорк, 1925) и 253 письма в «Шолом-Алейхем бух» (Нью-Йорк, 1926 и 1958). Свыше ста писем было опубликовано в советских еврейских изданиях: в «Цайтшрифте» («Летописях», т. I, Минск, 1926), «Висншафтлихе ербихер» («Ежегодниках по вопросам науки», т. I, М. 1929), журнале «Штерн» («Звезда», № 3—4, Минск, 1939), сборнике «Шолом-Алейхем», Киев, 1940.

Письма Шолом-Алейхема в количестве 210 впервые были систематизированы и опубликованы отдельным изданием на языке идиш И. Мительманом и Х. Наделем (М. 1941). Около 60 писем на русском языке было напечатано в шестом томе Собрания сочинений Шолом-Алейхема (М. 1961).

Для настоящего издания отобраны письма 1882—1916 годов, имеющие наибольшую ценность для выявления и понимания общественного и творческого облика писателя. Для отбора мы пользовались вышеуказанными публикациями, а также хранящимися в Государственных музеях Л. Н. Толстого и М. Горького оригиналами писем Шолом-Алейхема к русским писателям.

Письма расположены по разделам в хронологическом порядке и имеют общую нумерацию. В первый раздел включены письма в

русском переводе. Из них №№ 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91 печатаются впервые (перевод М. Беленького). В последующих разделах помещены письма, написанные Шолом-Алейхемом по-русски: во втором — письма русским и еврейским писателям, в третьем — историку Дубнову, в четвертом — издателям газеты «Фрайнд», в пятом — разным лицам.

1

1

Стр. 553. *Рабинович Волф* (1864—1939) — младший брат Шолом-Алейхема, мастер по производству перчаток. В 1939 г. была опубликована на языке идиш его книга «Мой брат Шолом-Алейхем». В ней автор рассказывает о духовной атмосфере, в которой сформировался облик писателя.

2

Стр. 555. *Янкл Солечников* — перчаточник в Бердичеве. Волф Рабинович работал и учился у него.

*Берл* — самый младший брат Шолом-Алейхема. Волф Рабинович звал его в Бердичев для того, чтобы и он овладел мастерством по производству перчаток.

...как патриарху *Иакову с Вениамином*. — Вениамин, по Библии, — младший сын Иакова, родился, как и старший брат его Иосиф, от Рахили. Когда сыны Иакова, вследствие голода, постигшего их страну, отправились в Египет покупать хлеб, то Вениамин остался дома с отцом, ибо Иаков, боясь за его судьбу, не желал расстаться с единственным оставшимся от Рахили сыном.

3

*Отцу*. — Отец Шолом-Алейхема, Нохум Рабинович (1830—1888), был арендатором, содержал заезжий дом, он хорошо знал еврейскую античность, был знаком с литературой еврейского просвещения XVIII и XIX вв., возлагал на сына Шолома большие надежды, рано подметив в нем талант писателя.

4

Стр. 556. *Брату Эле*. — Эля Рабинович — старший брат Шолом-Алейхема.

Стр. 557. «*Гершл Хаит*» — один из псевдонимов Шолом-Алейхема. Хаит по-еврейски портной. Шолом-Алейхем не случайно избрал себе этот псевдоним. Дело в том, что редактор журнала «Восход» Ландау ополчился против еврейской газеты «Фолксблат» и требовал ее закрытия на том основании, что ее читают «темные люди»: портные, сапожники, водовозы». В своем открытом письме к Ландау Шолом-Алейхем писал: «Можно догадаться, как плохо обстоит у нас дело с прогрессом, если редактор русско-еврейского журнала открыто заявляет, что портные, сапожники, водовозы и прочий трудовой народ — люди темные и просвещение им не нужно. И такой человек именуется у нас просветителем, редактором и пионером!» Письмо за подписью «Гершл Хаит» не было напечатано.

...*мои статьи по гигиене.* — Речь идет о статье «Советы молодым матерям: надо ли пеленать ребенка?». Она была напечатана в «Фолксблате», № 22, 1884.

## 5

Стр. 558. *Динезон Я.* (1856—1919) — еврейский прогрессивный писатель, автор сентиментальных романов на языке идиш; с Шолом-Алейхемом его связывала крепкая дружба, совместное участие в еврейских газетах и журналах.

## 6

Стр. 559. *Вайсберг.* — См. прим. к стр. 231.

*Грец* Генрих (1817—1891) — историк; приобрел популярность своим многотомным трудом «История евреев».

## 7

Стр. 560. *Линецкий.* — См. прим. к стр. 457.

*До выхода журнала.* — Шолом-Алейхем добивался разрешения на издание литературного журнала.

Стр. 561. *Бернштейн* Аарон (1812—1884) — публицист и общественный деятель, принимал активное участие в движении по реформированию иудаизма, автор научно-популярных трудов по естествознанию.

*Брем А.-Э.* (1829—1884) — знаменитый немецкий зоолог, автор книги «Жизнь животных».

*Черни и Соколовский* — врачи, друзья Линецкого и Шолом-Алейхема.

## 8

Стр. 562. *Леви* — редактор газеты «Идишес фолксблат».

*Мейзах И.* (1848—1917) — публицист и писатель.



*Калмус Ульрих* — малоизвестный еврейский писатель; жил во второй половине XIX в.

Стр. 563. *Аарон* — библейский персонаж; отличался миролюбием.

Стр. 564. «*Векер*» («Будильник») — литературный сборник на языке идиш (Одесса, 1884).

«*Хойзфрайнд*» («Друг дома») — литературный сборник Спектора.

## 9

Стр. 565. *Равницкий И. Х.* — См. прим. к стр. 541.

*Рав Коцин* — один из псевдонимов И. Х. Равницкого.

*Литвак* — псевдоним редактора «Фолксблат» Леви.

Стр. 566. *Замощин Палтиел* (1851—1909) — поэт и журналист; печатался в «Хамейлиц» и «Кол-мевассер».

## 10

«*Библиотека*». — Речь идет о первом литературном сборнике «Дн юдише фолксбиблиотек», издание и редакция Шолом-Алейхема (Киев, 1888).

«*Призыв*» — пьеса Менделе Мойхер-Сфорима.

«*Заветное кольцо*» — повесть Менделе Мойхер-Сфорима.

*Рейзеле* — героиня пьесы «Призыв».

Стр. 567. ...*пишу...* роман. — Шолом-Алейхем имеет в виду «Степеню».

## 11

*Абба* — брат Шолом-Алейхема, второй сын Нохума Рабиновича. Уехал в Америку, по дороге скончался.

## 12

Стр. 568. *Фришман Довид* (1865—1922) — еврейский поэт и литературный критик; печатался в «Еврейской народной библиотеке» Шолом-Алейхема.

...«*творящего миры*». — Так именовала Фришмана еврейская критика того времени.

## 13

...*как богу в Одессе* — еврейская поговорка, означающая «как у Христа за пазухой».

Стр. 570. *Соре-Рива* — мать второй жены Нохума Рабиновича.  
*Шефтл* — владелец типографии в Бердичеве.

*Сося* — младшая сестра Шолом-Алейхема. Вместе с Вевиком работала в Риге на перчаточной фабрике.

Стр. 572. *Третья «Библиотека» тоже, вероятно, выйдет.* — Третий сборник «Еврейской народной библиотеки» ввиду финансовых затруднений Шолом-Алейхема не вышел в свет.

*Мордхе Спектор.* — См. прим. к стр. 487.

Стр. 573. *Почему бы вам не прислать мне ваш календарь?* — Шолом-Алейхем имеет в виду «Варшавский еврейский семейный календарь», книга по вопросам литературы на разных языках, издаваемая М. Спектором (Варшава, 1894).

*Рахиль Лоева* — теща Шолом-Алейхема.

*Эрнестина Рабинович* — старшая дочь (род. в 1884 г.) Шолом-Алейхема.

Стр. 574. *Иерухимзон Б.* — малоизвестный еврейский писатель, жил в Белой Церкви.

*«Маленькие рассказы».* — Вероятно, Шолом-Алейхем имеет в виду свою серию рассказов «Цветы» с подзаголовком «Десять маленьких сказок».

Стр. 575. *Долицкий М. М.* (1856—?) — поэт-сатирик и прозаик, писал на иврите и языке идиш.

*Розенфельд Морис* (1862—1923) — по профессии портной, один из первых пролетарских поэтов.

*Фруг С. Г.* (1860—1916) — поэт и литературный критик; писал на русском языке, издал книгу на языке идиш «Песни и думы».

Письмо написано Шолом-Алейхемом с дороги. Он тогда путешествовал по городам и местечкам Украины и собирал материал для варшавского еженедельника «Фолксцайтунг».

Стр. 576. *Цейтлин А. Я.* (1835—1904) — цензор еврейских книг в Киеве; занимал пост «ученого еврея», то есть советника при киевском губернаторе.

*В интересах издания Максима Горького.* — Речь идет о задуманной М. Горьким антологии произведений еврейских писателей в переводе на русский язык.

*Госпоже Спектор.* — Так в шутку Шолом-Алейхем иногда называл своего единомышленника и большого друга, писателя и издателя Мордхе Спектора.

Стр. 577. «*Волянь*» — газета, которая издавалась в Житомире.

Настоящее письмо написано Шолом-Алейхемом в связи с получением предложения об участии в газете «Дер фрайнд» («Друг»). По кабальным условиям контракта с «Идишес фолксцайтунг» Шолом-Алейхем не имел права публиковать свои произведения в других органах печати.

*Гинзбург С. М.* (1866—1940) — буржуазный историк и публицист, с 1903 по 1909 г. соредактор (совместно с А. Рапопортом и С. Розенфельдом) еврейской газеты «Дер фрайнд».

Стр. 579. *...с лавкой.* — Шолом-Алейхем имеет в виду книжный магазин, который был в Одессе открыт Равницким.

«*Сад*». — Имеется в виду стихотворение Х. Н. Бялика.

Стр. 580. «*Тушия*» — книгоиздательство, основанное в 1897 г. в Варшаве. В 1903 г. в связи с 25-летием литературной деятельности Шолом-Алейхема оно готовило к изданию собрание его сочинений в четырех томах.

*Пая* — жена Полинковского, друга Шолом-Алейхема.

*Егупец* — то есть Киев.

...он немного помогает мне писать. — Речь идет о родственнике Равницкого, которому Шолом-Алейхем поручил переписывать свои произведения.

## 26

*«Мошкеле-вор»*. — Роман, о котором речь идет в этом письме, впервые опубликован в русском переводе в настоящем издании (см. т. 3 наст. изд.).

## 27

Стр. 582. *«Тог»* — ежедневная еврейская газета, которая с 1904 г. выходила в Петербурге.

*«Эмес»* («Правда») — псевдоним М. Спектора.

*«Амитин»* — от корня эмес, то есть «Правдин».

## 28

Письмо написано под впечатлением первой личной встречи Шолом-Алейхема с Горьким.

## 29

Стр. 584. *Нумчик* — Наум, младший сын (род. в 1901 г.) Шолом-Алейхема.

## 30

В этом письме Шолом-Алейхем выразил свое предчувствие «чего-то грандиозного», то есть революционных событий 1905 г.

## 31

Письмо написано в Варшаве и отправлено из квартиры Спектора на квартиру Фришмана, у которого Шолом-Алейхем гостил.

Стр. 585. *«Хазман»* («Время») — газета на языке иврит, выходила в 1903 г. в Петербурге. Д. Фришман принимал в ней активное участие.

*Марек* Анджей — псевдоним Марка Ариштейна (1878—1943), драматурга и режиссера; перевел на польский язык пьесу Шолом-Алейхема «Разброд».

*Фишберг* Морис (1872—?) — американский врач и антрополог; в 1905 г. приезжал в Варшаву, там он познакомился с Шолом-Алейхемом.

*Соколов* Нохум (1860—1936) — буржуазный общественный деятель и публицист.

*...драмы... в четырех и в пяти актах.* — Речь идет об инсценировке романа Шолом-Алейхема «Степеню».

Стр. 586. *Томашевский* Борис (1866—1939) — драматург, организатор первого еврейского театра в США.

*Дж. Адлер* — знаменитый еврейский актер в США.

*...новости из «дома»* — то есть из России.

*Бен-Авигдор* — псевдоним Шалковича Авраама (1866—?), публициста, пропагандиста еврейского национализма, издателя и редактора; одно время был редактором газеты «Хазман».

*...он достигнет своей цели.* — Бен-Авигдор предпринимал меры для издания газеты на языке идиш в Вильно.

*Шнеер* — псевдоним крупного еврейского поэта и прозаика Шнеера Залкинда (Зале; 1887—1959).

Стр. 587. *...на обоих еврейских языках.* — Шолом-Алейхем имеет в виду идиш и иврит.

*Сорезон* Иехезкл — издатель нью-йоркской еврейской газеты «Тагеблат».

Стр. 588. *Ляля* — вторая дочь (род. в 1887 г.) Шолом-Алейхема.

*Миша* — старший сын (род. в 1889 г.) Шолом-Алейхема.

*Кауфман* Михаил (Микаела) — муж Ляли, противник сионизма.

*Герцль* Теодор (1860—1904) — организатор так называемого политического сионизма, автор книги «Еврейское государство», в которой призывает к созданию «правоохраняемого убежища» для евреев в Палестине.

*Территориализм* — от слова территориалисты — термин, принятый для обозначения сионистов, сторонников создания «еврейского государства» не обязательно в Палестине, а на любой территории земного шара; на шестом конгрессе сионистов в 1903 г. Уганда называлась в качестве такой территории.

### 38

Стр. 590. *«Унзер лебн»* — газета, выходившая с 1907 г. в Варшаве под редакцией М. Спектора.

*Вайнтройб и Гохберг* — издатели газеты «Унзер лебн».

### 39

Стр. 591. ...на *Монблане*. — Письмо написано на открытке с видами швейцарских гор.

...*вместе с нами*. — Шолом-Алейхем имеет в виду себя, Менделе Мойхер-Сфорима и Бен-Ами. Приглашение было принято. Бялик приехал в Швейцарию и составил четверку еврейских писателей, которым Шолом-Алейхем посвятил свои очерки «Четверо нас было».

### 40

Стр. 592. ...*не случись новогоднего инцидента*. — Бялик приехал в Женеву в Рош-гашана, то есть в иудейский Новый год, чем вызвал гнев набожного Бен-Ами.

*Миха и Тамара* — младшие дети Бен-Ами.

### 41

Стр. 593. ...*ответ на телеграмму*. — Речь идет о запросе Шолом-Алейхема, принята ли его пьеса «Клад», или «Кладонскатели», к постановке каким-либо театром.

### 42

Стр. 594. *Аберсон* — приятель Шолом-Алейхема.

«*Когда развеселилось сердце царя от вина*» — фраза из библейской книги «Эсфирь».

Стр. 595. ...*выслал в редакцию*. — Имеется в виду редакция газеты «Унзер лебн».

*Штейнберг И.* (1863—1908) — гебраистский писатель.

Стр. 596. ...*послушать всех шесть писателей*. — Речь идет о Менделе Мойхер-Сфориме, Шолом-Алейхеме, Бялике, Фруге, Шоломе Аше (1880—1957), еврейском писателе и драматурге Переце Гиршбейне (1880—1948).

*Д-р Левин* — врач, который лечил Шолом-Алейхема.

...*своего белостокского еврея с желтым порошком*. — Шолом-Алейхем имеет в виду героя своего монолога «У доктора» (см. т. 4, наст. изд.).

«*Пост Гедалиш*» — бывает в сентябре, на седьмой день тишри — первого месяца иудейского календаря.

Стр. 597. ...*на конференции в Черновцах*. — Шолом-Алейхем имеет в виду конференцию по вопросам еврейского литературного языка, состоявшуюся в 1908 г.

*Мазор Наташа* (Наталья Евсеевна) — племянница Шолом-Алейхема.

...*незабываемые Барановичи*. — Во время своих гастролей по стране Шолом-Алейхем в Барановичах тяжело заболел, прервал публичные чтения своих новелл и по совету врачей отправился в Италию (Нерви).

Стр. 598. ...*моих литературных «именин»*. — Речь идет о 25-летнем юбилее литературной деятельности Шолом-Алейхема.

*Моисей Савельевич* — муж Н. Е. Мазор.

*Сыркин Н. С.* (1878—?) — буржуазный общественный деятель и публицист, редактор варшавской еврейской газеты «Дер телеграф» («Телеграф»).

*Евгений Львович*. — Речь идет о враче Шкловском, друге Шолом-Алейхема.

Стр. 599. ...*я бы своими силами постепенно выкупил их из рабства*. — Шолом-Алейхем имеет в виду выкуп своих произведений,

которые на кабальных условиях были запроданы частным издателям.

Стр. 600. *Крушеван П.* (1860—1909) — черносотенец, ярый антисемит, издатель реакционных газет «Бессарабец» и «Друг».

#### 48

Стр. 601. *Розет И.* — друг и почитатель Шолом-Алейхема; к 25-летнему юбилею писателя издал почтовую открытку с его портретом.

#### 49

*Сыркин М. Н.* — киевский журналист; организовал в Киеве празднование 25-летнего юбилея литературной деятельности Шолом-Алейхема.

#### 50

Стр. 602. *Левинский Э. Л.* (1858—1910) — писатель и публицист; писал под псевдонимом Реб Корев (Родич).

Стр. 603. *...преподнесет тебе имение.* — Речь идет о предложении редактора газеты «Хайнт», он ратовал за то, чтобы евреи подарили Шолом-Алейхему имение, как это сделали поляки к юбилею Г. Сенкевича.

Стр. 604. *...небольшую книжонку.* — Шолом-Алейхем имеет в виду свой рассказ «Шмуел Шмелькис и его юбилей».

*...не успели освятить луну.* — Здесь: не успели отметить юбилей литературной деятельности Шолом-Алейхема.

*Давид Пинский* (1872—1959) — драматург и прозаик; стоял во главе американского комитета по празднованию юбилея Шолом-Алейхема.

*Авром-Эля Любарский* — друг Шолом-Алейхема.

#### 51

*Мише.* — В этом письме Шолом-Алейхем дает сыну Мише добрые советы, как следует перевести еврейские идиоматические выражения на русский язык.

#### 52

Стр. 605. *...благодарность за ваши открытия.* — Речь идет об открытках с портретом Шолом-Алейхема.



Стр. 606. *Ямпольский И.* — канадский еврейский журналист, напечатал в местной газете «Эпитафию» Шолом-Алейхема (см. письмо № 34).

Стр. 607. *...спасибо... за Ваш подарок.* — Менделе Мойхер-Сфорим прислал Шолом-Алейхему первый том его произведений на языке иврит.

Стр. 608. В этом письме к сыну Шолом-Алейхем высказывает свое отрицательное отношение к «модной» литературе декаданса.  
*От Наташи и от М. С.* — Имеются в виду Н. Е. и М. С. Мазор.

*...мой Париж.* — Шолом-Алейхем имеет в виду музеи, театры Парижа. Восторженно говоря о Париже, Шолом-Алейхем, как видно из письма, все же больше всего любит свой Киев.

Стр. 610. *Крынский М.* — издатель; Шолом-Алейхем попал к нему в кабалу. Издавая произведения писателя большими тиражами, выплачивал ему ничтожно малый гонорар.

Стр. 612. *...как король за пасхальной трапезой.* — Имеется в виду поведение главы семьи во время пасхальной вечера.

Стр. 613. *...«торопыга».* — Так назвал Менделе Мойхер-Сфорим Шолом-Алейхема по прочтении его романа «Степеню».

*...полемики Аша с его товарищами.* — Имеется в виду выступление русской и еврейской прессы и перебранка Аша с Чириковым по поводу пьесы Аша «Родословное».

Стр. 614. *«...выкупа пленных».* — Речь идет о «выкупе» произведений Шолом-Алейхема у частных издателей.

Стр. 615. *...чтобы спекторскую «Найе велт».* — Имеется в виду газета «Найе велт» («Новый мир»), издававшаяся М. Спектором в Варшаве с 1909 г.

*Спектор, Загородский, Милштейн* — издатели газеты, упомянутой в предыдущем письме.

Стр. 616. *...мой новый роман.* — Речь идет о первой части романа «Блуждающие звезды», которая печаталась в «Ди найе велт» в 1909—1910 гг.

Стр. 617. *Заблудовский* Нойах — друг и почитатель Шолом-Алейхема.

*...я теперь вроде путешественника, коммивояжера.* — Шолом-Алейхем имел в виду свои «Железнодорожные рассказы», которые печатались в «Ди найе велт». В подзаголовке автор их назвал «Записками коммивояжера».

Стр. 618. *...мою русскую книгу.* — Шолом-Алейхем имел в виду сборник своих произведений в русском переводе, выпущенный издательством «Современные проблемы».

Стр. 619. *Левинский.* — См. прим. к письму № 50.

*Реб Кореv.* — См. прим. к письму № 50.

Стр. 620. *Камионский М. И.* (1853—1926) — гебранстский писатель, друг Шолом-Алейхема.

Стр. 621. *...назвать не иначе, как «Шолом алейхем».* — Речь идет о националистическом листке, выходящем в Одессе с октября 1911 г.

под названием «Шолом алейхем». В письме к Менделе Мойхер-Сфориму Шолом-Алейхем рассказывает о своем гневном протесте против гнусной выходки издателей этого листка.

68

«*Дама в вуали*» — один из многочисленных бульварных романов на языке идиш.

69

Стр. 622. «*Баал-Махшовес*» — псевдоним Исидора Эльяшева (1873—1924), еврейского буржуазного литературного критика.

«*Еврейский твой народ нуждается в зарботке*» — фраза из молитвы.

...наполняет свой роман старыми газетными статьями. — Баал-Махшовес в письме к Шолом-Алейхему писал, что роман «Кровавая шутка», который только что вышел из печати, он еще не читал, однако, судя по слухам, Шолом-Алейхем состряпал его, пользуясь газетной хроникой о процессе Бейлиса.

Звездочки в тексте поставлены Шолом-Алейхемом.

70

Стр. 623. Ш. Нигер (псевдоним Шмуела Чарни; 1883—1954) — еврейский буржуазный литературный критик и литературовед.

Шнейфал Ш. (1884—?) — еврейский журналист.

...восьмидесятилетнем писателе. — Речь идет о И. Мейзахе. Шолом-Алейхем писал о его бедственном положении в газете «Хайнт» («Сегодня»), № 201 за 1912 г.

Стр. 624. «*Лебн ун висншафт*» («Жизнь и наука») — еврейский литературно-художественный и научный журнал; выходил в Вильно с 1909 по 1912 г.

71

Письмо написано Шолом-Алейхемом на древнееврейском языке.

72

Письмо также написано по-древнееврейски.

Стр. 625. «*Пинкес*» — ежегодник по истории еврейской литературы и языка под редакцией Ш. Нигера; с 1913 г. издавался в Вильно, с 1919 г. — в США.

*Котик Иезекииль* (1847—1921) — мемуарист; прославился книгой «Мои воспоминания» (первая часть была опубликована в 1912 г.), в которой воссоздана широкая картина жизни евреев в России первой половины XIX в.

Стр. 626. *Моя Тиси*. — Шолом-Алейхем имеет в виду свою старшую дочь Эрнестину.

Письмо написано по-древнееврейски.

Стр. 627. *Тамара и Белла* — внучки Шолом-Алейхема. Белла — ныне Бел Кауфман — автор рассказов о нью-йоркских детях и учительском труде, в 1964 г. опубликовано крупное ее произведение «Вверх по ведущей вниз лестнице», напечатано в «Иностранной литературе», № 6, 1967 г.

Письмо написано по-древнееврейски.

Стр. 628. *Писать завещание*. — Оно было написано Шолом-Алейхемом через два с половиной года, 19 сентября 1915 г.

К этому письму имеется приписка на древнееврейском языке: «Тамара! Я уехал в Нерви».

Стр. 629. *Бергельсон* Давид (1884—1952) — советский еврейский писатель. В 1913 г. был членом правления издательства Клецкина в Вильно; издательство издавало еврейский литературно-художественный журнал «Ди идише велт» («Еврейский мир»).

...они могут напечатать автобиографию. — Шолом-Алейхем имеет в виду первые главы своей книги «С ярмарки».

*Лифшиц Файтл* — доцент Бернского университета; часто навещал Шолом-Алейхема.

*Калманович* Зелик (1881—1944) — филолог, переводчик с русского и немецкого на язык идиш.

Стр. 630. *Шриро Ш.* — капиталист-нефтепромышленник, почитатель Шолом-Алейхема; обещал ему крупную сумму денег, чтобы он смог спокойно завершить свою автобиографию. Обещание свое Шриро не исполнил.

«*И ты будешь жить мечом твоим*» — из библейского благословения патриарха Исаака сына своего охотника Исава. Под мечом Шолом-Алейхем подразумевает перо писателя.

Стр. 632. *Ховвейцион* («Друзья Сиона») — палестинофильское националистическое течение еврейской буржуазии, возникшее в России в 80-х годах XIX в.

Стр. 633. *Яцкан С. Я.* — редактор еврейской газеты «Хайнт».

В ответном письме (Киев, 9(22) декабря 1913 г.) М. Бейлис писал Шолом-Алейхему: «Вы усомнились, знаю ли я вас. Должен вам сказать, что не только мои старшие дети, но даже моя шестилетняя дочка хорошо вас знает. Она непрестанно кричит: «Читай Шолом-Алейхема! Шолом-Алейхема читай!» ...из моих подарков, мною полученных, первое место у меня занимают ваши всемирно известные произведения».

Стр. 635. *Тамара* — дочь И. Д. Берковича, старшая внучка Шолом-Алейхема.

*Адлер А. П.* — актер еврейского театра в США.

*Посылаю вам... пьесу.* — Имеется в виду инсценировка «Тевье-молочника».

Стр. 636. *Никель* — мелкая американская монета.

*Кводер* —  $\frac{1}{4}$  доллара.

Стр. 637. *Житловский* Хаим Иосифович (1865—1943) — еврейский философ и публицист, один из теоретиков партии эсеров и еврейского мелкобуржуазного национализма. С 1908 г. жил в США.

Стр. 638. *Шильдкраут* Рудольф — еврейский актер; был Томашевским приглашен из Берлина в Нью-Йорк на гастроли. Однако Томашевский по причинам разного характера отменил гастроли,

объявив, что Шильдкраут вынужден вернуться в Берлин, так как он в Нью-Йорке надолго потерял голос.

Стр. 639. «Клеветник» — Речь идет о пьесе американского драматурга Льюиса Миллера.

## 86

*Бродский* — крупный капиталист и сахарозаводчик; жил в Киеве, одно время Шолом-Алейхем был у него на службе.

## 87

Стр. 640. ...*приступлю к своему «Мотлу»*. — Речь идет о второй части повести Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл».

«Потоп» — роман Шолом-Алейхема о революционных событиях 1905 г.

## 88

Стр. 641. ...*захватить кусочек бармицве*. — Шолом-Алейхем имеет в виду праздник совершеннолетия, который отмечался в связи с исполнением тринадцати лет сыну Нуме.

...*семья Кабак* — семья гебраистского прозаика и романиста А. А. Кабака (1882—?).

*Шехтман* — владелец ресторана в Лозанне.

Стр. 642. *Воркель М.* — рижский режиссер, друг Шолом-Алейхема; участвовал в переговорах с кинопредпринимателями об экранизации произведений еврейского писателя.

## 89

*Шреберг Ш.* — издатель; публиковал произведения Шолом-Алейхема.

## 90

Стр. 643. *Опатошу* (псевдоним Опатовского Иосифа; 1886—1954) — прогрессивный еврейский писатель.

...*две книги*. — Речь идет о сборниках «Шрифти», в которых печатались произведения молодых американских еврейских поэтов и прозаиков.

«*Роман конокрада*» и «*Нью-Йоркское гетто*» — ранние повести И. Опатошу.

*Мани-Лейб* (псевдоним Мани-Лейба Брагинского; 1883—1953) — еврейский поэт, по профессии обувной заготовщик, родом из Нежина; принимал участие в революционном движении России, дважды попадал в тюремное заключение, в 1904 г. бежал в Лондон, оттуда в США.

## 91

Последнее письмо Шолом-Алейхема. Написано за двадцать дней до его кончины.

Стр. 644. *Иегоаш* (псевдоним Блюменгартена И. Ш.; 1872—1927) — поэт; прославился переводом Библии (Ветхий завет) на язык идиш.

*...путевыми заметками.* — Речь идет о книге очерков Иегоаша «От Нью-Йорка до Рехавот».

*Желаю... доброго праздника.* — Шолом-Алейхем имеет в виду иудейскую пасху.

## II

## 92

Письмо написано в связи с 25-летием литературной деятельности Менделе Мойхер-Сфорима.

Стр. 645. «*Мечтатели*» — рассказ; написан Шолом-Алейхемом по-русски, помещен в первом томе настоящего издания.

## 93

Стр. 647. *...чтобы ознакомить Вас с программю вашего сборника.* — Имеется в виду антология еврейской литературы в переводе на русский язык, задуманная М. Горьким.

## 94

Стр. 648. *...благодарит Вас редакция сборника.* — Речь идет о задуманном сборнике рассказов «Хилф» («Помощь») в пользу жертв погрома, организованного царским правительством в Кишиневе 6 и 7 апреля 1903 г.

## 95

*Спасибо за скорый ответ.* — Речь идет об ответном письме Л. Н. Толстого от 6 мая 1903 г., приводим полный текст:

«Соломон Наумович,

Ужасное, совершенное в Кишиневе злодеяние болезненно поразило меня. Я выразил отчасти мое отношение к этому делу в письме к знакомому еврею<sup>1</sup>, копию с которого прилагаю. На днях мы из Москвы послали коллективное письмо кишиневскому голове, выражающее наши чувства по случаю этого ужасного дела.

К сожалению, то, что я имею сказать, а именно, что виновник не только кишиневских ужасов, но всего того разлада, который поселяется в некоторой малой части — и не народной — русского населения, — одно правительство. К сожалению, этого-то я не могу сказать в русском легальном издании.

Стр. 649. ...«процентного отношения». — Речь идет о том, что, согласно царскому циркуляру, в высших учебных заведениях евреи принимались в количестве трех процентов всех учащихся.

Листок. — Речь идет о клерикальном киевском «Листке», в котором печатался провокационный материал, будто евреи издеваются над иконами.

## 96

...преподнести Вам 1 т. «Полного Собрания моих сочинений». — Речь идет о первом томе собрания сочинений Шолом-Алейхема, изданном «Прогрессом».

## 98

Стр. 651. Получил... две прелестные сказки. — Толстой поначалу прислал для сборника «Хилф» две сказки: «Ассирийский царь Ассархадон» и «Три вопроса».

Стр. 653. ...получил я третью сказку. — Третья сказка Толстого называется «Это ты».

## 100

Стр. 654. «Hilf». — Сборник «Помощь», был опубликован издательством «Фолксбилдунг» («Народное образование»), Варшава, 1903.

«Русская мысль» — ежемесячный литературно-художественный и политический журнал, основанный в Москве в 1880 г.; до революции 1905 г. был органом либеральной буржуазии, в годы реакции

---

<sup>1</sup> Письмо Э. Б. Линецкому, в котором Л. Н. Толстой дал суровую оценку участникам преступления в Кишиневе, см.: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 74, № 130.



выражал интересы правого крыла кадетской партии. В. И. Ленин, касаясь этого журнала, говорил, что он «должен бы называться «Черносотенная мысль».

101

*Буланже П. А.* (1864—1925) — близкий знакомый Л. Н. Толстого, сотрудник «Посредника».

102

Стр. 655. *Никитин Д. В.* (1874—1960) — врач Л. Н. Толстого.

103

Стр. 657. *Чертков В. Г.* (1854—1936) — близкий друг Л. Н. Толстого, издатель его сочинений.

104

*Aylmer* — Эльмер (Алексей Францевич; 1858—1938) — переводчик произведений Л. Н. Толстого на английский язык, его издатель и биограф.

108

Стр. 660. *Давид Яковлевич* Айзман (1869—1922) — писатель; изображал жизнь преследуемых самодержавием еврейских низов. «*Современный мир*» — ежемесячный литературный, научный и политический журнал; издавался в Петербурге с 1906 по 1918 г. В нем принимали участие Горький, Бунин, Вересаев и др.

110

Стр. 661. *Лопатин Г. А.* (1845—1910) — революционер, член Генерального совета I Интернационала.

Стр. 662. *Амфитеатров А. В.* (1862—1938) — русский писатель.

114

Стр. 664. «*Кейвер увис*» — еврейское название рассказа Шолом-Алейхема «Могилы предков».

Стр. 666. *Братски выраженное Вами мнение.* — Речь идет об отзыве Горького на книгу Шолом-Алейхема «Дети черты» («Мальчик Мотл»).

Стр. 667. *Герман Александрович.* — Речь идет о Г. А. Лопатине. См. прим. к письму № 110.

Письмо отправлено из Италии 10/23 ноября 1912 г. Оригинал хранится в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Впервые опубликовано М. Махаринским в журнале «Резец» (№ 7, 1939).

Стр. 669. *...повесть.* — Речь идет о «Кровавой шутке».

*...печатающегося произведения в журнале «Современник».* — Речь идет о романе «Блуждающие звезды».

*Настигли меня вражеские немцы.* — Накануне первой мировой войны Шолом-Алейхем находился на одном из немецких курортов (в Альбеке) и в августе 1914 г. был интернирован как русский поданный в Берлине.

### III

Письма под №№ 124—141 адресованы С. М. Дубнову и впервые напечатаны в девятом томе «Еврейской старины» (СПб. 1916). В предисловии к ним Дубнов пишет, что, после того как была опубликована его рецензия в журнале «Восход» (№№ VII—VIII, 1887) на новеллу Шолом-Алейхема «Ножик», между автором рецензии и писателем «завязалась оживленная литературная переписка». В ней ясно вырисовывается борьба Шолом-Алейхема за высокоинтересную литературу, его искания, общественный темперамент, защита еврейского реалистического искусства.

Все еврейские слова внутри текста писем переданы в латинской транскрипции.

С. Дубнов указал, что «из приведенных писем устранено то многое», что имело к нему «личное отношение».

Стр. 671. ...*прошу дать Ваш отзыв в ближайшей книжке «Восхода».* — Краткий отзыв о «Букете» дан в статье С. Дубнова «О жаргонной литературе» («Восход, № 10, 1888).

*«История хасидизма».* — Речь идет о статьях Дубнова «Возникновение хасидизма», печатавшихся в «Восходе» на протяжении 1888 г.

Стр. 672. *Мандельштам О.* — известный окулист. С. Дубнов собирался к нему отправиться на лечение глаз.

*Киев... не особенно гостеприимный для нашего брата.* — Шолом-Алейхем имеет в виду указ царского правительства, запретивший евреям проживать в Киеве.

Стр. 673. ...*что за Сборник издаю я.* — Речь идет о первом томе «Еврейской народной библиотеки».

Стр. 674. *Цвейфель* Лазарь (Элиезер; 1815—1888) — философ и педагог, автор работ по иудаизму.

*Эттингер* Шлойме (ок. 1801—1856) — один из пионеров литературы на языке идиш, поборник просвещения евреев в России.

*Случайный Фельетонист* — псевдоним С. Фруга. В связи с выходом первого сборника Спектора «Домашний друг» Фруг заявил, что «умножение числа сборников на жаргоне вещь излишняя» («Недельная хроника «Восхода», № 31, 1888).

*...я написал возражение.* — Шолом-Алейхем имеет в виду свое возражение Фругу под названием «Письмо в редакцию». Приводим его с сокращениями:

«В № 31 «Недельной хроники «Восхода» г. Случайный Фельетонист забил тревогу по поводу нарождающихся литературных сборников на еврейском разговорном языке, неправильно называемом жаргоном, причем неверно определил характер этих сборников и значение самого жаргона для трехмиллионной массы, на нем изъясняющейся.

Оставляю в стороне несправедливые на меня нападки г. Случайного Фельетониста, будто я, издавая книгу под заглавием «Еврейская народная библиотека», преследую лишь «редакторские» цели... Случайный Фельетонист может шутить сколько ему угодно, но издание жаргонных сборников, если иметь в виду их литературный интерес, а не исключительно коммерческий расчет, вовсе не есть

зло, как ошибочно полагает г. Случайный Фельетонист, а, напротив, явление очень отрадное и едва ли не есть благо для трехмиллионной массы «нищих», предъявляющей, однако, порядочный спрос на печатное слово, в чем я, как наблюдатель провинциальной жизни этой массы, смею уверить г. Случайного Фельетониста.

В заключение не могу не выразить своего удивления, почему г. Случайный Фельетонист находит мое сотрудничество одновременно в трех-четыре изданиях курьезным?

Киев, 7 августа 1883 г.

Шолом-Алейхем.

...*Schibche Bescht* («Прославления Бешта»). — См. прим. к стр. 457.

Стр. 675. ...*ato bechartonu* («Ты нас избрал»). — Шолом-Алейхем высмеивает догмат иудейской религии о «богоизбранности евреев».

## 127

Одновременно с № «Восхода». — Имеется в виду № 35 «Недельной хроники «Восхода», в котором был напечатан ответ Шолом-Алейхема Случайному Фельетонисту.

Стр. 676. *Jehawdel* — еврейское идиоматическое выражение, означающее здесь: «какое может быть сравнение!»

Стр. 677. *Моргулис* Михаил (Менаше; 1837—1912) — общественный деятель, юрист и писатель, автор трудов о праве Талмуда.

## 129

...«документом». — Речь, по-видимому, идет о корректуре статьи С. Дубнова «О жаргонной литературе».

Стр. 678. ...*уважаемая... личность*. — Имеется в виду редактор «Идишес фолксблат» И. Леви, третировавший Шолом-Алейхема.

## 133

Стр. 681. *Perele* — первоначальное название романа Шолом-Алейхема «Иоселе-соловей».

...*Mausse gedola mitebach Uman*. — Речь идет о небольшой книжке на языке идиш (Вильно, 1838), рассказывающей о борьбе евреев Умани против зверств гайдамаков в 1768 г.

«Типы и силуэты» — произведения Шолом-Алейхема на языке иврит, впоследствии были им переработаны и переведены на язык идиш под заглавием «Отмирающие типы» (см. т. 2 наст. изд.).

Стр. 682. ...завравшего в свои нечистые руки единственный «Народный листок». — Речь идет о редакторе «Идишес фолксблат» Леви.

Стр. 684. *Казус с Линецким*. — Имеется в виду жалоба в «Восход» Линецкого по поводу того, что Шолом-Алейхем сократил его повесть «Червяк в хрене», опубликованную во втором томе «Еврейской народной библиотеки».

Стр. 685. *Эмма* — дочь Шолом-Алейхема, в 1890 г. ей было три года.

Стр. 686. *Древнееврейский же рассказ*. — Речь идет о новелле Шолом-Алейхема на языке иврит «Prosdor utraklin («Передняя и салон»).

...погиб для мира золота и бумаги. — Имеется в виду банкротство Шолом-Алейхема.

#### IV

Письма под №№ 142—166 опубликованы в «Висншафтлихе ер-бихер» (М. 1929). Они адресованы редакторам газеты «Фрайнд» и охватывают период в восемнадцать месяцев, с декабря 1907 по июль 1909 г.

Шолом-Алейхем в это время тяжело болел, по совету врачей находился на излечении в Швейцарии и Италии. Вместе с тем он много и плодотворно писал. Письма с потрясающей откровенностью рассказывают о тревогах, помыслах и заботах писателя, о его материальных затруднениях и борьбе за человеческое достоинство, о бессердечной эксплуатации издателей, которые его обманывали и бессовестно обкрадывали.

Исключительный интерес представляет открытие этих писем. По сообщению советского литературоведа И. М. Нусинова (1889—1950), матрос Черноморского флота во время своего пребывания в порту Яффа купил их за свои деньги у местного еврея. По возвращении из плавания матрос отнес их в газету «Одесские известия». Редакция «Висншафтлихе ербихер» получила их от гражданина Одессы И. Хаита.

В русском издании эти письма печатаются впервые.

#### 142

Стр. 687. «Веник» (по-еврейски «Безем») — бесплатное юмористическое приложение к «Фрайнду».

С. М. — Саул Моисеевич Гинзбург, основатель «Фрайнда» и один из его издателей.

«Кабцан из кабцанов» — бедняк из бедняков, так в насмешку Шолом-Алейхем назвал издателя Крынского.

#### 143

Стр. 688. *Израиль Моисеевич*. — Лицо не установлено; по-видимому, Шолом-Алейхем допустил ошибку, имел в виду Александра Израилевича Рапопорта.

«Эмигранты» — глава из «Мальчика Мотла», печаталась в «Фрайнде» в 1908 г. (№ 7, 8, 14, 21 и 22).

#### 145

Стр. 689. *Израиль Александрович* — по-видимому, Александр Израилевич Рапопорт.

*Ривкес* — агент по распространению еврейских газет в Берлине.

*Имеет ли право газета*. — Речь идет об «Унзер лебн».

#### 146

Стр. 690. ...и постановки моей пьесы. — Речь идет о пьесе «Клад».

#### 147

«Шалахмонэс» — рассказ Шолом-Алейхема, напечатанный в «Беземе», № 9, 1908.

Стр. 691. ...*пуримский фельетон*. — Имеется в виду рассказ «Шалахмонэс».

*Фишзон* Алтер — антрепренер и актер.

Стр. 692. «*Шиповник*» — русский литературный альманах.

«*Дер Ойцер*» — еврейское название пьесы «Клад».

«*Хазомир*» — литературно-художественное общество. С 1905 по 1914 г. существовало в Варшаве и занималось организацией литературных вечеров и выступлений еврейских прозаиков и поэтов.

Стр. 694. ...*я видел «Фрайнд» № 91*. — В этом номере начали печатать пьесу Д. Пинского «Клад».

Стр. 696. ...*спешу Вас поздравить*. — По разным причинам царская цензура закрыла «Фрайнд» на два месяца (с 1 октября по 1 декабря 1908 г.). Шолом-Алейхем поздравил издателей газеты с получением разрешения вновь ее печатать.

...*я ведь пациент*. — Шолом-Алейхем заболел туберкулезом легких и находился на лечении в Нерви.

...*диктую одну крупную вещь для английского издания*. — Что именно, не удалось установить.

Стр. 697. *Шмуль Шмелькис*. — Имеется в виду рассказ «Шмуел Шмелькис и его юбилей», печатался в №№ 226—235 (декабрь 1908 г.) «Фрайнда».

...*и тамошний комитет*. — Речь идет о комитете по организации празднования 25-летия литературной деятельности Шолом-Алейхема.

Стр. 698. *А—нский* — псевдоним Ш.-З. Рапопорта (1863—1920), еврейского фольклориста, поэта и драматурга.

«*Евр. мир*» («Еврейский мир») — литературно-публицистический журнал; выходил в Петербурге с 1904 по 1910 г. под редакцией Ш. А—нского, С. Дубнова и М. Ратнера.

*Беркович*. — Речь идет о И. Д. Берковиче, зяте Шолом-Алейхема.

...опоздал к 1-му номеру обновленного «Фрайнда». — Речь идет о выходе первого номера газеты после ее закрытия.

...новый рассказ «Тевеля Молочника». — Имеется в виду новелла «Тевье едет в Палестину».

Стр. 699. *Баал-Махшовес*. — См. прим. к письму № 69

*Тевье-молочник готов*. — Речь идет о новелле «Тевье едет в Палестину».

...счет для «Евр. мысли». — Явная описка, должно быть: «Еврейский мир».

...гг. *мировцы*. — Имеются в виду издатели «Еврейского мира».

Стр. 700. ...г. *Логос* — псевдоним одного из издателей «Фрайнда», С. Розенфельда.

*Газманцы издают с 1-го января газету*. — Речь идет о редакторах ивритской газеты «Хазман», которые стали еще издавать в Вильне газету на языке идиш «Ди цайт» («Время»).

Стр. 701. *А виленская газета...* — Имеется в виду «Ди цайт».

*Пишу целую серию маленьких рассказов*. — Имеются в виду «Железнодорожные рассказы».

Стр. 702. ...о письмах *М. Менделя*. — Речь идет о повести в письмах «Менахем-Мендл».

Стр. 703. ...до выхода «*Мира*». — Имеется в виду журнал «Еврейский мир».

...человеческого *самолюбия*. — В тексте по-еврейски: «перзенлехн ницохн».

...что в *американской газете*. — Имеется в виду нью-йоркская еврейская газета «Идишес тагеблат».

Стр. 704. *Препровождаю при сем письмо*. — Речь идет о письме в редакцию газеты «Фрайнд» и журнала «Еврейский мир» о сроках напечатания новеллы «Тевье едет в Палестину». Приводим текст письма:



«В редакцию «Дер фрайнд»

Мм. гг.

Посылаю Вам обещанный рассказ «Тевье-молочник едет в Палестину», прошу напечатать его в Вашей газете не раньше появления его в журнале «Евр. мир» (СПб., Б. Подъяч., 39). С этой целью я просил одного из редакторов того журнала, г-на Ан—ского, официально дать знать Вам накануне выхода в свет 1-й книжки журнала, дабы Вы могли на следующий день по получении извещения приступить к печатанию рассказа в газете «Дер фрайнд».

В надежде на Вашу корректность, равно как и на корректность редакции «Евр. мира», остаюсь с совершенным почтением

Ш[олом]-Алейхем».

«*Ди голдшпинерс*» — рассказ Шолом-Алейхема «Золотопряды» (см. т. 2 наст. изд.).

*Серия мелких рассказов.* — Имеются в виду «Железнодорожные рассказы».

### 163

Стр. 705. *Не прикажете ли тиснуть и это (прилагаемое) письмо?* — Письмо написано Шолом-Алейхемом по-еврейски. Приводим его в переводе Р. Рубиной:

#### «Письмо к другу

Дражайший друг!

Бог велик, одной рукой он карает, другой исцеляет. «Не карай меня и не исцеляй меня» — старая глупая претензия. Бог карает, дабы иметь, что исцелять. Я был наказан по дороге из Италии в Швейцарию (как я вам уже писал). Зато я получил исцеление здесь, в санатории, в Шварцвальде. Если не полное исцеление, то, по крайней мере, есть надежда на будущее. Лето еще впереди, лес достаточно зелен. Можно лежать да лежать. Немцы знают только одно лечение — лежать. Больные с утра до поздней ночи лежат под открытым небом на свежем воздухе. Встают только для того, чтобы поесть и погулять. Не всякий, однако, устаивается прогулки. Для этого отводятся считанные часы. И если вы ведете себя прилично, то есть лежите хорошо и едите хорошо, вы получаете добавку — еще несколько минут в день. Я здесь, очевидно, из пай-мальчиков. Я, по милости божьей, так пришелся по душе докторам, что мне дали целых два часа для прогулок и всего лишь восемь часов для лежания (не считая десяти часов, когда полагается спать). Сейчас подсчитаем: если отнять три часа на еду, то увидим, сколько остается для писания. И что же? Бог милостив! Я догадался уво-

ровать у врачей (немецких!) из восьми лежачих часов пять-шесть часов для писания. Вы спросите, каким образом? Я пишу лежа. Как можно писать лежа? Не спрашивайте, да сохранит вас от этого господь! Я не враг вам, но, если вас уложат и прикажут лежать, вы научитесь писать лежа. Увидите, что это вовсе не так трудно. Наоборот, даже приятно. Только бы кашель не докучал. По всему этому вы можете судить, любезный друг, что дела мои, слава богу, неплохи, хотя могли бы быть и лучше... Итак, скажем: «Все к лучшему». Вы ведь знаете: «все к лучшему» — мой девиз. Передайте же это всем друзьям вместе с наилучшими пожеланиями, будьте здоровы и пишите письма.

*Шолом-Алейхем.*

*1 июля 1909 г., санаторий Сент-Блазьен».*

#### 164

«Ширгаширим». — Речь идет о повести Шолом-Алейхема «Песнь песней».

*Лидский* Яков (1868—1921) — владелец издательства «Прогресс».

Стр. 706. ...*органа Спектора*. — Имеется в виду газета «Ди найе велт».

#### 165

Стр. 707. ...*издание Лидского*. — Речь идет о собрании сочинений Шолом-Алейхема, издававшемся «Прогрессом».

#### V

#### 167

Стр. 709. *Берта Львовна Флексер* — составитель и издатель сборника «Святая страна» (Житомир, 1891). Она обратилась к Шолом-Алейхему с просьбой оказать материальную помощь Трубнику (умер в 1889 г.) — автору «Учителя жаргона» и «Словаря иностранных слов».

#### 170

Стр. 712. ...*закончил крупное произведение* — художественное. — По-видимому, речь идет о романе «Иоселе-соловей».

Письмо написано другу семьи Толстых М. А. Маклаковой. «Сборник». — Имеется в виду сборник «Хилф».

Письма сотруднику газеты «Фрайнд» В. Вайсблату были вызваны тем, что он поддержал идею Шолом-Алейхема о создании «еврейского художественного театра».

Стр. 713. *Догмаров В. Н.* — актер и режиссер, в 1908—1909 гг. работал в Киеве, в театре Соловцова.

...в *Московском Худ. театре.* — Приводим по этому вопросу письмо, адресованное К. С. Станиславскому (оригинал хранится в музее МХАТа им. Горького).

«Многоуважаемый г. Станиславский!

Сам я русский еврей. Мое имя Рабинович. Мой псевдоним Шолом-Алейхем. Не знаю, слышали ли Вы о моем литературном имени? Со времени погромов я переселился в Америку, где работаю для 3-х евр. газет и евр. театра. Временно я нахожусь в Берлине, где переводится моя новая драма (4-актная) под названием «Куда?»<sup>1</sup> на немецкий язык. Драма читана в тесном кругу и произвела сильное впечатление. Одновременно дерзнул бы перевести эту драму и по-русски для постановки на сцене Моск. Худ. театра. Здесь она пойдет в одном из нем. театров. И вот мне указали на Вас. Я к Вам и обращаюсь. Уверен в успехе пьесы безусловно. Имя мое также неизвестно в России. Посоветуйте, как быть. Здесь переводчика с евр. жаргона нет. Могу ли я прислать ее Вам в оригинале? Написана четко и разборчиво. Вещь по идее и по форме слишком важная, чтобы дебютировать ею на подмостках провинциального театра. Не найдете ли Вы возможным дать мне скорый и обстоятельный ответ?

С почтением

*Шолом-Алейхем.  
С. Рабинович.*

Стр. 714. ...*моего нового пасхального рассказа.* — Речь идет о новелле «Зелень к празднику» (см. т. 3 наст. изд.).

<sup>1</sup> Шолом-Алейхем имел в виду свою пьесу «Клад».

Стр. 715. ...*пришлите мне № «Киевской мысли» за 11/24 апреля.* — Шолом-Алейхем имел в виду «Киевские вести», где в русском переводе Вайсблата и Слонима была опубликована новелла «Зелень к празднику».

Впервые это письмо было М. Махаринским опубликовано в журнале «Резец» (№ 7, 1939). Оригинал хранится в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Письмо адресовано одному из переводчиков произведений Шолом-Алейхема — М. Островскому.

### ЗАВЕЩАНИЕ

Стр. 719. ...*и кроме еврейской надписи, здесь приложенной.* — Имеется в виду еврейский текст «Эпитафии», составленной Шолом-Алейхемом (см. наст. т., стр. 586).

## Основные даты жизни и творчества Шолом-Алейхема

- 1859 Родился 2 марта в Переяславе (ныне Переяславль-Хмельницкий) Полтавской губернии в патриархальной еврейской семье, учился в хедере. Детские годы провел в местечке Воронково, которое впоследствии в своих литературных произведениях вывел под названием Касриловки. В тринадцатилетнем возрасте лишился матери. Переехал на время с младшими братьями и сестрами к родителям матери в местечко Богуслава.
- 1873 Поступил в Переяславское уездное училище, где был одним из лучших учеников.
- 1876 Успешно окончив Переяславское уездное училище, давал частные уроки в Переяславе, а затем в Ржищеве и других местечках.
- 1877 Поступил домашним учителем к Элимелеху Лоеву (деревня Софиевка Киевской губернии), занимался с его дочерью Ольгой три года.
- 1879 Опубликовал первую корреспонденцию в газете «Гациефара» на древнееврейском языке.
- 1880—1883 Опубликовал ряд статей в газете «Хамейлиц» на древнееврейском языке.
- 1883 Женился на бывшей своей ученице — Ольге Лоевой. Опубликовал повесть «Два камня», рассказы «Выборы» и «Перехваченные письма» на языке идиш. Переехал в Софиевку.
- 1884 Жил в Белой Церкви Киевской губернии. Напечатал ряд рассказов, фельетонов, стихов, статей в газете «Идишес фолксблат». Опубликовал рассказ на русском языке в «Еврейском обозрении».

- 1885 Умер тесть писателя, оставивший большое наследство.
- 1886 Были опубликованы «Зарисовки Бердичевской улицы» («Идишес фолксблат»).
- 1887 Поселился в Киеве. Напечатал в «Идишес фолксблат» рассказ «Ножик».
- 1888 Умер отец, памяти которого писатель посвятил книжку «Букет цветов».
- Опубликовал в «Идишес фолксблат» роман «Сеидер Бланк и его семейка». Издал книжку, направленную против Шомера («Суд над Шомером»), и первый том «Еврейской народной библиотеки», в котором напечатал роман «Степпеню».
- Состоялось знакомство с основоположником еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфоримом.
- 1890 Вышел второй том «Еврейской народной библиотеки», в котором был напечатан роман «Иоселе-соловей».
- 1891 Был за границей, посетил Париж, Вену, Черновцы; по возвращении в Одессу напечатал ряд очерков и новелл на русском языке в «Одесском листке» и других изданиях.
- 1892 В «Кол-мевассер» были опубликованы первые письма из цикла «Менахем-Мендл».
- 1894 Выпустил первую повесть из цикла «Тевье-молочник».
- 1899 В журнале «Дер юд» были напечатаны новые повести из цикла «Тевье-молочник» и продолжение цикла «Менахем-Мендл».
- 1900 В журнале «Дер юд» напечатаны рассказы «Флажок», «Часы», «Пурим» и другие. Начал свои публичные выступления в Киеве, Белой Церкви, Бердичеве совместно с М. М. Варшавским, создателем песен по народным мотивам.
- 1901 Издал сборник песен М. М. Варшавского со своим предисловием.
- В «Дер юд» появились его монологи и рассказы «Горшок», «У царя Артаксеркса», «Рябчик» и другие, а также первые повести цикла «В маленьком мире маленьких людей».
- 1902 Сотрудничал в журнале «Дер юд», в еженедельниках «Юдише фолксцайтунг», «Идише фрайе вельт»; издал рассказы «Будь я Ротшильд...», «На скрипке», «Дрейфус в Касриловке», «Мафусал», «Немец» и другие.
- 1903 Наряду с работой в вышеуказанных изданиях, начал сотрудничать в ежедневных газетах «Дер фрайнд», «Дер тог», опубликовал новеллы «Конкуренты», «По

- этапу», «Веселая компания» и другие. Обратился к писателям Л. Н. Толстому, А. П. Чехову, М. Горькому, В. Г. Короленко с предложением принять участие в сборнике, доход от которого пойдет в помощь евреям, пострадавшим от погромов. Вышло первое издание собрания его сочинений в четырех томах.
- 1904 Состоялось знакомство с М. Горьким, Л. А. Андреевым, А. И. Куприным, И. Л. Перцем и И. Баал-Махшовесом. Продолжал работать над циклами «Тевье-молочник» и «Менахем-Мендл».
- 1905 Сотрудничал в варшавской ежедневной газете «Дер вег», издал в варшавском издательстве «Общедоступная книга» два сборника рассказов и монологов. Выступил с чтением своих произведений в Вильне, Ковно, Риге, Либаве, Лодзи и других городах. После погрома в Киеве (в октябре) на короткое время выехал со своей семьей во Львов. Написал рассказы: «Иосиф», «Два антисемита» и другие.
- 1906 Жил во Львове, посетил Женеву, Лондон, в конце октября— Нью-Йорк. Выступал с чтением своих произведений во многих городах Галиции и Румынии.
- 1907 Жил в Нью-Йорке, затем в Женеве. Сотрудничал в различных газетах Нью-Йорка, Варшавы, Петербурга, Вильны. В Нью-Йорке опубликовал первые главы повести «Мальчик Мотл».
- 1908 Жил в Женеве, затем в Нерви (Италия), посетил Берлин. Написал второй вариант комедии «Кладоискатели», продолжал работу над повестью «Мальчик Мотл». В мае вернулся в Россию, посетил Варшаву, Вильну, Одессу и ряд других городов. Всюду встречал горячий прием. В конце июля в Барановичах внезапно заболел туберкулезом в острой форме. По совету врачей уехал в Нерви; 25 октября состоялось празднование 25-летия его литературной деятельности.
- 1909 Несмотря на плохое состояние здоровья, много писал. Опубликовал рассказы «Шмуел Шмелькис и его юбилей», «Песнь песней», «Железнодорожные рассказы» и новые повести из цикла «Тевье-молочник». Начал писать роман «Блуждающие звезды». Юбилейный комитет в Варшаве выкупил права на издание его произведений у частных издателей и вернул их автору.
- 1910 Лечился в санаториях Нерви и других. Издал рассказы «Шестьдесят шесть», «Эсфирь», «Пасха в деревне», продолжал работать над романом «Блуждающие звез-

ды». Избранные произведения автора начали издаваться на русском языке. Русская критика тепло встретила их. Общеизвестно письмо М. Горького к Шолом-Алейхему, в котором дана высокая оценка творчества писателя.

- 1911 Жил в Нерви, сотрудничал во многих газетах, в которых были напечатаны: «Мариенбад», «Гитл Пуришкевич», «Аутодафе» и другие произведения.
- 1912 Работал над романом «Кровавая шутка».
- 1913 Посетил Вену, Берлин и другие города. Продолжал работать над циклом «Менахем-Мендл».
- 1914 Весной вновь побывал во многих городах и местечках России. Выступал с публичным чтением своих произведений. Еврейская беднота всюду с восторгом встречала любимого писателя. Когда началась империалистическая война, Шолом-Алейхем находился на одном из немецких курортов (в Альбеке) и был интернирован как русский подданный со всей семьей в Берлине. Писателю удалось перебраться в нейтральную Данию — в Копенгаген. К концу года переехал в Нью-Йорк. Опубликовал много произведений в периодической печати. Среди них последние повести цикла «Тевье-молочник» и другие.
- 1915 Жил в Нью-Йорке. Из-за частых обострений болезни проводил время в горах или у моря. Сотрудничал в газете «Дер тог». Написал комедию «Крупный выигрыш», продолжал работать над автобиографией «С ярмарки». Собирался по окончании войны «с первым же кораблем» вернуться в Россию.
- 1916 Несмотря на тяжелую болезнь, много работал. В мае болезнь резко обострилась. 13 мая, в субботу, рано утром, скончался в Нью-Йорке. В понедельник, 15 мая, там же состоялись похороны. Тысячи трудящихся провожали писателя в последний путь.



**Алфавитный указатель  
произведений, вошедших в настоящее  
собрание сочинений Шолом-Алейхема**

	<b>Том</b>	<b>Стр.</b>
<b>Аман и его дочери</b>	3	556
<b>Аутодафе</b>	6	545
<b>Белая птица</b>	4	308
<b>Берл-Айзик</b>	2	642
<b>Блинчики</b>	3	637
<b>Блуждающие звезды</b>	5	7
<b>Будь я Ротшильд</b>	2	338
<b>Быть бы свадьбе, да музыки не нашлось</b>	3	72
<b>Великий переполох среди маленьких людей</b>	2	388
<b>Веселая компания</b>	2	172
<b>Враки</b>	3	570
<b>Выборы</b>	1	39
<b>«Выигрышный билет»</b>	2	84
<b>Высший и низший</b>	1	76
<b>Гецл</b>	3	372
<b>Гимназия</b>	3	95
<b>Гитл Пуришкевич</b>	4	420
<b>Город маленьких людей</b>	2	275
<b>Горшок</b>	4	275
<b>Гуси</b>	4	286

	Том	Стр
Дачная кабала	3	441
Два антисемита	2	210
Два мертвеца	2	428
Дедушкин отель	6	503
Доктора́	3	655
Доктора! (Шутка в одном действии)	6	313
Домой на пасху	3	542
Дрейфус в Касриловке	2	300
<b>Жалость ко всему живому</b>	3	299
<b>За советом</b>	4	320
Завещание	6	719
Заблаговременная пасха	3	581
Заколдованный портной	2	7
Зелень к празднику	3	292
Золотопряды	2	441
<b>Иоселе-соловей</b>	1	349
Иосиф	4	359
История с «зеленым»	4	432
История с тремя городами	6	515
Как красиво дерево!	6	540
Как меня звать?	6	511
Карты	3	658
Касриловская богадельня	2	537
Касриловские погорельцы	2	355
Касриловский прогресс	2	543
К моей биографии	1	31
«Конкуренты»	3	9
Крупный выигрыш (Народное представление в четырех действиях)	6	383
К читателям	3	7
Лакомое блюдо	2	457
Легкий пост	2	348
«Летние» романы	2	594
Люди (Пьеса в одном действии)	6	359
<b>Мальчик Мотл</b>	4	441
Марненбад	5	543

	Том	Стр.
Мафусал	3	252
Меламед Бойаз	2	226
Менахем-Мендл	4	7
Мечтатели	1	535
Мистер Грин находит занятие	4	428
Могилы предков	3	53
Мой первый роман	2	152
Молочная пища	2	342
Мошкеле Вор	3	509
На волосок от смерти	6	529
На Бердичевской улице (Зарисовки)	1	92
Надежда	1	143
На-кося — выкуси!	3	152
Наследники	2	314
На теплые воды	3	481
Нельзя быть добрым!	3	118
Немец	4	297
Не про нас будь сказано	2	295
Не сглазить бы!	2	305
Не стало покойников	2	309
Неудачник	3	136
Новая Касриловка	2	470
Новостей никаких...	3	575
Ножик	3	165
Омраченный праздник	3	226
Отмирающие типы	2	234
От пасхи до кушей	2	647
Пасха в деревне	3	429
Пасхальное вино	1	147
Песеле, дочь ребе	3	304
Песнь Песней	3	593
Письма (1882—1916)	6	553
Погорелец	3	127
Поздравляем! (Комедия в одном действии)	6	337
По этапу	2	112
Праздник торы	3	563
Праздничные гостинцы	2	327
Праздничный цимес	4	314
«Праздношатающийся»	3	60
Предпасхальная эмиграция	3	351

	Том	Стр.
Принят	3	38
Происхождение «Клячи»	6	523
<b>Разбойники</b>	3	414
Родительские радости	2	288
Рябчик	3	241
Самый младший из королей	3	359
Самый счастливый человек в Кодне	3	17
Семьдесят пять тысяч	2	47
Сендер Бланк и его семейка	1	155
Скрипка	3	263
Слово за слово	2	627
С дороги	1	229
С Новым годом!	2	656
С призыва	3	108
С Ривьеры	4	415
Станция Барановичи	3	27
Степеню	1	255
Стихотворения	1	569
Сто один	2	143
Суд над Шомером	6	457
Суждено несчастье	3	141
Сходка (Комедия в одном действии)	6	325
С ярмарки	6	7
<b>Тайбеле</b>	1	44
Талескотн	3	77
Тевье-молочник	4	131
Тема нищеты в еврейской литературе	6	472
Типы «малой биржи»	1	557
Трапеза	3	381
Третьим классом	3	157
Три вдовы	4	386
Три головки	3	390
Три календаря	3	673
<b>Убогая</b>	3	313
У доктора	4	333
У царя Артаксеркса	3	212
<b>Флажок</b>	3	179

	Том	Стр.
Хабно	4	375
Ханукальные деньги	3	192
«Царствие небесное»	4	340
Цитрус	3	281
<b>Часы</b>	3	205
Человек из Буэнос-Айреса	3	42
Человек родился!	2	282
Чета	3	397
Чудо в седьмой день кушей	3	63
<b>Шалаш — лучше не надо!</b>	3	341
Шамес Исер	2	217
«Шестьдесят шесть»	3	84
Шимеле	1	511
Шмуел Шмелькис и его юбилей	2	512
Шолом алейхем!	6	497
<b>Эсфирь</b>	3	423
<b>Юла</b>	3	324
<b>Яичница богача</b>	3	681

**Указатель**  
**адресатов писем, вошедших в т. 6**

- Абрамовичу С. М.** — 645  
**Адлеру Я. П.** — 635  
**Айзману Д. Я.** — 660, 661, 662, 663, 664
- Бейлису М. М.** — 634  
**Берковичам** — 628  
**Берковичу И. Д.** — 586, 593, 624, 625, 626, 627, 628  
**Берковичу и Кауфману** — 641  
**Брату Волфу (Вевику)** — 553, 554, 567, 568, 570  
**Брату Эле** — 556  
**Бялику Х. Н.** — 579, 591
- Вайсблату В.** — 713, 714, 715, 716  
**Внучке Тамаре** — 635  
**В редакцию газеты «Дер фрайнд»** — 696  
**В редакцию газеты «Ди найе велт»** — 615  
**В редакцию газеты «Унзер лебн»** — 590
- Гинзбургу С. М.** — 687  
**Горькому А. М.** — 646, 666, 667, 668
- Детям** — 583, 588  
**Динезону Я.** — 558, 561, 598, 613  
**Дочери Эрнестине** — 575, 583, 584, 587  
**Дубнову С. М.** — 671, 672, 673, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
- Заблудовскому Н.** — 617
- Иегоашу И.** — 644  
**Иерухимзону Б.** — 574
- Камионскому М. И.** — 620, 621  
**Короленко В. Г.** — 669  
**Котику И.** — 625
- Д-ру Левину** — 596  
**Линецкому И. И.** — 560  
**Лоевой Р.** — 573
- Мазор Н. Е.** — 597, 609  
**Маклаковой М.** — 712  
**Менделе Мойхер-Сфориму** — 566, 571, 572, 593, 607, 611, 613, 614, 620, 626, 669
- Нигеру Ш.** — 623, 629

- Одесским друзьям** — 602  
**Опатошу И.** — 643  
**Островскому М.** — 713  
**Отцу** — 555
- Пинскому Д.** — 637  
**Прицкеру А. Л.** — 608
- Рабинович О.** — 640  
**Рабинович Э.** — 573  
**Равницкому И. Х.** — 565, 579  
**Рапопорту А. И.** — 688, 689, 690,  
691, 692, 693, 694, 695, 696,  
698, 699, 701, 702, 703, 704,  
705, 707  
**Розенфельду С. Я.** — 687  
**Розету И.** — 601, 605
- Спектору М.** — 572, 576, 577, 580,  
582, 595, 596, 639  
**Сыну Мише** — 604, 608  
**Сыркину М. Н.** — 601
- Толстому Л. Н.** — 647, 648, 649,  
650, 651, 653, 654, 655, 657,  
658, 659, 660, 665
- Фишбергу** — 585, 587  
**Флексер Б. Л.** — 709, 710, 711,  
712  
**Фришманам** — 584  
**Фришману Д.** — 568, 585, 618, 619
- Цейтлину А.** — 576
- Чехову А. П.** — 654
- Шреберку Ш.** — 642  
**Шриро** — 630, 631
- Д-ру Эляшеву** — 622
- Ямпольскому И.** — 606

### **Составители настоящего издания**

Тома 1, 2, 4, 5, 6 составил М. Беленький

Том 3 составила Р. Рубина



## СОДЕРЖАНИЕ

### С ярмарки. Жизнеописание

Детям моим в подарок. <i>Перевод Р. Рубиной</i> . . . . .	7
Краткая история книги «С ярмарки». <i>Перевод Р. Рубиной</i> . . .	8

### Часть первая. *Перевод Б. Ивантера и Р. Рубиной*

1. Почему именно «С ярмарки» . . . . .	10
2. Родной город . . . . .	12
3. Отец и мать . . . . .	15
4. Сирота Шмулик . . . . .	18
5. Клады . . . . .	20
6. Раввин в раю . . . . .	23
7. Шмулик исчезает . . . . .	26
8. Меер из Медведовки . . . . .	28
9. Потерян еще один товарищ . . . . .	30
10. Приятель Серко . . . . .	32
11. Трагедия Серко . . . . .	35
12. Ангел добра и дух зла . . . . .	37
13. Воровство, игра в карты и прочие грехи . . . . .	39
14. Фейгеле-черт . . . . .	42
15. Бес . . . . .	45
16. Родня . . . . .	47
17. Дядя Нисл и тетя Годл . . . . .	50
18. Пинеле, сын Шимеле, едет в Одессу . . . . .	53
19. Перемена места — перемена счастья . . . . .	59
20. Воронковцы расползаются . . . . .	62
21. Гербеле-вор . . . . .	65

22. Извозчик Меер-Велвл и его «рысаки» . . . . .	69
23. Прощай, Воронка! . . . . .	73
24. Путешествие . . . . .	77
25. На новом месте . . . . .	82
26. Большой город . . . . .	85
27. Каникулы . . . . .	89
28. Меламеды и учителя . . . . .	93
29. Учитель Талмуда . . . . .	96
30. Хедер в старину . . . . .	99
31. Тринадцатилетие . . . . .	102

*Часть вторая. Перевод Б. Ивантера и Р. Рубиной*

32. Юноша . . . . .	106
33. Первая любовь . . . . .	110
34. Холера . . . . .	114
35. Дни траура . . . . .	119
36. У Днепра . . . . .	123
37. На пароме . . . . .	127
38. В Богуславе на «торговице» . . . . .	129
39. Вот так встреча! . . . . .	133
40. Среди кожухов . . . . .	136
41. Человек-птица . . . . .	139
42. «Грозные дни» . . . . .	142
43. Праздник кушей . . . . .	146
44. Конец празднику — пора домой . . . . .	150
45. Лексикон мачехи . . . . .	153
46. На лавочке у ворот . . . . .	157
47. «Коллектор» . . . . .	161
48. «Удачные зятья» . . . . .	165
49. Арнольд из Подворок . . . . .	169
50. Гимназистик Соломон . . . . .	175
51. «Пенсия» . . . . .	179
52. Новый товарищ — Эля . . . . .	183
53. Среди канторов и музыкантов . . . . .	188
54. Не укради! . . . . .	193
55. Дочь кантора . . . . .	199
56. В праздник торы . . . . .	203
57. Кризис . . . . .	208

*Часть третья. Перевод Б. Ивантера и Р. Рубиной*

58. Шолом дает уроки . . . . .	213
59. Идиллия . . . . .	217
60. Разбитые надежды . . . . .	223

61. Конец идиллии . . . . .	228
62. Полгода скитаний . . . . .	231
63. Снова дома . . . . .	236
64. Хорошее место . . . . .	240
65. Во сне и наяву . . . . .	245
66. История с часами . . . . .	249
67. Ангел божий в образе человека . . . . .	253
68. Неожиданный экзамен . . . . .	257
69. Еврей-помещик . . . . .	261
70. Жизнь в деревне . . . . .	265
71. Эконом Додя . . . . .	269
72. Призыв . . . . .	274
73. Тетя Тойба из Бердичева . . . . .	278
74. Первый вылет . . . . .	283
75. Протекции . . . . .	288
76. Куперник . . . . .	293
77. Должность «секретаря» . . . . .	297
78. Выборы . . . . .	301

## Пьесы

Доктора! ( <i>Шутка в одном действии</i> ). Перевод Я. Слонима . . . . .	313
Сходка ( <i>Комедия в одном действии</i> ). Перевод М. Беленького . . . . .	325
Поздравляем! ( <i>Комедия в одном действии</i> ). Перевод М. Шамба- дала . . . . .	337
Люди ( <i>Пьеса в одном действии</i> ). Перевод Я. Слонима . . . . .	359
Крупный выигрыш ( <i>Народное представление в четырех дей- ствиях</i> ). Перевод В. Ардова и Э. Лойтера . . . . .	383

## О литературе

Суд над Шомером. Перевод Е. Лойцкера . . . . .	457
Тема нищеты в еврейской литературе. Перевод Р. Рубиной . . . . .	472

## Из книги «Еврейские писатели»

Шолом алейхем! Перевод И. Гуревича . . . . .	497
Дедушкин отель. Перевод И. Гуревича . . . . .	503
Как меня звать? Перевод И. Гуревича . . . . .	511
История с тремя городами. Перевод И. Гуревича . . . . .	515
Происхождение «Клячи». Перевод И. Гуревича . . . . .	523
На волосок от смерти. Перевод И. Гуревича . . . . .	529
Как красиво дерево! Перевод М. Лещинской . . . . .	540
Аутодафе. Перевод М. Лещинской . . . . .	545

I

№ 1. Брату Волфу (Вевику). 10 декабря 1882 г. . . . .	553
№ 2. Ему же. 4 февраля 1883 г. . . . .	554
№ 3. Отцу. 16 апреля 1884 г. . . . .	555
№ 4. Брату Эле. 25 мая 1884 г. . . . .	556
№ 5. Я. Динезону. 28 апреля 1887 г. . . . .	558
№ 6. Ему же. 4—5 января 1888 г. . . . .	558
№ 7. И. И. Линецкому. 27 марта 1888 г. . . . .	560
№ 8. Я. Динезону. 1 апреля 1888 г. . . . .	561
№ 9. И. Х. Равницкому. 8 июня 1888 г. . . . .	565
№ 10. Менделе Мойхер-Сфориму. 26 июля 1888 г. . . . .	566
№ 11. Брату Вевику. 1 декабря 1888 г. . . . .	567
№ 12. Д. Фришману. 17 января 1889 г. . . . .	568
№ 13. Брату Вевику. Август 1889 г. . . . .	568
№ 14. Ему же. 22 апреля 1889 г. . . . .	570
№ 15. Менделе Мойхер-Сфориму. 22 января 1890 г. . . . .	571
№ 16. Ему же. 6 июня 1890 г. . . . .	572
№ 17. Мордхе Спектору. 26 сентября 1894 г. . . . .	572
№ 18. Рахили Лоевой. 1896 г. . . . .	573
№ 19. Эрнестине Рабинович. 16 апреля 1897 г. . . . .	573
№ 20. Б. Иерухимзону. 27 ноября 1901 г. . . . .	574
№ 21. Дочери Эрнестине. 18 августа 1902 г. . . . .	575
№ 22. А. Цейтлину. 15 сентября 1902 г. . . . .	576
№ 23. М. Спектору. 2 ноября 1902 г. . . . .	576
№ 24. Ему же. 12 ноября 1902 г. . . . .	577
№ 25. И. Х. Равницкому и Х. Бялику. 22 января 1903 г. . . . .	579
№ 26. М. Спектору. 1—4 апреля 1903 г. . . . .	580
№ 27. Ему же. 2 февраля 1903 г. . . . .	581
№ 28. Детям. 15 ноября 1904 г. . . . .	583
№ 29. Дочери Эрнестине. 15 ноября 1904 г. . . . .	583
№ 30. Ей же. 29 ноября 1904 г. . . . .	584
№ 31. Фришманам. 8 февраля 1905 г. . . . .	584
№ 32. Давиду Фришману. 6 апреля 1905 г. . . . .	585
№ 33. Д-ру Фишбергу. 13 сентября 1905 г. . . . .	585
№ 34. И. Д. Берковичу. 23 ноября 1905 г. . . . .	586
№ 35. Дочери Эрнестине. 23—24 ноября 1905 г. . . . .	587

---

<sup>1</sup> Письма № 20, 27, 38, 40, 47, 50, 62 и 77 переведены Р. Рубиной; письма № 1, 3, 7, 8, 10, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 41, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 67, 73, 74, 75, 80, 81, 84, 86 и 89 переведены И. Гуревичем. Остальные письма первого раздела переведены М. Беленьким.

№ 36. Д-ру Фишбергу. 4 января 1906 г. . . . .	587
№ 37. Детям. 6—7 июля 1906 г. . . . .	588
№ 38. В редакцию газеты «Унзер лебн». 30 апреля 1907 г. . . . .	590
№ 39. Бялику. Без даты. . . . .	591
№ 40. Бялику. Осень 1907 г. . . . .	591
№ 41. И. Д. Берковичу. 7—8 апреля 1908 г. . . . .	593
№ 42. Менделе Мойхер-Сфориму. Пасха, 1908 г. . . . .	593
№ 43. М. Спектору. 23 июня 1908 г. . . . .	595
№ 44. Д-ру Левину. Август 1908 г. . . . .	596
№ 45. М. Спектору. (Сентябрь) 1908 г. . . . .	596
№ 46. Н. Е. Мазор. 7/20 октября 1908 г. . . . .	597
№ 47. Я. Динезону. Октябрь — ноябрь 1908 г. . . . .	598
№ 48. И. Розету. 8 ноября 1908 г. . . . .	601
№ 49. М. Н. Сыркину. 6 декабря 1908 г. . . . .	601
№ 50. Одесским друзьям. 6 декабря 1908 г. . . . .	602
№ 51. Сыну Мише. 8 декабря 1908 г. . . . .	604
№ 52. И. Розету. 11 декабря 1908 г. . . . .	605
№ 53. И. Ямпольскому. Конец 1908 г. . . . .	606
№ 54. Менделе Мойхер-Сфориму. 10 января 1909 г. . . . .	607
№ 55. Сыну Мише. 10/23 января 1909 г. . . . .	608
№ 56. А. Л. Прицкеру для Н. Е. Мазор. 4 февраля 1909 г. . . . .	608
№ 57. Н. Е. Мазор. 24 февраля 1909 г. . . . .	609
№ 58. Менделе Мойхер-Сфориму. 20 февраля — 5 марта 1909 г. . . . .	611
№ 59. Ему же. 11 марта 1909 г. . . . .	613
№ 60. Я. Динезону. 27 марта 1909 г. . . . .	613
№ 61. Менделе Мойхер-Сфориму. 7/20 июля 1909 г. . . . .	614
№ 62. В редакцию «Ди найе велт». 10 сентября 1909 г. . . . .	615
№ 63. Н. Заблудовскому. 12 сентября 1909 г. . . . .	617
№ 64. Д. Фришману. 19 апреля 1910 г. . . . .	618
№ 65. Ему же. 22 ноября 1910 г. . . . .	619
№ 66. М. И. Камионскому. 10/23 июня 1911 г. . . . .	620
№ 67. Менделе Мойхер-Сфориму. 15 октября 1911 г. . . . .	620
№ 68. Г-ну Камионскому. 27 февраля 1912 г. . . . .	621
№ 69. Д-ру Эльяшеву. 28 июля 1912 г. . . . .	622
№ 70. Ш. Нигеру. 2 сентября 1912 г. . . . .	623
№ 71. И. Д. Берковичу. 18 января 1913 г. . . . .	624
№ 72. Ему же. 25 января 1913 г. . . . .	625
№ 73. И. Котику. 28 января 1913 г. . . . .	625
№ 74. Менделе Мойхер-Сфориму. 31 января 1913 г. . . . .	626
№ 75. И. Д. Берковичу. 1 февраля 1913 г. . . . .	626
№ 76. Ему же. 4 февраля 1913 г. . . . .	627
№ 77. Ему же. 26 февраля 1913 г. . . . .	628
№ 78. Берковичам. 1 марта 1913 г. . . . .	628
№ 79. Ш. Нигеру. 31 марта 1913 г. . . . .	629

№ 80. Шриро. 6 апреля 1913 г. . . . .	630
№ 81. Ему же. 30 апреля 1913 г. . . . .	631
№ 82. М. Бейлису. Начало декабря 1913 г. . . . .	634
№ 83. Тамаре. 10 января 1914 г. . . . .	635
№ 84. Якову Адлеру. 20 января 1914 г. . . . .	635
№ 85. Д. Пинскому. 6 февраля 1914 г. . . . .	637
№ 86. М. Спектору. 17 февраля 1914 г. . . . .	639
№ 87. Ольге Рабинович. 25 февраля 1914 г. . . . .	640
№ 88. Берковичу и Кауфману. 5 апреля 1914 г. . . . .	641
№ 89. Ш. Шреберку. 6/19 июня 1914 г. . . . .	642
№ 90. И. Опатошу. 27 апреля 1915 г. . . . .	643
№ 91. Иегоашу. 23 апреля 1916 г. . . . .	644

## II

№ 92. Менделе Мойхер-Сфориму. 23 декабря 1884 г. . . . .	645
№ 93. М. Горькому. 31 декабря 1901 г. . . . .	646
№ 94. Л. Н. Толстому. 27 апреля 1903 г. . . . .	647
№ 95. Ему же. 10 мая 1903 г. . . . .	648
№ 96. Ему же. 11 июля 1903 г. . . . .	649
№ 97. Ему же. 24 июля 1903 г. . . . .	650
№ 98. Ему же. 25 августа 1903 г. . . . .	651
№ 99. Ему же. 28 августа 1903 г. . . . .	653
№ 100. А. П. Чехову. 30 августа 1903 г. . . . .	654
№ 101. Л. Н. Толстому. 3 сентября 1903 г. . . . .	654
№ 102. Ему же. 8 сентября 1903 г. . . . .	655
№ 103. Ему же. 10 сентября 1903 г. . . . .	657
№ 104. Ему же. 24 сентября 1903 г. . . . .	657
№ 105. Ему же. 3 октября 1903 г. . . . .	658
№ 106. Ему же. 14 февраля 1904 г. . . . .	659
№ 107. Ему же. 30 октября 1905 г. . . . .	660
№ 108. Д. Я. Айзману. 16/29 ноября 1908 г. . . . .	660
№ 109. Ему же. 4 марта 1909 г. . . . .	661
№ 110. Ему же. 11 мая 1909 г. . . . .	661
№ 111. Ему же. 28 мая 1909 г. . . . .	662
№ 112. Ему же. 12/25 августа 1909 г. . . . .	663
№ 113. Ему же. 6 сентября 1909 г. . . . .	663
№ 114. Ему же. 11 октября 1909 г. . . . .	664
№ 115. Ему же. 31 октября 1909 г. . . . .	664
№ 116. Л. Н. Толстому. 10 апреля 1910 г. . . . .	665
№ 117. М. Горькому. 22 апреля 1910 г. . . . .	666
№ 118. Ему же. 7 апреля 1911 г. . . . .	666
№ 119. Ему же. 8 сентября 1911 г. . . . .	667
№ 120. Ему же. 10/23 сентября 1912 г. . . . .	668

№ 121. Ему же. 18 октября 1912 г. . . . .	668
№ 122. В. Короленко. . . . .	669
№ 123. Менделе Мойхер-Сфориму. 28 мая 1915 г. . . . .	669

### III

№ 124. С. М. Дубнову. 29 мая 1888 г. . . . .	671
№ 125. Ему же. 4 июля 1888 г. . . . .	672
№ 126. Ему же. 7 августа 1888 г. . . . .	673
№ 127. Ему же. 2 сентября 1888 г. . . . .	675
№ 128. Ему же. 13 октября 1888 г. . . . .	677
№ 129. Ему же. 18 ноября 1888 г. . . . .	677
№ 130. Ему же. 11 января 1889 г. . . . .	678
№ 131. Ему же. 9 февраля 1889 г. . . . .	679
№ 132. Ему же. 14 апреля 1889 г. . . . .	680
№ 133. Ему же. 18 июля 1889 г. . . . .	680
№ 134. Ему же. 3 августа 1889 г. . . . .	681
№ 135. Ему же. 17 августа 1889 г. . . . .	682
№ 136. Ему же. 2 февраля 1890 г. . . . .	683
№ 137. Ему же. 16 февраля 1890 г. . . . .	683
№ 138. Ему же. 17 мая 1890 г. . . . .	684
№ 139. Ему же. 28 июля 1890 г. . . . .	685
№ 140. Ему же. 28 августа 1890 г. . . . .	685
№ 141. Ему же. 2 октября 1890 г. . . . .	686

### IV

№ 142. С. М. Гинзбургу и С. Розенфельду. 21 декабря 1907 г. . . . .	687
№ 143. Израилю Моисеевичу. Без даты. . . . .	688
№ 144. А. И. Рапорту. 20 января 1908 г. . . . .	689
№ 145. Израилю Александровичу. 24 января 1908 г. . . . .	689
№ 146. Ему же. 15 февраля 1908 г. . . . .	690
№ 147. А. И. Рапорту. 5 марта 1908 г. . . . .	690
№ 148. Ему же. 8 марта 1908 г. . . . .	691
№ 149. Ему же. 15 апреля 1908 г. . . . .	692
№ 150. Ему же. 23 апреля 1908 г. . . . .	693
№ 151. Ему же. 25 апреля 1908 г. . . . .	693
№ 152. Ему же. 9 мая 1908 г. . . . .	694
№ 153. Ему же. 9/22 мая 1908 г. . . . .	695
№ 154. В редакцию «Дер фрайнд». 9/22 мая 1908 г. . . . .	696
№ 155. А. И. Рапорту. 26 ноября 1908 г. . . . .	696
№ 156. Ему же. 6/19 декабря 1908 г. . . . .	698
№ 157. Ему же. 25 декабря 1908 г. . . . .	699
№ 158. Ему же. 5 января 1909 г. . . . .	701
№ 159. Ему же. 29/30 января 1909 г. . . . .	702

№ 160. Ему же. 30 января 1909 г. . . . .	703
№ 161. Ему же. 31 января 1909 г. . . . .	704
№ 162. Ему же. 1 февраля 1909 г. . . . .	704
№ 163. Ему же. 1 июня 1909 г. . . . .	705
№ 164. Ему же. 2 июля 1909 г. . . . .	705
№ 165. Ему же. 9 июля 1909 г. . . . .	707
№ 166. Ему же. 13/26 июля 1909 г. . . . .	707

V

№ 167. Б. Л. Флексер. 5 сентября 1889 г. . . . .	709
№ 168. Ей же. 1 октября 1889 г. . . . .	710
№ 169. Ей же. 14—15 октября 1889 г. . . . .	711
№ 170. Ей же. 22 ноября 1889 г. . . . .	712
№ 171. М. Маклаковой. 3 августа 1903 г. . . . .	712
№ 172. В. Вайсблату. 12 февраля 1908 г. . . . .	713
№ 173. Ему же. 30 марта 1908 г. . . . .	714
№ 174. Ему же. 28 апреля 1908 г. . . . .	715
№ 175. Ему же. 3 июня 1908 г. . . . .	715
№ 176. Ему же. 4 июля 1908 г. . . . .	716
№ 177. М. Островскому. 23 октября 1909 г. . . . .	717

Завещание. <i>Перевод М. Шамбадала</i> . . . . .	719
--	-----

Примечания М. Беленького . . . . .	725
------------------------------------	-----

Основные даты жизни и творчества Шолом-Алейхема. <i>Составил А. Рубинштейн</i> . . . . .	772
--	-----

Алфавитный указатель произведений, вошедших в настоящее собрание сочинений Шолом-Алейхема. <i>Составила Э. Безверхняя</i>	776
---	-----

Указатель адресатов писем, вошедших в т. 6. <i>Составила Э. Безверхняя</i> . . . . .	781
--	-----



**ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ**

**Собрание сочинений**

**Том 6**

Редактор

*Г. Фальк*

Художественный редактор

*Г. Кудрявцев*

Технический редактор

*О. Ярославцева*

Корректор

*Г. Асланянц*

Сдано в набор 14/VI 1973 г.

Подписано к печати 4/III 1974 г.

Бумага типогр. № 1. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

24,75 печ. л. 41,58 усл. печ. л. 40,68 уч. изд. л.

Тираж 100 000 экз. Заказ 690

Цена 1 р. 35 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени  
Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой  
Союзполиграфпрома при Государственном комитете  
Совета Министров СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли.  
198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29